В. ШУКШИН

В. ШУКШИН

В. Шукшин

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В 5 ТОМАХ

ТОМ 5

Екатеринбург
Издательство
«Уральский
рабочий»
1992

ББК 84Р7
Ш954

Составление
ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ
при участии
ВАДИМА ПАНЮТЫ

Художник
КОНСТАНТИН СУХАРЕВСКИЙ

Ш 4702010200 — 60 06-92
«Книголюб» — У. Р. — «ВЕНДА» — 92

© В.ШУКШИН, 1992
© Л.ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА,
составление, комментарии, 1992
© К. СУХАРЕВСКИЙ, худ. оформление, 1992

РАССКАЗЫ

ЖЕНА МУЖА В ПАРИЖ ПРОВОЖАЛА

Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее, и:

А жена мужа в Париж провожала,
Насушила ему сухарей...

Проигрыш. Колька, смешно отклячив зад, пританцовывает.

Тара-рам, тара-рам, тара-та-та-ра... рам,
Тари-рам, тари-рам, та-та-та...

Старушки, что во множестве выползают вечером во двор, смеются. Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются.

А сама потихоньку шептала:
"Унеси тебя черт поскорей!"
Тара-рам, тара-рам, та-та-ра-ра...

Колька — обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город.

— Коль, "цыганочку"!

Колька в хорошем субботнем подпитии, улыбчив.

— Валю-ша,— зовет он, подняв голову.— Брось-ка мне штиблеты — "цыганочку" товарищи просят.

Валюша не думает откликаться, она зла на Кольку, ненавидит его за эти концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос — "по-тирольски", чем потешает публику.

— Валю-ша! Отреагируй, лапочка!.. Хоть одним глазком, хоть левой ноженькой!.. Ау-у!..

Смеются, поглядывают тоже вверх... Валюша не выдерживает: с треском распахивается окно на третьем этаже, и

Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит:

— Я те счас отреагирую — кастрюлей по башке, кретин!

Внизу взрыв хохота; Колька тоже смеется, хотя... Странно это: глаза Кольки не смеются, и смотрит он на Валюшу трезво и, кажется, доволен, что заставил-таки сорваться жену, довел, что она выказала себя злой и неумной, просто дурой. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене, и это очень на него непохоже, и никто так не думает — просто дурачится парень, думают.

К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей, есть и мужики, и парни.

— Какой размер, Коля?

— Фиер цванцих — сорок два.

Кольке дают туфли (он в тапочках), и Колька пляшет... Пляшет он красиво, с остервенением. Враз становится серьезным, несколько даже торжественным... Трехрядка прикипает к рукам, в меру помогает "цыганочке", где надо молчит, работают ноги. Работают четко, точно, сухо пощелкивают об асфальт носочки — каблучки, каблучки — носочки... Опять взвякивает гармонь, и треплется по вспотевшему лбу Кольки льняной мягкий чубарик. Молчат вокруг, будто догадываются: парень выплясывает какую-то свою затаенную горькую боль. В окне на третьем этаже отодвигается край дорогой шторы — Валя смотрит на своего "шута". Она тоже серьезна. Она тоже в плену исступленной, злой "цыганочки". Три года назад этой самой "цыганочкой" Колька "обаял" гордую Валю, больше гордую, чем... Словом, в такие минуты она любит мужа.

Познакомился сибиряк-Колька с Валюшей самым идиотским способом — заочно. Служил вместе с ее братом в армии, тот показал фотографию сестры... Сразу несколько солдатских сердец взволновалось — Валя была красивая. Запросили адрес, но брат Валин дал адрес только лучшему своему корешу — Кольке. Колька отправил в Москву свою фотографию и с фотографией — много "разных слов". Валя ответила... Завязалась переписка. Коля был старше Валиного брата на год, демобилизовался раньше, поехал в Москву один. Собралась вся Валина родня — смотреть на Кольку. И всем Колька понравился, и Вале тоже. Смущало, что у солдатика пока что одна душа да чубчик, больше ничего нет, а главное, никакой специальности. Но решили, что это дело наживное. Так Коля стал москвичом, даже домой не доехал, к матери.

Стали они с Валюшей жить-поживать, и потихоньку до них стало доходить, что они напрочь чужие друг другу люди. Но было поздно: через год у них народилась дочка Нина, хорошенькая, круглолицая, беленькая... Колька понял, что он тут сел намертво. Им сообща — родней — купили двухкомнатную кооперативную квартиру (родные Вали все потомственные портные, и Валя тоже классная портниха). Колька много раз менял место работы, но везде — сто, от силы сто двадцать рублей. А Валя имела до трехсот "чистыми". Она работала телеграфисткой: сутки работает, двое дома — шьет.

Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам. Он попытался было воздействовать на нее, что нельзя же так-то уж, но получил железный отпор.

— У нас в деревне и то бабы не такие жадные...

— Заткнись со своей деревней,— посоветовала Валя.— Ехай туда, кому ты здесь нужен!

"Ну и влип...— терзался изумленный Колька.— Как влип!"

Он был парень не промах, хоть и "деревня", сроду не чаял и не гадал, что судьба изобразит ему такую колоссальную фигу. В армии он много думал о том, как он будет жить после демобилизации: во-первых, закончит десятилетку в вечерней школе (у него было девять классов), во-вторых... И в-третьих, и в-четвертых — все накрылось. Первый год он мыкался в поисках подходящей работы — сам того не сознавая, он, оказывается, искал работу, которая бы подходила не ему самому, а жене Вале,— таковой не подыскал, махнул рукой, остался грузчиком в торговой сети. Потом родилась дочка, и все свободное время он должен был отдавать ей, так как скупая Валя не наняла старушку, которая бы хоть гуляла с девочкой. Сама же шила, шила, шила. Десятилетка Колькина лопнула. Колька вечером сажал дочку на скамеечку во дворе и играл ей на гармошке, и пел, кривляясь:

Моя мечта не струйка дыма,
Что тает вдруг в сиянье дня;
Но вы прошли с улыбкой мимо
И не заметили меня.

Дочка смеялась, а Кольке впору было заплакать злыми, бессильными слезами. Он бы и уехал в деревню, но как подумает, что тогда он лишится дочери, так... Нет, это было

выше сил, будь они хоть трижды сибирские — крепкие, способные вынести многое. Все что угодно, только не это.

Полгода назад приезжала к ним мать Колькина. Валя приняла ее вежливо, но мать все равно боялась ее, лишний шаг боялась ступить по квартире, боялась внучку на руки взять... Колька исказнился, глядя на мать. Когда они остались одни, он упрекнул ее:

— Мам, ты чо это?

— Чо?

— Да какая-то... внучку на руки даже не взяла.

— Да боюсь я, сынок, чо-нибудь не так сделаю.

— Ну, ты уж какая-то...

— Да ничо, чо ты? Посмотрела вот — и слава богу. Хорошо живешь-то, сынок, хорошо. Куда с добром!.. Слава те господи! И живи. Она бабочка-то ничо, с карахтером, правда, но такая-то лучше, чем размазня какая-нибудь. Хозяйка. Живите с богом.

Так и уехала мать с мыслью, что сын живет хорошо.

Когда супруги после ее отъезда поругались из-за чего-то, Валя куснула мужа в больное:

— Что же мамочка-то твоя?.. Приехала и сиди-ит, как... эта... Ни обед ни разу не сготовила, ни с внучкой не погуляла... Барыня кособокая.

Колька впервые тогда шваркнул жену по загривку. Она, ни слова не говоря, умотала к своим. Колька взял Нину, пошел в магазин, выпил, пришел домой и стал ждать. И когда явились тесть с тещей, вроде не так тяжко было толковать с ними.

— Ты смотри, смотри-и, парень! — говорили в два голоса тесть и теща и стучали пальцами по столу.— Ты смотри-и!.. Ты — за рукоприкладство-то — в один миг вылетишь из Москвы. Нашелся!.. Для тебя мы ее ростили, чтоб ты руки тут распускал?! Не дорос! С ней вон какие ребята дружили, инженеры, не тебе чета...

— Что же вы сплоховали? Надо было хватать первого попавшего и в загс — инженера-то. Или они хитрей вас оказались? Удовольствие получили — и в кусты? Как же вы так, лопухнулись?

Тут они поперли на него в три голоса.

— Кретин! Сволочь!

— А вот мы счас милицию! А вот мы счас милицию вызовем!..

— Живет на все готовенькое, да еще!.. Сволочь!

— Голодранец поганый!

— Крстин!

Дочка Нина заплакала. Колька побелел, схватил топорик, каким мясо рубят, пошел на тестя, на жену и на тещу. Негромко, но убедительно сказал:

— Если не прекратите орать, я вас всех, падлы... Всех уложу здесь!

С того раза поняли супруги Паратовы, что их жизнь безнадежно дала трещину. Они даже сделали вид, что им как-то легче обоим стало, вольнее. Валя стала куда-то уходить вечерами.

— Куда это? — спрашивал Колька, прищемив боль зубами.

— К заказчикам.

Спали, впрочем, вместе.

— Ну как заказчики? — интересовался ночью Колька, и похлопывал жену по мягкому телу, и смеялся — не притворялся, действительно смех брал, правда, нервный какой-то смех.

— Дурачок,— спокойно говорила Валя.— Не думай — не из таких.

— Вы не из таких,— соглашался Колька,— вы из таковских.

Бывало, что по воскресеньям они втроем — с дочкой — ездили куда-нибудь.

Раза три ездили на ВДНХ. Заходили в шашлычную, Колька брал шашлыки, бутылку хорошего вина, конфет дочери... Вкусно обедали, попивали вино. Колька украдкой взглядывал на жену, думал: "Что мы делаем? Что делаем, два дурака?! Можно же хорошо жить. Ведь умеют же другие!"

Смотрели на выставке всякую всячину. Колька любил смотреть сельхозмашины, подолгу простаивал перед тракторами, сеялками, косилками... Мысли от машин перескакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, прекрасно понимал: то, как он живет,— это не жизнь, это что-то нелепое, постыдное, мерзкое... Руки отвыкают от работы, душа высыхает — бесплодно тратится на мелкие, мстительные, едкие чувства. Пить научился с торгашами. Поработать не поработают, а бутылки три-четыре "раздавят" в подвале (к грузчикам еще пристегнулись продавцы — мясники, здоровые лбы, беззаботные, как колуны). Что же дальше? Дальше — плохо. И чтобы не вглядываться в это отвратительное "дальше", он начинал думать о своей деревне, о матери, о реке... Думал на работе, думал дома, думал днем,

думал ночами. И ничего не мог придумать, только травил душу, и хотелось выпить.

"Да что же?! Оставляют же детей! Виноват я, что так получилось?"

Люди давно разошлись по домам... А Колька сидит, тихонько играет — подбирает что-то на слух, что-то грустное. И думает, думает, думает. Мысленно он исходил свою деревню, заглянул в каждый закоулок, посидел на берегу стремительной чистой реки... Он знал, если он приедет один, мать станет плакать: это большой грех — оставить дите родное, станет просить вернуться, станет говорить... О господи! Что делать?

Окно на третьем этаже открывается.

— Ты долго там будешь пилить? Насмешил людей, а теперь спать им не даешь. Кретин. Тебя же счас во всех квартирах обсуждают!

Колька хочет промолчать.

— Слышишь, что ли? Нинка не спит!.. Клоун чертов.

— Закрой поддувало. И окно закрой — она будет спать.

— Кретин.

— Падла.

Окно закрывается. Но через минуту снова распахивается.

— Я вот расскажу кому-нибудь, как ты мечтал на выставке: "Мне бы вот такой маленький трактор, маленький комбайник и десять гектар земли". Кулачье недобитое. Почему домой-то не поехал? В колхоз неохота идти? Об единоличной жизни мечтаете с мамашей своей... Не нравится вам в колхозе-то? Заразы. Мещаны.

Самое чудовищное, что жена Валя знала: отец Кольки и дед, и вся родня — бедняки в прошлом и первыми вошли в колхоз, Колька ей рассказывал.

Колька ставит гармонь на скамейку... Хватит! Надо вершить стог. Эта добровольная каторга сделает его идиотом и пьяницей. Какой-то конец должен быть.

Скоро преодолел он три этажа. Влетел в квартиру. Жена Валя, зачуяв недоброе, схватила дочь на руки.

— Только тронь! Только тронь посмей!..

Кольку било крупной дрожью.

— П-положь ребенка,— сказал он, заикаясь.

— Только тронь!

— Все равно я тебя убью сегодня.— Колька сам подивился — будто не он сказал эти страшные слова, а кто-то другой, сказал обдуманно.— Дождалась ты своей участи... Не хотела

жить на белом свете? Подыхай. Я тебя этой ночью казнить буду.

Колька пошел на кухню, достал из ящика стола топорик... Делал все спокойно, тряска унялась. Напился воды... Закрыл кран. Подумал, снова зачем-то открыл кран.

— Пусть течет пока,— сказал вслух.

Вошел в комнату. Вали не было. Зашел в другую комнату — и там нет.

— Убежала.— Вышел на лестничную площадку, постоял... Вернулся в квартиру.— Все правильно...

Положил топорик на место... Походил по кухне. Достал из потайного места початую бутылку водки, налил стакан, бутылку опять поставил на место. Постоял со стаканом... Вылил водку в раковину.

— Не обрадуетесь, гады.

Сел... Но тотчас встал — показалось, что на кухне очень мусорно. Он взял веник, подмел.

— Так? — спросил себя Колька.— Значит, жена мужа в Париж провожала? — Закрыл окно, закрыл форточку. Закрыл дверь. Закурил, курнул раза три подряд поглубже, загасил папиросу. Взял карандаш и крупно написал на белом краешке газеты: "Доченька, папа уехал в командировку".

Положил газетку на видное место... И включил газ, обе горелки...

Когда рано утром пришли Валя, тесть и теща, Колька лежал на кухне, на полу, уткнувшись лицом в ладони. Газом воняло даже на лестнице.

— Скотина! И газ не...— Но тут поняла Валя. И заорала.

Теща схватилась за сердце.

Тесть подошел к Кольке, перевернул его на спину.

У Кольки не успели еще высохнуть слезы... И чубарик его русый был смят и свалился на бочок. Тесть потряс Кольку, приоткрыл пальцами его веки... И положил тело опять в прежнее положение.

— Надо... это... милицию.

ОРАТОРСКИЙ ПРИЕМ

Тринадцать человек совхозных — молодых мужиков и холостых парней — направили "на кубы" (на лесозаготовки). На три-четыре недели — как управятся с нормой. Старшим

назначили Александра Щиблетова. Директор совхоза, напутствуя отъезжающих, пошутил:

— Значит, Щиблетов... ты, значит, теперь Христос, а это — твои апостолы.

"Апостолы" засмеялись. "Христос" сдержанно, с достоинством улыбнулся. И тут же, в конторе, показал, что его не зря назначили старшим.

— Сбор завтра в семь ноль-ноль, возле школы,— сказал он серьезно.— Не опаздывать. Ждать никого не будем.

Директор посмотрел на него несколько удивленно. "Апостолы" переглянулись между собой... Щиблетов сказал директору "до свидания" и вышел из конторы с видом человека, выполняющего неприятную обязанность, но которую, он понимает, выполнять надо.

— Вот, значит, э-э... чтобы все было в порядке,— сказал директор.— Через недельку приеду попроведаю вас.

"Апостолы" вышли из конторы и, прежде чем разойтись по домам, остановились покурить в коридоре. Потолковали немного.

— Щиблетов-то!.. Понял? Уже — хвост трубой!

— Да-а... Любит это дело, оказывается.

— Разок по букварю угодить чем-нибудь — враз разлюбит,— высказался Славка Братусь, маленький мужичок, с маленьким курносым лицом, муж горбатой жены.

— Ты лучше иди делай восхождение на Эльбрус,— мрачновато посоветовал Славке Борис Куликов, грузный, медлительный, славный своим бесстрашием, которое дважды приводило его на скамью подсудимых.

— А ты иди похмелись,— огрызнулся Славка.

— Золотые слова и вовремя сказаны,— прогудел Борис и отвалил в сторону сельмага.

Разошлись, и все — кто куда.

В семь ноль-ноль к школе пришел один Щиблетов. Он был в бурках, в галифе, в суконной "москвичке" (полупальто на теплой подкладке, с боковыми карманами), в кожаной шапке. Морозец стоял крепкий: Щиблетов ходил около машины с крытым верхом, старался не сжиться. Место он себе предусмотрительно занял в кабине, положив узел на сиденье.

Щиблетов Александр Захарович — сорокалетний мужчина, из первых партий целинников, оставшийся здесь, кажется, навсегда. Он сразу взял ссуду и поставил домик на берегу реки. В летние месяцы к нему приезжала жена... или кто она ему — непонятно. По паспорту — жена, на деле — какая же это жена, если живет с мужем полтора месяца в году?

Сельские люди не понимали этого, но с расспросами не лезли. Редко кто по пьяному делу интересовался:

— Как вы так живете?

— Так...— неохотно отвечал Щиблетов.— Она на приличном месте работает, не стоит уходить.

Темнил что-то мужичок, а какие мысли скрывал, бог его знает. За эту скрытность его недолюбливали. Он был толковый автослесарь, не пил, правильно выступал на собраниях, любил выступать, готовился к выступлениям, выступая, приводил цифры, факты. Фамилии, правда, называл осторожно, больше напирал на то, что "мы сами во многом виноваты..." С начальством был сдержанно-вежлив. Не подхалимничал, нет, а все как будто чего-то ждал большего, чем только красоваться на Доске почета.

Старшим его назначили впервые.

— Не спешат друзья,— сказал Щиблетов.

— Придут,— беспечно откликнулся шофер и сладко, с хрустом потянулся. И завел мотор.— Иди погрейся, что ты там топчешься.

— Придут-то, я знаю, что придут,— Щиблетов полез в кабину,— но было же сказано: в семь ноль-ноль.

— Счас придут. Ты за бригадира, что ли?

— Да.

— Счас придут. Вон они!..

Стали подходить "апостолы". Щиблетов вылез из кабины.

— Друзья!..— Он выразительно постучал ногтем указательного пальца по стеклышку часов и покачал головой.

— Успеем,— успокоили его.

Куликов пришел последним. Он, видно, хорошо опохмелился на дорожку, настроение приподнятое.

— Здорово, орлы! — приветствовал он всех. И отдельно Щиблетову: — Но не те, которые летают, а которые... это самое клюют.

— Залезайте,— несколько даже брезгливо велел Щиблетов.

— Зале-езем, куда мы денемся,— гудел Куликов, не обратив внимания на брезгливость Щиблетова.— Залезем... за милую душу.

— Ко всем обращаюсь! — возвысил голос Щиблетов, глядя в кузов через задний борт.— Чтобы вот такого больше не повторялось!

У "апостолов" вытянулись лица — чего не повторялось?

— Я предупредил вчера: отъезд в семь ноль-ноль. Сейчас... без четверти восемь. Каждое опоздание буду фиксировать. Ясно?

"Апостолы" от изумления потеряли дар речи... Смотрели на Щиблетова. Щиблетов не стал дожидаться, пока они своими чалдонскими мозгами сообразят, что ответить, скрипуче повернулся, кашлянул в кулак и пошел в кабину.

— Поехали.

Поехали.

— Куликов частенько закладывает? — поинтересовался Щиблетов, как интересуются властью наделенные люди: никак не угрожая пока, но и не убирая в голосе обещанную интонацию — заняться в дальнейшем этим Куликовым.

— А ты спроси у него,— невежливо ответил шофер.— Он ответит... Что за манера — справки наводить! Рядом же человек, живой — спрашивай.

Щиблетов промолчал. Смотрел вперед на дорогу, серьезный и озабоченный.

На выезде из села, у чайной, в кабину застучали.

— Чего они? — встревожился Щиблетов.

— Погреться хотят.— Шофер подрулил к чайной.— Это здесь тепло, а в кузове продерет — дорога длинная.

— Не останавливайся! — строго сказал Щиблетов.

Шофер посмотрел на него, засмеялся, ничего не сказал, вылез из кабины, крепко хлопнув дверцей. Из кузова выпрыгивали, весело галдели, направляясь к дверям чайной.

Щиблетов вдруг тоже выскочил из кабины и скорым шагом, обогнав "апостолов", зашел в чайную. Чайная только открылась, в ней еще прохладно, но в углу с гулом и треском топилась печь, пахло дымком и отогретыми сосновыми поленьями, которые большой кучей лежали перед печкой и парили, и парок тот, плавно загибаясь, уплывал в приоткрытую дверцу.

Буфетчица Галя, аппетитная женщина, улыбчивая, черноглазая, увидев в окно знакомых мужиков и парней, сказала весело:

— Орава идет.

Она удивилась, когда Щиблетов, стремительно подойдя к стойке, приказал:

— Водку не продавать. В крайнем случае — по стакану красного.

Ввалилась орава. Загалдели.

Кто-то вслух прочитал укоряющую надпись на большом щите: "Напился пьяный — сломал деревцо: стыдно людям смотреть в лицо!"

Над надписью — рисунок: безобразный алкаш сломал тоненькую березку и сидит, ни на кого не глядит.

— Горюет!.. Жалко.

— Тут голову сломаешь, и то никому не жалко,— сказал Борька Куликов, отсчитывая на огромной ладони рубль с мелочью — на стакан водки.

С Галей весело здоровались, рылись в карманах.

— Мужики, а водки не велено вам продавать.— Хитрая Галя нарочно сказала это громко, чтоб сразу все слышали.

— Кто? — спросили в несколько голосов.

— А вот... товарищ... Я не знаю, кто он над вами,— не велел продавать.

— Друзья,— обратился ко всем Щиблетов,— разрешаю по стакану красного!.. Традиции перед дорогой не будем нарушать, но обойдемся красненьким.

Борька Куликов как считал на ладони мелочь, так, не поднимая головы, уставился на Щиблетова — никак не мог уразуметь, что он такое говорит.

— Чего, чего?

— Водку пить не разрешаю.

Борька сунул деньги в карман и двинулся на Щиблетова. Так примерно он зарабатывал себе срок. Причем его не интересовало, сколько перед ним человек: один или семеро. Щиблетова подхватил под руку Иван Черных, из мужиков постарше, и повел из чайной. На крыльце Щиблетов вспомнил, что он тоже, черт возьми, мужчина: отнял руку...

— А в чем дело, вообще-то? Он что, чокнутый на одно ухо?

— Пошли,— сказал Иван, увлекая его к машине.— А то он так чокнет, что получится — на два уха. Садись в кабину и сиди. И не строй из себя. По сто пятьдесят все выпьют... Я тоже.

— Что, дома, что ли, не могли выпить?

— Дома не могли. Тебе хорошо — один живешь... Сиди, не рыпайся — лучше будет.

Почти всю дорогу потом Щиблетов молчал, смотрел вперед. В кузове Борька Куликов орал:

К нам в гавань заходили корабли;
Уютна и прекрасна наша гавань.
В таверне веселились моряки
И пили за здоровье атамана!

— Валенок сибирский,— зло и насмешливо прошептал Щиблетов.— В таверне!.. Хоть бы знал, что это такое.

А в кузове угрожающе нарастало:

И в воздухе блеснули два ножа:
— Эх, братцы, он не наш, не с океана!
— Мы, Гари, посчитаемся с тобой! —
Раздался пьяный голос атамана.

— Посчитаешься, посчитаешься,— шептал Щиблетов.

Как приехали на место, поскидали барахло в избушку, затопили печь, Щиблетов объявил:

— Сейчас проведем коротенькое производственное собрание!

Щиблетова приготовились слушать, расселись на нарах — собрание есть собрание, дело такое. Щиблетов положил на стол тетрадь, авторучку (заранее приготовил), покашлял в кулак.

— Я попрошу шофера пока не уезжать — отвезешь протокол... Я думаю, что я его сам составлю. Возражений нет?

— Валяй.

Щиблетов еще покашлял в кулак.

— На повестке дня нашего собрания два вопроса. Буду по порядку. Первый вопрос: наша задача в связи с предстоящей работой по заготовке леса. Вы знаете, товарищи, что лес мы должны повалить, очистить от сучков... В общем, приготовить его к весеннему сплаву. Нам дается сроку — четыре недели, месяц. В связи с этим я предлагаю взять на себя соцобязательство и повалить необходимое количество леса за две с половиной недели.

— Вон как!

— Что эт тебе, бабу повалить?

— Как получится, так получится! Для чего раньше времени трепаться?

Щиблетов помахал рукой, успокаивая мужиков.

— Спокойно, спокойно. Поясню: хоть мы и небольшой коллектив и находимся на приличном расстоянии от основной базы, это все равно остается наш коллектив, со своей

дисциплиной, со своей маленькой, но системой планирования. И нам никто не позволит ломать эту систему. Предлагаю голосовать.

Проголосовали. Приняли.

— Перехожу ко второму вопросу,— продолжал Щиблетов, воодушевленный правильным ходом собрания.— Вопрос о Куликове.

В избушке стало тихо.

Сам Куликов задремал было, пригревшись у печки, но тут встряхнулся, тоже уставился на Щиблетова.

— Формулирую: Куликов сразу же, с первых шагов неправильно повел себя в нашем коллективе. Я сам не святой, но существует предел всякому безобразию. Куликов об этом забыл. Мы ему напомним. Есть нормы поведения советских людей, и нам никто не позволит нарушать их.— Щиблетов набирал высоту: речь его текла свободно, он даже расстегнулся и снял "москвичку".— Представьте себе другое положение: мы дрейфуем на льдине. И среди нас завелся один... субъект, который мутит воду. Все горят желанием взять правильный курс, а этот субъект явно тормозит... И подбивает других. Ставлю вопрос честно и открыто: что делать с этим субъектом?

— В воду! — подсказал Славка Братусь.

— В воду! — подхватил Щиблетов.— Для того чтобы всем спастись и взять правильный курс, необходимо вырвать из сердца всякую жалость и столкнуть ненужный элемент в воду.

Потом, вспоминая это собрание, мужики говорили, что они не успели "глазом моргнуть", "опомниться"... Врали, черти. То есть не то чтоб сознательно врали — вводили в заблуждение, а отдавали должное быстроте, с какой Борька Куликов оказался возле Щиблетова и с вопросом: "Это меня — в воду?" — навесил ему пудовую оплеуху. Щиблетов успел крикнуть: "Дурак, это ораторский прием!" Но остановить Борькины кулаки он не мог. Борьку остановили мужики, да и то когда навалились все.

Щиблетов уехал с шофером обратно в село и больше не приезжал. Приезжал директор совхоза, дал всем разгон, а Куликову сказал, чтобы он "сушил сухари" — дескать, будет суд. Но в субботу лесорубам привозили харчи и передали, что Щиблетов в суд не подал, а подал директору... протокол собрания, где в точности записана речь, за которую пострадал.

ОБИДА

Сашку Ермолаева обидели.

Ну, обидели и обидели — случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни — это тоже, знаете... роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие — вещь не из рыцарского сундука, зато безопасно. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно... Валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить.

Но — к делу.

Что случилось?

В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал: "Маша, пойдешь со мной?" — дочери.

— Куда? Гагазинчик? — обрадовалась маленькая девочка.

— В магазинчик. Молочка купим. А то мамка ругается, что мы в магазин не ходим, пойдем сходим.

— В кои-то века!— сказала озабоченная "мамка".— Посмотрите там еще рыбу — нототению. Если есть, возьмите с полкило.

— Это дорогая-то?

— Ничего, возьми,— я ребятишкам поджарю.

И Саша с Машей пошли в "гагазинчик".

Взяли молока, взяли масла, пошли смотреть рыбу нототению. Пришли в рыбный отдел, а там за прилавком — тетя.

Тетя была хмурая — не выспалась, что ли. И почему-то ей показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло:

— Ну, как — ничего?

— Что "ничего"? — не понял Сашка.

— Помнишь вчерашнее-то?

Сашка удивленно смотрел на тетю...

— Чего глядишь? Глядит! Ничего не было, да? Глядит, как Исусик...

Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого "Исусика".

— Слушайте,— сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды.— Вы, наверно, сами с похмелья?.. Что вчера было?

Теперь обиделась тетя. Она засмеялась.

— Забыл?

— Что я забыл? Я вчера на работе был!

— Да! И сколько плóтют за такую работу? На работе он был. Да еще стоит рот разевает: "С похмелья"! Сам не проспался еще.

Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже когда и выпивал... И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери... Это при дочери его так! Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того — несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она, в самом деле, извиняться перед кем попало. С какой стати?

— Где у вас директор? — самое сильное, что пришло Сашке на ум.

— На месте,— спокойно сказала тетя.

— Где на месте-то? Где его место?

— Где положено, там и место. Для чего тебе директор-то? "Где директор"! Только и делов директору — с вами разговаривать! — Тетя повысила голос, приглашая к скандалу других продавщиц и покупателей старшего поколения.— Директора ему подайте! Директор на работу пришел, а не с вами объясняться. Нет, видите ли, дайте ему директора!

— Что там, Роза? — спросили тетю другие продавщицы.

— Да вот директора — стоит требует! Вынь да положь директора! Фон-барон. Пьянчуги.

Сашка пошел сам искать директора.

— Какая тетя... плохая,— сказала Маша.

— Она не плохая, она...— Сашка не стал при ребенке говорить, какая тетя. Лицо его горело, точно ему ни за что ни про что публично надавали пощечин.

В служебном проходе ему загородил было дорогу парень — мясник.

— Чего ты волну-то поднял?

Но ему-то Сашка нашел, что сказать. И, видно, в глазах у Сашки стояло серьезное чувство — парень отшагнул в сторону.

— Я не директор,— сказала другая тетя, в кабинетике.— Я — завотделом. А в чем дело?

— Понимаете,— начал Сашка,— стоит... и начинает ни с того ни с сего... За что?

— Вы спокойнее, спокойнее,— посоветовала завотделом.

— Я вчера весь день был на работе... Я даже в магазине-то не был! А она начинает: я, мол, чего-то такое натворил у вас в магазине. Я и в магазине-то не был!

— Кто говорит?

— В рыбном отделе стоит.

— Ну, и что она?

— Ну, говорит, что я что-то такое вчера натворил в магазине. Я вчера и в магазине-то не был.

— Так что же вы волнуетесь, если не вы натворили? Не вы и не вы — и все.

— Она же хамить начала! Она же обзывается!..

— Как обзывается?

— Исусик, говорит.

Завотделом засмеялась. У Сашки опять свело челюсть. У него затряслись губы.

— Ну, пойдемте, пойдемте... что там такое — выясним,— сказала завотделом.

И завотделом, за ней Сашка появились в рыбном отделе.

— Роза, что тут такое? — негромко спросила завотделом.

Роза тоже негромко — так говорят врачи между собой при больном о больном же, еще на суде так говорят и в милиции — вроде между собой, но нисколько не смущаются, если тот, о ком говорят, слышит.— Роза негромко пояснила:

— Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнила — сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал!..

Сашку опять затрясло. Он, как этот... и трясся все утро, и трясся. Нервное желе, елки зеленые. А затрясло его опять потому, что завотделом слушала Розу и слегка — понимающе — кивала головой. И Роза тоже говорила не зло, а как говорят про дела известные, понятные, случающиеся тут чуть не каждый день. И они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как "делать возмущенный вид".

Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным.

— А при чем здесь этот ваш говорок-то? — спросил он.

Завотделом и Роза не посмотрели на него. Разговаривали.

— А что сделал-то?

— Ну, выпил — не хватило. Пришел опять. А время вышло. Он — требовать...

— Звонили?

— Любка пошла звонить, а он, хоть и пьяный, а сообразил — ушел. Обзывал нас тут всяко...

— Слушайте,— вмешался опять в их разговор Сашка.— Да не был я вчера в магазине! Не был! Вы понимаете?

Роза и завотделом посмотрели на него.

— Не был я вчера в магазине, вы можете это понять?! Я же вам русским языком говорю: я вчера в магазине не был!

Роза с завотделом смотрели на него, молчали.

— А вы начинаете тут!.. Да еще этот разговорчик — стоят, вроде им все понятно. А я и в магазине-то не был!

А между тем сзади образовалась уже очередь. И стали раздаваться голоса:

— Да хватит вам: был, не был!

— Отпускайте!

— Но как же так? — повернулся Сашка к очереди.— Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают! Вы-то что?!

Тут выступил один пожилой, в плаще.

— Хватит — не был он в магазине! Вас тут каждый вечер — не пробьешься. Соображают стоят. Раз говорят, значит, был.

— Что вы, они вечерами никуда не ходят! — заговорили в очереди.

— Они газеты читают.

— Стоит — возмущается! Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то.

— Да вы что? — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что бесполезно. Глупо. Эту стенку из людей ему не пройти.

— Работайте,— сказали Розе из очереди.— Работайте спокойно, не обращайте внимания на всяких тут...

Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее:

— Водка начинает продаваться в десять часов! Рано пришел!

Сашка вышел на улицу, остановился, закурил.

— Какие дяди похие,— сказала Маша.

— Да, дяди... тети...— пробормотал Сашка.— Мгм...— Он думал, что бы сделать? Как поступить? Оставлять все в таком положении он не хотел. Не мог просто. Его опять трясло. Прямо трясун какой-то!

Он решил дождаться этого в плаще. Поговорить. Как же так? Спросить: до каких пор мы сами будем помогать хамству? И с какой стати выскочил он таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хаму — угодить во что бы то ни

стало! Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто нам их не завез, не забросили на парашютах. Сами! Пора же им укорот сделать. Они же уже меры не знают...

Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот, в плаще.

— Слушайте,— двинулся к нему Сашка,— хочу поговорить с вами...

Плащ остановился, недобро уставился на Сашку.

— О чем нам говорить?

— Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я правда не был вчера в магазине...

— Иди, проспись сперва! Понял? Он будет еще останавливать... "Поговорить". Я те поговорю! Поговоришь у меня в другом месте!

— Ты что, взбесился?

— Это ты у меня взбесишься! Счас ты у меня взбесишься, счас... Я те поговорю, подворотня чертова!

Плащ прошуршал опять в магазин — к телефону, как понял Сашка.

Заговор какой-то! Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милиции. Ну ее... Был бы один, может, и дождался бы — интересно даже: чем бы все это кончилось?

Они пошли с Машей домой. Дорогой Сашка все изумлялся про себя, все не мог никак понять: что такое творится с людьми?

Девочка опять залопотала на своем маленьком, смешном языке. Сашку вдруг изумило и то, что она, крохотуля, почему-то смолкала, когда он объяснялся с дядями и тетями, а начинала говорить, только после того и говорила, что дяди и тети "похие", потому что нехорошо говорят с папой. Сашка взял девочку на руки, прижал к груди. Что-то вдруг аж слеза навернулась.

— Кроха ты моя... Неужели ты все понимаешь?

Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине... Но тут же расхотелось...

— А что, что случилось-то?

— Да, ладно, ну их. Нахамили, и все. Что — редкость диковинная?

Но зато он задумался о том человеке в плаще. Ведь — мужик, долго жил... И что осталось от мужика: трусливый подхалим, сразу бежать к телефону — милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать — никогда, нигде, никак — нехорошо, скверно... Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил? Что делал? Сашка

раньше видел этого человека, он из девятиэтажной башни напротив... Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры, его, наверное, знают... "Схожу! — решил Сашка.— Поговорю с человеком. Объясню, что правда же эта дура обозналась — не был он вчера в магазине, что зря он так — не разобравшись, полез вступаться... Вообще поговорю. Может, он одинокий какой".

— Пойду сигарет возьму,— сказал жене Сашка.

— Ты только из магазина?

— Забыл.

— Посмотри, может, мясо ничего? Если плохое, не бери — для ребятишек не могу ничего придумать. Надоела эта каша. Посмотри, может, чего увидишь!

— Ладно.

...Один парнишка узнал по описанию Чукалова.

— Он в тридцать шестой, Чукалов.

— Он один живет?

— Почему? Там бабка тоже живет. А что?

— Ничего. Мне надо к нему.

Дверь открыл сам хозяин — тот самый человек, кого и надо было Сашке. Чукалов его фамилия.

— Не пугайтесь, пожалуйста,— сразу заговорил Сашка,— я хочу объяснить вам...

— Игорь! — громко позвал Чукалов.

Он не испугался, нет, он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя — уперся темными, слегка выпуклыми глазами и был явно доволен. Ждал.

— Я хочу объяснить...

— Счас объяснишь. Игорек!

— Что там? — спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил.

Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился... Чукалов — то ли решил, что Сашка хочет уйти,— вдруг цепко, неожиданно сильной рукой схватил его за рукав. И темные глаза его близко вспыхнули злостью и радостно-скорой расправой. От него пахнуло водкой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтоб высвободить кожу, которую Чукалов больно защемил с рукавом рубашки.

— Игорь!

— Что? — Вышел Игорь, наверно, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами, здоровый, разгоряченный завтраком и водкой...

— Вот этот человек нахамил мне в магазине... Хотел избить.— Чукалов все держал Сашку за рукав.

Игорь уставился на Сашку.

— Да вы пустите меня, я ж не бегу,— попросил Сашка. И улыбнулся.— Я ж сам пришел.

— Пусти его,— велел Игорь. И вопросительно, пытливо, оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку.

Чукалов отпустил Сашкин рукав.

— Понимаете, в чем дело,— как можно спокойнее, интеллигентнее заговорил Сашка, потирая руку.— Нахамили-то мне, а ваш отец...

— А мой отец подвернулся под горячую руку. Так?

— Да почему?

— Специально дождался меня у магазина...

— Мне было интересно узнать, почему вы... подхалимничаете?

Дальше Сашка двигался рывками, быстро... Игорь сгреб его за грудки — этого Сашка никак не ждал от него,— раза два пристукнул головой об дверь, потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах — схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь.

Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось очень скоро. И так же скоро, ясно заработала голова. Какое-то очень короткое время стоял на лестнице... И быстро пошел вниз, почти побежал. В прихожей у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить — если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти...

Если откроет Игорек, еще лучше — проще. Вот довозмущался! Теперь унимай душу. Раньше бы ушел из магазина — ничего бы не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор: иначе он успеет толкнуть дверь оттуда и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня. Ах, славнецкий был отпуск с лестницы!.. Умеет этот Игорек, умеет... Тварь поганая. Деловой человек, хорошо кормленный.

Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел: по двору, из магазина, летит его Вера, жена,— простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги: он решил, что что-то случилось с детьми — с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть... Остановился. Вера сама увидела его, подбежала.

— Ты что? — спросила она заполошно

— Что?

— Ты опять захотел? Тебе опять неймется?! Чего ты затеваешь, с кем поругался?

— Ты чего?

— Какие дяди? Мне Маша сказала какие-то дяди. Какие дяди? Ты откуда идешь-то? Чего ты такой весь?

— Какой?

— Не притворяйся, Сашка, не притворяйся — я тебя знаю. Опять на тебе лица нету. Что случилось-то? С кем поругался?

— Да ни с кем я не ругался!..

— Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь... Где ты был?

Сашка молчал. Теперь, пожалуй, ничего не выйдет. Он долго стоял, смотрел вниз — ждал: пройдет само собой то, что вскипело в груди, или надо через все проломиться с молотком к Игорю?..

— Сашка, милый, пойдем домой, пойдем домой, ради бога,— взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа.— Пойдем, домой, там малышки ждут... Я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай.— Вера взяла мужа за руку: — Неужели тебе нас не жалко?

У Сашки навернулись на глаза слезы... Он нахмурился. Сердито кашлянул. Достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил.

— Вон руки-то ходуном ходют. Пойдем.

Сашка легким движением высвободил руку...

— Эх-х... Трясуны мы, трясуны! — И покорно пошел домой.

МОЙ ЗЯТЬ УКРАЛ МАШИНУ ДРОВ!

Веня Зяблицкий, маленький человек, нервный, стремительный, крупно поскандалил дома с женой и тещей.

Веня приезжает из рейса и обнаруживает, что деньги, которые копились ему на кожаное пальто, жена Соня все ухайдакала себе на шубу из искусственного каракуля. Соня объяснила так:

— Понимаешь, выбросили — все стали хватать. Ну, я подумала, подумала — и тоже взяла. Ничего, Вень?

— Взяла? — Веня зло сморщился.— Хорошо, хоть сперва подумала, потом уж взяла.— Венина мечта — когда-нибудь надеть кожанку и пройтись в выходной день по селу в ней нараспашку — отодвинулась далеко.— Спасибо. Подумала об муже... твою мать-то.

— Чего ты?

— Ничего, все нормально. Спасибо, говорю.

— Чего лаешься-то?

— Кто лается? Я говорю, все нормально! Ты же вон какая оборванная ходишь, надо, конечно, шубу... Вы же без шубы не можете. Как это вам без шубы можно!.. Дармоеды.

Соня, круглолицая, толстомясая, побежала к матери жаловаться.

— Мам, ты гляди-ка, што он вытворяет — за шубу-то начал обзывать по-всякому! — Соне тридцать уже, а она все, как маленькая, бегала к маме жаловаться.— Дармоеды, говорит!

Из горницы вышла теща, тоже круглолицая, шестидесятилетняя, крепкая здоровьем, крепкая нравом, взглядом на жизнь,— вообще вся очень крепкая.

— Ты что это, Вениамин? — сказала она с укоризной.— Другой бы муж радовался...

— А я радуюсь! Я до того рад, что хоть впору заголиться да уточки две дать по селу — от радости.

— Если недопонимаешь, то слушай, што говорят! — повысила голос теща.— Красивая, нарядная жена украшает мужа. А уж тебе-то надо об этом подумать — не красавец.

Веня в самом деле не был красавцем (маловат ростом, худой, белобрысый... и вдобавок хромой: подростком был прицепщиком, задремал ночью на прицепе, свалился в борозду, и его шаркнуло плугом по ноге), и когда ему напоминали об этом — что не красавец,— Веню трясло от негодования.

— Ну да, вы-то, конечно, понимаете, как надо украшать людей! Вы уж двух украсили...— И тесть Вени, и бывший муж Сони — сидели. Тесть — за растрату, муж Сони — за пьяную драку. Слушок по селу ходил — Лизавета Васильевна, теща, помогла посадить и мужа и зятя.

— Молчать! — строго осадила Лизавета Васильевна.— А то договоришься у меня!.. Молокосос. Сопляк.

Веня взмыл над землей от ярости... И сверху, с высоты, скружил ястребом на тещу.

— А ты чего это голос-то повышаешь?! Ты чего тут голос-то повышаешь?! Курва старая...

Соня еще не поняла, что за это можно сажать. Она только очень обиделась за мать.

— Ох, молодой!..— воскликнула она.— Да тебе двадцать восемь, а от тебя уж козлиным потом пахнет.

Теща, напротив, поняла, что за это уже можно сажать.

— Так... Как ты сказал? Курва? Хорошо! Курва?.. Хорошо. При свидетелях.— Она побежала в горницу — писать заявление в милицию.— Ты у меня получишь за курву! — громко, с дрожью в голосе говорила она оттуда.— Ты у меня получишь!..

— Давай, давай, пиши, тебе не привыкать.— Веня слегка струсил вообще-то. Черт ее знает, она со всем районным начальством в знакомстве.— Тебе посадить человека — раз плюнуть.

— Я первые колхозы создавала, а ты мне — курва! — громко закричала теща, появляясь в дверях.

— А про меня в газете писали, што я, хромой,— на машине работаю! — тоже закричал Веня. И постучал себя в грудь кулаком.— У меня пятнадцать лет трудового стажу!

— Ничего, он тебе там пригодится.

Веню опять взорвало, он забыл страх.

— Где это там?! Где там-то, курва? Ты сперва посади!.. Потом уж я буду думать, где мне пригодится, а где не пригодится. Сажалка...

— Поса-адим,— опять с дрожью в голосе пообещала теща. И ушла писать заявление. Но тотчас опять вернулась и закричала: — Ты машину дров привез! Где ты ее взял?! Где взял?!

— Тебя же согревать привез...

— Где взял?! — изо всех сил кричала Лизавета Васильевна.

— Купил!

— На какие деньги? Ты всю получку домой отдал! Ты их в государственном лесу бесплатно нарубил! Ты машину дров украл!

— Ладно, допустим. А чего же ты сразу не заявила? Чего ж ты — жгла эти дрова и помалкивала?

— Я только сейчас это поняла — с кем мы живем под одной крышей.

— Э-э... завиляла хвостом-то. Если уж садиться, так вместе сядем: я своровал, а ты пользовалась ворованным. Мне — три года, тебе — полтора, как минимум. Вот так. Мы тоже законы знаем.

— Не-ет, ты их еще не знаешь!.. Вот посидишь там, тогда узнаешь.

Теща в самом деле ездила с заявлением в район, в милицию. Но про машину дров, как видно, не сказала. Ей там посоветовали обратиться с жалобой в дирекцию совхоза, так как налицо пока что — домашняя склока, не больше. Нельзя же, в самом деле, сразу, по первому же заявлению, привлекать человека к уголовной ответственности. Вот если это повторится, и если он будет в пьяном виде... Лизавета Васильевна побежала в дирекцию. Веню вызвали.

Перед заместителем директора, молодым еще человеком, которого Веня уважал за башковитость, лежало заявление тещи.

— Ну, что там у вас случилось? Жалуются вот...

— Жалуются!.. Сами одетые, как эти... все есть! — стал честно рассказывать Веня.— А у меня — вот што на мне, то и все тут. Хотел раз в жизни кожан купить за сто шестьдесят рублей, накопили, а она себе взяла шубку купила. А у самой зимнее пальто есть хорошее.

— Ну, а обзывал-то зачем? Матерился-то зачем?

— Тут любого злость возьмет! Копил, копил, елки зеленые!.. После бани четвертинку жадничал выпить, а она шубу купила! И, главное, пальто же есть! Если бы хоть не было, а то ведь пальто есть! А чего она тут пишет?

— Да пишет... много пишет.

Тут-то понял Веня, что про машину дров теща умолчала.

— Пишет, што она коллективизацию делала?

— Ну, пишет... Ты все-таки это... не надо — пожилой человек... Ну, купила! Она же тоже работает, жена-то.

— Она шестьдесят рублей приносит, в тепле просиживает, а я, самое малое, сто двадцать — выше нормы вкалываю. Да мне не жалко! Но хоть один-то раз надо же и мне тоже чего-нибудь взять! Они бы хоть носили! А то купят — и в сундук. А тут... на люди стыд показываться.

Замдиректора не знал, что делать. Он верил, Венина правда — вся тут.

— Все равно не надо, Вениамин. Ведь этим же ничего не докажешь. Поговори с женой... Что она? Поймет же она — молодая женщина.

— Да она-то што!.. Она голоса не имеет. Там эта вот,— Веня кивнул на заявление,— всем заправляет.

В общем, поговорили в таком духе, и Веня вышел из конторы с легкой душой. Но обида и злость на тещу не убавились, нет.

"Вот же ж тварь,— думал он, — посадит и глазом не моргнет. Сколько злости в человеке! Всю жизнь жила, и всю жизнь злилась. Курва... На кой черт тогда и родиться такой?"

Тут встретился ему — не то что дружок — хороший товарищ Колька Волобуев.

— Чего такой? — Колька как-то странно всегда говорит — почти не раскрывая рта. И смотрит на всех снисходительно, чуть сощурив глаза. Характер у парня.

— Какой?

— Какой-то... Как воробей подстреленный. Откуда прыгаешь-то?

— Из конторы.— И Веня все рассказал — как он умылся с кожаном, как поскандалил дома и как его теща хотела посадить.

— Двух сожрала — мало, — процедил Колька.— Пошли выпьем.

Веня с удовольствием пошел.

Когда выпили, Колька, прищурив холодновато-серые глаза, стал учить Веню:

— Вливание надо делать. Только следов не оставляй. А то они заклюют тебя. Старуха полезет, шугани старуху разок-другой... А то они совсем на тебя верхом сядут. Как ишак работаешь на них...

У Вени мстительно взыграла душа... Вспомнились разом все обиды, какие нанесла ему Соня: как долго не хотела выходить за него, как манежила и изводила у своих ворот: ни "да", ни "нет", как... Нет, надо, в самом деле, все поставить на свое место. Какой он, к черту, хозяин в доме! Ишак, правильно Колька сказал.

— Пойду сала под кожу кое-кому залью,— сказал он. И скоро похромал домой. И нес в груди тяжелое, злое чувство.

"Нашли дурачка!.. Сволочи. Еще по милициям бегает! Курва".

Сони не было дома.

— А где она? — спросил Веня.

— А я откуда знаю,— буркнула теща. Уборщица из конторы успела сообщить ей, что Веню особенно-то и не пугали. (Странное дело: Лизавета Васильевна пять лет как уже не работала, а иные с ней считались, бегали наушничать, даже побаивались.) — Она мне не докладает.

— Разговорчики! — крикнул Веня с порога.— Слишком много болтаем!

Лизавета Васильевна удивленно посмотрела на зятя:

— Что такое? Ты, никак, выпил?

Вене пришла в голову занятная мысль. Он вышел во двор, нашел в сарае молоток, с десяток больших гвоздей... Положил это все в карман и вошел снова в дом.

— Что там за материал лежит? — спросил он миролюбиво.

— Какой материал? Где? — живо заинтересовалась теща.

— Да в уборной... Подоткнут сверху. Красный.

Теща поспешила в уборную. Веня — за ней.

Едва теща зашла в уборную, Веня запер ее снаружи на крючок. Потом стал заколачивать дверь гвоздями.

Теща закричала.

— Посиди малость, подумай,— приговаривал Веня.— Сама любишь людей сажать? Теперь маленько спробуй на своей шкуре.— Вогнал все гвозди и сел на крыльцо поджидать Соню.

— Карау-ул!! — вопила Лизавета Васильевна.— Люди добрые, спасите! Спасите! Люди добрые!.. Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! Мой зять украл машину дров! — наладилась теща.

Веня пригрозил:

— Будешь орать — подожгу.

Теща замолчала. Только всхлипнула:

— Ну, Венька!..

— Угрожать?

— Я не угрожаю, ничего я не угрожаю, но спасибо тебе за это не скажут!

Вене попался на глаз кусок необожженной извести. Он поднял его и написал на двери уборной:

"Заплонбировано 25 июля 1969 г. Не кантавать".

— Ну, Венька!..

— Счас я еще Соню твою подожду... Счас она у меня будет пятый угол искать. В каракуле. Вы думали, я вам ишак бессловесный? Сколько я в дом получек перетаскал, а хоть один костюмишко маломальский купили мне?

— Ты же пришел на все готовенькое.

— А если б я голый совсем пришел, я бы так и ходил голый? Неужели же я себе хоть на рубаху не заработал? Ты людей раскулачивала... Ты же сама первая кулачка! У тебя от добра сундуки ломаются.

— Не тобой нажито!

— Я — тобой? Для кого мужик воровал-то? А когда он не нужен стал, ты его посадила. Вот теперь посиди сама. Будешь сидеть трое суток. Возьму ружье и никого не подпущу. Считай, что я тебя посадил в карцер. За плохое поведение.

— Ну, Венька!

— Вот так. И не ори, а то хуже будет.

— Над старухой так изгаляться!..

— Ты всю жизнь над людьми изгалялась — и молодая и старая.

Веня еще подождал Соню, не дождался, не утерпел — пошел искать ее по селу.

— Сиди у меня тихо! — велел теще.

В тот день Веня, к счастью, не нашел жену. Тещу выпустили из "карцера" соседи.

Суд был бурный. Он проходил в клубе — показательный.

Теща плакала на суде, опять говорила, что она создавала первые колхозы, рассказывала, какие она претерпела переживания, сидя в "карцере",— ей очень хотелось посадить Веню. Но сельчане протестовали. И старые и молодые говорили, что знают Веню с малых лет, что рос он сиротой, всегда был послушный, никого никогда пальцем не трогал... Наказать, конечно, надо, но — не в тюрьму же! Хорошо, проникновенно сказал Михайло Кузнецов, старый солдат, степенный, уважаемый человек, тоже давно пенсионер.

— Граждане судьи! — сказал он. — Я знал отца Венькиного — он пал смертью храбрых на поле брани. Мать Венькина надсадилась в колхозе — померла. Сам Венька с десяти лет пошел работать... А гражданка Киселева... она вот счас плачет: знамо, сидеть на старости лет в туалете — это никому не поглянется — но все же она в своей жизни трудностей не знала. Да и теперь не знаешь — у тебя пенсия-то поболе моей, а я весь израненный, на трех войнах отломал...

— Я из бедняцкой семьи! — как-то даже с визгом воскликнула Лизавета Васильевна.— Я первые колхозы...

— И я тоже из бедняцкой,— возразил Михайло.— Ты первая организовала колхоз, а я первый пошел в него. Какая твоя особая заслуга перед обчеством? В войну ты была председателем сельпо — не голодала, это мы тоже знаем. А парень сам себя содержал, своим трудом... это надо ценить. Нельзя так. Посадить легко, каково сидеть!

— У него одних благодарностей штук десять! Его каждый праздник отмечают как передового труженика! — выкрикнули из зала.

Но тут встал из-за стола представительный мужчина, полный, в светлом костюме. Понимающе посмотрел в зал. Да как пошел, как пошел причесывать! Говорил, что преступление всегда — а в данном случае и полезней — лучше наказать малое, чем ждать большого. Приводил примеры, когда вот такие вот, на вид безобидные, пареньки пускали в ход ножи...

— Где уверенность, я вас спрашиваю, что он, обозленный теперь, завтра снова не напьется и не возьмет в руки топор? Или ружье? В доме — две женщины. Представьте себе...

— Он не пьет!

— Это что он, после газировки взял молоток и заколотил тещу в уборной? Пожилую, заслуженную женщину! И за что? За то, что жена купила себе шубу, а ему, видите ли, не купила кожаное пальто?

Под Веней закачался стул. И многие в зале решили: сидеть Веньке в тюряге.

— Нет, товарищи, наша гуманность будет именно в том, что сейчас мы не оставим без последствия этот проступок обвиняемого. Лучше сейчас. Этим мы оградим его от большой опасности. А она явно подстерегает его.

Представительный мужчина предлагал дать Веньке три года.

Тут поднялся опять Михайло Кузнецов.

— Вы, товарищ, все совершенно правильно говорили. Но я вам приведу небольшой пример из Великой Отечественной войны. Был у нас солдатик, вроде Веньки — щупленький такой же, молодой — лет двадцати, наверно. Ну, пошли в атаку, и тот солдатик испужался... бросил винтовку, упал, обхватил, значит, руками голову... Политрук хотел под трибунал отдать, но мы, которые постарше солдаты, не дали. Подняли, он побежал с нами... И што вы думаете? Самолично, у всех на глазах заколол двух фашистов. А фашисты были — под потолок, рослые, а тот солдатик — забыл уж теперь, как его фамилия,— не больше Веньки. Откуда сила взялась! Я это к тому, што бывает — найдет на человека слабость, стихия — ну вроде пропал, совсем пропал человек... А тут, наоборот, не надо торопиться, он еще подымется. Вы сами-то воевали, товарищ? — спросил под конец Михайло.

Представительного мужчину ничуть не смутил такой разительный пример. Он понимающе улыбнулся.

— Я воевал, товарищ. Это на ваш вопрос. Теперь, что касается примера. Он... конечно, яркий, внушительный, но совершенно не к месту. Тут вы, как говорится, спутали

божий дар с яичницей.— Представительный мужчина коротко посмеялся, чуть колыхнул солидным тугим животом.— На этом примере можно доказать совершенно противоположное тому, что вы тут хотели сказать. Кстати, его судили, того солдата?

Михайло не сразу ответил. Все даже повернулись в его сторону.

— Судили,— неохотно ответил Михайло.— Но...

— Совершенно верно. Но...

— Но оставили без последствия! — повысил голос Михайло.— Только перевели в другую часть.

— Это уже другой вопрос. То обстоятельство, что он поднялся и побежал с вами и потом заколол двух фашистов,— это факт, который говорит сам за себя, его можно учитывать, и, как видим, учли. Но есть факты, которые... материально, так сказать, учесть нельзя. Солдат испугался, бросил оружие, упал... Он — испугался, это понятно. Испугался он один, в лесу, увидев медведя,— ну, тогда положись на волю божью, как говорят, точнее, на медвежью, задерет он тебя или не задерет? Но здесь — солдат, он шел в атаку не один, он испугался, он породил страх у всей роты!

— Ничего подобного! — сказал Михайло.— Как бежали, так и бежали!

— Вы бежали с другим настроением. Вы сами того не сознавали, но в вас уже жил страх. Струсивший солдат как бы дал вам понять, какая опасность вас ждет впереди,— возможно, смерть...

— А то мы без него не знали.

— Что же касается данного конкретного случая...

Венька не отрываясь смотрел на представительного мужчину, плохо понимал, что он говорит. Понимал только, что мужчина тоже очень хочет его посадить, хотя вовсе не злой, как теща, и первый раз в глаза увидел Веньку. Венька раньше никогда на судах не бывал, не знал, что существуют государственные обвинители, общественные обвинители... Суд для него — это судья. И он никак не мог постичь, зачем надо этому человеку во что бы то ни стало посадить его, Веньку, на три года в тюрьму? Судья молчит, а этот — в который уже раз — встает и говорит, что надо посадить, и все. Венька онемел от удивления. Когда его спросили, хочет ли дать суду какие-нибудь пояснения, Венька пожал плечами и как-то торопливо, испуганно возразил:

— Зачем?

Суд удалился на совещание.

Венька сидел. Ждал. Его сковал ужас... Не ужас перед тюрьмой: когда он шел сюда, он прикинул в уме: двадцать восемь плюс три, ну четыре — тридцать один — тридцать два... Ерунда. Его охватил ужас перед этим мужчиной. Он так в него всмотрелся, что и теперь, когда его уже не было за столом, видел его, как живого: спокойный, умный, веселый... И доказывает, доказывает, доказывает — надо сажать. Это непостижимо. Как же он потом... ужинать будет, детишек ласкать, с женой спать?.. Раньше Веня часто злился на людей, но не боялся их, теперь он вдруг с ужасом понял, что они бывают — страшные. Один раз в жизни Веню били двое пьяных. Били и как-то подстанывали — от усердия, что ли. Веня долго потом с омерзением вспоминал не боль, а это вот тихое подстанывание после ударов. Но то были пьяные, безумные... Этот — представительный, образованный, вовсе не сердится, спокойно убеждает всех, надо сажать. О господи! Теща!.. Теща — змея и дура, она не три года, а готова пять выхлопотать для зятя, и это можно понять. Она такая — курва. Но этот-то... Как же так?

Вене вынесли приговор: два года условно.

За Веню радовались.

А Веня шел непривычно задумчивый... Все стоял в глазах тот представительный мужчина, и Веня все не переставал изумляться... Неужели он все время так делает?

Жить пока Веня пошел к Кольке Волобуеву.

Колька опять предложил выпить, Веня отказался. Рано ушел в горницу, лег на лавку и все думал, думал.

Какая все-таки жизнь! — в один миг все сразу рухнуло. Да и пропади бы он пропадом, этот кожан! И что вдруг так уж захотелось купить кожан? Жил без него, жил бы и дальше. Сманить надо бы Соньку от тещи! Жить отдельно... Правда, она тоже — дура, не пошла бы против матери. Но о чем бы ни думал Веня в ту ночь, как ни саднила душа, все вспоминался представительный мужчина — смотрел на Веню сверху, со сцены, не зло, не кричал... У него поблескивала металлическая штучка на галстуке. Брови у него черные, густые, чуть срослись на переносице. Волосы гладко причесаны назад, отсвечивают. А несколько волосинков слились и колечком повисли над лбом и покачивались, вздрагивали, когда мужчина говорил. Лицо хоть широкое, крутлое, но крепкое, а когда он улыбался, на щеках намечались ямочки...

Утром Веня поехал в рейс, в район.

Выехал рано, только-только встало солнышко. Но было уже тепло, земля не остыла за ночь.

Веня в дороге всегда успокаивался, о людях начинал думать: будто они, каких знал, где-то остались далеко, и его не касаются. Вспоминал всех, скопом... Думал: сами они там крепко все запутались, нервничают, много бестолочи. Вчерашнее судилище вспоминалось, как сон, тяжелый, нехороший.

На 27-м километре Веня увидел впереди "Волгу" — стоит, капот задран, а рядом — у Вени больно екнуло сердце — вчерашний представительный мужчина. Веня почему-то растерялся, даже газ скинул... И когда представительный мужчина "голоснул" ему, Веня послушно остановился.

Мужчина поспешно подошел к кабине и заговорил:

— Подбрось, слушай...— И узнал Веню.— О-о,— сказал он, как показалось Вене, тоже несколько растерянно.— Старый знакомый!

— Садись! — пригласил Веня. Та некая растерянность, какую он уловил в глазах представительного мужчины, вмиг вселила в него какую-то нахальную веселость.— Припухаем?

Представительный мужчина легко сел в кабину и прямо и тоже весело посмотрел на Веню. И уже через минуту, как поехали, Веня усомнился — не показалось ли ему, что представительный мужчина поначалу словно растерялся?

— Ну, как? — спросил мужчина.

— Што?

— Настроение-то?.. Я думал, ты запьешь... так на недельку. Прямо скажу тебе, парень: счастливый билет ты вчера вытянул.

Веня молчал. Он не знал, что говорить. Не знал, как вести себя.

— С женой, конечно, развод? — понимающе спросил мужчина. И опять прямо посмотрел на Веню.

— Конечно,— Веню опять поразило, как вчера, на суде, что этот человек — такой... крепкий, что ли, умный, напористый, и при этом веселый.

— Эх, ребятки, ребятки... Беда с вами... Вот ведь и не скажешь, что жареный петух в зад не клевал,— и жил трудно, а одним махом взял и все перечеркнул: и семью разрушил, и репутация уже не та... Любил ведь жену-то?

Тут Веня чего-то вдруг обозлился.

— Не твое дело.

— Конечно, не мое! — воскликнул мужчина.— Твое. Твое, братец, твое. Было бы мое, моя бы душа и страдала. Только жалко вас, дураков, вот штука-то. Выпьете на пятак, а горя... на два восемьдесят семь.— Мужчина чуть колыхнул

животом.— Неужели трезвому нельзя было поговорить? И жена-то ведь красивая, я вчера посмотрел. Жить бы да радоваться...

Веня на мгновение как бы ослеп — до глубины, до боли осознал вдруг: ведь потерял он Соньку-то! Совсем! И как в пропасть полетел, ужаснулся...

— А что это за кожаное пальто, где ты его хотел достать?

— Да там, в аймаке, шьет один...— Веня смотрел вперед. Впереди был мост через Ушу. Широкий, длинный — Уша по весне разливается, как Волга.— На заказ.

— Из своего материала?

— Из своего.

— И сколько берет? — расспрашивал прокурор.

— По-разному. Я хотел рублей за сто шестьдесят. Если хорошее — дороже.— Веня вроде и не слышал вопросов, а отвечал верно.

— Что значит — хорошее?

— Ну, кожа другая, выделка другая... Разная бывает выделка.

— Ну, допустим, самую хорошую? То есть самую хорошую кожу, самой хорошей выделки. Сколько станет?

— Рублей, может, триста... Одному, говорит, за четыреста шил.

Машина въехала на мост.

— А где этот аймак? Далеко?

— Нет.— Странно: вроде Веня был один в кабине, и разговаривал сам с собой — такое было чувство.

— Адрес-то знаешь?

— Знаю адрес. Знаю... Эх! — крикнул вдруг Веня, как в пустоте,— громко.— А не ухнуть ли нам с моста?!

Он дал газ и бросил руль... Машина прыгнула. Веня глянул на прокурора... И увидел его глаза — большие, белые от ужаса. И Веньке стало очень смешно, он засмеялся. А потом уж на него боком навалился прокурор и вцепился в руль. И так они и съехали с моста: Веня смеялся и давил газ, а прокурор рулил. А когда съехали с моста, Веня скинул газ и взял руль. И остановился.

Прокурор вылез из кабины... Глянул еще раз на Веньку. Он был еще бледный. Он хотел, видно, что-то сказать, но не сказал. Хлопнул дверцей.

Веня включил скорость и поехал. Он чего-то вдруг очень устал. И — хорошо, что он остался один в кабине, спокойнее как-то стало. Лучше.

ПОСТ СКРИПТУМ

Чужое письмо

Это письмо я нашел в номере гостиницы, в ящике длинного узкого стола, к которому можно подсесть боком. Можно сесть и прямо, но тогда надо ноги, положив их одну на другую, просунуть между тем самым ящиком, где лежало письмо, и доской, которая прикрывает батарею парового отопления.

Я решил, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Оно показалось мне интересным.

Вот оно:

"Здравствуй, Катя! Здравствуйте, детки: Коля и Любочка! Вот мы и приехали, так сказать, к месту следования. Город просто поразительный по красоте, хотя, как нам тут объяснили, почти целиком на сваях. Да, Петр Первый знал, конечно, свое дело туго. Мы его, между прочим, видели — по известной тебе открытке: на коне, задавивши змею.

Сначала нас хотели поместить в одну гостиницу, но туда как раз приехали иностранцы, и нас повезли в другую. Гостиница просто шикарная! Я живу в люксе на одного под номером 4009 (4 — это значит четвертый этаж, 9 — это порядковый номер, а два нуля — я так и не выяснил). Меня поразило здесь окно. Прямо как входишь — окно во всю стену. Слева свисает железный стерженек, к стерженьку прикреплен тросик, тросик этот уходит куда-то в глубину... И вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо — опять светло. А все дело в жалюзях, которые в окне. Есть, правда, и занавеси, но они висят сбоку без толку. Если бы такие продавали, я бы сделал у себя дома. Я похожу поспрашиваю по магазинам, может, где-нибудь продают. А если нет, то я попробую сделать из длинных лучинок. Принцип работы этого окна я вроде понял, веревочки найдем — они на трех веревочках. Есть еще одна особенность у этого окна: оно открывается снизу, а посредине поворачивается на стержнях. Дежурная по коридору долго тут пыталась мне объяснить, как открывать и закрывать окно. Пока я не остановил и не намекнул ей, что не все такие дураки, как она думала.

Кровать я такую обязательно сделаю, как здесь. Поразительная кровать. Мы с Иваном Девятовым набросали с нее чертеж. Ее — пара пустяков сделать.

На шестом этаже находится буфет, но все дорого, поэтому мы с Иваном перешли, как говорится, на подножный корм: берем в магазине колбасы и завтракаем и ужинаем у меня в люксе. Дежурная по коридору говорит, что это не запрещается, но только чтоб за собой ничего не оставляли. А сперва было заартачилась: надо, дескать, в буфет ходить. Мы с Иваном объяснили ей, что за эти деньги, которые мы проедим в буфете, мы лучше подарки домой привезем. Она говорит, я все понимаю, поэтому кожуру от колбасы сверты-вайте в газетку и бросайте в проволочную корзиночку, которая стоит в туалете. Опишу также туалет. Туалет просто поразительный. Иван говорит: содрали у иностранцев. Да, действительно, у иностранцев содрали много кое-чего. Например, жалюзи. У нас тут одна из Краматорского района сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной, но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера, так же, как легкий обед в самолете. Я лично моюсь теперь каждый день. Меня вообще-то ванной не удивишь, но поразительно другое: блеск и чистота. Вымоешься, спустишь жалюзи, ляжешь на кровать и думаешь: вот так бы все время жить, можно бы сто лет прожить, и ни одна хворь тебя бы не коснулась, потому что все продумано. Вот сейчас, когда я пишу это письмо, за окном прошли морячки строем. Вообще движение колоссальное.

Но что здесь поражает, так это вестибюль. У меня тут был один неприятный случай. Подошел я к сувенирам — лежит громадная зажигалка. Цена — 14 рублей. Ну, думаю, разорюсь — куплю. Как память о нашем пребывании. Дайте, говорю, посмотреть. А стоит девчушка молодая... И вот она увивается перед иностранцами — и так, и этак. Уж она и улыбается-то, она и показывает-то им все, и в глаза-то им заглядывает. Просто глядеть стыдно. Я говорю: дайте зажигалку посмотреть. Она на меня: вы же видите, я занята! Да с такой злостью, куда и улыбка девалась. Ну, я стою. А она опять к иностранцам, и опять на глазах меняется человек. Я и говорю ей: что ж ты уж так угодничаешь-то? Прямо на колени готова стать. Ну, меня отвели в сторонку, посмотрели документы... Нельзя, мол, так говорить. Мы, мол, все понимаем, но, тем не менее, должны проявлять вежливость. Да

уж какая тут, говорю, вежливость: готова на четвереньки стать перед ними. Я их тоже уважаю, но у меня есть своя гордость, и мне за нее неловко. Ограничились одним разговором, никаких оргвыводов не стали делать. Я здесь не выпиваю, иногда только пива с Иваном выпьем, и все. Мы же понимаем, что на нас тоже смотрят. Дураков же не повезут за пять тысяч километров знакомить с памятниками архитектуры и вообще отдохнуть.

Смотрели мы тут одну крепость. Там раньше сидели зеки. Нас всех очень удивило, как у них там чистенько было, опрятно. А сроки были большие. Мы обратились к экскурсоводу: как же так, мол? Он объяснил, что, во-первых, это сейчас так чистенько, потому что стал музей, во-вторых, гораздо больше издевательства, когда чистенько и опрятно: сидели здесь в основном по политическим статьям, поэтому чистота как раз угнетала, а не радовала. Чистота и тишина. Между прочим, знаешь, как раньше пытали? Привяжут человека к столбу, выбреют макушку и капают на эту плешину по капле холодной воды — никто почесть не выдерживал. Вот додумались! Мы тоже удивлялись, а некоторые совсем не верили. Иван Девятов наотрез отказался верить. Мне, говорит, хоть ее ведрами лей... Экскурсовод только посмеялся. Вообще время проводим очень хорошо. Погода, правда, неважная, но тепло. Обращают на себя внимание многочисленные столовые и кафе, я уж и не заикаюсь про рестораны. Этот вопрос здесь продуман. Были также с Иваном на базаре — ничего особенного: картошка, капуста и вся прочая дребедень. Но в магазинах — чего только нет! Жалюзей, правда, нет. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня-матушка. Были бы только деньги. В следующем письме опишу наше посещение драмтеатра. Колоссально! Показывали москвичи одну пьесу... Ох, одна артистка выдавала! Голосок у ней все как вроде ломается, вроде она плачет, а — смех. Со мной сидел один какой-то шкелет — морщился: пошлятина, говорит, и манерность. А мы с Иваном до слез хохотали, хотя история сама по себе грустная. Я потом расскажу при встрече. Ты не подумай там чего-нибудь такого — это же искусство. Но мне лично эта пошлятина, как выразился шкелет, очень понравилась. Я к тому, что необязательно — женщина. Мне также очень понравился один артист, который, говорят, живет в этом городе. Ты его, может, тоже видала в кино: говорит

быстро-быстро, легко, как семечки лускает. Маленько смахивает на бабу — голоском и манерами. Наверно, пляшет здорово, собака! Ну, до свиданья! Остаюсь жив-здоров.

Михаил Демин.

Пост скриптум: вышли немного денег, рублей сорок — мы с Иваном малость проелись. Иван тоже попросил у своей шестьдесят рублей. Потом наверстаем. Все".

Вот такое письмо. Повторяю, имена я переменил.

А шишечка эта на окне — правда, занятная: повернешь влево — этакий зеленоватый полумрак в комнате, повернешь вправо — светло. Я бы сам дома сделал такую штуку. Надо тоже походить по магазинам поспрашивать: нет ли в продаже.

ГЕНЕРАЛ МАЛАФЕЙКИН

Мишка Толстых, плотник СМУ-7, маленький, скуластый человек с длинными руками, забайкальский москвич, возвращался из гостей восвояси. От братца-ленинградца. Брат принял его плохо, сразу кинулся учить жизни...

Мишка обиделся, напился, нахамил жене брата и поехал домой в Москву.

К поезду пришел раньше других. Вошел в купе, забросил чемодан наверх, попросил у проводницы простыни и одеяло. Ему сказали: "Поедем, тогда получите простыни". Мишка снял ботинки и прилег пока на матрац на верхней полке. И заснул.

Проснулся ночью. Под ним во тьме негромко разговаривали двое. Один голос показался Мишке знакомым. И говорит больше как раз этот, знакомый голос. Мишка прислушался.

— Не скажите, не скажите,— негромко говорил голос,— не могу с вами согласиться. У меня же бывает то и дело: вызываешь его, подлеца, в кабинет: "Ну, что будем делать?" Молчит. "Что будем делать-то?!" Молчит, жмет плечами. "Будем продолжать в том же духе?" Гробовое молчание.

— Это они мастера — отмолчаться,— поддержал другой голос, усталый, немолодой.— Это они умеют.

— Что вы! Молчит, как в рот воды набравши. "Ну, долго,— спрашиваю, — будем в молчанку играть?"

Мишка вспомнил, чей голос напоминает этот голос внизу: Семена Иваныча Малафейкина, московского соседа из 37-го дома, нелюдимого маляра-шабашника, инвалидного пенсионера. С этим Семеном Иванычем Мишка один раз вместе халтурил: отделывали квартиру какому-то большому начальнику. Недели полторы работали, и за все это время Малафейкин сказал, может быть, десять слов. Он даже не здоровался, когда приходил на работу. На вопрос, почему он молчит, Малафейкин сказал: "У меня грудь болит с вами трепаться". Но этот, внизу, это, конечно, не Малафейкин... Но до чего похож голос. Поразительно.

— "Ведь я же тебя, подлеца, из Москвы выселю! — говоришь ему.— Выведешь ведь из терпения — выселю!" — "Не надо",— просит. "А-а, открыл рот!.. Заговорил?"

— Случается, выселяете?

— Мало. Их же и жалко, подлецов. Что они там будут делать?

— Господи!.. Да нам полно людей требуется!

— А вы что там с ними будете делать? Самогон варить?

Двое внизу начальственно — негромко, озабоченно — посмеялись.

— Да-а... У нас тоже хватает этого добра. А как вы боретесь с такими?

— Да как. Профилактика плюс милиция. Мучаемся, а не боремся. Устаем. Приедешь на дачу, затопишь камин, смотришь на огонь — обожаю, между прочим, на огонь смотреть,— а из огня на тебя какое-нибудь мурло смотрит. "Господи,— думаешь,— да отстанете вы от меня когда-нибудь!"

— Как это — смотрит? — не понял другой, усталый собеседник.— Мысленно, что ли?

— Ну, насмотришься на них за день-то... Они и кажутся где попало. У вас дача каменная?

— У меня нету. Я, как маленько посвободнее, еду в деревню к себе. У меня деревня рядом. А у вас каменная?

— Каменная, двухэтажная. Напрасно отказываетесь от дачи — удобно. Знаете, как ни устанешь за день, а приедешь. затопишь камин — душа отходит.

— Своя?

— Дача-то?

— Да.

— Нет, конечно! Что вы! У меня два сменных водителя, так один уже знает: без четверти пять звонит домой: "Домой, Семен Иваныч?" — "Домой, Петя, домой". Мы с ним дачу называем домом.

Мишка наверху даже заворочался — рассказчика-то тоже Семеном Иванычем зовут! Как Малафейкина. Что это?

А Семен Иваныч внизу продолжал рассказывать:

— "Домой,— говорю, — Петька, домой. Ну ее к черту, эту Москву, эту шумиху!" Приезжаем, накладываем дровец в камин...

— А что, никого больше нет?

— Прислуги-то? Полно! Я люблю сам! Сам накладываю дровец, поджигаю... Славно! Знаете, иногда думаешь: "Да на кой черт мне все эти почести, ордена, персоналки?.. Жил бы вот так вот в деревне, топил бы печку".

Усталый собеседник тихо, недоверчиво посмеялся:

— Что, не верите? — негромко воскликнул Семен Иванович, тоже, наверно, улыбаясь.— Я вам точно говорю: бросил бы, все бросил бы!

— Что же не бросаете?

— Ну... Все это не так просто, как кажется. А кто позволит?

— То-то и оно,— вздохнул собеседник.— Я тоже, знаете...

— Наоборот, предлагают повышение. Ну, думаю, нет: у меня от этих дел голова кругом. Спасибо.

— Сейчас, наверно, на этом совещании были, в связи с... Я что-то такое краем уха...

— Нет, я по другим делам. Там у нас хватает... А как же, и отдыхаете у себя в деревне? И летом?

— Почти всегда. Уезжаю к отцу — рыбачим...

— Нет, я в санаториях.

— Где? В Кисловодске?

— И в Кисловодске.

— В основном корпусе?

— Нет, у нас там свой корпус есть.

— Где?

— Не доезжая Кисловодска.

— Где же? Я там все окрестности излазил.

Семен Иваныч посмеялся.

— Нет, тот корпус вы не знаете. Его с дороги не видно.

Помолчали.

— За забором,— пояснил Семен Иваныч.

— А-а...— неопределенно как-то сказал усталый собеседник. И опять замолчал.

Семена Иваныча это молчание как будто обеспокоило.

— Скучновато только, честно говоря,— продолжал он.— Ну буфет: шампанское, фрукты, пятое-десятое... Не в этом же дело! Надоедает же.

— Конечно,— опять очень неопределенно сказал усталый.— Я ничего не имею... Фильмы демонстрируют?

— Ну!.. Но мы знаете, что делаем? Мы эти обычные манкируем, а собираемся одни мужчины, заказываем какой-нибудь такой... с голяшками... Не уважаете? — Семен Иваныч неуверенно посмеялся.— Интересно вообще-то!

Собеседник никак не откликнулся на это. Молчал.

— А? — спросил Семен Иванович встревоженно.

— Что? — сказал собеседник.

— Не уважаете с голяшками?

— Да я их... это... я их мало видел.

— Ну что вы! Это, знаете, зрелище! Выйдет такая... черт се... вот уж она виляет, вот виляет, своим этим... Любопытно. Нет, это зрелище, чего ни говорите.

— Совсем голые?

— Совсем!

— А как же... разве у нас снимают такие фильмы?

Семен Иваныч без опаски, с удовольствием засмеялся.

— Это ж не наши. Это оттуда.

— А-а,— сказал собеседник.— Там — да... Конечно...

— Нет, умеют, умеют, черти. Ничего не скажешь. Но, знаете, что я вам про все это скажу: красиво!

— Я ничего! — испуганно сказал собеседник.

— Но в душе, наверно, осудили меня.

— Я? Да почему!..

— Осудили, осудили. Не осуждайте. Не торопитесь. Не завидуйте Семену Иванычу... Вы же не видите, как Семен Иваныч потом за столом буквально засыпает. Сидишь, изучаешь дело... С вами можно откровенно?

— Да зачем? — торопливо, без всякой усталости сказал собеседник.— Я прекрасно понимаю. Мне самому приходится.

— О, разумеется! Разумеется, вам тоже приходится недосыпать, недоедать... Ах мы, бедненькие! А потом отвернем-

ся и пальцем покажем: генерал, пузо отвесил. Вы видели у меня пузо?

— Да нет, почему?! — собеседник явно растерялся.— Я как раз ничего не имел... Дело же не в этом...

— А в чем? — жестко спросил Семен Иваныч.

— Ну как?..

— Как?

— Не в том дело, кто генерал, кто не генерал. Все мы, в конце концов, одно дело делаем.

— Да что вы говорите! Смотрите-ка, я и не знал. Неужели все?

Собеседник молчал.

— А? — переспросил Семен Иваныч. Непонятно, почему он рассердился.

Собеседник молчал.

— Что, молчим? Тоже молчим?

— Слушайте!..— Собеседник, чувствовалось, привстал.— В чем, собственно, дело? Что вы против меня имеете?

— Да упаси боже! — моментально искренне откликнулся Семен Иваныч.— Ничегошеньки я не имею. Просто спросил. Я думал, что вы что-то против меня имеете. Ничего?

— Ничего, конечно. Вообще-то, пора спать. Сколько сейчас? Приблизительно?

— Приблизительно-то?.. Эх, оставил свои со светящимся циферблатом... Приблизительно часа два.

— Да, пожалуй. Надо пожалуй, соснуть. Да?

— Да, конечно. Я еще выпил сегодня малость... Прощались с товарищами. Да, спим.

И сразу замолчали. И больше не говорили.

Мишка не знал, как подумать: кто внизу? Голос поразительно похож на малафейкинский. И зовут Семеном Иванычем... Но как же тогда? Что это? Мишка знал про Малафейкина почти все, что можно знать про соседа, даже не интересуясь им специально. Когда-то Малафейкин упал с лесов, сильно разбился... Был он тогда одинокий, и так одиноким остался. Тихий, молчаливый. К нему в воскресные дни приезжала какая-то женщина старше его. С девочкой. Кто они Малафейкину — Мишка не знал. Видел во дворе, Малафейкин гулял с девочкой: девочка возилась в песке, а Малафейкин читал газету. Может, это была его сестра с дочкой, потому что как-то непохоже, чтобы тут было что-то

иное. Вот, в сущности, и весь Малафейкин. А генерал внизу... Нет, это совпадение. Бывает же так!

Мишка осторожненько слез с полки, сходил в туалет, взобрался опять наверх и закрыл глаза. В купе было тихо. Мишка заснул.

Утром Мишка проснулся позже других, перед самой Москвой. Открыл глаза, глянул вниз, а внизу, у окошка, сидит... Семен Иваныч Малафейкин. И еще какой-то человек тоже сидит у окна напротив, лет пятидесяти, румяный. Сидят, смотрят в окно. Еще девушка какая-то в брюках — книгу читает в сторонке. Молчат.

Мишка заспал ночной разговор, хотел уж сказать сверху: "Здравствуй, сосед!" И вспомнил... И даже отпрянул вглубь. Оторопел. Полежал, повспоминал: может, приснился ему этот ночной разговор?

Пока он мучительно вспоминал, румяный человек, слышно, потянулся и сказал, как говорят долго молчавшие люди:

— Кажется, подъезжаем.— Пошуршал какой-то бумагой на столе — газету, что ли, свернул, встал и вышел из купе.

Мишка свесил вниз голову... Девушка глянула на него, потом в окно и опять уткнулась в книгу. Малафейкин, курносый, с маленькими глазками без ресниц, в галстуке, причесанный на пробор, чуть пристукивал пальцами правой руки по столику — смотрел в окно.

— Привет генералу! — негромко сказал над ним Мишка.

Малафейкин резко вскинул голову... Встретились глазами. Маленькие глазки Малафейкина округлились от удивления и даже, как показалось Мишке, испугались.

— О! — сказал Малафейкин неодобрительно.— Явились не запылились... Откуда это?

Мишка молчал, смотрел на соседа — старался насмешливо.

— Чего это... разъезжаем-то? — даже как-то зло спросил Малафейкин. И быстро глянул на дверь.

Точно, это он ночью городил про каменные дачи, и как он устал от наград и почестей.

— Чего эт ты ночью плел...— начал было Мишка, но вошел румяный человек, и Малафейкин быстро, испуганно повернулся к нему... И встал. И заговорил:

— Ну что, подъезжаем? — Суетливо сунулся к окну, пригладил пробор на голове.— Да, уже. Уже Яуза. Так,

так...— Потоптался чего-то, направился было из купе, но вернулся, склонился к чемодану.

"Во фраер-то!" — изумился Мишка. Ему сверху было видно, как покраснели уши Малафейкина. Он не стал больше приставать к маляру-шабашнику. Только с большим любопытством наблюдал за ним сверху.

— Вы не в сторону центра едете? — спросил румяный пассажир. И почтительно посмотрел на Малафейкина.

— А? — встрепенулся Малафейкин.— Я? Нет, нет... Меня... Нет, в другую сторону.

— А то хотел присоединиться к вам.

— Нет, нет... Мне в другую.

— Нам в сторону Свиблово,— громко сказал Мишка, потянулся и сел на полке. Его разбирал смех.

— О, попутчик наш проснулся? — сказал румяный человек.— Доброе утро, молодой человек! Завидный у вас сон. А я в дороге плохо сплю. Ругаю себя: да отсыпайся ты, есть же возможность — нет, никак.

Мишка, улыбаясь смотрел на Малафейкина.

— Нет, мне бы еще столько, ничего бы...

— Дело молодое.

Малафейкин застегнул свой скрипучий желтый чемодан, затянул ремни, подхватил его, выставил в коридор... Из коридора же, не входя в купе, снял с вешалки кожаное пальто, снял с полки шляпу и ушел одеваться в коридор, подальше.

"Трусит — разоблачу,— понял Мишка.— На кой ты мне черт нужен!"

Больше Малафейкин в купе не входил. Оделся, взял чемодан и ушел в тамбур.

Однако на перроне Мишка скараулил его. Догнал, пошел рядом.

— Что, хватил вчера лишнего, что ли? — спросил миролюбиво.— Чего турусил-то ночью? Зачем?

— Отвяжись! — рявкнул вдруг Малафейкин. И покраснел как свекла.— Чего ты пристал?! Не похмелился? Иди похмелись! Чего ты пристал к человеку?!

На них оглянулись... Некоторые даже придержали шаг, ожидая скандала.

Мишка, опасаясь всяких этих штучек, связанных с объяснением, приотстал. Но Малафейкина из вида не выпускал. Он обозлился на него.

Вместе сели в метро... Мишка все следил за Малафейкиным, не знал только, как вывести на чистую воду этого прохвоста. Чуть чего, тот милицию станет звать.

В вагоне Малафейкин осторожно огляделся... И напоролся на прямой, уничтожающий Мишкин взгляд. Мишка подмигнул ему. Уши Малафейкина опять зацвели маковым цветом. Жесткий воротник кожаного пальто подпирал сзади его шляпу... Малафейкин больше не оглядывался.

На выходе из метро, на эскалаторе, Мишка опять приблизился к Малафейкину... Заговорил на ухо ему:

— Ты не ори только, не ори... Я один вопрос поставлю и больше не буду. У меня брательник в Питере такой же придурок: тоже строит из себя. Чего вы из себя корежите-то? Чего вы добиваетесь этим? А? Я серьезно спрашиваю.

Малафейкин молчал. Смотрел вверх, вперед.

— Вам что, легче, что ли, становится после этого?

Малафейкин молчал.

— Зачем врал-то ночью мужику? А?

Как эскалатор изготовился столкнуть их — вышел на прямую — Малафейкин стал искать милиционера... Мишка обогнал его и, оглядываясь, пришел раньше к автобусной остановке.

"Я тебя дома, во дворе допеку",— решил.

Около дома, когда сошли с автобуса, Мишка опять пошел было к Малафейкину, но тот вдруг болезненно сморщился, затряс головой так, что шляпа чуть не съехала с головы, затопал ногой и закричал:

— Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи! — Прокричал так, повернулся и скоро пошагал к дому. Почти побежал. Большой желтый чемодан с ремнями колотил его по ноге. Кожаное пальто надламывалось и приятно шумело. Шляпу Малафейкин поправил на ходу левой рукой... Не оглянулся ни разу.

Мишке чего-то вдруг стало жалко его.

— Звонарь,— сказал он негромко, сам себе.— Дача у него, видите ли. С камином, видите ли... Во звонарь-то! Они, видите ли, жить умеют... Звонари.

И тоже пошел. В магазин. Сигарет купить. У него сигареты кончились.

БЕСЕДЫ ПРИ ЯСНОЙ ЛУНЕ

Марья Селезнева работала в детсадике, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтоб она переквалифицировалась.

— Куда я переквалифицируюсь-то? — горько спросила Марья. Ей до пенсии оставалось полтора года.— Легко сказать — переквалифицируйся... Что я, боров, что ли,— с боку на бок переваливаться? — Она поняла это "переквалифицируйся" как шутку, как "перевались на другой бок".

Ну, посмеялись над Марьей... И предложили ей сторожить сельмаг. Марья подумала и согласилась.

И стала она сторожить сельмаг.

И повадился к ней ночами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе — то в сельсовете, то в заготпушнине, то в колхозном правлении,— все кидал и кидал эти кругляшки на счетах, за целую жизнь, наверно, накидал их с большой дом. Незаметный был человечек, никогда не высовывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, но и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним шажком отшагал шестьдесят три годочка, и был таков. Двух дочерей вырастил, сына, домок оборудовал крестовый... К концу-то огляделись — да он умница, этот Баев! Смотри-ка, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, и впрямь мужик с головой, и стал намекать в разговорах, что он — умница. Этих умниц, умников он всю жизнь не любил, никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство, но вот теперь и у него взыграло ретивое — теперь как-то это стало не опасно, и он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он — редкого ума человек.

Последнее время Баева мучила бессонница, и он повадился ходить к сторожихе Марье — разговаривать.

Марья сидела ночью в парикмахерской, то есть днем это была парикмахерская, а ночью там сидела Марья: из окон весь сельмаг виден.

В избушке, где была парикмахерская, едко, застояло пахло одеколоном, было тепло и как-то очень уютно. И не страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом; а ночи стояли лунные. Ночи стояли дивные: луну точно на веревке спускали сверху — такая она была близкая, большая. Днем снежок уже подтаивал, а к ночи все стекле-

ило и нестерпимо, поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете.

В избушке лампочку не включали, только по стенам и потолку играли пятна света — топился камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали. И так хорошо было сидеть и беседовать в этом узорчатом качающемся мирке, так славно чувствовать, что жизнь за окнами — большая и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, а ты — и в нем тоже есть, и что-нибудь, может, хорошее возьмет да случится. Если умно жить, можно и на хорошее надеяться.

— Люди, они ведь как — сегодняшним днем живут,— рассуждал Баев.— А жизнь надо всю на прострел брать. Смета!..— Баев делал выразительное лицо, при этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками — так и казалось, что он сейчас скажет: "сево?" — Смета! Какой же умный хозяин примется рубить дом, если заранее не прикинет, сколько у него есть чего. В учетном деле и называется — смета. А то ведь как: вот размахнулся на крестовый дом — широко жить собрался, а умишка, глядишь — на пятистенок едва-едва. Просадит силенки до тридцати годов, нашумит, наорется, а дальше — пшик.

Марья согласно кивала головой. И правда, казалось, умница Баев, сидючи в конторах, не тратил силы, а копил их всю жизнь — такой он был теперь сытенький, кругленький, нацеленный еще на двадцать лет осмеченной жизни.

— Больно шустрые! Я как-то лежал в горбольнице... меня тогда Неверов отвез, председателем исполкома был в войну у нас, не помнишь?

— Нет. Их тут перебывало.

— Неверов, Василий Ильич. А тогда что. С молокопоставками не управились — ему хоть это... хоть живым в могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю: "Василий Ильич, хотите, научу, как с молокопоставками-то?" — "Ну-ка",— говорит.— "У нас, мол, колхозники-то все вытаскали?" — "Вроде все,— говорит.— А что?" Я говорю: "Вы проверьте, проверьте — все вытаскали?"

— Ох, тада и таска-али! — вспомнила Марья.— Бывало, подоишь — и все отнесешь. Ребятишкам по кружке нальешь, остальное — на молоканку. Да ведь планы-то какие были... безобразные!

— Ты вот слушай! — оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке

"Все, мол, вытаскали-то? Или нет?" — Он вызвал девку: "Принеси,— говорит,— сводки". Посмотрели: почти все, ерунда осталась. "Ну вот,— говорит,— почти все". — "Теперь так,— это я-то ему,— давайте рассуждать: госпоставки недостает столько-то, не помню счас сколько. Так? Колхозники свое почти все вытаскали... Где молоко брать?" Он мне: "Ты,— говорит,— мне мозги не... того, говори дело!" Матершинник был несусветный. Я беру счеты в руки: давайте, мол, считать. Допустим, ты должна сдать на молоканку пятьсот литров.— Баев откинул воображаемых пять кругляшек на воображаемых счетах, посмотрел терпеливо и снисходительно на Марью.— Так? Это из расчета, что процент жирности молока у твоей коровы — такой-то.— Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил, чуть выше прежних.— Но вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая, какая тянула на пятьсот литров, а ниже. Понимаешь? Тогда тебе уже не пятьсот литров надо отнести, а пятьсот семьдесят пять, допустим. Сообразила?

Марья не сообразила пока.

— Вот и он тогда так же: хлопает на меня глазами: не пойму, мол. Снимайте, говорю, один процент жирности у всех — будет дополнительное молоко. А вы это молоко, с колхозников-то, как госпоставки пустите. Было бы молоко, в бумагах его как хошь можно провести. Ох, и обрадовался же он тогда. Проси, говорит, что хочешь! Я говорю: отвези меня в городскую больницу — полежать. Отвез.

Марья все никак не могла уразуметь, как это они тогда вышли из положения с госпоставками-то.

— Да, господи! — воскликнул Баев.— Вот ты оттаскала свои пятьсот литров, потом тебе говорят: за тобой, гражданка Селезнева, еще семьдесят пять литров. Ты, конечно,— как это так? А какой-нибудь такой же, вроде меня, со счетиками: давайте считать вместе... Вышла, мол, ошибка с жирностью. Работник, мол, не доглядел... А я — в горбольнице. С сельской местности-то туда и счас не очень берут. А я вот когда попал!

— А чего?.. Заболел, што ли?

— Как тебе сказать... Нет. Недостаток-то у меня был: глаза-то и тогда уж... Почти слепой был. Из-за того и на войну не взяли. Но лег я потому, а... как это выразиться... Охота было в горбольнице полежать. Помню, ишо молодой был, а все думал: как же бы мне устроиться в горбольнице полежать? А тут случай-то и подвернулся. Да. Приехал я, мне, значит, коечку, чистенько все, простынки, тумбочка

возле койки... В палате ишо пять гавриков лежат, у кого что: один с рукой, один с башкой забинтованной, один тракторист лежал — полспины выгорело, бензин где-то загорелся, он угодил туда. Та-ак. Ну, ладно, думаю, желание мое исполняется.

— Дак чего, просто вот полежать, и все? — никак не могла взять в толк Марья.

— Все. Ну-ка, как это тут, думаю, будут ухаживать за мной? Слыхал, что уход там какой-то особенный. Ну, никакого такого ухода я там не обнаружил — больше интересуются: "Что болит? Где болит?" Сердце, говорю, болит — иди, доберись до него. Всего обстукали, обслушали, а толку никакого. Но я к чему про горбольницу-то: про людей-то мы заговорили... Пришел, значит, я в палату, лежат эти козлы... Я им по-хорошему: "Здравствуйте, мол, ребята!" И прилег с дороги-то соснуть малость: дорога-то дальняя, в телеге-то натрясло. Сосну, думаю, малость. Поспал, значит, мне эти козлы говорят: "Надо анализы собирать" . —"Какие анализы?"— "Калу,— говорят, — девятьсот грамм и поту пузырек". Я удивился, конечно, но...

Тут Марью пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Баев тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется.

— Ну и как? — спросила Марья, вытирая глаза концом полушалка. — Собрал?

— Стали сперва собирать пот,— продолжал Баев, недовольный, что из рассказа вышла одна комедия: он вознамерился извлечь из него поучительный вывод.— Укрыли меня одеялами, два матраса навалили сверху, а пузырек велели под мышку зажать — туда, мол, пот будет капать. Ить вот рассудок-то у людей: хворают, называется! Ить подумали бы: идет такая страшенная война, их как механизаторов на броне пока держут: тут надо прижухнуться и помалкивать, вроде тебя и на свете-то нету. Нет, они начинают выдумывать черт-те чего. Думает он, лежит, что у него — жизнь предстоит, что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится?.. Что ты! Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать, лежать, чем задумается.

Марья вспомнила про девятьсот граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться.

— Дак, а как... с этим-то?.. Собрал, что ли? — Вытерла опять глаза.— Не могу ничего с собой сделать, ты уж прости

меня, Николай Ферапонтыч, шибко смешно. Собрал девятьсот грамм-то?

— Вот то-то и оно — ничего сделать с собой не можем,— обиделся Баев.— Живем безалаберно — ничего с собой сделать не можем; пьем-гуляем — ничего с собой сделать не можем; блуд совершаем — опять ничего с собой сделать не можем. У меня зять вон до развода дело довел, гад зубастый: тоже ничего с собой сделать не может. Кобели. Поганки.— Баев по-живому обозлился.— Взял бы кол хороший, пошел бы в клуб ихний — да колом бы, колом бы всех подряд. Ржать научились? Ногами дрыгать научились?.. Теперь подставляй башку, я тебя жизни обучать буду! Козлы.

Посидели молча. Марья даже вздохнула: у самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась.

— А как вот им поможешь? — сказала она.— И рад бы душой — помочь, а как?

— Никак,— резко сказал Баев.— Пускай сами разбираются.

Опять замолчали.

Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями — одной, другой, — поморгал подслеповатыми маленькими глазами и сладостно чихнул в платок.

— Помогает глазам-то? — спросила Марья, кивнув на пузырек с табаком.

— Не он бы, так давно бы уж ослеп. Им только и держусь.

— Где ж ты так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были.

— Зрячие...— вздохнул Баев.— Все зрячие, да не все умные.— Баев спрятал пузырек в карман, помолчал задумчиво.— Что он, покойный родитель мой, делал со мной — это ж ни пером описать, ни... как там говорится?.. Уму непостижимо, что он вытворял, чтоб я только в школу не ходил. А мне страсть как учиться хотелось. Тада же ишо приходская школа-то была... Батюшка-то к родителю ходил: способный, мол, парнишка, пускай ходит. Ну! Родителю моему только... Грех поминать нехорошо, но и... тоже... Как я только ни просил: в ногах у него валялся, ревмя ревел — отпустите в школу! Закинет пимы на полати, и все. Сиди за печью, гложи ногу овечью — вот весь сказ родительский. Эх-х!..— Баев еще помолчал горестно.— Дак я, когда все поснут, лучинку зажгу, бывало, в уголок на печке забьюсь да по складам читаю. Да по всей ноченьке так-то — вот они, глаза-то, и сели.

— Дак, а чего уж он так?

— А спроси его! Не мужицкое дело, мол... Темен был, упрям. Всю жизнь я на него сердце держал. Помирал, помню: "Прости, Колька, учиться тебе препятствовал..." И вот знаю как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачивается. "Ладно,— говорю,— чего теперь?" Вот как душа затвердела! А потому что — обидно. Я же какой башковитый-то был! Бывало стишок два раза прочитаю и тут же его отбарабаню без запинки.

— А понимал же потом-то — вишь, "прости" говорил.

— Да потом-то... Ко мне, бывало, придут: "Напиши, ради Христа, прошение", или еще чего, ну, курочку несут или яиц десяток, а то шерсти... фунта два... Я сяду — мне плевое дело прошение-то составить: где завострил, где подсусолил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции... Тут целая наука тоже. Вот составишь. "На, хлопочи, ехай". Человек и радешенек. И того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит — чует вину свою. Эх ты, думаю, а дал бы мне учиться-то, да я бы... Ладно. Рази бы тут курочками пахло! Ведь это я самоучкой уж достиг — счетоводом-то, потом бухгалтером. А поучи-ка меня годов десять, как этих лоботрясов нынче, да я бы... не знаю. Эх-х! Ладно.— Баеву правда было горько, у него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем.— Чего теперь. Обидно, конечно... Ведь вот счас уж дело прошлое — ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки! Ведь меня ревизором в другие районы посылали! Еду, бывало, и думаю: знали бы они, что у меня всего-то полтора класса ЦПШ, как у нас шутил один: церковно-приходской школы. Полторы зимы побегал всего-то, а вы меня — на других ревизором! Молчал уж...

— А ведь вот дал же бог такое стремление — учиться! — неподдельно уважительно заметила Марья.— Откуда бы такое стремление?

— Наблюдательность,— пояснил Баев.— Я вот, как себя помню, всегда был очень наблюдательный. Ишо карапуз был, а, бывало, зайду по колена в воду — озерко за деревней было, помнишь? Раменское называлось — залезу и стою. По полдня торчал неподвижно — наблюдал, чего в воде происходит. Это уж от бога. Это уж не от людей. От родителя моего я мог только пинка получить заместо совета разумного.

— Надо же,— с уважением опять сказала Марья.— А мне вот — хоть бы что! Больше играть любила на улице. По целым дням, бывало, не загонялась!

— Я уж, грешным делом, думаю...— Баев даже оглянулся и заговорил тише.— Я уж думаю: не приспала ли меня мать-покойница с кем другим?

— Господь с тобой! — воскликнула Марья, но тоже негромко воскликнула и тоже чуть было не оглянулась.— Тетка Анисья-то! Да ты что, Ферапонтыч... Господи! Да ты и похожий-то на отца. Только ты посытей да без бороды, а так-то... Да что ты, бог с тобой! Да с кем же она могла?

— Ну!..— Баев полез опять за пузырьком.— А в кого я такой башковитый? Я вот думаю: мериканцы-то у нас тада рылись — искали чего-то в горах... Шут его знает! Они же... это... народишко верткий.

— Дак, а похож-то?

— Ну!.. Похож!.. Потрись с малых лет возле человека — будешь похож. Собака вон на хозяина и то становится похожая, а человек-то... Шут его знает! Может, и грех на душу беру. Но шибко уж у нас с им... противоположные взгляды. Вот чую сердцем: не крестьянского я замеса. Сроду меня не тянуло пахать или там сеять...— ни к какой крестьянской работе. И к вину никогда не манило.— Баев не то что оголтело утверждал, что он не крестьянского рода, а скорей размышлял и сомневался.— Ведь если так-то подумать: куда же это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там... буянить на праздничи. Нет! В огороде своем собственном копать не люблю! Вот в конторе посиживать, это по мне...

— Дак оно бы и все-то так посиживали — в тепле да на почете,— вставила Марья.

— Садись! — воскликнул с сердцем Баев.— Чего ж ты тут заместо мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай.

— Посиживай...

— Во-от! Голову надо иметь? Вот я про голову и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца?

— Ну что же, уж из мужиков и людей больших не было? Вон в войну...

— В войну-у! — перебил Баев.— С наганами-то бегать да горло драть — это ишо не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов! Одного Ваню Кысу возьми... С малолетства на ножах ходил. Из тюрьмы не вылазил, сердешный. А тоже — храбрец из храбрецов считался...

— Ну сравнил!

— Ну а как же? Уж куда храбрей Кысы-то?.. Был ли кто?

— Кыса — разбойник. Разбойник, он разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вон Иван Козлов... Был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько, фотокарточку тада присылал, мы всей деревней смотреть бегали.

— Это... все так,— вздохнул Баев. Он не скрывал, что не ровня ему полуграмотная Марья — спорить, неглубоко берет баба своим рассудком.— Конечно, командир, ордена... треньбрень, сапоги со скрипом... Это все воздействует. Но все же голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или... так — куда шапку надевают.

Так беседовали Баев с Марьей. Часов до трех, до четырех засиживались. Кое в чем не соглашались, случалось, горячились, но расставались мирно. Баев уходил через площадь — наискосок — домой, а Марья устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом — день, шумливый, суетной, бестолковый... И опять опускалась на землю ясная ночь, и охота было опять поговорить, подумать, повспоминать — испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия.

...Как-то досиделись они, Баев с Марьей, часов до трех тоже, Баев собрался уже уходить, закладывал в нос последнюю порцию душистого — с валерьяновыми каплями — табаку, и тут увидела Марья, как на крыльцо сельмага всходит какой-то человек... Взошел, потрогал замок и огляделся. Марья так и приросла к стулу.

— Ферапонтыч,— выдохнула она с ужасом,— гляди-ка!

Баев всмотрелся, и у него тоже от страха лицо вытянулось.

Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок... Слышно звякнуло железо.

— Стреляй! — тихо крикнул Баев Марье.— Стреляй!.. Через окно прямо!

Марья не шевелилась. Смотрела в окно.

— Стреляй! — опять велел Баев.

— Да как я?! В живого человека... "Стреляй?" Как?! Ты што?

Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился прямиком к ним.

— Царица небесная, матушка,— зашептала Марья,— конец наступает. Прими, господи, душеньку мою грешную...

А Баев даже и шептать не мог, а только показывал пальцем на ружье и на окно — стреляй, дескать.

Шаги громко захрустели под окнами... Человек остановился, заглянул в окно. И тут Марья узнала его. Вскричала радостно:

— Да ведь Петька это! Петька Сибирцев!

— А чего это никого нет-то? — спросил Петька Сибирцев.

— Заходи, заходи! — помахала рукой Марья.— Вот гад-то подколодный! Я думала, у меня счас разрыв сердца будет. Вот черт-то полуношный! Он, наверно, с похмелья день с ночью перепутал.

Вошел Петька.

— Счас что, ночь, что ли? — спросил он.

— Вот идиот-то! — опять ругнулась Марья.— А ты что, за четвертинкой в сельмаг?

Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь — ночь.

— Заспал...

Баев пришел, наконец, в движение, нюхнул раз-другой, не чихнул, а высморкался громко в платок.

— Да-а,— сказал он.— Пить, так уж пить — чтоб уж и время потерять: где день, где ночь.

Петька Сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову.

— Ну надо же! — все изумлялась Марья.— А если б я стрельнула?

Петька поднял голову, посмотрел на Марью — то ли не понял, что она сказала, то ли не придал значения ее словам.

— У него голова болит,— с сердцем посочувствовал Баев.— Эх-х... Жители! — Баев стряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза.— Мне счас внучка книжку читает: Александра Невский землю русскую защищал... Написано хорошо, но только я ни одному слову не верю там.

Марья и Петька посмотрели на старика.

— Не верю! — еще раз с силой сказал Баев.— Выдумал... и получил хорошие деньги.

— Как это? — не поняла Марья.

— Наврал, как! Не врут, что ли?

— Это же исторический факт,— сказал Петька.— Как это он мог наврать? Конечно, он, наверно, приукрасил, но это же было.

— Не было.

— Вот так! — Петька качнул больной головой.— Хм...

— С кем это он защищал-то ее? Вот с такими вот воинами, вроде тебя?

Петька опять посмотрел на старика... Но смолчал.

— Если уж счас с вами ничего сделать не могут — со всех концов вас воспитывают да развивают... борются всячески — то где же тогда было набраться сознания?

Петька похлопал по карманам — поискал курево, но не обнаружил ни папирос, ни спичек.

— Пиши в газету,— посоветовал он.— Опровергай.

И встал и пошел вон из избушки.

Марья и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело льдистое стекло ночной замерзи, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол, за сельмаг.

— У их, наверно, свадьба,— сказала Марья.— Сестра-то Петькина за этого вышла... за этого... Как его? Брат-то к агрономше приехал... Как его?

— Черт их теперь знает. И знать не хочу... Сброд всякий.— Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб, ноги особенно — как ватные сделались. Все же испугался он сильно.— Надо же так пить, чтобы день с ночью перепутать!

— Они, ночи-то, вон какие светлые. Наверно, соскочил со сна-то — видит, светло, и дунул в сельмаг.

— Это ж... он и солнце с луной спутал?

Марья засмеялась.

— Видно, гуляют крепко.

В животе у Баева затревожилось, он скоренько завинтил флакончик с табаком, спрятал его в карман, поднялся.

— Пойду. Спокойно тебе додежурить.

— Будь здоров, Ферапонтыч. Приходи завтра, я завтра картошки принесу — напекем.

— Напекем, напекем,— сказал Баев. И поскорей вышел.

Марья видела, как и он тоже пересек площадь и удалился в улицу. Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги. И под его ногами тоже похрустывал ледок, но мягко — Баев был в валенках.

А такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться. Неспокойно как-то. В груди что-то такое... Как будто подкатит что-то горячее к сердцу снизу и в виски мягко стукнет. И в ушах толчками пошумит кровь. И все, и больше ничего на земле не слышно. И висит на веревке луна.

БЕСПАЛЫЙ

Все кругом говорили, что у Сереги Безменова злая жена. Злая, капризная и дура. Все это видели и понимали. Не видел и не понимал этого только Серега. Он злился на всех и втайне удивлялся: как они не видят и не понимают, какая она самостоятельная, начитанная, какая она... Черт их знает,

людей: как возьмутся языками чесать, так не остановишь. Они же не знали, какая она остроумная, озорная. Как она ходит! Это же поступь, черт возьми, это движение вперед, в ней же тогда каждая жилочка живет и играет, когда она идет. Серега особенно любил походку жены: смотрел, и у него зубы немели от любви. Он дома с изумлением оглядывал ее всю, играл желваками и потел от волнения.

— Что? — спрашивала Клара.— Мм?..— И, играя, показывала Сереге язык. И шла в горницу, будто нарочно, чтоб еще раз показать ему, как она ходит. Серега устремлялся за ней.

...И они же еще вякали про то, что она... О деревня! Серега молил бога, чтоб ему как-нибудь не выронить из рук этот драгоценный подарок судьбы. Порой он даже страшился: по праву ли свалилось на его голову такое счастье, достоин ли он его, и нет ли тут какого недоразумения — вдруг что-нибудь такое выяснится, и ему скажут: "Э-э, друг ситный, да ты что?! Ишь, захапал!"

Серега увидел Клару первый раз в больнице (она только что приехала работать медсестрой), увидел и сразу забеспокоился. Сперва он увидел только очки и носик-сапожок. И сразу забеспокоился. Это потом уж ему предстояла радость открывать в ней все новые и новые прелести. Сперва же только блестели очки и торчал вперед носик, все остальное была — рыжая прическа. Белый халатик на ней разлетался в стороны; она стремительно прошла по коридору, бросив на ходу понурой очереди: "Кто на перевязку — заходите". И скрылась в кабинетике. Серега так забеспокоился, что у него заболело сердце. Потом она касалась его ласковыми теплыми пальцами, спрашивала: "Не больно?" У Сереги кружилась голова от ее духов, он на вопросы только мотал головой — что не больно. И страх сковал его такой, что он боялся пошевелиться.

— Что вы? — спросила Клара.

Серега от растерянности опять качнул головой — что не больно. Клара засмеялась над самым его ухом... У Сереги, где-то внутри, выше пупка, зажгло... Он сморщился и... заплакал. Натурально заплакал! Он не мог понять себя и ничего не мог с собой сделать. Он сморщился, склонил голову и заскрипел зубами. И слезы закапали ему на больную руку и на ее белые пальчики. Клара испугалась: "Больно?!"

— Да иди ты!.. — с трудом выговорил Серега.— Делай свое дело.— Он приник бы мокрым лицом к этим милым пальчикам, и никто бы его не смог оттащить от них. Но

страх, страх парализовал его, а теперь еще и стыд — что заплакал.

— Больно вам, что ли? — опять спросила Клара.

— Только... это... не надо изображать, что мы все тут — от фонаря работаем,— сказал Серега сердито.— Все мы, в конце концов, живем в одном государстве.

— Что, что?

Ну, и так далее.

Через восемнадцать дней они поженились.

Клара стала называть его — Серый. Ласково. Она, оказывается, была уже замужем, но муж попался "вареный какой-то", они скоро разошлись. Серега от одного того, что первый ее муж был "вареный", ходил выпятив грудь, чувствовал в себе силу необыкновенную. Клара хвалила его.

И в это-то время, когда он не знал, что бы такое своротить от счастья, они говорили, что жена его — капризная и злая. Серега презирал их всех. Они же не знали, как она... О люди! Все иззавидовались, черти. Что такое, не могут люди спокойно выносить, когда кому-нибудь повезет.

— Вы берите пример с животного мира,— посоветовал Серега одному такому умнику.— Они же спокойно относятся, когда, например, одну какую-нибудь собачку берут в цирк выступать. Они же не злятся. Чего вы-то психуете?

— Да жалко тебя...

— Жалко у пчелки... знаешь где? Вот так.

Серега злился, понимал, что это ни к чему, глупо, и еще больше злился.

— Не обращай внимания на пустолаек,— говорила жена Клара.— Нам же хорошо, и все. Я их всех в упор не вижу.

Серега поругался с родней, что они не пришли в восторг от Клары, с дружками... Бросил совсем выпивать, купил стиральную машину и по субботам крутил бельишко в предбаннике, чтоб никто из зубоскалов не видел. Мать Сереги не могла понять: хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде как-то не пристало мужику бабскую работу делать, с другой стороны... Шут ее знает!

— Но он же не пьет! — сказала Клара свекрови.— Чего вам еще? Он занят делом.

— Дак а ты возьми да пожалей его: возьми да сама постирай, он неделю-то наломался, ему отдохнуть надо.

— А я что, не работаю?

— Да твоя-то работа... твою-то работу рази можно сравнить с мужниной, матушка! Покрути-ка его день-деньской

(Серега работал трактористом) — руки-то какие надо! Он же не двужильный.

— Я сама знаю, как мне жить с мужем,— сказала на это Клара.— Вам надо, чтобы он пил?

— Зачем же?

— Ну и все. Им же делаешь хорошо, и они же еще недовольны.

— Да ведь мне жалко его, он же мне сын...

— Вам не жалко, когда они под заборами пьяные валяются? Жалко? Ну и все. И не надо больше говорить на эту тему. Ясно?

— Господи, батюшка!..— опешила мать.— И слова не скажи. Замордовала мужика, а ей и слова не скажи.

— Хорошо, я скажу, чтобы он пошел в чайную и напился с дружками. Вас это устраивает?

— Да чо ты извязалась с пьянкой-то! — рассердилась мать.— Он и до тебя не шибко пил, что ты с пьянкой-то? Заладила: "пьянка, пьянка" .

— Хорошо, я скажу ему, что вы не велите стирать,— объявила Клара. И даже поднялась и книжку медицинскую отложила в сторону.

Мать испугалась.

— Ладно! Сразу — "скажу" . Только бы бегать жалиться.

— Хорошо, что вы предлагаете?— Клара через сильные очки прямо смотрела на свекровь.— Конкретно.

— Ничего. Только вижу я, милая, не век ты собралась с мужем жить, вот что. Если б жить думала, ты бы его берегла. А ты, как... не знаю, как ксплотаторша какая: заездила мужика. Неужели же тебе тяжело хоть воды-то натаскать! Он и так целый день там руки-то выворачивает, а придет домой — снова запрягайся. Да когда же ему отдохнуть-то, бедному?

— Повторяю: я о нем думаю. И когда мне его пожалеть, я сама знаю. Это вы тут... распустили мужчин, потом не знаете, что с ними делать.

— Господи, господи,— только и сказала мать.— Вот какие нынче пошли жены-то! Ай-яй!

Знал бы Серега про эти разговоры! У Клары хватало ума не передавать их мужу.

А Сереге это одно удовольствие — воды натаскать, бельишко простирнуть... Забежит в дом, поцелует жену в носик, подивится про себя мощному и плавному загибу ее бедер. А то попросит ее надеть белый халат.

— Ну заче-ем? — мило капризничала Клара.— Что за странности какие-то?

— Я прошу,— настаивал Серега.— Я же тогда тебя в халатике увидел, первый раз-то. Надень, погляжу: у меня вот здесь опять ворохнется.— Он показывал под сердце.— Я прошу, Кларнетик.— Он ее называл — Кларнетик. Или — Кларнет, когда надо громко позвать.

Клара надевала халат, и они баловались.

— Где болит? — спрашивала Клара.

— Вот здесь,— показывал Серега на сердце.

— Давно?

— Уже... семьдесят пять дней.

— Разрешите.— Клара прижималась ухом к Серегиной груди. Серега вдыхал запах ее крашеных волос... И снова, и снова у него чуть кружилась голова от волнения и радости. Он стискивал "врача" в объятиях, искал губами ее милый носик — любил почему-то целовать в носик.

— Ну-у,— противилась Клара, — врача-то!..— Ей, наверно, слегка уже надоели одинаковые ласки мужа.

"Господи, за что мне такое счастье! — думал Серега, выходя опять во двор к стиральному аппарату.— Я же могу не вынести так. Тронусь, чего доброго. Или ослабну вовсе."

Он не тронулся. Случилось другое, непредвиденное.

Приехал на каникулы двоюродной брат Серегин, Славка. Славка учился в большом городе в техническом вузе, родня им хвасталась, и, когда он приезжал на каникулы, дядя Николай, отец Славкин, собирал вечер. Так было уже два раза, теперь Славка перешел на третий курс. Ну, собрались опять. Позвали Серегу с Кларой.

Шло сперва все хорошо. Клара была в сиреневом платье с пышными рукавами, на груди медальон — часы на золотой цепочке, волосы отливают дорогой медью, очки блестят... Как любил ее Серега за эти очки! Осмотрится по народу, глянет на жену, и опять сердце радостью дрогнет: из всех-то она выделялась за столом: гордая сидела, умная, воспитанная — очень и очень не простая. Сереге понравилось, что и Славка тоже выделил ее из всех, переговаривался с ней через стол. Сперва так — о чем попало, а тут так вдруг интересно заговорили, что все за столом смолкли и слушали их.

— Хорошо, хорошо,— говорил Славка, улавливая ухом, что все его слушают,— мы — технократия, народ... сухой, как о нас говорят и пишут... Я бы тут только уточнил: конкретный, а не сухой, ибо все во главе угла для нас — господин Факт.

— Да, но за фактом подчас стоят не менее конкретные живые люди,— возразила на это Клара, тоже улавливая ухом, что все их слушают.

— Кто же спорит! — сдержанно, через улыбочку, пульнул технократ Славка.— Но если все время думать о том, что за фактом стоят живые люди, и делать на это бесконечные сноски, то наука и техника будут топтаться на месте. Мы же не сдвинемся с мертвой точки!

Клара, сверкая стеклом, медью и золотом, сказала на это так:

— Значит, медицина должна в основном подбирать за вами трупы? — Это она сильно выразилась; за столом стало совсем тихо.

Славка на какой-то миг растерялся, но взял себя в руки и брякнул:

— Если хотите — да! — сказал он.— Только такой ценой человечество овладеет всеми богатствами природы.

— Но это же ш а р л а т а н с т в о, — при общей тишине негромко, с какой-то особой значительностью молвила Клара.

Славка было засмеялся, но вышло это фальшиво, он сам почувствовал. Он занервничал.

— Почему же шарлатанство? Насколько я понимаю, шарлатанство свойственно медицине. И только медицине.

— Вы имеете в виду самовольные аборты?

— Не только.

— Знахарство? Так вот, запомните раз и навсегда,— напористо и сердито и назидательно заговорила Клара,— что всякий, кто берется лечить даже насморк человека, но не имеет на это соответствующего права,— есть потенциальный п р е с т у п н и к.— Особенно четко и страшно выговорилось у нее это "преступник". И это — при бабках, которые вовсю орудовали в деревне всякими травками, настоями, отварами, это при них она так... Все смотрели на Клару. И тут понял Серега, что отныне жену его будут уважать и бояться. Он ликовал. Он молился на свою очкастую богиню, хотелось заорать всем: "Что, съели?! А вякали!.." Но Серега не заорал, а опять заплакал. Черт знает, что за нервы у него! То и дело плакал. Он незаметно вытер слезы и закурил.

Славка что-то такое еще говорил, но уже и за столом заговорили тоже: Славка проиграл. К Кларе потянулись — кто с рюмкой, кто с вопросом... Один очень рослый родственник Серегин, дядя Егор, наклонился к Сереге, к ужу, спросил:

— Как ее величать?

— Никаноровна. Клавдия Никаноровна.

— Клавдия Никаноровна! — забасил дядя Егор, расталкивая своим голосом другие голоса.— А, Клавдия Никаноровна!..

Клара повернулась к этому холму за столом.

— Да, я вас слушаю.— Четко, точно, воспитанно.

— А вот вы замужем за нашим... ну, родственником, а свадьбу мы так и не справили. А почему вообще-то? Не по обычаю.

Клара не задумывалась над ответами. Вообще, казалось, вот это и есть ее стихия — когда она в центре внимания и раздает направо и налево слова, улыбки... Когда все удивляются на нее, любуются ею, кто и завидует исподтишка, а она все шлет и шлет и катит от себя волны духов, обаяния и культуры. На вопрос этого дяди Егора Клара чуть прогнула в улыбке малиновые губы... Скользнула взглядом по технократу Славке и сказала, не дав даже договорить дяде Егору:

— Свадьба — это еще не знак качества. Это,— Клара подняла над столом руку, показала всем золотое кольцо на пальце,— всего лишь символ, но не гарантия. Прочность семейной жизни не исчисляется количеством выпитых бутылок.

Ну, она разворачивалась сегодня! Даже Серега не видел еще такой свою жену. Нет, она была явно в ударе. На дядю Егора, как на посрамленного бестактного человека, посыпалось со всех сторон:

— Получил? Вот так.

— Что, Егорша: спроть шерсти? Хх-э!..

— С обычаем полез! Тут без обычая отбреют так, што... На, закуси лучше.

Серега — в безудержной радости и гордости за жену — выпил, наверно, лишнего. У него выросли плечи так, что он мог касаться ими противоположных стен дома; радость его была велика, хотелось обнимать всех подряд и целовать. Он плакал, хотел петь, смеяться... Потом вышел на улицу, подставил голову под рукомойник, облился и ушел за угол, под навес,— покурить и обсохнуть. Темнеть уже стало, ветерок дергал. Серега скоро отошел на воздухе и сидел, думал. Не думал, а как-то отдыхал весь — душой и телом. Редкостный, чудный покой слетел на него: он как будто куда-то плыл, повинуясь спокойному, мощному току времени. И думалось просто и ясно: "Вот — живу. Хорошо".

Вдруг он услышал два торопливых голоса на крыльце дома; у него больно екнуло сердце: он узнал голос жены. Он

замер. Да, это был голос Клары. А второй — Славкин. Под навесом была дощатая перегородка, Славка и Клара подошли к ней и стали. Получилось так: Серега сидел по одну сторону перегородки, спиной к ней, а они стояли по другую сторону... То есть это так близко, что можно было услышать стук сердца чужого, не то что голоса или шепот, или возню какую. Вот эта-то близость — точно он под кроватью лежал — так поначалу ошарашила, оглушила, что Серега не мог пошевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Чиженька мой,— ласково, тихо — так знакомо! — говорила Клара,— да что же ты торопишься-то? Дай я тебя...— Чмок-чмок. Так знакомо! Так одинаково! Так близко... — Славненький мой. Чудненький мой...— Чмок-чмок.— Сладенький...

Они там слегка возились и толкали Серегу. Славка что-то торопливо бормотал, что-то спрашивал — Серега пропускал его слова,— Клара тихо смеялась и говорила:

— Сладенький мой... Куда, куда? Ах ты, шалунишка! Поцелуй меня в носик

"Так вот это как бывает,— с ужасом, с омерзением, с болью постигал Серега.— Вот как!" И все живое, имеющее смысл, имя,— все ухнуло в пропасть, и стала одна черная яма. И ни имени нет, ни смысла — одна черная яма. "Ну, теперь все равно",— подумал Серега. И шагнул в эту яму.

— Кларнети-ик, это я, Серый,— вдруг пропел Серега, как будто он рассказывал сказку и подступил к моменту, когда лисичка-сестричка подошла к домику петушка и так вот пропела: — Ау-у! — еще спел Серега. — А я вас счас буду убива-ать.

Дальше все пошло мелькать, как во сне: то то видел Серега, то это... То он куда-то бежал, то кричали люди. Ни тяжести своей, ни плоти Серега не помнил. И как у него в руке очутился топор, тоже не помнил. Но вот что он запомнил хорошо: как Клара прыгала через прясло. Прическа у Клары сбилась, волосы растрепались; когда она махнула через прясло, ее рыжая грива вздыбилась над головой... Этакий огонь метнулся. И этот-то летящий момент намертво схватила память. И когда потом Серега вспоминал бывшую свою жену, то всякий раз в глазах вставала эта картина — полет, и было смешно и больно.

В тот вечер все вдруг отшумело, отмелькало... Куда-то все подевались. Серега остался один с топором... Он стал все сознавать, стало нестерпимо больно. Было так больно, даже дышать было трудно от боли. "Да что же это такое-то! Что

же делается?" — подумал Серега... Положил на жердину левую руку и тяпнул топором по пальцам. Два пальца — указательный и средний — отпали. Серега бросил топор и пошел в больницу. Теперь хоть куда-то надо идти. Руку замотал рубахой, подолом.

С тех пор его и прозвали на селе — Беспалый.

Клара уехала в ту же ночь; потом ей куда-то высылали документы: трудовую книжку, паспорт... Славка тоже уехал и больше на каникулы не приезжал. Серега по-прежнему работает на тракторе, орудует этой своей культей не хуже прежнего. О Кларе никогда ни с кем не говорит. Только один раз поругался с мужиками.

— Говорили тебе, Серьга: злая она...

— Какая она злая-то?! — вдруг вскипел Серега.— При чем тут злая-то?

— А какая она? Добрая, что ли?

— Да при чем тут — добрая, злая? В злости, что ли, дело?

— А в чем же?

— Ни в чем! Не знаю, в чем... Но не в злости же дело. Есть же другие какие-то слова... Нет, заталдычили одно: злая, злая. Может, наоборот, добрая: брату хотела помочь.

— Серьга,— поинтересовались,— а вот ты же это... любил ее... А если бы счас приехала, простил бы?

Серега промолчал на это. Ничего не сказал.

Тогда мужики сами принялись рассуждать.

— Что она, дура, что ли,— приедет.

— А что? Подумает — любил...

— Ну, любил, любил. Он любил, а она не любила. Она уже испорченный человек — на одном все равно не остановится. Если смолоду человек испортится, это уже гиблое дело. Хоть мужика возьми, хоть бабу — все равно. Она иной раз и сама не хочет, а делает.

— Да, это уж только с середки загнить, а там любой ветерок пошатнет.

— Воли им дали много! — с сердцем сказал Костя Бибиков, невзрачный мужичок, но очень дерзкий на слово.— Дед Иван говорит: счас хорошо живется бабе да корове, а коню и мужику плохо. И верно. Воли много, они и распустились. У Игнахи вон Журавлева — тоже: напилась дура, опозорила мужика — вел ее через всю деревню. А потом на его же: "А зачем пить много разрешал!" Вот как!..

— А молодые-то!.. Юбки эти возьми — посмотришь, иде-ет... Тьфу!

Серега сидел в сторонке, больше не принимал участия в разговоре. Покусывал травинку, смотрел вдаль куда-то. Он думал: что ж, видно, и это надо было испытать в жизни. Но если бы еще раз налетела такая буря, он бы опять растопырил ей руки — пошел бы навстречу. Все же, как ни больно было, это был праздник. Конечно, где праздник, там и похмелье, это так... Но праздник-то был? Был. Ну и все.

ТАНЦУЮЩИЙ ШИВА

В чайной произошла драка.

Дело было так: плотники, семь человек, получили аванс (рубили сельмаг) и после работы пошли в чайную, как они говорят, — посидеть. Взяли семь бутылок портвейна (водки в чайной не было), семь котлет, сдвинули два столика, сели и стали помаленьку пропускать и кушать котлеты. Пропустили рюмочки по три, заговорили о том, что все-таки их хотят надуть, с этим прилавком. Дело в том, что когда они рядились в цене, то упустили из виду прилавок: надо его делать плотникам или это уже столярная работа? Упустили-то сельповские, заказчики, а плотники тогда промолчали (бригадир у них в этом деле дока). Теперь выяснилось, что сельповские хотят, чтобы плотники сделали и прилавок тоже, они, оказывается, имели это в виду, что это само собой разумеется и так далее, и тому подобное. Но в договоре этот пункт не помечен, и плотники встали "на дыбошки": прилавок — не наше дело! То есть они могут, конечно, его сделать, но за это — отдельная плата.

— Я им справочник покажу, — с явной угрозой говорил бригадир, сухой мужик, весь черный от солнца.— Я их носом ткну, где написано черным по белому: какие работы плотницкие, а какие столярные. Они же ни бум-бум в этом.

Все были согласны с бригадиром. Более того, все были возмущены, а иные, вроде Кольки Забалуева, даже оскорблялись и грустно, горько вздыхали. Они забыли один свой веселый разговор, когда они, семеро, сидя тут же, в чайной, толковали...

Но это — потом. Сейчас они говорили:

— А если бы, значит, так: им бы зачесалось теперь сделать какой-нибудь фигурный прилавок?

— Да любой прилавок! Это же особая работа...

— До чего ушлый народ пошел! Эдак они нас заставят и рамы вязать!

— Наше дело теперь: настелить пол, окосячить, навесить двери и — все, точка.

— Я те так скажу... Ты слушай сюда! Слушай сюда!

— Еще, что ли, по одной?

— Давайте.

Скинулись, взяли еще семь бутылок.

— Я те так скажу... Ты слушай сюда! Слушай сюда!

— Ну? Ну? Ну?

— Да не "ну" — слушай! Я рубил баню Дарье Кузовниковой...

— При чем тут Дарья? То — частное лицо, а то — организация: сравнил...

— Я те к примеру! Ты слушай сюда!..

— Долбо...

— Мужики, перестаньте лаяться! — крикнула буфетчица.— А то выставлю счас всех!.. Распустили языки-то.

— Ты слушай сюда!

— Ну!

— Гну! Если бы не женщина тут, я б те сказал...

В общем, беседа приняла оживленный характер: сельповским здорово перепадало — за наглость и вероломство.

Тут в чайную пришел Аркаша Кебин, по прозвищу Танцующий Шива.

Давно его так прозвали, в школе еще. Он тоже взял себе "портвяшку", котлету (поругался с женой и в знак протеста не стал дома ужинать), сел за столик по соседству с плотниками, прислушался к их разговору... И сказал громко:

— Хмыри!

Плотники замолчали. Посмотрели на Аркашку.

— Трепачи,— еще сказал Аркашка. Он потому и Шива, что везде сует свой нос.— Проходимцы.

Плотники сперва не поняли, что это к ним относится. Невероятно! Даже с Аркашкиным языком и то — на семерых подвыпивших так говорить... Что он, сдурел, что ли?

— Это я вам, вам,— сказал Аркашка.— Бедненькие — обманули их. Вас обманешь! Тот еще не родился, кто вас обманет. Прохиндеи.

У одного здоровенного плотника, Ваньки Селезнева даже рот приоткрылся.

— Недоумеваете, почему прохиндеями назвал? Поясняю: полтора месяца назад вы, семеро хмырей, сидели тут же и радовались, что объегорили сельповских с договором: не

вставили туда пункт о прилавке. Теперь вы сидите и проливаете крокодиловы слезы — вроде вас обманули. Нет, это вы обманули!

— Да? — спросил бригадир. И это "да" было — растерянность, никак не угроза. Беспомощность.

— Да, да.— Аркашка отдавил бочком вилки кусочек котлетки, подцепил его, обмакнул в соус и отправил в рот — очень все аккуратно, культурно, даже мизинчик оттопырил. Потом (так любят делать артисты, изображающие в кино господ и надменных чиновников)— не прожевав, продолжал говорить: — Я слышал это собственными ушами, поэтому не показывайте мне детское удивление на лице, а имейте мужество выслушать горькую правду. Мне, допустим, это все равно, но где же правда, товарищи?! — Аркашка упивался, наслаждался, точно в июльскую жару погрузился по горло в прохладную воду и млел, и чуть шевелил пальцами ног. Великая сила — правда: зная ее, можно быть спокойным. Аркашка был спокоен. Он судил проходимцев.— Стыдно, товарищи. И, главное, сами сидят возмущаются! Видели таких проходимцев? Ну, ладно, задумали обмануть сельповских, но зачем вот так вот сидеть и разводить нюни, что вас хотят обмануть? — Аркашка искренне заинтересовался, хотел понять.— Ведь вы на этом же самом месте похохатывали...— Но тут Аркашка увидел, что Ванька Селезнев показывает вовсе не детское удивление на лице, а берется за бутылку. Аркашка вскочил с места, потому что хорошо знал этого губошлепа — ломанет.— Ванька!.. Поставь бутылку на место, поставь, Ванюша. Я же вас на понт беру! Велите ему поставить бутылку!

Плотники обрели дар речи.

— А ты чего это заволновался-то, Шива? Ванька, поставь бутылку.

— Иди к нам, Аркашка.

— Правда, чего ты там один сидишь? Иди к нам.

— Пусть он поставит бутылку.

— Он поставил. Поставь, Иван. Иди, Аркаша.

Аркашка, прихватив свою недопитую бутылку, пересел к плотникам и только было хотел набулькать себе полстакашка и уже оттопырил мизинчик, как Ванька протянул через стол свою мощную грабастую лапу и поймал Аркашку за грудки.

— А-а, Шива!.. На понт берешь, да? Счас ты у меня станцуешь. Танцуй!

Аркашка поборолся немного с рукой, но рука... это не рука, березовый сук с пальцами.

— Брось...— с трудом проговорил Аркашка.

— Танцуй!

— Отпусти, дурной!..

— Будешь танцевать?

Тут плотники принялись рассказывать нездешнему бригадиру, как здорово Аркашка танцует. Ногами что выделывает!.. Руками! А то — сам стоит, а голова танцует...

— Голова?

— Голова! Сам неподвижный, а голова ходуном ходит.

А Ванька все держал Аркашку за грудки, довольный, что надоумил товарищей с танцем.

— Будешь танцевать?

Чудовищные пальцы сжались туже.

— Буду... Отпусти!

Ванька отпустил.

— Гад такой. Обрадовался — здоровый? — Аркашка потер шею.— Распустил грабли-то... Попроси по-человечески — станцую, обязательно надо руки свои поганые таращить!

— Не обижайся, Аркашка. Станцуй вот для человека — он никогда не видел. Ванька больше не будет.

— Станцуй, будь другом!

Аркашке набухали стакан из своих бутылок.

— Ванька больше не будет. Не будешь, Иван?

— Пусть танцует.

Аркашка оглушил стакан.

— Зараза,— сказал он с дрожью в голосе.— Еще руки распускает... Для всех станцую, а ты — отвернись!

Ванька опять было потянулся к Аркашке, но ему не дали.

— Станцуй, Аркашка. Ванька, отвернись.— Ваньке подмигнули.— Отвернись, кому сказано! Чего ты, в самом деле, руки-то распускаешь?

— Нашелся мне, понимаешь...— Аркашка открыто и зло посмотрел на Ваньку.— Губошлеп. Три извилины в мозгу и все параллельные.

— Ладно, Аркашка, станцуй.

— Отвернись! — прикрикнул Аркашка на Ваньку.

Ванька сделал вид, что отвернулся.

Аркашка внимательно, чуть ли не торжественно оглядел всех, встал...

Как он танцует, Шива,— это надо смотреть.

Это не танец, где живет одна только плотская радость, унаследованная от прыжков и сексуального хвастовства тупых и беззаботных древних, у Аркашки — это свободная

форма свободного существования в нашем деловом веке. Только так, больше слабый Аркашка не мог никак.

— Как Ванька Селезнев дергает задом гвозди! — объявил Аркашка.

Это — название танца; Аркашка разрешил:

— Ванька, гляди! Можно глядеть! — И начал.

Дал знак воображаемым музыкантам, легкой касательной походкой сделал ритуальный скок... И опробовал половицу покрепче — надежно. Выдал красивое, загогулистое колено, еще, еще — это он показал, что как все-то пляшут — он так умеет. Он умел еще иначе. Он посмотрел на Ваньку... Сделал ему гримасу, показал его, заинтересованного губошлепа... Потом потянулся, сонно зачмокал губами — Ванька проснулся утром.

Плотники засмеялись.

Аркашка проковылял к стене, похрюкал, похрюкал, пригладил ладонями патлы — Ванька умылся. Потом Ванька стал жрать — жадно, много, безобразно... Отвалился от стола, стал икать...

Плотники опять засмеялись.

— Сука,— прошептал серьезный Ванька.

Потом Аркашка дал козла и опять выработал сложное колено — конец утра. И вот Ванька на работе. Раз ударит по гвоздю, минуту смотрит на небо, чешется... Нашел даже вшу под рубахой, убил.

— Падла,— сказал Ванька.— У меня сроду вшей не было. Даже в войну...

— Тихо,— попросили его.

— А чего он выдумывает!

— Тихо!

Потом Ванька загнал гвоздь криво, долго искал гвоздодер, гвоздодера у такого работника, конечно, нет. Тогда Ванька сел на гвозь, напрягся так, что лицо перекосилось...

Плотники хохотали.

Ванька хотел было встать, ему не дали.

Аркашка мучился на полу...

Вот Ванька раскачал гвоздь, рывком встал... Взял гвоздь и забил правильно.

Плотники лежали на столах, мычали, вытирали слезы. И все, кто был в чайной, хохотали, даже строгая продавщица. Не смеялись только двое — Аркашка и Ванька. Ванька свирепо смотрел на артиста, знал: теперь полгода будут помнить, как "Ванька дергал гвозди". Знал также, что отлупить Аркашку сейчас не дадут.

В завершение Аркашка опять сделал красивый круг, пощелкал чечеткой и сел к плотникам. Его хлопали по спине, налили стакан вина... Аркашка был доволен, посмотрел на Ваньку. Подмигнул ему. И почему-то именно это — что Аркашка подмигнул — доконало Ваньку. Он опять сгреб за грудки левой рукой, а правой хотел звездануть, размахнулся, но руку остановили. Ванька поднялся на всех.

— Он, сука, видел, как я работаю?! Он критикует!.. Он видел?

— Што ты, што ты — шуток не понимаешь. Уймись!

— Вам шутки, а мне в глаза будут тыкать. Пусти!..

Ванька закусил удила. Швырнул одного, другого... Все повскакали.

Аркашка на всякий случай отбежал к двери.

— Хаханьки строить? — орал Ванька и еще одному завесил такую, что плотник отлетел к стене.

Аркашка сверкающими глазами смотрел на все.

— Так их, Ванька! Так их!.. — вскрикивал он. Его не слышали.

Ванька рычал и ворочался, его не могли одолеть. Падали стулья, столы, тарелки, бутылки...

— Зовите милицию! — заблажила буфетчица.— Они же побьют здесь все!..

— Не надо! — крикнул Аркашка.— Не надо милицию!

— Ша! — сказал вдруг нездешний бригадир.— Ша, пацаны... я валю этого бычка.

Бригадира услышали.

— Кто, ты? — удивился Ванька.— Ты?

— Отошли, пацаны, отошли... Я его делаю.— Бригадир стал подходить к Ваньке. Ванька изготовился.

— Иди, падла... Иди.

— Иду, Ваня, иду.

— Иди, иди.

— Иду.— Бригадир шел на Ваньку медленно, спокойно. Никто не понимал, что такое сейчас произойдет.

— Боксер, да? Иди, я те по-русски закатаю...

— Та какой я боксер! — Бригадир остановился перед Ванькой.— Що ты!..

— Ну? — спросил Ванька.

— От так — раз! — Бригадир вдруг резко ткнул Ваньке кулаком в живот.

Ванька ойкнул и схватился за живот, склонился. А когда он склонился, бригадир быстро, сильно дал ему согнутым коленом снизу в челюсть. — Два.

Ванька зажмурился от боли... Упал, скрючился. Изо рта по нижней губе пробился тоненький следок крови... Капало с подбородка на застиранную Ванькину рубаху. Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех: так в деревне не дрались. Дрались хуже — страшней, но так подло — нет.

Аркашка взял венский стул, подошел к бригадиру и заорал:

— Счас как дам по башке! Гад такой!

— Выходите к чертовой матери! Все! Вон! — Буфетчица, воспользовавшись затишьем, выбежала из-за прилавка и выталкивала плотников на улицу.— Выходите к чертовой матери! Вон на улицу — там и деритесь!

Один из плотников взял из-под Аркашки стул, поставил на место, а бригадиру сказал:

— Пошли, а то тут шум.

Аркашка склонился к Ивану, вытер кровь с его подбородка.

— Мм,— простонал Ванька.

— Ничего, Иван... ему счас дадут. Больно?

Ванька потрогал пальцем челюсть, покачал ее, сплюнул клейкую сукровицу. Сел.

— Бубы...

— А?

— Бубы...

— Зубы разбил? От гад-то! Счас ему там дадут. Мужики пошли с им... Встать можешь?

Ванька с трудом поднялся, сел на стул.

— Вина взять?

— Мм,— кивнул Ванька,— взять.

Аркашка подошел к прилавку.

— Здорово он его? — спросила буфетчица, наливая вино.

— Ничего, ему счас тоже дадут.

— А все ты разжег!.. Шива чертов. Вечно из-за тебя одни скандалы.

— Помолчи,— посоветовал Аркашка.— Возьми вон конфетку шоколадную и соси.

— Шива и есть. Выметайтесь отсюда! Чтоб духу вашего тут не было!..

Аркашка взял вино и пошел к Ивану.

— На, выпей.

— Чего она? — спросил Иван.

— Ругается. Не обращай внимания. Пей — легче будет.

МНЕНИЕ

Некто Кондрашин, Геннадий Сергеевич, в меру полненький гражданин, голубоглазый, слегка лысеющий, с надменным, несколько даже брезгливым выражением на лице, в десять часов без пяти минут вошел в подъезд большого глазастого здания, взял в окошечке ключ под номером 208, взбежал, поигрывая обтянутым задком, на второй этаж, прошел по длинному коридору, отомкнул комнату номер 208, взял местную газету, которая была вложена в дверную ручку, вошел в комнату, повесил пиджак на вешалку и, чуть поддернув у колен белые отглаженные брюки, сел к столу. И стал просматривать газету. И сразу наткнулся на статью своего шефа, "шефуни", как его называли молодые сотрудники. И стал читать. И по мере того, как он читал, брезгливое выражение на его лице усугублялось еще насмешливостью.

— Боженька мой! — сказал он вслух. Взялся за телефон, набрал внутренний трехзначный номер.

Телефон сразу откликнулся:

— Да. Яковлев.

— Здравствуй! Кондрашин. Читал?

Телефон чуть помедлил и ответил со значительностью, в которой тоже звучала насмешка, но скрытая:

— Читаю.

— Заходи, общнемся.

Кондрашин отодвинул телефон, вытянул тонкие губы трубочкой, еще пошуршал газетой, бросил ее на стол — небрежно и подальше, чтоб видно было, что она брошена и брошена небрежно... Поднялся, походил по кабинету. Он, пожалуй, слегка изображал из себя кинематографического американца: все он делал чуть размашисто, чуть небрежно... Небрежно взял в рот сигарету, небрежно щелкнул дорогой зажигалкой, издалека небрежно бросил пачку сигарет на стол. И предметы слушались его: ложились, как ему хотелось,— небрежно, он делал вид, что он не отмечает этого, но он отмечал и был доволен.

Вошел Яковлев.

Они молча — небрежно — пожали друг другу руки. Яковлев сел в кресло, закинул ногу на ногу, при этом обнаружились его красивые носки.

— А? — спросил Кондрашин, кивнув на газету.— Каков? Ни одной свежей мысли, болтовня с апломбом.— Он, может быть, и походил бы на американца, этот Кондрашин, если б нос его, вполне приличный нос, не заканчивался бы вдруг

этаким тамбовским лапоточком, а этот лапоточек еще и — совсем уж некстати — слегка розовел, хотя лицо Кондрашина было сытым и свежим.

— Не говори,— сказал Яковлев, джентльмен попроще. И качнул ногой.

— Черт знает!..— воскликнул Кондрашин, продолжая ходить по кабинету и попыхивая сигаретой.— Если нечего сказать, зачем тогда писать?

— Откликнулся. Поставил вопросы...

— Да вопросов-то нет! Где вопросы-то?

— Ну как же? Там даже есть фразы: "Мы должны напрячь все силы...", "Мы обязаны в срок..."

— О да! Лучше бы уж он напрягался в ресторане — конкретнее хоть. А то именно — фразы.

— В ресторане — это само собой, это потом.

— И ведь не стыдно! — изумлялся Кондрашин.— Все на полном серьезе... Хоть бы уж попросил кого-нибудь, что ли. Одна трескотня, одна трескотня, ведь так даже для районной газеты уже не пишут. Нет, садится писать! Вот же Долдон Иваныч-то.

— Черт с ним, чего ты волнуешься-то? — искренне спросил Яковлев.— Дежурная статья.

— Да противно все это.

— Что ты, первый год замужем, что ли?

— Все равно противно. Бестолково, плохо, а вид-то, посмотри, какой, походка одна чего стоит. Тьфу!..— И Кондрашин вполне по-русски помянул "мать".— Ну почему?! За что? Кому польза от этого надутого дурака. Бык с куриной головой...

— Что ты сегодня? — изумился теперь Яковлев.— Какая тебя муха укусила? Неприятности какие-нибудь?

— Не знаю...— Кондрашин сел к столу, закурил новую сигарету.— Нет, все в порядке. Черт ее знает, просто взбесила эта статья. Мы как раз отчет готовим, не знаешь, как концы с концами свести, а этот,— Кондрашин кивнул на газету,— дует свое... Прямо по морде бы этой статьей, по морде бы!..

— Да,— только и сказал Яковлев.

Оба помолчали.

— У Семена не был вчера? — спросил Яковлев.

— Нет. Мне опять гостей бог послал...

— Из деревни?

— Да-а... Моя фыркает ходит, а что я сделаю? Не выгонишь же.

— А ты не так. Ты же Ожогина знаешь?

— Из горкомхоза?

— Да.

— Знаю.

— Позвони ему, он гостиницу всегда устроит. Я, как ко мне приезжают, сразу звоню Ожогину — и никаких проблем.

— Да неудобно... Как-то знаешь, понятия-то какие! Скажут: своя квартира есть, а устраивает в гостиницу. И тем не объяснишь, и эта... вся испсиховалась. Вся зеленая ходит. Вежливая и зеленая.

Яковлев засмеялся, а за ним, чуть помедлив, и Кондрашин усмехнулся.

С тем они и расстались. Яковлев пошел к себе, а Кондрашин сел за отчет.

Через час примерно Кондрашину позвонили. От "шефуни".

— Дмитрий Иванович просит вас зайти,— сказал в трубку безучастный девичий голосок.

— У него есть кто-нибудь? — спросил Кондрашин.

— Начальник отдела кадров, но они уже заканчивают. После него просил зайти вас.

— Хорошо,— сказал Кондрашин. Положил трубку, подумал: не взять ли с собой чего, чтобы потом не бегать. Поперебирал бумаги, не придумал что брать... Надел пиджак, поправил галстук, сложил губы трубочкой — привычка такая, эти губы трубочкой: вид сразу становился деловой, озабоченный и, что очень нравилось Кондрашину в других — вид человека, настолько погруженного в свои мысли, что уж и не замечались за собой некоторые мелкие странности вроде этой милой ребячьей привычки, какую он себе подобрал,— губы трубочкой, и, выйдя из кабинета, широко и свободно пошагал по коридору... Взбежал опять по лестнице на третий этаж, бесшумно, вольно, с удовольствием прошел по мягкой ковровой дорожке, смело распахнул дверь приемной, кивнул хорошенькой секретарше и вопросительно показал пальцем на массивную дверь "шефуни".

— Там еще,— сказала секретарша.— Но они уже заканчивают.

Кондрашин свободно опустился на стул, приобнял рукой спинку соседнего стула и легонько стал выстукивать пальцами по гладкому дереву некую мягкую дробь. При этом сосредоточенно смотрел перед собой — губы трубочкой, брови чуть сдвинуты к переносью — и думал о секретарше и о том помпезном уюте, каким издавна окружают себя все

"шефы", "шефуни", "надшефы" и даже "подшефы". Вообще ему нравилась эта представительность, широта и некоторая чрезмерность обиталища "шефов", но, например, Долдон Иваныч напрочь не умеет всем этим пользоваться: вместо того, чтобы в этой казенной роскоши держаться просто, доступно и со вкусом, он надувается как индюк, важничает. О секретарше он подумал так: никогда, ни с какой секретаршей он бы ни в жизнь не завел ни самого что ни на есть пустого романа. Это тоже... долдонство: непременно валандаться с секретаршами. Убогость это, неуклюжесть. Примитивность. И всегда можно погореть...

Дверь кабинета неслышно открылась... Вышел начальник отдела кадров. Они кивнули друг другу, и Кондрашин ушел в дерматиновую стену.

Дмитрий Иванович, "шефуня", был мрачноват с виду, горбился за столом, поэтому получалось, что он смотрит исподлобья. Взгляд этот пугал многих.

— Садитесь,— сказал Дмитрий Иванович.— Читали? — И пододвинул Кондрашину сегодняшнюю областную газету.

Кондрашин никак не ждал, что "шефуня" прямо с этого и начнет — с газеты. Он растерялся... Мысли в голове разлетелись точно воробьи, вспугнутые камнем. Хотел уж соврать, что не читал, но вовремя сообразил, что это хуже... Нет, это хуже.

— Читал,— сказал Кондрашин. И на короткое время сделал губы трубочкой.

— Хотел обсудить ее до того, как послать в редакцию, но оттуда позвонили — срочно надо. Так вышло, что не обсудил. Просил их подождать немного, говорю: "Мои демократы мне за это шею намылят". Ни в какую. Давайте, говорите теперь — постфактум. Мне нужно знать мнение работников.

— Ну, это понятно, почему они торопились,— начал Кондрашин, глядя на газету. Он на секунду-две опять сделал губы трубочкой... И посмотрел прямо в суровые глаза "шефуни".— Статья-то именно сегодняшняя. Она сегодня и нужна.

— То есть? — не понял Дмитрий Иванович.

— По духу своему, по той... как это поточнее — по той деловитости, конкретности, по той простоте, что ли, хотя там все не просто, именно по духу своему она своевременна. И современна.— Кондрашин так смотрел на грозного "шефуню" — простодушно, даже как-то наивно, точно в следующий момент хотел спросить: "А что, кому-нибудь неясно?"

— Но ведь теперь же все с предложениями высовываются, с примерами...

— Так она вся — предложение! — перебил начальника Кондрашин.— Она вся, в целом, предлагает... зовет, что ли, не люблю этого слова, работать не так, как мы вчера работали, потому что на дворе у нас — одна тысяча девятьсот семьдесят второй. Что касается примеров... Пример — это могу я двинуть, со своего, так сказать, места, но где же тогда обобщающая мысль? Ведь это же не реплика на совещании, это статья.— И Кондрашин приподнял газету над столом и опустил.

— Вот именно,— сказал "шефуня".— Примеров у меня — вон, полный стол.— И он тоже приподнял какие-то бумаги и бросил их.

— Пусть приходят к нам в отделы — мы их завалим примерами,— еще сказал Кондрашин.

— Как с отчетом-то? — спросил Дмитрий Иванович.

— Да ничего... Все будет в порядке.

— Вы там смотрите, чтоб липы не было,— предупредил Дмитрий Иванович.— Консультируйтесь со мной. А то наворочаете...

— Да ну, что мы... первый год замужем, что ли? — Кондрашин улыбнулся простецкой улыбкой.

— Ну-ну,— сказал Дмитрий Иванович.— Хорошо.— И кивнул головой. И потянулся к бумагам на столе.

Кондрашин вышел из кабинета.

Секретарша вопросительно и, как показалось Кондрашину, с ехидцей глянула на него. Спросила:

— Все хорошо?

— Да,— ответил Кондрашин. И подумал, что, пожалуй, с этой дурочкой можно бы потихоньку флиртануть — так, недельку потратить на нее, потом сделать вид, что ничего не было. У него это славно получалось.

Он даже придержал шаг, но тут же подумал: "Но это ж деньги, деньги!.." И сказал: — Вы сегодня выглядите на сто рублей, Наденька.

— Да уж... прямо,— застеснялась Наденька.

"Совсем дура,— решил Кондрашин.— Зеленая".

И вышел из приемной. И пошел по ковровой дорожке... По лестнице на второй этаж не сбежал, а сошел медленно. Шел и крепко прихлопывал по гладкой толстой перилине ладошкой. И вдруг негромко, зло, остервенело о ком-то сказал:

— Кр-ретины.

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО ВАГАНОВА

Молодой выпускник юридического факультета, молодой работник районной прокуратуры, молодой Георгий Константинович Ваганов был с утра в прекрасном настроении. Вчера он получил письмо... Он, трижды молодой, ждал от жизни всего, но этого письма никак не ждал. Была на их курсе Майя Якутина, гордая девушка с точеным лицом. Ваганова — ни тогда, на курсе, ни после, ни теперь, когда хотелось мысленно увидеть Майю, — не оставляло навязчивое какое-то, досадное сравнение: Майя похожа на деревянную куклу, сделанную большим мастером. Но именно это, что она похожа на куколку, на изящную куколку, необъяснимым образом влекло и подсказывало, что она же — женщина, способная сварить борщ и способная подарить радость, которую никто больше не в состоянии подарить — то есть она женщина, как все женщины, но к тому же изящная, как куколка. Георгий Ваганов хотел во всем разобраться, а разбираться тут было нечего: любил он эту Майю Якутину. С их курса ее любили четыре парня; все остались с носом. На последнем курсе Майя вышла замуж за какого-то, как прошла весть, талантливого физика. Все решили: ну, да, хорошенькая, да еще и с расчетом. Они все так, хорошенькие-то. Но винить или обижаться на Майю Ваганов не мог: во-первых, никакого права не имел на это, во-вторых... за что же винить? Ваганов всегда знал: Майя не ему чета. Жалко, конечно, но... А может, и не жалко, может, это и к лучшему: получи он Майю, как дар судьбы, он скоро пошел бы с этим даром на дно. Он бы моментально стал приспособленцем: любой ценой захотел бы остаться в городе, согласился бы на роль какого-нибудь мелкого чиновника... Не привязанный, а повизгивал бы около этой Майи. Нет, что ни делается — все к лучшему, это верно сказано. Так Ваганов успокоил себя, когда понял окончательно, что не видать ему Майи как своих ушей. Тем он и успокоился. То есть ему казалось, что успокоился. Оказывается, в таких делах не успокаиваются. Вчера, когда он получил письмо и понял, что оно — от Майи, он сперва глазам своим не поверил. Но письмо было от Майи... У него так заколотилось сердце, что он всерьез подумал: "Вот так, наверно, падают в обморок". И ничуть этого не испугался, только ушел с хозяйской половины дома к себе в горницу. Он читал его, обжигаясь сладостным предчувствием, он его

гладил, смотрел на свет, только что не целовал — целовать совестно было, хотя сгоряча такое движение — исцеловать письмо было. Ваганов вырос в деревне с суровым отцом и вечно занятой, вечно работающей матерью, ласки почти не знал, стыдился ласки, особенно почему-то — поцелуев.

Майя писала, что ее семейная жизнь "дала трещину", что она теперь свободна и хотела бы использовать свой отпуск на то, чтобы хоть немного повидать страну — поездить. В связи с этим спрашивала: "Милый Жора, вспомни нашу старую дружбу, встреть меня на станции и позволь пожить у тебя с неделю — я давно мечтала побывать в тех краях. Можно?" Дальше она еще писала, что у нее была возможность здорово переосмыслить свою жизнь и жизнь вокруг, что она теперь хорошо понимает, например, его, Жоркино, упорство в учебе и то, с какой легкостью он, Жорка, согласился ехать в такую глухомань... "Ну-ну-ну — легче, матушка,— легче,— с удовольствием подумал молодой Ваганов.— Подожди пока цыпляток считать".

Вот с этим-то письмом в портфеле шел сейчас к себе на работу молодой Ваганов. Предстояло или на работе, если удастся, или дома вечером дать ответ Майе. И он искал слова и обороты, какие должны быть в его письме, в письме простом, великодушном, умном. Искал он такие слова, находил, отвергал, снова искал... А сердце нет-нет да подмоет: "Неужели же она моей будет? Ведь не страну же она, в самом деле, едет повидать, нет же. Нужна ей эта страна, как..."

Целиком занятый решением этой волнующей загадки в своей судьбе, Ваганов прошел в кабинет, сразу достал несколько листов бумаги, приготовился писать письмо. Но тут дверь кабинета медленно, противно заныла... В проем осторожно просунулась стриженная голова мужчины, которого он мельком видел сейчас в коридоре на диване.

— Можно к вам?

Ваганов мгновение помедлил и сказал, не очень стараясь скрыть досаду:

— Входите.

— Здравствуйте.— Мужчине этак под пятьдесят, поджарый, высокий, с длинными рабочими руками, которые он не знал куда девать.

— Садитесь,— велел Ваганов. И отодвинул листы в сторону.

— Я тут... это... характеристику принес,— сказал мужчина. И, обрадовавшись, что нашел дело рукам, озабоченно

стал доставать из внутреннего кармана пиджака нечто, что он называл характеристикой.

— Какую характеристику?

— На жену. Они тут на меня дело заводют... А я хочу объяснить...

— Вы Попов?

— Ага.

— А что вы объяснять-то хотите? Вы объясните, почему вы драку затеяли? Почему избили жену и соседа? При чем тут характеристика-то?

Попов уже достал характеристику и стоял с ней посреди кабинета. Когда-то он, наверно, был очень красив. Он и теперь еще красив: чуть скуласт, нос хищно выгнут, лоб высокий, чистый, взгляд прямой, честный... Но, конечно, помят, несвеж, вчера выпил изрядно, с утра кое-как побрился, наспех ополоснулся... Эхма!

— Ну-ка, дайте характеристику.

Попов подал два исписанных тетрадных листка, отшагнул от стола опять на середину кабинета и стал ждать. Ваганов побежал глазами по неровным строчкам... Он уже оставил это занятие — веселиться, читая всякого рода объяснения и жалобы простых людей. Как думают, так и пишут, ничуть это не глупее какой-нибудь фальшивой гладкописи, честнее, по крайней мере.

Ваганов дочитал.

— Попов... это ведь не меняет дела.

— Как не меняет?

— Не меняет. Вот вы тут пишите, что она такая-то и такая-то — плохая. Допустим, я вам поверил. Ну и что?

— Как же? — удивился Попов.— Она же меня нарочно посадила! На пятнадцать суток-то. Посадила, а сама тут с этим... Я же знаю. Мне же Колька Королев все рассказал. Да я и без Кольки знаю... Она мне сама говорила.

— Как говорила?

— Говорила! — воскликнул доверчиво Попов.— Тебя, говорит, посажу, а сама тут поживу с Мишкой.

— Да ну... Что, так прямо и говорила?

— Да в том-то и дело! — опять воскликнул Попов. И даже сел, раз уж разговор пошел не официальный, а нормальный мужской.— Тебя, говорит, посажу, а сама — назло тебе — поживу с Мишкой.

— Она именно "назло" и говорила?

— Да нет! Я же знаю ее!.. И Мишаню этого знаю — сроду от чужого не откажется. Все, что я там написал, я за все

головой ручаюсь. Жили, собаки! На другой же день стали жить. Их Колька Королев один раз прихватил...

— Ну не знаю...— Молодой Ваганов в самом деле не знал, как тут быть: похоже, мужик говорит всю горькую правду.— Тогда уж разводиться, что ли, надо?

— А куда я пойду — разведусь-то? Она же дом отсудит? Отсудит. Да и это... ребятишки еще не оперились, жалко мне их...

— Сколько у вас?

— Трое. Меньшому только семь, я люблю его до смерти... Мне на стороне не сдюжить — вовсе сопьюсь.

— Ну, слушайте!..— с раздражением сказал Ваганов.— Вы уж прямо как... паралитик какой: "не сдюжу", "сопьюсь". Ну, а как быть-то? Ну, представьте себе, что вы вот не с жалобой пришли, не к начальству, а... к товарищу. Вот я вам товарищ, и я не знаю, что посоветовать. Сможешь с ней жить после этого — живи, не сможешь...

— Смогу,— твердо сказал Попов.— Черт с ней, что она хвостом раз-другой вильнула. Только пусть это больше не повторяется. Я сам виноватый: шумлю много, не шибко ласковый... Если б был маленько поласковей, она, может, не додумалась бы до этого.

— Так живи!

— Живи... Они же посадить хотят. И посадют, у их свидетелей полно, медицинские экспертизы обои прошли... Года три впаяют.

— Что же ты хочешь-то, я не пойму?

— Чтоб они закрыли дело.

— А характеристика-то зачем?

— А чтоб навстречу тоже бумаги двинуть. Может, посмотрют, какие они сами-то хорошие, и закроют дело. Они же сами кругом виноватые! Ты гляди-ка, посадить человека, а самой тут... Ну, не зараза она после этого?

— Здорово избил-то?

— Да где здорово! Шуму больше, крику...

— А без битья уж не мог?

Попов виновато опустил голову, погладил широкой коричневой ладонью свое колено.

— Не сдюжил...

— Опять не сдюжил! Ах ты, господи, — какие ведь мы несдюжливые! — Ваганов встал из-за стола, прошелся по кабинету. Зло брало на мужика, и жалко его было. Причем тот нисколько не бил на жалость, это Ваганов, даже при своем небольшом еще опыте, научился различать: когда

нарочно стараются разжалобить и делают это иногда довольно искусно.— Ведь если б ты сдюжил и спокойно подал на развод, то еще посмотрели бы, как вас рассудить: возможно, что и... Впрочем, что же теперь об этом?

— Да, чего уж,— согласился Попов.

Некоторое время они молчали.

"Ну, что вот делать? — думал Ваганов.— Посадят ведь дурака. Как ни веди дело, а... Эхма!"

— Как вы поженились-то?

— Как? Обыкновенно. Я с войны пришел, она тут продавцом в сельпе работала... Ну — сошлись. Я ее и раньше знал.

— Вы здешний?

— Здешний. Только у меня родных тут никого не осталось: мать с отцом ишо до войны померли — угорели, старших братьев обоих на войне убило, две тетки были, тоже померли. Племянники, какие были, в городах где-то, я даже не знаю где.

— А жена где сейчас?

Попов вопросительно посмотрел на следователя.

— Где работает, что ли? Там же, в сельпе.

— На работе сейчас?

— На работе.

— Тебя кто научил с характеристикой-то?

— Никто, сам. Нет, говорили мужики: надо, мол, навстречу бумаги какие-нибудь двинуть... Я подумал... чего двинуть? Написал вот...

— Хорошо, оставь ее мне. Иди. Я попробую с женой поговорить.

Попов поднялся... Хотел что-то еще сказать или спросить, но только посмотрел на Ваганова, кивнул послушно головой и осторожно вышел.

Ваганов, оставшись один, долго стоял, смотрел на дверь. Потом сел, посмотрел на белые листы бумаги, которые он заготовил для письма. Спросил:

— Ну что, Майя? Что будем делать? — Подождал, что под сердцем шевельнется нежность и окатит горячим, но горячим почему-то не окатило.— Фу ты, черт! — с досадой сказал Ваганов. И дальше додумал: — Вечером напишу.

Уборщица прокуратуры сходила за Поповой в сельпо — это было рядом.

Ваганов посмотрел пока "бумаги", обвиняющие Попова. Да, люди вели дело к тому, чтоб мужика непременно посадить. И как бойко, как грамотно все расписано! Нашелся и

писарь. Ваганов пододвинул к себе "характеристику" Попова, еще раз прочитал. Смешной и грустный человеческий документ... Это, собственно, не характеристика, а правдивое изложение случившегося. "Пришел я, бритый, она лежит, как удав на перине. Ну, говорю, рассказывай, как ты тут без меня опять скурвилась? Она видит, дело плохо, давай базланить. Я ее жогнул разок: ты можешь потише, мол? Она вырвалась и — не куда-нибудь побежала, не к родным — к Мишке опять же дунула. Тут у меня вовсе сердце зашлось, я не сдюжил..."

Попова, миловидная еще женщина лет сорока, не робкая, с замашками продавцовской фамильярности, сразу показала, что она закон знает: закон охраняет ее.

— Вы представляете, товарищ Ваганов, житья нет: как выпьет, так начинает хулиганить. К какому-то Мишке меня приревновал!.. Дурак необтесанный.

— Да, да...— Ваганов подхватил фамильярный тон бойкой женщины и поманил ее дальше.— Безобразник. Что он, не знает, что сейчас за это — строго! Забыл.

— Он все на свете забыл! Ничего — спомнит. Дадут года три — спомнит, будет время.

— Дети вот только... без отца-то — ничего?

— А что? Они уж теперь большие. Да потом такого отца иметь — лучше не иметь.

— Он всегда такой был?

— Какой?

— Ну, хулиганил, дрался?

— Нет, раньше выпивал, но потише был. Это тут,— к Михайле-то приревновал... С прошлого года начал. Да еще грозит! Грозит, Георгий Константиныч: прирежу, говорит, обоих.

— Так, так. А кто такой этот Михайло-то?

— Да сосед наш, господи! В прошлом годе приехали... Шофером в сельпо работает.

— Он что, одинокий?

— Да они так: перссхать-то сюда переехали, а там дом тоже не продали. Жене его тут не глянется, а Михайле глянется. Он рыбак заядлый, а тут у нас рыбачить-то хорошо. Вот они на два дома и живут. И там огород посажен, и здесь... Вот она и успеват-ездит, жена-то его: там огород содярживат и здесь,— жадничат в основном.

— Так, так...— Ваганов вовсе убедился, что прав Попов: изменяет ему жена. Да еще и нагло, с потерей совести.— Вот он тут пишет, что, дескать, вы ему прямо сказали: "Тебя

посажу, а сама тут с Мишкой поживу". В "характеристике" не было этого, но Ваганов вспомнил слова Попова и сделал вид, что прочитал.— Было такое?

— Это он так написал?! — громко возмутилась Попова.— Нахалюга! Надо же!..— Женшина даже посмеялась.— Ну надо же!

— Врет?

— Врет!

"Да, уверенная бабочка,— со злостью уже думал Ваганов.— Ну нет, так просто я вам мужика не отдам".

— Значит, сажать?

— Надо сажать, Георгий Константиныч, ничего не сделаешь. Пусть посидит.

— А не жалко? — невольно вырвалось у Ваганова.

Попова насторожилась... Вопросительно посмотрела на молодого следователя, улыбнулась заискивающе.

— В каком смысле? — спросила она.

— Да я так,— уклонился Ваганов.— Идите.— Он пристально посмотрел на женщину.

Женщина сказала "ага", поднялась, прошла к двери, обернулась, озабоченная... Ваганов все смотрел на нее.

— Я забыл спросить: почему у вас так поздно дети появились?

Женщина вовсе растерялась. Не от вопроса этого, а от того, как на ее глазах изменился следователь: тон его, взгляд его... От растерянности она пошла опять к столу и села на стул, где только что сидела.

— А не беременела,— сказала она.— Что-то не беременела, и все. А потом забеременела. А что?

— Ничего, идите,— еще раз сказал Ваганов. И положил руку на "бумаги".— Во всем...— он подчеркнул это "во всем",— во всем тщательно разберемся. Суд, возможно, будет показательный, строгий: кто виноват, тот и ответит. До свидания.

Женщина направилась к выходу... Уходила она не так уверенно, как вошла.

— Да,— вспомнил еще следователь,— а кто такой...— он сделал вид, что поискал в "бумаге" Попова забытое имя свидетеля, хоть там этого имени тоже не было,— кто такой Николай Королев?

— Господи! — воскликнула женщина у двери.— Королев-то? Да собутыльник первый моего-то, кто ему поверит-то?! — Женщина была сбита с толку. Она даже в голосе поддала.

— Он что, зарегистрирован как алкоголик? Королев-то?

Женщина хотела опять вернуться к столу и рассказать подробно про Королева: видно, и она понимала, что это наиболее уязвимое место в ее наступательной позиции.

— Да кто у нас их тут регистрирует-то, товарищ Ваганов! Они просто дружки с моим-то, вместе на войне были...

— Ну, хорошо, идите. Во всем разберемся.

Он наткнулся взглядом на белые листы бумаги, которые ждали его... Задумался, глядя на эти листы. Майя... далекое имя, весеннее имя, прекрасное имя... Можно и начать наконец писать слова красивые, сердечные — одно за одним, одно за одним — много! Все утро сегодня сладостно зудилось: вот сядет он писать... И будет он эти красивые, оперенные слова пускать, точно легкие стрелы с тетивы — и втыкать, и втыкать их в точсную фигурку далекой Майи. Он их навтыкает столько, что Майя вскрикнет от неминуемой любви... Пробьет он ее деревянное сердечко, думал Ваганов, достанет где — живое, способное любить просто так, без расчета. Но вот теперь вдруг ясно и просто подумалось: "А может она так? Способна она так любить?" Ведь если спокойно и трезво подумать, надо спокойно и трезво же ответить себе: вряд ли. Не так росла, не так воспитана, не к такой жизни привыкла... Вообще не сможет, и все. Вся эта история с талантливым физиком... Черт ее знает, конечно! С другой стороны, объективности ради, надо бы больше знать про все это — и про физика, и как у них все началось, и как кончилось. "Э-э,— с досадой подумал про себя Ваганов,— повело тебя, милый: заегозил. Что случилось-то? Прошла перед глазами еще одна бестолковая история неумелой жизни... Ну? Мало ли их прошло уже и сколько еще пройдет! Что же, каждую примерять к себе, что ли? Да и почему — что за чушь! — почему какой-то мужик, чувствующий только свою беззащитность, и его жена, обнаглевшая, бессовестная, чувствующая, в отличие от мужа, полную свою защищенность, почему именно они, со своей житейской неумностью, должны подсказать, как ему решать теперь такое — *такое*! — в своей не простой, не маленькой, как хотелось и думалось, жизни?" Но вышло, что именно после истории Поповых у Ваганова пропало желание "обстреливать" далекую Майю. Утренняя ясность и взволнованность потускнели. Точно камнем в окно бросили — все внутри встревожилось, сжалось... "Вечером напишу,— решил Ваганов.— Дурацкое дело — наверно, по молодости — работу мешать с личным настроением. Надо отмежевываться. Надо проще".

Вечером Ваганов закрылся в горнице, выключил радио и сел за стол — писать. Но неотвязно опять стояли перед глазами виноватый Попов и его бойкая жена. Как проклятие, как начало помешательства... Ваганов уж и ругал себя обидными словами, и рассуждал спокойно, логично... Нет! Стоят, и все, в глазах эти люди. Даже не они сами, хоть именно их Ваганов все время помнил, но не они сами, а то, что они выложили перед ним,— вот что спутало мысли и чувства. "Ну, хорошо,— вконец обозлился на себя Ваганов,— если уж ты трус, то так и скажи себе — трезво. Ведь вот же что произошло: эта Попова непостижимым каким-то образом укрепила тебя в потаенной мысли, что и Майя — такая же, в сущности, профессиональная потребительница, эгоистка, только одна действует тупо, просто, а другая умеет и имеет к тому неизмеримо больше. Но это-то и хуже — мучительнее убьет. Ведь вот же что ты здесь почуял, какую опасность. Тогда уж так прямо и скажи: "Все они одинаковы!" — и ставь точку, не начав письма. И трусь, и рассуждай дальше — так безопаснее. Крючок конторский!"

Ваганов долго сидел неподвижно за столом... Он не шутя страдал. Он опять придвинул к себе лист бумаги, посидел еще... Нет, не поднимается рука писать, нету в душе желанной свободы. Нет уверенности, что это не глупость, а есть там тоже, наверно, врожденная трусость: как бы чего не вышло! Вот же куда все уперлось, если уж честно-то, если уж трезво-то. "Плебей, сын плебея! Ну, ошибись, наломай дров... Если уж пробивать эту толщу жизни, то не на карачках же! Не отнимай у себя трезвого понимания всего, не строй иллюзий, но уже и так-то во всем копаться... это же тоже — пакость, мелкость. Куда же шагать с такой нищей сумой! Давай будем писать. Будем писать не поэму, не стрелы будем пускать в далекую Майю, а скажем ей так: что привезешь, голубушка, то и получишь. Давай так".

...Часам к четырем утра Ваганов закончил большое письмо. На улице было уже светло. В открытое окно тянуло холодком раннего июньского утра. Ваганов прислонился плечом к оконному косяку, закурил. Он устал от письма. Он начинал его раз двенадцать, рвал листы, изнервничался, испсиховался и очень устал. Так устал, что теперь неохота было перечитывать письмо. Не столько неохота, сколько, пожалуй, боязно: никакой там ясности, кажется, нету, ума особенно тоже. Ваганов все время чувствовал это, пока писал,— все время чувствовал, что больше кокетничает,

чем... Он вчастую докурил сигарету, сел к столу и стал читать письмо.

"Майя! Твое письмо так встревожило меня, что вот уже второй день я хожу сам не свой: весь в мыслях. Я спрашиваю себя: что это? И не могу ответить. Теперь я спрашиваю тебя: что это, Майя? Пожить у меня неделю — ради бога! Но это же и есть то, о чем я спрашиваю: что это? Ты же знаешь мое к тебе отношение... Оно, как подсказывает мне дурное мое сердце, осталось по-прежнему таким, каким было тогда: я люблю тебя. И именно это обстоятельство дает мне сейчас право спрашивать и говорить то, что я думаю о тебе. И о себе тоже. Майя, это что, бегство от себя? Ну, что же... приезжай, поживи. Но тогда куда мне бежать от себя? Мне некуда. А убежать захочется, я это знаю. Поэтому я еще раз спрашиваю (как на допросе!): что это, Майя? Умоляю тебя, напиши мне еще одно письмо, коротенькое, ответь на вопрос: что это, Майя?" Так начал Ваганов свое длинное письмо... Он отодвинул его, склонился на руки. Почувствовал, что у него даже заболело сердце от собственной глупости и беспомощности. "Попугай! Что это, Майя? Что это, Майя? Тьфу... Слизняк". Это, правда, было как горе — эта неопределенность. Это впервые в жизни Ваганов так раскорячился... "Господи, да что же делать-то? Что делать?" Повспоминал Ваганов, кто бы мог посоветовать ему что-нибудь — он готов был и на это пойти,— никого не вспомнил, никого не было здесь, кому бы он не постыдился рассказать о своих муках и кому поверил бы. А вспомнил он только... Попова, его честный, прямой взгляд, его умный лоб... А что? "А что, Майя? — съязвил он еще раз со злостью.— Это ничего, Майя. Просто я слизняк, Майя".

Он скомкал письмо в тугой комок и выбросил его через окно в огород. И лег на кровать, и крепко зажмурил глаза, как в детстве, когда хотелось, чтобы какая-нибудь неприятность скорей бы забылась и прошла.

Утром, шагая на работу, Ваганов чувствовал большую усталость. В пустой голове проворачивался и проворачивался невесть откуда влетевший мотивчик: "А я играю на гармошке у прохожих на виду-у..." С письмом Ваганов решил подождать. Пусть придет определенность, пусть сперва станет самому ясно: способен ли сам-то на что-нибудь или он выдумал себя такого — умного, деятельного, а другие, как

дурачка, подогрели его в этом. Вот пусть это станет ясно до конца — пусть больше не будет никаких иллюзий, никакого обмана на свой счет. Пока ясно одно: он любит Майю и боится сближения с ней. Боится ответственности, несвободы, боится, что не будет с ней сильным и деятельным, и его будущее — накроется. "Вот теперь поглядим, как ты вывернешься, деятельный,— думал он про себя с искренней злостью.— Подождем и посмотрим".

Работу он начал с того, что послал за Поповым.

Попов пришел скоро, опять осторожно заглянул в дверь.

— Входи! — Ваганов вышел из-за стола, пожал руку Попову, усадил его на стул. Сам сел рядом.

— Как твое имя?

— Павел.

— Ну, как там?.. Дома-то?

Попов помолчал... Посмотрел серыми своими глазами на следователя. Какие все же удивительные у него глаза: не то доверчивые сверх меры, не то мудрые. Как у ребенка ясные, но ведь видели же эти глаза и смерть, и горе человеческое, и сам он страдал много... Не это ли и есть сила-то человеческая — вот такая терпеливая и безответная? И не есть ли все остальное — хамство, рвачество и жестокость?

— Ничего вроде... А что? — спросил Павел.

— Не говорил с женой?

— Мы с ей неделю уж не разговариваем.

— Не заметил в ней никаких перемен?

— Заметил.— Попов усмехнулся.— Вчера вечером долго на меня смотрела, потом говорит: "Был у следователя?" — "Был,— говорю.— А что, тебе одной только бегать туда?"

— А она что?

— Ничего больше. Молчит. И я молчу.

— Возьмут они свои заявления назад,— сказал Ваганов.— Еще разок вызову, может, не раз даже... Думаю, что возьмут.

— Хорошо бы,— просто сказал Попов.— Неохота сидеть, ну ее к черту. Немолодой уже...

— Павел,— в раздумье начал Ваганов про то главное, что томило,— хочу с тобой посоветоваться...— Ваганов прислушался к себе: не совестно ли, как мальчишке, просить совета у дяди? Не смешон ли он? Нет, не совестно, и вроде не смешон. Что уж тут смешного? — Есть у меня женщина, Павел... Нет, не так. Есть на свете одна женщина, я ее люблю. Она была замужем, сейчас разошлась с мужем и дает мне понять...— Вот теперь только почувствовал Ваганов

легкое смущение. Оттого, что бестолково начал.— Словом, так: люблю эту женщину, а связываться с ней боюсь.

— Чего так? — спросил Попов.

— Да боюсь, что она такая же... вроде твоей жены. Пропаду, боюсь, с ней. Это ж на нее только и надо будет работать: что б ей интересно было, весело, разнообразно... Ну, в общем, все мои замыслы — побоку, а только ублажай ее.

— Ну-у, как же это так? — засомневался Попов.— Надо, чтоб жизнь была дружная, чтоб все вместе: горе — горе, радость — тоже...

— Да постой, это я знаю — как нужно-то! Это я все знаю.

— А что же?

У Ваганова пропала охота разговаривать дальше. И досадно стало на кого-то.

— Я знаю, как надо. Как должны жить люди, это все знают. А вот как быть, если я знаю, что люблю ее, и знаю, что она... никогда мне другом настоящим не будет? Твоя жена тебе друг?

— Да моя-то!..

— А что "моя-то"? Люди все одинаковы, все хотят жить хорошо... Разве тебе не нужен был друг в жизни?

— Я так скажу, товарищ Ваганов,— понял наконец Попов.— С той стороны, с женской,— оттуда ждать нечего. Это обман сплошной. Я тоже думал об этом же... Почему же, мол, люди жить-то не умеют? Ведь ты погляди: что ни семья, то разлад. Что ни семья, то какой-нибудь да раскосяк. Почему же так? А потому, что нечего ждать от бабы... Баба, она и есть баба.

— На кой же черт мы тогда женимся? — спросил Ваганов, удивленный такой закоренелой философией.

— Это другой вопрос.— Попов говорил свободно, убежденно — правда, наверно, думал об этом.— Семья человеку нужна, это уж как ни крутись. Без семьи ты — пустой ноль. Чего же тогда мы детей так любим? А потому и любим, чтоб была сила — терпеть все женские выходки...

— Но есть же... нормальные семьи!

— Да где? Притворяются. Сор из избы не выносют. А сами втихаря... бушуют.

— Ну елки зеленые! — все больше изумлялся Ваганов.— Это уж совсем... мрак какой-то. Как же жить-то?

— Так и жить: укрепиться и жить. И не заниматься самообманом. Какой же она — друг, вы что? Спасибо, хоть детей рожают... И обижаться на их за это не надо — раз они

так сделаны. Чего обижаться? — В правде своей Попов был тверд, спокоен. Когда понял, что Ваганов такой именно правды и хочет — всей, полной — он ее и выложил. И смотрел на молодого человека мирно, даже весело, не волновался.

— Так, так,— проговорил Ваганов.— Ну, нет, Попов, это в тебе горе твое говорит, неудача твоя. Это все же не так все...

Попов пожал плечами.

— Вы меня спросили — я сказал, как думаю.

— Это верно, верно. Я не спорю. Спорить тут надо целой жизнью, а так... это...

— Конечно. Каждый так и живет — с самого начала. Скажи мне тогда: "Не женись, мол, Пашка,— ошибесся". Что я на это? Послал бы подальше этого советчика и делал свое дело. Так оно и бывает.

— Да, да,— согласился Ваганов.— Это верно. Ну, хорошо.— Он встал. Попов тоже встал.— До свидания, Павел. Думаю, что они возьмут свои заявления. Только ты уж...

— Да нет, что вы, товарищ Ваганов! — заверил Попов.— Больше этого не повторится, даю слово. Глупость это... Чего из их выколачивать-то? Пусть им самим совестно станет. А то мне же и совестно — нашумел... Хожу, кляузами занимаюсь — рази ж не совестно?

— Ну, до свидания.

— До свидания.

Только за Поповым закрылась дверь, Ваганов сел к столу — писать. Он еще во время разговора с Поповым решил дать Майе такую телеграмму:

"Приезжай. Палат нету — все мое ношу с собой. Встречу. Георгий".

Он записал так... Прочитал. Посвистел над этими умными словами все тот же мотив: "Я играю на гармошке..." Аккуратно разорвал лист, собрал клочочки в ладонь и пошел и бросил их в корзину. Постоял над корзиной... Совершенный тупой покой наступил в душе. Ни злости уже не было, ни досады. Но и работать он бы не смог в этот день. Он подошел к столу и размашисто, во весь лист, написал:

"Нездоровится. Пошел домой".

Видеть кого-то из сослуживцев и говорить о чем-то — это тоже сегодня не по силам.

Он пошел домой. Дорогой негромко пел:

А я играю на гармошке
У прохожих на виду-у.
К сожаленью, день рожденья —
Только ра-аз в го-оду-у.

День стоял славненький — не жаркий, а душистый, теплый. Еще не пахло пылью, еще лето только вступало в зрелую пору свою. Еще молодые зеленые силы гнали и гнали из земли ядреный сок жизни: все цвело вокруг, или начинало цвести, или только что отцвело, и там, где завяли цветки, завязались пухлые живые комочки — будущие плоды. Благодатная, милая пора! Еще даже не грустно, что день стал убывать, еще этот день — впереди.

Ваганов свернул к почте. Зашел. Взял в окошечке бланк телеграммы, присел к обшарпанному, заляпанному чернилами столику, с краешку, написал адрес Майи... Несколько повисел перышком над линией, где следовало писать текст... И написал: "Приезжай".

И уставился в это айкающее слово... Долго и внимательно смотрел. Потом смял бланк и бросил в корзину.

— Что, раздумали? — спросила женщина в окошечке.

— Адрес забыл,— соврал Ваганов. И вышел на улицу. Пошел теперь твердо домой.

"И врать ведь как научился! — подумал о себе, как о ком-то — отчужденно.— Глазом не моргнул".

И сеном еще с полей не пахло, еще не начинали косить.

НАКАЗ

Молодого Григория Думнова, тридцатилетнего, выбрали председателем колхоза. Собрание было шумным; сперва было заколебались — не молод ли? Но потом за эту же самую молодость так принялись хвалить Григория, что и самому ему, и тем, кто приехал рекомендовать его в председатели, стало даже неловко. Словом, выбрали.

Поздно вечером домой к Григорию пришел дядя его Максим Думнов, пожилой крупный человек с влажными веселыми глазами. Максим был слегка "на взводе", заявился шумно.

— Обмыва-ать! — потребовал Максим, тяжело привалившись боком к столу.— А-а?.. Как мы тебя — на руках подсадили! Сиди! Сиди крепко!.. — Он весело смотрел на

племянника, гордый за него. И за себя почему-то.— Сам сиди крепко и других — вот так вот держи! — Максим сжал кулак, показал, как надо держать других.— Понял?

Григорий не обрадовался гостю, но понимал, что это неизбежно: кто-нибудь да явится, и надо соблюсти этот дурацкий обычай — обмыть новую должность. Должность как раз сулила жизнь нелегкую, хлопотную, Григорий не сразу и согласился на нее... Но это не суть важно, важно, что тебя — выбирали, выбрали, говорили про тебя всякие хорошие слова... Теперь изволь набраться терпения, благодарности — послушай, как надо жить и как руководить коллективом.

Максим сразу с этого и начал — с коллектива.

— Ну, Григорий, теперь крой всех. Понял? Я, мол, кто вам? Вот так: сядь, мол, и сиди. И слушай, что я тебе говорить буду.

Григорий понимал, что надо бы все это вытерпеть — покивать головой, выпить рюмку-другую и выпроводить довольного гостя. Но он почему-то вдруг возмутился.

— Почему крыть-то? — спросил он, не скрывая раздражения.— Что за чертова какая-то формула: "крой всех!.." И ведь какая живучая! Крой — и все. Хоть плачь, но крой. Почему крыть-то?!

— А как же? — искренне не понял Максим.— Ты что? Как же ты руководить-то собрался?

— Головой! — Григорий больше и больше раздражался, тем более раздражался, что Максим не просто бубнил по пьяному делу, а проявил убежденность и при этом смотрел на Григория, как на молодого несмышленыша.

— Головой я руководить собрался, головой.

— Ну-у!.. Головой-то многие собирались, только не вышло.

— Значит, головы не хватало.

— Хватало! Не ты один такой умница, были и другие.

— Ну? И что?

— Ничего. Ничего не вышло, и все.

— Почему же?

— Потому что к голове... твердость нужна, характер.

— Да мало у нас их было, твердых-то?! От кого мы стонали-то, не от твердых?

— Ладно,— согласился Максим. Спор увлек его, он даже не обратил внимания, что на столе у племянника до сих пор пусто.— Ладно. Вот, допустим, ты ему сказал: "Сделай то-то и то-то". А он тебе на это: "Не хочу". Все. Что ты ему на это?

— Надо вести дело так, чтоб ему... не знаю — стыдно, что ли, стало.

Максим Думнов растянул в добродушной улыбке рот.

— Так... Дальше?

— Не стыдно, нет,— сказал Григорий, поняв, что это, верно что, не аргумент.— Надо, чтоб ему это невыгодно было экономически.

— Так, так,— покивал Максим. И, не задумываясь, словно он держал этот пример наготове, рассказал: — Вот у нас пастух, Климка Стебунов, пропас наших коров два месяца, собрал деньги и послал нас всех... "Не хочу!" И все. А ведь ему экономически вон как выгодно! Знаешь, сколько он за два месяца слупил с нас? Пятьсот семьдесят пять рублей! Где он такие деньги заработает? Нигде. А он все равно не хочет. Ну-ка, раскинь головой: как нам теперь быть?

— Ну, и как вы?

— Пасем пока по очереди... Кому позарез некогда, тот нанимает за себя. Но так ведь дальше-то тоже нельзя.

— А где этот Климка?

— Гуляет, где! Пропьет все до копейки, опять придет... И мы опять его, как доброго, примем. Да еще каждый будет стараться, как накормить его получше. А его, по-хорошему-то, гнать бы надо в три шеи. Вот тебе и экономика, милый Гриша. Окончи ты еще три института, а как быть с Климкой, все равно не будешь знать. Тем более что он — трудовой инвалид.

Григорий поубавил наступательный разгон, решил, что, пожалуй, стоит поговорить повнимательней.

— Погоди. Ну, а как бы ты поступил, будь ты хозяин... то есть, не хозяин, а...

— Понимаю, понимаю. Как? Пришел бы к нему домой, к подлецу... От него дома-то все плачут! "Вот что, милый друг, двадцать четыре часа тебе: или выходи коров пасти, или выселяем тебя из деревни". Все.

— Как же ты так? Сам же говоришь, он инвалид...

— Нам известно, как он инвалидом сделался: по своей халатности...

— А как?

— На вилы со стога прыгнул. Надо смотреть, куда прыгаешь. Но я ведь тебе не говорю, что я имею право его выселить. Ты спросил, как бы я действовал на твоем месте, я и прикидываю. Перво-наперво я бы его напугал насмерть. Нашел бы способ! Подговорил бы милиционера, подъехали

бы к нему на коляске: "Садись, поедем протокол составлять об твоем выселении". Я же знаю Климку: сразу в штаны наложит. Завтра же до света помчится со своей дудкой коров собирать. Ничем больше Климку не взять. Проси ты его, не проси — бесполезно. Экономику эту он тоже... у него своя экономика: он рублей триста домой отдал, семье, а двести с лишним себе оставил и прикинул, на сколько ему хватит. Недели на две хватит: он хоть и гуляет, а угостить из своего кармана шиш кого угостит.

Григорий задумался. Ведь и правда, завтра же перед ним станет вопрос: как быть со стадом колхозников? А как быть?

— Так что, неужели никого больше нельзя заинтересовать?

— А кого?! — воскликнул Максим.— Мужики помоложе да покрепче, они все у дела — все почти механизаторы, совсем молодой — тот посовестится пастухом, бабу какую-нибудь?.. У каждой семья, тоже не может. Вот и беда-то — некому больше. Я бы пошел, но староват уже гоняться-то там за имя по косогорам. Вот видишь, я тебе один маленький пример привел, и ты уже задумался.— Максим весело посмотрел на племяша, дотянулся к нему, хлопнул по плечу.— Не журись! Однако прислушайся к моему совету: будь покруче с людьми. Люди, они ведь... Эх-х! Давай-ка по рюмочке пропустим, а то у меня аж в горле высохло: целую речь тут тебе закатил.

Григорий хотел позвать жену из горницы, чтоб она собрала чего-нибудь на стол, но Максим остановил.

— Не надо, пусть она там ребятишек укладывает. Мы сами тут чего-нибудь...

Григорий достал что надо, они налили по рюмочке, но пить не стали пока, закурили.

— Я ведь по глазам вижу, Гриша: сперва окрысился на меня — пришел, дескать, ученого учить! А я просто радый за тебя, пришел от души поздравить. Ну, и посоветовать... Я как-никак жизнь доживаю, всякого повидал.— Максим склонил массивную седую голову, помолчал... И Григорий подумал в эту минуту, что дядя его, правда, повидал всякого: две войны отломал, на последней был ранен, попал в плен. Потом, после войны, долго выясняли, при каких обстоятельствах он попал в плен... А пока это выясняли, жена его, трактористка-стахановка, заявила тут, что отныне она не считает себя женой предателя, и всенародно прокляла тот день и час, в какой судьба свела их. И вышла за другого

фронтовика. Все это надо было вынести, и Максим вынес.— Да,— сказал Максим,— вот такие наши дела. Давай-ка...

Они выпили, закусили, снова закурили. Максиму стало легче, он вернулся к разговору.

— Вся беда наша, Григорий, что мужик наш середки в жизни не знает. Вот я был в Германии. Само собой, гоняли нас на работу, а работать приходилось с ихними же рядом, с немцами. Я к ним и пригляделся. Тут... хошь не хошь, а приглядишься. И вот я какой вывод для себя сделал: немца, его как с малолетства на середку нацелили, так он живет всю жизнь — посередке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и песню даже затянут... Но до края он никогда не дойдет. Нет. И работать по-нашенски — чертомелить — он тоже не будет: с такого-то часа и до такого-то, все. Дальше, хоть ты лопни, не заставишь его работать. Но свои часы отведет аккуратно — честь по чести,— они работать умеют, и свою выгоду... экономику, как ты говоришь, он в голове держит. Но и вот таких, как Климка Стебунов, там тоже нету. Их там и быть не может. Его там засмеют, такого, он сам не выдержит. Да он там и не уродится такой, вот штука. А у нас ведь как: живут рядом, никаких условиев особых нету ни для одного, ни для другого, все одинаково. Но один, смотришь, живет, все у него есть, все припасено... Другой только косится на этого, на справного-то, да подсчитывает, сколько у него чего. Наспроть меня Геночка вон живет Байкалов... Молодой мужик, здоровый — ходит через день в пекарню, слесарит там чего-то. И вся работа. Я ему: "Генк, да неужель ты это работой щитаешь?" — "А что же это такое?" — "Это, мол, у нас раньше называлось: смолить да к стенке становить". Вот так работа, елкина мать! Сходит, семь болтов подвернет, а на другой день и вовсе не идет: и эта-то, такая-то работа,— через день! Во, как!

— Сколько же он получает? — поинтересовался Григорий.

— Восемьдесят пять рублей. Хуже бабы худой. Доярки вон в три раза больше получают. А Генке — как с гуся вода: не совестно, ничего. Ну, ладно, другой бы, раз такое дело, по дому бы чего делал. Дак он и дома ни хрена не делает! День-деньской на реке пропадает — рыбачит. И ничего ему не надо, ни об чем душа не болит... Даже завидки берут, ей-богу. Теперь — другой край: ты Митьшу-то Стебунова знаешь ведь? — Максим сам вдруг подивился совпадению: — Они как раз родня с Климкой-то Стебуновым, они же братья сродные! Хэх... Вот тебе и пример к моим словам: один всю

жизнь груши околачивает, другой... на другого я без уважения глядеть не могу, аж слеза прошибет иной раз: до того работает, сердешный, до того вкалывает, что приедет с пашни — ни глаз, ни рожи не видать, весь черный. И, думаешь, из-за жадности? Нет — такой характер. Я его спрашивал: "Чего уж так хлещешся-то, Митьша?" — "А,— говорит,— больше не знаю, что делать. Не знаю, куда девать себя". Пить опасается: начнешь пить, не остановишься...

— Что, так и говорит: начну, значит, не остановлюсь?

— Так и говорит. "Если уж, говорит, пить, так пить, а так даже и затеваться неохота. Лучше уж вовсе не пить, чем по губам-то мазать". Он справедливый мужик, зря говорить не станет. Вот ведь мы какие... заковыристые.— Максим помолчал, поиграл ногтями об рюмочку... Качнул головой: — Но все же это только последнее время так народ избаловался. Техника!.. Она доведет нас, что мы — или рахитами все сделаемся, или от ожирения сердца будем помирать лет в сорок. Ты гляди только, какие мужики-то пошли жирные! Стыд и срам глядеть. Иде-ет, как баба брюхатая. "Передай привет, три года не вижу". Ведь он тебе счас километра пешком не пройдет — на машине, на мотоцикле. А как бывало... Мы вот с отцом твоим, покойником, как? День косишь, а вечером в деревню охота — с девками поиграть. А покосы-то вон где были! — за вторым перешейком, добрых пятнадцать верст. А коня-то кто тебе даст? Кони пасутся. Вот как откосимся, повечеряем — и в деревню. В деревне чуть не до свету прохороводишься — и опять на покос. Придешь бывало, а там уж поднялись — косить налаживаются. И опять на полдня...

— Когда же вы спали-то?

— А днем. В пекло-то в самое не косили же. Залезешь в шалаш — и умер. Насилу добудются потом. Помню, Ванька... Иван, отец твой, один раз таким убойным сном заснул, что не могут никак разбудить. Чего только с им ни делали!.. Штаны сняли, по поляне катали — спит, и все. Тятя разозлился: "Счас, говорит, бич возьму да бичом скорей добужусь!" Я уж щекотать его начал, ну кое-как продрал глаза. А то никак! — Максим посмеялся, покачал головой, задумался: вспомнил то далекое-далекое, милое сердцу время. И Григорий тоже задумался: он плохо помнил отца, тот вскоре после войны умер от ран, Григорий хранил о нем светлую память. Долго молчали.

— Да,— сказал Григорий. — Но с техникой — это ты зря. Что же, весь свет будет на машинах, а мы... в ночь по

тридцать верст пешака давать? Тут ты тоже... в крайность ударился. Но про середку — это, пожалуй, не лишено смысла. А?

— Не лишено, нет. Налей-ка, да я тебе еще одну поучительную историю расскажу. Ты ничего, спать не хошь?

— Нет, нет. Давай историю.

Максим пододвинул к себе рюмку, задумчиво посмотрел на нее и отодвинул.

— Потом выпью, а то худо расскажу. Я ведь шел к тебе, эту историю держал в голове, расскажу, думаю, Гришке — сгодится. Это даже не история, а так — из детства тоже из нашего. Но она тебе может сгодиться — она тоже... как сказать, про руководителя: каким надо быть руководителем-то.— Максим посмотрел на племянника не то весело, не то насмешливо... Григорию показалось — насмешливо. Дядя вроде подсмеивался над его избранием в руководители. У Григория даже шевельнулось в душе протестующее чувство, но он смолчал. В этот вечер он как-то по-новому узнал дядю. "Сколько же, оказывается, передумала эта голова! — изумлялся он, взглядывая на Максима.— Ничего не принял мужик на голую веру, обо всем думал, с чем не согласен был, про то молчал. Да и не спорщик он, не хвастал умом, но правду, похоже, всегда знал".

— Было нам... лет по пятнадцать, может, поменьше,— стал рассказывать Максим.— Деревня наша, не деревня — село, в старину было большое, края были: Мордва, Низовка, Дикари, Баклань...

— Это я еще помню,— подсказал Григорий.

— А, ну да,— согласился Максим.— Я все забываю, что тебе уж тоже за тридцать, должен помнить. Ну, вот. И вот дрались мы — край на край — страшное дело. Чего делили, черт его в душу знает. До нас так было, ну и мы... Дрались несусветно. Это уж ты не помнишь, при Советской власти это утихать стало. А тогда просто... это... страшное дело что творилось. Головы друг другу гирьками проламывали. Как какой праздник, так, глядишь, кого-нибудь изувечили. Ну, а жили-то мы в Низовке, а Низовка враждовала с Мордвой, и мордовские нас били: больше их было, что ли, потом они все какие-то... черт их знает — какие-то были здоровые. Спуску мы тоже не давали... У нас один Митька Куксин, тот черту рога выломит — до того верткий был парень. Но все же ордой они нас одолевали. Бывало, девку в Мордве лучше не заводи: и девке попадет, и тебе ребра перещитают. И вот приехал к нам один парнишечка, наш годок, а ростиком куда меньше,

замухрышка, можно сказать. Теперь вот слушай внимательно! — Максим даже и пальцем покачал в знак того, чтоб племяш слушал внимательно.— Тут самое главное. Приехал этот мальчишечка... Приехали они откуда-то из Черни, с гор, но — русские. Парнишечку того звали Ванькой. Такой — шшербатенький, невысокого росточка, как я сказал, но — подсадистый, рука такая... вроде не страшная, а махнет — с ног полетишь. Но дело не в руке, Гриша. Я потом много раз споминал этого Ваньку, перед глазами он у меня стоял: душа была стойкая. Ах, стойкая была душа! Поселились они в нашем краю, в Низовке, ну, мордовские его один раз где-то прищучили: побили. Ладно, побили и побили. Он даже и не сказал никому про это. А с нами уже подружился. И один раз и говорит: "Чо эт вы от мордовских-то бегаете?" — "Да оно ведь как, мол? — привыкли и бегаем".— Максим без горечи негромко посмеялся.— Счас смешно... Да. Ну, давай он нам беса подпускать: разжигать начал. Да ведь говорить умел, окаянный! Разжег! Оно, конечно, пятиадцатилетних раззудить на драку — это, может, и нехитрое дело, но... все же. Тут мно-ого разных тонкостей! Во-первых, мы же лучше его знали, какие наши ресурсы, так сказать, потом — это не первый год у нас тянулось, мы не раз и не два пробовали дать мордовским, но никогда не получалось. И вот все же сумел он нас обработать, позабыли мы про все свои поражения и пошли. Да так, знаешь, весело пошли! Сошлись мы с имя на острове... спроть фермы островок был, Облепишный звали. Счас там никакого острова нет, а тогда островок был. Мелко, правда, но штаны надо снимать — перебродить-то. Перебрели мы туда... Договорились, что ничего в руках не будет: ни камней, ни гирек, ничего. И пошли хлестаться. Ох, и полосовались же! Аж спомнить — и то весело. Аж счас руками задвигал, ей-богу! — Максим тряхнул головой, выпил из рюмки, негромко кхэкнул — помнил, что в горнице улеглись ко сну дети Григория и жена. И продолжал тоже негромко, с тихим азартом:— Как мы ни пластались, а опять они нас погнали. А погнали куда? К воде. Больше некуда. Мы и сыпанули через протоку... Те за нами. И тут, слышим, наш шшербатенький Ванька ка-ак заорет: "Стой, в господа, в душу!.. Куда?!" Глядим, кинулся один на мордовских... Ну, это, я тебе скажу, видеть надо было. Много я потом всякого повидал, но такого больше не приходилось. Я и драться дрался, а глаз с Ваньки не спускал. Ведь не то что напролом человек пер, как пьяные, бывает, он стерегся. Мордовские смекнули, кто у нас гвоздь-то заглавный, и давай на него.

Ванька на ходу прямо подставил одного, другого вокруг себя — с боков, со спины — не допускайте, говорит, чтоб сшибли, а то развалимся. Как, скажи, он училище какое кончал по этому делу! Ну, полоскаемся!.. А в протоке уж дело-то происходит, на виду у всей деревни. Народ на берег сбежался — глядят. А нам уж ни до чего нет дела — целое сражение идет. С нас и вода и кровь текет. Мордовские тоже уперлись, тоже не гнутся. И у нас — откуда сила взялась! Прямо насмерть схватились! Не знаю, чем бы это дело закончилось, может, мужики разогнали бы нас кольями, так бывало. Переломил это наше равновесие все тот же Ванька шшербатый. То мы дрались молчком, а тут он начал приговаривать. Достанет какого и приговаривает: "Ах, ты, головушка моя бедная! Арбуз какой-то, не голова". Опять достанет: "Ах, ты, милашечка ты мой, а хлебни-ка водицы!" Нам и смех, и силы вроде прибавляет. Загнали мы их опять на остров... И все, с этих пор они над нами больше не тешились. Вот какая штука, Григорий! Один завелся — и готово дело, все перестроил. Вот это был — руководитель. Врожденный.

— Мда,— молвил Григорий; история эта не показалась ему поучительной. Ни поучительной, ни значительной. Но он не стал огорчать дядю.— Интересно.

Максим уловил, однако, что не донес до племянника, что хотел донести. Помолчал.

— Видишь, Григорий... Я понимаю, тебе эта история не является наукой... Но, знаешь, я и на войне заметил: вот такие вот, как тот Ванька, мно-ого нам дела сделали. Они всю войну на себе держали, правда. Перед теми, кто только на словах-то, перед имя же не совестно, а перед таким вот стыдно. Этот-то, он ведь все видит. Ты ему не словами, делом доказывай... Делом доказывай, тогда он тебе душу свою отдаст. Конечно, история... не ах какая, но, думаю, выбрали тебя в руководители, дай, думаю, расскажу, как я, к примеру, это дело понимаю. А? — Максим посмотрел прямо в глаза племяннику, непонятно и значительно как-то усмехнулся.— Ничего, поймешь что к чему. Пойме-ешь.

— Что потом с этим Ванькой стало? — спросил Григорий.

— А не знаю. Уехали они опять куда-то. Вскорости и уехали. Да разве дело в том Ваньке! Их таких много. Хотя я тогда прямо полюбил того Ваньку, честное слово. Прямо обожал его. А он еще и... это... не нахальный был. Жили они бедновато, иной раз и пожрать нечего было. Я не знаю... чего-то мотались по свету... Так вот, принесешь ему пирог какой-нибудь, он аж покраснеет. "Брось,— говорит,— за-

чем?" Застесняется. Я люблю таких... Уехали потом куда-то. А я вот его всю жизнь помню, вот же как.

— История твоя не лишена, конечно, смысла,— сказал Григорий.

— Не лишена, нет.— Максим кивнул головой согласно. Но оттого, что история его не вышла такой разительной и глубокой, какой жила в его душе, он скис, как-то даже отрезвел и погрустнел.— Не лишена, Гриша, не лишена. На словах я тебе могу только одно сказать: не трусь. Как увидют, что не трусишь, так станут люди поддерживать...

— Ну, одной смелости тут тоже, наверно, мало.

— Мало.— Максим опять кивнул. Подумал.— Но смелый хоть не врет.— Максим снова посмотрел в глаза Григорию.— Не додумается врать, смелый-то. Чуешь? А голова... что же, какая есть. Какую бог дал. Голова у тебя неплохая. Но... бывает...— Максим вдруг махнул рукой, досадливо поморщился.— Заговорился я чего-то. Ладно. Лишка, видно, хватил, правда. Не обессудь, Гриша. Спите.— Максим встал из-за стола, посмотрел на дверь горницы... И спросил шепотом: — Как жена-то?

— Что? — не понял Григорий.

— Не ворчит, что в деревню увез из города?

Григорий улыбнулся... Не сразу сказал, и сказал тоже тихо:

— Всякое бывает.

Это Максиму понравилось: ответ правдивый, не бравый и не жалостливый. Он кивнул на прощание и пошел к двери, стараясь ступать нетяжело, но все равно вышло грузно и шумно. Максим поскорей уж дошел последние шаги, толкнул дверь и вышел в сени. И там только ступил всей ногой... И на крыльце громко прокашлялся и сказал сам себе:

— Эка темень-то! В глаз коли...

МЕДИК ВОЛОДЯ

Студент медицинского института Прохоров Володя ехал домой на каникулы. Ехал, как водится, в общем вагоне, ехал славно. Сессию сдал хорошо, из деревни писали, что у них там все в порядке, все здоровы — на душе у Володи было празднично. И под вечерок пошел он в вагон-ресторан поу-

жинать и, может быть, выпить граммов сто водки — такое появилось желание. Пошел через вагоны и в одном, в купейном, в коридоре, увидел землячку свою, тоже студентку, кажется, пединститута. Она была из соседней деревни, в позапрошлом году они вместе ездили в райцентр сдавать экзамены по английскому языку и там познакомились. Володе она тогда даже понравилась. Он потом слышал, что она тоже прошла в институт, но в какой и в каком городе, толком не знал. Вообще как-то забыл о ней. Он было обрадовался, увидев ее у окошка, но тут же оторопел: забыл как ее звать. Остановился, отвернулся тоже к окну, чтоб она пока не узнала его... Стал вспоминать имя девушки. Напрягал память, перебирая наугад разные имена, но никак не мог вспомнить. То ли Алла, то ли Оля... Что-то такое короткое, ласковое. Пока он так гадал, уткнувшись в окно, девушка оглянулась и тоже узнала его.

— Володя?.. Ой, здравствуй!

— Хелло! — воскликнул Володя. И сделал вид, что очень-очень удивился, и остро почувствовал свою фальшь — и это "хелло", и наигранное удивление. От этого вопросы дальше возникли очень нелепые: "Каким ветром? Откуда? Куда?"

— Как?.. На каникулы.

— А-а, ну да. Ну, и как? На сколько? — Володя до боли ощущал свою нелепость, растерянность и суетился еще больше: почему-то страшно было замолчать и не фальшивить дальше.— До сентября? Или до октября?

Девушка — это было видно по ее глазам — отметила, сколь изменился с недавней поры ее земляк. Но странно, что и она не сказала в простоте: "Да ты что, Володя? Я тоже еду на каникулы, как и ты", а сразу подхватила эту показную вольную манеру.

— Не знаю, как нынче будет. А вы? Вам сказали или тоже на бум-бум едете?

Володе сделалось немного легче оттого, что девушка не осадила его с глупой трескотней, а готова даже сама поглупеть во имя современных раскованных отношений.

— Нам сказали к сентябрю собраться, естественно. Но мы пронюхали, что опять повезут на картошку, поэтому многие из нас хотят обзавестись справками, что работали дома, в родимых колхозах.

— А мы тоже!.. Мы говорим: "А можно, мы дома отработаем?"

— Зачем же их спрашивать? Надо привезти справку, и все.— Володе даже понравилось, как он стал нагловато распоясываться, он втайне завидовал сокурсникам-горожанам, особенно старшекурсникам, но сам не решался изображать из себя такого же — совестно было. Но теперь он вдруг испытал некое удовольствие в нарядной роли... чуть ли не кутилы и циника. Будь у него в кармане деньги, хоть немного больше, чем на сто граммов водки и на билет в автобус до своего села, он, пожалуй, ляпнул бы что-нибудь и про ресторан. Но денег было только-только.

— А не опасно со справкой-то? — спросила девушка.— Могут же... это...

— Я умоляю! Отработал — и все. Возил навоз на поля.— Володя с улыбкой посмотрел на девушку, но поскорей отвернулся и полез в карман за сигаретой. Не все еще шло гладко пока. Маленько было совестно.

— Вас куда в прошлом году возили?

— В Заозерье. Но мы там пожили неплохо...— Володе и правда понравилось ездить с курсом на осенние работы в колхоз, и никакую он справку не собирался доставать дома.

— А мы ездили в Красногорский район,— тоже не без удовольствия вспомнила девушка.— Тоже неплохо было. Хохми-или-и!..

— А как отдыхаете дома летом? Чем занимаетесь?

— Да чем? За ягодами ходим...— Девушка спохватилась, что, пожалуй, это банально — за ягодами.— Вообще скучно.

— Скооперируемся? — навернул Володя.— А то я тоже с тоски загибаюсь. Нас же разделяет всего... четырнадцать километров, да? Сядем на велики...

— Давайте,— легко согласилась девушка.— У нас тоже молодежи нету. Подруги кое-какие остались, но... Знаете, вот были подругами, да? Потом вдруг что-то — раз! — и отношения портятся. Вот так, знаете, обвально.

— Это вполне понятно,— сказал Володя.— Этого надо было ожидать. Это — один к одному.

— Но почему? — очень притворно удивилась девушка.

— Разошлись дороги... И разошлись, как в море корабли.— Володя посмеялся и стряхнул пепел в алюминиевую неудобную пепельницу внизу.— Это так же естественно, как естественно то, что у человека две ноги, две руки и одно сердце.— Володя вспомнил, что он медик.

И девушка тоже вспомнила, что он медик.

— Ой, а трудно в медицинском, а?

Володя снисходительно посмеялся.

— Почему? Нет, отсев, естественно, происходит...— Володе нравилось слово "естественно".— Нас на первом курсе повели в анатомичку, одна девушка увидела жмуриков и говорит: "Ах, держите меня!" И повалилась...

— В обморок?

— Да. Ну, естественно, это уже не врач. В фармацевты.

— Обидно, наверно, да?

— А у вас... стабильное положение?

— У нас со второго курса нынче ушла одна. Но она просто перевелась, у нее просто отец военный, его куда-то перевели. Во Владивосток. А так нет. А у вас клуб в деревне построили?

— Кинотеатр. В прошлом году. Я как-то пошел посмотреть какую-то картину, половины слов ие понял — бубнеж какой-то: бу-бу-бу... Я ушел. Хуже, что библиотеки доброй нет. У вас хорошая библиотека?

— Да нет, тоже... Я везу кое-что с собой.

— Ой, что, а?! — выдал Володя показушный великий голод.

— "Путешествия Христофора Колумба." Это, знаете, дневники, письма, документы... Я же — географичка.

— Так. Еще?

— Еще кое-что... А у вас есть что-нибудь?

— У меня кое-что специальное тоже... "Записки врача" этого... Как его, врач тоже был?..

— Чехов?

— Нет, но они, кажется, поддерживали приятельские отношения... Вот вылетела фамилия. А Брэдбери у вас ничего нету?

— Нет. А вы любите читать про медиков?

— Да нет... Любопытно бывает, если не туфта полная. А Камю ничего нет?

— Нет, нету.

— Ну, так как мы будем бороться со скукой? — весело спросил Володя.— Как вы себе это представляете? — Ему совсем хорошо стало, когда свалили этих Камю, Брэдбери...

— Общими усилиями как-нибудь...— тоже весело сказала девушка. Как-то вроде обещающе сказала...

Володя быстро утрачивал остатки смущения. Он вдруг увидел, что девушка перед ним милая и наивная. Неопытная. Он и сам был не бог весть какой опытный, то есть вовсе неопытный, но рядом с такой-то, совсем-то уж зеленой... Ну-у, он хоть что-то да слышал! Отважиться? Возможность эта так внезапно открылась Володе, и так он вдруг взволновался, что у него резко ослабли ноги. Он уставился на

девушку и долго смотрел — так, что та даже смутилась. И от смущения вдруг рассмеялась. Глядя на нее и Володя тоже засмеялся. Да так это у них громко вышло, так самозабвенно! Так искренне.

— Вплоть до того, что...— хохотал Володя,— вплоть до того, что — поставим...— Володя и хотел уже перестать смеяться и не мог. — Поставим шалаш и...

Как услышала девушка про этот шалаш, так еще больше закатилась.

— Как Робинзоны... на этом... да?

Володя только кивнул головой — не мог говорить от смеха.

Тут отодвинулась дверь ближнего к ним купе, и какая-то женщина крестьянского облика высунулась и попросила негромко:

— Ребята, у меня ребенок спит — потише бы...

Тотчас и в соседнем с этим купе скрежетнула дверь, и некая лысая голова зло и недовольно сказала:

— Как в концертном зале, честное слово! Не в концерте же! — И голова усунулась, и дверь опять нервно скрежетнула и щелкнула. Даже женщина, у которой ребенок, удивленно посмотрела на эту дверь.

— Не спится юному ковбою,— громковато сказал Володя, перестав смеяться, но еще улыбаясь. Он тоже смотрел на сердитую дверь. И сказал еще, но потише: — Вернее так: не спится лысому ковбою.

Девушка прихлопнула ладошкой новый взрыв смеха и бегом побежала по коридору — прочь от опасного места. Володя, польщенный, пошел за ней; чего ему не хватало для полного утверждения в новом своем качестве, так этой вот голой злой головы. Он шел и придумывал, как он сейчас еще скажет про эту голову. Может так: "Я сперва подумал, что это чье-то колено высунулось".

Девушка ушла аж в тамбур — от греха подальше.

— Ой, правда, мы расшумелись,— сказала она, поправляя волосы.— Люди спят уже...

Володя закурил... Его опять охватило волнение. Его прямо колыхнуло, когда она — совсем рядом — вскинула вверх и назад оголенные свои руки. Он успел увидеть у нее под мышкой родинку. Дым сигареты стал горьким, но он глотал и глотал его... И молчал. Потом бросил сигарету и посмотрел на девушку... Ему казалось, что он посмотрел смело и с улыбкой. Девушка тоже смотрела на него. И по тому, как она на него смотрела — вопросительно, чуть удивленно,— он

понял, что он не улыбается. Но теперь уж и отступать было некуда, и Володя положил руку на ее плечо и стал робко подталкивать пальцами девушку к себе. Так как-то двусмысленно подталкивал — приглашал и не приглашал: — можно, однако, подумать, что он влечет к себе, тогда пусть шагнет сама... Жуткий наступил момент, наверно, короткий, но Володя успел разом осознать и свою трусость, и что ему вовсе не хочется, чтоб она шагнула. И он вовсе потерялся...

— Что ты? — спросила девушка серьезно.

— Начнем? — сказал Володя.

Девушка убрала его руку.

— Что начнем? Ты что?

— О боже мой! — воскликнул Володя.— Чего же ты так испугалась-то?.. Пичужка.— И он коротко хохотнул, торопливо похлопал девушку по плечу и сказал снисходительно и серьезно: — Иди спать, иди спать, а то поздно уже. Да? — И ринулся в наружную дверь тамбура — вон отсюда.

— Завтра поедем вместе? — спросила вдогонку девушка.

— Да! Обязательно! — откликнулся Володя. Он уже был в переходном этом мешке, где грохотало и качалось. Он почти бежал по вагонам. Очень хотелось или самому выпрыгнуть из вагона, или чтоб она, эта географичка, выпала бы как-нибудь из вагона, чтоб никто никогда не узнал его гнусного позора и какой он враль и молокосос.

Он пришел в свой вагон, снял ботинки, тихо, как всякий мелкий гад, влез на верхнюю полку и замер. Боже ж ты мой! Так ждал этого лета, так радовался, ехал, так все продумал, как будет отдыхать... Тьфу! Тьфу! Тьфу! Он вдруг вспомнил, как зовут девушку — Лариса. И еще он вспомнил, как он хохотал в купейном вагоне... Он заворочался и замычал тихо. Ведь не сломал же руку или ногу, ни от поезда не отстал, ни чемодан не украли — сам мелко напаскудил. Эта Лариса теперь расскажет всем... Они любят рассказывать — смеются всегда! — когда какой-нибудь валенок хотел соблазнить девушку, но ничего не вышло — получил по ушам. Приврет еще, приврет обязательно.

Так он казнил себя на верхней полке... пока вдруг не заснул. Как-то заснул и заснул — страдал, страдал и заснул.

А проснулся, когда уж поезд стоял на родной станции — дальше он никуда не шел. За окном был ясный день; на перроне громко разговаривали, смеялись, вскрикивали радостно... Встречали, торопились к автобусам.

Володя моментально собрался... И вдруг вспомнил вчерашнее... И так и сел. Но надо было выходить: по вагону шел проводник и поторапливал замешкавшихся пассажиров.

Володя вышел на перрон. Огляделся... И прошмыгнул в вокзал. Сел там в уголок на чемодан и стал ждать. Эта Лариса уедет, наверно, одним из первых автобусов, она девка шустрая. А они потом еще будут, автобусы-то, много. И все почти идут через его село. Черт с ней, с этой Ларисой!.. Может, расскажет, а может, и не расскажет. Зато он все равно дома. И уж не так было больно, как вчера вечером. Ну, что же уж тут такого?.. Стыдно только... Ну, может, пройдет как-нибудь. Володя выглянул в окно на привокзальную площадь... И сразу увидел Ларису: она стояла поодаль от автобусов — высматривала Володю среди людей, идущих с перрона. Володя сел опять на чемодан. Вот же противная девка, стоит, ждет! Ничего, подождешь-подождешь и уедешь — домой-то охота. Но ведь какая настырная — стоит, ждет!

КАК ЗАЙКА ЛЕТАЛ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРИКАХ

Маленькая девочка, ее звали Верочка, тяжело заболела. Папа ее, Федор Кузьмич, мужчина в годах, лишился сна и покоя. Это был его поздний ребенок, последний теперь, он без памяти любил девочку. Такая была игрунья, все играла с папой, с рук не слезала, когда он бывал дома, теребила его волосы, хотела надеть на свой носик-кнопку папины очки... И вот — заболела. Друзья Федора Кузьмича — у него были влиятельные друзья,— видя его горе, нагнали к нему домой докторов... Но там и один участковый все понимал: воспаление легких, лечение одно — уколы. И такую махонькую — кололи и кололи. Когда приходила медсестра, Федор Кузьмич уходил куда-нибудь из квартиры, на лестничную площадку, да еще спускался этажа на два вниз по лестнице, и там пережидал. Курил. Потом приходил, когда девочка уже не плакала, лежала — слабенькая, горячая... Смотрела на него. У Федора все каменело в груди. Он бы и плакал, если б умел, если бы вышли слезы. Но они стояли где-то в горле, не выходили. От беспомощности и горя он тяжело обидел жену, мать девочки: упрекнул, что та недосмотрела за дитем. "Тряпками больше занята, а не ребенком,— сказал он ей на кухне, как камни-валуны на стол бросил.— Все

шкафы свои набивают, торопятся". Жена — в слезы... И теперь, если не ругались,— нелегко было бы теперь ругаться,— то и помощи и утешения не искали друг у друга, страдали каждый в одиночку.

Врач приходил каждый день. И вот он сказал, что наступил тот самый момент, когда... Ну, словом, все маленькие силы девочки восстали на болезнь, и если бы как-нибудь ей еще и помочь, поднять бы как-нибудь ее дух, устремить ее волю к какой-нибудь радостной цели впереди, она бы скорей поправилась. Нет, она и так поправится, но еще лучше, если пусть бессознательно, но очень-очень захочет сама скорей выздороветь.

Федор Кузьмич присел перед кроваткой дочери.

— Доченька, чего бы ты вот так хотела бы?.. Ну-ка, подумай. Я все-все сделаю. Сам не смогу, попрошу волшебника, у меня есть знакомый волшебник, он все может. Хочешь, я наряжу тебе елочку? Помнишь, какая у нас была славная елочка? С огоньками!..

Девочкина ручка шевельнулась на одеяле, она повернула ее ладошкой кверху, горсткой,— так она делала, когда справедливо возражала.

— Еечка зе зимой бывает-то.

— Да, да,— поспешно закивал седеющей головой папа.— Я забыл. А хошь, сходим с тобой, когда ты поправишься, мульти-пульти посмотрим? Много-много!..

— Мне незя много,— сказала умная Верочка.— Папа,— вдруг даже приподнялась она на подушке,— а дядя Игой казочку ясказывай — п'о зайку... Ох, хоесенькая!..

— Так, так,— радостно всполошился Федор Кузьмич.— Дядя Егор тебе сказочку рассказывал? Про зайку?

Верочка закивала головой, у нее даже глазки живо заблестели.

— П'о зайку...

— Тебе охота бы послушать?

— Как он етай на саиках...

— Как он летал на шариках? На каких шариках?

— Ну, на саиках!.. Дядя Игой пиедет?

— Дядя Егор? Да нет, дядя Егор далеко живет, в другом городе... Ну-ка, давай, может, мы сами вспомним: на каких шариках зайка летал? На воздушных? Катался?

— Да, не-ет! — У Верочки в глазах показались слезы.— Вот какой-то... Ветей подуй, он высоко-высоко поетей! Пусть дядя Игой пидет.

— Дядя Егор-то? Он далеко живет, доченька. Ему надо на поезде ехать... На поезде: ту-ту-у! Или на самолете лететь...

— А ты яскажи?

— Про зайку-то? А ты мне маленько подскажи, я, может, вспомню, как он летал на шариках. Он что, надул их и полетел?

Девочка в досаде большой сдвинула бровки, зажмурилась и отвернулась к стене. Отец видел, как большая слеза выкатилась из уголка ее глаза, росинкой ясной перекатилась через переносье и упала на подушку.

— Доча,— взмолился отец.— Я счас узнаю, не плачь. Счас... мама, наверно, помнит, как он летал на шариках. Счас, доченька... Ладно? Счас я тебе расскажу.

Федор Кузьмич чуть не бегом побежал к жене на кухню. Когда вбежал туда, такой, жена даже испугалась.

— Что?

— Да нет, ничего... Ты не помнишь, как зайка летал на воздушных шариках?

— На шариках? — не поняла жена.— Какой зайка?

Федор Кузьмич опять рассердился.

— Француз-зайка, с рогами!.. Зайка! Сказку такую Егор ей рассказывал. Не слышала?

Жена обиделась, заплакала. Федор Кузьмич опомнился, обнял жену, вытер ладошкой ее слезы.

— Ладно, ладно...

— Прямо как преступница сижу здесь...— выговаривала жена.— Что ни слово, то попрек. Один ты, что ли, переживаешь?

— Ладно, ладно,— говорил Федор.— Ну, прости, не со зла... Голову потерял — ничего не могу придумать.

— Какую сказку-то?

— Про зайку какого-то... Как он летал на воздушных шариках. Егор рассказывал... Э-э! — вдруг спохватился Федор.— А я счас позвоню Егору! Пойду и позвоню с почты.

— Да зачем с почты? Из дома можно.

— Да из дома-то... пока их допросишься из дома-то... Счас я сбегаю.

И Федор Кузьмич пошел на почту. И пока шел, ему пришла в голову совсем такая мысль — вызвать Егора сюда. Приедет, расскажет ей кучу сказок, он мастак на такие дела. Ясно, что он выдумал про этого зайку. И еще навыдумывает всяких... Сегодня четверг, завтра крайний день отпросится на денек, а в воскресенье вечером улетит. Два с небольшим часа

на самолете... Еще так думал Федор: это будет для нее, для девочки, неожиданно и радостно, когда приедет сам "дядя Игой" — она его полюбила, полюбила его сказки, замирала вся, когда слушала.

Не так сразу Федор Кузьмич дозвонился до брата, но все же дозвонился. К счастью, Егор был дома — пришел пообедать. Значит, не надо долго рассказывать и объяснять его жене, что вот — заболела дочка... и так далее.

— Егор! — кричал в трубку Федор.— Я тебя в воскресенье посажу в самолет, и ты улетишь. Все будет в порядке! Ну, хошь, я потом напишу твоему начальнику!..

— Да нет! — тоже кричал оттуда Егор.— Не в этом дело! Мы тут на дачу собрались...

— Ну, Егор, ну отложи дачу, елки зеленые! Я прошу тебя... У нее как раз переломный момент, понимаешь? Она аж заплакала давеча...

— Да я-то рад душой... Слышишь меня?

— Ну, ну.

— Я-то рад бы душой, но...— Егор что-то замялся там, замолчал.

— Егор! Егор! — кричал Федор.

— Погоди,— откликнулся Егор,— решаем тут с женой...

"Э-э! — догадался Федор.— Жена там поперек стала".

— Егор! А Егор! — дозвался он.— Дай-ка трубку жене, я поговорю с ней.

— Здравствуйте, Федор Кузьмич! — донесся далекий вежливый голосок.— Что, у вас доченька заболела?

— Заболела. Валентина...— Федор забыл вдруг, как ее отчество. Знал, и забыл. И переладился на ходу: — Валя, отпусти, пожалуйста, мужа, пусть приедет — на два дня! Всего на два дня! Валенька, я в долгу не останусь, я...— Федор сгоряча не мог сразу придумать, что бы такое посулить.— Я тоже когда-нибудь выручу!

— Да нет, я ничего... Мы, правда, на дачу собрались. Знаете, зиму стояла без присмотра — хотели там...

— Валя, прошу тебя, милая! Долго счас объяснять, но очень нужно. Очень! Валя! Валь!..

— Да, Федор. Я это,— отозвался Егор.— Ладно. Слышь? Ладно, мол, вылечу. Сегодня.

— Ох, Егор...— Федор помолчал.— Ну, спасибо. Жду.

А у Егора, когда он положил трубку, произошел такой разговор с женой.

— Господи! — сказала жена Валя.— Все бросай и вылетай девочке сказку рассказывай.

— Ну болеет ребенок...

— А то дети не болеют! Как это — чтобы ребенок вырос и не болел.

Егору и самому в диковинку было — лететь чуть не за полторы тысячи километров... рассказывать сказки. Но он вспомнил, какой жалкий был у брата голос, у него слезы слышались в голосе — нет, видно, надо. Может, больше надо самому Федору, чем девочке.

— Первый раз собрались съездить...— капала жена Валя.— Большаковы вон ездили, говорят, у них крыша протекла. А у нас крыша-то хуже ихней...

— Ну так бы и сказала ему! — вскипел Егор.— Чего ты ему так не сказала?! Чего ты... Уже ж посулился, нет, давай душу теперь травить!

— Ладно, не ори — душу ему растравили. Что я, голоса лишенная, — свое мнение высказать?

— Да чего ты ему-то не высказала? Высказала бы ему. А то... туда же, посочувствовала: "У вас доченька заболела?" — Не злой был человек Егор, но передразнивать умел так до обидного похоже, так у него это талантливо выходило, что люди нервничали и обижались. Тем и оборонялся Егор в жизни. Потому, наверно, и сказки-то мастер был рассказывать: передразнивал всех зверей, злых и добрых, а особенно смешно передразнивал вредную бабу-ягу.

— Ехай, ехай! — махнула рукой жена Валя.— Ехай, ублажай там, если больше делать нечего. Какие ведь господа живут!..

— А случалось, что эти господа и тебе помогали! — Егор с укоризной посмотрел на жену.— Забыла?

Жена Валя ушла в другую комнату, сердито хлопнув дверью. Нет, не забыла! Федор Кузьмич устроил ее дочь в институт. Как тут забудешь! Но и расстроилась она очень, и не показать этого она тоже не могла.

Егор также расстроился. Так сложились их отношения с женой, давно уж и незаметно как-то сложились, что главными в доме были — дела жены. Егор покорился этому, ибо сам не умел ни достать ничего, ни устроить путевку в дом отдыха, ни объясниться с учителями в школе... Умел только работать. Но ведь... что же? Кони тоже умеют работать. От работы одной толку мало, это Егор также давно понял и потому смирился. Иногда, правда, бунтовал, но слабо и нерешительно: вскипит, посверкает глазом да досыта наматерится в душе, и все. Так-то лучше не бунтовать вовсе, не

протестовать, а то эти протесты больше только разжигают хозяйскую похоть людей крепких.

Егор еще немного сердито поторчал в комнате, взял из комода сорок рублей и ушел. "Хорошо, что не надо чемодан брать... Гостинцев бы захватить? Но... ладно: раз уж так все — с тормозами, какие уж тут гостинцы. Ладно, хоть сам поехал",— думал Егор. Маленькую Верочку стало вдруг очень жалко. Сперва — впопыхах — не совсем понял, сколь нужна, важна эта поездка, а теперь, когда поехал, понял до конца: глупо было и раздумывать. А вдруг да... Но эту мысль Егор прогнал из головы, не стал даже додумывать. Позвонил из автомата начальнику цеха (Егор был мастер-краснодеревщик, на работе его ценили), и тот беспрекословно отпустил его: знал, что Егор наверстает эти полтора рабочих дня, и даже больше.

В аэропорту, в кассе, Егору сказали, что билетов в Н-ск нету.

— Ну, может, один как-нибудь...— робко попросил он.

— Что значит "один как-нибудь"? Нет билетов,— повторили в окошечке строго.

Егор постоял, посмотрел на женщину за стеклом... И еще раз сунулся к ней:

— Мне очень нужно, девушка... А? Там это... ребенок...

— Гражданин, я же вам сказала: нет билетов. Неужели непонятно? Один ему как-нибудь...

— Да понятно-то понятно...— Егору захотелось передразнить женщину в окошечке, он бы сумел это сделать... "Э-э! — вдруг вспомнил он.— А этот-то, кому стеллажи-то делал... он же говорил: что будет нужно, обращайтесь ко мне". К счастью, Егор записал телефон того могучего товарища. Поискал в книжечке... Нашел!

Долго, подробно мусолил в трубку про маленькую племянницу, про брата, про сказки...

— Куда билет-то нужен? — вышел из терпения могучий товарищ.

— В Н-ск.

— Сразу и надо было сказать. На сегодня? Один?

— Один. На сегодня. Я уже здесь... понимаете? Я здесь, в аэропорту, а билетов, говорят, нету. Я думаю: да неужели так ни одного билета и нету? Не может же быть, думаю, такого...

— Перезвоните минут через десять,— опять прервал уверенный басок.

Егор понял, что улетит сегодня.

Походил по вокзалу, подождал минут пятнадцать и позвонил.

— Подойдите к кассе номер три и возьмите билет,— сказал басок.

— Вот спасибо-то! — кинулся Егор с благодарностями.— А то я уже стал сомневаться... А брат чуть не со слезами просит. У него, понимаете, это второй брак, ребеночек последний, он поэтому так переживает. Я ее тоже люблю, девочку-то, такая смышленая, все сказками интересуется...

— Ну, до свиданья,— сказали на том конце.— Счастливо долететь.

— До свиданья,— сказал Егор.

Касса номер три — это не та, куда он подходил. Если бы была та, Егор сказал бы той женщине, в окошечке... Сказал бы: "Значит, все же нашелся один билет? Эх, вы... Как же так получается, уважаемая? А сидишь — строгую из себя изображаешь, справедливую. "Вам же сказали: нет билетов!" А один звонок — и билет, оказывается, есть. Значит, так надо и говорить: "Для вас — нету". А вид-то, вид-то — не подступись! А такой же — нуль, только в пилотке". Ну, может, не так бы едко сказал... А может, и не сказал бы вовсе: правда что — нуль, чего и говорить.

...В Н-ск Егор прибыл под утро, часов в пять, а в шесть был уже у брата.

Позвонил... Открыла хозяйка, Надежда Семеновна.

— О-о! — удивилась она.— Так рано?

— С билетом удачно вышло,— радостно сказал Егор.— Прямо сразу улетел... Как Верочка-то?

— Лучше. Она еще спит. Вы потише, пожалуйста...

— Конечно! — тихо воскликнул Егор. — А Федор-то дома?

— Дома.

— Ну, мы на кухне пока посидим... Пусть он на кухню придет.

Федор пришел на кухню в халате и в шлепанцах. Сонный, большой и нелепый в этом халате, Егору даже смешно стало.

— Ты прямо как поп в ем,— сказал он, здороваясь.

Брат Федор покривил в ухмылке губы.

— Как долетел?

— Хорошо!

— А чего там жена-то? Возражала, что ли?

— Да на дачу собралась... Да ну ее!

— Что это она у тебя, командовать-то любит?

— Та-а... Чего об этом? Как Верочка-то?

— Перелом наступил. Поправится. Трухнул я тут...

— Да я уж понял.

— Давай чего-нибудь? Чаю? Или кофе? А может, что... с дороги-то?..— Смешной Федор начал соваться по шкафам.— Счас мы изобретем... Во, коньяк! Будешь?

— Давай.— Егор с интересом наблюдал за старшим братом. Раза три Федор был у Егора — не то что в гостях — проездом: всех поразил своей деловитостью, этаким волевым напором, избытком сил. "Да,— подумали в провинции,— эта птица может больно клюнуть".— Давай, братка, давай. Смешной ты какой-то,— не удержался и сказал Егор.— Нормальный человек... никакой не деятель.

— Ну! — недовольно молвил Федор.— Чего тут смешного-то? Халат, что ли, никогда не видал? Удобная штука, кстати.

— Да не халат... Ну, давай — со встречей. И чтоб Верочка скорей поправилась.

Братья выпили из маленьких, но каких-то очень тяжеленьких рюмочек... Помолчали.

— Как живешь-то? — спросил Федор.

— Да как...— Егор потянулся к пепельнице и рукавом пиджака свалил хрустальную рюмочку-патрон. Рюмочка пискнулась звонким краешком в гладкий стол и раскололась.— Ах ты, господи! — испугался Егор. И глянул на брата. Тот усмехнулся, прихватил осторожно пальцами рюмочку и отскочивший ее краешек и бросил в мусорную корзинку.

— Видно, с детства живет этот страх в человеке,— сказал Федор. — Вот, знаешь, Верочку же никто никогда не ругал за посуду, а один раз выронила блюдце, да так испугалась!.. Я же ее и успокаивать кинулся: ерунда, мол, чего ты так испугалась-то! Куклу уронит — ничего, а посуду... Есть, наверно, какой-то закон здесь. А?

— Наверно. Рюмка-то дорогая, черт тя возьми,— с сожалением сказал Егор.— Хрустальная.

— Да брось! — недовольно уже сказал Федор.— Хрустальная... Все равно это — вещь, и должна служить человеку. Ну, и отслужила свой век, туда ей и дорога.

Братья, пожалуй, смутно догадывались, что говорить им как-то не о чем. В прошлый приезд другое дело: дочь Егора, Нина, сдавала вступительные экзамены, начала сдавать сразу неважно, должен был вмешаться Федор... Все разговоры крутились вокруг экзаменов, института. Егор жил у Федора, очень переживал за дочь, но особенно не высовывался с

советами, все надежды свалил на брата и только со страхом ждал, когда наконец закончатся эти проклятые вступительные экзамены. Тогда-то он и подружился с маленькой Верочкой и вечерами выдумывал ей всякие сказки. Тогда все как-то проще было.

— Как Нина-то? — вспомнил и Федор про Нину; может, тоже подумал, что, когда Нина устраивалась в институт, было хлопотно, но разговоры случались сами собой, не надо было выдумывать, о чем говорить.

— Работает в библиотеке. Я говорю: отдохни ты лучше, покупайся вон — успеешь еще, наработаешься! Нет, лучше глянется работать. Практика, говорит, мне будет.

— Ну и пусть работает — полезней. Накупаться тоже еще успеет. Сейчас надо этот главный рубеж взять — окончить институт.

— Да ведь устают, поди, от учебы-то! Неуж не устают?

— Да ничего страшного нет в учебе! — напористо и поучительно сказал Федор.— Что за дикость — учебы страшиться. Уж нашему ли народу не учиться — давно и давно пора. Нет, помню, бабка Фекла: "Федька, не дочитывай до конца книгу — спятишь!" Вот же понимание-то! Да почему? Черт его в душу знает, откуда этот панический страх перед книгой? Нам-то как раз и не хватает этой книги... И вот извольте: не дочитывай до конца, а то с ума сойдешь.

— А что, были же случаи...

— Да от книг, что ли?

— От книг! Парень вон у Гилевых... Игнаху-то Гилева помнишь? Вот сын его, Витька,— зачитался: тихое помешательство.

— С чего вы решили, что от книг-то?

— Читал день и ночь...

— Ну и что?

— Как же?.. Зачитался.

Федор хмыкнул с досадой, но пока не стал говорить, достал другой хрустальный патрончик, плеснул в него коньяку. И себе тоже плеснул.

— Давай. С ума они, видите ли, сходят от чтения... Ты много за свою жизнь книг прочитал?

— Я не пример.

— А кто пример? Ну, я вот: прочитал уйму книг — жив-здоров, чувствую, что мало еще прочитал, надо бы раза в три больше.

— Куда тебе больше-то? — удивился Егор.— Чего не хватает-то? Всего же вдосталь...

— Знаний не хватает! — сердито сказал Федор.— Вот чего. Вот они приходят счас, молодые, на смену — и поджимают. Да как поджимают! Сколько-то еще подержимся, а дальше — извини-подвинься: надо уступать. С жизнью, брат, не поспоришь.

— Не знаю...— сказал Егор.— Меня, например, никто не поджимает.

— Да тебя-то! Твое дело... не обижайся, конечно, но дело твое каждый сумеет делать. Ну, не каждый — через одного. Есть вещи сложнее...

— Ну, и надо уступать,— тоже чего-то рассердился Егор, наверно, за профессию свою обиделся.— А то и правда-то: смотришь, сидит — пень пнем, только орать умеет.

— Не торопи-ись,— с дрожью в голосе протянул Федор.— Больно прыткие! Есть еще такие понятия, как — опыт. Старшинство ума. Дачи увидели! Машины увидели!.. А не видите, как ночами приходится ворочаться от... Ты в субботу-то купаться пошел, а я сижу в кабинете, звонка жду: то ли он позвонит, то ли не позвонит. А и позвонит, да что скажет? Это ведь легче всего: в чужом кармане деньги считать. Их заработать труднее...

— Я не считаю твои деньги. Что ты?

— Я не про тебя. Есть... любители. Сам еще ночного горшка не выдумал, сопляк, а уже с претензиями. Не-ет, подожди, пусть сперва материно молоко на губах обсохнет, а потом я выслушаю твои претензии. Свистуны. Мне что, на блюдечке все это поднесли? — Федор неопределенно покачал головой: то ли он имел в виду эту большую богатую квартиру, то ли адресовался дальше — дачу с машиной и с гаражом подразумевал, то ли, наконец, показал на шифоньер, где висел его черный костюм с орденами.— Тут уж я самому господу богу могу прямо в глаза смотреть: все добыто трудом. Вот так. Сам от работы никогда не бегал, но и другим...— Федор чуть сжал хрустальную рюмочку, и она вся спряталась в его огромном кулаке. Нет, крепок был еще Федор Максимов, не скоро подвинется и даст место другому.— Подняли страну на дыбы? — выходи вперед, не бегай по кустам.— Федор, наверно, чуть-чуть захмелел, а может, высказывал наболевшее, благо подвернулся брат родной — должен понять.— Вот так надергаешься за день-то, наорешься, как ты говоришь,— без этого, к сожалению, тоже не обойдешься,— а ночью лежишь и думаешь: "Да пошли вы все к чертям собачьим! Есть у меня Родина, вот перед ней я и ответчик: так я живу или не так".

— Кто тебе говорит, что ты не так живешь? — сказал сочувственно Егор.— Что ты? Наоборот, я всегда рад за тебя, всегда думаю: "Молодец Федор, хоть один из родни в большие люди выбился".

— Дело не "в больших людях". Не такой уж я большой... Просто, делаю свое дело, стараюсь хорошо делать. Но нет!..— пристукнул Федор ребром ладони по столу и даже не спохватился, что шумит,— найдутся... некоторые, будут совать в нос свое... Будут намекать, что крестьянский выходец не в состоянии охватить разумом перспективу развития страны, что крестьянин всегда будет мыслить своим наделом, пашней... Вот еще как рассуждают, Егор! — Федор посмотрел на брата, стараясь взглядом еще донести всю глупость и горечь такого рода рассуждений.— Вот еще с какой стороны приходится отбиваться. А кто ее строил во веки веков? Не крестьянин?

— У тебя неприятности, что ли? — спросил Егор.

— Неприятности...— Федор вроде как вслушался в само это слово. Еще раз сказал в раздумье: — Неприятности.— И вдруг спросил сам себя: — А были они, приятности-то? — И сам же поспешно ответил: — Были, конечно. Да нет, ничего. Так я... Устал за эти дни, изнервничался. Есть, конечно, и неприятности, без этого не проживешь. Ничего! Все хорошо.

А Егору чего-то вдруг так сделалось жалко брата, так жалко! И лицом и повадками Федор походил на отца. Тот тоже был труженик вечный и тоже так же бодрился, когда приходилось худо. Вспомнил Егор, как в 33-м году, в голодуху, отец принес откуда-то пригоршни три пшеницы немолотой, шумно так заявился: "Живем, ребятишки!" Мать сварила жито, а он есть отказался, да тоже весело, бодро: "Вы ешьте, а я уж налупился дорогой — сырой! Аж брюхо пучит". А сам хотел, чтоб ребятишкам больше досталось. Так и Федор теперь... Хорохорится, а самому худо чего-то, это видно. Но как его утешишь — сам все понимает, сам вон какой...

— Да,— сказал Егор.— Ну, и ладно. Ничего, братка, ничего. Дыши носом.

— Что за сказку ты ей рассказывал? — спросил Федор.— Про зайку-то... Как он летал на воздушных шариках.

Егор задумался. Долго вспоминал... Даже на лице его, крупном, добром, отразилось, как он хочет вспомнить.

И вспомнил, аж просиял.

— Про зайку-то?! А вот: пошел раз зайка на базар с отцом. И увидел там воздушные шарики — мно-ого! Да все разноцветные: красные, синие, зеленые...— Егор весело

смотрел на брата, а рассказывал так, как если бы он рассказывал самой Верочке — не убавлял озорной сказочной тайны, а всячески разукрашивал ее и отодвигал дальше.— Вот. И привязался он к отцу, зайка-то: купи да купи. Отец и купил. Ну, купил и сам же и держит их в руке. А тут увидел: морковку продают! "На-ка, говорит, подержи шарики, я очередь пока займу". Зайка-то, маленький-то, взял их... И надо же — дунул как раз ветер, и зайчишку нашего подняло. И понесло, и понесло! Выше облаков залетел...

Федор с интересом слушал сказку, раза два даже носом шмыгнул в забывчивости.

— Как тут быть? — спросил Егор брата. Тот не понял.

— Чего как быть?

— Как выручать зайку-то?

— Ну... спасай уж как-нибудь,— усмехнулся Федор.— На вертолете, что ли?

— На вертолете нельзя: от винтов струя сильная, все шары раскидает...

— Ну а как?

— Вот все смотрят вверх и думают: как? А зайка кричит там, бедный, ножками болтает. Отец тут с ума сходит... И вдруг одна маленькая девочка, Верочка, допустим, кричит: "Я удумала!" Это у меня Нина, когда маленькая была, говорила: "Я удумала". Надо — я придумала, а она: "Я удумала". Вот Верочка и кричит: "Я удумала!" Побежала в лес, созвала всех пташек — она знала такое одно словечко: скажет, и все зверушки, все пташки ее слушаются — вот, значит, созвала она птичек и говорит: "Летите, говорит, к зайке и проклевывайте клювиками его шарики, по одному. Все сразу не надо, он упадет. По одному шарику прокалывайте, и зайка станет опускаться". Вот. Так и выручили зайку из беды.

Федор качнул головой, усмехнулся, потянулся к сигаретам. А чтоб не кокнуть еще одну дорогую рюмочку, прихватил другой рукой широкий рукав халата.

— Довольно это... современная сказочка. Я думал, ты про каких-нибудь волшебников там, про серого волка...

— Нет, я им нарочно такие — чтоб заранее к жизни привыкали. Пускай знают побольше. А то эти волшебники да царевны... Счас какая-то и жизнь-то не такая. Тут такие есть волшебники, что...

— Да, тут есть волшебники... Целые змеи-горынычи! — засмеялся Федор.

— Не говоря уж про бабу-ягу: что ни бабочка, то баба-яга. Мы твою-то не разбудим? Громко-то...

— Бабу-ягу-то? — хохотнул опять Федор.— Ничего. У меня, Егор, даже не баба-яга,— сбавил он в голосе,— у меня нормальная тряпошница, мещанка. Но так мне, седому дураку, и надо! Знаешь...— Федор заикнулся было про какую-то свою тайну тоже, но безнадежно махнул рукой и не стал говорить.— Ладно, чего там.

Егора опять поразило, как не похож этот Федор на того, напористого, властного, каким он бывал на людях, на своих стройках...

— Что-то все же томит тебя, братец,— сказал Егор.— Давай уж... может, и помогу каким словом.

— Да ничего,— смутился Федор. И чтоб скрыть смущение, потянулся опять к сигаретам.— Я и так что-то сегодня... Размяк что-то с тобой. Все нормально, Егорша. Все хорошо.— Помолчал, глядя в стол, потом тряхнул сивой головой, с усталой улыбкой посмотрел на брата, еще раз сказал: — Все хорошо. Хорошо, что приехал... Правда. Я, знаешь, что-то часто стал отца-покойника во сне видеть. То мы с ним косим, то будто на мельнице... Старею, что ли. Старею, конечно, что же делаю. Коней еще часто вижу... Я любил коней.

— Стареем,— согласился Егор.

— Давай-ка... за память светлую наших родителей.— Федор наполнил два хрустальных патрончика коньяком.— Мы ведь тоже уже... завершаем свой круг... А? — Федор, словно пораженный этой мыслью, такой простой, такой понятной, так и остался сидеть некоторое время с рюмкой в руке — смотрел сперва на брата, потом опять в стол, в стол смотрел пристально, даже как будто сердито. Очнулся, качнул рюмочку, приглашая брата, выпил.— Да,— сказал,— разворотил ты мне душу... А чем, не пойму. Наверно, правда, устал за эти дни. Думал, никакая меня беда не согнет, а вот... Ну, ничего. Ничего, вообще-то, не жаль! — встряхнулся он и сверкнул из-под нависших бровей своим неломким прямым взглядом.— Жалко дочь малую. Но... подпояшемся потуже и будем жить. Так? — спросил брата, спросил, как спрашивал многих других днем, на работе, на стройках своих — спросил, чтоб не слушать ответа, ибо все ясно.— Так, Егорша, так. Ложись-ка сосни часок-другой, а там и Верунька проснется. А я посижу пока тут с бумажками... покумекаю. Да,— вспомнил он,— подскажи мне, чего бы такое жене твоей купить? Подарок какой-нибудь...

— Брось! — сердито воскликнул Егор.

— Чего брось? Мне счас будет звонить один... волшебник один...— Федор искренне, от души засмеялся.— Вот волшебник так волшебник! Всем волшебникам волшебник, у него там всего есть... Чего бы? Говори.

— Да брось ты! — еще раз с сердцем сказал Егор.— Что за глупость такая — подарки какие-то! К чему?

Федор с улыбкой посмотрел на брата, кивнул согласно головой.

— Ладно. Иди поспи. Там постель тебе приготовлена... Иди.

Егор тихонько прокрался в одну из комнат, разделся, присел на край дивана, который был застелен свежими простынями... Посидел. Огляделся... Посмотрел на окно — форточка открыта. Достал из кармана папиросы, закурил. Курил и стряхивал пепелок в ладошку. Спать не хотелось.

Вошел в комнату Федор.

— Слушай,— сказал он,— у меня чего-то серьезно душа затревожилась — наговорил тут тебе всякой всячины... Подумаешь бог знает что. А? — Федор улыбнулся. Присел рядом на диван. И даже по спине братца хлопнул весело.— У меня все хорошо. Все хорошо, я тебе говорю! Чего смотришь-то так?

— Как? Ничего. Я ничего не думаю. Что ты?

— Да смотришь как-то... вроде жалеешь.

— Ну, парень! — воскликнул Егор.— Ты что?

— Ну, тогда ладно. Поспи, поспи маленько, а то ведь не спал небось в самолете-то? Поспи.

— Ладно,— сказал Егор.— Посплю. Покурю вот и лягу.

— Мгм.— Федор ушел.

Егор осторожненько стряхнул пепел в ладошку, склонился опять локтями на колени и опять задумался. Спать не хотелось.

ТРИ ГРАЦИИ

Шутка

Воскресенье. Сегодня в течение дня буду ненавидеть. Месяца два, как я переехал на новую квартиру, и каждое воскресенье весь деиь напролет ненавижу.

Это происходит так.

С утра, часов в девять, на скамейку под моим балконом садятся три грации и беседуют. Обо всем: о чужих мужьях, о политике, о прохожих... Я выставляю на балкон кресло, курю, слушаю этих трех — и ненавижу. Все человечество. Даже устаю к вечеру.

Как-то будет сегодня? Погодка славная (раза два в воскресенье шел дождь, их не было, я не знал, куда деваться от тоски); сегодня они должны хорошо поговорить.

Итак, заготовил пачку сигарет, бутылку хорошего вина (буду пропускать по рюмочке, когда кому-нибудь из этих трех удастся особенно больно уесть прохожего, или если выяснится, что у товароведа из 27-й квартиры крупная недостача или что он рогоносец).

Сперва коротко опишу их.

Номер один. Тихая с виду, в очках, коротконогая. Лет тридцать с гаком. Говорит негромко, мне приходится наклоняться, чтобы хорошенько расслышать ее. Одинокая, но заявляет, что "они от меня никуда не уйдут". Будем называть ее Тихушница.

Номер два. За сорок. Крупная, с вишневой бородавкой на шее. Говорит громко, уверенно. Часто сморкается, после чего негромко несколько раз делает так: "кхм, кхм, кхм". Эта раза три обронила: "Все они сейчас никуда не годятся". Будем называть ее Деятель.

Номер три. Рыжеволосая. Тоже за сорок. Необычайно подвижная, легкая на ногу. Стремительная в мыслях, мастер замочных скважин. Тоже, как я, ждет не дождется воскресенья — приходит на скамеечку раньше подружек, трещит без умолку, но авторитетом в коллективе не пользуется: суждения ее неглубоки. Будем называть ее Летящая по волнам. Можно просто Рыжая.

Десять часов. Что-то запаздывают. Четверть одиннадцатого... Начинаю нервничать. Что с ними? Уж не поехали ли за город? Нет!.. Вон идет Рыжая. Лапочка моя! Ой-ой — в новом свитере!.. А походка!.. Вся движение, порыв. Наполеон на Аркольском мосту. Глаза горят. Наверно, какой-нибудь из ее начальников полетел за аморалку. Или кто-нибудь где-нибудь отступил. Она утопичка: ей кажется, что никто никогда не должен уступать. Ммх, лапочка!..

А вот и Тихушница. Идет, переваливается уточкой. Тоже вообще-то лапочка. Она, конечно, не Наполеон на мосту, но я глубоко убежден, что "они от нее никуда не уйдут". Как-то раз она сказала: "Я знаю, что им всем надо". Сейчас, когда так ослепительно блестят ее очки, я верю — знает.

Две есть. Третья?

А-а! Деятель. Идет. Я всегда думаю, глядя на нее, что сильный характер — это от бога, как бородавка.

Ну — собрались. Закурим! Наверно, начнут с политики — прохожих еще мало.

— Сегодня так плохо спала ночь, так плохо спала! — Это Рыжая.— У этих собака внизу... Гадина!.. Всю ночь... "гав-гав-гав!"

— А меня этот паровоз всю ночь донимал,— сказала Деятель.— Всю ночь — "ту-у! ту-у! ту-у!" Какого черта гудеть? Ночью же на путях детей нету.

— Маневровый,— пояснила Тихушница.

— А?

— Маневровый. Он своим сотрудникам гудит, чтобы его перевели на другие рельсы. А у меня голова что-то всю ночь болела...

Все три плохо выспались. Будет дело!

— Почем же огурцы теперь стали? — спросила Деятель.

— Я в прошлую субботу была на базаре — два рубля.

— Два рубля?! Да я вчера в "Овощи — фрукты" по рупь тридцать брала. И народу мало.

— А я вчера...— заговорила было Рыжая, но тут нанесло неурочного: какой-то парень, явно с похмелья, шел по двору, направляясь, видно, в магазин за пивом.

Все три смотрели на него. Попался, голубчик! Выпил в субботу? Сейчас закусишь.

— Иде-ет,— сказала Деятель. Таким тоном, будто по двору шел ночной грабитель, которого за углом ждет не пиво, а наряд конной милиции.

— Краса-авец... Ручки в брючки.

— Што, милок, с похмелья?

Парень посмотрел на них.

— А вам што?

— Ничего, ничего — пей. Больше пей — к сорока годам будешь чурка с глазами.— Это Деятель.

Парень, изумленный, остановился.

— Ты што?

— Я, мол, пей. Больше пей!

Тихушница и Рыжая промолчали.

Парень пожал плечами, пошел дальше. Но только он отошел, мои грации осмелели.

— Он и сейчас-то уж никуда не годится. Для мебели только.

— Алкоголик, глот. Тоже ведь — "ты што?"

— А у меня сестрин муж,— стала рассказывать Рыжая.— Я ему: "Што ж ты,— говорю,— пьешь-то, рожа твоя кывадратная? Ведь ты вот с получки-то сколь? — двенадцать рубликов усадил! А на двенадцать рублей можно полторы недели питаться, если ты — опять же — не нальешь глаза-то да мяса себе не будешь требовать". Так он мне: "Все пьют. Не пьют только собака да кошка — они лакают". Такой паразит!

— Што ты! Они ответют.

— "Я,— говорит, — работаю. Што же мне — и выпить нельзя?"

— Они работают! Со мной на площадке один тоже работает. Я на днях стала диван выколачивать, так он: "Што же это вы на площадке-то? Люди работают и должны вашу пыль глотать!" Я говорю: "Где ж эт ты, милок, работаешь-то? Ты ж целыми днями дома сидишь. Вот так работка!" — говорю. Он мне: "Я диссертацию пишу". — "Эх ты, — думаю, — лысая ты коленка, диссертацию ты пишешь!.. А чего же полысел-то раньше времени?"

— Истаскался.

— Знамо дело!

— Пьет?

— Што ты! Он скорей задавится, чем бутылку себе возьмет.

— Они такие, лысые — истаскаются, потом начинают: тут болит, там болит... А деньги на книжечку.

За этого лысого, который диссертацию пишет, я выпил рюмочку — очень уж славно они его уделали. Голеньким выставили — со всех сторон. Будь здоров, очкарик!

Деятель высморкалась, сделала "кхм, кхм" и продолжала:

— Они лысеют, а людей на земле уменьшается. Я бы расстреливала таких.

— Собрать их всех в одно место и посадить на карточную систему! — неожиданно громко и зло сказала Тихушница.— Узнают тогда.

Какова Тихушница-то!.. Голосок прорезается. С карточной системой она неплохо придумала.

— А один лысый, я слышала,— заторопилась Рыжая,— сделал себе капроновые волосы, заплатил валютой, напился пьяный, а его постригли в милиции. Ха-ха-ха!.. Они же не знали! Ха-ха-ха!..

Ну эта все по анекдотам дает, верхушки сшибает. Нет, голубушка, если за душой ничего нет, не помогут и капроновые волосы. Что это?.. Нет, Рыжая, явно не тянет.

Тут выпорхнуло из подъезда этакое воздушное создание и заспешило, отстукивая каблучками по асфальту. Коротенькая юбочка — туда-сюда, туда-сюда...

— Вот она! — в один голос сказали Деятель и Тихушница.

— Ну к чему такие короткие юбки? — вякнула Рыжая.

— Да заткнись ты!

— А легше, легше, без всяких там...— сказала Деятель.

— Больше-то нет ничего, вот они и выставляют коленки,— заметила Тихушница.

То есть как это "ничего нет?" Не понял. Что-то ты, матушка, не того... не объективно.

— К любовнику пошла — торопится. Сейчас придет, а там другая.

— У них график. Как у паровозов.

— Идет, виляет... А чего вилять, чего вилять? Там вилять-то нечем.

— Шкелеты.

В это время вышел на солнышко глубокий старик.

— Идите к нам! — сказала Деятель.

Старик присел на лавочку.

— К сыну приехал?

Старик был с глухотцой.

— А?

— К сыну погостить приехал?

— Ага.

— Сноха-то ничего, не гложет?

— Нет, ничего. Она хорошая.

— Они все хорошие... пока спят. Как там в деревне-то?!

— Хорошо. Косить начали...

— Оптимистический старичок! — сказала Рыжая.— Везде у него хорошо! Видел такой фильм "Оптимистическая трагедия"?

Деятель снисходительно похлопала старичка по спине.

— Волос-то тоже на одну драку осталось?

Старичок усмехнулся.

— Мне уж семисит пять скоро...

— О! А все жалуетесь: плохо в деревне, трудно.

— Я не жалуюсь.

— Они теперь все хорошие, трудящиеся...

— А кто огурцы по два рубля продает?! Кто с мешками на метро ездит?.. Мешает!..— Это Рыжая "покатила бочку". — Кто поступает в дворники, а потом получает секции? Кто в колхозы не хотел идти? Кто упирался?!

Деятель стиснула зубы и оглянулась во гневе.

— Кто из-за угла стрелял? — спросила она тихо.— Кто без конца вредил?

Я налил рюмочку. Старичочек, конечно, не ждал такого. Тихо было кругом, тепло, солнышко светило.

— Кто с необъятных полей колоски воровал?! — как-то даже взвизгнула Тихушница.— Кто самогон ва...

Тут старичок встал, весь подобрался и неожиданно громко — на весь двор — скомандовал:

— Стать!

Грации опупели. Молчали.

— Стать!!! — заорал старичок. И замахнулся палкой.

Рыжая и Тихушница встали. А Деятель, наклонив вперед голову, смотрела на старичка.

— Я егорьевский кавалер,— кричал старичок.— У меня медаль за трудовую доблесть! У меня сын токарь семого разряда! Я вас за такие слова! — И пошел домой.

Рыжая и Тихушница сели. Им стыдно стало, что они испугались. Они стали оправдываться.

— Он же ненормальный, я давно замечала.

— Я тоже замечала.

— Когда "давно"? — спросила Деятель.

— Ну, давно.

— Он только вчера приехал. Это сын у него ненормальный.

— Это который на мотоцикле-то? Да тот уж лежал в психиатрическим раз пять. Тот просто задавит кого-нибудь, и все. "Токарь семого разряда". Знаем мы этих токарей. Только премиальные хапать.

Деятель понюхала табачку.

— А потом пропивают их с мастерами. Да на мотоциклах гоняют.

— Думают, у них мотоцикл, так за ними любая побежит! Тьфу!..— Тихушница в самом деле плюнула.— Да по мне хоть с трактором, мне и то на дух не надо. Мне лишь бы человек был.

Я налил рюмочку — за мотоциклистов. Вообще за наш славный спорт. Хороши они сегодня, мои грации!.. Мои лапочки. Ворочают пласты — от коллективизации до мотопробега. Сердце радуется! Маленько старичок их смутил... Но это... так, ерунда. Они ему тоже бубну выбили: будет знать, как стрелять из-за угла и воровать колоски. Кулацкая морда. Да еще Георгиевским крестом хвалился! Ясно: како-

го-нибудь пролетария свалил. Пень дремучий. Дупло. Я выпил еще рюмочку. Потом я выпил еще: товаровед из 27-й квартиры не только растратчик, он еще и без одного легкого. Куркуль недорезанный. Тубик. И тут меня стукнула идея. Как только я выпиваю лишнего, меня начинают стукать разные идеи. Иной раз с похмелья все тело болит. Идея такова: в нашем дворе есть еще одна скамейка с высокой спинкой. Если эту спинку аккуратненько подпилить да потом снова приставить на место... Представляете? Человек садится на скамеечку и приваливается к спинке... Тот же старичок. Или этот, с одним легким... Представляете? А наблюдать все это можно с моего балкона хотя бы. Я вынесу еще три кресла — балкон у меня большой.

Я выпил рюмочку и спустился к грациям.

— Здравствуйте! — сказал я.— Представляете?.. Человек присел отдохнуть, так? И — раз! — кверху ногами. Мы хохочем негромко. Вы спросите: как это делается? Вон скамейка — видите? Подпиливается спинка... Мм? Я это берусь в ночь с субботы на воскресенье. И мы весь день хохочем. Старичок грохнулся, я выхожу и опять подстраиваю спинку... А этому, с одним легким-то, много ему надо! А? Я даже диван на балкон вынесу... Мы славно попируем!

Тут Тихушница встала и куда-то пошла.

Я продолжал развивать мысль. Я доказывал, что всякая идея должна воплотиться в образ, должно быть зрелище, спектакль. Только тогда идея будет выражена до конца.

Сосед из 27-й квартиры рассказывал мне через три дня:

— Вы кричали на них: "Почему вы не понимаете этой идеи со спинкой скамьи?.. Вы пустобрехи! Кустари!" Чего вы хотели от них? Они же глупы, как...

Я смотрел на него, на этого недорезанного, и думал: "Не будь они глупы, ты бы сейчас кровью харкал". Но это было потом.

А тогда, в воскресенье, я вдруг обнаружил, что передо мной стоит милиционер. Как из-под земли вырос. Они меня предали. Они ничего не поняли...

Тот же сосед рассказывал:

— Когда вас вел милиционер, вы плакали. Вы оборачивались к ним и говорили: "Эх вы! За чечевичную похлебку!.. А я любил вас! Ну и сидите зубоскальте! Мещанки... А годы проходят! Жизнь проходит!" Чего вы все-таки от них хотели?

— Совершенства. Цельности. Красоты.

Сосед громко захохотал. (При одном легком!)

— Нашли красавиц!.. Что вы, помоложе не можете подыскать?

Нет, зря я тогда выпил лишнего. Не выпей я лишнего, я бы смог спокойно и обстоятельно разъяснить им, зачем надо было подпилить скамеечку. Загубил прекрасную идею!

ЗАБУКСОВАЛ

Совхозный механик Роман Звягин любил после работы полежать на самодельном диване, послушать, как сын Валерка учит уроки. Роман заставлял сына учить вслух, даже задачки Валерка решал вслух.

— Давай, давай, раскачивай барабанные перепонки — дольше влезет,— говорил отец.

Особенно любил Роман уроки родной литературы. Тут мыслям было раздольно, вольно... Вспоминалась невозвратная молодость. Грустно становилось.

Однажды Роман лежал так на диване, курил и слушал. Валерка зубрил "Русь-тройку" из "Мертвых душ".

— "Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился..." Нет, это не надо,— сказал сам себе Валерка. И дальше.— "Эх, кони, кони,— что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню — дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ!.. Не дает ответа. Чудным звоном заливается..."

— Не торопись,— посоветовал отец.— Чешешь, как... Вдумывайся! Слова-то вон какие хорошие.

Роман вспомнил, как сам он учил эту самую "Русь-тройку", таким же дуроломом валил, без всякого понятия,— лишь бы отбарабанить.

— Потом жалеть будешь...

— Кого жалеть?

— Что вот так учился — наплевательски. Пожалеешь, да поздно будет.

— Я же учу! Чего ты?

— С толком надо учить, а у тебя одна улица на уме. Куда она денется, твоя улица? Никуда она не денется. А время пропустишь...

— Хо-о, ты чего?

— Ничего, не хокай — учи.

— А я что делаю?

— Повнимательней, говорю, надо, а не так!.. лишь бы отбрехаться.

Валерка подстегнул дальше свою "тройку", а Роман — опять за думы. И сладкие эти думы, и в то же время какие-то... нерадостные. Половину жизни отшагал — и что? Так, глядишь, и вторую протопаешь — и ничегошеньки не случится. Роман даже взволновался — так вдруг ясно представилось, как он дотопает до конца ровной дорожки и... ляжет. Роман сел на диване. И очень даже просто — ляжешь и вытянешь ноги, как недавно вытянул Егор Звягин, двоюродный брат... Да-а.

А в уши сыпалось Валеркино:

— "...Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились..."

Вдруг — с досады, что ли, со злости ли — Роман подумал: "А кого везут-то? Кони-то? Этого... Чичикова?" Роман даже привстал в изумлении... Прошелся по горнице. Точно, Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елкина мать!.. Вот так троечка!

— Валерк! — позвал он.— А кто на тройке-то едет?

— Селифан.

— Селифан-то Селифан! То ж — кучер. А кого он везет-то, Селифан-то?

— Чичикова.

— Так... Ну? А тут — Русь-тройка... А?

— Ну. И что?

— Как что? Как что?! Русь-тройка, все гремит, все заливается, а в тройке — прохиндей, шулер...

До Валерки все никак не доходило — и что?

— Да как же?! — по-настоящему заволновался Роман, но спохватился, махнул рукой.— Учи. Задали, значит, учи.— И чтоб не мешать сыну, вышел из горницы. А изумление все нарастало. Вот так номер! Мчится, вдохновенная богом! — а везет шулера. Это что же выходит? — не так ли и ты, Русь?.. Тьфу!..

Роман походил по прихожей комнате, покурил... Поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный

недосмотр! Мчимся-то мчимся, елки зеленые, а кого мчим? Можно же не так все понять. Можно понять... Ну и ну! Роману прямо невтерпеж сделалось. Он вспомнил про школьного учителя Николая Степановича. Сходить?..

— Валерк! — заглянул Роман в горницу.— Николай Степаныч дома?

— Не знаю. А что? — испугался Валерка.

— Да ничего, учи. Сразу струсил... Чего боишься-то? Набедокурил опять чего-нибудь?

— Никого не набедокурил. Чего ты?

— Он в район не собирался ехать?

— Не знаю.

Роман пошел к учителю.

Николай Степанович был дома, возился в сарае с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы, учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь.

— Здравствуйте, Николай Степаныч.

— Здравствуйте, Роман Константиныч! — Учитель отряхнул пыльные руки, вышел к двери сарая, к свету.— Потерял одну штуку... извозился весь.

— Николай Степаныч,— сразу приступил Роман к делу,— слушал я счас сынишку... "Русь-тройку" учит...

— Так.

— И чего-то я подумал: вот летит тройка, все удивляются, любуются, можно сказать, дорогу дают — Русь-тройка! Там прямо сравнивается. Другие державы дорогу дают...

— Так...

— А кто в тройке-то? — Роман пытливо уставился в глаза учителю.— Кто едет-то? Кому дорогу-то?..

Николай Степаныч пожал плечами.

— Чичиков едет...

— Так это Русь-то — Чичикова мчит? Это перед Чичиковым шапки все снимают?

Николай Степаныч засмеялся. Но Роман все смотрел ему в глаза — пытливо и требовательно.

— Да нет, — сказал учитель,— при чем тут Чичиков?

— Ну, а как же? Тройке все дают дорогу, все расступаются...

— Русь сравнивается с тройкой, а не с Чичиковым. Здесь имеется... Здесь — движение, скорость, удалая езда — вот что Гоголь подчеркивает. При чем тут Чичиков?

— Так он же едет-то, Чичиков?

— Ну и что?

— Да как же? Я тогда не понимаю: Русь-тройка, так же, мол... А в тройке — шулер. Какая же тут гордость?

Николай Степаныч, в свою очередь, посмотрел на Романа... Усмехнулся.

— Как-то вы... не с того конца зашли.

— Да с какого ни зайди,— в тройке-то Чичиков. Ехай там, например... Стенька Разин,— все понятно. А тут — ездил по краю...

— По губернии.

— Ну по губернии. А может, Гоголь, так и имел в виду: подсуроплю, мол: пока догадаются,— меня уж живого не будет. А?

Николай Степаныч опять засмеялся.

— Как-то... неожиданно вы все это поняли. Странный какой-то настрой... Чего вы?

— Да вот влетело в башку!..

— Все просто, повторяю: Гоголь был захвачен движением, и пришла мысль о Руси, о ее судьбе...

— Да это-то я понимаю.

— Ну, а что тогда? Лирическое отступление, конец первого тома... Он собирался второй писать. Чичикова он уже оставил — до второго тома...

— В тройке оставил-то, вот что меня... это... и заскребло-то. Как же так, едет мошенник, а... Нет, я понимаю, что тут можно объяснить: движение, скорость, удалая езда... Черт его знает, вообще-то! Ведь и так тоже можно подумать, как я.

— Да подумали уже... чего еще? Можно, конечно. Но это уже будет — за Гоголя. Он-то так не думал.

— Ну, его теперь не спросишь: думал он так или не думал? Да нет, даже не в этом дело, может, не думал. Но вот влетело же мне в голову!

— Надо сказать, что за всю мою педагогическую деятельность, сколько я ни сталкивался с этим отрывком, ни разу вот так вот не подумал. И ни от кого не слышал.— Николай Степаныч улыбнулся.— Вот ведь!.. И так можно, оказывается, понять. Нет, в этом, пожалуй, ничего странного нет... Вы сынишке-то сказали об этом?

— Нет. Ну, зачем я буду?..

— Не надо. А то... Не надо.

Роман достал папиросы, угостил учителя. Закурили.

— Чего потеряли-то? — спросил Роман.

— Да потерял одну штукенцию... штатив от фотоаппарата. Хочу закат на цвет попробовать снять... Не закаты, а прямо пожары какие-то. И вот — потерял, забросил куда-то.

— Закаты теперь дивные,— сказал Роман.— А для чего штатив-то?

— А выдержку-то нужно большую давать. На руках же я не смогу.

— А-а, да. Весной почему-то закаты всегда красивые.

— Да.— Учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся.— Чичиков, да?.. Странно, честное слово. Надо же додуматься!

Роман тоже усмехнулся, хотел было опять воскликнуть: "Ну, а кто едет-то?! Кто?" Но не стал. Несерьезно все это, в самом деле. Ребячество какое-то.

— А ведь сами небось учили?

— Учил! Помню прекрасно, как зубрил тоже... А через тридцать лет только дошло.— Роман покачал головой. Пожал руку учителю и пошел домой.

Он — не то что успокоился, а махнул рукой, и даже слегка пристыдил себя: "Делать нечего: бегаю, как дурак, волнуюсь — Чичикова везут или не Чичикова?" И опять — как проклятие навалилось — подумал: "Везут-то Чичикова, какой же вопрос?"

— Тьфу! — Роман бросил окурок и полез опять за пачкой.— Вот наказание-то! Это надо так... забуксовать. Вот же зараза-то еще — прилипла. Надо же!..

ВАНЬКА ТЕПЛЯШИН

Ванька Тепляшин лежал у себя в сельской больнице с язвой двенадцатиперстной кишки. Лежал себе и лежал. А приехал в больницу какой-то человек из районного города, Ваньку вызвал к себе врач, они с тем человеком крутили Ваньку, мяли, давили на живот, хлопали по спине... Поговорили о чем-то между собой и сказали Ваньке:

— Поедешь в городскую больницу?

— Зачем? — не понял Ванька.

— Лежать. Так же лежать, как здесь лежишь. Вот... Сергей Николаевич лечить будет.

Ванька согласился.

В горбольнице его устроили хорошо. Его там стали называть "тематический больной" .

— А где тематический больной-то? — спрашивала сестра.

— Курит, наверно, в уборной,— отвечали соседи Ванькины.— Где же еще.

— Опять курит? Что с ним делать, с этим тематическим...

Ваньке что-то не очень нравилось в горбольнице. Все рассказал соседям по палате, что с ним случилось в жизни: как у него в прошлом году шоферские права хотели отнять, как один раз тонул с машиной...

— Лед впереди уже о так от горбатится — горкой... Я открыл дверцу, придавил газку. Вдруг — вниз поехал...— Ванька, когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескакивает с одного на другое.— Ну, поехал!.. Натурально, как с горки! Вода — хлобысь мне в ветровое стекло! А дверку льдиной шваркнуло и заклинило. И я, натурально, иду ко дну, а дверку не могу открыть. А сам уже плаваю в кабине. Тогда я другую нашарил, вылез из кабины-то и начинаю осматриваться...

— Ты прямо, как это... как в баню попал: "вылез, начинаю осматриваться". Меньше ври-то.

Ванька на своей кровати выпучил честные глаза.

— Я вру?! — некоторое время он даже слов больше не находил.— Хот... Да ты что? Как же я врать стану! Хот...

И верно, посмотришь на Ваньку — и понятно станет, что он, пожалуй, и врать-то не умеет. Это ведь тоже — уметь надо.

— Ну, ну? Дальше, Вань. Не обращай внимания.

— Я, значит, смотрю вверх — вижу: дыра такая голубая, это куда я провалился... Я туда погреб.

— Да сколько ж ты под водой-то был?

— А я откуда знаю? Небось недолго, это я рассказываю долго. Да еще перебивают...

— Ну, ну?

— Ну, вылез... Ко мне уже бегут. Завели в первую избу...

— Сразу — водки?

— Одеколоном сперва оттерли... Я целую неделю потом "красной гвоздикой" вонял. Потом уж за водкой сбегали.

...Ванька и не заметил, как наладился тосковать. Стоял часами у окна, смотрел, как живет чужая его уму и сердцу улица. Странно живет: шумит, кричит, а никто друг друга не слышит. Все торопятся, но оттого, что сверху все люди одинаковы, кажется, что они никуда не убегают: какой-то загадочный бег на месте. И Ванька скоро привык скользить взглядом по улице — по людям, по машинам... Еще пройдет, надламываясь в талии, какая-нибудь фифочка в короткой

юбке, Ванька проводит ее взглядом. А так — все одинаково. К Ваньке подступила тоска. Он чувствовал себя одиноко.

И каково же было его удивление, радость, когда он в этом мире внизу вдруг увидел свою мать... Пробирается через улицу, оглядывается — боится. Ах, родная ты, родная! Вот догадалась-то.

— Мама идет! — закричал он всем в палате радостно.

Так это было неожиданно, так она вольно вскрикнула, радость человеческая, что все засмеялись.

— Где, Ваня?

— Да вон! Вон, с сумкой-то! — Ванька свесился с подоконника и закричал: — Ма-ам!

— Ты иди встреть ее внизу,— сказали Ваньке.— А то ее еще не пропустят: сегодня не приемный день-то.

— Да пустят! Скажет — из деревни...— Гадать стали.

— Пустят! Если этот стоит, худой такой с красными глазами, этот сроду не пустит.

Ванька побежал вниз.

А мать уже стояла возле этого худого с красными глазами, просила его. Красноглазый даже и не слушал ее.

— Это ко мне! — издали еще сказал Ванька.— Это моя мать.

— В среду, субботу, воскресенье,— деревянно прокуковал красноглазый.

Мать тоже обрадовалась, увидев Ваньку, даже и пошла было навстречу ему, но этот красноглазый придержал ее.

— Назад.

— Да ко мне она! — закричал Ванька.— Ты что?!

— В среду, субботу, воскресенье,— опять трижды отстукал этот... вахтер, что ли, как их там называют.

— Да не знала я,— взмолилась мать,— из деревни я... Не знала я, товарищ. Мне вот посидеть с им где-нибудь, маленько хоть...

Ваньку впервые поразило,— он обратил внимание,— какой у матери сразу сделался жалкий голос, даже какой-то заученно-жалкий, привычно-жалкий, и как она сразу перескочила на этот голос... И Ваньке стало стыдно, что мать так униженно просит. Он велел ей молчать:

— Помолчи, мам.

— Да я вот объясняю товарищу... Чего же?

— Помолчи! — опять велел Ванька.— Товарищ,— вежливо и с достоинством обратился он к вахтеру, но вахтер даже не посмотрел в его сторону.— Товарищ! — повысил голос Ванька.— Я к вам обращаюсь!

— Вань,— предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того ни с сего может соскочить с зарубки.

Красноглазый все безучастно смотрел в сторону, словно никого рядом не было и его не просили сзади и спереди.

— Пойдем вон там посидим,— изо всех сил спокойно сказал Ванька матери и показал на скамеечку за вахтером. И пошел мимо него.

— Наз-зад,— как-то даже брезгливо сказал тот. И хотел развернуть Ваньку за рукав.

Ванька точно ждал этого. Только красноглазый коснулся его, Ванька движением руки вверх резко отстранил руку вахтера и, бледнея уже, но еще спокойно, сказал матери:

— Вот сюда вот, на эту вот скамеечку.

Но и дальше тоже ждал Ванька — ждал, что красноглазый схватит его сзади. И красноглазый схватил. За воротник Ванькиной полосатой пижамы. И больно дернул. Ванька поймал его руку и так сдавил, что красноглазый рот скривил.

— Еще раз замечу, что ты свои руки будешь распускать...— заговорил Ванька ему в лицо негромко, не сразу находя веские слова,— я тебе... я буду иметь с вами очень серьезный разговор.

— Вань,— чуть не со слезами взмолилась мать.— Господи, господи...

— Садись,— велел Ванька чуть осевшим голосом.— Садись вот сюда. Рассказывай, как там?..

Красноглазый на какое-то короткое время оторопел, потом пришел в движение и подал громкий голос тревоги.

— Стигнеев! Лизавета Сергеевна!..— закричал он.— Ко мне! Тут произвол!..— И он, растопырив руки, как если бы надо было ловить буйно помешанного, пошел на Ваньку. Но Ванька сидел на месте, только весь напружинился и смотрел снизу на красноглазого. И взгляд этот остановил красноглазого. Он оглянулся и опять закричал: — Стигнеев!

Из боковой комнаты, из двери выскочил квадратный Евстигнеев в белом халате, с булочкой в руке.

— А? — спросил он, не понимая, где тут произвол, какой произвол.

— Ко мне! — закричал красноглазый. И, растопырив руки, стал падать на Ваньку.

Ванька принял его... Вахтер отлетел назад. Но тут уже и Евстигнеев увидел "произвол" и бросился на Ваньку.

...Ваньку им не удалось сцапать... Он не убегал, но не давал себя схватить, хоть этот Евстигнеев был мужик крепкий и старались они с красноглазым во всю силу, а Ванька

еще стерегся, чтоб поменьше летели стулья и тумбочки. Но все равно, тумбочка вахтерская полетела, и с нее полетел графин и раскололся. Крик, шум поднялся... Набежало белых халатов. Прибежал Сергей Николаевич, врач Ванькин... Красноглазого и Евстигнеева еле-еле уняли. Ваньку повели наверх. Сергей Николаевич повел. Он очень расстроился.

— Ну как же так, Иван?..

Ванька, напротив, очень даже успокоился. Он понял, что сейчас он поедет домой. Он даже наказал матери, чтоб она подождала его.

— На кой черт ты связался-то с ним? — никак не мог понять молодой Сергей Николаевич. Ванька очень уважал этого доктора.

— Он мать не пустил.

— Да сказал бы мне, я бы все сделал! Иди в палату, я ее приведу.

— Не надо, мы счас домой поедем.

— Как домой? Ты что?

Но Ванька проявил непонятную ему самому непреклонность. Он потому и успокоился-то, что собрался домой. Сергей Николаевич стал его уговаривать в своем кабинетике... Сказал даже так:

— Пусть твоя мама поживет пока у меня. Дня три. Сколько хочет! У меня есть где пожить. Мы же не довели дело до конца. Понимаешь? Ты просто меня подводишь. Не обращай внимания на этих дураков! Что с ними сделаешь? А мама будет приходить к тебе...

— Нет,— сказал Ванька. Ему вспомнилось, как мать униженно просила этого красноглазого...— Нет. Что вы!

— Но я же не выпишу тебя!

— Я из окна выпрыгну... В пижаме убегу ночью.

— Ну-у,— огорченно сказал Сергей Николаевич.— Зря ты.

— Ничего.— Ваньке было даже весело. Немного только жаль, что доктора... жалко, что он огорчился.— А вы найдете кого-нибудь еще с язвой... У окна-то лежит, рыжий-то, у него же тоже язва.

— Не в этом дело. Зря ты, Иван.

— Нет.— Ваньке становилось все легче и легче.— Не обижайтесь на меня.

— Ну, что ж...— Сергей Николаевич все же очень расстроился.— Так держать тебя тоже бесполезно. Может, подумаешь?.. Успокоишься...

— Нет. Решено.

Ванька помчался в палату — собрать кой-какие свои вещички. В палате его стали наперебой ругать:

— Дурак! Ты бы пошел...

— Ведь тебя бы вылечили здесь, Сергей Николаевич довел бы тебя до конца.

Они не понимали, эти люди, что скоро они с матерью сядут в автобус и через какой-нибудь час Ванька будет дома. Они этого как-то не могли понять.

— Из-за какого-то дурака ты себе здоровье не хочешь поправить. Эх ты!

— Надо человеком быть,— с каким-то мстительным покоем, даже, пожалуй, торжественно сказал Ванька — Ясно?

— Ясно, ясно... Зря порешь горячку-то, зря...

— Ты бы полтинник сунул ему, этому красноглазому, и все было бы в порядке. Чего ты?

Ванька весело со всеми попрощался, пожелал всем здоровья и с легкой душой поскакал вниз.

Надо было еще взять внизу свою одежду. А одежду выдавал как раз этот Евстигнеев. Он совсем не зло посмотрел на Ваньку и с сожалением даже сказал:

— Выгнали? Ну вот...

А когда выдавал одежду, склонился к Ваньке и сказал негромко, с запоздалым укором:

— Ты бы ему копеек пятьдесят дал, и все — никакого шуму не было бы. Молодежь, молодежь... Неужели трудно догадаться?

— Надо человеком быть, а не сшибать полтинники,— опять важно сказал Ванька. Но здесь, в подвале, среди множества вешалок, в нафталиновом душном облаке, слова эти не вышли торжественными; Евстигнеев не обратил на них внимания.

— Ботинки эти? Твои?

— Мои.

— Не долечился и едешь...

— Дома долечусь.

— До-ома! Дома долечисся...

— Будь здоров, Иван Петров! — сказал Ванька.

— Сам будь здоров. Попросил бы врача-то... может, оставют. Зря связался с этим дураком-то.

Ванька не стал ничего объяснять Евстигнееву, а поспешил к матери, которая небось сидит возле красноглазого и плачет.

И так и было: мать сидела на скамеечке за вахтером и вытирала полушалком слезы. Красноглазый стоял возле своей тумбочки, смотрел в коридор — на прострел. Стоял прямо, как палка. У Ваньки даже сердце заколотилось от волнения, когда он увидел его. Он даже шаг замедлил — хотел напоследок что-нибудь сказать ему. Покрепче. Но никак не находил нужное.

— Будь здоров! — сказал Ванька.— Загогулина.

Красноглазый моргнул от неожиданности, но головы не повернул — все смотрел вдоль своей вахты.

Ванька взял материну сумку, и они пошли вон из хваленой-прехваленой горбольницы, где, по слухам, чуть ли не рак вылечивают.

— Не плачь,— сказал Ванька матери.— Чего ты?

— Нигде ты, сынок, как-то не можешь закрепиться,— сказала мать свою горькую думу.— Из ФЗУ тада тоже...

— Да ладно!.. Вались они со своими ФЗУ. Еще тебе одно скажу: не проси так никого, как давеча этого красношарого просила. Никогда никого не проси. Ясно?

— Много так сделаешь — не просить-то!

— Ну... и так тоже нельзя. Слушать стыдно.

— Стыдно ему!.. Мне вон счас гумажки собирать на пенсию — побегай-ка за имя, да не попроси... Много соберешь?

— Ладно, ладно...— Мать никогда не переговорить.— Как там, дома-то?

— Ничо. У себя-то будешь долеживать?

— Та-а... не знаю,— сказал Ванька.— Мне уже лучше.

Через некоторое время они сели у вокзала в автобус и поехали домой.

ГЕНА ПРОЙДИСВЕТ

Последнее время волосатый Генка работал массовиком-затейником в горном санатории. Отдыхающие удивлялись на него. Удивляли Генкины песни и шалопайство. Песни он сам сочинял и сам исполнял под гитару. Шалопайство... Вообще, это не шалопайство у Генки, а полная его — демонстративная — свобода, раскованность. Будучи этак раскованным, он и шарахался по жизни, как по загону, сшибал столбики, ранился и злился.

Кто-то когда-то сказал Генке, что он самобытный композитор. Генка уверовал в это, и когда его песни не нравились, он мучился и в отчаянии мог выкинуть какую-нибудь шальную глупость.

Приехал в санаторий какой-то поэт; Генка, волнуясь, спел ему несколько песен. Поэт удивился.

— Ну и что? — спросил он.— О чем эти песни? Что вы хотите сказать ими?

Генка выпил в буфете стакан водки и вышел к бассейну, где в это время было много отдыхающих. И громко объявил:

— Вы!.. Сейчас то же самое, но в оригинальном исполнении.

Пошел к вышке, откуда желающие смельчаки прыгают в бассейн. Остервенело заколотил по струнам и запел:

Вот так номер,
Вот так так —
Это не по правилам:
Были,
Были,—
Напылили,
А потом — пр-ропали!..

Не то это у него марш, не то подзаборный жиганистый выверт — не поймешь сразу. Взошел Генка на вышку, стал на самый край доски и продолжал:

Я же помню этот бег —
Небо содрогалось,
Ваши гривы об зарю
Красную
Трепались.

"Сбацал" на краешке доски — пощелкал каблучками-носочками — и еще раз:

Ох, ваши гривы об зарю
Красную трепались!

Все с интересом смотрели на массовика-затейника. А он кричал с вышки и бил гитару:

Я же знаю
Мы хотели
Заарканить месяц.
Почему же он теперь,
Сволочь,
Светится?!

И Генка, в чем был, маханул с вышки в воду. Вынырнул, вылил из гитары воду и докричал, лежа на спине и играя:

Значит, снова промахнулись...
Пропади ты пропадом!
Ну-ка, снова,
В три креста!
Кони-лошади!..

Генка откашлялся, отплевался и сообщил:
— "Навязчивый сон" называется!
Генку уволили.

Дома, в своей деревне, Генка появлялся обычно на короткое время — отдышаться, поправить финансовые дела. И тут наваливались на парня всей говорливой родней. Стыдили. Приводили примеры... Учили.

— Я все понимаю,— говорил Генка,— но мы, художники,— люди особого склада. Я бы мог, конечно, освоить профессию, скажем, животновода, но на мне тогда будет смертельный грех. Я людьми занимаюсь.

— Занялся бы тобой бичина хороший — вот было бы то, что требуется. Вот это не грех был бы.

— Тупо, неубедительно.

Пришел как-то дядя Генкин, дядя Гриша. Дядя Гриша недавно поверил в бога и ходил теперь отрешенный, тихий, кротко и снисходительно смотрел на житейские дела. Эта кротость обозлила Генку.

— Ты вроде как даже гордишься, что такой смирный,— сказал он.

— Не горжусь, а суетню всякую понимаю,— смиренно ответствовал новообращенный.— Все суета, Геннадий.

— Ну, это уж вы как-то... совсем просто: "Все суета" — и баста.

— Все суета! — убежденно твердил дядя Гриша.

— Смерть — суета? Любовь — суета?

— Мы здесь — гости. Поживем — и пойдем отчитываться за наши дела. Ты задумайся, Геннадий, задумайся: за все придется отвечать. Безобразно живешь. Вино пьешь неумеренно, куришь, с девками блудишь... А ведь все учитывается! Мы, как киноаппараты: живем, а на кинопленку все снимается, все снимается... Как поступил, как подумал, где проть совести пошел — все снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот — тело твое — хоронют, а пленку берут и проявляют: смотрют, как ты жил... Вот.

— Хм... Ну-ка, еще что-нибудь, интересно. Поверить я, к сожалению, не смогу, но вообще это интересно. Даже технику стали использовать, надо же.

— Поверить вы, знамо, не сможете. Ну!..— Дядя Гриша чего-то вдруг сердито оживился.— Вам же чудо нужно, чудо! Вот пускай небо раскроется, пускай я увижу знамение какое-нибудь — крест огненный,— тогда я поверю! Ах ты господи!..— Где-то, видно, настойчиво требовали этих знамений, и те, кто обращал дядю Гришу к вере, были, наверно, очень недовольны этим тупым требованием, и это недовольство усвоил и дядя Гриша тоже.— А чудо — на каждом шагу! Чудо — вон в огороде: смотри, на одной сотке растет морковь, огурцы, помидоры... Ведь это все — деликатесы, а все — из земли. Ведь все из земли! Ты возьми ее в горсть да посмотри хорошенько — что там? Земля. А ты откуда? Из земли...

— Привет!

— Из земли, и в землю же обратишься. Сказано: ни один волос не упадет с головы... Ты думаешь, если ты — Гена Пройдисвет, то над тобой нет закона божьего? Есть.

— Погоди, ты что-то все в кучу: и землю, и закон... Ты объясни сперва: ну и что, что ты стал такой смирный, кроткий? Что ты хвалишься-то этим? Разве это хорошо?

— Вы есть жуки навозные, вы думаете: вот наша навозная куча — это и весь мир. Воюете, деретесь, злитесь... А не знаете того, что вы все... все люди — под наблюдением.

— Почему же я не знаю, что под наблюдением? У меня — семнадцать выговоров, у меня это наблюдение вот здесь сидит.

— Не про то наблюдение я говорю. Это — ваше наблюдение, вы сами и разбирайтесь. Я говорю про высшее наблюдение, которое...

— Знаешь что? — перебил Генка, глядя в глаза дяде Грише, словно он только что догадался, кто такой этот новообращенный, этот смиренный.— Знаешь, что я тебе

скажу: ни хрена ты не верующий. Понял? Если б ты по-настоящему верил, ты бы молчал об этом. А ты, как сорока на колу,— в разные стороны: "Верю! Верю!" Не веришь, вот так.

Дядя Гриша кротко, смиренно посмеялся.

— Эх, Гена... Гена ты и есть. Дружок анчуткин. Жук навозный. Ты меня хочешь из равновесия вывесть, из покоя? Не выйдет.

— С чего это ты вдруг в бога-то поверил? Шестьдесят лет прожил — не верил, вдруг — на́ тебе...

— Пошел я, иду,— терпеливо сказал дядя Гриша.— Иду с богом. А ты колбаси дальше по дорогам — где-нибудь голову сломишь.

Вопрос этот — с чего дядя Гриша, нормальный мужик, вдруг уверовал в бога,— вопрос этот всерьез заинтересовал Генку, даже встревожил. Отец Генки, умелый печник, хвастун, неутомимый бабник в прошлом, так объяснил братнино обращение в веру:

— Мужик, он ведь как: достиг возраста — и смяк телом. А башка ишо ясная — какие-нибудь вопросы хочет решать. Вот и начинается: один на вино напирает — башку туманит, чтоб она ни в какие вопросы не тыкалась, другой... Миколай вон Алфимов, знаешь ведь его? — историю колхоза стал писать. Кто куда, лишь бы голова не пустовала. А Григорий наш, вишь, в бога ударился. Пускай, он никому вреда не приносит. С чего началось-то? А у нас же тут верующие-то есть, много. Старухи-то. Он стал к им похаживать от нечего делать, а те его сагитировали. Ты не досажай ему с этим, а то он сердится. Не надо. Они безобидные люди.

Жена дяди Гриши померла лет семь назад, а жил он со средней дочерью, тридцатилетней Анной. Анна, рослая, скуластая, добрая, любила играть на гармошке. Играла, а играть толком не умела — тянула туда-сюда, слушала и о чем-то думала. Анна так сказала:

— Не лезь, Генка, к отцу! Понял?

— Чего замуж-то не выходишь? — поинтересовался Генка.

— За кого?

— Нашла бы какого-нибудь...

— Какого-нибудь мне не надо, одна проживу.

— Это же ненормально...

— Ничего. Нормально.

— Похаживает кто-нибудь ночами? Да?

— Не твое дело.

— Какие ведь все уверенные, все-то они знают! — обозлился Генка.— Все понимают. А спросишь — ответить толком не умеют. Не знаете, так хоть не делайте вид, что знаете. Чего ради человек на седьмом десятке в религию кинулся? Это же не просто так. Значит, было какое-то потрясение душевное. Или — опять ложь. Притворство.

— Зачем ему притворяться-то?

— А вот это я узнаю, не я буду, если не узнаю.

— А ты чего такой нервный-то? А, Ген?..— спросила добрая Нюра. — У тебя же все хорошо, ты говоришь. Ты — вольная птица, чего тебе?

Генка показал, что ему скучно разговаривать с Нюрой, ушел.

Но он не оставил мысли про дядю Гришу, нет. Мысль эта больше и больше занимала его. Он и правда чего-то нервничал. Он чуял какой-то подвох с этой верой дяди Гриши, и это не давало покоя. Память Генки держала вовсе другое про дядю Гришу: когда тот пришел с войны, то много пил, гулял, хвастался орденами... Играл на гармошке и пел про немцев похабные частушки. Вообще, уж никак не монах он по склонности души, не монах. Монахи, насколько понимал Генка, жизнь не любят, а дядя Гриша валялся в ней, как сытый жеребец в спелом овсе. У него и теперь, у кроткого, кулак-то — гиря пудовая: звезданет, неделю хворать будешь. И что, правда, такой уверовал в бога? Разве так можно? Верующая душа, по мнению Генки,— это такая душа, которая обязательно живет в хилом теле, кроме того, человек верующий должен быть немного глуп. И жить просто и одиноко. А дядя Гриша еще и хитрый... Как же это совместить?

И вот один раз под вечерок Генка пошел к дяде Грише. Прихватил бутылку водки, гитару...

— Здорово, дядь Гриша!

— Здорово.— Дядя Гриша прищурил наметанный глаз на оттопыренный карман Генкиных брюк, не сказал.

— Зашел поговорить.

— Ладно.

— А Нюраха... в кино небось учесала? Вот дьявольская выдумка-то еще? А? Ты теперь не ходишь?

— Нет.

— А чего ты такой мрачный?

— А ты чего такой... развеселый?

— Настрой хороший. Давай выпьем.

Дядя Гриша внутренне подсобрался, шевельнул желваками, насмешливо посмотрел на Генку... А потом — как-то вовсе беспомощно — на календарик под часами в углу: с календарика беззаботно пялилась красная цифирка — воскресенье. Дядя Гриша искал защиты и спасения хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь. Искуситель Генка невольно улыбнулся.

— Давай. Сегодня можно. Ты не думай, дядь Гриша, я ведь не нахал... не подонок. Я религию уважаю, но... Где у вас тут стаканы-то?

— В шкапчике. Чего запнулся-то? Уважаешь, но?.. Договаривай.

— Сейчас, сейчас...— Генка добыл пару стаканов, поставил на стол.— Достань закусить чего-нибудь. Не будем торопиться, будем обстоятельно ковырять души. Достань солонинки.

Дядя Гриша поднялся, грузный, открыл крышку в подпол.

— Нырни, там в кадушке капуста и огурцы.

Генка взял из шкафчика тарелку, обтер ее полотенцем... Глянул весело на дядю Гришу и полез в подполье. Он заметил, что суетится и волнуется: это бывало с ним, когда предстояло петь свои песни или когда он хотел понравиться какой-нибудь бабе, что, впрочем, тоже обозначало — петь. Он даже усмехнулся там, в темноте, подумал: "Чего это я?"

Генка положил в тарелку огурцов, капусты... Подал наверх дяде Грише. Выскочил, закрыл подпол, отряхнул брюки, опять весело и значительно глянул на дядю Гришу. Ему и впрямь было весело, и он правда волновался.

Налили по полстакашка.

— Я, когда был в институте,— вспомнил Генка и стал рассказывать, поглаживая стакан и улыбаясь,— мы после первого курса поехали на практику... не на практику, а так — подработать, жизнь повидать: в тайгу, с геологической партией.

— Ты чего институт-то бросил? — спросил дядя Гриша.

— Та-а... сложно это. Не сложно, а... Да ну ее к черту, в двух словах не скажешь, а долго объяснять — лень. Не показалось мне, что это ценность великая — диплом. А туда половина только из-за того и лезет — из-за диплома. Я посмотрел-посмотрел — и сделал жест: не хочу, все. Может, глупо.— Генка помолчал, заметно посерьезнел. Тряхнул волосатой головой.— А может, нет.

— Дурак.

— Может, дурак. Не сбивай меня с настроя. У меня какое-то сегодня...— Генка тоже глянул в угол на календарик.— Тоже сегодня какое-то красненькое настроение.— Он засмеялся, погладил бороду.— Слушай. Шли по тайге, я как-то отбился в сторону от всех, отстал маленько, побежал догонять и оступился, ногу потянул. Не могу идти. Сел — сижу. Даже весело стало. Думаю: вернутся искать или нет? Шумихи же много про всякое это братство-товарищество. Вернутся, думаю, или нет? Посидел так с полчаса, слышу, вернулись — кричат. У меня ружье, мог выстрелить — услышали бы. Да и крикнуть, тоже услышали бы. Нет, сижу! — Генка сверкнул азартным глазом.— Бросят, думаю, искать или все же найдут? Вот же гадская натура! Вечно надо до края дойти, так уж понять чего-нибудь, где и понять-то... может, нельзя. Вот бросят, думаю, искать или будут искать? В общежитии же все вылупались про таежную романтику, про... Ну-ка, фраера,— это же не песенку спеть под гитару, это ж — человека найти! А уже солнышко садится, а до лагеря еще далеко-о. А? — Генка оскалился недобрым оскалом, уставился на дядю Гришу светлыми, немного безумными глазами.— Как вы насчет того, чтоб заночевать тут из-за одного дурака? Под открытым небушком, может, под дождем... А там, в зимовье, нары, одеяла, костер, спиртяга, две институтские обаяшки, которые прямо млеют от самодельных лыцарей, а? Вот задача-то? Ну-ка!..

— Нашли? — нетерпеливо и недовольно перебил дядя Гриша.

Генка, тоже недовольный, что сбили с подъема, неохотно досказал:

— Нашли. Хотели отметелить, но у меня ружье было — не получилось.

— Надо было... Чтобы зря не пугал людей.

— Да они не испугались! Это тоже пижонство: чтоб потом про них говорили, что они — мужики. Они молокососы. Все почти. Ну, давай.

Выпили, похрустели капустой.

— Не уважают тебя, Генка,— сказал дядя Гриша. Не то сказал, не то спросил, не то подумал.— Тебе ведь уж тридцать с лишним, пора это... к делу какому-то прирастать.

Генка взял гитару, попробовал что-то такое подобрать, раздумал, кинул ее на кровать, к подушкам, закурил. Настрой его, веселый и едкий, скособочился.

— Меня не уважают, да,— сказал он.— А что, обязательно, чтоб уважали? Ты из-за этого в бога поверил? — спросил.

И сам ответил: — Из-за этого. Я тебя, кажется, понял. Между прочим, я бы тоже что-нибудь такое... придумал себе, но мне безразлично чужое мнение, вот моя слабина. Я в этом смысле какой-то нерусский, выродок какой-то. Но тебя я понимаю. Объясняю, что с тобой происходит: ты зачуял смерть и забеспокоился — тебе неохота просто так уходить, тебе надо, чтоб о тебе потом говорили: он же верующий был! Так?

— Дурак,— просто сказал дядя Гриша. Подумал и еще сказал: — Волосатик.

— Ты заметил,— оживился Генка,— что за то короткое время, пока мы беседуем, ты раз пять уже сказал слово "дурак"?

— Ты для чего пришел сюда?

— Понять, почему ты... Разоблачить тебя. Я не верю, что ты правда поверил в бога. Слушай, да кто же так в бога верит — повесил икону и заявил всем: я верующий! Ты что? Это же богохульство! Ты же ничего про бога не знаешь. Я больше тебя знаю...

— Сказал? — дядя Гриша угрожающе нагнул голову.— А теперь...

— Стоп! — воскликнул Генка.— Не надо. Не надо... Давай мирно беседовать, у нас же водки полно. Не надо наклонять голову.— Генка умоляюще прижал руки к груди.— Я не нарочно, я не... это... Я поторопился, не заинтриговал тебя своими познаниями про бога. Слушай!

Генка торопливо налил в стаканы. Дядя Гриша подозрительно следил за ним.

— Давай, дядя Гриша, духобор ты мой показушный. У нас с тобой близкие натуры, но у меня совсем нет честолюбия, хоть я и поэт. Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое, чтоб... Вот чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я бы посреди всех спокойно шел, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не боялся, а только бы посмеивался. Но я не знаю, что такое надо знать? А? На бога меня не хватит. То есть, это как-то неконкретно... Выпили! Счас решим.

Дядя Гриша, все еще не веря, что Генка не просто дурачится, опасливо отпил только половину налитого, чтоб потом, при худом исходе этой беседушки, не было разговоров, что они вместе сидели тут и пили водку.

— Ты хоть не в секте какой-нибудь? — спросил Генка, стараясь, чтоб тон его был как можно более дружелюбный.— А то по ошибке, может, затесался куда-нибудь... Нет? Хри-

свое же везде — Христос, бог, но по-разному понимают, как в него верить. Ты православной веры-то? Или ты не знаешь?

Дядя Гриша собрал на скатерти пальцы в кулак и потянул к себе...

— Ишо, поганец такой, выговоришь эти слова, я тебя за столом прямо пристукну.— Это было серьезно. Это было, пожалуй, страшно: лицо дяди Гриши, обветренное, посерело, и щетина на щеках стала совсем белой.— Твоими устами дерьмо жрать, а ты такие слова...

Генка испугался, но еще больше оскорбился, и злость тоже взяла. Он теперь отчетливо знал: правда его, а ложь, лохматая, бессовестная, поднялась и рычит. И вот — бывали мгновения, когда Генка с радостным изумлением убеждался, что плохо знает себя (он про себя думал, что безнадежно трусоват),— вот он, проглотив испуг, спокойно, смело посмотрел в глаза крайне обозленного человека. Посмотрел и крепко и насмешливо сказал:

— Раб божий... да ты прямо как с цепи сорвался. Чего ты? Господь с тобой, батюшка, опомнись. Что я такого сказал? Сказал, что бывают случаи, когда баптисты, например, сбивают с толку... У них — тоже Христос.— И слова Генкины наливались покоем, силой. Он чувствовал, как он убедителен и правдив. И смелел больше, и пошел добирать всю правду, до дна.— Но ведь нет же ни баптизма, ни нормального христианства — это же ложь, у тебя-то. Ложь! Дядя Гриша, милый, ну зачем же ложь-то? Ведь ты же мужик, крестьянин, труженик, ну зачем же ложь-то? — Генка почувствовал, что к глазам его подступают слезы. Но это не остановило его, а даже как-то придало силы и совсем расковало на желанную, злую правду, на святую правду, на большую правду. Даже дядя Гриша оторопел и слушал. Редкостное вырывалось из груди Генкиной — нечто дорогое, свободное, наболевшее.— Как же жить-то, люди?! — Генка скривился, заплакал... Но он не злился на слезы, они только мешали ему, он их торопливо смахивал ладошкой.— Как же нам жить-то?! Когда — раз, и соврал, ничего не стоит! А? — Генка встал, потому что сидеть стало тесно, душно.— Ты меня упрекаешь... все упрекают: зачем институт бросил? Не хочу врать! Раз я не чувствую, что мне это позарез нужно, что же я буду притворяться-то? Мне без диплома тоже интересно жить. Но почему же... Эх! Взял, выдумал: верю. В кого? Заче-ем? Всю жизнь под конец опозорил враньем... Да зачем тебе это надо-то? Убей, не пойму: зачем? И почему... Да взял вон топор в руки — и под Быстрянский мост: грабить.

Лучше ведь. Безгрешнее. Ты в бога поверил, говоришь... А что ты с ним сделал! В горшок его глиняный превратил — щей сварить. Ни себя не пощадил, ни... Вот сидишь, хлопаешь глазами — как про тебя думать? Как про всех про нас думать? Врать умеем. Легко умеем врать. Я уже уважать тебя не могу, понимаешь? Ува-жать. Не могу — с души воротит. А вся твоя жизнь достойна уважения, а... Тьфу! Да кого же мне тогда уважать-то?! — Генка устал. Обессилел. Сел.— Взять и под занавес все испортить. "Мы — под наблюдением", "каждый наш поступок..." Ведь ты же совсем не думаешь про это про все, ты же чужие слова молотишь. Я же думал, ты не способен на ложь — вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример... Ведь так же все рухнуть может! Все — в подпол вон, одна капуста и останется. На закусь. Выпьем, раб божий.— Генка налил в стаканы, качнул устало головой.— И ведь нашел же в душе такую способность! Наше-ел. Все думают, ее там нет, а она есть. Раз — и вот она: хоть стой, хоть падай.

Генка поднес стакан ко рту, и вмиг он у него вырвался из рук. Он даже сперва не понял — что это? Стакан рванулся и полетел вверх...

— Хватит лакать,— сказал дядя Гриша сдавленным злым голосом.— Распился тут.

Генка хотел встать, но дядя Гриша загреб ногой его стул, и Генка упал. И тотчас на него упал дядя Гриша, захватил его волосы и стал стукать головой об пол.

— Вот так ее...— приговаривал он.— Умную-то головушку. Вот так, вот так...

Генка упруго изогнулся под дядиной тушей, подпустил ему под брюхо ноги и двинул что было силы. Дядя взмахнул руками и грянулся затылком об стол. Стол упал, со стола с веселым разговором полетели стаканы, бутылка, тарелка... Генка понимал, что упускать инициативу нельзя, иначе массивный дядя подомнет его и расколотит всю голову. Он, впрочем, не очень и думал. Азарт схватки враз опалил его, подчинил своим законам: он действовал, как всякий нормальный боец,— вроде не соображая, но очень рассудочно и точно. Раза два угодил дяде кулаком в лоб, чтоб тот не сумел подняться, а когда дядя все же набычился и начал вставать, Генка ногой опять свалил его. Злости не было, было сознание опасности, что дядя Гриша поднимется и сгоряча схватит

что-нибудь в руки, какой-нибудь предмет. И ломанет. Поэтому никак нельзя было дать ему подняться.

Так они напрягались: один хотел встать, другой не давал.

...Когда пришла Нюра, бой был в разгаре, и на полу валялось все, что могло упасть... А посередке молча возились дядя с племянником. Рубахи у обоих изодраны, кровь видна... Нюра насилу отодрала их друг от друга. Генке залепила пару оплеух, оттолкнула в угол, отца усадила на кровать.

— Поганец,— тяжело дыша, сказал дядя Гриша, вытирая драным рукавом рубахи кровь с губы.— Будет тут... слова разные потреблять... Разинул рот-то. Шшенок.

— Горько, горько,— говорил Генка, сплевывая сукровицу.— Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А этот... деляга, притворяться пошел. Фраер. Душу пошел насиловать... уважения захотел... Врать начал! Если я паясничаю на дорогах,— Генка постучал себе с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами,— то я знаю, что за мной — Русь: я не пропаду, я еще буду человеком. Мне есть к кому прийти! — Генка закричал, как на базаре, как на жадную, бессовестную торговку закричал, когда вокруг уже собрались люди и уже все равно и не стыдно кричать.— Мы же так опрокинемся!..

— Я те опрокинусь,— гудел негромко с дрожью в голосе дядя Гриша, все вытирая окровавленный рот.— Я тя самого опрокину — башкой лохматой в помойное ведро вон. Шшенок.

Нюра налила в рукомойник воды, подвела сперва отца, вымыла ему лицо, приговаривая в том духе, что — бесстыдники, как дети малые, честное слово... Сцепи-и-лись. Чего не поделили?

— Россию! — высокопарно заявил Генка.

— Я вот те счас покажу Россию! — повысила голос и Нюра.— Трепач... На старика-то — с кулаками? Э-эх! А говоришь, книжки умные читаешь. Где же это написано, чтоб... Я вот не погляжу счас, что я баба, надаю по загривку-то, будешь знать.

— От тебя приму. Ты духовно чистый человек... Ты не врешь.

— А я што тебе?! — пошел дядя Гриша к Генке с мокрым лицом, но Нюра легко развернула его и сунула опять под рукомойник.

Потом дядя Гриша вытирался, а Генка мылся до пояса над шайкой, Нюра поливала ему из ковша. Потом она дала им свежие рубахи из сундука и из сундука же достала бутылку перцовки.

— От простуды берегла... но уж нате. И не коситесь друг на друга. Вот же глупые-то! Сказать кому, не поверят. Сцепились. Ты, Геночка, не зачитался случаем? Шибко уж языкастый да кулакастый стал. Смотри, а то, бывает, до дури зачитываются — с ума сходят. Давайте, и я с вами пригублю маленько. Миритесь.

Выпили втроем огневой славной перцовки... Посидели молча. Отошли.

— Спеть? — спросил Генка.

— Спой,— согласилась Нюра.— Только понятную какую-нибудь. А то у вас нынче не поймешь ни черта. Что за люди пошли! Живут непонятно, поют — и то непонятно.

— Сказано,— заговорил дядя Гриша, но заговорил как-то сипло, тонко. Прокашлялся.— Сказано: придет владыка мира... Сперва их четверо придут, потом один троих подомнет под себя и станет единовластно владычить. Это и будет — антихрист шестьсот шестьдесят шесть, три шестерки. И будет он владычить три с половиной года, но законы его будут действовать только три года. Но перед тем как он придет, он разошлет по свету своих агентов: они все тут перепутают. Вот Геночка наш преподобный и есть тот самый агент.

Генка начал было слушать про антихриста 666, но бросил и склонился к гитаре.

— Бледно,— сказал он.— Могли бы поярче что-нибудь выдумать. А потому бледно, что нет истинной веры. Поэтому и примитив такой. Итак, понятную! — объявил он. И запел:

То, ох, не ве-етер ветку кло-онит,
Не, ох, не дубра-авушка-а шуми-ит...

Бросил, задумался, посасывая разбитую губу.

— Чего ж бросил-то? Хорошо ведь начал,— сказала Нюра.

— А возможно, что это не притворство у вас,— заговорил Генка из своих дум. И посмотрел на дядю Гришу.— Возможно, что тут налицо элементарная самодеятельность.— Он долго и участливо смотрел на дядю. Тот тоже глянул на него и обиженно отвернулся, поморщился даже от Генкиного словоблудия.

— Пой-ка лучше, правда.

Но Генка петь больше не стал, сидел, облокотившись на гитару, смотрел в окно.

— Корова-то!.. Матушка ты моя, давно уже ворота поддест, стоит! — спохватилась Нюра, увидев корову у ворот. И побежала впустить ее.

Генка и дядя Гриша безучастно следили, как она пробежала по двору, открыла ворота и впустила большую комолую корову. И шла с ней по двору и что-то ей говорила.

— Корова,— задумчиво сказал Генка. Непонятно, к чему он это сказал.

Дядя Гриша все смотрел, как Нюра сняла с колышка выжаренный знойным июльским солнышком подойник, ловким коротким движением подобрала край юбки у сгиба колен сзади, села доить. В дно подойника звонко ударили первые, невидимые отсюда струйки молока. И Генка мысленно, как въявь, увидел, как бьют в дно теплые стремительные стрелки, как пузырится на дне, а новые струйки попадают в пузырьки, они лопаются, и белые капельки-брызги летят невысоко и обильно и стекают по бокам ведра тонюсенькими ручейками. И скоро там все вспенится, и струйки уже не будут звенеть, а будут втыкаться в белую шапку с мягким, ласковым, сдобным каким-то звуком. Сильная Нюра чуть покачивалась сидя — вправо-влево, вправо-влево — в такт, как двигались руки, и под белой кофточкой с цветочками шевелились ее широкие лопатки.

— Корова...— еще раз в раздумье сказал Генка.— Этой ночью напишу стихи. Если не затуманю голову. Давай по маленькой?

— Хватит,— сказал дядя Гриша.— Не хочу больше.

— Ну и я не буду,— решил Генка и отодвинул перцовку подальше от себя.— Лучше стихи напишу. Про корову.

ВЕРСИЯ

Санька Журавлев рассказал диковинную историю. Был он в городе (мотоцикл ездил покупать), зашел там в ресторан покушать. Зашел, снял плащ в гардеробе, направился в зал... А не заметил, что зал отделяет стеклянная стена — пошел на эту стенку. И высадил ее. Она прямо так стоймя и упала перед Санькой и со звоном разлетелась в куски. Ну, сбежались. Санька был совершенно трезв, поэтому милицию вызывать не стали, а повели его к директору ресторана на второй этаж. Человек, который вел его по мягкой лестнице, подсчитал:

— Зарплаты две выложишь. А то и три.

— Я же не нарочно.

— Мало ли что!

Зашли в кабинет директора... И тут-то и начинается диковина, тут сельские люди слушали и переглядывались — не верили. Санька рассказывал так:

— Заходим — сидит молодая женщина. Пышная, глаза маленько навыкате, губки бантиком, при золотых часиках. "Что случилось?" Товарищ этот начинает ей докладывать, что вот, мол, стенку решили... А эта на меня смотрит.— Тут Санька всякий раз хотел показать, как она на него смотрела: делал губы куриной гузкой и выпучивал глаза. И смотрел на всех. Люди смеялись и продолжали не верить.

— Ну, ну?

— Она этому товарищу говорит: "Ну хорошо, говорит, идите. Мы разберемся". А кабинет!.. Ну, ё-мое, наверно, у министров такие: кругом мягкие кресты, диваны, на стенах картины... "Вы откуда?" — спрашивает. Я объяснил. "Так, так,— говорит.— Как же это вы так?" А сама на меня смо-отрит, смо-отрит... До-олго смотрела.

Еще потому не верили земляки Саньке, что смотреть-то на него, да еще, как он уверяет, долго, да еще городской женщине — зачем, господи?! Чего там высматривать-то? Длинный, носатый, весь в морщинах раньше времени... Догадывались, что Саня потому и выдумал эту историю, чтобы хоть так отыграться за то, что деревенские девки его не любили.

— Ну-ну, Саня? Дальше?

Дальше Саня бил в самое дыхало; история начинала звенеть и искриться, как та стенка в ресторане...

— Дальше мы едем с ней в ее трехкомнатную квартиру и гужуемся. Три дня! Я просыпаюсь, от так от шарю возле кровати, нахожу бутылку шампанского — буль-буль-буль!.. Она мне: "Ты бы хоть из фужера, Санек, вон же фужеров полно!" Я говорю: "Имел я в виду эти фужеры!" Гужуемся три дня и три ночи! Как во сне жил. Она на работу вечером сходит, я пока один в квартире. Ванну принимаю, в туалете сижу... Ванна отделана голубым кафелем, туалет — желтым. Все блестит, мебель вся лакированна. Я сперва с осторожностью относился, она заметила, подняла на смех. "Брось ты, говорит, Санек! Надо, чтоб вещи тебе служили, а не ты вещам. Что же, говорит, я все это с собой, что ли, возьму?" Шторы такие зеленые, с листочками... Задернешь — полумрак такой в комнатах. Кто-нибудь спал из вас в спальне из

карельской березы? Мы же фраера! Мы думаем, что спать на панцирной сетке — это мечта жизни. Счас я себе делаю кровать из простой березы... город давно уже перешел на деревянные кровати. Если ты каждый день получаешь гигантский стресс, то выспаться-то ты должен!

— Ну, ну, Сань?

— Так проходят эти три дня. Вечером она привозит на такси курочек, разные заливные... Они мне сигналют, я спускаюсь, беру переносной такой холодильничек, несу... И мы опять гужуемся. Включаем радиолу на малую громкость, попиваем шампанское... Чего только моя левая нога захочет, и то немедленно получаю. Один раз я говорю: "А вот я видел в кино: наливает человек немного виски в стакан, потом туда из сифончика... Ты можешь так?" — "Это, говорит, называется виски с содовой. Сифон у меня есть, виски счас привезут". Точно, минут через пятнадцать привезли виски. Они мне кстати не поглянулись. Я пил водку с содовой. От так от нажимаешь куро́чек на сифончике, оттуда как даст в стакан... Прелесть.

— А как со стеклом-то?

— С каким стеклом?

— Ну, разбил-то...

— А-а. А никак. Она меня потом разглядывала всего и удивлялась: "Как ты, говорит, не порезался-то"? А мотоцикл — я ей деньги отдал, мне его прямо к подъезду подкатили...

Вот такая история случилась будто бы с Санькой Журавлевым. Из всего этого несомненной правдой было: Санька в самом деле ездил в город; не было его три дня; мотоцикл привез именно такой, какой хотел и на какой брал деньги; лишних денег у него с собой не было. Это все правда. В остальное односельчане никак не могли поверить. Санька нервничал, злился... Говорил мужикам про такие поганые подробности, каких со зла не выдумаешь. Но считали, что всего этого Санька где-то наслышался.

— Ну, ё-мое! — психовал Санька.— Да где же я эти три дня был-то?! Где?!

— Может, в вытрезвителе.

— Да как я в вытрезвитель-то попаду?! Как? У меня лишнего рубля не было!

— Ну, это... Свинья грязи найдет.

— Иди найди! Иди хоть пятак найди за так-то. На что же бы я жил-то три дня?

Этого не могли объяснить. Но и в пышного директора ресторана и в ее трехкомнатную квартиру — тоже не могли

поверить. Это уж черт знает что такое — таких дур и на свете-то не бывает.

— Дистрофики! — обзывал всех Санька.— Жуки навозные. Что вы понимаете-то? Ну, что вы можете понимать в современной жизни?

Слушал как-то эту историю Егорка Юрлов, мрачноватый, бесстрашный парень, шофер совхозный. Дослушал до конца, усмехнулся ядовито. К нему все повернулись, потому что его мнение — как-то так повелось — уважали. И, надо сказать, он и вправду был парень неглупый.

— Что скажешь, Егорка?

— Версия,— кратко сказал Егорка.

— Какая версия? — не понял Санька.

— Что ты дурачка-то из себя строишь? — прямо спросил Егорка.— Чего ты людей в заблуждение вводишь?

Санька аж побелел... Думали, что они подерутся. Но Санька прищемил обиду зубами. И тоже прямо спросил:

— У тебя машина на ходу?

— Зачем?

— Я спрашиваю: у тебя машина на ходу? — Санька угрожающе придвинулся к Егорке.— Ну?

Егорка подождал, не кинется ли на него Санька; подождал и ответил:

— На ходу.

— Поедем,— приказным голосом сказал Санька.— Надоела мне эта комедия: им рассказываешь, как добрым, а они, стерва, хаханьки строют. Поедем к ней, я покажу тебе, как живут люди в двадцатом веке. Предупреждаю: без моего разрешения никого не лапать и не пить дорогое вино стаканами. Возможно, там соберется общество — может, подруги ее придут. Кто еще хочет ехать, фраера? — Саньку повело на спектакль — он любил иногда "выступить", но при всем том... При всем том он предлагал проверить, правду ли он говорит или врет Это серьезно.

Егорка, не долго думая, сказал:

— Поехали.

— Кто еще хочет? — еще раз спросил Санька.

Никто больше не пожелал ехать. История сама по себе довольно темная, да еще два таких едут... Недолго и того... угореть.

А Санька с Егоркой поехали.

Дорогой еще раз ругнулись. Санька опять начал учить Егорку, чтоб никого не лапал в городе и не пил дорогое вино стаканами.

— А то я ж вас знаю...

— Да пошел ты к такой-то матери! — обозлился Егорка.— Строит из себя, сидит... "Я — ва-ас..." Кого это "вас"-то? А ты-то кто такой?

— Я тебя учу, как лучше ориентироваться в новой обстановке, понял?

— Научи лучше себя — как не трепаться. Не врать. А то звону наделал... Счас, если приедем и там никакой трехкомнатной квартиры не окажется,— Егорка постучал пальцем по рулю,— обратно пойдешь пешком.

— Ладно. Но если все будет, как я говорил, я те... Ты принародно, в клубе, скажешь, со сцены: "Товарищи, зря мы не верили Саньке Журавлеву — он не врал". Идет?

— Едет,— буркнул мрачный Егорка.

— Черти! — в сердцах сказал Санька.— Сами живут... как при царе Горохе, и других не пускают.

Приехали в город засветло.

"Направо", "Налево", "Прямо!" — командовал Санька. Он весь подсобрался, в глазах появилась решимость; он слегка трусил. Егорка искоса взглядывал на него, послушно поворачивал "влево", "вправо"... Он видел, что Санька вибрирует, но помалкивал. У него у самого сердце раза два сжалось в недобром предчувствии.

— Узнаю ресторан "Колос",— торжественно сказал Санька.— Тут, по-моему, опять налево. Да, иди налево.

— Адрес-то не знаешь, что ли?

— Адресов я никогда не помнил — на глаз лучше всего.

Еще покрутились меж высоких спичечных коробков, поставленных стоймя... И подъехали к одному, и остановились.

— Вот он, подъездик,— негромко сказал Санька.— Голубенький, с козырьком.

Посидели немного в кабине.

— Ну? — спросил Егорка.

— Счас... Она, наверно, на работе,— неуверенно сказал Санька.— Сколько счас?

— Без двадцати девять.

— У нее самый разгар работы...

— Ну-у... начинается. Уже очко работает?

— Пошли!— скомандовал Санька.— Пошли, теленочек, пошли. Если дома нет, поедем в ресторан.

Поднялись на четвертый этаж пешком...

— Так,— сказал Санька. Он волновался.— Следи за мной: как я, так и ты, но малость скромнее. Как будто ты

мой бедный родственник... Фу! Волнуюсь, стерва. А чего волнуюсь? Упэред! — И он нажал беленький пупочек звонка.

За дверью из тишины послышались остренькие шажочки...

— Паркет, знаешь, какой!..— успел шепнуть Санька.

В двери очень долго поворачивался и поворачивался ключ — может, не один?

Санька нервно подмигнул Егорке.

Наконец дверь приоткрылась... Санька растянул большой рот в улыбке, хотел двинуть дверь, чтоб она распахнулась приветливее, но она оказалась на цепочке.

— Кто это? — тревожно и недовольно спросили из-за двери. Женщина спросила.

— Ира... это я! — сказал Санька ненатуральным голосом. И улыбку растянул еще шире. Можно сказать, что на лице его в эту минуту были — нос и улыбка, остальное — морщины.

— Боже мой! — зло и насмешливо сказал голос за дверью (Егорка не видел из-за Саньки лица женщины), и дверь захлопнулась и резко, сухо щелкнула.

Санька ошалел... Посмотрел растерянно на Егорку.

— Ё-мое! — сказал он.— Она что, озверела?

— Может, не узнала? — без всякого ехидства подсказал Егорка.

Санька еще раз нажал на белый пупочек. За дверью молчали. Санька давил и давил на кнопочку. Наконец послышались шаги — тяжелые, мужские. Дверь опять открылась, но опять мешал цепок. Выглянуло розовое мужское лицо. Мужчина боднул строгим взглядом Саньку... Потом глаза его обнаружили мрачноватого Егорку и — быстро-быстро — поискали, нет ли еще кого? И, стараясь, чтоб вышло зло и страшно, спросил:

— В чем дело?

— Позови Ирину,— сказал Санька.

Мужчина мгновенье решал, как поступить... Из глубины квартиры ему что-то сказали. Мужчина резко захлопнул дверь. Санька тут же нажал на кнопку звонка и не отпускал. Дверь опять раскрылась.

— Что, выйти накостылять, что ли?! — уже всерьез злобно сказал мужчина.

Санька подставил ногу под дверь, чтобы мужчина не сумел ее закрыть.

— Выйди на минутку,— сказал он.— Я спрошу кое-что.

Мужчина чуть отступил и всем телом ринулся на дверь... Санька взвыл. Егорка с той стороны — точно так, как тот за дверью — откачнулся и саданул дверь плечом. Санька выдернул ногу и тоже навалился плечом на дверь.

— Семен! — заполошно крикнул мужчина.

Пока Семен бежал в тапочках на зов товарища, молодые деревенские бычки поднатужились тут... Цепочка лопнула.

— Руки вверх! — заорал Санька, ввалившись в коридор.

Мужчина с розовым лицом попятился от них... Мужчина в тапочках тоже резко осадил бег. Но тут вперед с визгом вылетела коротконогая женщина с могучим торсом.

— Вон-он! — Странно, до чего она была легкая при своей тучности, и до чего же пронзительно она визжала.— Вон отсюда, сволочи!! Звоните в милицию! Я звоню в милицию! — Женщина так же легко ускакала звонить.

— Пошли, Санька,— сказал Егорка.

Санька не знал, как подумать про все это.

— Пошли,— еще сказал Егор.

— Нет, не пошли-и,— свирепо сказал розоволицый. И стал надвигаться на Саньку.— Нет, не пошли-и... Так просто, да? Семен, заходи-ка с той стороны. Окружай хулиганов!

Человек в тапочках пошел было окружать. Но тут вернулся от двери Егор...

...Из "окружения" наши орлы вышли, но получили по пятнадцать суток. А у Егорки еще и права на полгода отняли — за своевольную поездку в город. Странно, однако, что деревенские после всего этого в Санькину историю полностью поверили. И часто просили рассказать, как он гужевался в городе три дня и три ночи. И смеялись.

Не смеялся только Егорка: без машины стал меньше зарабатывать.

— Дурак — поперся,— ворчал он.— На кой черт?

— Егор, а как баба-то? Правда, что ли, шибко красивая?

— Да я и разглядеть-то не успел как следует: прыгал какой-то буфет по квартире.

— А квартира-то, правда, что ли, такая шикарная?

— Квартира шикарная. Квартиру успел разглядеть. Квартира шикарная.

Санька долго еще ходил по деревне героем.

АЛЕША БЕСКОНВОЙНЫЙ

Его и звали-то — не Алеша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алешей Бесконвойным. А звали его так вот за что: за редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно: пять дней в неделе он был безотказный работник, больше того — старательный работник, умелый (летом он пас колхозных коров, зимой был скотником — кочегарил на ферме, случалось — ночное дело — принимал телят), но наступала суббота, и тут все: Алеша выпрягался. Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша "сроду такой" — в субботу и в воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором, в третьем, в пятом... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай — как об стенку горох. Хлопает глазами... "Ну, понял, Алеша?" — спросят. "Чего?" — "Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике работаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так-то? А?" — "Чего?" — "Брось дурачка из себя строить! Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать?" — "Нет. Между прочим, насчет дурачка — я ведь могу тоже... дам в лоб разок, и ты мне никакой статьи за это не найдешь. Мы тоже законы знаем. Ты мне — оскорбление словом, я тебе — в лоб: считается — взаимность". Вот и поговори с ним. Он даже на собрания не ходил в субботу.

Что же он делал в субботу?

В субботу он топил баню. Все. Больше ничего. Накалял баню, мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как паровоз — по пять часов парился! С отдыхом, конечно, с перекуром... Но все равно — это же какой надо иметь организм! Конский?

В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня — суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шел сразу во двор — колоть дрова.

У него была своя наука — как топить баню. Например, дрова в баню шли только березовые, они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением...

Вот, допустим, одна такая суббота.

Погода стояла как раз скучная — зябко было, сыро, встрено — конец октября. Алеша такую погоду любил. Он еще ночью слышал, как пробрызнул дождик — постукало мягко, дробно в стекла окон — и перестало. Потом в верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело — ветер наладился. И ставни пошли дергаться. Потом ветер поутих, но все равно утром еще потягивал — снеговой, холодный.

Алеша вышел с топором во двор и стал выбирать березовые кругляши на расколку. Холод полез под фуфайку... Но Алеша пошел махать топориком и согрелся.

Он выбирал из поленницы чурки потолще... Выберет, возьмет ее, как поросенка, на руки и несет к дровосеке.

— Ишь ты... какой,— говорил он ласково чурбаку.— Атаман какой...— Ставил этого "атамана" на широкий пень и тюкал по голове.

Скоро он так натюкал большой ворох... Долго стоял и смотрел на этот ворох. Белизна и сочность, и чистота сокровенная поленьев, и дух от них — свежий, нутряной, чуть стылый, лесовой...

Алеша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каменки. Еще потом будет момент — разжигать, тоже милое дело. Алеша даже волновался, когда разжигал в каменке. Он вообще очень любил огонь.

Но надо еще наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алеша старался только поскорей натаскать. Так семенил ногами, когда нес на коромысле полные ведра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескать из ведер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели. И переговаривались.

— Ты глянь, глянь, как пружинит! Чисто акробат!..

— И не плескает ведь!

— Да куда так несется-то?

— Ну, баню опять топить...

— Да рано же еще!

— Вот — весь день будет баней заниматься. Бесконвойный он и есть... Алеша.

Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие кадки и еще в оцинкованную ванну, которую он купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню. И хорошо! Она стояла на полке́, с краю, места много не занимала — не мешала париться,— а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полке́, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну.

Алеша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута — посидеть покурить. Тут же Алеша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане — продолжал предбанник. Чего только у него там не было! Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы... Но был и верстачок, и был исправный инструмент: рубанок, ножовка; долота, стамески... Это все — на воскресенье, это завтра он тут будет упражняться.

В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разбивался уже запахом березовых поленьев — тонким, еле уловимым — это предвестье скорого праздника. Сердце Алеши нет-нет да подмоет радость — подумает: "Сча-ас". Надо еще вымыть в бане: даже и этого не позволял делать Алеша жене — мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке... Алеша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить. Алеша еще разок закурил... Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий горизонт, на деревню... Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, — на скорую руку, кое-как, пых-пых... Будут глотать горький чад и париться. Напарится не напарится — угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой — и думает, это баня. Хэх!.. Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.

Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два — так, одно — так, поперек, а потом сверху. Но там — в той амбразуре-то, которая образуется-то, — там кладут обычно лучины, бумагу, керосином еще навадились теперь обливать, — там Алеша ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он его посередке ершил топором, и все, и потом эти заструги поджигал — загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент — когда разгорается. Ах, славный момент! Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрыв-

но смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный,— все становится больше, все надежней. Алеша всегда много думал, глядя на огонь. Например: "Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб люди прожили одинаково!" Или еще он сделал открытие: человек, помирая — в конце самом, — так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься: откуда такая последняя сила?

Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить.

Алеша умылся из рукомойника, вытерся и с легкой душой пошел в дом.

Пока он занимался баней, ребятишки, один за одним, ушлепали в школу. Дверь — Алеша слышал — то и дело хлопала, и скрипели воротца. Алеша любил детей, но никто бы никогда так не подумал — что он любит детей: он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на кого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда что, стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет — никаким умом вперед не скинешь. И они растут, карабкаются. Будь на то Алешина воля, он бы еще пятерых смастерил, но жена устала.

Когда пили чай, поговорили с женой.

— Холодно как уж стало. Снег, гляди, выпадет,— сказала жена.

— И выпадет. Оно бы и ничего, выпал-то,— на сырую землю.

— Затопил?

— Затопил.

— Кузьмовна заходила... Денег занять.

— Ну? Дала?

— Дала. До среды, говорит, а там, мол, за картошку получит...

— Ну и ладно.— Алеше нравилось, что у них можно, например, занять денег — все как-то повеселей в глаза людям смотришь. А то наладились: "Бесконвойный, Бесконвойный". Глупые.— Сколько попросила-то?

— Пятнадцать рублей. В среду, говорит, за картошку получим...

— Ну и ладно. Пойду продолжать.

Жена ничего не сказала на это, не сказала, что иди, мол, или еще чего в таком духе, но и другого чего — тоже не сказала. А раньше, бывало, говорила, до ругани дело доходило: надо то сделать, надо это сделать — не день же целый баню топить! Алеша и тут не уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все пропадом! "Что мне, душу свою на куски порезать?!" — кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисью, жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная: тоже чего-то ругались, ругались, до того доругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать: "Да до каких же я пор буду мучиться-то?! До каких?! До каких?!" Дура-жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да еще подъелдыкнула: "Давай, давай... Сильней! Ну-ка, лоб крепче или стенка?" Иван сгреб ружье... Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисью и предупредили: "Смотри... а то — не в роду ли это у них". И Таисья отступилась.

Напившись чаю, Алеша покурил в тепле, возле печки, и пошел опять в баню.

А баня вовсю топилась.

Из двери ровно и сильно, похоже, как река заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху, дым. Это первая пора, потом, когда в каменке накопится больше жару, дыму станет меньше. Важно вовремя еще подкинуть: чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно — огню нужен простор. Надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алеша подлез под поток дыма к каменке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя в горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит; лицо и коленки достает жаром, надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно: можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много: надо заготовить веник, надо керосину налить в фонарь, надо веток сосновых наготовить... Напевая негромко нечто неопределенное — без слов, голосом, Алеша слазал на потолок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом насек на дровосеке сосновых лап — поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так, это есть. Что еще? Фонарь!.. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал — надо долить. Есть, но... чтоб уж потом

ни о чем не думать, Алеша все напевал... Какой желанный покой на душе, господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег взаймы взяли... Жизнь: когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел — тошно. И удивительно на людей — сидят смотрят! Никто бы не поверил, что Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее жалеть, например, или можно помирать спокойно — ничего тут такого особенного не осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел — высоко-высоко — и оттуда глядит на землю... Но понятней не становилось: представлял своих коров на поскотине — маленькие, как букашки... А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь — что вовсе нетак жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие — ничего: тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно: не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо,— вспоминал он один момент своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны... Дорога дальняя — через всю почти страну. Но ехали звонко — так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алеше подошла на перроне молодая женщина и сказала:

— Слушай, солдат, возьми меня — вроде я твоя сестра... Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать.

Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашеными губами... Одета хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит — вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы... Да и до войны-то тоже — горе: на вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит, смотрит странно... У Алеши так заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело.

Но, однако, поехали.

Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но эта, ласковая-то, так прилипла к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается: через два перегона она уже приехала. А дело к вечеру. Она грустно так и говорит:

— Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать...

— А кто дома-то? — разлепил рот Алеша.

— Да никого, одна я.

— Ну, так я провожу,— сказал Алеша.

— А как же ты? — удивилась и обрадовалась женщина.

— Завтра другим эшелоном поеду... Мало их!

— Да, их тут каждый день идет...— согласилась она.

И они пошли к ней домой. Алеша захватил, что вез с собой: две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша. Страшная сила — радость не радость — жар и немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой... Так было томительно и тяжко, будто прогретое за день июньское небо — опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку... Алеша помнил, какая у нее была рука — мяконькая, теплая под шершавеньким крепдешином. Какого цвета платье было на ней, он, правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил, и теперь помнит. Он какой-то и колючий, и скользкий, этот крепдешин. И часики у нее на руке помнил Алеша — маленькие (трофейные), узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама — просто, доверчиво — взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мяконьким к нему... И тепло это — под рукой ее — помнил же. Да... Ну, была ночь. Утром Алеша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потом уж, когда Алеша ехал в вагоне (документы она не взяла), он сообразил, что она тем и промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатика поглупей. Но вот штука-то — спроси она тогда утром: отдай, мол, Алеша, ковер немецкий, отдай гимнастерку, отдай сапоги — все отдал бы. Может, пару сапог оставил бы себе.

Вот ту Алю крепдешиновую и вспоминал Алеша, когда оставался сам с собой и усмехался. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как.

Дровишки прогорели... Гора, золотая, горячая, так и дышала, так и валил жар. Огненный зев нет-нет да схватывал синий огонек... Вот он — угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут — стены, полок, лавки... Потом не притронешься.

Алеша накидал на пол сосновых лап — такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, черт бы его побрал,— славно! Алеша всегда хотел не суститься в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор... Сунулся опять в баню,— нет, угарно.

Алеша пошел в дом.

— Давай бельишко,— сказал жене, стараясь скрыть свою радость — она почему-то всех раздражала, эта его радость субботняя. Черт их тоже поймет, людей: сами ворочают глупость за глупостью, не вылезают из глупостей, а тут, видите ли, удивляются, фыркают, не понимают.

Жена Таисья молчком открыла ящик, усунулась под крышку... Это вторая жена Алеши. Первая, Соня Полосухина, умерла. От нее детей не было. Алеша меньше всего про них думал: и про Соню, и про Таисью. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Еще бы закурить... Но курить дома он отвык давно уж — как пошли детишки.

— Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? — спросил Алеша.

— Не знаю. Да кончились — от и понадобились. Хлеба небось не на что купить.

— Много они картошки-то сдали?

— Воза два отвезли... Кулей двадцать.

— Огребут деньжат!

— Огребут. Все копют... Думаешь, у их на книжке нету?

— Как так нету? У Соловьевых да нету!

— Кальсоны-то потеплей дать? Или бумажные пока?..

— Давай бумажные, пока еще не так нижет.

— На.

Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане.

— Так... Ну ладно.

— У Кольки ангина опять.

— Зачем же в школу отпустила?

— Ну...— Таисья сама не знала, зачем отпустила.— Чего будет пропускать. И так-то учится — через пень колоду.

— Да...— Странно, Алеша никогда всерьез не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели,— не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алеша, чтоб дети его выучились, уехали бы в большой город и возвыси-

лись там до почета и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню, Алеша суетился бы возле них — возле их жен, мужей, детишек ихних... Ведь никто же не знает, какой Алеша добрый человек, заботливый, а вот те, городские-то, сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде... Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков — вот уж упрямый народишко! И возьми даже своих ученых людей — агрономов, учителей: нет зазнавитее человека, чем свой, деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идет, она же никого не видит! Какого бы она малого росточка ни была, а все норовит выше людей глядеть. Городские, те как-то умеют, собаки, и культуру свою показать, и никого не унизить. Он с тобой, наоборот, первый поздоровается.

— Так... Ну, ладно,— сказал Алеша. — Пойду.

И Алеша пошел в баню.

Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шел медленно, чтоб озябнуть. Еще находил какое-нибудь заделье по пути: собачью цепь распутает, пойдет воротца хорошенько прикроет... Это чтоб покрепче озябнуть.

В предбаннике Алеша разделся донага, мельком оглядел себя — ничего, крепкий еще мужик. А уж сердце заныло — в баню хочет. Алеша усмехнулся на свое нетерпение. Еще побыл маленько в предбаннике... Кожа покрылась пупырышками, как тот самый крепдешин, хэх... Язви тебя в душу, чего только в жизни не бывает! Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности отдавать вам эту субботу? А?

Догоню, догоню, догоню,
Хабибу догоню!..—

пропел Алеша негромко, открыл дверь и ступил в баню.

Эх, жизнь!.. Была в селе общая баня, и Алеша сходил туда разок — для ощущения. Смех и грех! Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются: "Вы не понимаете, что такое баня!" Они — понимают! Хоть, впрочем, в такой-то бане, как общая-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо еще не в субботу

ходил: в субботу истопил свою и смыл к чертовой матери все воспоминания об общественной бане.

...И пошла тут жизнь — вполне конкретная, но и вполне тоже необъяснимая — до краев дорогая и родная. Пошел Алеша двигать тазы, ведра...— стал налаживать маленький Ташкент. Всякое вредное напряжение совсем отпустило Алешу, мелкие мысли покинули голову, вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность — жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за окошечком бани, но Алеша стал недосягаем для нее, для ее суетни и злости, он стал большой и снисходительный. И любил Алеша — от полноты и покоя — попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно-чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал: помнил только кое-какие деревенские частушки да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки.

Погляжу я по народу,—
Нет моего милого,—

спел Алеша, зачерпнул еще воды.

Кучерявый чуб большой,
Как у Ворошилова.

И еще зачерпнул, еще спел:

Истопила мама баню,
Посылает париться.
Мне, мамаша, не до бани —
Миленький венчается.

Навел Алеша воды в тазике... А в другой таз, с кипятком, положил пока веник — распаривать. Стал мыться. Мылся долго, с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках, плескался и мурлыкал себе.

Я сама иду дорогой,
Моя дума — стороной,
Рано, милый, похвалился,
Что я буду за тобой.

И точно плывет он по речке — плавной и теплой, а плывет как-то странно и хорошо — сидя. И струи теплые прямо где-то у сердца.

Потом Алеша полежал на полке́ — просто так. И вдруг подумал: а что, вытянусь вот так вот когда-нибудь... Алеша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрягся было, чтоб увидеть себя, подобного, в гробу. И уже что-то такое начало мерещиться — подушка вдавленная, новый пиджак... Но душа воспротивилась дальше. Алеша встал и, испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой. И для бодрости еще спел:

Эх, догоню, догоню, догоню,
Хабибу до-го-ню!

Ну ее к черту! Придет — придет, чего раньше времени тренироваться! Странно, однако же: на войне Алеша совсем не думал про смерть — не боялся. Нет, конечно, укрывался от нее, как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну ее к лешему! Придет — придет, никуда не денешься. Дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле — это вообще не праздник, не надо его и понимать как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно все принимать и "не суетиться перед клиентом". Алеша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: "Главное, не суетиться перед клиентом". Долго Алеша смеялся и думал: "Верно, суетимся много перед клиентом". Хорошо на земле, правда, но и прыгать козлом — чего же? Между прочим, куда радостней бывает, когда радость эту не ждешь, не готовишься к ней. Суббота — это другое дело, субботу он как раз ждет всю неделю. Но вот бывает: плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне понимал, что он — любит. Стал случаться покой в душе — стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше.

Так думал Алеша, а пока он так думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навел в нем воды попрохладней... Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каменку — первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло... Алеша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полок. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика. И зашуршал веничком по телу. Вся-то ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя — походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам... Чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алеша искусно это делал: он мелко тряс веник возле тела, и листочки его, точно маленькие горячие ладошки, касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал... Кинул на каменку еще полковша, подержал веник над каменкой над паром и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице... Спустился с полка, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и вволю. Так-то, милые люди.

...Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил. Скинул калоши у порога и по свежим половичкам прошел в горницу. И прилег на кровать. Он не слышал своего тела, мир вокруг покачивался согласно сердцу.

В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу.

— С легким паром! — сказал Борис.

— Ничего,— ответил Алеша, глядя перед собой.— Иди в баню-то.

— Сейчас пойду.

Борис, сын, с некоторых пор стал — не то что стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли,— стал как-то переживать, что отец его — скотник и пастух. Алеша заметил это и молчал. По первости его глубоко обидело такое, но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый, может, бог даст, и умишком возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец —

пастух... Эх, милый! Ну, давай, давай — целься повыше, глядишь, куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо. Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает... Все нормально. Удивительно вообще-то, но все нормально.

— Иди в баню-то,— сказал Алеша.

— Жарко там?

— Да теперь уж какой жар!.. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой отдушину.

Так и не приучил Алеша сыновей париться: не хотят. В материну породу — в Коростылевых.

Он пошел собираться в баню, а Алеша продолжал лежать.

Вошла жена, склонилась опять над ящиком — достать белье сыну.

— Помнишь,— сказал Алеша.— Маня у нас, когда маленькая была, стишок сочинила:

Белая березка
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.

Жена откачнулась от ящика, посмотрела на Алешу... Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином. Достала белье, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу.

— Ну и что? — спросила она.

— Что?

— Стишок-то сочинила... К чему ты?

— Да смешной, мол, стишок-то.

Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова, но вспомнила что-то и опять оглянулась.

— Боровишку-то загнать надо да дать ему — я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни да сходи приберись.

— Ладно.

Баня кончилась. Суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась.

УПОРНЫЙ

Все началось с того, что Моня Квасов прочитал в какой-то книжке, что вечный двигатель невозможен. По тем-то и тем-то причинам — потому хотя бы, что существует трение. Моня... Тут, между прочим, надо объяснить, почему Моня. Его звали Митька, Дмитрий, но бабка звала его Митрий, а ласково — Мотька, Мотя. А уж дружки переделали в Моню — так проще, кроме того, непоседливому Митьке имя это, Моня, как-то больше шло, выделяло его среди других, подчеркивало как раз его непоседливость и строптивый характер.

Прочитал Моня, что "вечный двигатель" невозможен... Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель... Посмотрел внимательно рисунки тех "вечных двигателей", какие — в разные времена — предлагались. И задумался. Что трение там, законы механики — он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого "вечного двигателя", какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли... от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: "Да ладно, будут тут мне..." И теперь он тоже думал: "Да ну!.. Что значит невозможен?"

Моне шел двадцать шестой год. Он жил с бабкой, хотя где-то были и родители, мать с отцом, но бабка еще маленького взяла его к себе от родителей (те вечно то расходились, то опять сходились) и вырастила. Моня окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникумс полтора года, не понравилось, бросил, до армии работал в колхозе, отслужил в армии, приобрел там специальность шофера и теперь работал в совхозе шофером. Моня был белобрыс, скуласт, с глубокими маленькими глазами. Большая нижняя челюсть его сильно выдавалась вперед, отчего даже и вид у Мони был крайне заносчивый и упрямый. Вот уж что у него было, так это было: если ему влетела в лоб какая-то идея, — то ли научиться играть на аккордеоне, то ли, как в прошлом году, отстоять в своем огороде семнадцать соток, не пятнадцать, как положено по закону, а семнадцать, сколько у них с бабкой, почему им и было предложено перенести плетень ближе к дому,— то идея эта, какая в него вошла, подчиняла себе всего Моню: больше он ни о чем не мог думать, как о том, чтобы научиться на аккордеоне или не отдать сельсоветским эти несчастные две сотки земли. И своего добивался.

Так и тут, с этим двигателем: Моня перестал видеть и понимать все вокруг, весь отдался великой изобретательской задаче. Что бы он ни делал — ехал на машине, ужинал, смотрел телевизор — все мысли о двигателе. Он набросал уже около десятка вариантов двигателя, но сам же и браковал их один за одним. Мысль работала судорожно, Моня вскакивал ночами, чертил какое-нибудь очередное колесо... В своих догадках он все время топтался вокруг колеса, сразу с колеса начал и продолжал искать новые и новые способы — как заставить колесо постоянно вертеться.

И наконец способ был найден. Вот он: берется колесо, например, велосипедное, закрепляется на вертикальной оси. К ободу колеса жестко крепится в наклонном положении (под углом в 45 градусов к плоскости колеса) желоб — так, чтоб по желобу свободно мог скользить какой-нибудь груз, допустим, килограммовая гирька. Теперь, если к оси, на которой закреплено колесо, жестко же прикрепить (приварить) железный стерженек так, чтобы свободный конец этого стерженька проходил над желобом, где скользит груз... То есть, если груз, стремясь вниз по желобу, упрется в этот стерженек, то он же будет его толкать, ну, не толкать — давить на него будет, на стерженек-то! А стерженек соединен с осью, ось закрутится, закрутится и колесо. Таким образом, колесо само себя будет крутить.

Моня придумал это ночью... Вскочил, начертил колесо, желоб, стерженек, грузик... И даже не испытал особой радости, только удивился: чего же они столько времени головы-то ломали! Он походил по горнице в трусах, глубоко гордый и спокойный, сел на подоконник, закурил. В окно дул с улицы жаркий ветер, качались и шумели молодые березки возле штакетника; пахло пылью. Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России,— как бесконечную равнину, и увидел себя на той равнине — идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг... И в этой ходьбе — ничего больше, идет и все — почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле — без крика, без возгласов — поглядит на все тут — и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был... Кто был... Моня еще походил по горнице... Если бы он был не в трусах, а в брюках, то уже теперь сунул бы руки в карманы и так походил бы — хотелось. Но лень было надевать брюки, не лень, а совестно суетиться. Покой, могучий покой объял душу Мони. Он лег на кровать, но до утра не заснул. Двигатель свой он больше не трогал — там все ясно, а лежал

поверх одеяла, смотрел через окно на звезды. Ветер горячий к утру поослаб, было тепло, но не душно. Густое небо стало бледнеть, стало как ситчик голубенький, застиранный... И та особенная тишина, рассветная, пугливая, невечная, прилегла под окно. И скоро ее вспугнули, эту тишину,— скрипнули недалеко воротца, потом звякнула цепь у колодца, потом с визгом раскрутился колодезный вал... Люди начали вставать. Моня все лежал на кровати и смотрел в окно. Ничего вроде не изменилось, но какая желанная, дорогая сделалась жизнь. Ах, черт возьми, как, оказывается, не замечаешь, что все тут прекрасно, просто, бесконечно дорого. Еще полежал Моня с полчаса и тоже поднялся: хоть и рано, но все равно уже теперь не заснуть.

Подсел к столу, просмотрел свой чертежик... Странно, что он не волновался и не радовался. Покой все пребывал в душе. Моня закурил, откинулся на спинку стула и стал ковырять спичкой в зубах — просто так, нарочно, чтобы ничтожным этим действием подчеркнуть огромность того, что случилось ночью и что лежало теперь на столе в виде маленьких рисунков. И Моня испытал удовольствие: на столе лежит чертеж вечного двигателя, а он ковыряется в зубах. Вот так вот, дорогие товарищи!.. Вольно вам в жарких перинах трудиться на заре с женами, вольно сопеть и блаженствовать — кургузые. Еще и с довольным видом будут ходить потом днем, будут делать какие-нибудь маленькие дела и при этом морщить лоб — как если бы они думали... Ой-ля-ля! Даже и думать умеете?! Гляди-ка. Впрочем, что же: выдумали же, например, рукомойник. Ведь это же какую голову надо иметь, чтобы... Ах, люди, люди. Моня усмехнулся и пошел к человеческому изобретению — к рукомойнику, умываться.

И все утро потом Моня пробыл в этом насмешливом настроении. Бабка заметила, что он какой-то блаженный с утра... Она была веселая, крепкая старуха, Мотьку своего любила, но никак любви этой не показывала. Она сама тоже думала о людях несложно: живут, добывают кусок хлеба, приходит время — умирают. Важно не оплошать в трудную пору, как-нибудь выкрутиться. В войну, например, она приспособилась так: заметила в одном колхозном амбаре щель в полу, а через ту щель потихоньку сыплется зерно. А амбар задней стеной выходил на дорогу, но с дороги его заслоняли заросли крапивы и бурьяна. Ночью Квасиха пробралась с мешочком через эти заросли, изжалилась вся, но к зерну попала. Амбар был высокий, пол над землей высоко — хватит

пролезть человеку. Квасиха подчистила зерно, проковыряла ножом щель пошире... И с неделю ходила ночами под тот амбар с мешочком. И наносила зерна изрядно. И в самый голод великий толкла ночами зерно это в ступке, подмешивала в муку сосновой коры и пекла хлебушек. Так обошла свою гибель. Мотька был ей как сын, даже, наверно, дороже, потому что больше теперь никого не было. Была дочь (сыновей, двух, убило на войне), мать Мотькина, но она вконец запуталась со своим муженьком, закружилась в городе, вообще как-то не вышло толку из бабы, она сюда и носа не казала, так что есть она, и вроде ее нет.

— Чего эт ты седня такой? — спросила бабка, когда сидели завтракали.

— Какой? — спокойно и снисходительно поинтересовался Моня.

— Довольный-то. Жмурисся, как кот на солнышке... Приснилось, что ль, чего?

Моня несколько подумал... И сказал заковыристо:

— Мне приснилось, что я нашел десять тысяч рублей в портфеле.

— Подь ты к лешему! — старуха усмехнулась, помолчала и спросила: — Ну, и что бы ты с имя стал делать?

— Что?.. А ты что?

— Я тебя спрашиваю.

— Хм... Нет, а вот ты чего бы стала делать? Чего тебе, например, надо?

— Мне ничего не надо. Может, дом бы перебрать...

— Лучше уж новый срубить. Чего тут перебирать — гнилье трясти.

Бабка вздохнула. Долго молчала.

— Гнилье-то гнилье... А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я уж все продумала, как меня отсюда выносить будут.

— Начинается! — недовольно сказал Моня. Он тоже любил бабку, хоть, может, не очень это сознавал, но одно в ней раздражало Моню: разговоры о предстоящей смерти. Да добро бы немощью, хилостью они порождались, обреченностью — нет же, бабка очень хотела жить, смерть ненавидела, но притворно строила перед ней, перед смертью, покорную фигуру. — Чего ты опять?

Умная старуха поддельно-скорбно усмехнулась.

— А чего же? Что я, два века жить буду? Приде-ет, матушка...

— Ну и... придет — значит, придет: чего об этом говорить раньше время?

Но говорить старухе об этом хотелось, жаль только, что Мотька не терпит таких разговоров. Она любила с ним говорить. Она считала, что он умный парень, удивительно только, что в селе так не думают.

— Дак чего приснилось-то?

— Да ничего... Так я: утро вон хорошее, я и... радый.

— Ну, ну... И радуйся, пока молодой. Старость придет — не взрадуесся.

— Ничего! — беспечно и громко сказал Моня, закончив трапезу.— Мы еще... сообразим тут! Скажем еще свое "фэ"!

И Моня пошел в гараж. Но по дороге решил зайти к инженеру РТС Андрею Николаевичу Голубеву, молодому специалисту. Он был человек приезжий, толковый, несколько мрачноватый, правда, но зато не трепач. Раза два Моня с ним общался, инженер ему нравился.

Инженер был в ограде, возился с мотоциклом.

— Здравствуй,— сказал Моня.

— Здравствуй! .— не сразу откликнулся инженер. И глянул на Моню неодобрительно: наверно, не понравилось, что с ним на "ты".

"Переживешь,— подумал Моня.— Молодой еще".

— Зашел сказать свое "фэ",— продолжал Моня, входя в ограду.

Инженер опять посмотрел на него.

— Что еще за "фэ"?

— Как ученые думают насчет вечного двигателя? — сразу начал Моня. Сел на бревно, достал папиросы... И смотрел на инженера снизу. — А?

— Что за вечный двигатель?

— Ну, этот — перпетуум-мобиле. Нормальный вечный двигатель, который никак не могли придумать...

— Ну? И что?

— Как сейчас насчет этого думают?

— Да кто думает-то? — стал раздражаться инженер.

— Ученый мир... Вообще. Что, сняли, что ли, эту проблему?

— Никак не думают. Делать, что ли, нечего больше, как об этом думать.

— Значит, сняли проблему?

Инженер снова склонился к мотоциклу.

— Сняли.

— Не рано? — не давал ему уйти от разговора Моня.

— Что "не рано"? — оглянулся опять инженер.

— Сняли-то. Проблему-то.

Инженер внимательно посмотрел на Моню.

— Что, изобрел вечный двигатель, что ли?

И Моня тоже внимательно посмотрел на инженера. И всадил в его дипломированную головушку... Как палку в муравейник воткнул:

— Изобрел.

Инженер, не вставая с корточек, попристальнее вгляделся в Моню... Откровенно улыбнулся и возвратил Моне палку — тоже отчетливо, не без ехидства сказал:

— Поздравляю.

Моня обеспокоился. Не то что он усомнился вдруг в своем двигателе, а то обеспокоило, до каких же, оказывается глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель невозможен. Этак и выдумаешь его, а они будут твердить: невозможен. Спорить с людьми — это тяжко, грустно. Вся-то строптивость Мони, все упрямство его — чтоб люди не успели сделать больно, пока будешь корячиться перед ними со своей доверчивостью и согласием.

— А что дальше? — спросил Моня.

— В каком смысле?

— Ну, ты поздравил... А дальше?

— Дальше — пускай его по инстанции, добивайся... Ты его сделал уже? Или только придумал?

— Придумал.

— Ну вот...— Инженер усмехнулся, качнул головой.— Вот и двигай теперь... Пиши, что ли, я не знаю.

Моня помолчал, задетый за больное усмешкой инженера.

— Ну а что ж ты даже не поинтересуешься: что за двигатель? Узнал бы хоть принцип работы... Ты же инженер. Неужели тебе неинтересно?

— Нет,— жестко сказал инженер.— Неинтересно.

— Почему?

Инженер оставил мотоцикл, вытер руки тряпкой, бросил тряпку на бревна, полез в карман за сигаретами. Посмотрел на Моню сверху.

— Парень... ты же говорил, что в техникуме сколько-то учился...

— Полтора года.

— Вот видишь... Чего же ты такую бредятину несешь сидишь? Сам шофер, с техникой знаком... Что, неужели веришь в этот свой двигатель?

— Ты же даже не узнал принцип его работы, а сразу — бредятина! — изумился Моня, чувствуя, что все: с этой минуты он уперся. Узнал знакомое подрагивание в груди, противный холодок и подрагивание.

— И узнавать не хочу.

— Почему?

— Потому что это глупость. И ты должен сам понимать, что глупость.

— Ну, а вдруг не глупость?

— Проверь. Проверь, а потом уж приходи... с принципом работы. Но если хочешь мой совет: не трать время и на проверку.

— Спасибо за совет.— Моня встал.— Вообще за добрые слова...

— Ну вот...— сказал инженер вроде с сожалением, но непреклонно.— И не тронь вас. Скажи еще, что меня в институте учили...

— Да ну, при чем тут институт! Я же к тебе не за справкой пришел...

— Ну, а чего же уж такая... самодеятельность-то тоже! — воскликнул инженер.— Почти девять лет учился — и на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи. Как ты думаешь: если бы вечный двигатель был возможен, неужели бы его до сих пор не изобрели?

— Да вот так вот все рассуждают: невозможен, и все. И все махнули рукой...

— Да не махнули, а доказали давно: не-возможен! Ладно, было бы у человека четыре класса, а то... Ты же восемь с половиной лет учился! Ну... Как же так? — Инженер по-живому рассердился, именно рассердился. И не скрывал, что сердится: смотрел на Моню зло и строго. И отчитывал.— Что же ты восемь с половиной лет делал?

— Смолил и к стенке становил, — тоже зло сказал Моня. И тоже поглядел в глаза инженеру.— Что ты как на собрании выступаешь? Чего красуешься-то? Я тебя никуда выдвигать не собираюсь.

— Вот видишь...— чуть растерялся инженер от встречной напористой злости, но и своей злости тоже не убавил.— Умеешь же говорить... Значит, не такой уж темный. Не хрена тогда и с вечным двигателем носиться... Людей смешить.— Инженер бросил сигарету, наступил на нее, крутнулся, вдавив ее в землю, и пошел заводить мотоцикл.

Моня двинулся из ограды.

Оглушил его этот инженер. И стыдно было, что отчитали, и злость поднялась на инженера нешуточная... Но ужасно, что явилось сомнение в вечном двигателе. Он пошел прямиком домой — к чертежу. Шагал скоро, глядел вниз. Никогда так стыдно не было. Стыдно было еще своей утренней беспечности, безмятежности, довольства. Надо было все же хорошенько все проверить. Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру! Надо было проверить, конечно.

Бабки дома не было. И хорошо: сейчас полезла бы с тревогой, с вопросами... Моня сел к столу, придвинул чертеж. Ну и что? Груз — вон он — давит на стержень... Давит же он на него? Давит. Как же он не давит-то? А что же он делает? Моня вспомнил, как инженер спросил: "Что же ты восемь с половиной лет делал?" Нервно ерзнул на стуле, вернул себя опять к двигателю. Ну?.. Груз давит на стержень, стержень от этого давления двинется... Двинется. А другим концом он приварен к оси... Да что за мать-перемать-то! Ну и почему это невозможно?! Вот теперь Моня волновался. Определенно волновался, прямо нетерпение охватило. Правильно, восемь с половиной лет учился, совершенно верно. Но вот же, вот! Моня вскочил со стула, походил по горнице... Он не понимал: что они? Ну, пусть докажут, что груз не будет давить на стержень, а стержень не подвинется от этого. А почему он не подвинется-то? Вы согласны — подвинется? Тогда и ось... Тьфу! Моня не знал, что делать. Делать что-то надо было — иначе сердце лопнет от всего этого. Кожа треснет от напряжения. Моня взял чертеж и пошел из дома, сам пока не зная куда. Пошел бы и к инженеру, если бы тот не уехал. А может, и не уехал? И Моня пошел опять к инженеру. И опять шел скоро. Стыдно уже не было, но такое нетерпение охватило, в пору бегом бежать. Малость Моня и подбежал — в переулке, где людей не было.

Мотоцикла в ограде не было. Моне стало досадно. И он, больше машинально, чем с какой-то целью, зашел в дом инженера. Дома была одна молодая хозяйка, она недавно встала, ходила в халатике еще, припухшая со сна, непричесанная.

— Здравствуйте,— сказал Моня.— А муж уехал?

— Уехал.

Моня хотел уйти, но остановился.

— А вы же ведь учительница? — спросил он.

Хозяйка удивилась.

— Да. А что?

— По какому?

— По математике.

Моня, не обращая внимания на беспорядок, которого хозяйки стыдятся, не обращая внимания и на хозяйку — что она еще не привела себя в порядок,— прошел к столу.

— Ну-ка гляньте одну штуку... Я тут поспорил с вашим мужем... Идите-ка сюда.

Молодая хозяйка какое-то время нерешительно постояла, глядя на Моню. Она была очень хорошенькая, пухленькая.

— Что? — спросил Моня.

— А в чем дело-то? — тоже спросила учительница, подходя к столу.

— Смотрите,— стал объяснять Моня по чертежу,— вот это такой желобок из сталистой какой-нибудь жести... Так? Он — вот так вот — наклонно прикреплен к ободу этого колеса. Если мы сюда положим груз, вот здесь, сверху... А вот это будет стержень, он прикреплен к оси. Груз поехал, двинул стерженек... Он же двинет его?

— Надавит...

— Надавит! Он будет устремляться от этого груза, так же? Стерженек-то. А ось что будет делать? Закрутится? А колесо? Колесо-то на оси жестко сидит...

— Это что же, вечный двигатель, что ли? — удивилась учительница.

Моня сел на стул. Смотрел на учительницу. Молчал.

— Что это? — спросила она.

— Да вы же сами сказали!

— Вечный двигатель?

— Ну.

Учительница удивленно скривила свежие свои губки, долго смотрела на чертеж... Тоже пододвинула себе стул и села.

— А? — спросил Моня, закуривая. У него опять вздрагивало в груди, но теперь от радости и нетерпения.

— Не будет колесо вращаться,— сказала учительница.

— Почему?

— Не знаю пока... Это надо рассчитать. Оно не должно вращаться.

Моня крепко стукнул себя кулаком по колену... Встал и начал ходить по комнате.

— Ну, ребята!..— заговорил он.— Я не понимаю: или вы заучились, или... Почему не будет-то? — Моня остановился, глядя в упор на женщину.— Почему?

Женщина тоже смотрела на него, несколько встревоженная. Она, как видно, немножко даже испугалась.

— А вам нужно, чтобы он вращался? — спросила она.

Моня пропустил, что она это весьма глупо спросила, сам спросил — все свое:

— Почему оно не будет вращаться?

— А как вам муж объяснил?

— Муж... никак. Муж взялся стыдить меня.— И опять Моня кинулся к чертежу: — Вы скажите, почему колесо... Груз давит?

— Давит.

— Давит. Стержень от этого давления...

— Знаете что,— прервала Моню учительница,— чего мы гадаем тут: это нам легко объяснит учитель физики, Александр Иванович такой... Не знаете его?

— Знаю.

— Он же недалеко здесь живет.

Моня взял чертеж. Он знал, где живет учитель физики.

— Только подождите меня, ладно? — попросила учительница.— Я с вами пойду. Мне тоже интересно стало.

Моня сел на стул.

Учительница замешкалась...

— Мне одеться нужно...

— А-а,— догадался Моня.— Ну конечно. Я на крыльце подожду.— Моня пошел к выходу, но с порога еще оглянулся, сказал с улыбкой: — Вот дела-то! Да?

— Я сейчас,— сказала женщина.

Учитель физики, очень добрый человек, из поволжских немцев, по фамилии Гекман, с улыбкой слушал возбужденного Моню... Смотрел в чертеж. Выслушал.

— Вот!..— сказал он молодой учительнице с неподдельным восторгом.— Видите, как все продумано! А вы говорите...— И повернулся к Моне. И потихоньку, тоже возбуждаясь, стал объяснять: — Смотрите сюда: я почти ничего не меняю в вашей конструкции, но только внесу маленькие изменения. Я уберу (он выговаривал "уперу") ваш желоб и ваш груз... А к ободу колеса вместо желоба прикреплю тоже стержень — вертикально. Вот...— Гекман нарисовал свое колесо и к ободу его "прикрепил" стержень.— Вот сюда мы его присобачим... Так? — Гекман был очень доволен.— Теперь я к этому вертикальному стержню прикрепляю пружину... Во-от.— Учитель и пружину изобразил.— А другим концом...

— Я уже такой двигатель видел в книге,— остановил Моня учителя.— Так не будет крутиться.

— Ага! — воскликнул счастливый учитель.— А почему?

— Пружина одинаково давит в обои концы...

— Это ясно?! Взяли ваш вариант: груз... Груз лежит на желобе и давит на стержень. Но ведь груз — это та же пружина, с которой вам все ясно: груз так же одинаково давит на стержень, и на желоб. Ни на что — чуть-чуть меньше, ни на что — чуть-чуть больше. Колесо стоит.

Это показалось Моне чудовищным.

— Да как же?! — вскинулся он.— Вы что? По желобу он только скользит — желоб можно еще круче поставить,— а на стержень падает. И это одинаково?! — Моня свирепо смотрел на учителя. Но того все не оставляла странная радость.

— Да! — тоже воскликнул он, улыбаясь. Наверно, его так радовала незыблемость законов механики.— Одинаково! Эта неравномерность — это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство...

— Да горите вы синим огнем с вашим равенством! — горько сказал Моня. Сгреб чертеж и пошел вон.

Вышел на улицу и быстро опять пошагал домой. Это походило на какой-то заговор. Это черт знает что!.. Как сговорились. Ведь ясно же, ребенку ясно: колесо не может не вертеться! Нет, оно, видите ли, НЕ ДОЛЖНО вертеться. Ну что это?!

Моня приколбасил опять домой, написал записку, что он себя неважно чувствует, нашел бабку на огороде, велел ей отнести записку в совхозную контору, не стал больше ничего говорить бабке, а ушел в сарай и начал делать вечный двигатель.

...И он его сделал. Весь день пластался, дотемна. Доделывал уже с фонарем. Разорил велосипед (колесо взял), желоб сделал из старого оцинкованного ведра, стержень не приварил, а скрепил с осью болтами... Все было сделано, как и задумалось.

Моня подвесил фонарь повыше, сел на чурбак рядом с колесом, закурил... И без волнения толкнул колесо ногой. Почему-то охота было начать вечное движение непременно ногой. И привалился спиной к стене. И стал снисходительно смотреть, как крутится колесо. Колесо покрутилось-покрутилось и стало. Моня потом его раскручивал уже руками... Подолгу — с изумлением, враждебно — смотрел на сверкающий спицами светлый круг колеса. Оно останавливалось. Моня сообразил, что не хватает противовеса. Надо же урав-

новесить желоб и груз! Уравновесил. Опять что есть силы раскручивал колесо, опять сидел над ним и ждал. Колесо останавливалось. Моня хотел изломать его, но раздумал...

Посидел еще немного, встал и с пустой душой медленно пошел куда-нибудь.

...Пришел на реку, сел к воде, выбирал на ощупь возле себя камешки и стрелял ими с ладони в темную воду. От реки не исходил покой, она чуть шумела, плескалась в камнях, вздыхала в темноте у того берега... Всю ночь чего-то все беспокоилась, бормотала сама с собой — и текла, текла. На середине, на быстрине, поблескивала ее текучая спина, а здесь, у берега, она всё шевелила какие-то камешки, шарилась в кустах, иногда сердито шипела, а иногда вроде смеялась тихо — шепотом.

Моня не страдал. Ему даже понравилось, что вот один он здесь, все над ним надсмеялись и дальше будут смеяться: хоть и бывают редкие глупости, но вечный двигатель никто в селе не изобретал. Этого хватит месяца на два — говорить. Пусть. Надо и посмеяться людям. Они много работают, развлечений тут особых нет — пусть посмеются, ничего. Он в эту ночь даже любил их за что-то, Моня, людей. Он думал о них спокойно, с сожалением, даже подумал, что зря он так много спорит с ними. Что спорить? Надо жить, нести свой крест молча... И себя тоже стало немного жаль.

Дождался Моня, что и заря занялась. Он вовсе отрешился от своей неудачи. Умылся в реке, поднялся на взвоз и пошел береговой улицей. Просто так опять, без цели. Спать не хотелось. Надо жениться на какой-нибудь, думал Моня, нарожать детей — трех, примерно, и смотреть, как они развиваются. И обрести покой, ходить вот так вот — медленно, тяжело и смотреть на все спокойно, снисходительно, чуть насмешливо. Моня очень любил спокойных мужиков.

Уже совсем развиднело. Моня не заметил, как пришел к дому инженера. Не нарочно, конечно, пришел, а шел мимо и увидел в ограде инженера. Тот опять возился со своим мотоциклом.

— Доброе утро! — сказал Моня, остановившись у изгороди. И смотрел на инженера мирно и весело.

— Здорово! — откликнулся инженер.

— А ведь крутится! — сказал Моня.— Колесо-то.

Инженер отлип от своего мотоцикла... Некоторое время смотрел на Моню — не то что не верил, скорее так: не верил и не понимал.

— Двигатель, что ли?

— Двигатель. Колесо-то... Крутится. Всю ночь крутилось... И сейчас крутится. Мне надоело смотреть, я пошел малость пройтись.

Инженер теперь ничего не понимал. Вид у Мони усталый и честный. И нисколько не пристыженный, а даже какой-то просветленный.

— Правда, что ли?

— Пойдем — поглядишь сам.

Инженер пошел из ограды к Моне.

— Ну, это... фокус какой-нибудь,— все же не верил он.— Подстроил там чего-нибудь?

— Какой фокус! В сарае... на полу крутится и крутится.

— От чего колесо-то?

— От велика.

Инженер приостановился.

— Ну, правильно: там хороший подшипник — оно и крутится.

— Да,— сказал Моня,— но не всю же ночь!

Они опять двинулись.

Инженер больше не спрашивал. Моня тоже молчал. Благостное настроение все не оставляло его. Хорошее какое-то настроение, даже самому интересно.

— И всю ночь крутится? — не удержался и еще раз спросил инженер перед самым домом Мони. И посмотрел пристально на Моню. Моня преспокойно выдержал его взгляд и, вроде сам тоже изумляясь, сказал:

— Всю ночь! Часов с десяти вечера толкнул его и вот... сколько уж сейчас?

Инженер не посмотрел на часы, шел с Моней, крайне озадаченный, хоть старался не показать этого, щадя свое инженерное звание. Моне даже смешно стало, глядя на него, но он тоже не показал, что смешно.

— Приготовились! — сказал он, остановившись перед дверью сарая. Посмотрел на инженера и пнул дверь... И посторонился, чтобы тот прошел внутрь и увидел колесо. И сам тоже вошел в сарай — крайне интересно стало: как инженер обнаружит, что колесо не крутится.

— Ну-у,— сказал инженер.— Я думал, ты хоть фокус какой-нибудь тут придумал. Не смешно, парень.

— Ну, извини,— сказал Моня, довольный.— Пойдем — у меня дома коньячишко есть... сохранился: выпьем по рюмахе?

Инженер с интересом посмотрел на Моню. Усмехнулся:

— Пойдем.

Пошли в дом. Осторожно, стараясь не шуметь, прошли через прихожую комнату... Прошли уже было, но бабка услышала.

— Мотька, где был-то всю ночь? — спросила она.

— Спи, спи,— сказал Моня.— Все в порядке.

Они вошли в горницу.

— Садись,— пригласил Моня.— Я сейчас организую...

— Да ты... ничего не надо организовывать! — сказал инженер шепотом.— Брось. Чего с утра организовывать?

— Ну ладно,— согласился Моня.— Я хотел хоть пирожок какой-нибудь... Ну ладно.

Когда выпили по рюмахе и закурили, инженер опять с интересом поглядел на Моню, сощурил в усмешке умные глаза.

— Все же не поверил на слово? Сделал... Всю ночь, наверно, трудился.

А Моня сидел теперь задумчивый и спокойный — как если бы у него уже было трое детей и он смотрел, как они развиваются.

— Весь день вчера угробил... Дело не в этом,— заговорил Моня, и заговорил без мелкого сожаления и горя, а с глубоким, искренним любопытством,— дело в том, что я все же не понимаю: почему оно не крутится? Оно же должно крутиться.

— Не должно,— сказал инженер.— В этом все дело.

Они посмотрели друг на друга... Инженер улыбнулся, и ясно стало, что вовсе он не злой человек — улыбка у него простецкая, доверчивая. Просто, наверно, на него, по его молодости и совестливости, навалили столько дел в совхозе, что он позабыл и улыбаться, и говорить приветливо — не до этого стало.

— Учиться надо, дружок,— посоветовал инженер.— Тогда все будет понятно.

— Да при чем тут учиться, учиться,— недовольно сказал Моня.— Вот нашли одну тему: учиться, учиться... А ученых дураков не бывает?

Инженер засмеялся... и встал.

— Бывают! Но все же неученых их больше! Я не к этому случаю говорю... вообще. Будь здоров!

— Давай еще по рюмахе?

— Нет. И тебе не советую.

Инженер вышел из горницы и постарался опять пройти по прихожей неслышно, но бабка уже не спала:

— Шагай вольнее,— сказала она,— все равно не сплю.

— Здравствуй, бабушка! — поприветствовал ее инженер.

— Здорово, милок. Чего вы-то не спите? Гляди-ко, молодые, а как старики... Вам спать да спать надо.

— А в старости-то что будем делать? — сказал инженер весело.

— В старости тоже не поспишь.

— Ну, значит, потом когда-нибудь... Где-нибудь.

— Рази что там...

Моня сидел в горнице, смотрел в окно. Верхняя часть окна уже занялась красным — всходило солнце. Село пробудилось: хлопали ворота, мычали коровы, собираясь в табун. Переговаривались люди, уже где-то и покрикивали друг на друга... Все как положено. Слава богу, хоть тут-то все ясно, думал Моня. Солнце всходит и заходит, всходит и заходит — недосягаемое, неистощимое, вечное. А тут себе шуруют: кричат, спешат, трудятся, поливают капусту... Радости подсчитывают, удачи. Хэх!.. Люди, милые люди... Здравствуйте!

ВЛАДИМИР СЕМЕНЫЧ ИЗ МЯГКОЙ СЕКЦИИ

Владимир Семеныч Волобцов здорово пил, так пил, что от него ушла жена. В один горький похмельный день он вдруг обнаружил, что его предали. Ужасное чувство: были слова, слезы, опять слова, и вот — один. Нет, конечно, родные в городке, знакомые есть, но мы знаем, что все эти родные и знакомые — это тоже слова, звуки: "Петр Николаич", "Анна Андреевна", "Софья Ивановна"... За этими звуками — пустота. Так по крайней мере было у Владимира Семеныча: никогда эти люди для него ничего не значили.

Владимир Семеныч не на шутку встревожился, очутившись в одиночестве. Что делать? Как жить? Но, когда первый ошеломляющий вал прокатил над головой, муть, поднятая в душе Владимира Семеныча, осела, осталось одно едкое мстительное чувство.

"Так? — думал Владимир Семеныч.— Вы так? Хорошо! Посмотрим, как ты дальше будешь. Как говорится, посмотрим, чей козырь старше. Не прибежишь ли ты, голубушка, снова сюда да не попросишь ли Вовку-глота принять тебя".

И Владимир Семеныч бросил пить. Так бывает: вошел клин в сознание — стоп! Вся жизнь отныне сама собой подчинилась одной мысли: так поставить дело, чтобы препо-

добная Люсенька (жена) пришла бы и бухнулась в ноги молить о прощении или чтобы она там, где она обитает, с отчаяния полезла бы в петлю.

"Ты смотри! — с возмущением думал Владимир Семеныч.— Хвост дудкой — и поминай как звали! Нет, милая, так не бывает. Не тебе, крохоборке, торжествовать надо мной победу!"

Владимир Семеныч работал в мебельном магазине, в секции мягкой мебели. Когда он давал кому-нибудь рабочий телефон, он так и говорил: — Спрашивайте Владимира Семеныча из мягкой секции.

Работать Владимир Семеныч умел: каждый месяц имел в кармане "благодарственные", кроме зарплаты. Но раньше он много денег пускал побоку, теперь же стал вполне бессовестный и жадный: стал немилосердно обирать покупателей, стал сам покупать ценности, стал богато одеваться. Он знал, что Люсенька никуда из городка не уехала, живет у одной подруги. То обстоятельство, что она не подавала на развод и не делила квартиру, вселяло поначалу уверенность, что она вернется. Но проходили недели, месяцы... Два с половиной месяца прошло, а от нее ни слуху ни духу. А ведь слышала же, конечно, что Владимир Семеныч бросил пить, ходит нарядный, покупает дорогие вещи. Значит?..

"Значит, нашла любовника,— горько и зло думал Владимир Семеныч.— Зараза! Ну ладно!"

И Владимир Семеныч решил тоже показать, что он не лыком шит, решил показать, что его козырь старше. Он был человек расторопный.

Сперва появилась Валя с сырозавода, белозубая, с голубыми глазами. Она была из деревни, почтительная, это понравилось Владимиру Семенычу. Раза два они с Валей ходили в кино, потом Владимир Семеныч пригласил ее к себе домой. В воскресенье. Прибрался дома, расставил на столе шампанское (для Вали), конфеты, грецкие орехи, яблоки... И поехал за Валей.

В общежитие к ней он доехал на трамвае, а обратно пошли пешком: чтобы все видели и передали Люське.

Шли с Валей под ручку, нарядные, положительные.

— Меня тут некоторые знают,— предупредил Владимир Семеныч,— могут окликнуть... позвать куда-нибудь.

— Куда позвать? — не поняла Валя.

— В пивную. Не надо обращать внимания. Ноль внимания. Я их больше не знаю, оглоедов. Чужбинников. Злятся,

что я бросил пить... А чего злиться? Нет, злятся. Могут провокацию устроить — не надо обращать внимания.

— А самого-то не тянет больше к ним? — спросила Валя.

— К ним! Я их презираю всех до одного!

— Хорошо. Молодец! — от всего сердца похвалила Валя.— Это очень хорошо! Теперь — жить да радоваться.

— Я и так пропустил сколько времени! Я бы уж теперь завсекцией был.

— Еще пока опасаются?

— Чего опасаются? — не понял Владимир Семеныч.

— Завсекцией-то ставить. Пока опасаются?

— Я думаю, уже не опасаются. Но дело в том, что у нас завсекцией — старичок, он уже на пенсии, но еще работает, козел. Ну, вроде того, что неудобно его трогать. Но думаю, что внутреннее решение они уже приняли: как только тот уйдет, я занимаю его место.

Пошли через городской парк.

Там на одной из площадок соревновались городошники. И стояло немного зрителей — смотрели.

Владимир Семеныч и Валя тоже минут пять постояли.

— Делать нечего,— сказал Владимир Семеныч, трогаясь дальше в путь.

— А у вас, Владимир Семеныч, я как-то все не спрошу: родные-то здесь же живут? — поинтересовалась Валя.

— Здесь! — воскликнул не без иронии Владимир Семеныч.— Есть дяди, два, три тетки... Мать с отцом померли. Но эти... они все из себя строят, воображают, особенно когда я злоупотреблял. У нас наметилось отчуждение.— Владимир Семеныч говорил без сожаления, а как бы даже посмеивался над родными и сердился на них.— Обыватели. Они думают, окончили там свои... Мещане! Я же не мальчик им, понимаешь, которого сперва можно не допускать к себе, потом, видите ли, допустить. У меня ведь так: я молчу-молчу, потом как покажу зубы!.. Эта моя дура тоже думает, что я за ней бегать стану. Шутить изволите! Если у меня в жизни вышел такой кикс, то я из него найду выход.— Владимир Семеныч очень гордился, что бросил пить, его прямо распирало.— Посмотрим через пару лет, как будут жить они, а как я. Крохоборы. Я через месяц себе "роджерс" (гарнитур такой, югославский) приволоку: обещали завезти штук семь. Две тысячи сто семьдесят рэ. Через месяц они у меня будут. Видела когда-нибудь "роджерс"?

— Нет. Мебель такая?

— Гостиная такая, особенно стенка шикарная. А "россарио" видела?

— Нет.

— У меня стоит "россарио", счас посмотришь. Всего девять штук в городе.

— Гляди-ка! — удивилась Валя.

— Им во сне не снились такие гарнитуры. От "роджерса" они вообще офигеют. Жить надо уметь, господа присяжные заседатели! — воскликнул Владимир Семеныч, ощутив прилив гордого чувства.— Меня почему и пить-то повело: чего ни возьмусь сделать, все могу! Меня даже из других городов просят: достань дубленку или там еще что... Ну, естественно, каждый старается угостить... У меня душа добрая: я уважительный тон хорошо чувствую. И вот это сознание — это я все могу — привело меня к злоупотреблению. Я и работал, как конь, и пил, разумеется.

Валя засмеялась.

— А? — сказал довольный Владимир Семеныч.— Что смеешься?

— Да вы прямо уж... всю правду про себя.

— А чего?!— опять воскликнул Владимир Семеныч. Ему было легко с Валей.— Я всегда так. Если я хочу Люське фитиля вставить, я не скрываю: вставлю. Она надеется, что комнату у меня оттяпает? Пусть. Я все равно себе кооперативную буду строить, но пусть она попробует разменять двухкомнатную на две однокомнатные. Я же в кооператив-то не подам, пока нас не разделят, а как разделят, сразу подаю в кооператив. Вот тогда она узнает: подселят каких-нибудь пенсионеров, они ей покажут тинь-тили-ли. Будь спок, милая: я все сделаю по уму.

Дома у себя Владимир Семеныч чего-то вдруг засуетился, даже как будто заволновался.

— Ну-с... вот здесь мы и обитаем! — шумно говорил он.— Не хоромы, конечно, но, как говорит один мой коллега, я под этой работой подписываюсь. Как находишь?

— Хорошо,— похвалила Валя.— Очень даже хорошо!

Владимир Семеныч снял с нее плащ болонью, при этом почему-то не смотрел ей в глаза (может, грех затевал), усадил в креслице, к креслицу пододвинул журнальный столик... На столике было много разных журналов с картинками.

— Прошу... полистай пока. Как тебе "россарио"?

— Какой "россарио"?

— На чем сидишь-то! — воскликнул Владимир Семеныч со смехом.— Кресло-то из "россарио". А вот — стенка. Гарнитур "россарио". Финский. Тысяча двести.

— Так, а зачем же еще какой-то?

— Надо дожимать. Но "роджерс" здесь не появится, пока нас с Люськой не разделят: нема дурных. Посиди, я пока кофе себе сготовлю.— И Владимир Семеныч поспешил на кухню готовить кофе. Но и оттуда все говорил. Громко.— У тебя родных много в деревне?

— Много,— отвечала Валя.

— Вот эти родственнички!..— кричал из кухни Владимир Семеныч.— Да?! Как грибов!.. А коснись чего-нито — никого? Да?

Валя ничего на это не сказала, листала журнал.

— Как находишь журналы?! — опять закричал Владимир Семеныч.

— Хорошие.

— По тематике подбирал! Обрати внимание: все жмут на уют.

— А?!

— Уют подчеркивают!

— Да...— сказала Валя.

— Не находишь, что в квартире,— кричал Владимир Семеныч,— не хватает заботливой женской руки?!

Валя не знала, что на это говорить.

— Да бог ее знает...

— А?!

— Не знаю!

— Явно не хватает! — Владимир Семеныч появился в комнате с подносом в руках. На подносе — медный такой сосудец с кофе, малые чашечки.— Жить тем не менее надо красиво,— сказал он.— Прошу: сядем рядком, потолкуем ладком.

Сели к столу, где стояли бутылка шампанского, вазы с конфетами, с орехами, с печеньем. Владимир Семеныч нагнулся вбок куда-то и что-то такое включил — щелкнуло. Музыку, оказывается: в комнату полились грустные человечнейшие звуки.

— "Мост Ватерлоо",— сказал Владимир Семеныч тихо. И смело посмотрел в глаза девушке: — Как находишь?

— Хорошая,— сказала Валя. И чуть покраснела от взгляда Владимира Семеныча.

Зато Владимир Семеныч осмелел вполне. Он говорил и откупоривал шампанское, наливал шампанское в фужер и говорил...

— Я так считаю: умеешь жить — живи, не умеешь — пеняй на себя. Но, кроме всего прочего, должен быть вкус, потому что... если держать, например, две коровы и семнадцать свиней — это тоже считается хорошо. Должен быть современный уровень — во всем. Держи, но пока не пей: мы на брудершафт выпьем. Я себе кофе налью.

— Как это? — спросила Валя.

— На брудершафт-то? А вот так вот, берутся... Дай руку. Вот так вот берут, просовывают...— Владимир Семеныч показал.— Так? И — выпивают. Одновременно. Мм? — Владимир Семеныч близко заглянул опять в глаза Вале.— Мм? — Губы его чуть дрожали от волнения.

— Господи!..— сказала Валя.— Для чего так-то?

— Ну, происходит... тесное знакомство. Уже тут... сознаются друг другу. Некоторый союз. Мм?

— Да что-то мне... как-то... Давайте уж прямо выпьем.

— Да нет, зачем же прямо-то? — Владимир Семеныч хотел улыбнуться, но губы его свело от волнения, он только покривился. И глотнул.— Мм? Зачем прямо-то? Дело же в том, что тут образуется некоторый союз... И скрепляется поцелуем. Я же не в Карачарове это узнал.— Владимир Семеныч опять глотнул.— Мм?

— Да ведь неспособно так пить-то!

— Да почему же неспособно?! — Владимир Семеныч придвинулся ближе, но у него это вышло неловко, он расплескал кофе из чашечки.— Вовсе даже способно. Почему неспособно-то? Поехали. Музыка такая играет... даже жалко. Неужели у тебя не волнуется сердце? Не волнуется?

— Да бог его знает...— Вале было ужасно стыдно, но она хотела преодолеть этот стыд — чтобы наладился этот современный уровень, она хотела, чтобы уж он наладился, черт с ним совсем, ничего не поделаешь, везде его требуют.— Волнуется вообще-то. А зачем говорить-то про это?

— Да об этом целые тома пишут! — воскликнул ободренный Владимир Семеныч.— Поэмы целые пишут! В чем дело? Ну? Ну?.. А то шампанское выдыхается.

— Да давай прямо выпьем! — сказала Валя сердито. Никак она не могла развязаться.— Какого дьявола будем кособочиться?

— Но образуется же два кольца...— Владимир Семеныч растерялся от ее сердитого голоса.— Зачем же ломать тради-

цию? Музыка такая играет... Мы ее потом еще разок заведем. Мм?

— Да не мычи ты, ну тя к черту! — вконец чего-то обозлилась Валя.— Со своей музыкой... Не буду я так пить. Отодвинься. Трясется сидит, как...— Валя сама отодвинулась. И поставила фужер на стол.

— Выйди отсюда,— негромко, зло сказал Владимир Семеныч.— Корова. Дура.

Валя не удивилась такой чудовищной перемене. Встала и пошла надевать плащ. Когда одевалась, посмотрела на Владимира Семеныча.

— Корова,— еще сказал Владимир Семеныч.

— Ну-ка!..— строго сказала Валя.— А то я те пообзываюсь тут! Сам-то... слюнтяй.

Владимир Семеныч резко встал... Валя поспешно вышагнула из квартиры. Да так крепко саданула дверью, что от стены над косяком отвалился кусок штукатурки и неслышно упал на красный коврик.

— Корова,— еще раз сказал Владимир Семеныч. И стал убирать со стола.

После этого Владимир Семеныч долго ни с кем не знакомился. Потом познакомился с одной... С Изольдой Викторовной. Изольда Викторовна покупала дешевенький гарнитур, и Владимир Семеныч познакомился с ней. Она тоже разошлась с мужем, и тоже из-за водки — пил мужик. Владимир Семеныч проявил к ней большое сочувствие, помог отвезти гарнитур на квартиру. И там они долго беседовали о том, что это ужасно, как теперь много пьют. Как взбесились! Семьи рушатся, судьбы ломаются... И ведь что удивительно: не с горя пьют, какое горе! Так — разболтались.

Изольда Викторовна, приятная женщина лет тридцати трех — тридцати пяти, слушала умные слова Владимира Семеныча, кивала опрятной головкой. У нее чуть шевелился кончик аккуратного носика. Она понимала Владимира Семеныча, но самой ей редко удавалось вставить слово — говорил Владимир Семеныч. А когда ей удавалось немного поговорить, кончик носа ее заметно шевелился, на щеках образовались и исчезли, образовывались и исчезали ямочки, и зубки поблескивали белые, ровные. Владимир Семеныч под конец очень растрогался и сказал:

— У меня один родственничек диссертацию защитил — собирает банкет: пойдемте со мной? А то я тоже... один, как столб, извините за такое сравнение.

И Владимир Семеныч поведал свою горькую историю, как он злоупотреблял тоже, как от него ушла жена... И так у него это хорошо — грустно — вышло, так он откровенно все рассказал, что Изольда Викторовна посмеялась и согласилась пойти с ним на банкет. Владимир Семеныч шел домой чуть не вприпрыжку — очень ему понравилась женщина. Он все видел, как у нее шевелится носик, губки шевелятся, щечки шевелятся — все шевелится, и зубки белые поблескивают.

"Да какая умненькая! — радостно думал Владимир Семеныч.— Вот к ней-то "роджерс" подойдет. Мы бы с ней организовали славное жилье".

Было воскресенье. Владимир Семеныч шел с Изольдой Викторовной в ресторан. Хотел было взять ее под ручку, но она освободилась и просто сказала:

— Не нужно.

Владимир Семеныч хотел обидеться, но раздумал.

— Я вот этого знаю,— сказал он.— Только не оглядывайтесь. Потом оглянетесь.

Прошли несколько.

— Теперь оглянитесь.

Изольда Викторовна оглянулась.

— В шляпе,— сказал Владимир Семеныч.— С портфелем.

— Так... И что?

— Он раньше в заготконторе работал... Мы как-то были с ним в доме отдыха вместе, ну, наклюкались... Ну, надо же что-то делать! Он говорит: "Хочешь, ссйчас со второго этажа в трусах прыгну?" Струков его фамилия, вспомнил.

— Ну?

— Прыгнул. Разделся до трусов и прыгнул. На клумбу цветочную. Ну, конечно, сообщили на работу. Приходил потом ко мне: "Напиши как свидетель, что я случайно сорвался".

— И что вы?

— Что я, дурак, что ли? Он случайно разделся, случайно залез на подоконник, случайно закричал: "Полундра!" Я говорю: "Зачем "полундру"-то было кричать? Кто же нам после этого поверит, что "случайно"?" По-моему, перевели куда-то. Но ничего, с портфелем ходит... Мы, когда встречаемся, делаем вид, что не знаем друг друга. А в одной комнате жили.

— Дурак какой! — сказала Изольда Викторовна.— Со второго этажа... Мог же голову свернуть.

— Не дурак, какой он дурак. Это так называемые духари: геройство свое показать. Я, если напивался, сразу под стол лез...

— Под стол?

— Не специально, конечно, но... так получалось. Я очень спокойный по натуре.— Владимир Семеныч, сам того не замечая, потихоньку хвалил себя, а про "роджерс" и "россарио" молчал — чуял, что не надо.

Изольда Викторовна работала библиотекарем, Владимир Семеныч работу ее уважал, хоть понимал, что заработки ее скромны.

В ресторане для банкета был отведен длинный стол у стены.

Приглашенные, некоторые, уже сидели. Сидели чинно, прямо. Строго и неодобрительно поглядывали на малые столики в зале, за которыми выпивали, кушали, беседовали... Играла музыка, маленький толстый человек пел на возвышении песню не по-русски.

— Вон та, в голубом платье...— успел сообщить Владимир Семеныч, пока шли к столу через зал,— с ней опасайтесь насчет детского воспитания спорить: загрызет.

— Что такое? — испугалась Изольда Викторовна.

— Не бойтесь, но лучше не связывайтесь: она в детском садике работает, начальница там какая-то... Дура вообще-то.

Владимир Семеныч широко заулыбался, с достоинством поклонился всем и пошел здороваться и знакомить Изольду Викторовну.

На Изольду Викторовну смотрели вопросительно и строго. Некоторые даже подозрительно. Она смутилась, растерялась... Но когда сели, Владимир Семеныч горячо зашептал ей:

— Умоляю: выше голову! Это мещане, каких свет не видел. Тут одна показуха, один вид, внутри — полное убожество. Нули круглые сидят.

— Может, нам уйти лучше?

— Зачем? Посидим... Любопытно.

Получилось, вообще-то, что они сидят напротив начальницы из детсадика, а по бокам от них — пожилые и тоже очень строгие, больше того — презирающие всех, кто в тот вечер оказался в ресторане. Они смотрели в зал, переговаривались. Делали замечания. Не одобряли они все это, весь этот шум, гам, бестолковые выкрики...

— А накурено-то! Неужели не проветривается?

— Дело не в этом. Здесь же специально сидят, одурманивают себя — зачем же проветривать?

— А вон, вон — молоденькая!.. Во-он, хохочет-то. Заливается!

— С офицером-то?

— Да. Как хохочет, как хохочет!.. Будущая мать.

— Почему будущая! У них теперь это рано...

— Это вы меня спросите! — воскликнула полная женщина в голубом.— Я как раз наблюдаю... результаты этого смеха.

— А где же наш диссертант-то? — спросил Владимир Семеныч.

— За руководителем поехал.

— За генералом, так сказать?

Не поняли:

— За каким генералом?

— Ну, за руководителем-то... Я имею в виду Чехова.— Владимир Семеныч повернулся к Изольде Викторовне: — У него руководитель — известный профессор в городе, я ему "россарио" доставал. Я его называю — генерал, в переносном смысле, разумеется. Вам не хочется поговорить с кем-нибудь? Может, пошутили бы... А то как-то неудобно молчать.

— Я не знаю, о чем тут говорить,— сказала Изольда Викторовна.— Мне все же хочется уйти.

— Да ничего! Надо побыть... Можно алкоголиков покритиковать — они это любят. Медом не корми, дай...

— Нет, не сумею. Надо уйти.

— Да почему?! — с сердцем воскликнул Владимир Семеныч.— Ну, что уж так тоже: уйти, уйти! Уйти мы всегда успеем.— Владимир Семеныч спохватился, что отчитывает милую женщину, помолчал и добавил мягко, с усмешкой: — Не торопитесь, я же с вами. В случае чего я им тут фитиля вставлю.

Изольда Викторовна молчала.

А вокруг говорили. Подходили еще родственники и знакомые нового кандидата, здоровались, усаживались и включались в разговор.

— Кузьма Егорыч! — потянулся через стол Владимир Семеныч к пожилому, крепкому еще человеку...— А, Кузьма Егорыч!.. Не находите, что он слишком близко к микрофону поет?

— Кто? — откликнулся Кузьма Егорыч.— А, этот... Нахожу. По-моему, он его сейчас скушает.

— Кого? — не поняли со стороны.

— Микрофон.

Ближайшие, кто расслышал, засмеялись.

— Сейчас вообще мода пошла: в самый микрофон петь. Черт знает что за мода!

— Ходят с микрофоном! Ходит и поет. Так-то можно петь.

— Шаляпин без микрофона пел!

— Ну, взялись,— негромко, с ехидной радостью сказал Владимир Семеныч своей новой подруге.— Сейчас этого... с микрофоном вместе съедят.

— То Шаляпин! Шаляпин свечи гасил своим басом,— сказал пожилой.

Так сказал, как если бы он лично знавал Шаляпина и видел, как тот "гасил свечи".

— А вот и диссертант наш! — заволновались, задвигались за столом.

По залу сквозь танцующих пробирались мужчина лет сорока, гладко бритый, в черном костюме и в пышном галстуке и с ним — старый, несколько усталый, наверно, профессор.

Встали навстречу им, захлопали в ладоши. Женщина в голубом окинула презрительным взглядом танцующих бездельников.

— Прошу садиться! — сказал кандидат.

— А фасонит-то! — тихо сказал Владимир Семеныч.— Фасонит-то!.. А сам небось на трояки с грехом пополам вытянул. Фраер.

— Боже мой! — изумилась Изольда Викторовна.— Откуда такие слова!.. Зачем это?

— Тю! — в свою очередь искренне изумился Владимир Семеныч.— Да выпивать-то с кем попало приходилось — набрался. Нахватался, так сказать.

— Но, зачем же их тут произносить?

Владимир Семеныч промолчал. Но, как видно, затаил досаду.

Тут захлопали бутылки шампанского.

— Салют! — весело закричал один курносый, в очках.— За новоиспеченного кандидата!

— Товарищ профессор, ну как он там вообще-то? Здорово плавал?

Профессор неопределенно, но в общем вежливо пожал плечами.

— За профессора! За профессора! — зашумели.

— За обоих! И — за науку!

Кандидат стоял и нахально улыбался.

— За здоровье всех наших дам! — сказал он.

Это всем понравилось.

Выпили. Придвинулись к закуске. Разговор не прекращался.

— Грибки соленые или в маринаде?

— Саша, подай, пожалуйста, грибочки! Они соленые или в маринаде?

— В маринаде.

— А-а, тогда не надо, у меня сразу изжога будет.

— А селедку?.. Селедку дать?

— Селедочку? Селедочку можно, пожалуй.

— Вам подать в маринаде? — спросил Владимир Семеныч Изольду Викторовну.

— Можно.

— Сань, подай, пожалуйста, в маринаде! Вон — в маринаде!

— А танцуют ничего. А?

— Слышите! Сергей уже оценил: "Танцуют ничего"!

Засмеялись:

— Подожди, он сам скоро пойдет. Да, Сергей?

— А что? И пойду!

— Неисправимый человек, этот Сергей!

— Дурак неисправимый,— уточнил Владимир Семеныч Изольде Викторовне.— Дочка в девятый класс ходит, а он все на танцах шустрит. Вон он, в клетчатом пиджаке.

Изольда Викторовна интеллигентно потыкала вилочкой маринованные грибочки, которые она перед тем мелко порезала ножиком... Но Владимир Семеныч не давал ей как следует поесть — все склонялся и говорил ей что-нибудь. Она слушала и кивала головой.

Поднялся во весь рост курносый Сергей:

— Позвольте!

— Тише, товарищи!..

— Дайте тост сказать! Товарищи!..

— Товарищи! За дам мы уже выпили... Это правильно. Но все же, товарищи, мы собрались здесь сегодня не из-за дам; при всем моем уважении к ним.

— Да, не из-за их прекрасных глаз!

— Да. Мы собрались... поздравить нового кандидата, нашего Вячеслава Александровича. Просто — нашего Славу. И позвольте мне тут сегодня скаламбурить: слава нашему Славе!

Засмеялись и захлопали.

Курносый сел было, но тут же вскочил опять:

— И позвольте, товарищи!.. Товарищи! Позвольте также приветствовать и поздравить руководителя, который направлял, так сказать, и всячески помогал... и является организатором и вдохновителем руководящей идеи, которая заложена в основе. За вас, товарищ профессор!

Дружно опять захлопали.

— Трепачи,— сказал Владимир Семеныч Изольде Викторовне.

Изольда Викторовна тоскливо опять покивала головой.

Со всех сторон налегали на закуску и продолжали активно разговаривать.

Пожилой человек и человек с золотыми зубами наладили через стол дружеские пререкания. А так как было шумно и гремела музыка, то и они тоже говорили очень громко.

— Что не звонишь? — кричал пожилой.

— А?

— Не звонишь, мол, почему?

— А ты?

— Я звонил! Тебя же на месте никогда нету!

— А-а, тут я не виноват! Не виноват я!

— Так взял бы да позвонил! Я-то всегда на месте!

— А я звонил вам, Кузьма Егорыч! — хотел влезть в этот разговор Владимир Семеныч, обращаясь к пожилому, к Кузьме Егорычу.— Вас тоже не было на месте.

— А? — не расслышал Кузьма Егорыч.

— Я говорю, я вам звонил!

— Ну и что? А чего звонил-то?

— Хотел... это... Нам "роджерсы" хотят забросить...

— Кузьма! А, Кузьма!..— кричал золотозубый. Кузьма Егорыч повернулся к нему.— Ты Протопопова встречаешь?

— Кого?

— Протопопова!

— Каждый день!

— Ну как? — спросил Владимир Семеныч Изольду Викторовну.— Скучно?

— Ничего,— сказала она.

— Видите, какой разгул мещанства! Взял бы всех и облил шампанским. Здесь живут более или менее только вот эти два, которые кричат друг другу... Остальные больше показуху разводят.

— А я уж думал, тебя перевели куда-нибудь! — кричал Кузьма Егорыч золотозубому.— Куда он, думаю, пропал-то?!

— Куда перевели?

— Может, думаю, повысили его там!

— Дожидайся — повысят! Скорей — повесят!

— Ха-ха-ха!..— густо, гулко засмеялся Кузьма Егорыч.

— Ну что, Софья Ивановна? — обратился Владимир Семеныч к женщине в голубом. Его злило, что ни его, ни его подругу как-то не замечают, не хотят замечать.— Все воюете там, с малышами-то.

Софья Ивановна мельком глянула на него и постучала по графину.

— Товарищи!.. Товарищи, давайте предложим им нормальный вальс! Ну, что они... честное слово, неприятно же смотреть!

— В чужой монастырь со своим уставом...

— Да почему?! Мы же в своей стране, верно же! Давайте попросим сыграть вальс. Молодежь!..

— Не надо,— остановил Кузьма Егорыч.— Не наше дело: пусть с ума сходят.

— А вот это в корне неправильное решение! — восстала Софья Ивановна.

— Да хорошо танцуют, чего вы! — сказал человек с золотыми зубами.— Был бы помоложе, сам пошел бы... подрыгался.

— Именно — подрыгался! Разве в этом смысл танца?

— Ну, еще тут смысла искать! А в чем?

— В кра-соте! — объяснила Софья Ивановна.

— А смысл красоты в чем? — все хотел тоже поговорить Владимир Семеныч.— А, Софья Ивановна? Если вы, допустим, находите, что вот этот виноград...

— Одну минуточку, Алексей Павлыч, вы что, не согласны со мной? — требовательно спрашивала Софья Ивановна золотозубого.

— Согласен, согласен, Софья Ивановна,— сказал Алексей Павлович недовольно.— Конечно, в красоте. В чем же еще!

— Да, но в чем смысл красоты?! — вылетел опять Владимир Семеныч.

— Так в чем же дело? — Софья Ивановна упорно не хотела замечать Владимира Семеныча.— Алексей Павлыч!

— Ау?

— В чем же дело?!

Владимир Семеныч помрачнел.

— Пойдемте домой,— предложила Изольда Викторовна.

— Подождите. А то поймут как позу... Ну, кретины! Крохоборы.

— Саша, Саш! — громко говорили за столом.— У тебя Хламов бывает?

— Вчера был.

— Как он?

— В порядке.

— Да? Устроился?

— Да.

— Довольный?

— Ничего, говорит. А чего ты о нем?

— Пойдемте домой,— опять сказала Изольда Викторовна.

Владимир Семеныч вместо ответа постучал вилкой по графину.

— Друзья! — обратился он ко всем.— Минуточку, друзья!.. Давайте организуем летку-енку! В пику этим...

— Да что они вам?! — рассердился Алексей Павлович, золотозубый.— Танцуют люди, нет, надо помешать.

Владимир Семеныч сел.

Помолчал и сказал негромко:

— Ох, какие мы нервные! Ах ты, батюшки!..— Взял фужер с вином и выпил один.

— Что это вы? — удивленно спросила Изольда Викторовна.

— Какие ведь мы все... культурные, но слегка нервные,— не мог успокоиться Владимир Семеныч.— Да? Зубы даже из-за этого потеряли.

Никто не слышал Владимира Семеныча, только Изольда Викторовна слышала. Она со страхом смотрела на него. Владимир Семеныч еще набухал в фужер и выпил.

— Какие мы все нервные! Да, Софья Ивановна?! — повысил голос Владимир Семеныч, обращаясь к Софье Ивановне.— Культурные, но слегка нервные. Да?

Софья Ивановна внимательно посмотрела на Владимира Семеныча.

— Нервные, говорю, все! — зло сказал Владимир Семеныч, глядя в глаза строгой женщины.— Все прямо изнервничались на общественной работе!— Владимир Семеныч искусственно — недобро — посмеялся.

— Что, опять? — спросила Софья Ивановна значительно и строго.

— Да вы только это... не смотрите на меня, не смотрите таким... крокодилом-то,— сказал Владимир Семеныч.— Не смотрите — мы же не в детсадике. Верно? Имел я вас всех в виду!

К Владимиру Семенычу повернулись кто был ближе и слышали, как он заговорил. Повернулись и смотрели.

— Имел, говорю, я вас всех в виду! — повторил для всех Владимир Семеныч.— Очень уж вы умные все, как я погляжу! Крохоборы...

— Володька! — предостерегающе сказал курносый Сергей.

— Что — Володька? Я тридцать четыре года Володька. Я вас всех имел в виду.— Владимир Семеныч налил в фужер и выпил.— Вот так.— Он оглянулся — Изольды Викторовны рядом не было. Сбежала. Владимира Семеныча пуще того злость взяла: — Я вам популярно объясняю: вы все крохоборы. Во главе с Софьей Ивановной. А она просто дура набитая. Мне жалко ребятишек, которыми она там командует... Вы все дураки!

Теперь все за столом молчали.

— Ду-ра-ки! — повторил Владимир Семеныч. И встал.— Мещане! Если вас всех... все ваши данные заложить в кибернетическую машину и прокрутить, то выйдет огромный нуль! Нет, вы сидите и изображаете из себя поток информации. Боже мой!..— Владимир Семеныч скорбно всех оглядел.— Нет,— сказал он,— я под такой работой не подписываюсь. Адью! Мне грустно.

Он вышел на улицу и стал звать:

— Изольда Викторовна! Изольдушка!..— Он думал, она где-нибудь близко — ждет его. Но никто не отзывался.— Изольдушка!..— еще покричал Владимир Семеныч. И заплакал. Выпитое вино как-то очень ослабило его. В голове было ясно, но так вдруг стало грустно, так одиноко! Он хотел даже двинуть к подруге жены, чтобы поговорить с женой... Но одумался.

— Нет,— говорил он сам с собой,— нет, только не это. Этого вы от меня не дождетесь, крохоборы. Нули. Этой радости я вам не сделаю.

Он шел по неосвещенной улице, как по темной реке плыл,— вольно загребал руками, и его куда-то несло. От горя и одиночества хотелось орать, но он знал и помнил, что это нельзя, это, как выражаются кандидаты, чревато последствиями.

Принесло его как раз к дому. Он вошел в опостылевшую квартиру и, не раздеваясь, стал ломать "россарио". Открывал дверцы и заламывал их ногой в обратную сторону: дверцы с хрустом и треском безжизненно повисали или отваливались вовсе. И этот хруст успокаивал растревоженную душу, это

как раз было то, что усладило вдруг его злое, мстительное чувство.

— Вот так вот... крохоборы несчастные,— приговаривал Владимир Семеныч.— Пр-рошу!.. Хр-р-рость — еще одна дверца отвалилась и со стуком упала на пол.— Пр-рошу!.. Мещане! — И еще одна гладкая, умело сработанная доска валяется на полу.— Жулики! Пр-рошу!..

Но что удивительно: Владимир Семеныч ломал "россарио" и видел, как это можно восстановить. В мебельном магазине, где работал Владимир Семеныч, работал же золотой краснодеревщик дядя Гриша, он делал чудеса с изуродованной мебелью. И опытный глаз Владимира Семеныча отмечал, где надо будет поставить латку и пустить под морилку, где, видно, придется привернуть металлические полоски, чтобы было куда крепить шарнирные устройства. Но все же дверцы Владимир Семеныч выломил все. И после этого лег спать.

ПЬЕДЕСТАЛ

И стало это у Константина Смородина как болезнь: днем, на работе, рисует свои вывески, плакаты, афиши, а вечером, дома, начинает все ругать — свою работу, своих начальников, краски, зрителя, всех и все.

— Долбаки! — зло говорил он и стискивал зубами янтарный мундштук.— Если они рекламируют пиво, то на вывеске обязательно давай счастливое рыло. Почему?! — Константин Смородин, маленький, грудастый, в пляжном халате 54-го размера, походил на воробья, которому зачем-то накинули детскую распашонку.— В чем здесь логика восприятия? Счастье — в кружке пива?

Жена Константина Смородина, худощавая, медлительная, смотрела большими темными глазами чуть выше мужа, о чем-то думала о своем, затяжном и неясном. Она работала кассиром в кинотеатре и могла думать вот так вот — рассеянно и бесконечно — даже когда продавала билеты. Отрывала билетики, брала деньги, сдавала сдачу — и думала, думала. Она была очень молчалива. Константин Смородин упражнялся перед ней как хотел — она до поры до времени не реагировала. Да он и не требовал, чтоб она реагировала. И — странно тоже — почему-то его не интересовало, о чем она думает, он не спрашивал.

— А если я вам, вместо счастливого лица, нарисую кружку пива и большой кукиш — это как? А ведь тут ба-альшой смысл! — Константин Смородин мастеровито посасывал мундштук, щурил глаза от дыма, но мундштук изо рта не вынимал.— Не согласны? А я вам докажу! Пойдем по логике. Чтобы выпить кружку пива, ты должен на жаре отстоять очередь. Потом — ты взял кружку пива. Выпил. Постоял маленько, тебе еще захотелось. Но ты посмотрел на очередь, поднял руку и резко опустил — и пошел в магазин. Взял бутылку вина и выпил се на жаре. Тебя развезло... Ты пошарил в кармане — у тебя оказалось еще два рваных. Ты, как говорится, "затроил", в результате пришел домой на бровях. Шум. Скандал. Все началось с кружки пива.— Константин Смородин, удовлетворенный, смотрел в дымчато-темные, чуть влажные глаза жены... Она ему — из далеких-далеких каких-то своих дум — кивала поощрительно.

— Пойдем еще по логике...— продолжал Смородин. И так ходил он по этой логике каждый вечер, нервничал, злился, но не уставал и не отчаивался.

— Будешь ужинать? — спрашивала жена.

— Окрошечки бы... М-м? — спрашивал Смородин.— Холодненькой.

— Садись.

Хлебая окрошку, Смородин опять возмущался.

— Окрошка из сладкого кваса! Ну не е-мое?! — В недавнем прошлом Смородина значилась тюрьма, лет пять,— за отдаленное участие в изготовлении фальшивых денег, он прихватил в лагере тамошний сочный, богатый образами язык и обильно вплетал разные слова и словечки в теперешнюю мирную речь.— Пить его — еще туда-сюда, но окрошка-то!.. Сахар с луком! Ну делай: для питья один, для окрошки — другой, кислый. Ну что же — сладкая окрошка-то?! Или тоже от фонаря: все съедят?! Ну, кумовья, я их маму...

— Не ругайся,— спокойно просила жена.

— Я не ругаюсь, я злюсь. Хорошая злость помогает в работе, это еще мой учитель говорил. "Как, говорит, дойдет, что охота укусить кого-нибудь,— беги к холсту!" У Смородина был и учитель, оказывается: деревенский любитель, добрый человек, не от мира сего, дядя Иван, коновал, философ и художник. Он давно помер, но Смородин хранил о нем светлую память. Философия дяди Ивана покоилась на трех китах. 1. Когда тебя обижает кто-нибудь, ты думай про того:

"Дурак, делать, что ли, больше нечего?" 2. Не гонись за богатством — меньше хлопот. 3. Самые хорошие люди — кони. Когда изведут всех коней под корень, наступит конец света, в том смысле, что каждый озлобится на каждого.

Были у него и еще правила, но так, на каждый день. Например: если тебе нечего делать, а делать чего-нибудь всегда надо,— складывай песню. Или рисуй. Или на балалайке играй. Только не торчи без дела, лучше как-нибудь скрась людям жизнь. Смородин не все усвоил из учения дяди Ивана, то есть почти ничего не усвоил. Как подрос, попал в город, так пошло его носить, как-то не до правил стало. Какие правила! Несет тебя — цепляйся за все, что подвернется под руку, иначе в этой опасной реке булькнешь и только пузыри от тебя пойдут. Но кое-что Смородин все же взял из житейской науки дяди Ивана: например, никогда не ленился работать. И теперь у Смородина была работа. Большая! Был холст... Он стоял в маленькой отдельной комнатке против окна — от стены до стены. Он стоял здесь с год уже; работа подвигалась трудно, но подвигалась упорно. Вот что было на холсте. Стоит стол, за столом сидят два человека... с одинаковым лицом. Никакого зеркала, просто два одинаковых человека сидят за столом, и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом. Картина должна называться "Самоубийца". Откуда, из каких подвалов вынес Смородин такую печальную тему, это станет понятно несколько позже. Впрочем, это и теперь не секрет: тему и сюжет подсказала жена Константина Смородина, эта странная задумчивая женщина.

Когда Смородин входил в маленькую комнатку, на лице его появлялось выражение злой решимости. Укусить не укусить, но надавать в зубы кому-нибудь — с таким лицом только и делать. Он подолгу стоял перед полотном в пляжном халате, перехваченном в талии толстым поясом с шишками на концах, стоял, сунув руки глубоко в карманы халата, сосал мундштук и свирепо щурился. Жена его не входила во время работы в комнатку, он не велел.

Работал Смородин днем, чаще в субботу и воскресенье. Световой день его заканчивался рано, и когда поздно вечером приходила жена с работы, Смородин сидел обычно на кухне в неизменном халате, пил чай.

— Как дела? — спрашивал Смородин.

Жена пожимала плечами, что — "никак". Молча переодевалась (тоже надевала халат), молча ж подсаживалась к столу и пила чай. А Смородин рассказывал.

— Захожу вчера к своему долбаку: "Вызывали?" — "Вызывал. Для молочного кафе эскиз вы делали?" — "Я-с. Не нравится?" — "Что это у вас тут такое?" — "Вымя коровье. А это — соски. Просто же".— "Это авиабомбы какие-то, а не соски!"

Жена Смородина, когда он рассказывал об этом, засмеялась. Она смеялась беззвучно, и опять же — вроде себе, своим мыслям. Посмеялась и покачала головой, как делают, когда даже ничего говорить не хочется на глупость. Смородина этот ее смех сильно воодушевил. Он встал и заходил по шестиметровой кухне, да так быстро поворачивался, что полы его халата распахивались, видны были кривые волосатые ноги.

— Авиабомбы, да! — начиненные молоком и здоровьем! Когда они обрушиваются на людей, они сеют... так сказать, кровь с молоком. Пусть бьет меня такая бомба по кумполу — на здоровье!

— Про Вьетнам надо было,— подсказала жена.

— Что про Вьетнам? — не понял Смородин. И остановился.

— Там — смерть, здесь — молоко. Он бы завизжал от восторга.

— Не сообразил.— Смородин двинулся было, но опять остановился.— А что если вообще — триптих такой: бомбежка — раз, кладбище — два и вымя в облаках... А?

Жена, не меняя задумчивого выражения на лице, посмотрела на мужа. Спросила:

— Зачем?

— Ну, триптих такой...

— Это же не музей.

— Ну да,— согласился Смородин.

— Чем закончилось с вымем-то?

— Переделал! — как-то даже весело воскликнул Смородин.— Пусть кушают примитив. Я теперь пришел к выводу: чем хуже, тем для них лучше.— И Смородин гордо посмотрел на жену. Жена тоже посмотрела на него и кивнула головой. И в глазах ее темных померцал слабый свет ласки.

— Ты таких слов не говорил,— сказала она.

— Я их говорю!

— Ты их не говорил,— упрямо повторяла смуглая жена.

— Не понял,— признался Смородин. И вынул изо рта мундштук.

— Твой начальник никогда не слышал от тебя таких слов. И соседи не слышали. И никто. Иначе ты ничего не успеешь сделать.

— А-а! — дошло, наконец, до Смородина.— Ну, это само собой. Это я секу.

— Надо, чтоб у них потом отвисли челюсти. Талант всегда немножко взрывается. Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он какой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг в один прекрасный день, все узнают, что этот человек — гений. Ну, не гений, крупный талант.— Жена Смородина не всегда молчала. Иногда она начинала говорить и тогда преображалась: говорила сильно, с глубокой страстью, и опять куда-то, в даль своих постоянных далеких дум. И глаза ее явственно светились светом иной жизни, той жизни, где она жила мыслями,— в жизни, где дни и ночи тихо истлевали бы в довольстве и пресыщении, где не надо продавать билеты, где ничего не надо делать, может быть, играть в пинг-понг, ибо делать что-нибудь за кусок хлеба — это мерзко, гадко, противно, наконец просто неохота. Она знала, что такая жизнь есть. Где она, такая жизнь, черт ее знает, но она всем существом была в той жизни, а здесь только с презрением, брезгливо пребывала. В прошлой судьбе ее тоже была тюрьма; она не рисовала фальшивых денег, она не умела рисовать, она где-то в каких-то серьезных бумагах подставляла нули и угодила туда же, куда угодил Смородин. И где-то там они и познакомились. Она очень заинтересовалась способностями ершистого Константина Смородина... Когда они вышли на волю, они разыскали друг друга и сошлись.

С тех пор Константин Смородин и стал поносить всех и все. И тогда же, примерно, он натянул большой холст и посадил туда этого отчаянного человека, который сам в себя целится.

— Могут не признать, суки,— встрял Смородин в убежденную речь жены. Он часто сомневался.— Это же не передовик на комбайне, понимаешь. Чего ты не хочешь передовика какого-нибудь?

— Ни в коем случае! — твердо сказала жена. И строго посмотрела на мужа.— Что ты! Это вшивота. Крохоборство. Это же дешевка! — Все же прекрасен сильный человек! Жена Смородина, когда вселяла в слабого, суетливого мужа дух борьбы и протеста, сама на глазах хорошела: глаза совсем темнели, становились как будто еще больше, ноздри прямого носа вздрагивали, верхняя губа хищновато дергалась кверху

и на ней явственней обозначался темный пушок. Смородин, парализованный ее волей, вынимал изо рта мундштук, слушал, смотрел... и начинал томительно ждать, когда они лягут спать и выключат свет.

— Но не признают же...

— Кто?

— Ну, кто... Что ты не знаешь, кто?

— И прекрасно! Это-то и нужно. Не хватало еще, чтобы они признали! Признают другие. Кому осточертели все эти передовики, те и признают. А тогда уж... все само собой сделается.

И все же самое удивительное во всем этом было, наверно, то, что Смородин вовсе не думал о деньгах. И когда он участвовал в изготовлении фальшивок, и тогда он не думал о деньгах — о том, чтоб иметь их много-много. Ему нравилось, что его, самодельного художника, признают талантливым, что где-то кто-то очень нуждается в его работе, и он старался делать, что ему положено делать, хорошо. А так как накрыли их скоро, то больших-то денег он еще и не имел и не успел, так сказать, войти во вкус. Жена его — другое дело: хоть скупо и неохотно, но кое-что рассказывала из своей жизни той поры, когда подставлялись на бумагах нулики. Она знала в этом толк, в деньгах. Смородину же очень хотелось "взорваться" — чтоб о нем заговорили, заговорили о его картинах, рисунках... Может, и станут покупать, пусть, но главное все же не в том.

Таким он и входил в маленькую комнатку — готовый "взрываться", отсюда и такая свирепая решимость на его маленьком круглом лице, вовсе не злом, а даже добродушном, доверчивом и мясистом.

— Ну, суки...— говорил он, стоя перед картиной с мундштуком в зубах и засунув руки в карманы халата.

И вот пришла пора, пришел день, который жена Смородина молча ждала и молча торопила.

— Завтра позову его,— сказал вечером на кухне Смородин.

У жены — как будто она напугалась чего — широко распахнулись темные глаза, она стремительно вышла из ТОЙ жизни в ЭТУ, тесную и вонючую, и спросила негромко:

— Да?

— Да. Можно сказать. Если он не нарежется с утра... Пораньше схожу за ним, чтоб не успел нарезаться. Пусть лучше здесь выпьет. Ты приготовь тут...

— Я все сделаю,— с не свойственной ей поспешностью сказала жена.— Все будет на уровне, не беспокойся.

И на другой день, рано утром, в воскресенье, Смородин привел его, художника, который должен был сказать, что Константин Смородин — взорвался! Или он это скажет, или... Смородин и его жена волновались. По-разному волновались. Жена его вся ушла в свои глазницы, вся там трепетала и надеялась; Смородин, как всегда, много суетился и говорил.

Художник был бородатый, большой, с курносым русским лицом. Заявился шумно, загудел в малогабаритной квартире, стал всего касаться плечами...

— Ну, что ты тут намазал?.. Где?

— Погоди, погоди, — суетился Смородин,— давай сперва дернем по малой... Зоя, у нас есть там чего-нибудь?

— Проходите сюда, пожалуйста,— сказала жена Смородина, обшаривая художника вопрошающими глазами.

Художник Коля тоже глянул на нее, сказал "гм" и зашагнул в кухню.

— О-о! — густо сказал он.— Это я понимаю. Да ты славно живешь, Константин! Ну, давайте...— И художник первым сел за стол и пригласил хозяев: — Садитесь. Вы славно живете! — еще приятно удивился он.— Как вас, Роза?..

— Зоя,— сказала жена Смородина.

— Зоя! Садитесь, Зоя. Садись, Костя... Ну, так... Нет, славно, славно, молодцы. Вы тоже рисуете, Зоя? — спросил художник, галантно повернувшись к хозяйке.

— Нет, она... по финансовой части,— сказал Смородин.— Наливай, Зайка.

Когда выпили по одной, художнику Коле стало легче.

— Вчера приняли с Поволоцким... Ты знаешь его? А-а, ты его не знаешь. Славный парень.— Художнику было лет 37, и здоровье свое он еще только-только начал пропивать. В городе он считался лучшим художником, знал московских мастеров, был о них невысокого мнения, материл, когда принимал за галстук.— И ну, так, так... Хорошо!

Еще выпили по одной дорогого коньяку.

— Эх, жизнь бекова! — сказал художник Коля.— Как там у вас, говорили, Константин? А интересно там, да? Мне охота бы побывать, только не долго, ну ее к черту... Не вытерплю долго. С полгода бы вытерпел.

Смородин хихикнул встревоженно... И глянул на жену — проверить: не подали ли художнику лишнего? Но жена его

спокойно и даже с интересом разглядывала лучшего художника города.

— Что нарисовал-то? — спросил тот. И посмотрел весело на Смородина.— "Утро нашей Родины"?

— Увидишь,— уклончиво, но и обещающе сказал Смородин.— Давай посидим пока...

Художник засмеялся.

— Чего ты меня готовишь, как... невесту смотреть. Волнуешься, что ли? А?

Смородин пожал плечами.

— Год работал...

— Ну-у, даже интересно. Пойдем глянем!

Смородин опять быстро и вопросительно глянул на жену.

— Выпейте еще,— сказала Зоя,— потом уж делами займетесь.

— Да что вы такие?! — спросил удивленный художник, глядя на Смородина...— Можно подумать, что у вас там труп висит, а не картина. Чего вы?

— Выпейте,— жена Смородина засмеялась от растерянности, что с ней редко бывало — чтобы она терялась.— Выпейте, закусите, потом и пойдете.— Боялась она, что ли?

Еще выпили. И закусили.

— Пойдем,— нетерпеливо сказал художник Коля.— А то нагнали тут мистики какой-то. Пойдем, что там такое?

Пошли.

Вошли в маленькую комнатку... Смородин снял белую тряпку с холста, целую простынь. Руки его мелко дрожали; он крепко прикусил мундштук и засунул руки в карманы брюк. У него даже в животе заныло.

Художник прищурился на картину... Долго смотрел... Потом посмотрел на Смородина...

— Самоубийца,— сказал тот, слабо кивнув на холст. Голос его охрип.

Художник засмеялся, и даже не спохватился, что, может, грешно смеяться-то. Не увидел, не заметил, не обратил внимания, какой стоял Смородин — весь наструнившийся, весь отчаянный и жалкий, как на краю обрыва стоял и боялся смотреть вниз.

— Чего ты? — спросил тихо Смородин.

— Ты прямо напугал меня,— добродушно сказал Коля-художник.— Я уж думал тут правда черт те чего... Не вышло, Константин. Самоубийца...— Он опять невольно хохотнул.— Тут до самоубийства-то еще далеко, друг. А чего ты туда полез-то? А?

Смородин молчал. Чтобы не выдать, что с ним творится, не смотрел на художника, смотрел на картину и кусал мундштук. И тут, видно, понял художник, как он немилосерден, жесток.

— Костя!..— окликнул он.— Ты чего? Брось ты так... Давно надо было позвать меня — не тратил бы год на эту мазню. Надо учиться, дружок, надо много уметь... Ну куда тебя к черту понесло — самоубийца! Тут еще и ремесла-то иету. Тут ни примитивизма, ни реализма... Ничего.— Он посмотрел на картину.— Ты человек способный, это я тебе не из какой не из жалости говорю. Способный. Но абсолютно неграмотный. Да и тема-то вовсе не твоя, ты вон какой... окорок, с чего вдруг самоубийство-то? Да ведь как выдумал!.. Ловко. Но это штука, дружок, фокус, а фокус не удался. Не переживай. Хочешь, буду учить тебя?

— Вон отсюда! — раздался вдруг сзади них голос. Художник Коля и Смородин вздрогнули от неожиданности, оглянулись. Стояла жена Смородина, Зоя, смотрела в упор на художника, и глаза ее полыхали... не гневом даже, а — гибелью, крушением. Изождавшиеся ее глаза кричали болью.

— Вон из квартиры! — повторила она, глядя на художника.

— Зоя...— хотел что-то сказать Смородин.

— Вон! — крикнула Зоя. И топнула ногой. И лицо ее тоже исказилось болью.— Вон! Вон! Вон!!!

Художник Коля ничего не понял, но испугался, понял только, что тут сейчас должно что-то случиться... И даже не показав никак, что он удивлен или что ему странно все это,— пошел вон. Подошел к двери, оглянулся...

— Во-он!! — закричала истерично жена Смородина. Схватила мужа за руку и потащила вслед за художником. И говорила, как в бреду, торопливо, едва разборчиво: — Спусти его!.. Двинь сзади! Скорей!..

Смородин и сам тоже испугался. Шел за женой, не противился... Художник, видя такое дело, поскорей вышел из квартиры и поскорей же начал спускаться по лестнице. А жена Смородина все тащила мужа за рукав — Смородин невольно отметил, какая у нее сильная рука,— и все торопила, все повторяла:

— Спусти его! Вниз его, вниз его, вниз... Двинь его! Скорей же!

На лестнице, увидев внизу уходящего художника, бросила руку мужа и стала показывать, как надо спустить худож-

ника вниз: торопливо, с силой совала острым кулаком в воздух, вниз, и твердила, и твердила:

— Догони его! Догони — двинь его, двинь! Толкни вниз! Вот так вот, вот так вот... Что ты стоишь-то?! Что ты стоишь-то?!

Смородин обнял жену, стал успокаивать.

— Зоя, Зоя... ну, что ты? Что ты? Перестань, люди сбегутся. Люди же сбегутся!..

— Уйди! — зло кричала Зоя и колотила мужа в широкую грудь, как в дверь, обитую дерматином.— Уйди! Подонки!.. Хамье! Подонки! Подонки!..

Это была уже истерика. Константин Смородин слышал, как надо останавливать женскую истерику: приотпустил жену и, не разворачиваясь, больно дал ей ладонью по щеке. Жена уткнулась ему в грудь, обмякла, заплакала. Смородин поднял ее на руки и понес домой.

— Ну что ты, дурашка ты моя? — говорил ласково Смородин.— Чего ты?.. Подумаешь! Ну, и ничего страшного! Ничего же страшного не случилось. Ну, дурак пришел, наговорил... Что он понимает-то! Я других художников позову, не алкоголиков... они скажут. Не реви. Успокойся.— Смородин целовал голову жены, обильно надушенную ради сегодняшнего дня, и крепче прижимал ее к груди.— Успокойся, милая, успокойся, не надо.

А Зоя плакала, не могла остановиться, плакала, мочила слезами его выходной светло-серый костюм... Даже подвывала тихонько — так горько плакала. И не могла остановиться.

ОСЕНЬЮ

Паромщик Филипп Тюрин дослушал последние известия по радио, поторчал еще за столом, помолчал строго...

— Никак не могут уняться! — сказал он сердито.

— Кого ты опять? — спросила жена Филиппа, высокая старуха с мужскими руками и с мужским басовитым голосом.

— Бомбят! — Филипп кивнул на репродуктор.

— Кого бомбят?

— Вьетнамцев-то.

Старуха не одобряла в муже его увлечение политикой, больше того, это дурацкое увлечение раздражало ее. Бывало, что они всерьез ругались из-за политики, но сейчас старухе не хотелось ругаться — некогда, она собиралась на базар.

Филипп, строгий, сосредоточенный, оделся потеплее и пошел к парому.

Паромщиком он давно, с войны. Его ранило в голову, в наклон работать — плотничать — он больше не мог, он пошел паромщиком.

Был конец сентября, дуло после дождей, наносило мразь и холод. Под ногами чавкало. Из репродуктора у сельмага звучала физзарядка, ветер трепал обрывки музыки и бодрого московского голоса. Свинячий визг по селу и крик петухов был устойчивей, пронзительней.

Встречные односельчане здоровались с Филиппом кивком головы и поспешали дальше — к сельмагу за хлебом или к автобусу, тоже на базар торопились.

Филипп привык утрами проделывать этот путь — от дома до парома, совершал его бездумно. То есть он думал о чем-нибудь, но никак не о пароме или о том, например, кого он будет переправлять целый день. Тут все понятно. Он сейчас думал, как унять этих американцев с войной. Он удивлялся, но никого не спрашивал: почему их не двинут нашими ракетами? Можно же за пару дней все решить. Филипп смолоду был очень активен. Активно включился в новую жизнь, активничал с колхозами... Не раскулачивал, правда, но спорил и кричал много — убеждал недоверчивых, волновался. Партийцем он тоже не был, как-то об этом ни разу не зашел разговор с ответственными товарищами, но зато ответственные никогда без Филиппа не обходились: он им от души помогал. Он втайне гордился, что без него никак не могут обойтись. Нравилось накануне выборов, например, обсуждать в сельсовете с приезжими товарищами, как лучше провести выборы: кому доставить урну домой, а кто сам придет, только надо сбегать утром напомнить... А были и такие, что начинали артачиться: "Они мне коня много давали — я просил за дровами?.." Филипп прямо в изумление приходил от таких слов. "Да ты что, Егор,— говорил он мужику,— да разве можно сравнивать?! Вот так раз! Тут — политическое дело, а ты с каким-то конем: спутал телятину с..." И носился по селу, доказывал. И ему тоже доказывали, с ним охотно спорили, не обижались на него, а говорили: "Ты им скажи там..." Филипп чувствовал важность момента, волновался, переживал. "Ну народ! — думал он, весь объятый заботами большого дела.— Обормоты дремучие". С годами активность Филиппа слабела, а тут его в голову-то шваркнуло — не по силам стало активничать и волноваться. Но он

по-прежнему все общественные вопросы принимал близко к сердцу, беспокоился.

На реке ветер похаживал добрый. Стегал и толкался... Канаты гудели. Но хоть выглянуло солнышко, и то хорошо.

Филипп сплавал туда-сюда, перевез самых нетерпеливых, дальше пошло легче, без нервов. И Филипп наладился было опять думать про американцев, но тут подъехала свадьба... Такая — нынешняя: на легковых, с лентами, с шарами. В деревне теперь тоже завели такую моду. Подъехали три машины... Свадьба выгрузилась на берегу, шумная, чуть хмельная... весьма и весьма показушная, хвастливая. Хоть и мода — на машинах-то, с лентами-то,— но еще редко, еще не все могли достать машины.

Филипп с интересом смотрел на свадьбу. Людей этих он не знал — нездешние, в гости куда-то едут. Очень выламывался один дядя в шляпе... Похоже, что это он добыл машины. Ему все хотелось, чтоб получился размах, удаль. Заставил баяниста играть на пароме, первый пустился в пляс — покрикивал, дробил ногами, смотрел орлом. Только на него-то и смотреть было неловко, стыдно. Стыдно было жениху с невестой — они трезвее других, совестливее. Уж он кобенился-кобенился, этот дядя в шляпе, никого не заразил своим деланным весельем, устал... Паром переплыл, машины съехали, и свадьба укатила дальше.

А Филипп стал думать про свою жизнь. Вот как у него случилось в молодости с женитьбой. Была в их селе девка Марья Ермилова, красавица. Круглоликая, румяная, приветливая... Загляденье. О такой невесте можно только мечтать на полатях. Филипп очень любил ее, и Марья тоже его любила — дело шло к свадьбе. Но связался Филипп с комсомольцами... И опять же, сам комсомольцем не был, но кричал и ниспровергал все наравне с ними. Нравилось Филиппу, что комсомольцы восстали против стариков сельских, против их засилья. Было такое дело: поднялся весь молодой сознательный народ против церковных браков. Неслыханное творилось... Старики ничего сделать не могут, злятся, хватаются за бичи — хоть бичами, да исправить молокососов, но только хуже толкают их к упорству. Веселое было время. Филипп, конечно,— тут как тут: тоже против венчанья. А Марья — нет, не против: у Марьи мать с отцом крепкие, да и сама она окончательно выпряглась из передовых рядов, хочет венчаться. Филипп очутился в тяжелом положении. Он уговаривал Марью всячески (он говорить был мастер, за это, наверно, и любила его Марья — искусство редкое на селе),

убеждал, сокрушал темноту деревенскую, читал ей статьи разные, фельетоны, зубоскалил с болью в сердце... Марья ни в какую: венчаться и все. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил. Расстались они с Марьей. Филипп не изменился потом, никогда не жалел и теперь не жалеет, что посильно, как мог участвовал в переустройстве жизни, а Марью жалел. Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. По первости было так тяжко, что хотел руки на себя наложить. И с годами боль не ушла. Уже была семья — по правилам гражданского брака — детишки были... А болело и болело по Марье сердце. Жена его, Фекла Кузовникова, когда обнаружила у Филиппа эту его постоянную печаль, возненавидела Филиппа. И эта глубокая тихая ненависть тоже стала жить в ней постоянно. Филипп не ненавидел Феклу, нет... Но вот на войне, например, когда говорили: "Вы защищаете ваших матерей, жен..."— Филипп вместо Феклы видел мысленно Марью. И если бы случилось погибнуть, то и погиб бы он с мыслью о Марье. Боль не ушла с годами, но, конечно, не жгла так, как жгла первые женатые годы. Между прочим, он тогда и говорить стал меньше. Активничал по-прежнему, говорил, потому что надо было убеждать людей, но все как будто вылезал из своей большой горькой думы. Задумается-задумается, потом спохватится — и опять вразумлять людей, опять раскрывать им глаза на новое, небывалое. А Марья тогда... Марью тогда увезли из села. Зазнал ее какой-то (не какой-то, Филипп потом с ним много раз встречался) богатый парень из Краюшкина, приехали, сосватали и увезли. Конечно, венчались. Филипп, спустя год, спросил у Павла, мужа Марьи: "Не совестно было? В церкву-то поперся..." На что Павел сделал вид, что удивился, потом сказал: "А чего мне совестно-то должно быть?" — "Старикам-то поддался".— "Я не поддался,— сказал Павел,— я сам хотел венчаться".— "Вот я и спрашиваю,— растерялся Филипп,— не совестно? Старикам уж простительно, а вы-то?.. Мы же так никогда из темноты не вылезем". На это Павел заматерился. Сказал: "Пошли вы!.." И не стал больше разговаривать. Но что заметил Филипп: при встречах с ним Павел смотрел на него с какой-то затаенной злостью, с болью даже, как если бы хотел что-то понять и никак не мог. Дошел слух, что живут они с Марьей неважно, что Марья тоскует. Филиппу этого только не хватало: запил даже от нахлынувшей новой боли, но потом пить бросил и жил так — носил постоянно в себе эту боль-змею, и кусала она его и кусала, но притерпелся.

Такие-то невеселые мысли вызвала к жизни эта свадьба на машинах. С этими мыслями Филипп еще поплавал туда-сюда, подумал, что надо, пожалуй, выпить в обед стакан водки — ветер пронизывал до костей, и душа чего-то заскулила. Заныла прямо, затревожилась.

"Раза два еще сплаваю и пойду на обед",— решил Филипп.

Подплывая к чужому берегу (у Филиппа был свой берег, где его родное село, и чужой), он увидел крытую машину и кучку людей около машины. Опытный глаз Филиппа сразу угадал, что это за машина и кого она везет в кузове: покойника. Люди возят покойников одинаково: у парома всегда вылезут из кузова, от гроба, и так как-то стоят и смотрят на реку, и молчат, что сразу все ясно.

"Кого же это? — думал Филипп, вглядываясь в людей.— Из какой-нибудь деревни, что вверх по реке, потому что не слышно было, чтобы кто-то поблизости помер. Только почему же — откуда-то везут? Не дома, что ли, помер, а домой хоронить везут?"

Когда паром подплыл ближе к берегу, Филипп узнал в одном из стоявших у машины Павла, Марьиного мужа. И вдруг Филипп понял, кого везут. Марью везут. Вспомнил, что в начале лета Марья ехала к дочери в город. Они поговорили с Филиппом, пока плыли. Марья сказала, что у дочери в городе родился ребенок, надо помочь пока. Поговорили тогда хорошо. Марья рассказала, что живут они ничего, хорошо, дети (трое) все пристроились, сама она получает пенсию, Павел тоже получает пенсию, но еще работает, столярничает помаленьку на дому. Скота много не держат, но так-то все есть... Индюшек наладились держать. Дом вот перебрали в прошлом году: сыновья приезжали, помогли. Филипп тоже рассказал, что тоже все хорошо пока, пенсию тоже получает, здоровьишком пока не жалуется, хотя к погоде голова побаливает. А Марья сказала, что у нее сердце чего-то... Мается сердцем. То ничего-ничего, а то как сожмет, сдавит... Ночью бывает: как заломит-заломит, хоть плачь. И вот, видно, конец Марье... Филипп, как узнал Павла, так ахнул про себя. В жар кинуло.

Паром стукнулся о шаткий припаромок (причал). Вдели цепи с парома в кольца припаромка, заклячили ломиками... Крытая машина пробовала уже передними колесами бревна припаромка, бревна хлябали, трещали, скрипели...

Филипп, как завороженный, стоял у своего весла, смотрел на машину. Господи, господи, Марью везут, Марью...

Филиппу полагалось показать шоферу, как ставить на пароме машину, потому что сзади еще заруливали две, но он как прирос к месту, все смотрел на машину, на кузов.

— Где ставить-то?! — крикнул шофер.

— А?

— Где, мол, ставить-то?

— Да ставь...— Филипп неопределенно махнул рукой. Все же никак он не мог целиком осознать, что везут мертвую Марью... Мысли вихлялись в голове, не собирались воедино, в скорбный круг. То он вспоминал Марью, как она рассказывала ему вот тут, на пароме, что живут они хорошо... То молодой ее видел, как она... Господи, господи... Марья... Да ты ли это?

Филипп отодрал наконец ноги с места, подошел к Павлу.

Павла жизнь скособочила. Лицо еще свежее, глаза умные, ясные, а осанки никакой. И в глазах умных большая спокойная грусть.

— Что, Павел?..— спросил Филипп.

Павел мельком глянул на него, не понял вроде, о чем его спросили, опять стал смотреть вниз, в доски парома. Филиппу неловко было еще спрашивать... Он вернулся опять к веслу. А когда шел, то обошел крытую машину с задка кузова, заглянул туда — гроб. И открыто заболело сердце, и мысли собрались воедино: да, Марья.

Поплыли. Филипп машинально водил рулевым веслом и все думал: "Марьюшка, Марья..." Самый дорогой человек плывет с ним последний раз... Все эти тридцать лет, как он паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала на пароме. В основном все к детям ездила в город: то они учились там, то устраивались, то когда у них детишки пошли... И вот — нету Марьи.

Паром подвалил к этому берегу. Опять зазвякали цепи, взвыли моторы... Филипп опять стоял у весла и смотрел на крытую машину. Непостижимо... Никогда в своей жизни он не подумал: что, если Марья умрет? Ни разу так не подумал. Вот уж к чему не готов был, к ее смерти. Когда крытая машина стала съезжать с парома, Филипп ощутил нестерпимую боль в груди. Охватило беспокойство: что-то он должен сделать? Ведь увезут сейчас. Совсем. Ведь нельзя же так: проводил глазами, и все. Как же так? И беспокойство все больше овладевало им, а он не трогался с места, и от этого становилось вовсе не по себе.

"Да проститься же надо было!..— понял он, когда крытая машина взбиралась уже на взвоз.— Хоть проститься-то!..

Хоть посмотреть-то последний раз. Гроб-то еще не заколочен, посмотреть-то можно же!" И почудилось Филиппу, что эти люди, которые провезли мимо него Марью, что они не должны так сделать — провезти, и все. Ведь, если чье это горе, так больше всего — его горе. В гробу-то Марья. Куда же они ее?.. И опрокинулось на Филиппа все не изжитое жизнью, не истребленное временем, не забытое, дорогое до боли... Вся жизнь долгая стояла перед лицом — самое главное, самое нужное, чем он жив был... Он не замечал, что плачет. Смотрел вслед чудовищной машине, где гроб... Машина поднялась на взвоз и уехала в улицу, скрылась. Вот теперь жизнь пойдет как-то иначе: он привык, что на земле есть Марья. Трудно бывало, тяжко — он вспоминал Марью и не знал сиротства. Как же теперь-то будет? Господи, пустота какая, боль какая!

Филипп быстро сошел с парома: последняя машина, только что съехавшая, замешкалась чего-то... Филипп подошел к шоферу.

— Догони-ка крытую... с гробом — попросил он, залезая в кабину.

— А чего?.. Зачем?

— Надо.

Шофер посмотрел на Филиппа, ничего больше не спросил, поехали.

Пока ехали по селу, шофер несколько раз присматривался сбоку к Филиппу.

— Это краюшкинские, что ли? — спросил он, кивнув на крытую машину впереди.

Филипп молча кивнул.

— Родня, что ли? — еще спросил шофер.

Филипп ничего на это не сказал. Он опять смотрел во все глаза на крытый кузов. Отсюда виден был гроб посередке кузова... Люди, которые сидели по бокам кузова, вдруг опять показались Филиппу чуждыми — и ему, и этому гробу. С какой стати они-то там? Ведь в гробу Марья.

— Обогнать, что ли? — спросил шофер.

— Обгони... И ссади меня.

Обогнали фургон... Филипп вылез из кабины и поднял руку. И сердце запрыгало, как будто тут сейчас должно что-то случиться такое, что всем, и Филиппу тоже, станет ясно: кто такая ему была Марья. Не знал он, что случится, не знал, какие слова скажет, когда машина с гробом остановится. Так хотелось посмотреть Марью, так это нужно было,

важно. Нельзя же, чтобы она так и уехала, ведь у него тоже жизнь прошла, и тоже никого не будет теперь...

Машина остановилась.

Филипп зашел сзади... Взялся за борт руками и полез по железной этой короткой лесенке, которая внизу кузова.

— Павел...— сказал он просительно и сам не узнал своего голоса: так просительно он не собирался говорить.— Дай я попрощаюсь с ней... Открой, хоть гляну.

Павел вдруг резко встал и шагнул к нему... Филипп успел близко увидеть его лицо... Изменившееся лицо, глаза, в которых давеча стояла грусть, теперь они вдруг сделались злые...

— Иди отсюда! — негромко, жестоко сказал Павел. И толкнул Филиппа в грудь. Филипп не ждал этого, чуть не упал, удержался, вцепившись в кузов.— Иди!..— закричал Павел. И еще толкнул, и еще — да сильно толкал. Филипп изо всех сил держался за кузов, смотрел на Павла, не узнавал его. И ничего не понимал.

— Э, э, чего вы? — всполошились в кузове. Молодой мужчина, сын, наверно, взял Павла за плечи и повлек в кузов.— Что ты? Что с тобой?

— Пусть уходит! — совсем зло говорил Павел.— Пусть он уходит отсюда!.. Я те посмотрю. Приполз... гадина какая. Уходи! Уходи!..— Павел затопал ногой. Он как будто взбесился с горя.

Филипп слез с кузова. Теперь-то он понимал, что с Павлом. Он тоже зло смотрел снизу на него. И говорил, сам не сознавая, что говорит, но, оказывается, слова эти жили в нем готовые:

— Что, горько?.. Захапал чужое-то, а — горько. Радовался тогда?..

— Ты зато много порадовался! — сказал из кузова Павел.— А то я не знаю, как ты радовался!..

— Вот как на чужом-то несчастье свою жизнь строить,— продолжал Филипп, не слушая, что ему говорят из кузова. Важно было успеть сказать, свое, очень важно.— Думал, будешь жить припеваючи? Не-ет, так не бывает. Вот я теперь вижу, как тебе все это досталось...

— Много ли ты-то припевал? Ты-то... Сам-то... Самого-то чего в такую дугу согнуло? Если хорошо-то жил — чего же согнулся? От хорошей жизни?

— Радовался тогда? Вот — нарадовался... Побирушка. Ты же побирушка!

— Да что вы?! — рассердился молодой мужчина.— С ума, что ли, сошли!.. Нашли время.

Машина поехала. Павел еще успел крикнуть:

— Я побирушка!.. А ты скулил всю жизнь, как пес, за воротами! Не я побирушка-то, а ты!

Филипп медленно пошел назад.

"Марья,— думал он,— эх, Марья, Марья... Вот как ты жизнь-то всем перекосила. Полаялись вот — два дурака... Обои мы с тобой побирушки, Павел, не трепыхайся. Если ты не побирушка, то чего же злишься? Чего бы злиться-то? Отломил смолоду кусок счастья — живи да радуйся. А ты радости-то тоже не знал. Не любила она тебя, вот у тебя горе-то и полезло горлом теперь. Нечего было и хватать тогда. А то приехал — раз, два — увезли!.. Обрадовались".

Горько было Филиппу... Но теперь к горькой горечи этой примешалась еще досада на Марью.

"Тоже хороша: нет, подождать — заусилась в Краюшкино! Прямо уж нетерпеж какой-то. Тоже толку-то было... И чего вот теперь?.."

— Теперь уж чего...— сказал себе Филипп окончательно.— Теперь ничего. Надо как-нибудь дожить... Да тоже собираться — следом. Ничего теперь не воротишь.

Ветер заметно поослаб, небо очистилось, солнце осветило, а холодно было. Голо как-то кругом и холодно. Да и то — осень, с чего теплу-то быть?

ВЫБИРАЮ ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Некто Кузовников Николай Григорьевич вполне нормально и хорошо прожил. Когда-то, в начале тридцатых годов, великая сила, которая тогда передвигала народы, взяла и увела его из деревни. Он сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче. И он пошел по складскому делу — стал кладовщиком и всю жизнь был кладовщиком, даже в войну. И теперь он жил в большом городе в хорошей квартире (отдельно от детей, которые тоже вышли в люди), старел, собирался на пенсию. Воровал ли он со складов? Как вам сказать... С точки зрения какого-нибудь сопляка с высшим юридическим образованием — да, воровал, с точки зрения человека рассудительного, трезвого — это не

воровство: брал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не испытывать ни в чем недостатка, причем, если учесть — окинуть взором — сколько добра прошло через его руки, то сама мысль о воровстве станет смешной. Разве так воруют! Он брал, но никогда не забывался, никогда не показывал, что живет лучше других. Потому-то ни один из этих, с университетскими значками, ни разу не поймал его за руку. С совестью Николай Григорьевич был в ладах: она его не тревожила. И не потому, что он был бессовестный человек, нет, просто это так изначально повелось: при чем тут совесть! Сумей только аккуратно сделать, не психуй и не жадничай и не будь идиотом, а совесть — это... знаете... Когда есть в загашнике, можно и про совесть поговорить, но все же спится тогда спокойней, когда ты все досконально продумал, все взвесил, проверил, свел концы с концами — тогда пусть у кого-нибудь другого совесть болит. А это — сверкать голым задом да про совесть трещать,— это, знаете, неумно.

Словом, все было хорошо и нормально. Николай Григорьевич прошел свою тропку жизни почти всю. В минуту добрую, задумчивую говорил себе: "Молодец: и в тюрьме не сидел, и в войну не укокошили".

Но была одна странность у Николая Григорьевича, которую он сам себе не сумел бы объяснить, наверно, если б даже захотел. Но он и не хотел объяснять и особенно не вдумывался, а подчинялся этой прихоти (надо еще понять, прихоть это или что другое), как многому в жизни подчинялся.

Вот что он делал последние лет пять-шесть.

В субботу, когда работа кончалась, когда дома, в тепле, ждала жена, когда все в порядке и на душе хорошо и мирно, он выпивал стаканчик водки и ехал в трамвае на вокзал. Вокзал в городе огромный, вечно набит людьми. И есть там место, где курят, возле туалета. Там всегда — днем и ночью — полно, дым коромыслом и галдеж стоит непрерывный. Туда-то и шел прямиком Николай Григорьевич. И там вступал в разговоры.

— Мужики,— прямо обращался он,— кто из деревни?

Таких всегда было много. Они-то в основном и толклись там — деревенские.

— Ну?..— спрашивали его.— А что тебе?

— Хочу деревню подобрать на жительство. Нигде, может, кто в курсе, не требуются опытные складские работники? Я тридцать четыре года проработал в этой системе...— И Николай Григорьевич доверчиво, просто, с удовольствием и подробно рассказывал, что он сам — деревенский, давно

оттуда уехал, работал всю жизнь на складах, а теперь, под старость, потянуло опять в деревню... И тут-то начиналось. Его как-то сразу прекрасно понимали с его тоской, соглашались, что да, сколько по городам ни околачивайся, а если ты деревенский, то рано или поздно в деревню снова потянет. Начинали предлагать деревни на выбор. Николай Григорьевич только успевал записывать адреса. Начинали шуметь. Спорили.

— Да уж ты со своей Вязовкой!..

— А ты знаешь ее? Чего ты сразу руками-то замахал?! Ты хоть раз бывал там?

— Вязовку-то? Да я ее, как облупленную, знаю, вашу Вязовку! Господи, Вязовка!.. У человека — к старости, желательно, чтоб природа...

— А при чем тут природа-то? — вступали другие.— Надо не от природы отталкиваться, а от работы. Я не знаю вашей Вязовки, но склад-то там есть? Человек же прежде всего насчет работы спрашивает.

— Нет,— говорил Николай Григорьевич,— желательно, чтоб и природа, конечно...

— Да в том-то и дело! Что он тебе, склад?! Склад, он и есть склад, теперь они везде есть. И если, например...

— Ну, вы тоже рассудили,— говорил какой-нибудь степенный,— только поорать. Ну — склад, они действительно везде теперь, а как, например, с жильем? У нас вон — и склад, и река, и озеро, а постройки страшно дорогие.

— Ну, сколь так? — вникал в подробности Николай Григорьевич.

— Это смотря что требуется.

— Ну, например, пятистенок... Добрый еще.

— С постройками?

— Ну да, баня, сарай для дров... Ну, навес какой-нибудь, завозня там — я строгать люблю в свободное время.

— Если, допустим, хороший пятистенок,— начинал соображать мужик,— банешка...

— Не развалюха, конечно, хорошая баня.

— Хорошая баня, сарай из горбыля, у нас в основном все сараи из горбыля идут, из отлета...

— Пилорама в деревне?

— Не в самой деревне, а на отделении.

— Ну, ну?

— Если все честь по чести, огород нормальный...

— Огород нам со старухой большой не надо.

— Ну, нормальный, их теперь больших-то и нету — нормальный, если все честь по чести, то будет так — три, три с половиной.

— Тыщи?!— изумлялся кто-нибудь.

— Нет, рубля,— огрызнулся степенный.

— Ну, это уж ты загнул. Таких и цен-то нету,— сомневались.

Степенный вмиг утрачивал свою степенность.

— А чего ради загибать-то перед вами? Что я, свой дом, что ли, навяливаю? Я говорю как есть. Человек же спрашивает...

— А чего так? Несусветные какие-то цены. Что у вас там такое?

— Нчего, совхоз.

— Дак а чего дорого-то? С ума, что ли, сошли там?

— Мы не сошли, сошли там, где постройки, я слыхал, на дрова пускают. Вот там-то сошли. Это уж я тоже не понимаю...

— Это я слыхал тоже. Рублей за триста, говорят, можно хороший дом взять.

— Ну, за триста не за триста...

— А как твоя деревня называется? — записывал Николай Григорьевич.

— Завалиха. Не деревня, село.

— Это где?

— А вот, если сейчас ехать...— И мужик подробно объяснял, где его село, как ехать туда.

— Райцентр, что ли?

— Был раньше райцентр, а потом, когда укрупняли районы, мы отошли к Красногорскому району, а у нас стала центральная усадьба.

— Ну, есть, наверно, перевалочная база? — допрашивал Николай Григорьевич.

Мужик послушно, очень подробно рассказывал. И был как будто рад, что его село заинтересовало человека больше, чем другие села и деревни. Со стороны наблюдали и испытывали нечто вроде ревности. И находили возможность подпортить важную минуту.

— Это ж что это за цены такие! Лéса, наверно, нет близко?

— А у вас какие? — нервничал мужик из дорогого села.— Ну скажи, сколько у вас добрый пятистенок станет? Только не ври.

— Чего мне врать-то? Добрый пятистенок у нас... с постройками, со всем, с огородом — тыщи полторы-две.

— Где это? — поворачивался в ту сторону Николай Григорьевич.

И тогда тот, что перехватил интерес, начинал тоже подробно, долго объяснять, где его село, как называется река, почем у них мясо осенью...

— У меня вот свояк приезжал... как раз осенью тоже... Посмотрел. "Ну-у,— говорит,— у вас-то жить можно! Это,— говорит,— ты у нас иди сунься".

— А откуда он?

— За Уралом... Город Златоуст.

— Что ж ты город-то сусшь? Мы про сельскую жизнь говорим.

— Он не из самого города, а близко к этому городу.

— Да зачем же там где-то брать, человек про наши места интересуется! Это я тебе могу насказать: у меня свояк в Магадане вон...

— Ну, едрена мать! Ты еще скажи — в Америке.

— А при чем тут Америка-то?

— А при чем Магадан?

— Да при том, что — речь идет про сельскую местность, а ты куда-то в Златоуст полез! Чего ты в Златоуст-то полез?!

— Тихо, тихо,— успокаивал Николай Григорьевич горячих селян. Странно, он становился здесь неким хозяином — на манер какого-нибудь вербовщика-работодателя в толпе ищущих.— Спокойно, мужики,— говорил Николай Григорьевич,— мы же не на базаре. Меня теперь интересует: сколько над уровнем моря твое село? — Это вопрос к тому, в чьем селе дом-пятистенок стоит дешевле.

Тот не знал. И никто не знал, сколько над уровнем моря их деревни и села.

— А зачем это?

— Это очень важно,— пояснил Николай Григорьевич.— Для сердечно-сосудистой системы необходимо. Если место немного возвышенное — тоже нельзя: сразу скажется нехватка кислорода.

— Не замечали,— признавались мужики.

Но это — так, это Николай Григорьевич подпускал для пущей важности. Больше говорили про цены на постройки, на продукты, есть ли река в деревне или, может, озеро, далеко или близко лес... Потом переходили на людей —

какие люди хорошие в деревне: приветливые, спокойные, не воруют, не кляузничают. И тут — незаметно для себя — начинали слегка врать друг другу. Это как-то само собой случалось, никто не преследовал никакой посторонней цели: один кто-нибудь начинал про своих людей, и уж тут другие не могли тоже умолчать, тоже рассказывали, но так, чтобы получалось, что у них — лучше.

— А у нас... обрати внимание: у нас, если баба пошла по воду, она никогда дом не запирает — зачем? Приткнет дверь палочкой, и все: сроду никто не зайдет. Уж на что цыганы — у нас их полно — и то не зайдут: мы их так приучили.

— Да кого!.. Вы вот возьмите: у нас один вор есть...

— Вор?

— Вор! Мы все про него знаем, что он вор, он уже раз пять сидел за это дело. А у нас одна заслуженная учительница живет, орден имеет... И этот вор натурально пришел к ней и говорит: "Пусти пожить недели две". А он у нее учился когда-то... в первом классе, что ли. Он вообще-то детдомовский, а она, видно, работала там. Да. "Пусти,— говорит,— пару недель пожить, пока не определюсь куда-нибудь".

— Пустила?

— Пустила! Ну, думаем, и обчистит же он ее!.. Жалели даже старушку.

— Дело в том, что у них такой закон есть: где живешь, там не воруй.

— Да, да.

— Не обчистил?

— Не! Ни-ни, ни волоска не взял. Сдержался.

— Нет, это уж такой закон. Вот если бы взял... если бы он ее все же обокрал, ему бы там свои за это дело...

— Ни-чего не взял!

— Это странно все же... Плевали они на эти законы! Закон. У меня прошлый год стожок сена увезли, змеи ползучие...

— Ну-у, это такие, что ли! Это уж... наш брат кто-нибудь, свои. На кой ему черт сено, урке?

Смеялись. Вспоминали еще случаи... Курили и курили без конца — накурено бывало так, что глаза слезились. А время, слава богу, шло: глядишь, и подойдет час ехать. Ждать на вокзале — это не самое милое из того, что нам приходится делать.

— А я как-то еду из района,— встревал в минуту затишья какой-нибудь расторопный,— гляжу, стоит бабка... ну, лет так восемьдесят — восемьдесят пять. Подняла руку, я остановился. "До Красного, сынок". До Красного шестьдесят пять километров. "Платить-то,— говорю,— есть чем?" — "Есть, милай, есть". Ну, везу...— И рассказчик заранее поблескивает глазом.— Доехали до Красного. "Все,— говорю,— бабка, приехали. Плати." Она мне достает откуда-то из сумки... пять штук яиц!

Смех. Рассказчик доволен.

— "А раньше,— говорит,— брали. Мы,— говорит, — всегда яйцами расплачивались".— "Ладно,— говорю,— иди, бабка".

Рассказчик непременно еще повторял не один раз, как он ей сказал, старухе: "Иди,— говорю,— бабка, иди. Иди, чего с тебя взять". Это надо понимать, что — вот и он тоже добрый человек. Вообще добрых, простодушных, бесхитростных, бескорыстных, как выяснилось на этих собеседованиях, по деревням и селам — навалом, прохода нет от бесхитростных и бескорыстных. Да все такие, чего там! А если встречаются иногда склочные, злые, жадные, то это так — придурки.

Николай Григорьевич уже не записывал адреса, а слушал, поворачивался в разные стороны, смеялся тоже... И оттого, что он так охотно и радостно слушал, рассказывали — с радостью тоже — новые истории, где раскрывалось удивительное человеческое бескорыстие. Правда, нечаянно проскакивали случаи, где высовывалась вдруг морда какого-нибудь завистника или обманщика, но это — пропускали, это не суть дела, это чепуха. Все молча соглашались, что это — чепуха, а миром движет разум и добро.

— Я седня гляжу: пиво продают. Отстоял в очереди — она мне наливает... А наливает — вот так вот не долила. Сунула под кран — и дальше. Я отошел и думаю: "У нас бы ей за такие дела спасибо не сказали".

Тут же соглашались, что — да, конечно... Люди торопятся, людей много, она этим пользуется, бесстыдница. Но, если так-то подумать — ну сколько уж она там не долила! Конечно, ей копейка так и набегает, но ведь, правда, и не умер же ты, что не допил там глоток-другой. А у ней тоже небось — семья.

Но вот уж чего не понимали деревенские в городе — это хамства. Это уж черт знает что, этому и объяснения-то

как-то нету. Кричат друг на друга, злятся. Продавщицу не спроси ни о чем, в конторах тоже, если чего не понял, лучше не переспрашивай: так глянут, так тебе ответят, что дай бог ноги. Тут, как наезжали на эту тему, мужики дружно галдели — не понимали, изумлялись... И Николай Григорьевич тоже со всеми вместе не понимал и изумлялся. Прижимал кого-нибудь к стене туалета и громко втолковывал и объяснял:

— Ведь почему и уехать-то хочу!.. Вот потому и хочу-то — терпенья больше нет никакого. Ты думаешь я плохо живу?! Я живу, дай бог каждому! У меня двухкомнатная секция, мы только двое со старухой... Но — невмоготу больше! Душу всю выворачивает такая жизнь!..— Николай Григорьевич в эту минуту, когда кричал в лицо мужику, страдал вполне искренне, бил себя кулаком в грудь, только что не плакал... Но — и это поразительно — он вполне искренне забывал, что сам много кричит на складе, сам тоже ругается вовсю на шоферов, на грузчиков, к самому тоже не подступись с вопросом каким. Это все как-то вдруг забывалось, а жила в душе обида, что хамят много, ругаются, кричат и оскорбляют. И отчетливо ясно было, что это не жизнь, пропади она пропадом такая жизнь, и двухкомнатная секция, лучше купить избу в деревне и дожить спокойно свои дни, дожить их достойно, по-человечески. Не хочется же оскотинеть здесь со всеми, нельзя просто, мы ж люди! И дорого это было Николаю Григорьевичу, вот эти слова про достоинство человеческое и про покой, и нужно, и больно, и сладко было кричать их... Иногда даже замолкали вокруг, а он один — в дыму этом, в запахах — говорил и кричал. Ему искренне сочувствовали, хотели помочь.

Так, выговорившись, с адресами в кармане Николай Григорьевич шел домой. Шел с вокзала всегда пешком — это четыре остановки. Отходил после большого волнения. Тихонько еще ныла душа, чувствовалась усталость. К концу пути Николай Григорьевич всегда сильно хотел есть.

Никуда он собирался ехать, ни в какую деревню, ничего подобного в голове не держал, но не ходить на вокзал он уже не мог теперь — это стало потребностью. Пристыди его кто-нибудь, ну, старший сын, например, запрети ходить туда, запрети записывать эти адреса, говорить с мужиками... Да нет, как запретишь? Он бы крадучись стал ходить. Он теперь мог без этого.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Некоторые конкретные мысли Н.Н. Князева, человека и гражданина

1. "О ГОСУДАРСТВЕ"

В райгородок Н. приехали эти, которые по вертикальной стене на мотоциклах ездят. На бывшей базарной площади соорудили большой балаган из щитов и брезента, и пошла там трескотня с паузами; над площадью целыми днями висела синяя дымка и остро пахло бензином. Трескотня начиналась в 11 часов и заканчивалась в 19. По стене гоняли супруги Кайгородовы — так гласила афиша.

Кайгородовы остановились в здешней гостинице.

Как-то вечером к ним в дверь постучали.

Кайгородов, лежа на кровати, читал газету, жена его, рослая, круглолицая спортсменка, гладила платье.

— Да,— сказал Кайгородов. Отложил газету, сел, подобрал дальше под кровать босые ноги.— Войдите!

Вошел невысокий человек лет 45, голубоглазый, в галстуке, усмешливый, чуть нахальный.

— Здравствуйте! — сказал человек весело.— Разрешите познакомиться: Князев. Николай Николаич. Вас я знаю: наблюдал вашу работу.

Кайгородов, крепкий красивый мужик, пожал руку гостя. Тот слегка тоже пожал руку хозяина и поклонился Кайгородовой.

— Садитесь,— пригласил Кайгородов.

— Спасибо.— Князев сел и оглядел жилище спортсменов.— А номерок-то... не очень. А?

Кайгородов пожал плечами.

— Ничего. Временно же...

— Я, собственно, вот чего: хотел пригласить вас к себе домой,— сказал Князев. И вопросительно посмотрел сперва на Кайгородову, потом на Кайгородова.

— Зачем? — спросил прямодушный Кайгородов.

— Да так — в гости. Попьем чайку...— Князев смотрел на хозяев весело и бесцеремонно.— Я здесь близко живу. Иконами интересуетесь?

— Иконами?.. Нет. А что?

— У моей тетки есть редкие иконы. Она, конечно, трясется над ними, но когда приезжают знающие люди —

показывает. Кроме того, если ей поднести стаканчик водки — тоже покажет.

— Нет, не интересуемся.

— Ну, просто так пойдемте.

— Да зачем? — все не понимал хозяин.

— В гости, боже мой! — воскликнул Князев.— Что тут такого?

Жена Кайгородова посмотрела на мужа... Тот тоже глянул на нее. Они ничего не понимали.

— Ну? — продолжал Князев.— Чего переглядываться-то? Я же не приглашаю вас на троих сообразить.

— Слушайте,— перебил Кайгородов, человек прямой и несдержанный,— я не понимаю, чего вам надо?

— Тю-тю-тю,— с улыбкой, мирно сказал Князев.— Сразу — обида. Зачем же обижаться-то? Я просто приглашаю вас в гости. Что тут обидного?

— Да я не обижаюсь...— Спортсмен несколько смутился.— Но с другой стороны... я не пойму...

— А я объясняю: пойдемте ко мне в гости,— опять мирно, терпеливо пояснил Князев.— И будет как раз с той стороны, с какой...

— Не пойду,— отчетливо, тоже изо всех сил спокойно сказал Кайгородов. Он опять обозлился. Обозлило вконец это нахальное спокойствие гостя, его какая-то противная веселость.— Вам ясно? Не пойду. Не хочу пить чай.

Князев от души засмеялся.

— Да почему?!

Кайгородов почувствовал себя в дураках. Ноздри его крупного красивого носа запрыгали...

— Гриша,— сказала жена предостерегающе.

Кайгородов встал... Пристально глядя на гостя, нашел под кроватью — ногой — тапочки, надел их и пошел к выходу.

— Пойдемте,— велел он Князеву тихо, но решительно.

— Гриша! — опять сказала жена.

— Все в порядке,— обернулся с порога Кайгородов.— Чего? — И требовательно посмотрел на сидящего Князева. И еще раз сказал: — Пойдемте.

— Куда? — спросил Князев.

— В коридор. Там объясните мне: чего вам надо.

— Да я здесь объясню, зачем в коридор-то? — Похоже, гость струсил, потому что оставил веселость. И говорил теперь, обращаясь больше к хозяйке.— Вы не подумайте, ради бога, что я чего-нибудь тут... преследую, просто мне захотелось поговорить с приезжими людьми. К нам ведь не

часто жалуют. Почему вы обиделись-то? — И Князев просто, кротко посмотрел на хозяина.— Я вовсе не хотел вас обидеть. Извините, если уж вам так не по нутру мое приглашение...— Князев встал со стула.— Как умел, так и пригласил.

Кайгородову опять неловко стало за свою несдержанность. Он вернулся от двери, сел на кровать. Хмурился и не глядел на гостя.

— Гриша,— заговорила жена,— ты ведь свободен... Я-то не могу,— сказала она гостю,— мы завтра уезжаем, надо приготовиться...

— Я знаю, что вы завтра уезжаете, поэтому и пришел,— сказал Князев.— Вы уж извините, что так нескладно вышло... Хотел, как лучше. Вас, наверно, покоробило, что я хихикать стал? — повернулся он к Кайгородову.— Это я от смущения. Все же вы люди... заметные.

— Да ну, чего тут!..— сказал Кайгородов. И посмотрел на жену.— Можно сходить, вообще-то...

— Сходи. А я буду собираться пока.

— Пойдемте! — подхватил Князев.— Посмотрите как живут провинциалы... Все равно ведь так лежите.

Кайгородов, совсем уже было собравшийся с духом, опять заколебался. Вопросительно посмотрел на Князева. Князев поглядел на него опять весело и с каким-то необъяснимым нахальством. Это изумляло Кайгородова.

— Пойдемте,— решительно сказал он. И встал.

— Ну вот,— с облегчением, как бы сам себе молвил Князев.— А то — в коридор...

Кайгородову теперь уже даже хотелось поскорей выйти отсюда с Князевым — понять, наконец, что это за человек и чего он хочет. Что тут что-то неспроста, он не сомневался, но ему стало любопытно, и он был достаточно сильный и смелый человек, чтобы надеяться на себя. Зато теперь жена явно обеспокоилась.

— А может быть, лучше...— начала было она, но муж не дал ей договорить:

— Я скоро, Галя.

— Мы быстро,— сказал и Князев.

Всякое смущение у Кайгородова прошло. Он скоренько оделся, и они вышли с Князевым из номера. На прощание Князев слегка опять поклонился Кайгородовой и сказал:

— Спокойной ночи.

На дворе уже стемнело. На улицах городка совсем почти не было освещения, только возле гостиницы, у подъезда,

лежал на земле светлый круг, а дальше было темно и тревожно.

— Вон там вон мой дом,— сказал Князев.— Метров триста.

Когда вышли из светлого круга и ступили в темень, Кайгородов остановился прикурить.

— Ну, так в чем дело? — спросил он, когда прикурил. Он не видел лица Князева, но чувствовал его веселый, нахальный взгляд, поэтому говорил прямо и жестко.

— Вас как по батюшке-то? — спросил Князев.

— Что надо, я спрашиваю?

Они стояли друг против друга.

— Господи! — насмешливо сказал Князев.— Да вы что, испугались, что ли?

— Что надо?! — в третий раз спросил Кайгородов строго.— Я знаешь, всяких этих штук не люблю...

— Тьфу! — горько и по правде изумился Князев.— Да вы что?! Ну, спортсмены... На чай приглашаю, в гости! Вот мой дом — рукой подать. У меня жена дома, дети, двое... Тетка в боковой комнате. Ну, дают спортсмены. Вы что?

— А что это за манера такая... странная? — сказал Кайгородов.— Хаханьки какие-то.

— Манера-то? — Князев хмыкнул.— Заметил!..— И он двинулся в темноту. Кайгородов пошел следом.— Манера, которая вырабатывается от постоянного общения с человеческой глупостью и тупостью. Вот побьешься-побьешься об нее лбом — и начнешь хихикать.— Князев говорил серьезно, негромко, с грустью.— Сперва, знаете, кричать хочется, ругаться, а потом уж — смешно.

Кайгородов не знал, что говорить. Да и говорить сейчас было бы крайне неудобно: он продвигался наугад, несколько раз натыкался на Князева. Тот протягивал назад руку и говорил:

— Осторожно.

— Темно, как...

— Про Спинозу что-нибудь слышали? — спросил Князев.

— Слышал... Мыслитель такой был?

— Мыслитель, совершенно верно. Философ. Приехал он однажды в один городок, остановился у каких-то людей... Целыми днями сидит, что-то пишет. А ведь простые люди, они как? — сразу на смех: глядите, мол, ничего человек не делает, только пишет. Что остается делать Спинозе?

— Вы спрашиваете, что ли?

— Спрашиваю. Что делать мыслителю?

— Что делать?.. Что он и делал — писать.

Князев помолчал... Потом сказал грустно:

— Это — легче сказать... спустя триста лет. А он был живой человек, его всякие эти... штуки, как вы говорите, тоже из себя выводили. Вот и мой дом,— сказал Князев.— Я хочу только предупредить...— Князев остановился перед воротцами.— Жена у меня... как бы это поточнее — не сильно приветливая. Вы все поймете. Главное, не обращайте внимания, если она будет чего-нибудь... недовольство проявлять, например.

Кайгородов очень жалел, что пошел черт знает куда и с кем.

— Может, не ходить, если она недовольство проявляет?

Князев — слышно было — тихо заругался матом.

— А что делал Спиноза? Вы же сами сказали! Смелей, спортсмен. Пусть нас осудят потом — если исторически окажутся умней нас.— Князев — чувствовалось — намеренно вызывал в себе некую непреклонность, которую он ослабил на время общения с незнакомыми людьми.— Не бойтесь.

— Да ничего я не боюсь! — раздраженно сказал Кайгородов.— Но поперся с вами зря, это уж точно.

— Как сказать, как сказать,— молвил Князев, открывая сеничную дверь.— Тут осторожней — головой можно удариться.

В большой светлой комнате, куда вошли, бросалось в глаза много телевизоров. Они стояли везде: на столе, на стульях...

Потом Кайгородов увидел сухощавую женщину в кути у печки, она чистила картошку. Кайгородова поразили ее глаза: враждебно-вопросительные, умные, но сердитые.

— Здравствуйте,— сказал Кайгородов, наткнувшись на сердитый взгляд женщины.

— Это товарищ из госцирка,— пояснил Князев.— Приготовь нам чайку. А мы пока побеседуем... Проходите сюда, товарищ Кайгородов.

Они прошли в горницу — тоже большая комната, очень много книг, большой письменный стол и тоже полно телевизоров.

— Почему столько телевизоров-то? — спросил Кайгородов.

— Ремонтирую,— сказал Князев, сразу подсаживаясь к столу и извлекая из ящика какие-то бумаги.— Спинова стекла шлифовал, а я вот... паяю, тем самым зарабатываю на хлеб насущный. А мастерская у нас маленькая, поэтому

приходится домой брать.— Он достал бумаги — несколько общих тетрадей, посмотрел на них. Он не улыбался, он был озабочен, как-то привычно озабочен, покорно.— Садитесь, пожалуйста. Чаю, возможно, не будет... Может, и будет, если совесть проснется. Но дело не в этом. Садитесь, я не люблю, когда стоят.— Князев говорил так, как если бы говорил и делал это же самое много раз уже — торопился, не интересовался, как воспримут его слова. Весь он был поглощен тетрадями, которые держал в руках.— Здесь,— продолжал он и качнул тетради,— труд многих лет. Я вас очень прошу...— Князев посмотрел на Кайгородова, и глаза его... в глазах его стояла серьезная мольба и тревога.— Это размышления о государстве.

— О государстве? — невольно переспросил Кайгородов.

Князев пропустил мимо ушей его удивление.

— Мне нужно полтора часа вашего времени...— Тут Князев уловил чутким слухом нечто такое, что встревожило и рассердило его. Он вскочил с места и скорым шагом, почти бегом, устремился к двери. Открыл ее одной рукой и сказал громко: — Я прошу! Я очень пр-рошу!.. Не надо нам вашего чая, только не грохай, пожалуйста, и не психуй!

Из той комнаты ему что-то негромко ответили, на что Князев еще раз четко, раздельно, с некоторым отчаянием, но и зло сказал:

— Я очень тебя прошу! О-чень! — И захлопнул дверь. Вернулся к столу, взял опять тетради в обе руки и, недовольный, сказал:

— Психуем.

Кайгородов во все глаза смотрел на необычного человека.

Князев положил тетради на стол, а одну взял, раскрыл на коленях... Погладил рукой исписанные страницы. Рука его чуть дрожала.

— Государство,— начал он, но еще не читать начал, а так пока говорил, готовясь читать,— это очень сложный организм, чтобы извлечь из него пользу, надо... он требует осмысления в целом. Не в такой, конечно, обстановке...— Он показал глазами на дверь.— Но... тут уж ничего не сделаешь. Тут моя ошибка: не надо было жениться. Пожалел дуру... А себя не пожалел. Но это все — так, прелюдия. Вот тут и есть, собственно, осмысление государства.— Князев погладил опять страницы, кашлянул и стал читать:

— Глава первая: схема построения целесообразного государства. Государство — это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем,

этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна комната, где и помещается пульт управления. Смысл такого государства состоит в следующем... Мобилизуйте вашу фантазию и пойдем нанизывать явления, которые нельзя пощупать руками.— Князев поднял глаза от тетради, посмотрел на Кайгородова, счел нужным добавить еще: — Русский человек любит все потрогать руками — тогда он поймет, что к чему. Мыслить категориями он еще не привык. Вам смысл ясен, о чем я читаю?

Кайгородов засмотрелся в глаза Князева, не сразу ответил.

— Вам ясно?

— Ясно,— сказал Кайгородов.

— Представим себе,— продолжал читать Князев,— это огромное здание в разрезе. А население этажей — в виде фигур, поддерживающих этажи. Таким образом, все здание держится на фигурах. Для нарушения общей картины представим себе, что некоторые фигуры на каком-то этаже — "х" — уклонились от своих обязанностей, перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось. Или же остальные фигуры, которые честно держат свой этаж, получат дополнительную нагрузку; закон справедливости нарушен. Нарушен также закон равновесия — на пульт управления летит сигнал тревоги. С пульта управления запрос: где провисло? Немедленно прозваниваются все этажи... Люди доброй воли плюс современная техника — установлено: провисло на этаже "у". С пульта управления...

— Вы это серьезно все? — спросил Кайгородов.

— То есть? — не понял Князев.

— Вы серьезно этим занимаетесь?

Князев захлопнул тетрадь, положил ее на стопку других... Чуть подумал и спрятал все тетради в ящик стола. Встал и бесцветным, тусклым голосом сказал:

— До свиданья.

Кайгородову стало вдруг жалко Князева, он почувствовал всю его беззащитность, беспомощность в этом железном мире.

— Слушай,— сказал он добро и участливо,— ну что ты дурака-то валяешь? Неужели тебе никто не говорил...

— Я понимаю, понимаю,— негромко перебил его Князев,— двигатель мотоцикла — это конкретно, предметно... Я понимаю. Центробежную силу тоже, в конце концов, можно... представить. Так ведь? Здесь — другое.— Князев, не

оборачиваясь, тронул ящик стола. Смотрел на Кайгородова грустно и насмешливо.— До свиданья.

Кайгородов качнул головой, встал.

— Ну и ну,— сказал он. И пошел к выходу.

— Там не ударьтесь в сенях,— напомнил Князев. И голос его был такой обиженный, такая в нем чувствовалась боль и грусть, что Кайгородов невольно остановился.

— Пойдем ко мне? — предложил он.— У нас там буфет до двенадцати работает... Выпьем по маленькой.

Князев удивился, но грусть его не покинула, и из нее-то, из грусти, он еще хотел улыбнуться.

— Спасибо.

— А что? Пойдем! Что одному-то сидеть? Развеемся маленько.— Кайгородов сам не знал, что способен на такую жалость, он прямо растрогался. Шагнул к Князеву...— Брось ты обижаться — пойдем! А?

Князев внимательно посмотрел на него. Видно, он не часто встречал такое к себе участие. У него даже недоверие мелькнуло в глазах. И Кайгородов уловил это недоверие.

— Как тебя зовут-то? Ты не сказал...

— Николай Николаевич.

— Николай... Меня — Григорий. Микола, пойдем ко мне. Брось ты свое государство! Там без нас разберутся...

— Вот так мы и рассуждаем все. Но вы же даже не дослушали, в чем там дело у меня. Как же так можно? — У Князева родилась слабая надежда, что его хоть раз в жизни дослушают до конца, поймут.— Вы дослушайте... хотя бы главы две. А?

Кайгородов помолчал, глядя на Князева... Почувствовал, что жалость его к этому человеку стала слабеть.

— Да нет, чего же?.. Зря ты все это, честное слово. Послушай доброго совета: не смеши людей. У тебя образование-то какое?

— Какое есть, все мое.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

"Подосвиданькались" довольно жестко. Кайгородов ушел. А Князев сел к столу и задумался, глядя в стену. Долго сидел так, барабанил пальцами по столу... Развернулся на стуле к столу, достал из ящика тетради, раскрыл одну, недописанную, склонился и стал писать.

В дверь заглянула жена. Увидела, что муж опять пишет, сказала с тихой застарелой злостью:

— Ужинать.

— Я работаю,— тоже со злостью, привычной, постоянной, негромко ответил Николай Николаевич, не отрываясь от писания.— Закрой дверь.

2. "О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ"

Летом, в июле, Князев получил отпуск и поехал с семьей отдыхать в деревню. В деревне жили его тесть и теща, молчаливые, жадные люди; Князев не любил их, но больше деваться некуда, поэтому он ездил к ним. Но всякий раз предупреждал жену, что в деревне он тоже будет работать — будет писать. Жене его, Алевтине, очень хотелось летом в деревню, она не ругалась и не ехидничала.

— Пиши... Хоть запишись вовсе.

— Вот так. Чтобы потом не было: "Опять за свое!" Чтобы этого не было.

— Пиши, пиши,— говорила Алевтина грустно. Она больно переживала эту неистребимую, несгораемую страсть мужа — писать, писать и писать, чтобы навести порядок в государстве, ненавидела его за это, стыдилась, умоляла — брось! Ничего не помогало. Николай Николаевич сох над тетрадями, всюду с ними совался, ему говорили, что это глупость, бред, пытались отговорить... Много раз хотели отговорить, но все без толку.

У Князева в деревне были знакомые люди, и он, как приехали, пошел их навестить. И в первом же семействе встретил человека, какого и хотела постоянно встретить его неуемная душа. Приехал в то семейство — тоже отдохнуть — некто Сильченко, тоже зять, тоже горожанин и тоже несколько ушибленный общими вопросами. И они сразу сцепились.

Это произошло так.

Князев в хорошем, мирном расположении духа прошелся по деревне, понаблюдал, как возвращаются с работы домой "колхозники-совхозники" (он так называл сельских людей), поздоровался с двумя-тремя... Все спешили, поэтому никто с ним не остановился, только один попросил прийти глянуть телевизор.

— Включишь — снег какой-то идет...

— Ладно, потом как-нибудь,— пообещал Князев.

И вот пришел он в то семейство, где был Сильченко. Он там знал старика, с которым они говорили. То есть говорил обычно Князев, а старик слушал, он умел слушать, даже

любил слушать. Слушал, кивал головой, иногда только удивлялся:

— Ишь ты!..— негромко говорил он.— Это сурьезно.

Старик как раз был в ограде, и тот самый Сильченко тоже был в ограде, налаживали удочки.

— А-а! — весело сказал старик.— Поудить нету желания? А то мы вот налаживаемся с Юрьем Викторовичем.

— Не люблю,— сказал Князев.— Но посижу с вами на бережку.

— Рыбалку не любите? — спросил Сильченко, худощавый мужчина таких же примерно лет, что и Князев,— около сорока.— Чего так?

— Трата времени.

Сильченко посмотрел на Князева, отметил его нездешний облик — галстук, запонки с желтыми кружочками... Сказал снисходительно:

— Отдых есть отдых, не все ли равно, как тратить время.

— Существует активный отдых,— отбил Князев эту нелепую попытку учить его,— и пассивный. Активный предполагает вместе с отдыхом какое-нибудь целесообразное мероприятие.

— От этих мероприятий и так голова кругом идет,— посмеялся Сильченко.

— Я говорю не об "этих мероприятиях", а о целесообразных,— подчеркнул Князев. И посмотрел на Сильченко твердо и спокойно.— Улавливаете разницу?

Сильченко тоже не понравилось, что с ним поучительно разговаривают... Он тоже был человек с мыслями.

— Нет, не улавливаю, объяснитесь, сделайте милость.

— Вы кто по профессии?

— Какое это имеет значение?

— Ну все же...

— Художник-гример.

Тут Князев вовсе осмелел: синие глаза его загорелись веселым насмешливым огнем, он стал нахально-снисходителен.

— Вы в курсе дела, как насыпаются могильные курганы? — спросил он. Чувствовалось удовольствие, с каким он подступает к изложению своих мыслей.

Сильченко никак не ждал этих курганов, он недоумевал.

— При чем здесь курганы?

— Вы видели когда-нибудь, как их насыпают?

— А вы видели?

— Ну, в кино-то видели же!

— Ну... допустим.

— Представление имеете. Я хочу, чтобы вы вызвали умственным взглядом эту картину: как насыпают курган. Идут люди, один за одним, каждый берет горсть земли и бросает. Сперва засыпается яма, потом начинает расти холм... Представили?

— Допустим.

Князев все больше воодушевлялся — это были дорогие минуты в его жизни; есть перед глазами слушатель, который хоть сердится, но внимает.

— Обрати тогда внимание вот на что: на несоответствие величины холма и горстки земли. Что же случилось? Ведь вот — горсть земли.— Князев показал ладонь, сложенную горстью,— а с другой стороны — холм. Что же случилось? Чудо? Никаких чудес: накопление количества. Так создавались государства — от Урарту до современных суперо́в. Что может сделать слабая человеческая рука? — Князев огляделся, ему на глаза попалась удочка, он взял ее из рук старика и показал обоим.— Удочка. Вот тоже произведение рук человеческих — удочка. Верно? — Он вернул удочку старику.— Это — когда один человек. Но когда они беспрерывно идут друг за другом и бросают по горстке земли — образуется холм. Удочка — и холм.— Князев победно смотрел на Сильченко и на старика тоже, но больше на Сильченко.— Улавливаете?

— Не улавливаю,— сказал Сильченко вызывающе. Его эта победность Князева раздражала.— При чем здесь одно и при чем другое? Мы заговорили, как провести свободное время... Я высказал мысль, что чем бы ты ни занимался, но если тебе это нравится, значит, ты отдохнул хорошо.

— Бред, галиматья,— сурово и весело сказал Князев.— Рассуждение на уровне каменного века. Как только вы начинаете так рассуждать, вы тем самым автоматически выходите из той беспрерывной цепи человечества, которая идет и накопляет количество. Я же вам дал очень наглядный пример: как насыпается холм! — Князев хоть был возбужден, но был и терпелив.— Вот представьте себе: все прошли и бросили по горстке земли... А вы — не бросили! Тогда я вас спрашиваю: в чем смысл вашей жизни?

— Чепуха какая-то. Вот уж, действительно, галиматья-то. Какой холм? Я вам говорю: вот я приехал отдохнуть... На природу. Мне нравится рыбачить... вот я и буду рыбачить. В чем дело?

— И я тоже приехал отдохнуть.

— Ну?..

— Что?

— Ну и что, холм, что ли, будете насыпать здесь?

Князев посмеялся снисходительно, но уже и не очень терпеливо, зло.

— То нам непонятно, когда мыслят категориями, то не устраивает... Такой уж наглядный пример! — Самому Князеву этот пример с холмом, как видно, очень нравился, он наскочил на него случайно и радовался ему, его простоте и разительной наглядности.— В чем смысл нашей жизни вообще? — спросил он прямо.

— Это — кому как,— уклонился Сильченко.

— Нет, нет, вы ответьте: в чем всеобщий смысл жизни? — Князев подождал ответа, но нетерпение уже целиком овладело им.— Во всеобщей государственности. Процветает государство — процветаем и мы. Так? Так или не так?

Сильченко пожал плечами... Но согласился — пока, в ожидании, куда затем стрельнет мысль Князева.

— Ну, так...

— Так. Образно говоря опять же, мы все несем на своих плечах известный груз... Вот представьте себе,— еще больше заволновался Князев от нового наглядного примера,— мы втроем — я, вы, дедушка — несем бревно. Несем — нам его нужно пронести сто метров. Мы пронесли пятьдесят метров, вдруг вы бросаете нести и отходите в сторону. И говорите: "У меня отпуск, я отдыхаю".

— Так что же, отпусков не нужно, что ли? — заволновался Сильченко.— Это же тоже бред сивой кобылы.

— В данном конкретном случае отпуск возможен, когда мы это бревешко пронесем положенных сто метров и сбросим — тогда отдыхайте.

— Не понимаю, чего вы хотите сказать,— сердито заговорил Сильченко.— То холм, то бревно какое-то... Вы приехали отдыхать?

— Приехал отдыхать.

— Что же, значит, бросил бревно по дороге? Или как... по-вашему-то?

Князев некоторое время смотрел на Сильченко проникновенно и строго.

— Вы что, нарочно, что ли, не понимаете?

— Да я серьезно не понимаю! Глупость какая-то, бред!.. Бестолочь какая-то! — Сильченко чего-то нервничал и потому говорил много лишнего.— Ну полная же бестолочь!.. Ну,

честное слово, ничего же понять нельзя. Ты понимаешь что-нибудь, дед?

Старик с интересом слушал эту умную перепалку. С вопросом его застали врасплох.

— А? — встрепенулся он.

— Ты понимаешь хоть что-нибудь, что этот... товарищ молотит здесь?

— Я слушаю,— сказал дед неопределенно.

— А я ничего не понимаю. Ни-че-го не понимаю!

— Да вы спокойней, спокойней,— снисходительно и недобро посоветовал Князев.— Успокойтесь. Зачем же нервничать-то?

— А зачем тут чепуху-то пороть?

— Да ведь вы даже не вошли в суть дела, а уже — чепуха. Да почему же... Когда же мы научимся рассуждать-то логически!

— Да вы сами-то...

— Раз не понял — значит, чепуха, бред. Ве-ли-ко-лепная логика! Сколько же мы так отмахиваться-то будем!

— Хорошо,— взял себя в руки Сильченко. И даже присел на дедов верстак.— Ну-ка, ясно, просто, точно — что вы хотите сказать? Нормальным русским языком. Так?

— Вы где живете? — спросил Князев.

— В Томске.

— Нет, шире... В целом.— Князев широко показал руками.

— Не понимаю. Ну, не понимаю! — стал опять нервничать Сильченко.— В каком "целом"? В чем это? Где?

— В государстве живете,— продолжал Князев.— В чем лежат ваши главные интересы? С чем они совпадают?

— Не знаю.

— С государственными интересами. Ваши интересы совпадают с государственными интересами. Сейчас я понятно говорю?

— Ну, ну, ну?

— В чем же тогда ваш смысл жизни?

— Ну, ну, ну?

— Да не "ну", а уже нужна черта: в чем смысл жизни каждого гражданина?

— Ну в чем?.. Чтобы работать, быть честным,— стал перечислять Сильченко, — защищать Родину, когда потребуется...

Князев согласно кивал головой. Но ждал чего-то еще, а чего, Сильченко никак не мог опять уловить.

— Это все правильно,— сказал Князев.— Но это все — ответвления. В чем главный смысл? Где главный, так сказать, ствол?

— В чем?

— Я вас спрашиваю.

— А я не знаю. Ну, не знаю, что хошь делай? Ты просто дурак! Долбо...— И Сильченко матерно выругался. И вскочил с верстака.— Чего тебе от меня надо?! — закричал он.— Чего?! Ты можешь прямо сказать? Или я тебя попру отсюда поленом!.. Дурак ты! Дубина!..

Князеву уже приходилось попадать на таких вот нервных. Он не испугался самого этого психопата, но испугался, что сейчас сбегутся люди, будут таращить глаза, будет... Тьфу!

— Тихо, тихо, тихо,— сказал он, отступая назад. И грустно, и безнадежно смотрел на неврастеника гримера.— Зачем же так? Зачем кричать-то?

— Чего вам от меня надо?! — все кричал Сильченко.— Чего?

Из дома на крыльцо вышли люди...

Князев повернулся и пошел вон из ограды.

Сильченко еще что-то кричал вслед ему.

Князев не оглядывался, шел скорым шагом, и в глазах его была грусть и боль.

— Хамло,— сказал он негромко.— Ну и хамло же... Разинул пасть.— Помолчал и еще проговорил горько: — Мы не поймем — нам не треба. Мы лучше орать будем. Вот же хамло!

На другой день, поутру, к Нехорошевым (тесть Князева) пришел здешний председатель сельсовета. Старики Нехорошевы и Князев с женой завтракали.

— Приятного аппетита,— сказал председатель. И посмотрел внимательно на Князева.— С приездом вас.

— Спасибо,— ответил Князев. У него сжалось сердце от дурного предчувствия.— С нами... не желаете?

— Нет, я позавтракал.— Председатель присел на лавку. И опять посмотрел на Князева.

Князев окончательно понял: это по его душу. Вылез из-за стола и пошел на улицу. Через минуту-две за ним вышел и председатель.

— Слушаю,— сказал Князев. И усмехнулся тоскливо.

— Что там у вас случилось-то? — спросил председатель. Один раз (в прошлом году, летом тоже) председатель уже разбирал нечто подобное. Тогда на Князева тоже пожаловались, что он "пропагандирует".— Опять мне чего-то там рассказывают...

— А что рассказывать-то?! — воскликнул Князев.— Боже мой! Что там рассказывать-то! Хотел внушить товарищу... более ясное представление...

— Товарищ Князев,— сухо, казенным голосом заговорил председатель,— мне это неловко делать, но я должен...

— Да что должен-то? Что я?.. Не понимаю, ей-богу: что я сделал? Хотел просто объяснить ему... а он заорал, как дурной. Я не знаю... Он нормальный, этот Сильченко?

— Товарищ Князев...

— Ну, хорошо, хорошо. Хорошо! — Князев нервно сплюнул.— Больше не буду. Черт с ними, как хотят, так и пусть живут. Но, боже ж мой!..— опять изумился он.— Что я такого ему сказал?! Наводил на мысль, чтобы он отчетливее понимал свои задачи в жизни!.. Что тут такого?

— Человек отдыхать приехал... Зачем его тревожить. Не надо. Не надо, товарищ Князев, прошу вас.

— Хорошо, хорошо. Пусть, как хотят... Ведь он же гример!

— Ну?

— Я хотел его подвести к мысли, чтобы он выступил в клубе, рассказал про свою работу...

— Зачем?

— Да интересно же! Я бы сам с удовольствием послушал. Он же, наверно, артистов гримирует... Про артистов бы рассказал.

— А при чем тут... жизненные задачи?

— Он бы сделал полезное дело! Я с того и начал вчера: идет вереница людей, каждый берет горсть земли и бросает — образуется холм. Холм тире целесообразное государство. Если допустим, что смысл жизни каждого гражданина в том, чтобы, образно говоря...

— Товарищ Князев,— перебил председатель,— мне сейчас некогда: у меня в девять совещание... Я как-нибудь вас с удовольствием послушаю. Но еще раз хочу попросить...

— Хорошо, хорошо,— торопливо, грустно сказал Князев.— Идите на совещание. До свиданья. Я не нуждаюсь в вашем слушанье.

Председатель удивился, но ничего не сказал, пошел на совещание.

Князев глядел вслед ему... И проговорил негромко, как он имел привычку говорить про себя:

— Он с удовольствием послушает! Обрадовал... Иди заседай! Штаны протрете на ваших заседаниях, заседатели. Одолжение он сделает — послушает...

3. "О ПРОБЛЕМЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ"

Как-то Николай Николаевич Князев был в областном центре по делам своей телевизионной мастерской. И случился у него там свободный день — с утра и до позднего вечера, до поезда. Князев подумал-подумал — куда бы пойти? И пошел в зоопарк. Ему давно хотелось посмотреть удава.

Удава в зоопарке не было. Князев походил по звериному городку, постоял около льва... Потом услышал звонкие детские голоса и пошел в ту сторону. На большой площадке, огороженной проволочной сеткой, катались на пони. А около сетки толпилось много людей. Катались в основном детишки. Визг, восторги!.. Князев тоже остановился и стал смотреть. Ничего особенного, а смотреть, правда, интересно. Перед Князевым стояла какая-то шляпа и тоже высказывала большой интерес к езде на пони.

— Во, во, что делают! — говорил негромко мужчина в шляпе.— Радости-то, радости-то!

Князева подмывало сказать, что это-то и хорошо, и славно — и радость людям, и государству польза, взрослый билет — 20 копеек, детский — 10 копеек. Это как раз пример того, как можно разумно организовать отдых. Кому, скажите, жалко истратить 30 копеек, на себя и на ребенка! А радости, действительно, сколько! Князеву даже жалко стало, что с ним нет его ребятишек.

— Да ведь... это — прощаются! — все говорил мужчина в шляпе. Он ни к кому не обращался, себе говорил.— Как, скажи, в кругосветное путешествие уезжают.

— Психологически — это для них кругосветное путешествие,— сказал Князев.

Мужчина в шляпе оглянулся... И Князева обдало сивушным духом. Мужчина молодой и очень приветливый.

— Да? Радости-то сколько!

— Да, да,— неохотно сказал Князев. И отошел от шляпы. Он физически не переносил пьяных, его тошнило.

Он еще немного посмотрел, как бегают запряженные пони, как радуются дети... Потом посмотрел птиц, потом обезьянок... Один дурак-обезьян (мужского пола) начал ни с

того ни с сего делать нечто непотребное. Женщины застыдились и не знали, куда смотреть, а мужчины смеялись и смотрели на обезьяна. Князев похихикал тоже, украдкой поглядел на женщин и пошел из зоопарка — надоело.

Возле зоопарка, на углу, было кафе, и Князев зашел перекусить.

Он взял кофе с молоком, булочку и ел, стоя возле высокого мраморного столика. Думал о людях и обезьянах: в том смысле, что — неужели люди произошли от обезьян?

— Тут свободно? — спросили Князева.

Князев поднял голову — стоит с подносом тот самый молодой человек, который давеча так живо интересовался детской ездой на пони.

— Свободно,— сказал Князев. Ничего больше не оставалось — столик, и правда, свободный.

Молодой человек расставил на столике стаканы с кофе, тарелочки с блинчиками, тарелочку с хлебом, тарелочку с холодцом... Отнес поднос, вернулся и стал значительно и приветливо смотреть на Князева.

— Примешь?..— спросил он.— Полстакашка.

Князев энергично закрутил головой.

— Нет, нет.

— Чего? — удивился молодой человек, доставая из внутреннего кармана нового пиджака бутылку, при этом облокотился на столик, набулькал в стакан, заткнул бутылку и опустил ее опять в карман.— Не пьешь?

— Не пью,— недружелюбно ответил Князев.

Молодой человек осадил стакан, шумно выдохнул и принялся закусывать.

— Вот и решена проблема свободного времени,— не без иронии сказал Князев, имея в виду бутылку.

— М-м? — не понял молодой человек.

— Все, оказывается, просто?

— Чего просто?

— Ну, с проблемой свободного времени-то.

Молодой человек жевал, но внимательно слушал Князева.

— Какого свободного времени?

— Ну, шумят, спорят... А тут,— Князев показал глазами на оттопыренную полу пиджака,— полная ясность.

Молодой человек был приветлив и на редкость терпелив. Он не понимал, о чем говорит Князев, но нетерпения или раздражения какого-нибудь не выказал. Он с удовольствием ел и смотрел на Князева. Больше того, ему было приятно,

что с ним говорят, и он напрягался, чтобы понять, о чем говорят,— хотелось тоже поддержать разговор.

— Кто спорит? — терпеливо и вежливо спросил он.

Князев жалел уже, что заговорил.

— Ну, спорят: как проводить свободное время. А вам вот... все совершенно ясно.

Молодой человек и теперь не понял, но согласно кивнул головой. И сказал:

— Да, да.

— Зверей смотрели? — спросил Князев.

— А шел мимо — зайти, что ли, думаю? Пацаном был, помню... А ведь... это — дорого их держать-то? Это ж сколько он сожрет за сутки!

— Кто?

— Слон хотя бы.

Князев пожал плечами:

— Черт его знает!

— Но, если бы не было выгоды, их не держали бы,— тут же и заметил молодой человек.— Выгода, конечно, есть. Верно же?

Князев обиделся за государство: намекнули, что государство только и делает, что преследует голую выгоду.

— Верно... Но вы пропустили познавательный процесс. Не все же идут от нечего делать: идут познать что-либо для себя.

— Ну-у уж!..— неопределенно сказал молодой человек. Прожевал, проглотил и закончил: — Чего тут познавать-то? Слона, что ли? Дерьма-то.— Он огляделся, опять облокотился на стол и занялся бутылкой.

Князева обозлила спокойная уверенность, налаженность, с какой этот молодой дурак проделывал свою подлую операцию: булькал из бутылки в стакан.

— Сейчас пойду и заявлю,— сказал Князев.

Молодой человек так изумился, что даже рот приоткрыл. Он изумился, но и готов бы улыбнуться — так это не походило на правду, это заявление Князева.

— Что? — спросил Князев.— Удивительно? А надо бы.

Молодой человек уловил серьезную злость в голосе Князева и поверил, что, наверно, правда: человек готов на него донести. Он сам тоже обозлился... Но не знал пока, как поступить. Он долго и внимательно смотрел на Князева.

— Что? — опять спросил Князев.

— Ничего,— значительно сказал молодой человек. Красивое смуглое лицо уже не было ни приветливым, ни добродушным.

Князев поскорей доел булочку, пошел из кафе. Молодой человек проводил его взглядом до самого выхода.

— Скоты,— вслух сказал Князев, выйдя из кафе.— В зоопарк, видите ли, поперся! Сиди уж у бочки где-нибудь... нагружайся.

Князев хотел перейти улицу, но машинам загорелся зеленый свет; Князев стоял на краю тротуара и тихо негодовал на пьянчуг. Потом машинам дали передохнуть. Князев вместе со всеми перешел улицу и пошел себе не спеша по той стороне улицы — просто так, от нечего делать: до поезда было еще долго. Он постепенно забыл про пьянчуг, наладился было думать про город в целом, как его кто-то тронул сзади за плечо... Князев остановился и оглянулся: стоит перед ним опять этот, в шляпе... Смотрит.

— Что такое?! — резко сказал Князев. Он испугался.

— Хотел спросить...— мирно заговорил молодой человек.— Я давеча не понял: ты правда, что ли?

— Что "правда"?

— Заложить-то хотел.

Князев несколько помолчал...

— Ничего я не хотел... Но внушить кое-что надо бы! — вдруг осмелел он. И посмотрел прямо в глаза выпивохе. Тот, кстати, не так уж и пьян-то был, только глаза блестели и — разило.

— Ну-ка? — согласился молодой человек.

Князев оглянулся... Стояли они недалеко от скверика, где были скамейки. Он направился туда, молодой человек — за ним.

Сели на скамейку.

— Видите ли, в чем дело,— заговорил Князев серьезно,— я ничего в принципе не имею против того, что люди выпивают. Но существует разумная организация людей, в целом эта организация называется — государство. И вот представьте себе, что все в государстве начнут выпивать?..

— Я же не на работе,— возразил молодой человек тоже серьезно.— Я — в свой выходной.

— Во-от! — поймал его Князев на слове. Он все больше увлекался.— Вот об этом и стоит поговорить. Выходной день... Что это такое? Допустим, мы возводим с вами некоторую... Допустим, что мы монтируем какую-то стальную конструкцию...

— Я электрик.

— Прекрасно! Представьте, мы ведем где-то очень сложную сеть. Выходной день — мы напились. Протрезвились, отработали неделю — опять напились...

— Что я, алкаш, что ли?

— Я хочу сказать: нам государство представляет выходной день... даже два теперь — для чего?

Молодой человек молчал. Смотрел на Князева.

— Для того,— продолжал Князев,— чтобы мы, во-первых, отдохнули, во-вторых, не отстали в своем развитии. Вот вы: получили выходной день и не знаете, что с ним делать. Шел мимо зоопарка: "Зайти, что ли?" Ну, а если бы мимо... не знаю, мимо аптеки шел: "Зайти, что ли, касторки взять?" Так, что ли?

Молодой человек стиснул зубы и продолжал смотреть на Князева. Князев не заметил, что он стиснул зубы. Ему смешно стало от этой "касторки". Он посмеялся и уже добродушнее продолжал:

— Нельзя же... таким деревом-то плыть по реке: куда прибьет, туда и ладно. Человек получает свободное время, чтобы познать что-нибудь полезное для себя. Нужное. И чем выше его умственный уровень, тем он умнее как работник. Ну, что же: так мы и будем веками дуть эту сивуху? — Князев посмотрел на молодого человека, но опять не обратил внимания, как тот изменился.— Хватит уж, хватит, мил человек: хватит ее дуть-то, пора и честь знать. Государство ускоряет ритм, это давно уже не телега, это уже — лайнер! А мы — за этим лайнером-то — все пешком, пешком... Все наклоняемся да в стакан булькаем. Тьфу! О каком же движении тут можно говорить! Куда же мы на этот лайнер — с красными-то глазами? Блевать там?..

— Сука,— с дрожью в голосе негромко сказал молодой человек,— карьеру на мне хочешь состроить.— И он наклонился к Князеву, как давеча наклонялся к столику!..

Князев сперва не понял, что он хочет сделать. И когда уже получил первый толчок в бок, то и тогда не понял еще, что его бьют. Понял это, когда получил еще пару тычков в бок и в живот, и довольно больных. Но не пугали его и эти тычки, а испугали близкие, злые, какие-то даже безумные глаза молодого человека.

— Ты!..— взволновался Князев и хотел вскочить. Но этот, в шляпе, держал его за полу, а другой рукой насаживал

в бок, насаживал успевал. И как-то у него это получалось не широко, не шумно, со стороны едва ли заметно.

— А-а!..— закричал Князев. Вырвался, вскочил и тяжелым своим портфелем, где лежали некоторые детали телевизора, навернул сверху по шляпе.— Сюда, люди! Ко мне!..— кричал он. И второй раз навернул по шляпе.

Молодой человек вскочил тоже и откровенно загвоздил Князеву в челюсть. Князев полетел с ног. Но когда летел, слышал, что уже к ним бегут...

...Потом в милиции выясняли их личности. Князев все порывался рассказать, как было дело, но дежурный офицер останавливал: он пока записывал.

— Где работаете? — спрашивал он молодого человека.

— В рембытконторе,— отвечал тот и успевал тоже сказать: — Он на меня начал говорить, что я блюю где попало...

— Подождите вы! — строго говорил дежурный.— Кем?

— Я про тебя, что ли, говорил?! — накинулся Князев на своего врага.

— Про кого же? Про Пушкина?

— Дурак! Я развивал общую мысль о проблеме...

— Да тихо! — приказал дежурный.— Можете вы помолчать?! Кем работаешь?

— Электриком.

— Дубина,— сказал Князев, потирая челюсть.— Тебе не электриком, а золотарем надо... В две смены. Гад подколодный! Руки еще распускает...

— А вы? — перешел к нему дежурный.

Князева отпустили, но он заплатил штраф пятнадцать рублей. Он не стал возмущаться, потому что этого, в шляпе, при нем прямо повели куда-то по коридору — сажать, как понял Князев. Он даже сказал дежурному "до свиданья". И пошел на вокзал.

И тихо прождал на вокзале все долгое время до поезда. Ни с кем не заговаривал, а только сидел на скамейке в зале ожидания и смотрел, смотрел на людей, как они слоняются туда-сюда по залу. Челюсть болела, Князев время от времени трогал ее и качал головой. И шептал:

— Сволота... Руки, видите ли, начал распускать! Гад какой!

4. КОНЕЦ МЫСЛЯМ

Ну, может, не конец еще, но какой-то срыв целеустремленной души — тут налицо.

Вот что случилось.

Князев закончил свой труд: мысли о государстве. Он давно понял, что здесь, в райгородке своем, он не найдет никого, кто оценил бы его большую сложную работу. Опять будут недоумевать, говорить, что "Вы знаете, товарищ Князев..." О, недоумки! Всю жизнь стоят, упершись лбами в стенку, а полагают, что идут проспектом. Что тут сделаешь?!

Князев собрал тетради (восемь общих тетрадей) и пошел на почту — отсылать в центр. Получалось что-то вроде посылочки, что ли: Князев не знал, как это делается, склонился к окошечку узнать, что надо сделать — посылочку, что ли?

За окошечком сидела знакомая женщина, подруга его жены. Князев часто видел ее у себя дома, он поэтому вежливо поздоровался и стал объяснять, что вот восемь общих тетрадей, их надо послать... Пока он так объяснял, он невольно обратил внимание: женщина смотрит на него, но соображает что-то свое, далекое от тетрадей — от того, как их послать. И еще он уловил в ее глазах то противное жалостливое участие, вполне искреннее, но какое особенно бесило Князева — опять он на него наткнулся. И именно теперь, когда труд закончен, когда позади бессонные ночи, волнения... Даже и теперь эта курица сидит и смотрит жалостливо. Но и еще стерпел бы Князев, еще раз проглотил бы обиду, не заговори она, эта... Нет, она открыла рот и заговорила!

— Николай Николаевич, дорогой... давайте подождем с посылкой? Конечно, не мое это дело, но, тем не менее, послушайте доброго совета: подождите. Ведь всегда успеете, а может быть, раздумаете... А?

Князев помнил потом, что было такое ощущение, точно его стали вдруг поднимать куда-то вверх. Но не просто поднимают, а хотят вроде перевернуть вниз головой и подержать за ноги. Все взорвалось в Князеве злым протестом, все вскипело волной гнева. Он закричал неприлично:

— Дура! Дура ты пучеглазая!.. Что ты сидишь квакаешь?! Что? Ты хоть слово "государство" напишешь правильно? Ведь ты же напишешь "гасударство"!

— Не смейте так орать! — тоже закричала женщина.— Сергей Николаич! А, Сергей Николаич!..

— Сергей Николаич! — подхватил и Князев ее зов.— Идите-ка суда — вместе глаза выпучим: тут чявой-то про гасударство! Идите, Сергей Николаич!..

Сергей Николаич и вправду появился из двери в глубине... И стремительно подошел к Князеву.

— Что? Что это тут?!

— Тут чявой-то про гасударство,— с мстительным злорадным чувством говорил Князев.— Разберись, Сергей Николаич: может, в твоей тыкве хоть полторы извилины есть...

Все, кто был на почте, с удивлением смотрели на Князева. А Сергей Николаич вышел из-за перегородки и приближался к Князеву. Вид у Сергея Николаича — впору вязать кого-нибудь.

— В чем дело?

— В шляпе.— Князев хотел собрать свои тетради, но Сергей Николаич крепко положил на них ладонь.

— Прочь! — крикнул Князев. И хотел отбросить наглую руку. Но не смог отбросить.— Прр-очь! — закричал тогда Князев громче прежнего и толкнул Сергея Николаича в грудь.— Прр-очь, хамло!..

Сергей Николаич сгреб его спереди за руки и сильно сдавил.

— Ну-ка, кто-нибудь помогите! — позвал он.— Он же пьян!

Охотники тут же нашлись. Подбежали, завели Князеву руки за спину и держали. И странно, в этом именно положении Князев заговорил более осмысленно, более подробно.

— Ура!..— воскликнул он.— Наша взяла! Ну, вяжите. Вяжите. Эх, лягушатинка! Нет, я не пьян, этот номер у вас не пройдет... Я позволил себе записать некоторые мысли — и нечаянно уронил камень в ваше болото. Какое кваканье поднялось, боже мой! Я вас не задел по голове, Сергей Николаевич? Вы тут — главная лягушка; жаба! Все знает — знает, как связать человека, курица ты дохлая, остолоп!

— Поговори, поговори,— спокойно молвил Сергей Николаич, связывая ремнем руки Князева.— Покричи. Вконец свихнулся?

— Кретины,— говорил Князев.— Полудурки. И ведь нравится — вот ситуация-то — нравится быть полудурками! Хоть ты лоб тут разбей — нравится им быть полудурками, и все.

Князева подтолкнули вперед... Вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев... Князев вышаг-

нул из круга — орал громко и вольно. И испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство.

— Пугачева ведут! — кричал он.— Не видели Пугачева? Вот он — в шляпе, в галстуке! — Князев смеялся.— А сзади несут чявой-то про государство. Удивительно, да? Какой еще! Ишь чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да? Мы те попишем. Мы те подумаем! "Да здравствуют полудурки!"

Хорошо еще, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого.

В отделении он как-то стих, устал, что ли, на вопросы отвечал односложно, нисколько не пугался, а только морщился и хотел скорей уйти домой.

— Ну, шумел, шумел... Я же не пьяный. Я непьющий. Оскорбил я кого-нибудь?

Когда ему стали перечислять, как он оскорбил всех, он опять сморщился и сказал тихо:

— У меня голова болит. Ну, отвезите в больницу, отвезите. Что полудурками-то назвал? А кто же они?

С Князевым не знали, что делать. Посадили пока в камеру и вызвали из больницы врача.

Врач пришел, побыл с Князевым минут десять, вышел и сказал:

— Совершенно нормальный человек. А что?

— Да кинулся оскорблять всех,— стали объяснять врачу.— Всех подряд обзывать начал...

— Ну, это уж... что-то другое. Он в здравом уме, вполне нормальный.

Начальник лично знал Князева. Вызвал его опять в кабинет, закрыл дверь.

— Что случилось-то, Князев?

— Да ну их к черту! — устало сказал Князев.— Взорвался просто... Глупость человеческую не мог больше вынести. Я ей одно, она мне: "Давайте пока не посылать — давайте подумаем". Она подумает!.. Курица.

— Ну, а оскорблять-то зачем было?

— Да она меня хуже оскорбила! Она же меня за идиота считает! Ведь она же ни строчки тут не прочитала,— тетради лежали у начальника на столе,— а судит! И я знаю, откуда: жена ей наговорила... Она к жене моей ходит, та ей и... охарактеризовала всю работу — что глупость, мол, бред, пустая трата... и прочее.

— А что тут вообще-то?

— Мысли о государстве. Семь лет писал.

Начальник поглядел на стопку тетрадей... Потом на Князева. И опять это проклятое удивление, изумление...

Князев поморщился.

— Только ничего не надо сейчас... Не надо.

— Оставь мне, я посмотрю.

— Посмотрите,— Князев встал.— Можно идти, что ли?

— Можно-то можно... Надо потом извиниться перед почтовскими. Надо, Князев.— Начальник строго глядел на Князева.— Надо, как думаешь?

— Ладно,— сказал Князев.— Извинюсь.— Ему очень хотелось домой. Пустота была в голове оглушительная. Пусто и плохо было. Хотелось покоя.— Я извинюсь.

— Хорошо. Иди. Это я потом вам отдам.— Начальник положил руку на тетради.

Князев пошел к двери, но на пороге остановился, оглянулся и сказал:

— Там — восемь тетрадей.

Начальник пробежал глазами стопку.

— Так... И что?

— Чтобы не случилось чего. Там восемь?

— Восемь.

— Чтобы не затерялись где-нибудь.

— Все будут в сохранности.

— Ведь тут...— Князев отшагнул от двери и показал пальцем на стопку тетрадей,— тут, может быть...— Но опять сморщился в каком-то бессильном отчаянии, махнул рукой и ушел.

Начальник взял одну тетрадь, раскрыл...

Раскрыл как раз первую тетрадь. Она так и поименована:

"ТЕТРАДЬ № 1"

Дальше было вступление, которое имело заглавие:

"КОРОТКО ОБ АВТОРЕ".

И следовала краткая "Опись жизни" Н.Н.Князева, сделанная им самим.

"Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитания тоже никакого. Нас воспитывал труд, а также улица и природа. И если я все-таки пробил эти пласты жизни над моей головой, то я это сделал сам. Проблески

философского сознания наблюдались у меня с самого детства. Бывало, если бригадир наорет на меня, то я, спустя некоторое время, вдруг задумаюсь: "А почему он на меня орет?" Мой разум еще не смог ответить на подобные вопросы, но он упорно толкался в закрытые двери. Когда я научился читать, я много читал, хотя наживал через это массу неприятностей себе. Отец, не одобряя мою страсть, заставлял больше работать. Но я все же урывал время и читал. Я читал все подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал: "Сколько всего наворочено! А порядка нет". Так постепенно я весь проникся мыслями о государстве. Я с грустью и удивлением стал понимать, что мы живем каждый всяк по себе — никому нет дела до интересов государства, а если кто кричит об интересах, тот притворяется. Все равно ему свое дороже, но он хочет выглядеть передовым и тем самым побольше урвать. Я видел, как разбазаривают государство: каждый старается на своем месте. "И тем не менее,— думал я,— государство еще все же живет. Чем же оно живет? — продолжал я размышлять. И пришел к такому выводу: — Структурой". Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. "Боже мой,— подумал я,— что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!" Я здесь утрирую, но и это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинять себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения.

И я, разумеется, стал писать. Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям".

Начальник прочитал вступление и задумался. Потом отложил все тетради в сторону — решил взять их домой и почитать.

МЕЧТЫ

Как-то зашел я в гостиничный ресторан — подкрепиться. Сел. Жду.

Подходит официант... Опрятный, курносый, с лицом, которые забываются тут же. Впрочем, у этого в глазах было некое презрение, когда он слушал. Он слушал и чуть кивал головой. И в глазах его, круглых, терпеливых, я обнаружил презрение. Это и остановило мое внимание на его скучном лице... И я без труда узнал человека.

Лет двадцать пять назад мы с ним работали на одной стройке, жили в общежитии в одной комнате. Было нам по шестнадцать лет, мы приехали из деревни, а так как город нас обоих крепко припугнул, придавил, то и стали мы вроде друзья.

Работали... А потом нас тянуло куда-нибудь, где потише. На кладбище. Это странно, что мы туда наладились, но так. Мы там мечтали. Не помню, о чем я тогда мечтал, а выдумывать теперь тогдашние мечты — лень. Тогда бы, в то время, если бы кто спросил, наверно, соврал бы — что-нибудь про летчиков бы, моряков: я был скрытный, к тому же умел врать. А теперь забыл... Всерьез захотел вспомнить — о чем же все-таки мечталось? — И не могу. Забыл. Помню, смотрел тогда фильм "Молодая гвардия", и мне очень понравился Олег Кошевой, и хотелось тоже с кем-нибудь тайно бороться. До того доходило, что иду, бывало, по улице и так с головой влезу в эту "тайную борьбу", что мне, правда, казалось, что за мной следят, и я оглядывался на перекрестках. И даже делал это мастерски — никто не замечал. Но едва ли я рассказывал про такую мечту. Да и не мечта это была, а игра, что ли, какая-то. Как про это расскажешь.

А он рассказывал. Он мечтал быть официантом.

Я хорошо помню, как он азартно напирал и шлепал губами про то, как официанты хорошо живут, богато. Он был тогда губошлеп, а потом, как стал, видно, официантом, то губы подобрал, сдержанный стал, вежливый. Только что это за презрение у него в круглых глазах? Никакого презрения тогда не намечалось, наоборот, дурак дураком был, простодушный и до смешного доверчивый. Даже я учил его, чтоб он не был таким доверчивым.

Меня не удивляло, что он хочет быть официантом. Я, наверно, думал: "Ну и будь!" Не отговаривал. Даже, наверно, гордился потихоньку, что сам я не хочу быть официантом, даже когда голодали. Но это теперь легко сказать, что —

гордился, а гордился ли — не помню. Однако хорошо помню, что он хотел быть официантом. Я только то и помню: кладбище калужское, и что он очень хотел быть официантом.

Кладбище было старое, купеческое. На нем, наверно, уже не хоронили. Во всяком случае, ни разу мы не наткнулись на похороны. Каких-то старушек видели — сидели на скамеечках старушки. Тишина... Сказать, чтоб мысли какие-нибудь грустные в голову лезли,— нет. Или думалось: вот, жили люди... Нет. Самому жить хотелось, действовать, может, бог даст, в офицеры выйти. Скулила душа, тосковала: работу свою на стройке я ненавидел. Мы были с ним разнорабочими, гоняли нас туда-сюда, обижали часто. Особенно почему-то нехорошо возбуждало всех, что мы — только что из деревни, хоть, как я теперь понимаю, сами они, многие,— в недалеком прошлом — тоже пришли из деревни. Но они никак этого не показывали, и все время шпыняли нас: "Что, мать-перемать, неохота в колхозе работать?"

Помню еще надгробия каменные, тесаные, тяжелые. Я думал тогда: как же было тащить сюда такую тяжесть? На подводах, что ли? Надписи на камнях — все больше купцы лежат. Сколько же купцов было на Руси! Или — это кладбище только купеческое? Тишина была на кладбище. Отторговали купцы, отшумели... Лежат. Долго-долго будут лежать, пока не раскурочат кладбище под какой-нибудь завод. У нас в деревне забросили старое кладбище, стали хоронить на новом месте, на горе.

Да, так вот — официант. Странно, что я никак не встревожился, не заволновался, что встретил его, не захотел поговорить. Не знаю — почему-то не захотел. Может потому, что был я крепко с похмелья, а он возьмет и подумает, что у меня совсем уж плохие дела. Еще пожалеет. А разубеждать — совестно. Словом, не стал я объявляться. А возьму да и пожалею... Зачем?.. Я стал наблюдать за ним. И получил какое-то жестокое удовольствие. Он совсем изменился, этот человек. Не будь у меня такая редкая память на лица, никогда бы мне не узнать его. Я сказал, что обнаружил у него в глазах презрение. Никакого презрения! Тут же подошел к соседнему столику и таким изящным полупоклоном изогнулся, да так весело, беззаботно, добро улыбнулся, что куда тебе! Помурлыкал что-то насчет закуски, посоветовал, покивал причесанным на пробор шарабанчиком, взмахнул салфеткой и отбыл в сторону кухни. Э-э, он-таки научился. Презрение — это ко мне только, потому что я с похмелья. И

один. И одет — так себе. И лицо солдатское. А так бы он и мне с достоинством поклонился. Ах, славно он кланяется! Именно — с достоинством, не угодливо, нет,— красиво, спокойно, четко, ни на сантиметр ниже, ни на сантиметр выше, а как раз, чтоб подумали: "Надо потом прикинуть к счету рубль-другой". Поклонись он мне так, я бы так и подумал. А вот бережет же свой поклон, не всем подряд кланяется. Опыт. Конечно, иногда наверно, ошибается, но в общем метит точно. Там, например, где он только что поклонился, сидели совсем молодые ребята с девушками, ребятки изображали бывалых людей, выдавили дома прыщи, курили заграничные сигареты. Тут-то он им — и поклончик, поводил умытым пальцем по меню — совет, что лучше заказать, покивал головкой — коньяк, шампанское... Легкое движение — переброс салфетки с руки на руку — заключительный поклон, исчезновение. Славно. И ведь, хитрец: все с понимающим видом, с видом, что — вот: молодые, беспечные — "бродят". Как там у Хемингуэя (у Хема)? Зашли в одно место — выпили, зашли в другое место — выпили... Шельма, он же знает, что для того, чтоб сюда войти с улицы, надо отстоять в очереди, где вся беспечность улетучится. Но так как молодые играли в беспечность, он умело подхватил игру. Он знает, что деньги у них — папины, или кто-то из них в дедовой библиотеке приделал ноги четырехтомнику Даля... Но он все принимает за чистую монету: вошли джентльмены, все будет о'кэй. Прежде всего он понимает, что ребятки форсят перед девушками, при расчете не станут пересчитывать, а еще и подкинут трояк.

Но вот уж он иноходит от кухни... Ширк-ширк, ширк-ширк — обогнул столик, другой, поднос на левой руке как щит, а на щите — всякие вкусные штуки. Сказать ему, что ли, про калужское кладбище? Помнишь, мол, как там тихо-тихо было?.. Нет, пожалеет он меня, навернякa, пожалеет в душе.

— У вас что было?
— Котлета.
— Котлета... Пожалуйста.
— По-калужски?
— Что?
— Котлета-то по-калужски?
— Почему по-калужски? Нормальная котлета.
— Я думал, по-калужски.
— Где вы видите — по-калужски?

— Да нигде не вижу... Я вот смотрю на нее, думал, она — по-калужски.

— Нет у нас никаких по-калужски!

— Ну, нет — и не надо. Я же не прошу. Я говорю: я думал, она по-калужски.

— Будете кушать?

— А как же!

— Водка... А что собой представляет по-калужски?

— Такие... на гробики похожи... Купеческие котлеты.

Он быстро, подозрительно глянул на меня, на графинчик с водкой, что мне поставил,— испугался: не развезет ли меня, если я это оглоушу, в графинчике-то? Их за это ругают, я слышал. Я интеллигентно кашлянул в ладонь, сказал как можно приветливее:

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Официант отбыл к соседнему столику.

Нет, не буду я ему ничего говорить про Калугу. А три рубля лишних дам потом. Как можно небрежней дам, и никакого презрения — дам, и все. Как будто я каждый раз вот так по трояку отваливаю — такой я странный, щедрый человек, хоть и с солдатским лицом и неважно одет. Меня прямо нетерпение охватило — скорей дать ему три рубля. Посмотреть: какое у него сделается лицо!

...Я поел, выпил. Он мне кратким движением — сверху вниз — счет. Я заплатил по счету, встал и пошел. Трояк не дал. Ни копейки не дал. Не знаю, что-то вдруг разозлился и не дал. А чтоб самому про себя не думать, что я жадный, я отдал эти три рубля гардеробщику. Я не раздевался, так как вошел в ресторан из гостиницы, а подошел и просто дал. Он меня спросил:

— Побрызгать?

— Не надо,— сказал я.— Брызгать еще...

"Вот так вот,— думал я сердито про официанта,— гроша ломаного не дам. И так проживешь. Вон какой ловкий!.. Научился".

ПЕТЬКА КРАСНОВ РАССКАЗЫВАЕТ

Родные Петьки Краснова собрались послушать, как он ездил на юг лечить радикулит.

Петька вернулся как раз в субботу, пропарился в родной бане, выпил "законную" и стал рассказывать. Он, вообще,

рассказывать не умеет — торопится всегда, перескакивает с пятого на десятое и вдобавок шепелявит (букву "ш" толкает куда-то в передние зубы, получается не то "с", не то "з" — что-то среднее). А тут еще он волнуется, ему охота рассказать поярче, побольше — не так уж часто его слушают, да еще сразу столько людей. И всем, он понимает, интересно.

— Народу-у, мля!..— У него какая-то дурацкая привычка: чуть ли не после каждого слова приговаривать "мля". К этому привыкли, не обращают внимания.

— Идес, мля, по пляжу — тут баба голая, там голая — валяются. Идес, переступаес через них...— Петька выговаривает: "переступас" .

— Совсем, что ли, голые?

— Зачем? Есть эти, как их?.. купальники. Но это ж так — фикция.

— А ты как? Одетый?

— Зачем? Я сперва в трусах ходил, потом мне там один посоветовал купить плавки. Ну, я стал как все. Так они что делают, мля: по улице и то ходют вот в таких вот станисках — сортики. Ну, идес, ну — смотрис же. Неловко, вообсе-то...

— Ну, да: другая по харе даст.

— Мне там один посоветовал: ты, говорит, купи темные очки — ни черта, говорит, не разберес, куда смотрис.

— Как же это?..

— А вот они! На, надень! Ну, надень!

— Ну...

— Смотри вон на Зойку — баску не поворачивай! Ниже! Смотрис?

— Ну...

— Заметно, куда он смотрит?

— Нет, правда. Во!..

— Заходис вечером в ресторан, берес саслык, а тут наяривают, мля, тут наяривают!.. Он поет, а тут танцуют. Ну, танцуют, я те скажу!.. Сердце заходится, сто только выделывают! Так поглядис — вроде совестно, а потом подумаес: нет, красиво! Если уж им не совестно, чего мне-то совестно? Атомный век, мля,— должна быть скорость. Нет, красиво. Там один стоял: бесстыдники, говорит. Ну, его тут же побрили: не нравится — не смотри! Иди спать! А один раз — как дали "Очи черные", у меня на глазах слезы навернулись. Такое осюсение: полезь на меня пять человек — не страсно. Чуть не заплакал, мля. А полезли куда-то на гору

— я чуть не на карачках дополз, мля, ну — красота! Море!.. Пароходы... И, главное, на каждом пароходе своя музыка. Такое оссюсение — все море поет, мля. Спускаемся — опять в ресторан...

— Так это ж сколько денег просадить можно?! Если тут ресторан, там ресторан...

— Там рестораны на каждом сагу. Дорого, конесно. Мне там один говорит: первый и последний раз. Нет, можно без ресторанов, там пельменные на каждом сагу.

— Пельмени?!

— Пельмени. Пожалуйста. Три порции — вот так хватает.

— То-то ты полторы сотни уханькал — по ресторанам-то.

— Десевле нельзя. Но сто я вам скажу: нигде ни одного грубого слова! Стобы матерное слово — боже упаси! Только суточки, суточки... Все смеются, сутят. Смеются, прямо сердце радуется. И пьяных нету. Так, идес — видис: врезамсы, паразит! По глазам видно. Но не сатается. Но вот хохма была! Посли домик Чехова смотреть, ну, надели какие-то тряпосные стуковины на ноги — стоб пол не портить. Ну, сагаем потихоньку, слусаем... А там под стеклом кожаное пальто висит. Ну, эта женщина, солидная такая, стояла рядом... как заорет: "Это он такой больсой был!" Да как брякнется! — Петька долго один смеется, вспомнив, как брякнулась солидная тетя.— Она на каблучках, а хотела подойти поближе — поглядеть пальто, а запуталась в этих стуках-то... Ну, мля, все за животики взялись...

— А што за пальто-то? Какое пальто?

— Пальто Чехова, писателя. Он в нем на Сахалин ездил.

— Ссылали, что ль?

— Да зачем! Сам ездил — посмотреть. От он тогда и простыл. Додуматься — в таком пальтисечке в Сибирь! Я ее спрасываю: "А от чего у него чахотка была?" — "Да, мол, от трудной жизни, от невзгод", — начала вилять. От трудной жизни. Ну-ка, протрясись в таком кожанчике через всю Сибирь...

— Ну, она и была — трудная жизнь, раз ему тулуп взять не на што было.

— Может, не знал человек, какие тут холода.

Петька молчит, потому что забыл спросить тогда у женщины-экскурсовода: зимой ездил Чехов или летом?

— Знаес, какой у него рост был?

— У кого?

— У Чехова. Метр восемьдесят семь!

Это родных не удивило — знавали и повыше. Это тогда экскурсантов почему-то очень всех удивило, и Петька удивился со всеми вместе. И сейчас хотел удивить.

— Ну, а радикулит-то как? Полегчало?

— Совсем почти не чую! Во, гляди: встал, нагнулся, выпрямился...— Петька встал, нагнулся, выпрямился.— А раньше, если нагнулся, то не разогнесся.

— А говоришь, на гору чуть не на карачках заполз.

— То — на гору! На гору мне пока тяжело.

— Ну, пора и на боковую,— сказал тесть Петькин, сам тоже с трудом поднимаясь — засиделся.— Завтра вставать рано. Пойдешь покосить со мной? Или отдохнуть охота с дороги?

— Пойду! — с удовольствием откликнулся Петька.— Я наотдыхался.

— Ему теперь — двойную норму ломать надо,— сказал сосед Петькин, дядя Родион, который тоже приходил послушать про теплые края.— Полторы тыщи за месяц — это...

— А дорога! — воскликнула теща.

— Да, кусаются они, курортики-то.

Петьке неловко стало, что из-за его проклятого радикулита пришлось истратить больше двухсот рублей.

— Виноват я теперь, если он ко мне извязался?

— Кто тебя винит! — искренне сказал тесть.— Никто не винит. Хворь — она всегда дорого стоит.

На том все и порешили.

Только теща добавила:

— Теперь уж берегись! А то ведь не берегетесь нисколько. Потные, не потные — лезете под машину, на сырую землю спиной. Рази так можно! Возьми да постели куфайку хоть, руки-то не отсохнут. Зато здоровый будешь.

Мужики закурили еще по одной. Дядя Родион ушел домой.

Петька докурил папиросу, сидя за столом, аккуратно загасил окурок о край тарелки, бросил в угол и пошел в горницу — к жене Зое.

Зоя уже постелила и лежала, отвернувшись к стене. Петька, одетый еще, хотел сперва поцеловать ее... Зоя накрылась одеялом с головой. Петька опешил:

— Ты чего?

— Ничего... Не лезь. Их же там много на пляже валялось, чего ты ко мне лезешь?

— Да ты сто, Зой?

— Ни "сто"! Не лезь, и все. Мало тебе их там было?

Петька даже осердился, хоть редко сердился.

— Дура ты, дура!.. Кому я там нужен? Там без меня хватает — специально этим делом занимаются. Их со мной, сто ли, сравнис?..

Зоя рывком скинула одеяло, села. Она была злая.

— Так какого ж ты черта весь вечер сидел только про их и говорил?! Ничего другого не нашлось рассказывать, только — бабы, бабы... Тут бабы, там голые бабы...

— Но если их там много, чего я сделаю?

— Ты лечиться поехал, а не глаза пялить на баб! Очки ему даже посоветовали купить... Страмец. Весь вечер со стыда сидела сгорала.

— Дак взяла бы и подсказала!.. Я ж думал, как повеселей. Не суми зря-то. Зря сумис-то.

— Сумис, сумис... Сюсюкалка чертова!

— Ну, отойди, отойди маленько,— миролюбиво сказал Петька.— Я пока на крыльце посижу, покурю.— В душе он согласился с женой: в самом деле, распустил язык, не нашел, о чем поговорить. Да еще и приврал — с ресторанами-то: за весь месяц в ресторане-то был всего два раза. И один раз там пели "Очи черные". И танцевали.— Я покурю пойду.

— Иди куда хочешь.

Петька вышел на крыльцо, сел на приступку. Нечаянная ссора с женой не расстроила — она такая, Зоя: вспыхнет как порох и тут же отойдет. Да и не за что зло-то копить, что она, не понимает, что ли.

Ночь... Чуть лопочут листвой березки в ограде, чуть поскрипывает ставня... И наплывает от сараев, где коровы, куры, телок, живым теплым духом. И мерно каплет из рукомойника в таз... Вспомнились те ночи — далекие, где тихо шумит огромное море и очень тепло... И Петька усмехнулся, подумал: сколь велика земля! Пальмы растут на свете; люди пляшут, смеются; большие белые дома — чего только нет!

Ночь. Поскрипывает и поскрипывает ставенка — все время она так поскрипывает. Шелестят листвой березки. То

замолчат — тихо, а то вдруг залопочут-залопочут, неразборчиво, торопливо... Опять замолчат. Знакомо все, и почему-то волнует.

Петьке хорошо.

КАК МУЖИК ПЕРЕПРАВЛЯЛ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛКА, КОЗУ И КАПУСТУ

Собрались три бледно-зеленые больничные пижамы решать вопрос: как мужику в одной лодке переплавить через реку волка, козу и капусту? Решать стали громко: скоро перешли на личности. Один, носатый, с губами, похожими на два прокуренных крестьянских пальца, сложенных вместе, попер на лобастого, терпеливого:

— А ты думай! Думай! Он поплавит капусту, а волк здесь козу съест! Думай!.. У тя ж голова на плечах, а не холодильник.

Лобастый медленно смеется.

Этот лобастый — он какой-то загадочный. Иногда этот человек мне кажется умным, глубоко, тихо умным, самостоятельным. Я учусь у него спокойствию.

Сидим в курилке, курим. Молчим. Глухая ночь... Город тяжело спит. В такой час, кажется, можно понять, кому и зачем надо было, чтоб завертелась, закружилась, закричала от боли и радости эта огромная махина — Жизнь. Но только — кажется. На самом деле сидишь, тупо смотришь в паркетный пол и думаешь черт знает о чем. О том, что вот — ладили этот паркет рабочие, а о чем они тогда говорили? И вдруг в эту минуту, в эту очень точную минуту из каких-то тайных своих глубин Лобастый произносит... Спокойно, верно, обдуманно:

— А денечки идут.

Пронзительная, грустная правда. Завидую ему. Я только могу запоздало вздохнуть и поддакнуть:

— Да. Не идут, а бегут, мать их!

Но не я первый додумался, что они так вот — неповторимо, безоглядно, спокойно — идут. Ведь надо прежде много наблюдать, думать, чтобы тремя словами — верно и вовремя сказанными — поймать за руку Время. Вот же черт!

Лобастый медленно (он как-то умеет — медленно, то есть не кому-нибудь, себе) смеется.

— Эх, да не зря бы они бежали! А?

— Да.

Только и всего.

Лобастый отломал две войны — финскую и Отечественную. И, к примеру, вся финская кампания, когда я попросил его рассказать, уложилась у него в такой... компактный, я бы так назвал, рассказ:

— Морозы стояли!.. Мы палатку натянули, чтоб для маскировки, а там у нас была печурка самодельная. И мы от пушек бегали туда погреться — каждому пять минут. Я пришел, пристроился сбочку, задремал. А у меня шинелька — только выдали, новенькая. Уголек отскочил, и у меня от это вот место все выгорело. Она ж — сукно — шает, я не учуял. Новенькая шинель.

— Убивали же там!

— Убивали. На то война. Тебе уколы делают?

— Делают.

— Какие-то слабенькие теперь уколы. Бывало, укол сделают, так три дня до тебя не дотронься: все болит. А счас сделают — в башке не гудит и по телу ничего не слышно.

И вот Носатый прет на Лобастого:

— Да их же нельзя вместе-то! Их же... Во дает! Во тункель-то!

— Не ори,— советует Лобастый.— Криком ничего не возьмешь.

Носатый — это не загадка, но тоже... ничего себе человечек. Все знает. Решительно все. Везде и всем дает пояснения; и когда он кричит, что волк съест козу, я как-то по особенному отчетливо знаю, что волк это сделает — съест. Аккуратно съест, не будет рычать, но съест. И косточками похрустит.

— Трихопол?! — кричит Носатый в столовой.— Это — для американского нежного желудка, но не для нашего. При чем тут трихопол, если я воробья с перьями могу переварить! — И — таков дар у этого человека — я опять вижу и слышу, как трепещется живой еще воробей и исчезает в железном желудке.

Третья бледно-зеленая пижама — это Курносый. Тот все вспоминает сражения и обожает телевизор. Смотрит, приоткрыв рот. Смотрит с таким азартом, с такой упорной непос-

редственностью, что все невольно его слушаются, когда он, например, велит переключить на "Спокойной ночи, малыши". Смеется от души, потому что все там понимает. С ним говорить, что писать в вату — бесполезно.

Вот эти-то трое схватились решать весьма сложную проблему. Шуму, как я сказал, сразу случилось много.

Да, еще про Носатого... Его фамилия — Суворов. Он крупно написал ее на полоске плотной бумаги и прикнопил к своей клеточке в умывальнике. Мне это показалось неуместным, и я подписал с краешку карандашом: "Не Александр Васильевич". Возможно, я сострил не бог весть как, но неожиданно здорово разозлил Суворова. Он шумел в умывальнике:

— Кто это такой умный нашелся?!

— А зачем вообще надо объявлять, что эта клеточка — Суворова? Ни у кого же нет. Вы что, полагаете...— пустился было в длинные рассуждения один вежливый очкарик, но Суворов скружил на него ястребом.

— Тогда чего же мы жалуемся, что у нас в почтовом ящике газеты поджигают? Сегодня — карандаш, завтра — нож в руки!..

— Ну, знаете, кто взял в руки карандаш, тот...

— Пожалуйста, можно и без ножа по очкам дать. По-моему, я догадываюсь, кто это тут такой грамотный...

Очкарик побледнел.

— Кто?

— Сказать? Может, носом ткнуть?

Мне стало больно за очкарика, и я, как частенько я, выступил блестящим недомерком.

— А чего вы озверели-то? Ну, пошутил кто-то, и из-за этого надо шум поднимать.

— За такие шутки надо... не шум поднимать! Не шум надо поднимать, а тянуть куда следует.

Дурак он. Дурак и злой.

— Как же ты туда повезешь волка, когда там коза?! — кричит Суворов.— Он же ее съест!

— Связать,— предлагает Курносый.

— Кого связать?

— Волка.

— Нельзя, тункель!

— А чего ты обзываешься-то? Мы предлагаем, как выйти из положения, а ты...

— Как же тут не кричать, скажи на милость?! Если вы не понимаете элементарных вещей...

Лобастый упорно думает.

— Как все покричать любят! — изумляется Курносый.— Знаешь — объясни. Чего кричать-то?

— Полные тункели! — удивляется, в свою очередь, Суворов.— Какой же тогда смысл в этой задаче? Ну — объяснил я, и все? А самим-то можно подумать?

— Вот мы и думаем. И предлагаем разные варианты. А ты наберись терпения.

— Привыкли люди, чтоб за них думали! Сами — в сторонку, а за них думай!

— Волк капусту не ест,— размышляет вслух Лобастый.— Значит его можно здесь оставить...

— Ну! ну! ну! — подталкивает Суворов.

— Не понужай, не запрег.

— Давай дальше! Волк капусту не ест... Правильно начал!

Серые, глубокие глаза Лобастого тихо сияют.

— Начать — это начать,— бормочет он. По-моему, он уже сообразил, как надо делать.— Говорят: помоги, господи, подняться, а ляжем сами. Зиачит, козу отвезли. Так?

— Ну!

— Плывем назад, берем капусту...

— Ее же там коза сожрет! — волнуется Курносый.

— Сожрет? — спрашивает Лобастый, и в голосе его чувствуется мощь и ирония.— Тада мы ее назад оттуда, раз она такая прожорливая.

— А тут волк!

— А мы волка — туда. Пусть он у нас капустки спробует...

Суворов радостно хлопает Лобастого по спине; и так как мне все время что-нибудь кажется, когда Суворов что-нибудь делает, то на этот раз почему-то кажется, что он хлопнул по лафету тяжелой пушки, и пушка на это никак не вздрогнула.

— А-а! — догадывается Курносый. Ему тоже весело, и он смеется.— А потом уж мы туда — козу, в последнюю очередь!..

— Дошло! — орет Суворов. Он просто не может не орать. Все мы тут — крепко устали, нервные.— Это тебе не высоту брать.

— Сравнил телятину с...— обиделся Курносый.

Лобастый долго, терпеливо, осторожно мнет в толстых пальцах каменную "памирину", смотрит на нее... И я вдруг

ужасаюсь его нечеловеческому терпению, выносливости. И понимаю, что это — не им одним нажито, такими были его отец, дед... Это — вековое.

Лобастый по привычке едва заметным движением тронул куртку, убедился, что спички в кармане, встал, пошел в курилку. Я — за ним. Посидеть с ним, помолчать.

СНЫ МАТЕРИ

Вот материны сны, несколько. Почему-то они мне запомнились, не знаю. Может, потому, что рассказывала она их не один раз; она сама помнит их всю жизнь.

Первый

— Я была ишо маленькая, годов семь так, восемь было. Может, маленько больше. Вижу сон. Вышла я вроде из дома — в тятином дому-то — а в ограде у нас на ослике сидит святой с бородкой. Маленький такой старичок, весь белый: бородка белая, волосы белые. "Поводи, говорит, меня, девочка, по оградке-то, поводи". Я — вроде так и надо — начала его водить. Взяла ослика-то за уздечку да вожу. Осликов-то сроду не видела, а вот приснилось же. Вожу, а сама возьми да подумай: "Дай-ка я у него спрошу, што мне на том свете будет?" Да взяла да спросила. Старичок засмеялся, достал откуда-то из-под полы бумажку и подает мне. "Вот, говорит, чего тебе будет". Я взяла бумажку-то, смотрю: она вся-вся исписана. А читать-то я умела. Вижу, буковки все наши, а разобрать сразу как-то не могу. Ладно, думаю, я его ишо маленько покатаю, а потом пойду в избу да прочитаю ладом. А сердце так вот волнуется!.. Шибко уж я рада, што узнаю про себя. Вожу вроде ослика-то, а сама — нет-нет да загляну в бумажку. Не читаю, а так. Радуюсь. Даже и про старичка забыла. Радовалась я, радовалась — и проснулась. Так обидно, так обидно было, даже заплакала. Маме утром рассказываю, она мне говорит: "Глупенькая ты, глупенькая, кто же тебе здесь скажет, что на том свете будет? Никто не скажет". А я вот все думаю: не проснись я раньше времени, можеть, и успела бы прочитать хоть словечка два. Главно, ведь торопилась же в избу-то!.. И вот — на тебе! — проснулась. Видно, и правда: не дано нам знать про это, не дано.

Второй

— А это уж когда у меня вы были... Когда уж Макара забрали.

— В тридцать третьем?

— Но. Только-только его забрали. Весной. Я боялась ночами-то, ох боялась. Залезу с вами на печку и лежу, глазею. А вы — спи-ите себе, только губенки оттопыриваются. Так я, грешным делом, нарочно будила вас да разговаривала — все не так страшно. А кого вам было-то!.. Таля, та вовсе грудная была. Ну. А тут — заснула. И слышу, вроде с улицы кто-то постучался. И вижу сама себя: вроде я на печке, с вами лежу — все как есть. Но уж будто я и не боюсь ничегошеньки, слазию, открыла избную дверь, спрашиваю: "Кто?" А там ишо сеничная дверь, в нее постучались-то. Мне оттуда: "Это мы, отроки. С того света мы".— "А чего вы ко мне-то? — Это я-то им.— Идите вон к Николаю Погодину, он мужик, ему не так страшно".— "Нет, нам к тебе надо. Ты нас не бойся". Я открыла... Зашли два мальчика в сутаночках. Меня всюё так и опахнуло духом каким-то. Прия-атным. Даже вот не могу назвать, што за дух такой, на што похожий. Сели они на лавочку и говорят: "У тебя есть сестра, у нее померли две девочки от скарлатины..." — "Ну, есть, говорю. И девочки померли — Валя и Нюра".— "Она плачет об их, горюет". — "Плачет, говорю. Жалко, как же".— "Вот скажи ей, штоб не плакала, а то девочкам от этого хуже. Не надо плакать".— "Ладно, мол, скажу. А почему же хуже-то от этого?" Они мне ничего не сказали, ушли. Я Авдотье-то на другой день рассказала, она заплакала: "Милые мои-то, крошечки мои родные, как же мне не плакать об вас?.." Да и наревелись обои с ей досыта. Как же не плакать — маленькие такие, говорить только начали, таких-то ишо жалчее.

Третий

— А тут вижу: хвораю лежу. А правда хворала-то. Си-ильно хворала. Но это в то же время, как Макара взяли. А вижу, вроде я в тятином дому-то лежу, на кровати. Я часто себя в тятином дому вижу. И вот лежу хвораю. А вот так вот вскинула глаза-то позадь себя, а они стоят две — Авдотьины девочки-ти, которые померли-то. Стоят две. В чем их положили в гробики, в том и стоят — в платьицах в таких, я их хорошо помню, эти платьица. "Ой, говорю, Валенька, Нюрынька!.. Да милые вы мои-то, вы откуда же?" — "А оттуда,

говорят".— "Ну и как вам там?" — "Хорошо. Ой няня Маруся, нам там хорошо!" Ну, знамо, безгрешные душеньки... А потом Валя, постарше которая, вот так вот пальчиком погрозила и говорит: "А куклы-то нам посулила, а сама не сделала". А правда: когда они хворали лежали, я им посулила куклы сделать. Тада ведь купить-то негде было, сами делали да из тряпочек разных платьица шили да играли. И так мне горько сделалось, что я заплакала. Заплакала и проснулась — лежу зареванная... "Ладно, думаю, выздоровею, сделаю вам куклы". Выздоровела, выстрогала две куколки, одела их понарядней да соседским девочкам, какие победней, отдала. Вот, играйте на здоровье.

Четвертый

— А это уж, как война началась,— тоже сон видела. Как забрали наших мужиков, то их сперва здесь держали, а потом в Бийск вон всех отвезли — в шалоны сажать. Согнали их туда — видимо-невидимо! Ну, пока их отправляли партиями, мы там с имя жили — прямо на площади, перед вокзалом-то, больша-ая была площадь. Дня три мы там жили. Лето было, чего же. И вот раз — днем! — прикорнула я, сижмя прямо, на мешок на какой-то голову склонила да и задремала. А он рядом сидел, Павел-то[1]. И только я задремала, вижу сон. Будто бы с им на покосе. А покос вроде не колхозный, а свой, единоличный. Балаган[2] такой стоит, таганок возле балагана... Сварила я похлебку да даю ему попробовать: "На-ко, мол, спробуй, а то тебе все недосол кажется". Он взял ложку-то, хлебнул да как бросит ложку-то и даже замaтерился, сердешный. Он редко матерился, покойничек, а тут даже заматерился — обжегся. И я сразу и проснулась. Проснулась, рассказываю ему, какой сон видела. Он послушал-послушал да загрустил... Аж с лица изменился, помутнел (побледнел). Говорит печально: "Все, Маня... Неспроста этот сон: обожгусь я там". И — обжегся: полгода всего и пожил-то после этого — убило.

Пятый

— А вот сон тоже. Лежала я в больнице, а со мной вместе девушка одна лежала, сиротка. Я приголубила ее, она меня

---

1 Мой отчим.
2 Так у нас называли шалаш.

и полюбила. Да так привыкла! Ночевать потом ко мне ходила, когда мы из больницы-то выписались. А работала она на складе весовщицей. Каждый вечер, бывало, идет: "Мария Сергеевна, я опять к вам". Давай, милая, все веселей двоим-то.

— Ей что, жить, что ли, негде было?

— Да пошто же! Вот — привыкла. И я уж тоже к ей привыкла. Так мы дружно с ей жили! А потом она померла: плеврит, а от плеврита печень занялась. Померла, бедная. Я и схоронила ее. А потом вижу сон. Вышла я будто бы на речку, а на той стороне, где Гилёв остров,— город будто бы. Большой-большой город! Да красивый, дома высокие... И дома высокие, и весь вроде бы он в садах, весь-то он в зелени. Цветы — я даже с этой стороны вижу — так и колышутся, так и колышутся. Ах ты господи! Сяла я в речку-то да поплыла туда — сижмя как-то, сижу и плыву, только руками маленько подгребаюсь. И так меня к тому городу и вынесло. Вышла я на берег — никого нету. Я стою, не знаю, куда идти. А смотрю, выходит моя Ниночка, девушка-то, сиротка-то. Матушка ты моя-то!.. Увидела меня да так обрадовалась, обняла, да та-ак крепко прилюбила, я ишо подумала: "Сильная какая — не выхворалась". А она, правда, мало похворала-то, скоро убралась. "Куда же мне идти-то? — спрашиваю ее.— Пошто тут никого нет-то?" — "Есть, говорит, как нету. А тебе во-он туда,— показывает мне.— Во-он, видишь?" Я смотрю туда, а там место-то похужее, победней, и дома пониже. "А ты где же? — спрашиваю Ниночку-то. А не спрашиваю же: "Ты где живешь?" — знаю, што она мертвая, а вишь, спрашиваю просто: "А ты где?" — "А я, говорит, вот — в центре". Конешно, сколько она и пожила-то. Она и нагрешить-то не успела, безгрешная душенька. А мне-то, вишь, на окраинке только место... Да хоть бы и на окраинке, а только там. Господи, как же там красиво! Все время у меня в глазах вот город стоит.

— Тогда телевизоры-то были уже?

— Какие телевизоры! Это когда было-то! — когда ты на действительной ишо служил. А Наташа в институте училась. Вон когда было-то. А што, думаешь, насмотрелась в телевизоре и поэтому такой город приснился?

— Но.

— Нет. Я сроду таких городов ни в телевизоре потом, ни в кино не видела. Што ты!..

БОРЯ

В палату привели новенького. Здоровенный парень, полный, даже с брюшком, красивый, лет двадцати семи, но с разумом двухлетнего ребенка. Он сразу с порога заулыбался и всем громко сказал:

— Пивет, пивет!

Многие, кто лежал тут уже не первый раз, знали этого парня. Боря. Живет у базара с отцом и матерью, в воскресные дни, когда народу на базаре много, открывает окно и лает на людей, не зло лает — весело. Он, вообще, добрый.

— Пивет, Боря, пивет! Ты зачем сюда? Чего опять натворил?

Няня, устраивая Боре постель, рассказывает:

— Матерю с отцом разогнал наш Боря.

— Ты што же это, Боря?! Мать с отцом побил?

Боря зажмуривает глаза и энергично трясет головой.

— Босе не бу, не бу, не бу!.. — Больше не будет.

— За што он их?

— Розу не купили! Стал просить матерю — купи ему розу, и все.

— Босе не бу, не бу!

— Ложись теперь и лежи. "Не бу!"

— А мама пидет? — пугается Боря, когда няня уходит.

— Мама пидет, пидет,— успокаивают его больные.— Сам разогнал, а теперь — мама.

В палате стало несколько оживленнее. С дурачками, я заметил, много легче, интереснее, чем с каким-нибудь умницей, у которого из головы не идет, что он — умница. И еще: дурачки, сколько я их видел, всегда почти люди добрые, и их жалко, и неизбежно тянет пофилософствовать. Чтоб не философствовать в конце — это всегда плохо,— скажу теперь, какими примерно мыслями я закончил свои наблюдения за Борей. (Сказать все-таки охота.) Я думал: "Что же жизнь — комедия или трагедия?" Несколько красиво написалось, но мысль по-серьезному уперлась сюда: комедия или тихая, жуткая трагедия, в которой все мы — от Наполеона до Бори — неуклюжие, тупые актеры, особенно Наполеон со скрещенными руками и треуголкой. Зря все-таки воскликнули: "Не жалеть надо человека!" Это тоже — от неловкой, весьма горделивой позы. Уважать — да. Только ведь уважение — это дело наживное, приходит с культурой. Жалость — это выше нас, мудрее наших библиотек... Мать — самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное — вся состоит из

жалости. Она любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра — много всякого, но неизменно, всю жизнь — жалеет. Тут Природа распорядилась за нас. Отними-ка у нее жалость, оставь ей высшее образование, умение воспитывать уважение... Оставь ей все, а отними жалость, и жизнь в три недели превратится во всесветный бардак. Отчего народ поднимается весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что всем жалко всех матерей, детей, родную землю. Жалко! Можете не соглашаться, только и я знаю — и про святой долг, и про честь, и достоинство, и т.п. Но еще — в огромной мере — жалко.

Ну, самая пора вернуться к Боре. Я не специально наблюдал за ним, но думал о нем много. Целыми днями в палате, в коридоре только и слышалось:

— Пиве-ет! А мама?.. Пидет?

— Придет, Боря, придет, куда она денется. Пусть хоть маленько отдохнет от тебя.

Боря смеется, счастливый, что мама придет.

— Атобус, атобус?.. Да?

— На автобусе, да.

Даже когда мы отходим ко сну, Боря все спрашивает:

— Мама пидет?

Он никому не надоедает. Уколы переносит стойко, только сильно жмурится и изумленно говорит:

— Больно!

И потом с восторгом всем говорит, что было больно.

Над ним не смеются, охотно отвечают, что мама "пидет, пидет" — больше, сложнее Боря спрашивать не умеет.

Один раз я провел, как я теперь понимаю, тоже довольно неуклюжий эксперимент. Боря сидел на скамеечке во дворе... Я подсел рядом, позвал:

— Боря.

Боря повернулся ко мне, а я стал внимательно глядеть ему в глаза. Долго глядел... Я хотел понять: есть ли там хоть искра разума или он угас давно, совсем? Боря тоже глядел на меня. И я не наткнулся — как это бывает с людьми здравыми — ни на какую мысль, которую бы я прочел в его глазах, ни на какой молчаливый вопрос, ни на какое недоумение, на что мы, смотрящие здравым в глаза, немедленно тоже молча отвечаем — недоумением, презрением, вызывающим: "Ну?" В глазах Бори всеобъемлющая, спокойная доброжелательность, какая бывает у мудрых стариков. Мне стало не по себе.

— Мама пидет,— сказал я, и стало совсем стыдно. А встать и уйти сразу — тоже стыдно.

— Мама пидет? Да? — Боря засмеялся, счастливый.

— Пидет мама, пидет.— Я оглянулся — не наблюдает ли кто за мной? Это было ужасно. Это было ужасно. У всех как-то это легко, походя получается. "Мама пидет, Боря! Пидет". И все. И идут по своим делам — курить, умываться, пить лекарство. Я сидел на скамеечке, точно прирос к ней, не отважился еще раз сказать: "Мама пидет". И уйти тоже не мог — мне казалось, что услышу — самое оскорбительное, самое уничтожающее, что есть в запасе у человека — смех в спину себе.

— Атобус? Да?

— Да, да — на автобусе приедет,— говорил я и отводил глаза в сторону.

— Пивет! — воскликнул Боря и пожал мне руку. Хоть умри, мне казалось, что он издевается надо мной. Я встал и ушел в палату. И потом незаметно следил за Борей — не смеется ли он, глядя на меня со своей кровати. Надо осторожней с этим народом.

Боря умеет подолгу, неподвижно сидеть на скамеечке... Сидит, задумчиво смотрит перед собой. Я в такие минуты гляжу на него со стороны и упорно думаю: неужели он злиться умеет? Устроил же скандалевич дома из-за того, что ему не купили розу. Расплакался, начал стулья кидать, мать подвернулась — мать толкнул, отца... Тогда почему же он — недоумок? Это вполне разумное решение вопроса; вымещать на близких досаду, мы все так делаем. Или он не понимает, что сделал? Досаду чувствует, а обиду как следует причинить не умеет...

В соседней палате объявился некий псих с длинными руками, узколобый. Я боюсь чиновников, продавцов и вот таких, как этот горилла. А они каким-то чутьем угадывают, кто их боится. Однажды один чиновник снисходительно, чуть грустно улыбаясь, часа два рассказывал мне, как ему сюда вот, в шею, угодила кулацкая пуля... Хорошо, что — рикошетом, а то бы... Так что если думают, что мы только за столами сидеть умеем, то... И я напрягался изо всех сил, всячески показывал, что верю ему, что мне интересно все это.

Горилла сразу же, как пришел, заарканил меня в коридоре и долго, бурно рассказывал, как он врезал теще, соседу, жене... Что у него паспорт в милиции. "Я пацан с веселой душой, я не люблю, когда они начинают мне..."

Как-то горилла зашел в нашу палату, хохочет.

— Этот, дурак ваш... дал ему сигарету: ешь, говорю, сладкая. Всю съел!

Мы молчали. Когда вот так является хам, крупный хам, и говорит со смехом, что он только что сделал гадость, то всем становится горько. И молчат. Молчат потому, что разговаривать бесполезно. Тут надо сразу бить табуреткой по голове — единственный способ сказать хаму, что он сделал нехорошо. Но возню тут, в палате, с ним никто не собирается затевать. Он бы с удовольствием затеял. Один преждевременный старичок, осведомитель по склонности души, пошел к сестре и рассказал, что "пацан с веселой душой" заставил Борю съесть сигарету. Сестра нашла "пацана" и стала отчитывать. "Пацан" обругал ее матом. Сестра — к врачу. Распоряжение врача: выписать за нарушение режима.

"Пацан" уходил из больницы, когда все были во дворе.

— До свиданья, урки с мыльного завода! — громко попрощался он. И засмеялся. Не знаю, не стану утверждать, но, по-моему, наши самые далекие предки очень много смеялись.

Больница наша — за городом. До автобуса идти километра два леском. Четверо, кто полегче на ногу и понадежней в плечах, поднялись и пошли наперерез "пацану с веселой душой".

Через минут двадцать они вернулись, слегка драные, но довольные. У одного надолго, наверно, зажмурился левый глаз.

Четверо негромко делились впечатлениями.

— Здоровый!..

— Орал?

— Матерился. Права качать начал, рубашку на себе порвал, доказывал, что он блатной.

На крыльце появляется Боря и к кому-то опять бросается с протянутой рукой.

— Пиве-ет!

— Пивет, Боря, пивет.

— А мама пидет?

— Пидет, пидет.

Жарко. Хоть бы маленький ветерок, хоть бы как-нибудь расколыхать этот душный покой... Скорей бы отсюда — куда-нибудь.

НА КЛАДБИЩЕ

Ах, славная, славная пора!.. Теплынь. Ясно. Июль месяц... Макушка-лето. Где-то робко ударили в колокол... И звук его — медленный, чистый — поплыл в ясной глубине и высоко умер. Но не грустно, нет.

...Есть за людьми, я заметил, одна странность: любят в такую вот милую сердцу пору зайти на кладбище и посидеть час-другой. Не в дождь, не в хмарь, а когда на земле вот так — тепло и покойно. Как-то, наверно, объясняется эта странность. Да и странность ли это? Лично меня влечет на кладбище вполне определенное желание: я люблю там думать. Вольно и как-то неожиданно думается среди этих холмиков. И еще: как бы там ни думал, а все — как по краю обрыва идешь: под ноги жутко глянуть. Мысль шарахается то вбок, то вверх, то вниз, на два метра. Но кресты, как руки деревянные, растопырились и стерегут свою тайну. Странно как раз другое: странно, что сюда доносятся гудки автомобилей, голоса людей... Странно, что в каких-нибудь двухстах метрах улица, и там продают газеты, вино, какой-нибудь амидопирин... Я один раз слышал, как по улице проскакал конный наряд милиции — вот уж странно-то!

...Сидел я вот так на кладбище в большом городе, задумался. Задумался и не услышал, как сзади подошли. Услышал голос:

— Ты чего тут, сынок? Это моя могилка-то.

Оглянулся, стоит старушка, смотрит мирно.

— Моя могилка-то,— сказала она еще.

Я вскочил со скамеечки... Смутился чего-то.

— Извините...

— Да что же?.. Садись.— Она села на скамеечку и показала рядом с собой.— Садись, садись. Я думаю, может, ты перепутал могилки.

Я сел.

— Сынок у меня тут,— сказала она, глядя на ухоженную могилку.— Сынок... Спит.— Она молча поплакала, молча же вытерла концом платка слезы, вздохнула. Все это она проделала привычно, деловито... Видно, горе ее — давнее, стало постоянным, и она привыкла с ним жить.

— А ты чего? — спросила старушка, повернувшись ко мне.— Тоже есть тут кто-нибудь?

— Нет... я так. Зашел просто... Зашел отдохнуть.

Старушка с любопытством и более внимательно посмотрела на меня.

— Тут рази отдыхают...

— А что? — Я все боялся как-нибудь не так сказать, как-нибудь неосторожно сказать.— Тут-то и отдохнуть. Подумать.

— Оно так,— согласилась старушка.— Только дума-то тут вишь, какая? Мне надо там лежать-то, мне, а не ему.— Она повернулась опять к могилке.— Мне надо лежать там, а он бы приходил да сидел тут — мне бы и спокойней было. Куда лучше! Только... не нам это решать дадено, вот беда.

— Давно схоронили?

— Давно. Семь лет уж.

— Болел?

Старушка не ответила на это. Долго молчала, слегка покачивала головой — вверх-вниз. Когда я пригляделся потом, понял, что у нее это почти все время — покачивает головой.

— Двадцать четыре годочка всего и пожил,— сказала старушка покорно. Еще помолчала.— Только жить начинать, а он вот... завалился туда... А тут, как хошь, так и живи.— Она опять поплакала, опять вытерла слезы и вздохнула. И повернулась ко мне.— Неладно живете, молодые, ох неладно,— сказала она вдруг, глядя на меня ясными умытыми глазами.— Вот расскажу тебе одну историю, а ты уж как знаешь: хошь верь, хошь не верь. А все — послушай да подумай, раз уж ты думать любишь. Никуда не торопишься?

— Нет.

— Вот тут у нас, на Мочишшах... Ты здешний ли?

— Нет.

— А-а. У нас тут, на окраинке, место зовут — Мочишши, там военный городок, военные стоят. А там тоже есть кладбище, но оно старое, там теперь не хоронют. Раньше хоронили. И вот стоял один солдат на посту... А дело ночное, темное. Ну, стоит и стоит, его дело такое. Только вдруг слышит, кто-то на кладбище плачет. По голосу — женщина плачет. Да так горько плачет, так жалко. Ну, он мог там, видно, позвонить куда-то, однако звонить он не стал, а подождал другого, кто его сменяет-то, другого солдата. Нука, говорит, послушай: может, мне кажется? Тот послушал — плачет. Ну, тогда пошел тот, который сменился-то, разбудил командира. Так и так, мол, плачет какая-то женщина на кладбище. Командир сам пришел на пост, сам послушал: плачет. То затихнет, а то опять примется плакать. Тогда командир пошел в казарму, разбудил солдат и говорит: так, мол, и так, на кладбище плачет какая-то женщина, надо

узнать, в чем дело — чего она там плачет. На кладбище давно никого не хоронют, подозрительно, мол... Кто хочет? Один выискался: пойду, говорит. Дали ему оружию, на случай чего, и он пошел. Приходит он на кладбище, плач затих... А темень, глаз коли. Он спрашивает: есть тут кто-нибудь живой? Ему откликнулись из темноты: есть, мол. Подходит женщина... Он ее, солдат-то, фонариком было осветил — хотел разглядеть получше. А она говорит: убери фонарик-то, убери. И оружию, говорит, зря с собой взял. Солдатик оробел... "Ты плакала-то?" — "Я плакала".— "А чего ты плачешь?" — "А об вас, говорит, плачу, об молодом поколении. Я есть земная божья мать и плачу об вашей непутевой жизни. Мне жалко вас. Вот иди и скажи так, как я тебе сказала".— "Да я же комсомолец! — Это солдатик-то ей.— Кто же мне поверит, что я тебя видел? Да и я-то, говорит, не верю тебе". А она вот так вот прикоснулась к ему,— и старушка легонько коснулась ладошкой моей спины,— и говорит: "По-ве-ерите". И — пропала, нету ее. Солдатик вернулся к своим и рассказывает, как былодело — кого он видал. Там его, знамо дело, обсмеяли. Как же!..— Старушка сказала последние слова с горечью. И помолчала обиженно. И еще сказала тихо и горестно.— Как же не обсмеют! Обсмею-ут. Вот. А когда солдатик зашел в казарму-то — на свет-то,— на гимнастерке-то образ божьей матери. Вот такой вот.— Старушка показала свою ладонь, ладошку.— Да такой ясный, такой ясный!..

Так это было неожиданно — с образом-то — и так она сильно, зримо завершала свою историю, что встань она сейчас и уйди, я бы снял пиджак и посмотрел — нет ли и там чего. Но старушка сидела рядом и тихонько кивала головой. Я ничего не спросил, никак не показал, поверил я в ее историю, не поверил, охота было, чтоб она еще что-нибудь рассказала. И она точно угадала это мое желание: повернулась ко мне и заговорила. И тон ее был уже другой — наш, сегодняшний.

— А другой у меня сын, Минька, тот с женами закружился, кобель такой: меняет их без конца. Я говорю: да чего ты их меняешь-то, Минька? Чего ты все выгадываешь-то? Все они нонче одинаковые, меняй ты их, не меняй. Шило на мыло менять? Сошелся тут с одной, ребеночка нажили... Ну, думаю, будут жить. Нет, опять не пожилось. Опять, говорит, не в те ворота заехал. Ах, ты господи-то! Беда прямо. Ну, пожил один сколько-то, подвернулась образованная, лаборантка, увезла его к черту на рога, в Фергану какую-то.

Пишут мне оттудова: "Приезжай, дорогая мамочка, погостить к нам". Старушка так умело и смешно передразнивала этих молодых в Фергане, что я невольно засмеялся, и, спохватившись, что мы на кладбище, прихлопнул смех ладошкой. Но старушку, кажется, даже воодушевил мой смех. Она с большей охотой продолжала рассказывать.— Ну, я и разлысила лоб-то — поехала. Приехала, погостила... Дура старая, так мне и надо — поперлась!

— Плохо приняли, что ли?

— Да сперва вроде ничего... Ведь я же не так поехала-то, я же деньжонок с собой повезла. Вот дура-то старая, ну не дура ли?! Ну и пока деньжонки-то были, она ласковая была, потом деньжонки-то кончились, она: "Мамаша, кто же так оладьи пекет!"— "Как кто?"— говорю.— Все так пекут. А чего не так-то?" Дак она набралась совести и давай меня учить, как оладушки пекчи. Ты, говорит, масла побольше в сковородку-то, масла. Да сколько же тебе, матушка, тада масла-то надо? Полкило на день? И потом, они же черные будут, когда масла-то много, не пышные, какие же это оладьи. Ну, и взялись друг дружку учить. Я ей слово, она мне — пять. Иди их переговори, молодых-то: черта с рогами замучают своими убеждениями, прости, господи, не к месту помянула рогатого. Где же мне набраться таких убеждениев? А мужа не кормит! Придет, бедный, нахватается чего попади, и все. А то и вовсе: я, говорит, в столовку забежал. Ах ты, думаю, образованная! Вертихвостки вы, а не образованные.— Старушка помолчала и еще добавила с сердцем: — Прокломации! Только подолом трясти умеют. Как же это так-то? — повернулась она ко мне.— Вот и знают много, и вроде и понимают все на свете, а жить не умеют. А?

— Да где они там знают много! — сказал я тоже со злостью.— Там насчет знаний-то... конь не валялся.

— Да вон по сколь годов учатся!

— Ну и что? Как учатся, так и знают. Для знаний, что ли, учатся-то?

— Ну, да, в колхозе-то неохота работать,— согласилась старушка.— Господи, господи... Вот жизнь пошла! Лишь ба день урвать, а там хоть трава не расти.

Мы долго молчали. Старушка ушла в свои думы, они пригнули ее ниже к земле, спина сделалась совсем покатой; она не шевелилась, только голова все покачивалась и покачивалась.

Опять где-то звякнул колокол. Старушка подняла голову, посмотрела в дальний конец кладбища, где стояла в деревьях маленькая заброшенная церковка, сказала негромко:

— Сорванцы.

— Ребятишки, что ли?

— Да ну, лазиют там... Пойду палкой попру.— Старушка поднялась, посмотрела на меня.— Ты один-то не сиди тут больше, а то мне как-то... все думать буду: сидит кто-то возле моей могилки. Не надо.

— Нет, я тоже пойду. Хватит.

— Ага. А то все как-то думается...— вроде извиняясь, еще сказала старушка. И пошла по дорожке, совсем маленькая, опираясь на свою палочку. А шла все же податливо, скоро. Я посмотрел ей вслед и пошел своей дорогой.

ПСИХОПАТ

Живет на свете человек, его зовут Психопат. У него есть, конечно, имя — Сергей Иванович Кудряшов, но в большом селе Крутилине, бывшем райцентре, его зовут Психопат — короче и точнее. Он, и правда, какой-то ненормальный. Не то что вовсе с вывихом, а так — сдвинутый.

Один случай, например.

Заболел Психопат, прóстудился (он работает библиотекарем, работает хорошо, не было, чтоб у него в рабочее время на двери висел замок), но, помимо работы, он еще ходит по деревням — покупает по дешевке старинные книги, журналы, переписывается с какими-то учреждениями в городе, время от времени к нему из города приезжают... В один из таких походов по деревням он в дороге попал под дождь, промок и простудился. Ему назначили ходить на уколы в больницу, три раза в день.

Уколы делала сестричка, молодая, рослая, стеснительная, очень приятная на лицо, то и дело что-то все краснела. Стала она искать иголкой вену у Психопата, тыкала, тыкала в руку, покраснела... Психопат стиснул зубы и молчал, ему хотелось как-нибудь приободрить сестричку, потому что он видел, что она сама мучается.

— Да вы не волнуйтесь,— сказал он.— Вы спокойней — как вас учили-то...

— Она ускользает,— пояснила сестричка.

Психопат пошевелил свободным плечом, вторую руку, левую, он напряг и изо всех сил работал кулаком, как велела сестричка. Кое-как всадили укол.

— Неужели все так будут? — спросил Психопат. Он даже вспотел.

Сестричка ничего на это не сказала, только опять смутилась, пинцетиком свихнула иголку со шприца и положила ее в металлическую блестящую вазочку, в которой кипела вода. Психопат подумал: "Как суп варится из железок, надо же".

Пришел он в другой раз делать укол. Заранее стал волноваться. Дождался своей очереди, вошел в кабинетик, оголил правую руку до локтя и стал работать кулаком. Защемили резиновой кишкой руку выше локтя, и он продолжал пока работать кулаком, а сестричка налаживала шприц. Психопат между делом отметил, какая она статная, пора вообще-то замуж — хорошая, наверно, мать будет.

Стали опять искать вену. Рука у Психопата онемела.

— Отпускайте,— велела сестричка.

Психопат стал постепенно отпускать резиновую удавку, а сестричка все искала и все попадала мимо.

— Ускользает...— сказала она.

— Да, куда она, к черту, ускользает!— вышел из терпения Психопат. Руку прямо ломило от боли.— Что вам тут, игра в прятушки, что ли? — ускользает... Уметь же, наверно, надо!

Потом, идя из больницы, Психопат сожалел, что накричал, но не мог без раздражения думать про сестричку. Он думал: "Только детей и рожать — здоровые хоть будут. Мужа хоть аккуратно кормить будет... Нет, поперлась в медсестры — в люди вышла, называется".

Пошел он в третий раз делать укол. Шел и с ужасом думал, что надо ходить так целую неделю. "Как же она училась? — думал он с удивлением.— Ведь учил же ее кто-то — отметки ставили. Решил кто-то, что все, готовая медсестра". Что у него ускользает вена, он как-то не мог этого понять. Куда ускользает? Как это?.. Бред же. Не умеет человек, и все.

Оголил он в кабинетике левую руку, стянул ее резинкой, положил на красную холодную подушечку и пошел умело работать кулаком. На медсестру не смотрел — как она готовила шприц. У него болела душа — больно же, нестерпимо больно, еще от старого укола боль не утихла, а теперь она снова начнет вену искать. Он работал кулаком и думал: "Ну на кой черт надо было в медучилище-то? Ну, бухгалтер

там, счетовод, секретарь в сельсовете, если дояркой не хочется,— нет, непременно надо в медсестры!"

Сестричка подошла к нему, вытолкнула из шприца вверх тонюсенькую струйку лекарства, свободной ладошкой с силой несколько раз погладила руку Психопата от локтя книзу. На Психопата не смотрела — сама, как видно, всерьез страдала, что у нее плохо получается.

"Буду терпеть,— решил Психопат.— Неделю как-нибудь вытерплю."

Вена опять ускользала. И сестричка, и Психопат вспотели. Боль из руки стреляла куда-то под сердце. Психопат подумал, что так, наверно, можно потерять сознание.

— Да неужели вы всем так? — спросил он сквозь зубы.— Что же это такое-то?.. Мучительно же!

— Но если она у вас ускользает! — тоже осердилась сестричка.

"Она же еще и сердится!"

— Прекратите! — Психопат отвел свободной рукой руку сестры со шприцем.— Это пытка какая-то, а не лечение.

Сестричка растерялась... Покраснела.

— Ну а как же? — спросила.

— Да, как, как!..— Психопату тут же и жаль ее стало.— Не знаю как, но так же тоже нельзя, милая. Ведь я же не железный, ну!

— Я понимаю...— Сестричка стояла перед ним и при своей мощной молодой стати выглядела жалкой.

— Вы повнимательней как-нибудь, вспомните, как вас учили...

— Я все правильно делаю.— Сестричка смотрела на него сверху просто, с искренним недоумением.— Всем так делаю — ничего...

— Ну, всем, всем...— сказал Психопат. И опять невольно с раздражением подумал: "В люди вышла".— Ну, давайте, что теперь...

Сестричка нацелилась опять в вену, вроде нащупала, вонзила иглу и успела надавить поршенек шприца... Психопат вскрикнул от боли; боль полоснула по руке, даже в затылке стало тяжело и больно.

— Идиотство,— сказал он, чуть не плача.— Ну идиотство же полное!.. Позовите врача.

— Зачем? — спросила сестричка.

— Позовите врача! — требовал Психопат. И встал, и начал нервно ходить по кабинетику, согнув левую руку и прижав ее к боку, и раздражаясь все больше и больше.— Это

идиотизм! Будем мы когда-нибудь что-нибудь уметь делать или нет?! — Он кричал на сестру; и она поэтому и пошла к врачу, что он кричал: жаловаться пошла, потому что он выражается "идиотизм".

Пришел врач: молодой, с бородкой, тоскует в деревне, невнимательный, остроумный сверх всякой меры, заметил Психопат еще в тот раз, когда врач принимал его.

— Что тут у вас? — Да с этакой снисходительной усмешечкой в глазах — прямо Миклухо-Маклай, а не лекарь заштатный. Эта-то усмешечка и взбесила вконец Психопата.

— Да у вас тут, знаете, коней куют, а я укол пришел делать...

— Ну-ну,— прервал его врач и видом своим показал, что ему некогда,— поближе к делу, пожалуйста.

— Да дела-то нету!— закричал ему в бородку Психопат.— Будем мы когда-нибудь хоть уколы-то делать или шпаги будем глотать?! — Психопат, когда выходил из себя, говорил непонятно, нелепо, отчего сам потом страдал и казнился.— Ну что же, милые вы мои, как же так работать-то? Укол вот — час бьемся — сделать не можем. А мы бородки отпускаем, пенсне еще только осталось... Работать не умеем! Бородку-то легче всего отпустить, а она вон у вас уколы не умеет делать! — Психопат показал на сестричку.— Дядя доктор с бородкой... научили бы! Или сами тоже не умеем?

"Дядя доктор" сперва слушал с удивлением, потом рассердился.

— Ну-ка, прекратите кричать здесь! — сказал он строго.— Что вам здесь, базар, что ли?

— Да хуже! — не унимался Психопат.— Хуже! Базар по своим законам живет — там умеют, а у вас тут... черт знает что, конюшня.

Сестричка на это молча очень изумилась и возмутилась.

— Здание им построили!..— все кричал Психопат.— А что толку? Все равно самодеятельность. Да что за проклятие такое, что же, вечно так и будем?! Ну, уколы-то, уколы-то — ведь уж... ну чего же проще-то! Нет, и тут через пень колоду! Да чтобы вас черт побрал с вашими бородками, с вашими гитарами!..

— Что, милицию, что ли, вызвать? — спросил доктор спокойно и презрительно.

— Давай! Давай, братец, дело простое. Проще, чем укол сделать. Эхх...— Психопат надел пиджак и направился к выходу. Но не утерпел и еще сказал с порога: — Ду ю спик

инглишь, сэр? А как насчет картошки дров поджарить? Лескова надо читать, Лескова! Еще Лескова не прочитали, а уж... слюни насчет неореализма пустили. Лескова, Чехова, Короленку... Потом Толстого, Льва Николаевича. А то — гитара-то гитара, а квакаем пока. А уж думаем — соловьи.— Помолчал, воспользовался, что доктор тоже молчит, еще сказал, миролюбиво, поучительно: — Работать надо учиться, сынок, работать. Потом уж снисходительность, гитара — черт с ней, если так охота, но сперва-то работать же надо.

И Психопат ушел. Сестричка посмотрела на доктора — так посмотрела, словно хотела проверить и убедиться, что она не зря побеспокоила доктора, вызвав его.

— Работайте,— недовольно сказал доктор. И вышел из кабинетика.

Его в коридоре поджидал Психопат. Он все еще держал руку согнутой и морщился. Врач, натолкнувшись на него, даже как будто растерялся — он думал, что нервный пациент ушел уже, а он тут.

— Простите,— сказал Психопат искренне,— я накричал там... Но я не виноват — больно же.

— Пойдемте, я вам в таблетках выпишу,— сказал молодой доктор на ходу.— Температура какая сейчас?

— Я не мерил,— ответил Психопат, входя следом за доктором в его кабинет.

— Ну вот...— Доктор с бородкой не горестно, а с досадой, привычно усмехнулся и присел к столу писать рецепт.— А возмущаемся... Толстой. При чем здесь Толстой-то? — спросил он и посмотрел на Психопата насмешливо. Насмешка эта задела Психопата, но он решил быть спокойным.

— При том, что он умные слова писал: не мешало бы их помнить.

— А почему вы решили, что я... что их не помнят?

— Это вы-то помните? — удивился Психопат.

— Ну а почему бы нет? — Доктор не только насмешливо, а и с презрением опять, и снисходительно, как показалось Психопату, смотрел от стола — молодой, довольный, уверенный. Психопат в свои 54 года полагал, что это он должен снисходительно смотреть на такого, как этот доктор, а не наоборот.

— Да неужели?

Доктор счел, наверно, что в его положении — врача — несерьезно, даже глупо спорить с больным, да еще так... странно: читал ли он Толстого, Льва Николаевича? Кстати, он его не читал, кроме как в обязательном порядке: в школе

и в институте... Но при чем здесь Толстой, господи! И он склонился и стал писать рецепт.

— Может быть, вы тогда скажете: почему мы ничего делать не умеем? — спросил Психопат, продолжая стоять у двери.

— Что мы не умеем делать? — Доктор не поднял головы, продолжал писать.

— Уколы, например.

— Она не читала Льва Толстого, поэтому не умеет.

— Хорошо, вы читали, тогда скажите: почему вы ничего не умеете делать?

— О, дядя!.. — Доктор перестал писать и с удивлением смотрел на Психопата.— Это уже интересно. Ничего не умею?

— Нет.— Психопат пооглядывался, не нашел близко табуретки, присел на жесткий диван, застеленный белой простынкой, на краешек.— Не умеете, молодой человек.

— В чем же это выражается? — спросил ироничный доктор.

— Да во всем.— Психопат прямо и просто смотрел на доктора.— Вы врач,— продолжал он рассуждать спокойно,— ваша медсестра не умеет делать уколы, а вы... вас это ни капли не встревожило. Вы, как крючок конторский, сели выписывать мне таблетки... Да ведь мне уколы нужны-то! — Психопат протянул руку к доктору и членораздельно еще раз сказал: — У-ко-лы! Ведь вы же сами назначили уколы.

— Видите ли,— тоже терпеливо заговорил доктор,— есть такие особенные вены, которые...

— Бараны есть особенные, это я понимаю: разной породы, а вены у всех людей одинаковые. Ты не доктор.— Психопат встал.— Из тебя такой же доктор, как из меня — акушерка. Но меня удивляет вот это вот...— Психопат показал на доктора, как если бы он кому-то показывал на выставке заковыристую претенциозную картину — всей рукой, растопырив пальцы ладошкой вверх, и еще тряхнул рукой,— это вот... тупое самодовольство. Сидит душа мертвая, ни заботы, ни горюшка — пишет рецепт. Умеет писать рецепты — тоже в люди вышел.

Доктор, изумленный до чрезвычайности, смотрел на больного. Молчал.

— Как же вы так живете-то? А? Как же так можно?.. Вы простите, я на "ты" перешел — это не надо. Я не ругаюсь с вами, я, правда, хочу понять: неужели так можно жить? Ведь не знает человек ни дела своего, ни... Даже знать-то не

хочет, не любит, а сидит — хмурится важно... Та хоть краснеет, а этот... важный. Господи, боже мой-то, да неужели только за кусок хлеба? Да что вы, люди! Куда же мы так пришлепаем-то? Ну? Голубчик ты мой, бородка, ведь я так-то... не знаю — архиереем сяду вон и буду сидеть: мне что черт, что дьявол, что Никола Угодник — неинтересно. Что же уж так, обнаглели, что ли? Институт кончил... Да в двадцать-то пять лет я бы по домам ходил — старух с печек стаскивал: лечись, карга, а не жди конца, как... А тут все есть, а живой труп: сидит таблетки выписывает. Тогда уж касторку лучше, что же.

— Все? — спросил доктор жестко. И встал.— Выйдите отсюда.— Он еле сдерживал себя.— Выйдите, я прошу. Я требую!

— "Я требую!.." — передразнил его Психопат.— Эхх... А жить еще небось лет пятьдесят, а уж сосулька сосулькой. Он требует. Ты потребуй, чтоб тебе прожить человеком. Ничего не хотят люди! Бородки хотят носить... Да ведь когда и поработать-то смолоду, ведь чего уж лучше — людей лечить — нет, к тридцати годам душа уж дохлая. Только на гитаре и остается играть.

И Психопат вышел из кабинета. А доктор сел и некоторое время ошалело смотрел на дверь. Потом посмотрел в окно...

По больничному двору шел Психопат — высокий, прямой, с лицом сильного, целеустремленного человека. Шел широким ровным шагом, видно, привык ходить много и далеко; на нем какой-то длинный нелепый плащ и кожаная шляпа.

Вечером доктор нарочно пошел к своему товарищу, школьному учителю, который жил в этом селе года два уже. Спросил про Кудряшова Сергея Ивановича — знает ли он его.

— Знаю,— сказал учитель, улыбаясь.— А что?

— А кто он такой?

— Библиотекарь.

— Но он что... Он здешний?

— Здешний. Это человек любопытный, такой, знаешь... с неистребимой энергией: кроме работы, ходит еще по деревням, книги старые скупает, к нему из областной библиотеки приезжают, с архивами переписывается...

— А какое у него образование?

— Да никакого. Я не знаю, может, классов восемь... Сам ходит, по собственной инициативе. А что он? Наскандалил? Он скандалист большой...

— Да нет, просто интересно.

— Его в селе Психопатом зовут.

— Но ты его хорошо знаешь-то? Что он, читает много?

— Не думаю. Иногда такой дребедени нанесет... А иногда попадает на дельное: тут раскольников было много, книги на чердаках есть. Иногда интересные приносит. Вообще любопытный мужик. Кляузник только: завалил все редакции предложениями и советами. Мешанины в человеке много. Но вот... никто же не просит ходить, по деревням — ходит, свои деньги тратит...

— Но у него же покупают... Библиотеки-то.

— Не все же покупают-то, купят одну-две, а он по полмешка привозит. Такой вот... подвижник. Раздает много книг... В школу нам дарит. С ним одна история была. Набрал как-то мешок книг и стоит голосует на дороге... А платить шоферу нечем: весь истратился. Один подвез и требует плату. Этот ему книгу какую-то: на, мол, дороже всяких денег. Тот, видно, послал его... а книжку — в грязь. Этот, Психопат-то, запомнил номер машины, нашел того шофера, в соседней деревне где-то живет, поехал к нему с братом, у него брат здесь, охотник, и побили шофера.

— Ничего себе! Ну и как? Судили?

— Шофер не подал — охотник откупился. У этого-то нет ничего, а охотник наскреб деньжат: откупились.

— А семья-то есть у него?

— У Кудряшова? Есть, двое детишек... Один в десятом классе — нормальные дети. А что он? Написал небось что-нибудь на больницу?

— Нет, так — был у меня сегодня, поговорили...

— Он поговорить любит! Пофилософствовать. Я, правда, писанину его не читал, но говорить часто приходится — любопытно.

— А печатают его? В газетах-то.

— Да ну, кто его будет печатать. Так — душу отводит. Его не трогают, привыкли... А он убежден, что делает великое дело — книги собирает. У него целая теория на этот счет.

Доктор помолчал... И спросил:

— Слушай, а как думаешь: Льва Толстого он читал?

— Ну, вряд ли,— удивился учитель.— Не думаю. Может быть, "Жилина и Костылина", и то вряд ли. Да нет, такой

просто энтузиаст, как говорят. Убежден, что надо доставать книги с чердаков,— достает. Убеждение там колоссальное... Может, потому и кричит на всех. Но он безвредный. Не пьет, кстати. А может, и читал, надо спросить. Но думаю, что нет.

— А как же он библиотекарем без образования-то?

— Он тут с незапамятных времен библиотекарь, тогда не до этого было. Между прочим, хорошо работает. Не пьет, кстати... А, говорил уже.— Учитель засмеялся, поискал в карманах сигареты, нашел, закурил... И опять с интересом посмотрел на товарища. И спросил: — Ведь наверняка же что-то выкинул этот Кудряшов, а? Чего ты с таким пристрастием расспрашиваешь-то?

— Да нет, говорю же тебе... Побеседовали просто в больнице.— Врач тоже закурил, посмотрел, как горит спичка, послюнявил пальцы, перехватил спичку за обгоревший конец и сжег всю спичку до края. И внимательно смотрел на огонек.

КАК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ КУРИНКОВ, ЮВЕЛИР, ПОЛУЧИЛ 15 СУТОК

Андрей Иванович — это такой попрыгунчик, резиновый человек, хороший ювелир, изобретатель... Правда, хороший ювелир и изобретатель, но он думает, что он единственный в своем роде ювелир и изобретатель, неповторимый, везде об этом трещит, но вечно ему чего-нибудь не хватает, чтобы сделать такое, чтобы все ахнули. То материала нет подходящего, то инструмент не тот. Чаще всего материал не тот.

— Ты дай мне настоящий янтарь! — говорит он с вызовом и значительно.— Дай мне кусок настоящего янтаря — я тебе сделаю.

Может, он и сделает, если получит в руки "кусок настоящего янтаря", но он ужасно много говорит об этом, раздражая всех, и тогда кто-нибудь языкастый заявляет:

— Тебе, как тому танцору,— что-нибудь да мешает.

— Нет, ты дай мне кусок настоящего янтаря! — волнуется Андрей Иванович. И начинает всех разить знаниями: и говорит он складно, и если бы не много, то, наверно, было бы даже интересно послушать его. Вся беда — много говорит.— Сидела мушка на веточке много-много миллионов лет назад, на нее капнула капля смолы, ее сшибло с веточки, дальше на эту капельку упала другая... Ну, и так далее.

— Ты дай мне этот кусок, я уберу лишнее, сделаю тебе такую иголку к галстуку — все будут не на тебя смотреть, а на эту иголку с мушкой.

— У нас один карат бриллианта — это горошина со всеми накладными, со всеми налогами — тысяча рублей. Так? Но у нас — тридцать шесть характеристик бриллиантов, грубо говоря, тридцать шесть сортов. И вот ты дай мне...— Это он в пивной разглагольствует, и на это "ты дай мне" ему часто говорят: "На!"

Андрей Иванович очень не любил своего соседа по жилью, Трухалева Илью Георгиевича, закройщика ателье номер какой-то. Этот Илья Георгиевич откровенно называл Андрея Ивановича трепачом. Андрей Иванович на это выпячивал нижнюю челюсть, зло смотрел на закройщика, некоторое время молчал, потом начинал говорить:

— Чем отличается граненый бриллиант от бриллианта, который не побывал в руках мастера? Граненый играет. А тебя, когда делали, чуть-чуть только тронули — чтобы вес не потерять: ты дурак. Тяжелый, но дурак.

Опять, на беду свою, много, долго и одинаково — про бриллианты, гранения, игру... И дожидался, что Трухалев ему на все это кратко говорил:

— Трепач, барахло,— и уходил.

И получалось, что это он говорил последние слова, слова тяжкие, обидные, а Андрей Иванович оставался со множеством точных, образных слов — не высказанных: он злился и на малейшие шумы, звуки в квартире Трухалева сладострастно, с ожесточением садил черенком половой щетки в потолок (Трухалев жил над ним). Трухалев на это стукнет пару раз, точно скажет: "трепач", "барахло" — и жизнь в его квартире идет так же, как и шла: ходят, постукивают, передвигают стулья.

За время, пока они жили так — друг над другом,— ювелир Куринков накопил на закройщика много зла и обиды. Тот отвечал тем же, кроме того, кажется, куда-то писал на ювелира, что он не дает соседям покоя: всем стучит в стены щеткой. Если им случалось вместе ехать в лифте или зимой выколачивать рядом ковры на снегу, они оскорбляли друг друга.

— Опять вас продернули,— начинал ювелир.— Сшили пиджак, а рукава — вот по этих пор. Не видали по телевизору?

— Мы такие специально для ювелиров шьем, чтобы бриллианты было видно. А нормальным людям мы шьем нормально.

— Но про ювелиров ни разу не было передачи, а про вас — то и дело.

— Делать-то нечего, вот и показывают. Если ты мне еще будешь стучать в пол, я спущусь и надену тебе мусорное ведро на голову. И буду тоже стучать по нему. Молотком.

— Попробуй. Я те алмазным резцом вырежу на лбу: "Дурак".

— От дурака слышу. Трепач. Барахло.

И закройщик уходил.

И вот как-то в воскресенье к ювелиру Куринкову заехал брат, военный. Брат ехал в отпуск на юг, по пути завернул на сутки к брату. Домашних Куринкова — жены и дочери-студентки — дома не было, братья взяли винца, посидели, повспоминали немного, потом брат сказал, что очень устал, и пошел соснуть. А ювелир остался один. Он задумался чего-то... Жизнь идет себе, неопределенно, с тоской думал он. Идет себе и идет. И в душе ювелира назревал какой-то тоже не вполне определенный протест, что жизнь — идет и идет. Тут, как на грех, над ним опять задвигали стульями, стали ходить... Ювелир вполне определенно обозлился опять на закройщика, вспомнил все его обидные слова... Взгляд его упал на военный мундир брата, мысль в голове вспыхнула и ясно высветила картину: вот он, военный, входит к закройщику... Дальше он даже додумывать не стал — дальше как-то все было понятно. Почему-то он враз сообразил, что делать дальше.

Закройщик с женой собрались как раз ужинать, когда в дверь к ним резко, требовательно позвонили.

— Кто это? — удивился закройщик.

Жена пожала плечами:

— Телеграмма?..

— Ну, иди,— велел закройщик.

Хозяйка открыла дверь... В квартиру стремительно вошел ювелир Куринков в форме капитана.

— Именем уголовного кодекса,— сказал он.— Собирайтесь.

У закройщика и у его жены вытянулись лица... Они ошалели.

— А чего такое? — нерешительно спросил закройщик.— Как это?

— Ста-ать! — заорал ювелир.

Закройщик встал...

— А чего такое-то? — опять спросил он, во все глаза глядя на... на кого? Кто это? Что это?

Ювелир меж тем прошелся по комнате, бегло оглядел ее всю... Четко развернулся, подошел к закройщику, пронзительно и трезво глядя ему прямо в глаза.

— Мне надоели ваши шорохи,— сказал ювелир.— Что у вас за возня каждую ночь?

— Ты же ювелир, чего ты...— начал было закройщик.

— Молчать! — приказал ювелир. Закройщик потом рассказывал, что он потому так ошалел и растерялся, что ювелир очень все делал "натурально".— Для ВАС я был ювелир... поэтому терпел все ваши шорохи. И оскорбления — так надо было. Кстати, сколько вы на меня заявлений написали?

— Да я... это...

— Сколько?

— Два.

Ювелир посмеялся:

— Обои эти бумажки попали ко мне же — я сходил с ними в одно место. За каждое ваше заявление я получал благодарность, что хорошо притворяюсь. Ясно? Вы думали, с вами тут в бирюльки играют?

Ювелир стал опять раздражаться. Опять прошелся по комнате... Заглянул мимоходом в книжный шкаф.

— А чего я такое сделал? — вдруг осмелел закройщик.— Куда это собираться-то?

Ювелир остановился перед закройщиком, заложил руки за спину, качнулся несколько раз с носков на каблуки, с каблуков на носки, все это время в упор глядя на него, заговорил тихо, четко, значительно:

— Нам известно про всю вашу деятельность.

— Какую дея...

— Молчать! Сядьте! Сесть!

Закройщик сел.

— Нам все известно, даже чего вам неизвестно.

Ювелир тоже сел. Но тотчас встал и стал снова ходить по комнате — ему, как видно, особенно нравилось ходить в форме. Он ходил долго. Он думал.

— С арестом я, кажется, подожду,— сказал он.— Вы знаете армянина, на углу тут сидит... чистильщик. Здоровый такой.

— Знаю,— сказал закройщик.

— Каждое утро будете подходить к нему и спрашивать: "У вас продается славянский шкаф из карельской березы?" Он будет ругаться и кричать — не обращайте внимания. Даже если полезет драться — терпите. Нам его надо расколоть.

— Я с такими делами не связываюсь,— решительно заявил закройщик.— Я не умею.

— Что значит "не умею"? Научим! Никто сперва не умеет — научим. Я терпел все ваши выходки — это, думаете, легко? — Расчет у ювелира, надо признать, был жестокий: вспыльчивый армянин показал бы такой "славянский шкаф", что закройщик всю жизнь потом помнил бы эту таинственную игру в разведчиков.— Спрашивать надо каждый день, но об этом ни-ко-му. Ясно?

Пока ювелир инструктировал закройщика, тому вдруг бросилось в глаза вот что: китель на ювелире явно не с его плеча. Профессиональный глаз портного не подвел.

— А попрошу документы! — сказал он. И встал.

— Молчать! — заорал ювелир и стукнул ладонью об стол.

— Нина, закрой дверь на ключ! — крикнул закройщик.

Ювелир хотел уйти со словами:

— Хорошо, мы потолкуем в другом месте.— И пошел было, но большой закройщик прыгнул на него, легко подмял под себя и заорал жене:

— Звони в милицию!

Маленький ювелир отчаянно боролся с закройщиком, грозил расстрелом, но все напрасно.

...Ночь Андрей Иванович провел в вытрезвителе. Утром еще кое-как крепился, а когда их, человек двенадцать, повезли в закрытой машине в суд, сильно затосковал. Другие — хоть бы что, а он молчал. Особенно он боялся, что нарисуют его на доске "Не проходите мимо", напишут фамилию, имя... А у него дочь студентка. Хорошо ей будет смотреть на такого папашу?

Судили три женщины...

Кто был тут не первый раз, выходили из комнаты, где вершился суд, изумленные.

На вопрос: "Сколько вломили?" — только махали рукой:

— Под завязку.

— Что-то они сегодня... не в настроении, что ли,— сидели, толковали.

— Они в понедельник всегда так,— сказал один мрачный.

— Куринков! — вызвали.

— Эгей? — подскочил ювелир.— Иду.

Он вошел в большую комнату и, слегка поклонившись, вежливо сказал:

— Здравствуйте.

— Садитесь,— велели ему.

Куринков скромненько присел на краешек скамьи с высокой спинкой, устремил взор на судей — весь внимание.

— Вчера, восемнадцатого июня, вы, будучи в нетрезвом состоянии, надели не принадлежащую вам военную форму...

— Пошутил! — воскликнул ювелир. И хотел даже посмеяться, но у него вышло коротко и ненатурально.— Я вообще шутник большой. Бывает, соберемся у нас в мастерской — чего я только ни выделываю! Я в ювелирной мастерской работаю. Я вот вижу у вас колечко...— Ювелир хотел встать и поближе посмотреть кольцо на руке одной из женщин.

— Сидеть,— сказал ему старшина.

— Господи, чего тут такого? — негромко сказал ювелир. — Просто смотрю: неважно сделано...

— Вы знаете факт шантажа и запугивания с вашей стороны?

— Только не шантаж! — вскочил ювелир и даже протянул руку к судье.— Только не... это... не надо разных слов. Шутка — да, юмореска...

— Вы угрожали Трухалеву Илье Георгиевичу арестом?

— Ну, шутка, шутка!..— Ювелир прижал руку к сердцу: — Ну, Трухалев шуток не понимает, но вы-то!..

— Сядьте,— опять сказал ему старшина...

Ювелир сел... И вдруг ему стало противно, что он трусит, юлит и суетится. Он как-то сразу устал и успокоился.

— Угрожал,— сказал спокойно.

— Вы сознаете, что это... не умно по крайней мере? Что за мысль вам пришла пойти арестовывать? Почему?

— Не знаю,— сказал ювелир.— Мне не нравится этот Трухалев. Вообще, чего тут много говорить? Давайте мне пятнадцать суток... и разойдемся, как в море корабли.— Ювелир смело посмотрел на старшину и даже подмигнул ему. Что на него такое нашло, непонятно.— Чего тут долго-то?

Женщина-судья серьезно смотрела на него.

— Только не надо,— сказал ювелир.

— Что "не надо"?

— Не надо меня пугать строгим взором. Прошу дать мне пятнадцать суток. Я все понимаю, всю калькуляцию.

— Почему вы решили, что именно пятнадцать?

— Вы же всем сегодня по пятнадцать даете.

Женщины тут же, не сходя с места, негромко посовещались. И судья объявила:

— Пятнадцать суток.

— О'кей! — сказал ювелир. И вышел в коридор к другим.

— Сколько вломили? — спросили.

— Пятнадцать,— сказал ювелир.

В эту минуту ему было все равно, даже хорошо, что пятнадцать, а то перед другими было бы неудобно. Он сел в пестрый рядок тех, кто уже получил свои "сутки".

— В понедельник к ним лучше не попадать,— опять сказал мрачный человек. Он тоже получил пятнадцать суток.

НОЧЬЮ В БОЙЛЕРНОЙ

Сам Иван Максимович несколько нескромно называет себя — сантехник, а вообще он дежурит в бойлерной. Через двое суток на третьи выпадает дежурить в ночь. И как раз ночные-то смены он очень любит.

Домина, под которым бойлерная, огромный, сколько там людей разных!.. И вот — ночь: магазины закрыты, а кто-то, допустим, поругался с женой, кто-то затосковал так, что хоть криком кричи... Да мало ли! Куда человеку деваться с растревоженной душой? Ведь она же болит, душа-то. Зубы заболят ночью, и то мы сломя голову бежим в эти, в круглосуточные, где их рвут. А с душой куда? Где тебя послушают, посочувствуют? К дяде Ване, в бойлерную. Там у него уютно, тепло... Трубы, много труб, в трубах тихонько поет и потрескивает, как в печке. Огонек тусклый под потолком... Возле стены, в нише, удобный лежак, старенький тулуп раскинут, подушка.

В эту ночь Максимыч и не пробовал ложиться. Он сидел у самодельного крашеного столика и задумчиво постукивал пальцами в столешницу. Лицо у него тоже задумчивое... Лицо у него — доброе, смышленое, немного усталое, но бесконечно доброе, в глазах, в морщинках вокруг глаз — столько терпения, покоя, столько мудрости житейской, что — куда же и спускаться с больной-то душой? К нему и спускались.

Первым пришел крупный мужчина Пилипеико. Он был седовлас, сыт, колыхал запахом одеколона и дорогих сигарет. Но был он мрачен, встревожен... Ему было тяжело, грустно.

— Здорово, Максимыч,— сказал Пилипенко и сел на свободный хилый стул.

— Здорово, Николай Семеныч,— откликнулся Максимыч.

Некоторое время молчали.

— Душа? — спросил Максимыч.

Пилипенко очнулся от тяжких дум, вздохнул.

— Тут, брат... и душа, и тело, все вместе,— сказал он.— Есть что-нибудь?

— А как же,— Максимыч встал и пошел в угол куда-то.— Коньячку? — спросил оттуда.— Или водки?

— Давай коньячку,— сказал Пилипенко. И огляделся кругом.— Хорошо тут у тебя... В напарники возьмешь?

Максимыч тихо посмеялся.

— Чего смеешься?

— Да насчет напарника-то... Тут, Семеныч, оклад не тот.

— Нет больше окладов,— жестко сказал Пилипенко.— Конец окладам.

Максимыч от изумления даже остановился с коньяком в руках.

— Неужели разжаловали?

— Поперли, а не разжаловали.

— Как же это?

— Наливай,— махнул Пилипенко; ему было худо, так худо, что и говорить не хотелось.

Максимыч стал молча разливать коньяк по рюмкам; он не лез с расспросами, когда человеку худо. Захочет — сам скажет.

— Уволили,— сказал Пилипенко.— Дадут, конечно, какую-нибудь должностишку, но... Нет, ей-богу, мне у тебя нравится. Сколько ты получаешь? Хотя... чушь все это. Давай.

Они выпили по целой рюмке и заели лимончиком, который тоже случился у "сантехника" Максимыча.

— Одного не понимаю! — горестно воскликнул Пилипенко.— Не справляюсь — так и скажи! Скажи! Зачем же... предлог какой-то искать: скажи прямо, я пойму. Нет!..— Пилипенко крепко стукнул большим кулаком себя по колену.— Надо обязательно предлог найти.— Он встал было, но тут же сел. Велел: — Налей еще по одной.— Когда он сел с маху, хиленький стул опасно треснул под ним; нет, этому человеку можно, конечно, прямо в глаза сказать: "Ты не справился" — в обморок не упадет. Странно, что такой огромный мужик — "не справился".

— Какой же они предлог нашли? — спросил Максимыч.

— Самый что ни на есть дурацкий: злоупотребляете служебной машиной.

— Жена куда-нибудь ездила? По базарам небось?

— Да нет, сам: вызвал в воскресенье и просто так проехал километров полтораста по северной дороге — вздохнул пару раз свежим воздухом. Вздохнул!..

— А шофер наябедничал,— догадался умный Максимыч.

— Ну да... расписал. Писака. А если мне сосредоточиться надо? Если мне в движении лучше думается?..

— Да сел бы вон на любую электричку,— простодушно сказал Максимыч,— и сосредотачивайся сколько влезет. Вы вот, начальство... тоже какие-то дурные бываете: нет чтобы скромностью своей в нос людям тыкать: вот вам, глядите: большой человек, а со всеми маленькими здороваюсь. А где так и остановись, спроси: "Как дела?" Тебе эти его дела... сто лет снились, а ты все равно спроси.— Максимычу хотелось как-нибудь помочь большому Пилипенко, но он и досадовал на него, что тот не смог удержаться на добром месте — слетел.— Мало того, ты еще головой вот так вот покивай: так, так, мол. Но вы ведь... До вас ведь не допрыгнешь! — вовсе с досадой закончил Максимыч. И налил еще по полной рюмке.— Давай. Не горюй особо-то...

Выпили.

— Да некогда же! — тоже с досадой сказал Пилипенко.— Головой-то кивать — некогда.

— Зато теперь будет время: попрут вот на пенсию...

— Ну, это еще бабка надвое сказала! — Пилипенко твердо посмотрел прямо перед собой.— Это еще... уравнение с двумя неизвестными.

— Все равно не умеете! — решительно сказал Максимыч. Коньячок зашумел в голове, и ему тоже захотелось быть твердым и крепким.— Не умеете начальствовать! Вот сделай меня самой маленькой какой-нибудь шишкой — и ты бы поглядел, какой бы я стал вежливый... "Ну, как, товарищи? — спросил он кого-то иным голосом, вежливым.— Как настроение? Смотрите мне — не вешать нос!" Я бы такие шуточки отпускал!.. Чего же не пошутить с людьми, если тебе лучше ихнева живется. А зазевался какой-нибудь там Пилипенко Николай Семеныч — плохо работает, сукин сын, курит больше, я его вот так вот пальцем — к себе: "Пилипе-е-нко, на минуточку. Пилипенко, как ты думаешь: подойдем мы с такими работниками к коммунизьму или нет? Мм? Ты, наверное, думаешь, что — подойдем. А вот я, Пилипенко,

думаю, что мы с такими работниками застрянем где-нибудь на дороге. Ну-ка, давай, голубчик, давай, давай!.. Бросай-ка курить — да за дело". Вот как надо. Спокойно, с улыбочкой... Вишь, я и голоса не повысил, и работу направил. А захотел я подышать свежим воздухом, я набрал в чемодан коньячку, икорки, балычков, сел на электричку, отъехал те же полтораста верст, слез, углубился подальше в лесок — и дыши на здоровье.

— Скучно это, Максимыч. Вообще, не то ты говоришь.

— С коньячком не будет скучно. Зато ни одна собака пальцем не покажет.

— Не то, Максимыч, не то. Еще-то есть там? Не могу никак душу унять — болит!

— Заболит...— Максимыч налил еще по рюмке.— Как же ей не болеть.

— Не то, Максимыч, дорогой, не то. Ты рассуждаешь логично, но... в масштабах прораба, не больше.

— А ты в каких масштабах? Держи.

— Я? Я малость пошире.

— Пошире... А сидим вот тут вместе — в одинаковых масштабах. Поехали.

Когда выпили, Пилипенко вдруг встал и широко заходил по бойлерной.

— Ну не-ет,— сказал он ожесточенно, громко.— Так легко вам Николая Пилипенко не свалить. Это вы зря... Пилипенко еще постоит!

Максимыч в это время закурил дорогую сигарету из пачки Пилипенки, откинулся на стуле, заложил ногу на ногу и стал следить за взволнованным гостем. Ему хотелось как-нибудь успокоить его, но, вообще-то, ему стало очень хорошо.

— Украинцы — народ крепкий,— сказал он, желая сделать приятное Пилипенке.— Но ездить за сто пятьдесят километров воздухом дышать — это глупость несусветная. Ты больше бензину наглотался за триста-то верст, чем подышал там...

— Ничего-о! — все ходил и все больше возбуждался Пилипенко.— Вы еще вспомните Пилипенку, не раз вспомните. Вы еще придете к Пилипенко!.. Но Пилипенко больше к вам не пойдет.

— Нет, если позовут — чего не пойти. Только не надо больше за сто пятьдесят километров дышать ездить, а так... чего? Ты мужик с головой.

— Не пойду! — уперся Пилипенко.— Все. Хватит. У меня тоже всякого этого достаточно — и самолюбия, и...

— Да нет, Семеныч, зря ты...

— Не пой-ду! Вы плохо знаете Пилипенку. Вы думаете, это все — так, шуточки...

— Какие шуточки! При чем тут шуточки — надо идти.

— Не пойду!

— Что значит "не пойду"! — рассердился вдруг Максимыч.— Что тебя, в детсадик, что ли, уговаривают идти? Не пойдет он... Заставим!

Пилипенко остановился перед "сантехником" Максимычем, который сидел и спокойно покуривал "Кент".

— Гляди-ка,— засмеялся Пилипенко,— мы прямо отрепетировали с тобой сцену!.. Жалко, что ты не министр.

— Жалко,— согласился Максимыч.— Ты бы у меня первым делом заплатил за бензин, который спалил в воскресенье, во-вторых, я бы тебе такого нагоняя дал, что ты бы у меня за троих работал. Увольнять я бы тебя не стал. Тебя, правда, уволили-то?

Пилипенко не успел ответить, как в бойлерную влетел некто в шляпе, в легоньком пальтишке, с чемоданом. Бледный.

— Максимыч! Ты сегодня? Слава богу.— Говорил этот бледный с веселой злой дрожью в голосе. Увидев Пилипенко, он и ему тоже кивнул.— Здравствуйте, Максимыч!..

— Давай, давай,— сказал Максимыч. И налил бледному человеку в большой фужер. И налил также в две рюмки — себе и Пилипенко.

— Подождите,— сказал бледный,— у меня, кажется, шоколад есть.— Он нырнул в чемодан и извлек плитку шоколада.— Есть! Слава богу.

Пилипенко с некоторой иронией наблюдал за суетливым человеком.

— Катастрофа катастрофой, а шоколад не забыл? — сказал он.

Бледный посмотрел на него... Ничего не сказал. Подошел к столу, положил шоколад и взял свой фужер.

— Давайте,— сказал Максимыч.

Выпили... Помолчали. К шоколаду никто не притронулся.

— Ты что, обиделся, что ли? — спросил Пилипенко.

— Максимыч,— обратился бледный к "сантехнику",— пускай это постоит у тебя.— Он имел в виду чемодан.— А я пока пройдусь по набережной. Потом приду.

— Валяй, пройдись,— сказал Максимыч.

Бледный ушел, ни разу больше не поглядев на Пилипенко.

— Что он, обиделся, что ли? — опять спросил Пилипенко.

— Обиделся. Нехорошо ты с насмешкой-то... Он вообще обиженный человек.

— А что такое?

— Так...

— Что "так"?

— Ну так... Хороших людей часто обижают.

— Что за ерунда! Кто их обижает?

— Люди. Ты вот — взял обидел.

— Да ну уж!.. Пошутить нельзя, что ли. А какие люди-то?

— Есть.

— Мне чего-то его жалко стало. Я, может, зря с этим шоколадом, конечно... Но я же не хотел обидеть: тоже, смотрю, переживает человек... Чего он такой? Какие люди-то?

— Всякие... Бессовестные, в основном. Приходют и обижают. Не знаешь, как можно мужика обидеть?

— Рога, что ли, баба ставит?

— Рога... или как там, а только флиртует, зараза, с кем попало.

— Ах, это его жена! — такая... патлатая. Да?

— Да.

— Так что же он не уйдет от нее?

— Да вот, вишь, не может уйти. Не все же такие... Пилипеики. Ты не пропадешь, Семеныч, не горюй.

— Кто тебе сказал, что я пропаду?

— Не пропадешь, нет. А этот — все: окочурился.

— А чего не уходит-то?

— Не может. Уходит — раз в неделю вот так вот: счас улочки две даст, придет и здесь заночует. А утром — опять к ней. Любит.

— Тьфу! — зло сказал Пилипенко.— Кого там любить-то? Патлы крашеные?

— Это я не знаю. Мне его жалко. Так жалко бывает...— Максимыч затушил "Кент" в блюдечке, помолчал, покачал головой грустно.— А что сделаешь?

— Да послать ее надо подальше!..— стоял на своем Пилипенко.

— Да иди ты! — рассердился Максимыч.— Тебе бы все — посылать!.. Тебя вот послали — тебе как? Послать легче

всего. Да и то вон... не может. Ну — послал он, ну и что? Легко ему станет?

— Ну, это уж тоже не жизнь.

— Жизнь. Это и есть жизнь. Думаешь...— Вдруг Максимыч прислушался... И встал. И сказал: — Вот еще один такой же шлепает.

— Кто?

— Погоди.— Максимыч еще для верности послушал.— Да. С тросточкой.

— Кто такой?

— Пан профессор, это я его так прозвал. Тоже... с душой идет. Счас, если выпьет, с одной рюмки окосеет.

— Правда, что ли, профессор? — не поверил Пилипенко.

— Натуральный профессор, из седьмого подъезда. Мы с ним частенько беседуем. Он... этот, как там у них, ну, по русскому языку профессор...

— Филолог?

— Труды пишет. А сам, как ребенок... Ты только не надо, Семеныч... не ломи сдуру: тут уж вовсе... горе одно. А человек золотой.

Вошел "пан профессор" с тросточкой. Он — седенький, старенький, не столько даже седенький, сколько старенький.

— Не могу больше, Максимыч!..— сразу заговорил профессор жалобно. Увидев Пилипенко, ничуть не смутился, поздоровался и продолжал: — Не могу больше, дорогой мой. Пришел к тебе опять — больше некуда.— Он сел на лежак, склонил голову.— Вот штука — некуда.

Максимыч пошел в угол, достал еще бутылку коньяка, раскупорил на ходу, налил в три рюмки. Одну поднес профессору:

— На-ка, все маленько отмякнет.

Профессор машинально принял рюмку, посмотрел на нее.

— Выпей, выпей,— убежденно сказал Максимыч.— Легче станет. Вот шоколадом закусишь... Допекла?

— Допекла,— сказал профессор, принимая из рук Максимыча кусочек шоколада.— Да ведь сколько энергии! Сколько энергии!..

— Ну, давайте.

Профессор поперхнулся, но выпил всю рюмку и зажевал шоколадом. И вытер платочком глаза и рот.

— Днем ей позвонили из универмага: есть норковая шуба — три с половиной тысячи,— стал рассказывать профессор обоим, Максимычу и Пилипенке,— она звонит мне в университет.

— Ешь шоколад-то... и рассказывай.

— Спасибо.

— Ну, звонит?

— Звонит в университет... У-у, меня что-то в жар кинуло. Или здесь вообще жарко?

Максимыч без ехидства подмигнул Пилипенке и показал глазами на профессора: уже запьянел.

— Здесь жарковато, конечно. Ты не волнуйся, Аркадий Михалыч, спокойней. Ну, звонит эта телка в универмаг?..

— В университет. "Достань полторы тысячи". Две тысячи у нее есть...

— Так, это уже легче,— с легким накалом сказал Максимыч.— Хм!

— Но где я достану полторы тысячи? — удивленно и беспомощно спросил профессор.— "У кого-нибудь из профессоров" . У ко-го?

— Елкина мать-то! — взорвался терпеливый Максимыч.— "Достань полторы тыщи!" Это я могу сказать: "Достань мне... не знаю... жеребца племенного!"

— Зачем? — не понял профессор.

Пилипенко засмеялся.

— Да я так, к слову,— неохотно пояснил Максимыч.— Ну, ну?

— Ни у кого же из профессоров нет при себе таких денег, не может быть... И потом: идет ученый совет — что мне, со шляпой по кругу?..

Максимыч недобро посмеялся.

— Кричит в телефон: "Вообще она стоит четыре с половиной тысячи, это мне по знакомству, потому что шубу привезли из Дома моделей. Достань полторы тысячи!" Ну что делать? Что делать? Боялся домой ехать... Конечно,— истерика. О господи! — Профессор обреченно уронил голову на грудь.— Что делать?..

— Ты, Михалыч, ты прости меня, но это тебе наказание,— сказал Максимыч.— На кой тебе, пожилому человеку, надо было жениться на ней? На тридцать лет моложе!.. Ну, умная ты голова,— это нормально?

— Не знаю... Нет, ненормально. Наказание, да, наказание. Я боялся одиночества...

— Мало тебе старух? — все не унимался в своем разговоре Максимыч. Но тут уж вмешался Пилипенко.

— Ну, это ты тоже — со старухами-то... Для чего она ему?

— Обед сготовит, подметет...

— "Подметет". Ерунду говоришь какую-то.

— А эта для чего ему? — не сдавался Максимыч.

— Но что теперь делать? Что делать? — в отчаянии повторял профессор. Вытер платком слезы.— Вся жизнь... труд всей жизни — самому смешны и нелепы: куда важней — норковая шубка. По крохам, по зернышкам собирал знания, радовался, что открываю людям чистые целебные родники родной речи... И все, все поглотила норковая шубка. Любую рукопись отдам за норковую шубку! Но ведь никто же так скоро не заплатит. А завтра ее купит какой-нибудь спекулянт. Слушайте, вы, — обратился профессор к Пилипенко,— вы какой-то, кажется, начальник, за вами приезжает черная машина...

— Приезжала,— поправил Максимыч.

— Погоди,— строго остановил его Пилипенко.— Ну, так? Что вы хотели сказать?

— Я спрашиваю вас: почему у нас существует спекуляция?

— А почему у нас,— сразу без подготовки заговорил Пилипенко,— существуют университеты? Почему у нас существуют метро, театры, детсадики, бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание?..

— Он про спекулянтов спрашивает! — удивился Максимыч.— Ты что?

— А я спрашиваю про университеты. Почему — одно мы видим, так сказать, крупным планом, а все другое... всего другого — как бы даже и нету.

— Да кто же говорит, что нету! Есть... Все есть. Но мне нужна норковая шубка. Дайте мне в долг полторы тысячи, я через месяц верну — у меня книга выходит.

— Если бы у меня даже были такие деньги, я бы их вам не дал,— жестоко сказал Пилипенко.

— Почему? — удивился профессор.

— Ваша жена прекрасно одета, я видел. Какого ей черта еще нужно?

— Она хочет норковую шубку...

— А больше она ничего не хочет? — взорвался Максимыч.— Дрын хороший она не хочет? По этой... по...

— Погоди,— остановил Пилипенко "сантехника". Пилипенко успокоился и даже отрезвел.— Профессор, что вы сказали: "Любую рукопись отдам за норковую шубу?"

— Любую! — вскричал пьяненький профессор в величайшем горе.— Самую древнюю рукопись!.. "Слово о полку Игореве", если бы имел, отдал бы, только бы не эта истерика,

не этот визг. Все бы отдал! Только — наличными: завтра, до одиннадцати часов. Полбиблиотеки отдам — у меня уникальная библиотека. Хотите?

— Профессор,— с укоризной сказал Пилипенко.

— Душу запродам черту!..— У профессора у самого, кажется, начиналась истерика.— Только бы не этот визг. О господи!..

— Стоп! — сказал Максимыч.— Вы тут, конечно, все умные, а я — дурак, я не учился двадцать семь лет в...

— Кто тебе говорит, что ты...

— Ти-ха! — рявкнул добрый Максимыч.— Я лапоть...

— Я сам лапоть! — воскликнул профессор.

— Что вы, сдурели, что ли? — спросил Пилипенко.— В каком смысле — лапоть? В смысле происхождения, что ли? Тогда я тоже лапоть.

— Ти-ха! — вовсю разошелся Максимыч.— Вы — хромовые сапоги, а я — лапоть. Но я умею останавливать истерики. Я специалист по истерикам...

— Иди останови ее! — взмолился профессор.— Как ты это сделаешь? Она слышать ничего...

— Остановлю за две минуты.

— Как? — спросил и Пилипенко.

— Если бы ее кто-нибудь бы вразумил,— простонал профессор.— О-о, если бы кто-нибудь...

— Напиши мне некоторые культурные слова,— сказал Максимыч профессору,— я с их начну, чтобы она сразу дверь не закрыла. Как ее зовут? Надежда... как-то...

— Надежда Сергеевна.

— Семеныч, пиши на листке крупными буквами,— велел Максимыч Пилипенке.— А ты говори.

— Надежда Сергеевна,— стал диктовать профессор, а Пилипенко вырвал из блокнота лист и начал писать.— Надежда Сергеевна,— опять взмолился профессор,— заклинаю тебя небом...

— Ну, ерунда какая-то,— перестал писать Пилипенко.— При чем тут небо?

— Пиши, пиши,— сказал Максимыч.— Чем глупей, тем лучше.

— Хорошо, я буду проще,— согласился профессор.— А то действительно... демонизм какой-то. Надежда Сергеевна, ну неужели какая-то норковая шуба...

— Вшивая норковая шуба,— подсказал Максимыч.

Пилипенко только рукой на него махнул — чтоб помолчал.

— Неужели какая-то... норковая шуба,— продолжал профессор,— способна заменить человеку...

— Я предлагаю так,— перебил Пилипенко.— Надежда Сергеевна! Мы пока не можем всех одеть в норковые шубы, но неужели вы не видите других достижений? Неужели вы...

— Плевать она хотела на всех! — раздраженно сказал профессор.— Ей, ей нужна норковая шуба. Что ей все? Всем она не нужна... Мне она не нужна.

— И мне не нужна — у меня вон тулуп есть,— сказал Максимыч.

Пилипенко посмотрел на них.

— Вы что, намекаете, что мне, что ли, она нужна? Мне она тоже не нужна.

С грехом пополам составили они "бумагу", и Максимыч пошел с ней к Надежде Сергеевне. Пошел... и не вернулся.

...В суде Максимыч досказал эту историю так:

— Мы составили бумагу... Там были хорошие слова. И я пошел... Я честно прочитал ей через дверь, что там было написано.

— Она не открыла вам?

— Нет, я через дверь читал.

— Ну, так?

— Она вызвала милиционера... Я продолжаю говорить — думаю, она слушает,— а милиционер уже сзади стоит.

— Почему же она вызвала милиционера? Вы же говорите, там были хорошие слова.

— Я от себя стал добавлять,— с неохотой пояснил "сантехник" Максимыч.— Мне жалко этого старичка: она его загодя в гроб загонит со своими шубками. Ну, добавил малость от себя...

— Оскорблять стали?

— Ну... как? Ну, говорил, что... Наверно, оскорблял.

— Вот гражданка Сахарова пишет в своем заявлении, что вы пригрозили ей, что если вы увидите ее в норковой шубе, то снимете с нее эту шубу, а ей взамен отдадите свой тулуп. Вы говорили так?

— Да куда мне ее? — попытался было уйти от ответа Максимыч.— Зачем?

— Но вы говорили так или нет?

— Говорил.

— Это же угроза.

— Ну... как?.. Угроза.

Максимыч получил десять суток.

ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫЙ ЯКОВЛЕВ

Приехал в отпуск в село Борис Яковлев... Ему под сорок, но семьи в городе нету, была семья, но чего-то разладилось, теперь — никого. Вообще-то догадывались, почему у него — ни семьи, никого: у Яковлева скверный характер. Еще по тем временам, когда он жил в селе и работал в колхозе, помнили: вечно он с каким-то насмешливым огоньком в глазах, вечно подоспеет с ехидным словом... Все присматривается к людям, но не идет с вопросом или просто с открытым словом, а все как-то — со стороны норовит, сбоку: сощурит глаза и смотрит, как будто поджидает, когда человек неосторожно или глупо скажет, тогда он подлетит, как ястреб, и клюнет. Он и походил на ястреба: легкий, поджарый, всегда настороженный и недобрый.

У него тут родня большая: мать с отцом еще живые... Собрались, гульнули. Гуляли Яковлевы всегда шумно, всегда с драками: то братаны сцепятся, то зять с тестем, то кумовья — по стариике — засопят друг на друга. Это все знали; что-то было и на этот раз, но не так звонко — поустали, видно, и Яковлевы.

Сам Борис Яковлев крепок на вино: может выпить много, а не качнется, не раздерет сдуру рубаху на себе. Не всегда и поймешь, что он пьян: только когда приглядишься, видно — глаза потемнели, сузились, и в них точно вызов какой, точно он хочет сказать: "Ну?"

Был он и на этот раз такой.

В доме у него еще шумели, а он, нарядный, пошел к новому клубу: там собралась молодежь, даже и постарше тоже пришли — ждали: дело воскресное, из района должна приехать бригада художественной самодеятельности, а вместе с районными хотели выступить и местные — ну, ждали, может, интересно будет.

Яковлев подошел к клубу, поозирался... Закурил, сунул руки в карманы брюк и продолжал с усмешечкой разглядывать народ. Может, он ждал, что к нему радостно подойдут погодки его или кто постарше — догадаются с приездом поздравить: у Яковлева деньги на этот случай были в кармане: пошли бы выпили. Но что-то никто не подходил; Яковлев тискал в кулаке деньги и, похоже, злился и презирал всех. Наверно, он чувствовал, что торчит он тут весьма нелепо: один, чужой всем, стоит, перекидывает из угла в угол рта папиросину и ждет чего-то, непонятно чего. Самодеятельность эту он глубоко имел в виду, он хотел показать

всем, какой он — нарядный, даже шикарный, сколько (немало!) заколачивает в городе, может запросто угостить водкой... Еще он хотел бы рассказать, что имеет в городе — один! — однокомнатную квартиру в новом доме, что бригадира своего на стройке он тоже имеет в виду, сам себе хозяин (он сварщик), что тишина эта сельская ему как-то... не того, не очень,— по ушам бьет, он привык к шуму и к высоте. Наверно, он хотел вскользь как-нибудь, между прочим, между стопками в чайной, хотел бы все это рассказать, это вообще-то понятно... Но никто не подходил. Погодков что-то не видно, постарше которые... Черт их знает, может, ждали, что он сам подойдет; некоторых Яковлев узнавал, но тоже не шел к ним. А чего бы не подойти-то? Нет, он лучше будет стоять презирать всех, но не подойдет — это уж... такого мама родила. В его сторону взглядывали, может, даже говорили о нем... Яковлев все это болезненно чувствовал, но не двигался с места. Сплюнул одну "казбечину", полез за другой. Он смотрел и смотрел на людишек, особенно на молодых ребят и девушек... Сколько их расплодилось! Конечно, все образованные, начитанные, остроумные... а хоть бы у кого трояк лишний в кармане! Нет же ни шиша, а стоя-ат, разговоры ведут разные, басят, сопляки, похохатывают... Яковлев жалел, что пришел сюда, лучше бы опять к своим горлопанам домой, но не мог уж теперь сдвинуться: слишком долго мозолил глаза тут всем. И он упорно стоял, ненавидел всех... и видом своим показывал, как ему смешно и дико видеть, что они собрались тут, как бараны, и ждут, когда приедет самодеятельность. Вся радость — самодеятельность! Одни дураки ногами дрыгают, другие — радуются. "Ну и житуха! — вполне отчетливо, ясно, с брезгливостью думал Яковлев.— Всякой дешевизне рады... Как была деревня, так и осталась, чуть одеваться только стали получше. Да клуб отгрохали!.. Ну и клуб! — Яковлев и клуб новый оглядел с презрением.— Сарай длинный, в душу мать-то... Они тут тоже строят! Как же!.. Они тоже от жизни не отстают: клуб замастырили!"

Так стоял и точил злость Яковлев. И тут увидел, идут: его дружок детства Сергей Коноплев с супругой. Идут под ручку, честь по чести...

"Ой, ой,— стал смотреть на них Яковлев,— пара гнедых. Как добрые!"

Сергей тоже увидел Яковлева и пошел к нему, улыбаясь издали. И супругу вел с собой; супругу Яковлев не знал, из другой деревни, наверно.

— Борис?..— воскликнул Сергей; он был простодушный, мягкий человек, смолоду даже робкий, Яковлев частенько его бывало колачивал.

— Борис, Борис...— снисходительно сказал Яковлев, подавая руку давнему дружку и его жене, толстой женщине с серыми, несколько выпученными глазами.

— Это Галя, жена,— все улыбался Сергей.— А это друг детства... А я слышал, что приехал, а зайти... как-то все время...

— Зря церкву-то сломали,— сказал вдруг Яковлев ни с того ни с сего.

— Как это? — не понял Сергей.

— Некуда народишку приткнуться, смотрю... То бы хоть молились.

— Почему? — удивился Сергей. И Галя тоже с изумлением и интересом посмотрела на шикарного электросварщика.— Вот... самодеятельность сегодня...— продолжал Сергей.— Поглядим.

— Чего глядеть-то?

— Как же? Спляшут, споют. Ну, как жизнь?

Яковлева вконец обозлило, что этот унылый меринок стоит лыбится... И его же еще и спрашивает: "Как жизнь?"

— А ваша как? — спросил он ехидно.— Под ручку, смотрю, ходите... Любовь, да?

Это уж вовсе было нетактично. Галя даже смутилась, огляделась кругом и отошла.

— Пойдем выпьем, чем эту муть-то смотреть,— предложил Яковлев, не сомневаясь нисколько, что Серега сразу и двинется за ним.

Но Серега не двинулся.

— Я же не один,— сказал он.

— Ну, зови ее тоже...

— Куда?

— Ну в чайную...

— Как, в чайную? Пошли в клуб, а пришли в чайную? — Сергей все улыбался.

— Не пойдешь, что ли? — Яковлев все больше и больше злился на этого чухонца.

— Да нет уж... другой раз как-нибудь.

— Другого раза не будет.

— Нет, счас не пойду. Был бы один — другое дело, а так... нет.

— Ну пусть она смотрит, а мы... Да мы успеем, пока ваша самодеятельность приедет. Пойдем! — Яковлеву очень не

хотелось сейчас отваливать отсюда одному, невмоготу. Но и стоять здесь тоже тяжко.— Пошли! По стакашку дернем... и пойдешь смотреть свою самодеятельность. А мне на нее... и на всю вашу житуху глядеть тошно.

Сергей уловил недоброе в голосе бывшего друга.

— Чего так? — спросил он

— А тебе нравится эта жизнь? — Яковлев кивнул на клуб и на людей возле клуба.

— Жизнь... как жизнь,— сказал он.— А тебе что, кажется, скучно?

— Да не скучно, а... глаза не глядят, в душу мать-то,— накалялся Яковлев.— Стоя-ат... бараны и бараны, курва. И вся радость вот так вот стоять? — Яковлев прямо, ехидно и насмешливо посмотрел на Серегу: то есть он и его, Сергея, спрашивал — вся радость, что ли, в этом?

Сергей выправился с годами в хорошего мужика: крепкий, спокойный, добрый... Он не понимал, что происходит с Яковлевым, но помнил он этого ястреба: или здесь кто-нибудь поперек шерсти погладил — сказал что-нибудь не так, или дома подрались. Он и спросил прямо:

— Чего ты такой?.. Дома что-нибудь?

— Приехал отдохнуть!..— Яковлев уж по своему адресу съехидничал. И сплюнул "казбечину".— Звали же на поезд "Дружбу" — нет, домой, видите ли, надо! А тут... как на кладбище: только еще за упокой не гнусят. Неужели так и живут?

Сергей перестал улыбаться; эта ехидная остервенелость бывшего его дружка тоже стала ему поперек горла. Но он пока молчал.

— У тя дети-то есть? — спросил Яковлев.

— Есть.

— От этой? — Яковлев кивнул в сторону толстой, сероглазой жены Сергея.

— От этой...

— Вся радость, наверно,— допрашивал дальше Яковлев,— попыхтишь с ней на коровьем реву, и все?

— Ну, а там как?..— Сергей, видно было, глубоко и горько обиделся, но еще терпел, еще не хотел показать это.— Лучше?

— Там-то?..— Яковлев не сразу ответил. Зло и задумчиво сощурился, закурил новую, протянул коробку "Казбека" Сергею, но тот отказался.— Там своя вонь... но уж хоть — в нос ширяет. Хоть этой вот мертвечины нет. Пошли выпьем!

— Нет.— Сергей, в свою очередь, с усмешкой смотрел на Яковлева.

Тот уловил эту усмешку, удивился.

— Чего ты? — спросил он.

— Ты все такой же,— сказал Сергей, откровенно и нехорошо улыбаясь. Он терял терпение.— Сам воняешь ездишь по свету, а на других сваливаешь. Нигде не нравится, да?

— А тебе нравится?

— Мне нравится.

— Ну и радуйся... со своей пучеглазой. Сколько уже настрогали?

— Сколько настрогали — все наши. Но еслив ты еще раз, падали кусок, так скажешь, я... могу измять твой дорогой костюм.— Глаза Сергея смотрели зло и серьезно.

Яковлев не то что встревожился, а как-то встрепенулся; ему враз интересно сделалось.

— О-о,— сказал он с облегчением.— По-человечески хоть заговорил. А то — под ру-учку идут... Дурак, смотреть же стыдно. Кто счас под ручку ходит!

— Ходил и буду ходить. Ты мне, что ли, указчик?

— Вам укажешь!..— Яковлев весело, снисходительно, но с любопытством смотрел на Сергея.— На тракторе работаешь?

— Не твое поганое дело.

— Дурачок... я же с тобой беседую. Чего ты осердился-то? Бабу обидел? Их надо живьем закапывать, этих подруг жизни. Гляди!.. обиделся. Любишь, что ли?

С Яковлевым трудно говорить: как ты с ним ни заговори, он все равно будет сверху — вскрылит вверх и оттуда разговаривает... расспрашивает с каким-то особым гадким интересом именно то, что задело за больное собеседника.

— Люблю,— сказал Сергей.— А ты свою... что, закопал, что ли?

Яковлев искренне рассмеялся; он прямо ожил на глазах. Хлопнул Сергея по плечу и сказал радостно:

— Молоток! Не совсем тут отсырел!..— Странная душа у Яковлева — витая какая-то: он, правда, возрадовался, что заговорили так... нервно, как по краешку пошли, он все бы и ходил вот так — по краешку.— Нет, не удалось закопать: их закон охраняет. А у тебя ничего объект. Где ты ее нашел-то? Глаза только... Что у ней с глазами-то? У ней не

эта?.. болезнь такая с глазами есть... Чего она такая пучеглазая-то?

Сергей по-деревенски широко размахнулся — хотел в лоб угодить Яковлеву, но тот увернулся успел, Сергей ударил его куда-то в плечо, не больно. Яковлев этого только и ждал: ногой сильно дал Сереге в живот, тот скорчился... Яковлев кулаком в голову сшиб его вовсе с ног. И спокойно пошел было прочь от клуба... Его догнали. Он слышал, что догоняют, но не поворачивался до последнего мгновения, шел себе беспечно, даже "казбечину" во рту пожевывал... И вдруг побежал, но тут же чуть отклонился и дал первому, кто догонял, кулаком наотмашь. Первому он попал, но догоняло несколько, молодые... Хоть и умел Яковлев драться, его скоро сшибли тоже с ног и несколько попинали, пока не подбежали пожилые мужики и не разняли.

Яковлев встал, сплюнул, оглядел всего себя — ничего существенного, никаких особых повреждений. Отряхнулся. Он был доволен.

— Ну, вот...— сказал он, доставая "Казбек",— хоть делом занялись...— Яковлев насмешливо оглядел окруживших его мужиков и молодых парней.— А то стоя-ат ждут свою самодеятельность дурацкую.

— Иди отсюда,— посоветовали ему.

— Пойду, конечно... Что же мне, тоже самодеятельность, что ли, с вами стоять ждать? Кто выпить хочет? Парни...

Никто не изъявил желания пить с Яковлевым.

— Скучно живете, граждане,— сказал Яковлев, помолчав. Сказал всем, сказал довольно проникновенно, серьезно.— Тошно глядеть на вас...

— Еще, что ли, дать?

— Надо было,— сказал кто-то из пожилых мужиков.— Зря разняли.

— Не в этом дело,— сказал Яковлев.— Скучно,— еще раз сказал он, сказал четко, внятно, остервенело. Сунув руки в карманы шикарных брюк, пожевал "казбечину"... И пошел.

Еще немного постояли, глядя вслед Яковлеву... Повспоминали, какой он тогда был — он всегда был такой. Они все, Яковлевы, такие: вечно недовольные, вечно кулаки на кого-нибудь сучат...

Тут как раз приехала самодеятельность. И все пошли смотреть самодеятельность.

РЫЖИЙ

Давно-давно это было! Так давно, что и вспоминать неохота, когда это было. Это было давно и прекрасно. Весна была — вот что стоит в памяти, как будто это было вчера.

Ехал я по Чуйскому тракту из Онгудая домой, в Сростки. В Онгудае я жил с месяц у дяди Павла, крестного моего, бухгалтера... Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли мне на бухгалтера? Стало быть, мне лет 12-13, потому что когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль: выучиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться?

Насчет бухгалтера ничего не вышло: крестный отказался учить. Я этому очень обрадовался, потому что хотел сам сбежать домой... Почему-то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился: деревня снится, дом родной, мать... Тревожно на душе, нехорошо.

И вот ехал домой. Сердце петухом поет — славно! Я знал: ругать меня не за что (бухгалтерия совершенно искренне не полезла в голову, о чем крестный и писал маме, и я это письмо вез), а скоро будет — из-за горы откроется — моя деревня.

Из Онгудая к Сросткам — это ехать с гор, вниз, в предгорье, километров триста. Крестный в Онгудае посадил меня на ЗИС-5 к рыжему шоферу, заранее отдал деньги — и я ехал себе. Путь-то вон какой!.. От одной езды сердце замирало от радости. А тут мы еще где-то останавливались на ночевку, в какой-то избе, я спал на просторных полатях, где пахло овчиной, мукой и луком, слушал всякие разговоры внизу... Люблю слушать чужие разговоры, всегда любил. Слушал-слушал и уснул. А утром, чуть свет, меня разбудил мой рыжий шофер, и мы поехали по свежачку. Я зевал, рыжий тоже позевывал... Было ему лет тридцать, крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые. В дороге он все время молчал. Только зевнет, смешно заматерится — протяжно как-то, нараспев и опять молчит. А я себе смотрел во все глаза, как яснеет, летит навстречу нам огромный, распахнутый, горный день... Ах, и прекрасно же ехать! И прекрасна моя родина — Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надышаться-то нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. И не пугали меня никогда эти горы, хоть наверху на них — голо, снег... Мне

милее пашня, но не ровная долина, а с увалами, с гривами, с откосами. Но и горы и снег этот на вершинах, когда внизу зелено,— никогда чуждыми не были, а только еще милей и теплей здесь, внизу.

Едем...

Навстречу нам такой же грузовичок ЗИС-5 (их потом, когда они уже уходили из жизни, ласково звали "Захар" или "Захарыч", они славно поработали). Рыжий чуть отклонился на тракте правее, а тот, встречный, дует посередке почти... Рыжий несколько встревожился, еще поджался правее, к самой бровке, а встречный — нахально посередке. Рыжий удивленно уставился вперед... Я от его взгляда и встревожился-то: я сперва не понял, что нам грозит опасность. А опасность летела навстречу нам... Рыжий сбавил скорость и неотступным, немигающим, оцепенелым каким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот — перед самым носом у нас — свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный, жуткий треск...

Я больше испугался этого треска, чем толчка, до сих пор помню этот треск: толкнулось в сознании, что беда, может, смерть... Но тут же все пронеслось — ни смерти, ни беды большой. Рыжий остановился, вылез из кабины... И я тоже вылез. У нас — со стороны руля — отворотило угол кузова, причем угол, который у кабины. Тот, видно, задком шваркнул нас, и ему меньше досталось, потому что для него это получилось — на прощание, с потягом, а для нас удар — встречный: угла как не бывало, верхнего. Тот, видно, крюками саданул, какими борт захлестывается. Мы посмотрели вслед этому полудурку — тот себе катит как ни в чем не бывало. Рыжий быстро вскочил в кабину... Крикнул мне: "Садись!" Я мигом очутился в кабине... Рыжий развернулся и помчался вдогон тому, который ни с того ни с сего угостил нас. Вот мы летели-то!.. Рыжий опять неотступно, не мигая — вообще-то страшновато — смотрел вперед, чуть склонился к рулю. И страшновато, и красиво — я смотрел то на рыжего, то на машину впереди. Расстояние между машинами сокращалось. Рыжий не сказал ни слова... Он только раз или два пошевелился от нетерпения. Я понял, что он хочет сделать, тоже припечатать этому, кузовом же, я слышал, так делают шоферы: за нахальство и наглость. Но когда мы догоняли, я вдруг вспомнил, что там же их в кабине двое сидело, два мужика. Я сказал рыжему:

— Их двое там...

Рыжий чуть шевельнул головой на мой голос, но как смотрел вперед, так и смотрел, скорости не сбавил... Он, конечно, услышал мои слова, но я не увидел, чтобы он о чем-нибудь таком подумал, кроме как: во что бы то ни стало догнать.

Это и было в его взгляде, во всей его склоненной фигуре — догнать. Его нетерпение и мне передалось, я тоже вцепился в ручку дверцы и тоже весь напружинился — тоже вдруг всего целиком охватило одно единое желание: скорей догнать и шваркнуть.

Тот по-прежнему чухал серединой тракта... Мы повисли у него на задке, рыжий стал гудеть, прося дороги. Он еще раз пошевелился, последний раз, глотнул... И гудел, и гудел беспрерывно. Синие глаза его прямо полыхали нетерпением, кричали прямо... Горели ясным синим огнем. Он слился с рулем, правым локтем придавил этот большой черный пупок сигнала — и гудел, и гудел.

Долго тот не давал нам дороги... Наконец, видим, пошел уклоняться вправо. Рыжий прямо лег на руль... И мы стали медленно их обходить. Рядом со мной — близко, рукой можно достать — прыгал враждебный нам кузов... И он, качаясь и подпрыгивая, тихонько отставал и отставал... Я уже стал видеть лицо того нахала: молодой тоже, моложе рыжего, скуластый, в серой фуражке... Покосился на нас, несколько назад... Потом мы с ним сравнялись, я-то вовсе рядом оказался. Сердце мое как будто кто в кулаке сжал... Тот, в фуражке, посмотрел на нас, скорей так: через меня на рыжего... И я понял, что он не узнал, что именно нам он сделал такую бяку. Я поразительно близко видел его лицо: широкое, в скулах, никакое не злое, несколько даже курносое... Он, по-моему, досадовал и несколько был удивлен, что его обгоняют — и только. Никак уж, наверно, не ждал он, что его догнала расплата за его хулиганство.

Мы уже стали обходить ЗИС, этот в кепке, уже остался чуть сзади. Их, правда, двое было в кабине, но второго я совершенно не помню — я его, наверно, не видел: до того интересно было смотреть на скуластого.

Мы почти обогнали, ехали серединой... И тут рыжий сделал так: дал вправо, потом резко влево и тормознул. Нас кинуло вперед... Опять этот ужасный треск... Опять мимо пронеслось нечто темное, жуткое, обдав грохотом беды и смерти... И мы стали вовсе: рыжий подрулил вправо к обочине, как и положено, взял длинную заводную ручку и вылез из кабины. Но тот, с висячим уже бортом, не

остановился. Рыжий подождал-подождал, залез опять в кабину, развернулся, и мы поехали своей дорогой. Рыжий был спокоен, ничего не сказал по поводу того, что... Он ехал и ехал. Пару раз выглядывал из кабины и смотрел коротко на искореженный угол борта.

Я же почему-то принялся думать так: нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить — серьезно. Я очень уважал рыжего.

С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к рыжим: какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе... Очень они мне нравятся. Не все, конечно, но вот такие вот — молчаливые, спокойные, настырные... Такого не враз сшибешь. И зубы ему не заговоришь — он свое сделает.

КЛЯУЗА

(Опыт документального рассказа)

Хочу попробовать написать рассказ, ничего не выдумывая. Последнее время мне нравятся такие рассказы — невыдуманные. Но вот только начал я писать, как сразу запнулся: забыл лицо женщины, про которую собрался рассказать. Забыл! Не ставь я такой задачи — написать только так, как было на самом деле,— я бы, не задумываясь, подробно описал ее внешность... Но я-то собрался иначе. И вот не знаю: как теперь? Вообще, удивительно, что я забыл ее лицо, я думал, буду помнить его долго-долго, всю жизнь. И вот — забыл. Забыл даже: есть на этом лице бородавка или нету. Кажется, есть, но, может быть, и нету, может быть, это мне со зла кажется, что — есть. Стало быть, лицо пропускаем, не помню. Помню только: не хотелось смотреть в это лицо, неловко как-то было смотреть, стыдно, потому, видно, и не запомнилось-то. Помню еще, что немного страшно было смотреть в него, хотя были мгновения, когда я, например, кричал: "Слушайте!.." Значит, смотрел же я в это лицо, а вот — не помню. Значит, не надо кричать и злиться, если хочешь что-нибудь запомнить. Но это так — на будущее. И потом: вовсе я не хотел тогда запомнить лицо этой женщины, мы в те минуты совершенно серьезно НЕНАВИДЕЛИ друг друга... Что же с ненависти спрашивать! Да и теперь,— если уж говорить всю правду,— не хочу я вспоминать ее лицо, не

хочу. Это я за ради документальности решил было начать с того: как выглядит женщина. Никак! Единственное, что я хотел бы сейчас вспомнить: есть на ее лице бородавка или нет, но и этого не могу вспомнить. А прошло-то всего три недели! Множество лиц помню с детского возраста, прекрасно помню, мог бы подробно описать, если бы надо было, а тут... так, отшибло память, и все.

Но — к делу.

Раз уж рассказ документальный, то и начну я с документа, который сам и написал. Написал я его по просьбе врачей той больницы, где все случилось. А случилось все вечером, а утром я позвонил врачам и извинился за самовольный уход из больницы и объяснил, что случилось. А когда позвонил, они сказали, что ТА женщина уже написала на меня ДОКУМЕНТ, и посоветовали мне тоже написать что-то вроде объяснительной записки, что ли. Я сказал дрожащим голосом: "Конечно, напишу. Я напишу-у!.." Меня возмутило, что ОНА уже успела написать! Ночью писала! Я, приняв димедрол, спал, а она не спала — писала. Может, за это уважать надо, но никакого чувства, похожего на уважение (уважают же, говорят, достойных врагов!), не шевельнулось во мне. Я ходил по комнате и только мычал: "Мх, ты..." Не то возмутило, что ОНА опередила меня, а то — что ОНА там понаписала. Я догадывался, что ОНА там наворочала. Кстати, почерк ЕЕ, ие видя его ни разу, я, мне кажется, знаю. Лица не помню, не знаю, а почерк — покажи — сразу сказал бы, что это ЕЕ почерк. Вот дела-то!

Я походил, помычал и сел писать.

Вот что я написал:

"Директору клиники пропедевтики 1-го мединститута им.Сеченова".

Я не знал, как надо: "главврачу" или "директору", но подумал и решил: лучше "директору". Если там "главврач", то он или она, прочитав: "директору", подумает: "Ну уж!.." Потому что, как ни говорите, но директор — это директор.

Я писал дальше:

"Объяснительная записка.

Хочу объяснить свой инцидент..."

Тут я опять остановился и с удовлетворением подумал, что в ЕЕ ДОКУМЕНТЕ наверняка нет слова "инцидент", а у меня — вот оно, извольте: резкое, цинковое словцо, которое и само за себя говорит, и за меня говорит, что я его знаю.

"... с работником вашей больницы..."

Тут опять вот — "вашей". Другой бы подмахнул — "Вашей", но я же понимаю, что больница-то не лично его, директора, а государственная, то есть общее достояние, поэтому, слукавь я, польсти с этим "Вашей", я бы уронил себя в глазах того же директора, он еще возьмет и подумает: "Э-х, братец, да ты сам безграмотный". Или — еще хуже — подумает: "Подхалим".

Итак:

"Хочу объяснить свой инцидент с работником вашей больницы (женщина, которая стояла на вахте 2 декабря 1973 года, фамилию она отказалась назвать, а узнавать теперь, задним числом, я как-то по-человечески не могу, ибо не считаю это свое объяснение неким "заявлением" и не жду, и не требую никаких оргвыводов по отношению к ней), который произошел у нас 2 декабря. В 11 часов утра..."

В этом абзаце мне понравилось, во-первых, что "задним числом, я как-то по-человечески не могу..." Вот это "по-человечески" мне очень понравилось. Еще понравилось, что я не требую никаких "оргвыводов". Я даже подумал: "Может, вообще не писать?" Ведь получается, что я, благородный человек, все же — пишу на кого-то что-то такое... В чем-то таком кого-то хочу обвинить... Но как подумал, что ОНА-то уже написала, так снова взялся за ручку. ОНА небось, не раздумывала! И потом, что значит — обвинить? Я не обвиняю, я объясняю и "оргвыводов" не жду, больше того, не требую никаких "оргвыводов", я же и пишу об этом.

"В 11 часов утра (в воскресенье) жена пришла ко мне с детьми (6 и 7 лет), я спустился по лестнице встретить их, но женщина-вахтер не пускает их. Причем я, спускаясь по лестнице, видел посетителей с детьми, поэтому, естественно, выразил недоумение — почему она не пускает? В ответ услышал какое-то злостное — не объяснение даже — ворчание: "Ходют тут!" Мне со стороны умудренные посетители тихонько подсказали: "Да дай ты ей пятьдесят копеек, и все будет в порядке". 50 к. у меня не случилось, кроме того (я это совершенно серьезно говорю), я не умею "давать": мне неловко. Я взял и выразил сожаление по этому поводу вслух: что у меня нет с собой 50 копеек".

Я помню, что в это время там, в больнице, я стал нервничать. "Да до каких пор!.." — подумал я.

"Женщина-вахтер тогда вообще хлопнула дверью перед носом жены. Тогда стоявшие рядом люди хором стали просить ее: "Да пустите вы жену-то, пусть она к дежурному врачу сходит, может, их пропустят!"

Честное слово, так и просили все... У меня там, в больнице, слезы на глаза навернулись от любви и благодарности к людям. "Ну!.." — подумал я про вахтершу, но от всяческих оскорблений и громких возмущений я удерживался, можете поверить. Я же актер, я понимаю... Наоборот, я сделал "фигуру полной беспомощности" и выразил на лице большое огорчение.

"После этого женщина-вахтер пропустила жену, так как у нее же был пропуск, а я, воспользовавшись открытой дверью, вышел в вестибюль к детям, чтобы они не оставались одни. Женщина-вахтер стала громко требовать, чтобы я вернулся в палату... "

Тут я не смогу, пожалуй, передать, как ОНА требовала. ОНА как-то механически, не так уж громко, но на весь вестибюль повторяла, как репродуктор: "Больной, вернитесь в палату! Больной, вернитесь в палату! Больной, я кому сказала: вернитесь сейчас же в палату!" Народу было полно; все смотрели на нас.

"При этом женщина-вахтер как-то упорно, зло, гадко не хочет понять, что я этого не могу сделать — уйти от детей, пока жена ищет дежурного врача. Наконец она нашла дежурного врача, и он разрешил нам войти. Женщине-вахтеру это очень не понравилось.

О, ЕЙ это не понравилось; да: все смотрели на нас и ждали, чем это кончится, а кончилось, что ЕЕ как бы отодвинули в сторону. Но и я, по правде сказать, радости не испытал, я чувствовал, что это еще не победа, я понимал тогда сердцем и понимаю теперь разумом: ЕЕ победить невозможно.

"Когда я проходил мимо женщины-вахтера, я услышал ее недоброе обещание: "Я тебе это запомню". И сказано это было с такой проникновенной злобой, с такой глубокой, с такой истинной злобой!.. Тут со мной что-то случилось: меня стало мелко всего трясти..."

Это правда. Не знаю, что такое там со мной случилось, но я вдруг почувствовал: что — все, конец. Какой "конец", чему "конец" — не пойму, не знаю и теперь, но предчувствие какого-то очень простого, тупого конца было отчетливое. Не смерть же, в самом деле, я почувствовал — не ее приближение, но какой-то КОНЕЦ... Я тогда повернулся к НЕЙ и сказал: "Ты же не человек". Вот — смотрел же я на НЕЕ! — а лица не помню. Мне тогда показалось, что я сказал гулко, мощно, показалось, что я чуть не опрокинул ЕЕ этими словами. Мне на миг самому сделалось страшно, я поскорей

отвернулся и побежал догонять своих на лестнице. "О-о!..— думал я про себя.— А вот — пусть!.. А то только знают, что грозят!" Но тревога в душе осталась, смутная какая-то жуть... И правая рука дергалась, не вся, а большой палец, у меня это бывает.

Я никак не мог потом успокоиться в течение всего дня. Я просил жену, пока она находилась со мной, чтобы она взяла такси — и я бы уехал отсюда прямо сейчас. Страшно и противно стало жить, не могу собрать воедино мысли, не могу доказать себе, что это мелочь. Рука трясется, душа трясется, думаю: "Да отчего же такая сознательная, такая в нас осмысленная злость-то?" При этом не хочет видеть, что со мной маленькие дети, у них глаза распахнулись от ужаса, что "на их папу кричат", а я ничего не могу сделать. Это ужасно, я и хочу сейчас, чтобы вот эта-то мысль стала бы понятной: жить же противно, жить неохота, когда мы такие.

Вечером того же дня (в 6 ч. вечера) ко мне приехали из Вологды писатели В. Белов и секретарь Вологодского отделения писателей поэт В. Коротаев. Я знал об их приезде (встреча эта деловая), поэтому заранее попросил моего лечащего врача оставить пропуск на них. В 6 ч. они приехали — она не пускает. Я опять вышел... Она там зло орет на них. Я тоже зло стал говорить, что есть же пропуск!.. Вот тут-то мы все трое получили...

В вестибюле в то время было еще двое служителей — она, видно, давала им урок "обращения", они с интересом смотрели. Это было, наверно, зрелище. Я хотел рвать на себе больничную пижаму, но почему-то не рвал, а только истерично, неубедительно выкрикивал, показывая куда-то рукой: "Да есть же пропуск!.. Пропуск же!.." ОНА, подбоченившись, с удовольствием, гордо, презрительно — и все же лица не помню, а помню, что презрительно и гордо — тоже кричала: "Пропуск здесь — я!" Вот уж мы бесились-то!.. И ведь мы, все трое,— немолодые люди, повидали всякое, но как же мы суетились, господи! А она кричала: "А то — побежа-али!.. К дежурному врачу-у!..— Это ОНА мне.— Я побегаю! Побегаю тут!.. тут!.. Марш на место! — Это опять мне.— А то завтра же вылетишь отсудова!" Эх, тут мы снова, все трое,— возмущаться, показывать, что мы тоже законы знаем! "Как это — "вылетишь"?! Как это! Он больной!..— "А вы — марш на улицу! Вон отсудова!.."

Так мы там упражнялись в пустом гулком вестибюле.

"Словом, женщина-вахтер не впустила моих товарищей ко мне, не дала и там поговорить и стала их выгонять. Я попросил, чтобы они нашли такси..."

Тут наступает особый момент в наших с НЕЙ отношениях. Когда товарищи мои ушли ловить такси, мы замолчали... И стали смотреть друг на друга: кто кого пересмотрит. И еще раз хочу сказать — боюсь, надоел уж с этим — не помню ЕЕ лица, хоть убей. Но отлично помню — до сих пор это чувствую,— с какой враждебностью, как презрительно ОНА не верила, что я вот так вот возьму и уеду. Может, у НЕЙ драма какая была в жизни, может ЕЙ много раз заявляли вот так же: возьму и сделаю!.. А — не делали, она обиделась на веки вечные, не знаю, только ОНА прямо смеялась и особо как-то ненавидела меня за это трепаческое заявление — что я уеду. Мы еще некоторое время смотрели друг на друга... И я пошел к выходу. Тут было отделился от стенки какой-то мужчина и сказал: "Э, э, куда это?" Но я нес в груди огромную силу и удовлетворенность. "Прочь с дороги!" — сказал я, как Тарас Бульба. И вышел на улицу.

Был морозец, я в тапочках, без шапки... Хорошо, что больничный костюм был темный, а без шапок многие ходят... Я боялся, что таксист, обнаружив на мне больничное, не повезет. Но было уже и темновато. Я беспечно, не торопясь, стараясь не скользить в тапочках, чтобы тот же таксист не подумал, что я пьяный, пошагал вдоль тротуара, оглядываясь назад, как это делают люди, которые хотят взять такси. Я шел и думал: "У меня же ведь еще хроническая пневмония... Я же прямо горстями нагребаю в грудь воспаление". Но и тут же с необъяснимым упорством и злым удовлетворением думал: "И пусть" .

А друзья мои в другом месте тоже ловили такси. На мое счастье я скоро увидел зеленый огонек...

Все это я и рассказал в "Объяснительной записке". И когда кончил писать, подумал: "Кляуза, вообще-то..."Но тут же сам себе с дрожью в голосе сказал:

— Ну, не-ет!

И послал ДОКУМЕНТ в больницу.

Мне этого показалось мало: я попросил моих вологодских друзей тоже написать ДОКУМЕНТ и направить туда же. Они написали, прислали мне, так как точного адреса больницы не знали. Я этот их ДОКУМЕНТ в больницу не послал — я и про свою-то "Объяснительную записку" сожалею теперь — а подумал: "А напишу-ка я документальный рассказ! Попробую, по крайней мере. И приложу оба ДОКУМЕНТА".

Вот — прикладываю и их ДОКУМЕНТ.

г. Москва, ул. Погодинская,
клиника пропедевтики, Главному врачу.

Настоящим письмом обращаем Ваше внимание на следующий возмутительный случай, происшедший в клинике 2 декабря в период с 18 до 19 часов. Приехав из другого города по делам, связанным с писательской организацией, мы обратились к дежурной с просьбой разрешить свидание с находившимся в клинике Шукшиным В. М. Вначале дежурная разрешила свидание и порекомендовала позвонить на этаж. Но, узнав фамилию больного, вдруг переменила решение и заявила: "К нему я вас не пущу". На вопрос "почему?" — она не ответила и вновь надменно и грубо заявила, что "может сделать, но не сделает", что "другим сделает, а нам не сделает". Такие действия для нас были совершенно непонятны, тем более что во время наших объяснений входили и выходили посетители, которым дежурная демонстративно разрешала свидания. Один из них благодарил дежурную весьма своеобразно, он сказал, уходя: "Завтра с меня шоколадка". (Мы не предполагали, что в столичной клинике может существовать такая форма благодарности и шоколадом не запаслись.)

В. М. Шукшин, которому сообщили о нашем приходе другие больные, спустился с этажа и спросил дежурную, почему она не разрешает свидание, хотя у нас выписан пропуск. Она ответила грубым криком и оскорблением. Она не разрешила нам даже поговорить с В. М. Шукшиным и выгнала из вестибюля. На вопрос, каковы ее имя, фамилия, она не ответила и демагогически заявила, что мы пьяны. Разумеется, это была заведомая ложь и ничем не прикрытое оскорбление.

Считаем, что подобные люди из числа младшего медицинского персонала позорят советскую медицину, и требуем принять административные и общественные меры в отношении медработника, находившегося на дежурстве во второй половине дня 2-го декабря с. г.

Ответственный секретарь Вологодской
писательской организации — *В. Коротаев.*
Писатель — *В. Белов.*

И — число и подписи.

...Прочитал сейчас все это... И думаю: "Что с нами происходит?"

ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ

В нервной, шумливой семье Худяковых — происшествие: народился младенец по имени Антон. То-то было волнений, крика, когда их — роженицу и младенца — привезли домой... Радовались, конечно, но и шумели, и нервничали тут же — стыдились радоваться: у Антона нет отца. То есть он, конечно, есть, но пожелал остаться неизвестным. Семья Худяковых такая: отец Николай Иванович, сухой, пятидесятилетний, подвижный, как юноша, резкий... Шофер. Как разволнуется, начинает заикаться. Мать Лариса Сергеевна, обычно крикливая, но не злая. Сын их Костя, двадцатитрехлетний, слесарь, тоже нервный, часто волнуется, но тогда не кричит и не говорит — мало говорит — старается найти слова сильные, точные, не сразу их находит и выразительно смотрит темно-серыми глазами на того, кому он хотел бы найти эти слова. И наконец дочь Алевтина, двадцатилетняя, с припухлыми, чуть вывернутыми губами, хоть тоже шумливая, но добрая и доверчивая, как овца. Она-то и родила Антона. Из-за нее-то и нервничали. Казалось бы, чего уж теперь-то нервничать: знали же, ждали же... Нет, как привезли человечка, тут они все разнервничались — на то они и Худяковы, крикуны, особенно отец.

— Ну, х-орошо, ну, л-л-л... это... ладно,— кричал отец,— если он не хочет прийти, то х-оть скажи: кто он?!

Алевтина плакала, но не говорила, упорно не говорила... Николай Иванович из себя выходил, метался по комнате. Лариса Сергеевна — это странно, но никто как-то на это не обращал внимания, что это странно,— не кричала, а спокойно налаживала кроватку, распоряжалась насчет пеленок, распашонок... Она, как видно, свое откричала раньше. Костя... У Кости, брата, было сложное чувство. Младенец взволновал его, обрадовал, но досада, стыд и злость на сестру губили радость. Он тоже хотел бы знать, кто же это такой ловкий, что и ребенка смастерил, и глаз казать не хочет?

— Подожди ты, не кричи,— сказал он отцу,— чего криком достигнешь?

— Достигалы! — закричал и на него отец.— Вы всего достигаете!.. Вон вы чего достигаете — в подолах приносить. Радуйтесь теперь!..

— Ну и... все. Чего кричать-то? Чего изменишь-то криком?

— Я хочу знать: кто?! — Отец резко крутнулся на месте, махнул рукой и выбежал из комнаты. На кухню. Он не мог

совладать с отчаянием.— Как добрым, отдельную квартиру дали!..— вовсе уже бессмысленно кричал он оттуда.— Нет, они начинают тут... Тьфу!

— Алька,— приступил к допросу Костя, приступил, как ему казалось, спокойно и умно.— Скажи мне, я один буду знать: кто?

— Иди ты к черту! — закричала на него заплаканная Алька.— Не скажу! Не ваше дело.

— Не наше?! — закричал и Костя. И уставился на сестру, и смолк, в поисках сильного справедливого слова.— А чье же? Не наше?.. Зануды вы!.. Дуры! — Он тоже резко повернулся и ушел на кухню.

— Ну, что за дуры такие!..— повторил он уже на кухне, при отце. И стал закуривать.— Убивать таких...

Отец, засунув руки в карманы брюк, стоял у окна, обиженно смотрел на улицу.

— Вырастили дочь,— сказал он.— Хоть беги теперь от позора... С кем она дружила-то? — опять повысил он голос. И повернулся к сыну.— Не знаешь?

— Откуда я знаю?

— "Откуда я знаю"! Черти... Засмеют теперь, людям только дай повод. Эх-х!..

Они долго молчали, курили, невольно прислушиваясь к возне там, в комнате. Маленький Антон молчал.

— Парень-то крепкий уродился,— сказал отец страдальческим голосом.

— Ну и пусть растет,— невольно поддался было Костя мирному, хоть и горькому настроению.— Что теперь сделаешь?

— Ну, нет! — взвился опять отец. И вскочил, и заходил по тесной кухне.— Это они... сильно легко жить собрались! Черта с два! Так не бывает. — Он помолчал, еще походил немного, остановился перед сыном.— Ты вот что: когда успокоимся, ты как-нибудь подъехай к ней... Хитростью как-нибудь. Не может быть, чтобы нельзя узнать... Что, в чужой стране, что он? Поумней как-нибудь... Не кричи, а поспокойней. То, се, мол, может, привет передать... Да не может быть, чтобы нельзя было узнать! Я его приведу, подлеца, и — носом в пеленки, как кота: вот теперь твое место здесь, здесь... Гады золотушные. Ишь, научились как!.. Прямо не жизнь, а малина. Ну, нет!..

— Да что нет-то? Что нет-то? — рассердился вдруг Костя на отца.— Что сделаешь-то?

— Что сделаю? Приведу и поселю здесь жить: вот тебе, друг ситный, твоя семья: жена и сын.

— А он пошлет тебя... И все. И ничего ты не сделаешь.

Отец строго уставился на сына... Но, видно, и сам тоже подумал: а что, действительно, тут сделаешь?

— Сде-елаем,— сказал он обещающе, но развивать эту мысль дальше не стал,— нечего развивать, вот и не стал. Сел, закурил опять. Курил и смотрел в пол безнадежно. Пальцы рук его чуть тряслись.

Косте стало жалко отца. Ничего он не сделает, подумал он. Что он может сделать? Покричит-покричит, а будет все как есть. Но если пожилой отец ничего не может сделать, тут же подумал Костя, то мне-то грех оставлять беззащитными сестру и племянника. Это уж... извините.

И решил Костя: не надо кричать, не надо суетиться, надо спокойно, железной рукой восстановить справедливость. Эти волосатики, правда что, собрались легко жить! (Почему-то он был уверен, что отец Антона — какой-нибудь из этих, каких он часто видел во дворе с гитарой.) Самого Костю как-то миновало это поветрие — трясти космами и до одури бренчать на гитаре, он спокойно презирал обтянутых парней, сторонился и следил только, чтобы у него с ними не случилось драки: волосатики ходили стадом и не стыдились бить кучей одного.

Костя решил, что он все равно узнает, кто отец Антона. А там уж видно будет, что делать.

И Костя узнал.

Дня через три, когда все малость успокоились, он потихоньку перерыл сумочки сестры, карманы ее пальто и курточек — и нашел, что искал: записную книжку. В книжке — номера телефонов. Костя стал внимательно изучать эти номера. Тут были телефоны подружек, рабочие телефоны (Алевтина работала на почте), телефоны каких-то тетей... Но того, что было нужно, не было. Тогда Костя набрал телефон первой попавшейся подружки Алевтины. Светы какой-то...

— Света? — спросил он вежливо.

— Да-а,— пропел ему в ухо голосок.— Кто это?

— Света, это брат Алкин... Слушай сюда, у нас же это... прибавление...

Света молчала.

— Знаешь, да? — продолжал Костя игриво.

— Да,— сказал в ухо голосок.— Знаю.

— А чего же он не звонит? А?

— Кто, Игорь?

— Да, Игорь-то. Чего он?

— Но они же...— Света, видно как, спохватилась, помолчала и сказала: — Я не знаю.

— Что "не знаю"? Чего ты хотела сказать?

— Не знаю...

— А кто он, этот Игорь?

— Не знаю.

Все, теперь она не слезет со своего "не знаю". Ну, хватит и того, что успела сказать.

— Что же вы такие, Света? — спросил Костя как можно спокойнее. И сжал трубку, аж пальцы побелели.

— Какие? — удивилась Света.

— Да лахудры-то такие... Что, совсем, что ли, дуры полные?

Света положила трубку.

Игорек... Ну, держись, Игорек... Собака!

Костя походил возле телефона-автомата... Как умней повести дело? Надо же этого Игорька еще добыть!

"Э! — догадался Костя,— да эти же и знают, с гитарами-то. Чего я?.."

И он подошел к одному, к тоскливому... Этот тоскливый был, видно, с похмелья по воскресному делу, сидел один на скамеечке под березой, устало и одинаково смотрел перед собой — ждал, что ли, кого.

— Что такой задумчивый? — спросил Костя, присаживаясь на скамейку.

Тоскливый повернулся к нему... Глаза круглые, неглупые, несколько усталые, но тотчас засветились любопытством и неким немым ожиданием.

— А чего? — спросил он.

"Да нормальные люди! — успел подумать Костя.— Напускают только на себя..."

У этого, тоскливого, даже и волосы-то не такие уж длинные, правда, — усы...

— Ты этого... Игорька знаешь? — прямо спросил Костя.— С сеструхой-то который...

Тоскливый некоторое время с интересом смотрел на Костю — не то изучал, но и не скрывал интереса. Усмехнулся.

— А тебе что?

Костя заволновался, но прищемил свое волнение зубами... Тоже смотрел на усатого, старался усмехнуться, но не

знал: усмехается или нет? Очень уж он как-то сразу взволновался.

— Пошли выпьем? — сказал Костя. И суетливо сунулся в карман, чтобы этим жестом успокоить усатого — что не трепется, что деньги есть. Но деньги не стал показывать, ибо заметил, что усатый утратил интерес к нему: видно, как поторопился он с этой выпивкой.

"Ну, а как, как? — в отчаянии соображал Костя.— Как же?"

— Прикупить, что ли, хочешь? — спросил усатый. И отвернулся. Но снова повернулся.— Зачем тебе Игорька-то? — спросил.

Тут Костя взмолился.

— Слушай... прости с этой выпивкой — сам не знаю, чего я... Прости.— Он даже тронул трясущейся рукой усатого по колену.— Я хочу спросить Игорька: будут они... сходиться-то?

Усатый опять смотрел на Костю, и опять глаза его круглые слабо осветились жизнью: опять ему стало интересно. Он усмехнулся.

— Не будут,— сказал он.

— Почему? — спросил Костя. Он хотел бы тоже усмехнуться, но не знал: получается у него усмешка или нет.— А зачем же тогда ребенка-то?..

— Это ты у сестры спроси,— молвил резонно усатый. И отвернулся. Интерес потух в его круглых глазах.

Мгновение Косте казалось, что он кинется на усатого, вцепится ему в горло... но он помолчал и спросил:

— Неужели ребенка-то?.. Хоть бы посмотрел. Что уж тут, съедят, что ли, вашего Игорька? Чего боитесь-то?

— Кто боится? — спросил усатый удивленно.

— Да вы боитесь.— Костя понял, что нечаянно угодил в слабое место усталой души усатого.— Чего же прячетесь, если не боитесь?

Усатый долго молча смотрел на Костю... И Костя смотрел на него, и ему удалось презрительно усмехнуться, он это почувствовал.

— Ну и поганцы же!..— сказал он презрительно.— Чуть чего, так — в кусты. Джельтмены, мать вашу... Твари.

Усатый задумался... Скосил глаза куда-то мимо Кости и даже губу покусал в раздумье.

— Мгм,— сказал он.— Я могу дать адрес Игорька... Но вечером ты выйдешь и расскажешь, как вы там поговорили. Так есть?

— Есть,— поспешно согласился Костя.— Расскажу.

— Мичурина двадцать семь, квартира восемнадцать. Но не забудь, вечером расскажешь.

...Костя летел на Мичурина и твердил в уме: "Двадцать семь, восемнадцать, двадцать семь, восемнадцать..." Почему-то взял страх, что забудет, а записать — ручки с собой нет. Ни о чем другом не думал, твердил и твердил эти цифры. Только когда пришел к дому двадцать семь и стоял уже перед дверью, на которой табличка — 18, тогда только перевел дух... И тут обнаружил, что очень волнуется, так волнуется, как никогда не волновался: даже сердце заболело. Нет, надо успокоиться, решил Костя, а то... что же я такой сделаю там? Он походил перед дверью... Не успокоился, а, сам того не желая, не сознавая даже, нажал кнопку звонка.

Дверь открыла моложавая еще женщина, очень приятная на вид... Открыла и смотрела на Костю.

— Игорь дома? — спросил Костя спокойно. Он поразился в душе своему вдруг спокойствию. Только что его чуть не трясло от волнения.

— Нету...— Что-то такое было, наверно, в глазах Кости, что женщина не закрыла дверь, а смотрела на него вопросительно, даже встревоженно.— А вы... вам зачем он?

Костя пошел прямо на женщину... Она невольно посторонилась, и Костя прошел в квартиру. По коридору навстречу ему шел мужчина в спортивном костюме, лет так пятидесяти пяти, с брюшком, но с таким... аккуратным брюшком, упитанный, добродушный. Но хоть лицо его добродушное, в эту минуту оно тоже было несколько встревоженное. Он тоже вопросительно смотрел на Костю.

— Я к вашему Игорю,— сказал Костя.

— Но нет же его,— чуть раздраженно сказала сзади женщина.

— А где он? — Костя стал в коридоре между мужчиной и женщиной — отцом и матерью Игорька, как он понял.— Мне его срочно надо.

— А что такое? — спросил мужчина.

— Он скоро придет? — в свою очередь спросил Костя. Спросил почему-то у женщины.

— А что такое? — опять спросил мужчина.

Костя повернулся к мужчине и долго, внимательно смотрел ему в глаза. Тот не выдержал, шевельнул плечом, коротко — поверх Кости — глянул на жену, потом опять на Костю.

— В чем дело-то, вы можете объяснить? — потребовал он строго.

Костя стиснул зубы и смотрел на мужчину.

— У Игоря... у вашего,— заговорил он дрожащим от обиды, от горькой обиды и ярости голосом,— родился сын. Но Игорь ваш... не хочет даже... Игорь ваш прячется, как... — Костя не досказал, как кто, но он знал — чувствовал — он здесь сейчас скажет все: как на грех, стоял перед ним — сытый благополучный человек, квартира большая, шуба дорогая висит на вешалке, шляпа на вешалке, сверху...

— То-о есть? — как-то даже пропел мужчина.— Как это?

— Что, что, что?..— несколько заполошно зачастила сзади женщина.— Что?

— У Игоря вашего родился сын. Но Игорь ваш... не на тех нарвался! — У Кости прыгали губы; все здесь — эти изумленные, сытые люди, квартира богатая — все предстало в его сознании как мир недобрый, враждебный, он весь стиснулся, скрутился в злой, крепкий комок. Он мог бы — готов был — дать ногой в аккуратный живот мужчине.

— Не на тех нарвался ваш Игорь! — повторил Костя. В этот миг ему бросилась в глаза медная ступка с пестиком, что стояла на тумбочке в коридоре, он отметил, что она стоит тут, это придало Косте уверенности. Он даже несколько успокоился.

— Ну-ка, пройдемте сюда, — сказал мужчина. И повернулся и ушел в дверь направо из коридора.— Идите сюда! — сказал он уже из комнаты громко.

Костя повернулся к женщине и сказал:

— Идите, чтобы вы тоже знали... — и показал рукой на дверь, куда ушел мужчина.

Женщина (она была так растеряна, что покорно повиновалась) пошла в комнату.

Когда она зашагнула за порог двери, Костя прошел мимо тумбочки, неслышно вынул пестик из ступки и сунул во внутренний карман пиджака; пестик был небольшой, аккуратный, тяжеленький. Он оттянул полу пиджака, но надо специально приглядываться, чтобы это заметить.

— Ну-ка, по порядку,— велел мужчина, когда Костя вошел в большую красивую комнату с рыбками на подоконнике.— Не волнуйтесь, не... Толком расскажите, в чем дело? Кто вы такой?

— Человек,— сказал Костя, опускаясь в мягкое кресло. С пестиком он себя чувствовал уверенно, как с наганом.— Ваш Игорек... Я еще раз вам говорю: ваш Игорек стал отцом,

но хочет, как гад, ускользнуть в кусты. Я повторяю: у него этот номер не пройдет.

— Да кто вы такой-то?! — чуть не со слезами вскричала женщина; она поняла, что это правда: ее Игорек стал отцом, и она готова была зареветь от ужаса.

— Погоди,— остановил ее муж.— Ну-ка,— терпеливо, но уже и недобро стал он расспрашивать,— наш Игорь стал отцом... То есть, у него родился ребенок? Так?

— Так. Антон.

— А кто мать... Антона?

— Моя сестра.

— Боже мой! — воскликнула опять миловидная женщина. И уставилась на Костю с мольбой и отчаянием. Косте показалось даже, что она увидела оттянутую полу его пиджака и вот-вот взмолится, чтобы их не убивали.— Да какой же он отец?!

— А кто твоя сестра? — продолжал допрашивать мужчина; он заметно сердился. И чем больше он сердился, тем опять спокойнее становился Костя, спокойнее и ожесточенней.

— Тоже человек,— сказал он, глядя в глаза мужчине.

— Я тебя дело спрашиваю, сопляк! — взорвался мужчина.— Чего ты!.. Пришел, здесь, понимаешь!.. Чего ты ломаешься сидишь? Пришел — говори дело. Кто твоя сестра?

— Че-ло-век,— сказал Костя. Руки его ходуном ходили — охота было уже выхватить пестик, но он еще сдерживал себя.

— Молодой человек,— взмолилась мать,— да вы расскажите все, зачем же мы злимся-то? Расскажите спокойно.

— Я не знаю, почему ваш муж обзываться начал,— повернулся Костя к женщине.— За сопляка я еще... мы еще про это тоже поговорим. Моя сестра... ей двадцать лет, она работала... пока не забеременела... Теперь она туда, конечно, не пойдет. От позора. Работала на почте. Мы люди простые... Мы люди простые,— повторил с глубокой внутренней силой Костя, глядя на мужчину,— но Игорек ваш от нас не уйдет. Лично от меня не уйдет. Ясно?

— Ясно,— сказал мужчина. И встал.— Вот оттого, что ты, сопляк... я повторяю: сопляк, пришел и взял сразу такой тон, я с тобой говорить отказываюсь. Тоже ясно? Я буду говорить с твоей сестрой, с отцом, с матерью, а тебе приказываю — вон отсюда! — И показал рукой на дверь. Он был властный человек.

Костя встал... И вынул из кармана пестик. И сразу без слов пошел на мужчину. Вмиг лицо мужчины сделалось серым... Он попятился назад, к рыбкам... Нахмурился и смотрел, как зачарованный, на медный пестик в руке Кости. Женщина не сразу поняла, зачем Костя встал и пошел... Зачем вынул из кармана пестик, она это тоже как-то не поняла. Она поняла все, когда увидела лицо мужа... И закричала пронзительно, жутко. Костя оглянулся на нее... И тотчас полетел на пол от крепкого удара в челюсть. Мужчина прыгнул на него, заломил назад его правую руку и легко вырвал пестик.

— Вон ты какой!..— сказал он, поднимаясь.— Вставай! Садись сюда.

Костя поднялся, сплюнул сукровицей на ковер... Посмотрел на мужчину. Глаза Кости горели безумием и отвагой.

— Все равно убью,— сказал он.

Мужчина толкнул его в кресло. Костя упал в кресло, ударился затылком об стенку. Но продолжал смотреть на мужчину.

— Убью... из ружья. Подкараулю и убью,— повторил он.

Мужчина с пестиком в руке сел напротив, заговорил разумно и спокойно.

— Хорошо, убьешь. За что?

— За то, что породили такого бессовестного... такую тварь бессовестную. Кто так делает? — Косте хотелось заплакать и кинуться на разумного мужчину.— Кто так делает?! — закричал он.

— Что делает? Как делает?

— Как ваш сын...

— А сестра твоя как делает? — жестко и справедливо спросил мужчина.— Она же совершеннолетняя.

— Она дура!

— Что значит "дура"? Дуру не возьмут работать на почту.

— Она жизни не знает... Много надо, чтобы их обмануть! Нет,— постучал Костя худым кулаком по своей острой коленке,— пока они не распишутся и не будут жить нормально... до тех пор я вам жизни не дам. Сам погибну, но вам тоже не жить. Сам все сделаю, сам! Сам буду судить!.. За подлость.

Мужчина внимательно и тяжело смотрел на него. Долго молчал.

— Не пугай ты меня, не пугай,— сказал Костя на это тяжкое молчание.— Не испугаешь. Убить — можешь... Дай вон пестиком по голове и в багажнике вывези куда-нибудь...

— Господи, да что же это такое-то! — тихо, с ужасом воскликнула опять женщина.— Да о чем вы говорите?!

— Мне жизнь не такая дорогая, как вашему красавцу... Но ему не жить, если он не сделает по-человечески! — Костя опять с силой ударил кулаком по колену.— Не жить! Я жить не буду, отец убьет вас: он знает, куда я пошел...

— Кто твой отец? — спросил мужчина.

— Человек. Чего тебе все надо: кто? Кто? Человек, кто! Пуза у него, правда, нет вот такого... — Костя посмотрел на аккуратный арбуз мужчины, обтянутый синим спортивным свитером.

— Сейчас ты оставишь свой адрес и уйдешь,— сказал мужчина. Встал и подошел к столу — записать адрес.— Говори.

— Я не уйду отсюда, пока не дождусь вашего Игорька... Потом мы пойдем вместе, я его суну носом в пеленки — он будет знать, где теперь его дом и семья.

— Да какой он семьянин! — не то с изумлением, не то невольно со смехом, с горьким, правда, смехом сказала мать.— Он только первый курс закончил... Ему еще четыре года учиться.

— Будет работать и учиться,— заметил на это Костя.— Ничего страшного.

— Давай адрес! — опять стал злиться отец.— Я приду говорить с твоим отцом. А ты человеческих слов, я вижу, не понимаешь.

— Ваш подонок зато понимает человеческие слова... Красивые, наверное, слова! Я не двинусь отсюда, пока его не дождусь.

— Да нету его, нету! — тоже громко и сердито воскликнула мать, оскорбленная за "подонка".— Что же, милицию, что ли, вызвать?

— Вызывайте.

— Но нет его! Нету в городе — в деревне он.

— Врете.

— Говори адрес!..— заорал мужчина, багровея.

— Не ори,— посоветовал Костя.— А то живот лопнет...

Мужчина бросил ручку, бросил пестик, который еще держал в руке, быстро подошел к Косте, сгреб его за шиворот и повлек по коридору к входной двери. Но как ни крепок он был, мужчина, все же Костя был молодой и жилистый... Он сперва покорно пошел, повинуясь руке, а когда мужчина расслабился и уже без усилия вел Костю за шкирку, тот вдруг вывернулся, развернулся и со всей матушки-силы дал

ногой мужчине в живот. Тот так и сел к стене на корточки... Женщина закричала, вылетела из коридора в какую-то еще комнату к телефону, как понял Костя, потому что услышал, как схватили трубку и крутнулся диск. Костя вернулся в красивую комнату с рыбками, взял пестик и вышел опять в коридор.

— Не надо! — хоть с трудом, но громко сказал мужчина. Костя думал, что он ему говорит, но мужчина смотрел мимо него и еще раз крикнул: — Ольга, не надо!

Женщина появилась в коридоре. Тоже закричала:

— Но это же бандитизм. Почему не надо?! Это же бандитизм!..

— Не надо,— решительно сказал мужчина. Он поднялся, держась за стенку, постоял, пережидая боль в животе... Вздохнул и качнул головой. И скрипнул зубами. На Костю с пестиком не смотрел.

— Пойдем к отцу вместе,— сказал он после долгой паузы.— Дай одеться, Оля.

Костя жалел, что пнул мужчину — он сам не ждал, что так случится — зато теперь хоть дело стало походить на дело: с отцом-то им легче захомутать этих жеребцов — Игорька с его папашей. Впрочем, чувство враждебности к отцу Игорька у Кости поослабло — оставалось одно нетерпеливое желание: довести справедливое дело до конца.

Когда мужчина надел костюм и появился в коридоре, у него каким-то образом куда-то упряталось брюшко; стоял солидный мужчина, решительный, крупный, крепкий.

— Пошли, — сказал он Косте.— Пестик-то оставь.

Костя положил пестик на стул перед самым выходом из квартиры.

— Где ваш дом? — спросил мужчина, когда стояли у лифта, ждали кабину.

— На Советской.

— Как туда ехать?

— Да тут три квартала...

Лифт подъехал... Вошли в кабину, закрылись, мужчина нажал кнопку — мягко поехали вниз. Стояли близко друг к другу, так близко, что Косте было неловко смотреть в глаза мужчине. А тот смотрел на него. Но Костя тоже старался не утратить самостоятельности и решительного настроения. Единственное, о чем он пожалел в эту минуту,— что он не такой же крупный и солидный, как этот, который смотрит на него несколько сверху. Костя часто жалел, что он не крупный, не солидный.

— Сколько тебе лет? — спросил мужчина.

— Не в этом дело,— сказал Костя.

Тут лифт мягко остановился — точно сел на подушку — очень хороший лифт... Вышли, спустились несколько вниз по ступенькам и очутились на улице.

— А чего ты так ерепенишься-то? — спросил мужчина.

— А чего же мне на вас, молиться?

— Да не молиться, кто тебя заставляет молиться. Но так же тоже... умные-то люди не ведут себя.

— Ваш Игорек зато ведет себя... Комсомолец небось!

— Из всякого безвыходного положения всегда можно найти выход, запомни это.

— Что, деньги небось будете совать?

— Дурак,— сказал мужчина горько.— Психопат. И сестра твоя такая же?

— Что же вы умные... — Костя даже остановился от возмущения и от обиды.— Ишь, умные! — Костя сам теперь в упор смотрел на мужчину.— Умники...— Он стиснул зубы и клятвенно сказал: — Я вам раз и навсегда говорю: не сделаете по-человечески, я...

— Пошли,— коротко и тоже решительно сказал мужчина, повернулся и пошагал дальше.— От горшка два вершка, а сплошные угрозы. Сопляк.

Некоторое время шли молча.

— Что же это за семья будет, если мы их силой сведем? Вы об этом-то подумали? — спросил мужчина.

— А он думал?..

— Да что ты, как дятел,— "он, он"! А она?

— Она девка! А он — парень!

— Не ори... — Мужчина посмотрел по сторонам.— Чего ты орешь? Я вообще могу не ходить с тобой...

— Выломлю штакетину и погоню вперед... Если не пойдешь.— Вид у Кости был такой свирепый, что можно было не сомневаться — так и сделает: выломит штакетину и учинит на улице драку.

— Тьфу!.. Полудурок. Да неужели ты не можешь спокойно-то?!

— Не могу. Не могу-у! Я как только погляжу на твою спокойную... на твое лицо, так у меня в голове все мутится! как ты-то можешь спокойно? Человечек же на свет родился... маленький... а вы, как... Да вы что!

— Все, не ори больше. Иди молча.

Дальше до самого дома шли молча.

Дверь открыл отец... Костя легонько подтолкнул сзади мужчину, вошел сам в квартиру, закрыл дверь и сказал:

— Дедушку привел нашего Антона.

— Здравствуйте,— серьезно, с достоинством сказал мужчина, дедушка Антона.— Я — Свиридов, Павел Владимирович.

— Так,— сказал отец Кости.— А мы Худяковы.— И смотрел на Свиридова пристально, прямо, не мигая.

— Ну, приглашайте,— сказал Свиридов.— Показывайте внука.

Из кухни вышла мать Кости и смотрела на Свиридова изумленно и с интересом.

Вышла из комнатки, где теперь жил маленький Антон, мама его, Алевтина... И смотрела на крупного дядю с недоумением. Она не слышала слов брата, что тот привел "дедушку", поэтому не могла понять, почему так странно все стоят и молчат.

— Где же внук-то? — еще раз довольно бодро спросил Свиридов.

— Какой внук? — тихо спросила Алевтина.

— Мой внук...

— Это отец Игоря,— пояснил Костя.

— Какого Игоря?

— Твоего Игоря... Отца Антона.

— Во, псих-то,— сказала Алевтина. И ушла в комнатку.— Чего ты самодеятельность-то развиваешь? — сказала она из комнаты. И опять появилась на пороге.— Какой Игорь?

— Ты не темни!..— громко сказал Костя. Он растерялся, это было видно.

— Чего "не темни"?

— Он — отец Игоря,— уже не так уверенно сказал Костя,— а Игорь — отец Антона. Что ты?

— Да откуда ты взял? — спросила Алевтина.— Чего ты людей зря беспокоишь, дурак ты такой! Ну надо же!.. При чем тут Игорь-то?

— Погодите, погодите,— сказал Свиридов.— Давайте разберемся: вы были знакомы с моим сыном? С Игорем Свиридовым.

— Была знакома... Я знала его. Но дружил он не со мной, а с моей подругой, тоже на почте работала.

— Значит, это не его сын?

— Откуда?!

— А чей же он тогда сын?! — заорал Костя.

— Костя,— сказал отец.— Не ори. Ну, выяснили. Все, значит, в порядке... Извините, что зря побеспокоили.

— Да ну что!.. — сказал Свиридов по-доброму.— Дело разве...

— Да врет она!— опять закричал Костя.— Не хочет говорить: договорились с этим Игорем!

— Не ори, Костя! — тоже повысил голос отец.— Чего орать-то? Извините,— еще раз сказал он Свиридову.— Мы, конечно, переживаем тут, поэтому и...

— Нет,— обратился Свиридов к Алевтине,— может быть, правда, вы что-то скрываете? Может быть, Игорь...

— Да ни с какого боку! — сказала Алевтина. И даже засмеялась. И пошла в комнату.— Господи!..— сказала она там сама себе. Она, как стала матерью, сразу как-то поумнела, осмелела, часто баловалась со своим Антоном и смеялась.

— Ну, что же... — Свиридов повернулся к Косте.— Я могу быть свободен?

Костя, миновав его, молча прошел на кухню. И заорал оттуда что было силы:

— Все равно дознаюсь! Доз-на-а-ю-усь!

— До свидания,— вежливо сказал Свиридов.

Отец молча кивнул.

Свиридов ушел.

— Не я буду, дознаюсь! — еще раз крикнул Костя срывающимся голосом. Он плакал. Он устал за этот день... Очень устал и изнервничался.— Други игрищ и забав нашлись мне... Паразиты.

— Ладно, Костя,— мирно сказала мать.— Не переживай. На кой он черт нужен, такой отец... если и найдется! Что, сами, что ли, не прокормим? Прокормим.

— Никто так не делает,— возразил Костя, вытирая слезы.— Кто так делает!

— Ну, не делают!.. Сплошь и рядом. Садись поешь вон... а то бегаешь, как сыщик, с лица опал даже. Что ты-то переживаешь?

Костя присел к столу, склонился на руку и задумчиво смотрел в окно, во двор. Еще надо выходить вечером объясняться с этим... с усатым, думал он. Возьму нож и пойду — пусть сунутся.

— Не переживай, Костя,— сказала мать, ставя ему миску со щами.— Сами вырастим.

"Не нож, а гирьку какую-нибудь на ремешке,— решил Костя.— За нож самому попадет, а с гирькой... на гирьку они тоже не очень кинутся".

— Други игрищ и забав,— еще сказал он. Он где-то услышал эти слова, они ему понравились: в его сознании все косматые выстраивались под этой фразой, как под транспарантом,— в колонну, не в колонну даже, а в кучу, довольно нахальную и бессовестную.

"Нет, не гирьку, а — нож,— вернулся он к первому варианту.— Все страшней будет. На нож не полезут". Был у него такой складной охотничий нож, довольно внушительный и ловкий в руке — не сунутся. На том он и порешил и придвинул к себе тарелку со щами.

МУЖИК ДЕРЯБИН

Мужику Дерябину Афанасию — за шестьдесят, но он еще сам покрыл оцинкованной жестью дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке. Ловкий, жилистый мужичок, проворный и себе на уме. Раньше других в селе смекнул, что детей надо учить, всех (у него их трое — два сына и дочь) довел до десятилетки, все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует, иногда, в страдную пору, поможет, правда, по ремонту в РТС.

Раз как-то сидели они со стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились: почему их переулок называется Николашкин. А переулок тот небольшой, от оврага, где село кончается, боком выходит на главную улицу, на Колхозную. И крайний дом у оврага как раз дерябинский. И вот разговорились... Да особо много-то и не говорили.

— А ты рази не знаешь? — удивился старик Ванин.— Да поп-то жил, отец Николай-то. Ведь его дом-то вон он стоял, за твоим огородом. Его... когда отца Николая-то сослали, дом-то разобрали да в МТС перевезли. Контора-то в МТС — это ж...

— А-а, ну, ну... верно же! — вспомнил и Дерябин.— Дом-то, правда, без меня ломали — я на курсах был...

— Ну, вот и Николашкин?

— А я думаю: пошто Николашкин?

— Николашка... Его так-то — отец Николай, а народишко, он ить какой — все пересобачит: Николашка и Николашка. Так и переулок пошел Николашкин.

Дерябин задумался. Подумал и сказал непонятно и значительно:

— Люди из городов на конвертах пишут: "Переулок Николашкин", а Николашка — всего-навсего поп.— И посмотрел на старика Ванина.

— Какая разница,— сказал тот.

— Большая разница.— Дерябин опять задумался и прищурил глаза. Все он знал — и почему переулок Николашкин, и что Николашка — поп, знал. Только хитрил: он что-то задумал.

Задумал же он вот что. Вечером, поздно, сел в горнице к столу, надел очки, взял ручку и стал писать:

"Красно-Холмскому райисполкому.

Довожу до вашего сведения факт, который мы все проморгали. Был у нас поп Николай (по-старому отец Николай), в народе его звали Николашка, как никакого авторитета не имел, но дом его стоял в этом переулке. Когда попа изъяли как элемента, переулок забыли переименовать, и наш переулок в настоящее время называется в честь попа. Я имею в виду — Николашкин, как раньше. Наш сельсовет на это дело смотрит сквозь пальцы, но жителям нам — стыдно, а особенно у кого дети с высшим образованием и вынуждены писать на конвертах "переулок Николашкин". Этот Николашка давно уж, наверно, сгнил где-нибудь, а переулок, видите ли,— Николашкин. С какой стати! Нас в этом переулке 8 дворов, и всем нам очень стыдно. Диву даешься, что мы 50 лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулок? Да из тех же восьми дворов, я уверен, найдутся такие, в честь которых не стыдно будет назвать переулок. Он, переулок-то, маленький! А есть ветераны труда, которые вносили пожизненно вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации.

Активист".

Дерябин переписал написанное, остался доволен, даже подивился, как у него все складно и убедительно вышло. Он отложил это. И принялся писать другое:

"В Красно-Холмский райисполком.

Мы, пионеры, которые проживаем в переулке Николашкином, с возмущением узнали, что Николашкин был поп. Вот тебе раз! — сказали мы между собой. Мы, с одной

стороны, изучаем, что попы приносили вред трудящимся, а с другой стороны — мы вынуждены жить в переулке Николашкином. Нам всем очень стыдно — мы же носим красные галстуки! Неужели в этом же переулке нет никаких заслуженных людей? Взять того же дядю Афанасия Дерябина: он ветеран труда, занимался коллективизацией и много лет был бригадиром тракторной бригады. Его дом крайний, с него начинается весь переулок. Мы, пионеры, предлагаем переиначить наш переулок, назвать — Дерябинский. Мы хочем брать пример с дяди Дерябина, как он трудился, нам полезно жить в Дерябинском переулке, так как это нас настраивает на будущее, а не назад. Прислушайтесь к нашему мнению, дяди!"

Дерябин перечитал и этот документ — все правильно. Он представил себе, как дети его узнают однажды, что отцу теперь надо писать на конверте не "переулок Николашкин", а так: "переулок Дерябинский, Дерябину Афанасию Ильичу". Это им будет приятно.

На другой день Дерябин зазвал к себе трех соседских парнишек, рассказал, кто такой был Николашка.

— Выходит, что вы живете в поповском переулке,— сказал он напоследок.— Я вам советую вот чего... Кто по чистописанию хорошо идет?

Один выискался.

— Перепиши вот это своей рукой, а в конце все распишитесь. А я вам за это три скворешни сострою с крылечками.

Ребятишки так и сделали: один переписал своей рукой документ, все трое подписались под ним.

Дерябин заклеил письма в два конверта, один подписал сам, другой — конопатый мастер чистописания.

Оба письма Дерябин отнес на почту и опустил в ящик.

Прошло с неделю, наверно...

В полдень как-то к дому Дерябина подъехал на мотоцикле председатель сельсовета Семенов Григорий, молодой парень.

— Хотел всех созвать, да никого дома нету. Нам тут из района предлагают переименовать ваш переулок... Он, оказывается, в честь попа. Хотел вот с вами посоветоваться: как нам его назвать-то?

— А чего они там советуют?— спросил Дерябин в плохом предчувствии.— Как предлагают?

— Да никак — подумайте, мол, сами. Как нам его лучше?.. Может, Овражный?

— Еще чего! — возмутился Дерябин. Он погрустнел и обозлился: — Лучше уж Кривой...

— Кривой? А что?.. Он, правда что, кривой. Так и назовем.

Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил с "Кривым"-то, что надо — в честь кого-нибудь... А председатель, который, разговаривая, так и не слез с мотоцикла, толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал... И председатель уехал.

— Сменили... шило на мыло,— зло и насмешливо сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать.— Вот дураки-то!.. Назло буду писать — "Николашкин".

И так и не написал детям, что его переулок теперь — Кривой, и они по-прежнему шлют письма, "переулок Николашкин, дом 1, Дерябину Афанасию Ильичу".

ПРИВЕТ СИВОМУ!

Эта история о том, как Михаил Александрович Егоров, кандидат наук, длинный, сосредоточенный очкарик, чуть не женился.

Была девушка... женщина, которая медленно, ласково называла его Мишель. Очкарика слегка коробило, что он Мишель, он был русский умный человек, поэтому вся эта... весь этот звякающий чужой набор — "Мишель", "Базиль", "Андж" — все это его смущало, стыдно было, но он решил, что он потом, позже, подправит свою подругу, она станет проще. Пока он терпел и "Мишеля", и многое другое. Ему было хорошо с подругой, легко. Ее звали Катя, но тоже, черт возьми, Кэт. Мишель познакомился с Кэт у одних малознакомых людей. Что-то такое там отмечалось, день рождения, что ли, была Кэт. Мишель чуть хватил лишнего, осмелел, как-то само собой получилось, что он проводил Кэт домой, вошел с ней вместе, и они весело хихикали и болтали до утра в ее маленькой милой квартирке. Мишеля приятно удивило, что она умная женщина, остроумная, смелая... Хотя опять же — эта нарочно замедленная речь, вялость, чрезмерная томность... Не то что это очень уж глупо, но зачем? Кандидат, грешным делом, подумал, что Кэт хочет ему понравиться, и даже в душе погордился собой. Хочет казаться очень современной, интересной... Дурочка, думал Мишель, шагая утром домой, в этом ли современность! Кандидат нес в груди крепкое чувство уверенности и свободы, редкое и дорогое

чувство. Жизнь его обрела вдруг важный новый смысл. "Я постепенно открою ей простую и вечную истину: интересно то, что естественно. Чего бы это ни стоило — открою!" — думал кандидат.

Дальше — больше: Мишель все ходил и ходил к Кэт, изредка начинал говорить, что не вся же литература — "Аэропорт"! Кэт тихо, медленно смеялась, они ласкались... Мишель погружался в некий зыбкий, медленный, беззаботный мир, и его уже меньше тревожило, что все время — музыка и музыка, беспрерывно, одинаково; что свет — где-то под ногами, что по-прежнему вялые жесты Кэт, медленные слова... Он их не слушал. Он решил, что, пожалуй, стоит маленько расслабиться. Все потом войдет в свои берега. Есть в природе весна, есть разливы... Мы потом славно все наладим: она неглупа, она поймет, что не вся литература — "Аэропорт", да даже дело не в том: пусть "Аэропорт", но пусть рядом будут реальные измерения вещей: например, прожит день, оглянулся — что-то сделано, такой сокровенный праздник души, не знать хоть иногда праздника — величайшая бедность. Конечно, конечно, думал Мишель, переливая в руках мягкие струи душистых волос Кэт, конечно, она знает в совершенстве искусство нежности, ласки, но мы прибавим к этому нечто трезвое, деловое. Мы обретем!

— Катя,— говорит Мишель,— что, если мы... у меня скоро отпуск, махнем-ка мы в Сибирь. На Алтай. Возьмем рюкзаки — и пешком. Там очень развита народная медицина, я бы хотел подсобрать материал...

— Найн,— нарочно сердила его Кэт чужими словами и смеялась.— Но-о, Мишель.

А смеялась она обворожительно, медленно, тихо, обещающе, зазывно... ну, черт знает как двусмысленно. Мишель бросался ее целовать, а Кэт слабо отбивалась и говорила:

— Ну, хватит, Мишель, хватит...

"А здоровый я мужчина!" — думал про себя Мишель. Ему было хорошо.

Так продолжалось с месяц.

И как-то Мишель пришел к ней опять вечером. Пришел... и оторопел: на диване, где он вчера еще вольно полулежал, весьма тоже вольно полулежал здоровый бугай в немыслимой рубашке, сытый, даже какой-то светлый от сытости.

— Здравствуйте,— сказал Мишель. Он постарался сказать спокойно, но сердце у него заболело. А дальше он и вовсе опешел: Кэт была в халатике, он сразу этого не заметил. Но

ведь это при нем она ходила в халатике, почему же еще при ком-то? Что это?

Бугай в цветастой рубашке сел на диване и несколько насмешливо, несколько снисходительно смотрел на длинного опрятного кандидата.

— Знакомьтесь,— спокойно, медленно сказала Кэт,— Серж, я тебе говорила...

Серж кивнул.

Мишель продолжал нелепо стоять: он не знал, как ему быть. Потом он сел.

В комнате было накурено, но не душно, а как-то сладкоприторно: звучала тихая музыка. Кандидат чувствовал себя очень скверно... Он встал и подошел к Сержу.

— Михаил Александрович,— представился он. И протянул руку. "Может, это ее родственник?" — подумал он.

Серж снисходительно подал свою руку. И кивнул снисходительно... Кандидату вовсе стало нехорошо: какой родственник! Родственники не смотрят так насмешливо, так снисходительно, это сидел наглый соперник. Кандидат опять сел.

— Кофе? — как ни в чем не бывало спросила Кэт; она была мила и спокойна.— Коньяк?

— Что вы предпочитаете? — тоже спокойно, медленно спросил бугай в тропической рубашке; как-то умели они так говорить — вяло, медленно у них получалось.

"Как в лучших домах Лондо́на",— пришло на ум кандидату, он то и дело где-нибудь слышал эту до омерзения глупую фразу, а теперь сам почему-то вспомнил. Он обозлился на себя за это. И за то еще обозлился, что растерялся. И за то еще, что не может никак обрести верный тон в этой ситуации. В таком идиотском положении он еще не бывал.

— Коньяк, пожалуй,— неожиданно тоже медленно сказал кандидат, но в его медленности явно зазвучала ирония; кандидат воспрянул духом: кажется, найден верный тон, единственно возможный.— А вы?

— Да, пожалуй,— медленно сказал бугай, не услышав чужой иронии. Кэт услышала иронию и внимательно посмотрела на Мишеля... непонятно усмехнулась.

— Серж, в холодильнике,— сказала она.

Серж встал и медленно пошел на кухню.

— В чем дело? — спросил кандидат, когда Серж вышел.

Сердце его так забилось, так горько и обидно стало, что голос его дрогнул, ирония исчезла.

— Что? — Кэт стряхнула пепел с сигареты "Кент" в пепельницу.— О чем ты?

— Кто это?

— Знакомый...

— Как знакомый?

— Близко.

— Но... Не понимаю! — загорячился кандидат.— Что значит "близко"?

Кэт медленно засмеялась... В эту минуту кандидату захотелось подойти и влепить ей пощечину. Вошел Серж с коньяком и еще с какой-то бутылкой.

— Я нашел там виски,— сказал он.— Я, пожалуй, займусь виски. У тебя есть содовая?

— Там же, внизу.

Серж поставил бутылки и опять медленно отбыл на кухню.

— В чем дело?— совсем зло спросил кандидат.— Кто это?

— Мой старый знакомый, я же сказала. Друг, если угодно. А что?

— Не понимаю...— Кандидат опять потерялся, и было очень больно.— У нас, кажется, были не те отношения...

— Тебе было плохо со мной?

— Но я считал, что... Не понимаю! Ничего не понимаю!

— Ты считал, что ты единственный и неповторимый?

— Значит, между нами все? — очень глупо спросил кандидат. И сам опять обозлился на свою глупость.

— Почему? — спросила Кэт.— Ты можешь приходить...

— По графику, что ли?

— Не надо хамить,— устало и медленно сказала Кэт.

"Не уйду! — решил кандидат.— Что будет, то и будь. Я вам покажу... Сан-Франциско!"

Вошел Серж с содовой. У него были покатые мощные плечи и обширная грудь.

— Вам коньяк или виски? — спросил он вежливо и снисходительно; он чувствовал себя в этой квартирке вполне хозяином.

"Чего же он-то не обижается, что еще вчера хозяином тут был я? — изумлялся кандидат.— Это ж надо так войти в роль... сверхсовременных людей. Или это уж скотство какое-то".

— Мне бы водки,— сказал кандидат; он с отчаяния пошел на рискованный шаг: решил выпить хорошенько и, может

быть, сказать этим "джентльменам" всю правду о них. Но он мало пил, совсем почти не пил, и скоро пьянел. Однако нарочно потребовал водки — в этом был некий вызов, и это его устраивало.— Есть в этом доме водка?

— Есть? — спросил Серж хозяйку. При этом не скрыл снисходительной усмешки.

— Нет,— кратко сказала Кэт.

— Ну, тогда виски,— сказал кандидат.— С содовой.— Он тоже пристроился играть "джентльмена", и Кэт, он видел, поняла это, а Серж не понимал пока, думал, что кандидат пыжится за ними и делает это плохо, поэтому он становился все более вежливым с Мишелем, все более ироничным и снисходительным.

— Как съездили? — спросила Кэт Сержа. Развернула цветную бумажку, взяла что-то в рот и стала жевать. И дальше она все время жевала, даже когда говорила. Жевала тоже медленно.— Интересно было?

— Было недурно.

— Кто был?

— Были Алка с Владиком, Радик... Еще двое, ты их не знаешь.

— Радик один был?

— Один. Было недурно. Погода несколько портила пейзаж...

— Почему Радик был один?

— Ты же знаешь Радика! Настроение — побыть одному. Вообще недурно было.— Говоря это, Серж налил в три хрустальные рюмки; себе и Кэт умело брызнул из сифона содовой, кандидату пододвинул сифон, чтобы тот сам разбавил себе, как найдет нужным. Кандидат принципиально не стал разбавлять.

Кэт чуть отпила и опять закурила. Серж выпил половину, закурил тоже и откинулся на спинку стула, и даже стул наклонил назад. Кандидат шарахнул всю рюмку и крякнул.

Кэт и Серж продолжали беседовать.

— Что делали? — спросила Кэт.

— Ну, сама знаешь... В пасмурную погоду дулись в преферанс. Кстати,— оживился Серж,— потом, знаешь, кто приехал? Сивый!

— Да?

— Подкатывает мотор, смотрим — вылезает Сивый. В пылище!.. Выволакивает из багажника ящик шампанского... "Закуска — ваша!" — орет.

— Сивый один был? — спросил кандидат.

На него удивленно посмотрели.

— Сивый был один,— сказал Серж, несколько озадаченный.

— Что это он? — удивился кандидат Мишель.— Сдурел, что ли, один ездит.

— Вы знаете Сивого? — заинтересовался Серж.

— Ну, мерин такой... сероватый, с рыжа́.

— Не надо хамить, Мишель,— медленно, без всякой, впрочем, тревоги сказала Кэт.

Серж пристально посмотрел на Мишеля.

— Еще, что ли, врежем? — спросил Мишель. И взял бутылку с виски, взял другую рюмку, побольше, набухал полную.— Ну, со знакомством? — подержал рюмку, ожидая, не присоединятся ли к нему... К нему не присоединились, Мишель выпил один.— Кхух!..— выдохнул он.— Обожаю виски. У вас "Кент"? Позвольте?..

Серж пододвинул ему пачку.

— Не фонтан сигареты, да? — сказал Мишель, неумело закуривая,— он не курил.

— У вас есть что-нибудь лучше? — спросил Серж.

— "Марлборо", дома оставил,— изо всех сил медленно и лениво сказал кандидат. Он тоже откинулся назад со стулом и стал рискованно покачиваться.— На электрооргане. Вышел уже и хватился: где же у меня "Марлборо"-то? Потом вспомнил: играл на электрооргане и там, наверно, оставил. Ну, думаю, у Кэт кто-нибудь будет, я стрельну. У вас есть электроорган? — спросил он Сержа.

— Нет, у меня есть балалайка.

— Фи-и... и вы на ней играете?

— Да, я на ней играю.

— И как на это смотрит Сивый?

— Сивый... Слушает и плачет.

— И Радик плачет? Что же вы такое играете, что они плачут?

— "Не шей ты мне, матушка, красный сарафан".

— Прекрасная мелодия... Чего же тут плакать? Хотя... понятно: кадры. Вообще, как сейчас обстоят дела с кадрами? По-моему, неплохо? Как Сивый на этот счет думает?

Кэт перестала жевать и с интересом смотрела на Мишеля.

Серж в упор разглядывал сухопарого кандидата... Не знал, как все это понимать.

Кандидат катастрофически пьянел. Злое мстительное чувство ослабло, ему стало весело, просто смешно.

— Ну-с, как Сивый думает о проблеме кадров? — опять спросил он Сержа.

— Сивый? — переспросил Серж. И в голосе его зазвучала угрожающая нотка.— Сивый думает, что за...

— Серж! — сказала Кэт.

— А призы Сивый берет? — продолжал расспрашивать кандидат.

— Берет. Хотите, я вам покажу парочку его призов?

— А когда же он думает? — не унимался кандидат.— Во время рысистых испытаний?

Серж требовательно посмотрел на Кэт: он больше не мог терпеть.

— Мишель, не надо хамить,— нормально, не лениво, сказала Кэт.

— А кто хамит? — удивился Мишель.— Мы просто беседуем. Скажите, пожалуйста, много было народу?

Серж молчал.

— Вы не заметили, Вороной был там или нет? Кстати, как Сивый чувствует себя в самолете? Не ржет от удовольствия? А то я с Вороным летал однажды, он как заржет!..

— Ну, хватит,— решительно сказал Серж. И встал.— Сейчас ты у меня заржешь... — И схватил кандидата короткой сильной рукой, и поволок к выходу.

— Серж, не очень там,— сказала Кэт.

Очки у кандидата слетели, хрустнули под ногами... Он хотел оглянуться на Кэт, но не успел — вылетел в коридор. За ним вышел Серж и ударил его в челюсть. Кандидат стукнулся головой об стенку, но — странно — не ощутил боли. Серж еще раз ударил его, на этот раз по зубам... И теперь больно не стало, только стало солоно во рту и тесно.

"Как же ты жесток!..— с омерзением подумал беспомощный человек, смутно видя перед собой того, кто бил.— Как ты гадок".

— Еще? — спросил Серж.

— Давай,— сказал кандидат.

Еще некоторое время смутно маячила перед ним квадратная туша Сержа; потом она исчезла... Послышались удаляющиеся шаги.

— Привет Сивому! — сказал кандидат.

Шаги остановились... С полминуты, наверное, лестница молчала в пустоте, потом открылась дверь и закрылась; щелкнул замок.

Кандидат достал платок, вытер окровавленный рот и стал ощупью спускаться вниз по лестнице. Странное у него было чувство: и горько было, и гадко, и в то же время он с облегчением думал, что теперь не надо сюда приходить. То, что оставалось там, за спиной,— ласки Кэт, сегодняшнее унижение — это как больница, было опасно, был бред, а теперь — скорей отсюда и не оглядываться.

"О-о! — подумал о себе кандидат Михаил Александрович.— Ну как, Мишель?"

ПРИЕЗЖИЙ

Против председателя сельсовета, боком к столу, утонув в новеньком, необъятном кресле (председатель сам очень удивился, когда к нему завезли эти мягкие, пахучие громадины — три штуки! "Прям как бабы хорошие!" — сказал он тогда), сидел не старый еще, седой мужчина в прекрасном светлом костюме, худощавый, чуть хмельной, весело отвечал на вопросы.

— Как это? — не мог понять председатель.— Просто — куда глаза глядят?

— Да. Взял подробную карту области, ткнул пальцем — Мякишево. М-м, Мякишево... Попробовал на вкус — ладно. Приезжаю, узнаю: речка — Мятла. О господи!..— еще вкуснее. Спрашивается, где же мне отдыхать, как не в Мякишеве, что на речке Мятле?

— Ну, а на юг, например? В санаторий...

— В санаториях — нездорово.

— Вот те раз!..

— Вы бывали?

— Бывал, мне нравится.

— А мне не нравится. Мне нравится, где не подстрижено, не заплевано... Словом, у вас возражений нет, если я отдохну в вашем селе? Паспорт у меня в порядке...

— Не нужен мне ваш паспорт. Отдыхайте на здоровье. Вы что, художник? — Председатель кивнул на этюдник.

— Так, для себя.

— Я понимаю, что не на базар. Для выставки?

Приезжий улыбнулся, и улыбка его вспыхнула ясным золотом вставных зубов.

— Для выставки — это уже не для себя.— Ему нравилось отвечать на вопросы. Наверно, он с удовольствием отвечал бы даже на самые глупые.

— Для чего же тогда рисовать?

— Для души. Вот я стою перед деревом, положим, рисую — и понимаю: это глупо. Меня это успокаивает, я отдыхаю. То есть я с удовольствием убеждаюсь, что дерево, которое я возымел желание перенести на картон, никогда не будет деревом...

— Но есть же — умеют.

— Никто не умеет.

"Здорово поддавши, но держится хорошо," — отметил председатель.

— М-да...

— Вы не подскажете, у кого бы я мог пока пожить? Пару недель, не больше.

Председатель подумал... Пока соображал, успел отметить прекрасный костюм художника, золотые зубы, седину его, умение держаться.

— Пожить-то? Если, допустим, у Синкиных? Дом большой, люди приветливые. Он у нас главным инженером работает в эртээсе... Дом-то как раз над рекой, там прямо с крыльца рисовать можно.

— Прекрасно!

— Только, знаете, он насчет этого — не любитель. Выпивает, конечно, по праздникам, а так... это... не любитель.

— Да что вы, бог с вами! — воскликнул приезжий.— Это я ведь так — с дороги... Не побрит вот еще... — Он потрогал щетину на подбородке.— А так я — ни-ни! Тоже по праздникам: первого января, Первое мая, Седьмое ноября, День шахтера, День железнодорожника...

— Ну, это само собой.

— Вы тоже в День железнодорожника?

Председатель засмеялся: ему нравился этот странный человек — наивный, простодушный и очень неглупый.

— У нас свой есть — День борозды. А вы что, железнодорожник?

— Да. Знаете, проектирую безмостовую систему железнодорожного сообщения.

— Как это — безмостовую?

— А так. Вот идет поезд — нормально, по рельсам. Впереди — река. А моста нет. Поезд идет полным ходом...

Председатель пошевелился в кресле.

— Ну?

— Что делает поезд? Он пла-авненько поднимается в воздух, перелетает,— приезжий показал рукой,— через реку, снова становится на рельсы и продолжает путь.

Председатель готов посмеяться вместе с приезжим, только ждет, чтоб тот пригласил.

— Представляете, какая экономия? — серьезно спрашивает приезжий.

— Это как же он, простите, перелетает? — Председатель все готов посмеяться и знает, что сейчас они посмеются.

— Воздушная подушка! Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара, вагоны делают то же самое — каждый под себя: паровоз подает им пар по тормозным шлангам... Весь состав пла-авненько перелетает реченьку...

Председатель засмеялся, приезжий тоже озарил свое продолговатое лицо ясной золотой улыбкой.

— Представляете?

— Представляю. Этак мы через месяц-другой плавненько будем в коммунизме.

— Давно бы уж там были! — смеется приезжий.— Но наши бюрократы не утверждают проект.

— Действительно, бюрократы. Проект-то простой. Вы как насчет рыбалки? Не любитель?

— При случае могу посидеть...

— Ну вот, с Синкиным сразу общий язык найдете. Того медом не корми — дай посидеть с удочкой.

Приезжий скоро нашел большой дом Синкина, постучал в ворота.

— Да! — откликнулись со двора.— Входите!..— В голосе женщины (откликнулась женщина) чувствовалось удивление — видно, здесь не принято было стучать.

Приезжий оторопел... Голос показался ему знакомым. Он вошел... Прямо перед ним на крыльце с тазом в руках стояла женщина... Лет, наверно, пятидесяти, красивая в прошлом, ныне полная — очень. Она тоже оторопела.

— Игорь... — сказала она тихо, с ужасом.

— Вот это да! — тоже тихо сказал приезжий.— Как в кино...— Он пытался улыбаться.

— Ты что?.. Как ты нашел?

— Я не искал.

— Но как же ты нашел? Как ты попал сюда?

— Случайность...

— Игорь, господи!..

Женщина говорила негромко. И смотрела, смотрела — не отрываясь смотрела на мужчину. Тот тоже смотрел на нее, но на лице у него не было и следа насмешливого, иронического выражения.

— Я знала, что ты вернулся... Инга писала...

— Ольга жива? — Чувствовалось, что этот вопрос дался мужчине нелегко. Он — или боялся худого ответа, или так изождался этого момента и так хотел знать хоть что-нибудь — он побледнел. И женщина, заметив это, поспешила:

— Ольга — хорошо, хорошо!.. Она в аспирантуре. Но, Игорь, она ничего не знает, для нее отец — Синкин... Я ей ничего...

— Понимаю. Синкин дома?

— Нет, но с минуты на минуту может прийти на обед... Игорь!..

— Я уйду, уйду. Ольга красивая?

— Ольга?.. Да. У меня еще двое детей. Ольга здесь... на каникулах. Но, Игорь... нужно ли встречаться?

Мужчина прислонился к воротному столбу. Молчал. Женщина ждала. Долго молчали.

— Валя...— Голос мужчины дрогнул.— Я только посмотрю. Я ничем себя не выдам. Клянусь тебе, клянусь чем хочешь...

— Не в этом дело, Игорь...

— Я был у вашего председателя, он меня направил сюда... к Синкину. Я так и скажу. Потом скажу, что мне не понравилось здесь. Умоляю... Я только посмотрю!

— Не знаю, Игорь... Она скоро придет. Она на реке. Но, Игорь...

— Клянусь тебе!

— Поздно все возвращать.

— Я не собираюсь возвращать. У меня тоже семья...

— Инга писала, что нету.

— Господи, прошло столько!.. У меня теперь все есть.

— Есть дети?

— Нет, детей нету. Валя, ты же знаешь, я смогу выдержать — я ничего не скажу ей. Я ничего не испорчу. Но ты должна понять, я не могу... не посмотреть хотя бы. Иначе я просто объявлюсь — скажу ей.— Голос мужчины окреп, он — из беспомощной позы своей (прислоненной к столбу) — вдруг посмотрел зло и решительно.— Неужели ты этого хочешь?

— Хорошо,— сказала женщина.— Хорошо. Я тебе верю. Я тебе всегда верила. Когда ты вернулся?

— В пятьдесят четвертом. Валя, я выдержу эту комедию. Дай, если есть в доме, стакан водки.

— Ты пьешь?

— Нет... Но сил может не хватить. Нет, ты не бойся! — испугался он сам.— Просто — так легче. Сил хватит, надо только поддержать. Господи, я счастлив!

— Заходи в дом.

Вошли в дом.

— А где же дети?

— В пионерлагере. Они уже в шестом классе. Близнецы, мальчик и девочка.

— Близнецы? Славно.

— У тебя действительно есть семья?

— Нет. То есть была...— не получилось.

— Ты работаешь на старом месте?

— Нет, я теперь фотограф.

— Фотограф?!

— Художник-фотограф. Не так плохо, как может показаться. Впрочем, не знаю. Не надо об этом. Ты хорошо живешь?

Женщина так посмотрела на мужчину — словно ей неловко было сказать, что она живет хорошо, словно ей надо извиняться за это.

— Хорошо, Игорь. Он очень хороший...

— Ну и слава богу! Я рад.

— Мне сказали тогда...

— Не надо!..— велел мужчина.— Неужели ты можешь подумать, что я стану тебя упрекать или обвинять? Не надо об этом. Я рад за тебя, правду говорю.

— Он очень хороший, увидишь. Он к Ольге...

— Я рад за тебя!!

— Ты пьешь, Игорь,— утвердительно, с сожалением сказала женщина.

— Иногда. Ольга по какой специальности?

— Филолог. Она, по-моему... не знаю, конечно, но, по-моему, она очень талантлива. Очень!

— Я рад,— еще сказал мужчина. Но вяло как-то сказал. Он как-то устал вдруг.

— Соберись, Игорь.

— Все будет в порядке. Не бойся.

— Может быть, ты пока побреешься? У тебя есть чем?

— Есть, конечно! — Мужчина вроде опять повеселел.— Это ты верно. Розетка есть?

— Вот.

Мужчина раскрыл чемодан, наладил электробритву и только сел бриться — пришел Синкин. Упитанный, радушный, очень подвижный, несколько шумный.

Представились друг другу. Приезжий объяснил, что он зашел к председателю сельсовета, и тот...

— И правильно сделал, что послал ко мне! — громко похвалил Синкин.— Вы не рыбак?

— При случае и при хорошем клеве.

— Случай я вам обеспечу. Хороший клев — не знаю. Мало рыбешки стало, мало. На больших реках — там на загрязнения жалуются, у нас плотины все перепутали...

— У вас — плотины? Откуда?

— Да не у нас — внизу. Но образовались же целые моря!.. И она, милая, подалась от нас на новые, так сказать, земли. Залиты же тысячи гектаров, там ей корма на десять лет невпроворот.

— Тоже проблема: почему рыба из малых рек уходит в новые большие водоемы?

— Проблема! А как вы думаете?.. Еще какая! У нас тут были целые рыболовецкие артели — крышка. Распускать! А у людей — образ жизни сложился, профессия.

— Назовите это: рыба уходит на новостройки — и дело с концом.

Мужчины посмеялись.

— Мама, что-нибудь насчет обеда слышно?

— Обед готов. Садитесь.

— Вы здесь хорошо отдохнете, не пожалеете,— говорил Синкин, усаживаясь за стол и приветливо глядя на гостя.— Я сам не очень уважаю всякие курорты, приходится — из-за супруги вон.

— Из-за детей,— уточнила супруга.

— Из-за детей, да. Мама, у нас есть чего-нибудь выпить?

— Тебе не нужно больше идти?

— Нужно, но — ехать.. И далеко. Пока доеду, из меня вся эта, так сказать, дурь и выйдет. Давай! Не возражаете?

— Нет.

— Давай, мать! Нет, отдохнете здесь славно, ручаюсь. У нас хорошо.

— Не ручайся, Коля, человеку может не понравиться.

— Понравится!

— Вы здешний? — спросил приезжий хозяина.

— Здешний. Не из этого села, правда, но здесь — из этих краев. А где Ольга?

— На реке.

— Что же она — к обеду-то?

— А то ты не знаешь Ольгу! Набрала с собой кучу книг... Да придет, куда она денется.

— Старшая,— пояснил хозяин.— Грызет гранит наук. Уважаю теперешнюю молодежь, честное слово. Ваше здоровье!

— Спасибо.

— Мы ведь как учились?.. Кхах! Мамочка, у тебя где-то груздочки были...

— Ты же не любишь в маринаде!

— Я — нет, а вот Игорь Александрович попробует. Местного, так сказать, производства. Попробуйте. Головой понимаю, что это, должно быть, вкусно, а — что сделаешь? — не принимает душа маринад. В деревне вырос — давай все соленое. Подай, мама.

— Так что там — про молодежь?

— Молодежь? Да вот — ругают их: такие-сякие, нехорошие, а мне они нравятся, честное слово. Знают много. Ведь мы как учились?.. У вас высшее?

— Высшее.

— Ну, примерно в те же годы учились — знаете, как это было: тоже — давай! давай! Двигатель внутреннего сгорания?

— изучай быстрей и не прыгай больше. Пока хватит — некогда. Теперешние — это совсем другое. Я чувствую: старшей со мной уже скучно. Я, например, не знаю, что такое импрессионизм, и она, чувствую, смотрит сквозь меня...

— Выдумываешь, Николай,— встряла женщина.— У тебя — одно, у ней — другое. Заговори с ней о своих комбайнах, ей тоже скучно станет.

— Да нет, она-то как раз... Она вот тут на днях мне хорошую лекцию закатила. Просто хорошую! Про нашего брата, инженерию... Вы знаете такого — Гарина-Михайловского? Слышали?

— Слышал.

— Вот, а я, на беду свою, не слышал. Ну и влетело. Он что, действительно, и мосты строил, и книги писал?

— Да вы небось читали, забыли только...

— Нет, она называла его книги — не читал. Вы художник?

— Что-то вроде этого. Сюда, правда, приехал пописать. Тире — отдохнуть. Мне у вас очень понравилось.

— У нас хорошо!

— У нас тоже хорошо, но у вас еще лучше.

— Вы откуда?

— Из...— Гость назвал соседний городок.

— Я там, кстати, учился.

— Нет, у вас просто хорошо! У нас тоже ничего, но у вас просто здорово!

Женщина с тревогой посмотрела на гостя. Но тот как будто даже протрезвел. И на лице у него опять появилось ироническое выражение, и улыбка все чаще вспыхивала на лице — добрая, ясная.

— У нас, главное — воздух. Мы же — пятьсот двадцать над уровнем моря,— рассказывал хозяин.

— Нет, мы значительно ниже. Хотя у нас тоже неплохо. Но у вас!.. У вас очень хорошо!

— Причем учтите: здесь преобладают юго-восточные ветры, а там — никаких промышленных предприятий.

— Да нет, что там говорить! Я, правда, предпочитаю северо-восточные ветры, но юго-восточные — это великолепно. И там никаких промышленных предприятий?

— А откуда? Там же эти...

— Нет, это великолепно! А как у вас с текущим ремонтом?

Хозяин засмеялся.

— Во-он вы куда!.. Нет, тут сложней. Могу только сказать: юго-восточные ветры на текущий ремонт влияния не оказывают. К сожалению.

— А вал? Собственно говоря, как с валом?

— Вал помаленьку проворачиваем... Скрипим тоже.

— Вот это плохо!

— Я вам так скажу, дорогой товарищ, если вы этим интересуетесь...

— Коля, за тобой заедут? А то будут ждать...

— Козлов заедет. Если уж вы этим заинтересовались...

— Коля, ну кому это интересно — текущий ремонт, вал?

— Но товарищ же спрашивает!

— Товарищ... просто поддерживает беседу, а ты на полном серьезе взялся... Не будет же он с тобой об импрессионистах говорить, раз ты ничего в этом не понимаешь.

— Не на одних импрессионистах мир держится.

— Не переваривaю импрессионистов,— заметил гость.— Крикливый народ. Нет, вал меня действительно очень интересует.

— Так вот, если вам это...

— Ольга идет.

Гость, если бы за ним в это время наблюдать, заволновался. Привстал было, чтобы посмотреть в окно, сел, взял вилку, повертел в руках... положил. Закурил. Взял было рюмку, посмотрел на нее, поставил на место. Уставился на дверь.

Вошла рослая, крепкая юная женщина. Она, как видно, искупалась, и к ее влажному еще телу местами прилипло легкое ситцевое платье — и это подчеркивало, сколь сильно, крепко, здорово это тело.

— Здравствуйте! — громко сказала женщина.

— Оля, у нас гость — художник,— поспешила представить мать.— Приехал поработать, отдохнуть... Игорь Александрович...

Игорь Александрович поднялся, серьезно, пристально глядя на молодую женщину, пошел знакомиться.

— Игорь Александрович.

— Ольга Николаевна.

— Игоревна,— поправил гость.

— Игорь!.. Игорь Александрович! — воскликнула хозяйка.

— Я не поняла,— сказала Ольга.

— Твое отчество — Игоревна. Я твой отец. Я попал в заключение... Тебе тогда было... полтора года.

Ольга широко открытыми глазами смотрела на гостя... отца?

С этой минуты в большом, уютном доме Синкиных на какое-то время хозяином сделался гость. У него явилась откуда-то твердость, трезвость. И он совсем не походил на того беспечного, ироничного, веселого, каким только что был.

Долго все молчали.

— Игорь...— прерывающимся голосом, отчаянно заговорила хозяйка,— ты нашел! Ты сказал — это случайность... Нет, ты нашел! Это жестоко.

— Нашел, да. Я искал много лет. Случайность с домом... Синкина.

— Но это жестоко, Игорь, жестоко!..

— Неужели не жестоко — при живом отце... даже не позволить знать о нем. Вы считаете, это было правильно? — повернулся Игорь Александрович к Синкину.

Тот почему-то почувствовал себя оскорбленным.

— Нет, в плену я не был. При мне — все мои документы, партийный билет и все ордена. Предателям этого не возвращают. Но речь о другом... Ольга, прав я или неправ, что нашел тебя?

Ольга все еще не пришла в себя... Она села на стул. И во все глаза смотрела на родного отца.

— Я ничего не понимаю...

— Ты клялся, Игорь!..— стонала хозяйка.— Как это жестоко!

— Ольга...— Игорь Александрович смотрел на дочь — требовательно. И вместе — умоляюще.— Я ничего не прошу, не требую... Я хочу знать: прав я или нет? Я не мог жить иначе. Я помню тебя маленькой, и этот образ преследовал меня... Мучил. Я слаб здоровьем. Я не мог умереть, не увидев тебя... такой.

— Ольга, он пьет! — воскликнула вдруг хозяйка.— Он — пьющий! Он опустившийся...

— Прекрати! — Синкин с силой ударил кулаком в стол.— Прекрати так говорить!

Хозяйка заплакала.

— Вы хотите, чтоб я сказала свое слово? — поднялась Ольга.

Все повернулись к ней.

— Уходите отсюда. Совсем.— Она смотрела на отца.

Судя по тому, как удивлены были мать и отчим, они ее такой еще не видели. Не знали.

Игорь Александрович сник, плечи опустились... Он вдруг постарел на глазах.

— Оля...

— Немедленно.

— Боже мой! — только и сказал гость. И еще раз, тихо: — Боже мой! — Подошел к столу, дрожащей рукой взял рюмку водки, выпил. Взял свой чемодан, этюдник... Все это он проделал в полной тишине. Слышно было, как ветка березы чуть касалась верхнего стекла окна — трогала.

Гость остановился на пороге.

— Почему же так, Оля?

— Тебе все объяснили, Игорь! — жестко сказала хозяйка. Она перестала плакать.

— Почему так, Оля?

— Так надо. Уезжайте из села. Совсем.

— Подождите, нельзя же так... — начал было Синкин, но Ольга оборвала и его:

— Папа, помолчи.

— Но зачем же гнать человека?!

— Помолчи! Я прошу.

Игорь Александрович вышел... Вслепую толкнул ворота... Оказалось — надо на себя. Он взял в одну руку чемодан и этюдник, открыл ворота. Этюдник выпал из-под руки, посыпались кисти, тюбики с краской. Игорь Александрович подобрал, что не откатилось далеко, кое-как затолкал в ящик, закрыл его. И пошел по улице — в сторону автобусной остановки.

Погода стояла редкостная — ясно, тепло, тихо. Из-за плетней смотрели круглолицые подсолнухи, в горячей пыли дороги купались воробьи — никого вокруг, ни одного человека.

— Как тихо! — сказал сам себе Игорь Александрович.— Поразительно тихо.— Он где-то научился говорить сам с собой.— Если бы однажды так вот — в такой тишине — перешагнуть незаметно эту проклятую черту... И оставить бы здесь все боли и все желания, и шагать, и шагать по горячей

дороге, шагать и шагать — бесконечно. Может, мы так и делаем? Возможно, что я где-то когда-то уже перешагнул в тишине эту черту — не заметил — и теперь вовсе не я, а моя душа вышагивает по дороге на двух ногах. И болит. Но почему же тогда болит? Пожалуйся, пожалуйся... Старый осел! Я шагаю, я — собственной персоной. Несу чемодан и этюдник. Глупо! Господи, как глупо и больно!

Он не замечал, что торопится. Как будто и в самом деле скорей хотел где-то на дороге, за невидимой чертой, оставить едкую боль, которая железными коготками рвала сердце. Он торопился в чайную, что на краю села, у автобусной остановки. Он знал, что донесет туда свою боль и там слегка оглушит ее стаканом водки. Он старался ни о чем не думать — о дочери. Красивая, да. С характером. Замечательно. Замечательно... Он в такт своим шагам стал приговаривать:

— За-ме-ча-тель-но! За-ме-ча-тель-но! За-ме-ча-тель-но!

Мысли, мысли — вот что мучает человека. Если бы — получил боль — и в лес: травку искать, травку, травку — от боли.

На автобусной станции, возле чайной, его ждала дочь, Ольга. Она знала путь короче — опередила. Она взяла его за руку, отвела в сторону — от людей.

— Хотел выпить?

— Да.— Сердце у Игоря Александровича сдавливало.

— Не надо, папа. Я всегда знала, что ты есть — живой. Никто мне об этом не говорил... я сама знала. Давно знала. Не знаю, почему я так знала...

— Почему ты меня прогнала?

— Ты мне показался жалким. Стал говорить, что у тебя документы, ордена...

— Но они могут подумать...

— Я, я не могла подумать! — с силой сказала Ольга.— Я всю жизнь знала тебя, видела тебя во сне — ты был сильный, красивый...

— Нет, Оля, я не сильный. А вот ты красива — я рад. Я буду тобой гордиться.

— Где ты живешь?

— Там же, где жила... твоя мать. И ты. Я рад. Ольга! — Игорь Александрович закусил нижнюю губу и сильно потер пальцем переносицу — чтоб не заплакать. И заплакал.

— Я пришла сказать тебе, что теперь я буду с тобой, папа. Не надо плакать, перестань. Я не хотела, чтоб ты так унижался... Ты пойми меня.

— Я понимаю, понимаю,— кивал головой Игорь Александрович.— Понимаю, дочь...

— Ты одинок, папа. Теперь ты не будешь одиноким.

— Ты сильная, Ольга. Вот ты — сильная. И красивая... Как хорошо, что так случилось... что ты пришла. Спасибо.

— Потом, когда ты уедешь, я, наверно, пойму, что я — рада. Сейчас я только понимаю, что я тебе нужна. Но в груди — пусто. Ты хочешь выпить?

— Если тебе это неприятно, я не стану.

— Выпей. Выпей — и уезжай. Я приеду к тебе. Пойдем, выпей...

Через десять минут синий автобус, подсадив у остановки "Мякишево" пассажиров, катил по хорошему проселку в сторону райцентра, где железнодорожная станция.

У открытого окна, пристроив у ног чемодан и этюдник, сидел седой человек в светлом костюме. Он плакал. А чтобы этого никто не видел, он высунул голову в окно и незаметно — краем рукава — вытирал слезы.

ЧУЖИЕ

Попалась мне на глаза книжка, в ней рассказывается о царе Николае Втором и его родственниках.

Книжка довольно сердитая, но, по-моему, справедливая. Вот что я сделаю: я сделаю из нее довольно большую выписку, а потом объясню, зачем мне это нужно. Речь идет о дяде царя, великом князе Алексее.

"Алексей с детства был назначен отцом своим, императором Александром Вторым, к службе по флоту и записан в морское училище. Но в классы он не ходил, а путался по разным театрикам и трактирчикам, в веселой компании французских актрис и танцовщиц. Одна из них, по фамилии Мокур, совсем его замотала.

— Не посоветуешь ли ты,— спрашивал Александр Второй военного министра Милютина,— как заставить Алексея, чтобы посещал уроки в училище?

Милютин отвечал:

— Единственное средство, Ваше Величество: назначьте учителем госпожу Мокур. Тогда великого князя из училища и не вызвать.

Такого-то ученого моряка император Александр Третий, родной брат его, не побоялся назначить генерал-адмиралом — главою и хозяином русского флота.

Постройка броненосцев и портов — золотое дно для всякого нечестного человека, охочего погреть руки около народного имущества. Генерал-адмирал Алексей, вечно нуждаясь в деньгах на игру и женщин, двадцать лет преобразовывал русский флот. Бессовестно грабил казну сам. Не меньше грабили его любовницы и сводники, поставляющие ему любовниц.

Сам Алексей ничего не смыслил в морском деле и совершенно не занимался своим ведомством. Пример его как начальника шел по флоту сверху вниз. Воровство и невежество офицеров росли с каждым годом, оставаясь совершенно безнаказанными. Жизнь матросов сделалась невыносимою. Начальство обкрадывало их во всем: в пайке, в чарке, обмундировке. А чтобы матросы не вздумали против поголовного грабежа бунтовать, офицерство запугивало их жестокими наказаниями и грубым обращением. И продолжалось это безобразие ни много, ни мало — двадцать лет с лишком.

Ни один подряд по морскому ведомству не проходил без того, чтобы Алексей с бабами своими не отщипнул (я бы тут сказал — не хапнул.— *В. Ш.*) половину, а то и больше. Когда вспыхнула японская война, русское правительство думало прикупить несколько броненосцев у республики Чили. Чилийские броненосцы пришли в Европу и стали у итальянского города Генуи. Здесь их осмотрели русские моряки. Такие броненосцы нашему флоту и не снились. Запросили за них чилийцы дешево: почти свою цену. И что же? Из-за дешевизны и разошлось дело. Русский уполномоченный, Солдатенков, откровенно объяснил:

— Вы должны просить, по крайней мере, втрое дороже. Потому что иначе нам не из-за чего хлопотать. Шестьсот тысяч с продажной цены каждого броненосца получит великий князь. Четыреста тысяч надо отдать госпоже Балетта. А что же останется на нашу-то долю — чинам морского министерства?

Чилийцы, возмущенные наглостью русских взяточников, заявили, что их правительство отказывается вести перегово

ры с посредниками, заведомо недобросовестными. Японцы же, как только русская сделка расстроилась, немедленно купили чилийские броненосцы. Потом эти самые броненосцы топили наши корабли при Цусиме.

Госпожа Балетта, для которой Солдатенков требовал с чилийцев четыреста тысяч рублей,— последняя любовница Алексея, французская актриса. Не дав крупной взятки госпоже Балетта, ни один предприниматель или подрядчик не мог надеяться, что великий князь даже хоть примет его и выслушает.

Один француз изобрел необыкновенную морскую торпеду. Она поднимает могучий водяной смерч и топит им суда. Француз предложил свое изобретение русскому правительству. Его вызвали в Петербург. Но здесь — только за то, чтобы произвести опыт в присутствии Алексея,— с него спросили для госпожи Балетта двадцать пять тысяч рублей. Француз не имел таких денег и поехал восвояси, несолоно хлебав. В Париж явился к нему японский чиновник и купил его изобретение за большие деньги.

— Видите ли,— сказал японец,— несколькими месяцами раньше мы заплатили бы вам гораздо дороже, но теперь у нас изобретена своя торпеда, сильнее вашей.

— Тогда зачем же вы покупаете мою?

— Просто затем, чтобы ее не было у русских.

Как знать, не подобная ли торпеда опрокинула "Петропавловск" и утопила экипаж его вместе с Макаровым — единственным русским адмиралом, который походил на моряка и сколько-нибудь смыслил в своем деле?

В последние десять лет жизни Алексеем вертела, как пешкою, Балетта. Раньше генерал-адмиральшею была Зинаида Дмитриевна, герцогиня Лейхтенбергская, урожденная Скобелева (сестра знаменитого "белого генерала"). К этой чины морского ведомства ходили с прямыми докладами, помимо Алексея. А он беспечно подписывал все, чего его красавица хотела.

Красным дням генерал-адмирала Алексея положила конец японская война. У японцев на Тихом океане оказались быстроходные крейсера и броненосцы, а у нас — старые калоши. Как хорошо генерал-адмирал отучал свой флот, вот свидетельство: "Цесаревич" *впервые* стрелял из орудий своих в том самом бою, в котором японцы издырявили его в решето.

Офицеры не умели командовать. Суда не имели морских карт. Пушки не стреляли. То и дело топили своих, либо нарывались на собственные мины. Тихоокеанская эскадра засела в Порт-Артуре, как рак на мели. Послали на выручку балтийскую эскадру адмирала Рождественского. Тот, когда дело дошло до собственной шкуры, доложил царю, что идти не с чем: брони на броненосцах — металлические лишь чуть сверху, а снизу деревянные. Уверяют, будто царь сказал тогда Алексею:

— Лучше бы ты, дядя, воровал вдвое да хоть брони-то строил бы настоящие!

После погибели "Петропавловска" Алексей имел глупость показаться в одном петербургском театре вместе со своей любовницей Балетта, обвешанною бриллиантами. Публика чуть не убила их обоих. Швыряли в них апельсинными корками, афишами, чем попало. Кричали:

— Эти бриллианты куплены на наши деньги! Отдайте! Это — наши крейсеры и броненосцы! Подайте сюда! Это — наш флот!

Алексей перестал выезжать из своего дворца, потому что на улицах ему свистели, швыряли в карету грязью. Балетта поспешила убраться за границу. Она увезла с собой несколько миллионов рублей чистыми деньгами, чуть не гору драгоценных камней и редкостное собрание русских старинных вещей. Это уж, должно быть, на память о русском народе, который они вместе с Алексеем ограбили.

Цусима докончила Алексея. Никогда с тех пор, как свет стоит, ни один флот не испытывал более глупого и жалкого поражения. Тысячи русских людей пошли на дно вместе с калошами-судами и пушками, которые недостреливали до неприятеля. Нескольких часов японской пальбы достаточно было, чтобы от двадцатилетней воровской работы Алексея с компанией остались только щепки на волнах. Все сразу сказалось: и грабительство подлецов-строителей, и невежество бездарных офицеров, и ненависть к ним измученных матросов. Накормил царев дядя рыб Желтого моря русскими мужицкими телами в матросских рубахах и солдатских шинелях!

После отставки своей Алексей перекочевал за границу со всеми накраденными богатствами своими, под бочок к своей Балетте. Накупил дворцов в Париже и других приятных городах и сорил золото, украденное у русского народа, на девок, пьянство и азартные игры, покуда не помер от "случайной простуды".

Прочитал я это, и вспомнился мне наш пастух, дядя Емельян. Утром, еще до солнышка, издалека слышался его добрый, чуть насмешливый сильный голос:

— Бабы, коров! Бабы, коров!

Как начинал слышаться этот голос весной, в мае, так радостно билось сердце: скоро лето!

Потом, позже, он не пастушил уже, стар стал, а любил ходить удить на Катунь. Я тоже любил удить, и мы, бывало, стояли рядом в загоне, молчали, наблюдая каждый за своими лесками. У нас не принято удить с поплавками, а надо следить за леской: как зачиркает она по воде, задрожит — подсекай, есть. А лески вили из конского волоса: надо было изловчиться надергать белых волос из конского хвоста; кони не давались, иной меринок норовит задом накинуть — лягнуть, нужна сноровка. Я добывал дяде Емельяну волос, а он учил меня сучить лесу на колене.

Я любил удить с дядей Емельяном: он не баловался в это дело, а серьезно, умно рыбачил. Хуже нет, когда взрослые начинают баловаться, гоготать, шуметь... Придут с неводом целой оравой, наорут, нашумят, в три-четыре тони огребут ведро рыбы и — довольные — в деревню: там будут жарить и выпивать.

Мы уходили подальше куда-нибудь и там стояли босиком в воде. До того достоишь, что ноги заломит. Тогда дядя Емельян говорил:

— Перекур, Васька.

Я набирал сушняка, разводили огонек на берегу, грели ноги. Дядя Емельян курил и что-нибудь рассказывал. Тогда-то я и узнал, что он был моряком и воевал с японцами. И был даже в плену у японцев. Что он воевал, меня это не удивляло — у нас все почти старики где-нибудь когда-нибудь воевали, но что он — моряк, что был в плену у японцев — это интересно. Но как раз об этом он не любил почему-то

рассказывать. Я даже не знаю, на каком корабле он служил: может, он говорил, да я забыл, а может, и не говорил. С расспросами я стеснялся лезть, это у меня всю жизнь так, слушал, что он сказывал, и все. Он не охотник был много говорить: так, вспомнит что-нибудь, расскажет, и опять молчим. Я его как сейчас вижу: рослый, худой, широкий в кости, скулы широкие, борода пегая, спутанная... Стар он был, а все казался могучим. Один раз он смотрел-смотрел на свою руку, которой держал удилище, усмехнулся, показал мне на нее, на свою руку, глазами.

— Трясется. Дохлая... Думал, мне износу не будет. Ох, и здоровый же был! Парнем гонял плоты... От Манжурска подряжались и гнали до Верх-Кайтана, а там городские на подводах увозили к себе. А в Нуйме у меня была знакомая краля... умная женщина, вдовуха, но лучше другой девки. А нуйминские — поперек горла, што я к ей... ну, проведаю ее. Мужики в основном дулись. Но я на их плевал с колокольни, на дураков, ходил, и все. Как плыву мимо, плот причаливаю, привязываю его канатами — и, значит, к ей. Она меня привечала. Я бы и женился на ей, но вскорости на службу забрили. А мужики чего злятся? Што вот чужой какой-то повадился... Она всем глянулась, но все — женатые, а вот все одно — не ходи. Но не на того попали. Раз как-то причалились, напарник мой к бабке одной проворной — та самогонку добрую варганила, а я — к зазнобе своей. Подхожу к дому-то, а там меня поджидают: человек восемь стоят. Ну, думаю, столько-то я раскидаю. Иду прямо на их... Двое мне навстречу: "Куда?" Я их сгреб обоих за грудки, как двинул в тех, которые сбоку-то поджидали — штук пять свалил. Они на меня кучей, у меня сердце разыгралось, я пошел их шшолкать: как достану какого, так через дорогу летит, аж глядеть радостно. Тут к им ишо подбежали, а сделать ничо не могут... Схватились за колья. Я тоже успел, жердину из прясла выдернул и воюю. Сражение целое было. У меня жердь-то длинная — они не могут меня достать. Камнями начали... Бессовестные. Они, нуйминские, сроду бессовестные. Старики, правда, унимать их стали — с камнями-то: кто же так делат! И так уж человек двенадцать на одного, да ишо с камнями. Сражались мы так до-олго, я спотел... Тут какая-то бабенка со стороны крикнула: плот-то!.. Они, собаки, канаты перерубили — плот унесло. А внизу — пороги, его там растрепет по бревнышку, весь труд даром. Я бросил

жердь — и догонять плот. От Нуймы до Быстрого Исхода без передыху гнал — верст пятнадцать. Где по дороге, а где по камням прямо — боюсь пропустить-то плот-то. Обгонишь, и знать не будешь, так я уж берегом старался. От бежал!.. Никогда в жизни больше так не бегал. Как жеребец. Догнал. Подплыл, забрался на плот — слава те господи! А тут вскорости и пороги; там двоим-то еле-еле управиться, а я один: от одного весла к другому, как тигра бегаю, рубаху скинул... Управился. Но бежал я тада!..— Дядя Емельян усмехнулся и качнул головой.— Никто не верил, што я его у Быстрого Исхода догнал: не суметь, мол. Захочешь — сумеешь.

— А потом чего не женился?

— Когда?

— Ну, со службы-то пришел...

— Да где! Тады служили-то по сколь!.. Я раньше время пришел, с пленом-то с этим, и то... лет уж тридцать пять было — ждать, что ли, она будет? Эх, и умная была! Вырастешь — бери умную. Красота бабская, она мужику на первое время только — повыхваляться, а потом... — Дядя Емельян помолчал, задумчиво глядя на огонек, посипел "козьей ножкой".— Потом требуется другое. У меня и эта баба с умом была, чего зря грешить.

Бабку Омельяниху я помнил: добрая была старуха. Мы с ними соседи были, нашу ограду и их огород разделял плетень. Один раз она зовет меня из-за плетня:

— Иди-ка суда-то!

Я подошел.

— Ваша курица нанесла — вишь, сколь! — Показывает в подоле с десяток яиц.— Вишь, подрыла лазок под плетнем и несется тут. На-ка. С пяток матри (матери) отдай, а пяток,— бабка оглянулась кругом и тихо досказала,— этим отнеси, на сашу (шоссе).

На шоссе (на тракте) работали тогда заключенные, и нас, ребятишек, к ним подпускали. Мы носили им яйца, молоко в бутылках... какой-нибудь, в куртке в этой, тут же выпьет молоко из горлышка, оботрет горлышко рукавом, накажет:

— Отдай матери, скажи: "Дяденька велел спасибо сказать".

— Я помню бабку,— сказал я.

— Ниче... хорошая была баба. Заговоры знала.

И дядя Емельян рассказал такую историю.

— Сосватали мы ее — с братом старшим ездили, с Егором,— она вон талицкая (это через речку),— привезли... Ну, свальба (свадьба)... Гуляем. А мне только пинжак новый сшили, хороший пинжак, бобриковый... Как раз к свальбе и сшили-то, Егорка же и дал деньжонок, я-то как сокол пришел. И у меня прямо со свальбы этот пинжак-то сперли. Меня аж горе взяло. А моя говорит: "Погоди-ка, не кручинься пока: не вернут ли". Где, думаю, вернут! Народу столько перебыло... Но знаю, што — не из нашенских кто-то, а из талицких, наверно: наш-то куда с им денется? А шили-то тада на дому прямо: приходил портняжка с машинкой, кроил тут же и шил. Два дня, помню, шил: тут же и питался, и спал. Моя че делает: взяла лоскут от шитья — лоскутов-то много осталось — обернула его берестой и вмазала глиной в устье печки, как раз, где дым в чувал загибает, самый густой идет. Я не понял сперва. "Чего, мол, ты?" — "А вот, говорит, его теперь каждое утро корежить, будет, вора-то. Как затопим печку, так его начнет корежить, как ту бересту". И че ты думаешь? Через три дня приходит из Талицы мужичонка, какая-то родня ее, бабе-то моей... С мешком. Пришел, положил мешок в угол, а сам — бух, на колени передо мной. "Прости, говорит, грех попутал: я пинжак-то унес. Поглянулся". Вытаскивает из мешка мой пинжак и гусиху с вином, теперь — четверть, а раньше звали гусиха. Вот, вишь... "Не могу, говорит, жить — измаялся".

— Побил его? — спросил я.

— Да ну!.. Сам пришел... Зачем же? Выпили эту его гусиху, да я ишо одну достал, и ту выпили. Не одни, знамо дело: я Егора позвал с бабой, ишо мужики подошли — чуть не новая свадьба!.. Я рад без ума — пинжак-то добрый. Годов десять его носил. Вот какая у меня старуха была. Она тада-то не старуха была, а вот... знала. Царство небесное.

Было у них пятеро сыновей и одна дочь. Троих на этой войне убило, а эти в город уехали. Доживал дядя Емельян один. Соседи по очереди приходили, топили печку, есть давали... Он лежал на печке, не стонал, только говорил:

— Спаси вас бог... Зачтется.

Как-то утром пришли — он мертвый.

Для чего же я сделал такую большую выписку про великого князя Алексея? Я и сам не знаю. Хочу растопырить разум, как руки,— обнять две эти фигуры, сблизить их, что ли, чтобы поразмыслить — поразмыслить-то сперва и хоте-

лось,— а не могу. Один упрямо торчит где-то в Париже, другой — на Катуни, с удочкой. Твержу себе, что ведь — дети одного народа, может, хоть злость возьмет, но и злость не берет. Оба они давно в земле — и бездарный генерал-адмирал, и дядя Емельян, бывший матрос... А что, если бы они где-нибудь ТАМ — встретились бы? Ведь ТАМ небось ни эполетов, ни драгоценностей нету. И дворцов тоже, и любовниц, ничего: встретились две русские души. Ведь и ТАМ им не о чем было бы поговорить, вот штука-то. Вот уж чужие так чужие — на веки вечные. Велика матушка-Русь!

ЖИЛ ЧЕЛОВЕК

Вот как бывает... Вчера видел человека, обедал с ним по соседству, потом курили в курилке... У него больное сердце, ему тоже не надо бы курить, но русский человек как-то странно воспринимает эти советы врачей насчет курева: слушает, соглашается, что — да, не надо бы... И спокойно курит. Мы про это курево много толкуем в курилке — иронизируем.

— Не пей, не кури,— насмешливо говорит какой-нибудь закоренелый язвенник,— а чего же тогда остается?

Тут чуть не хором все:

— По одной доске ходи — на цыпочках!

— Смоли да к стенке станови.

— А если я вот с таких вот лет втянулся в эту гадость?! Куда я теперь без этого?

Наговоримся так, накуримся всласть, и пойдут разговоры в сторону от курева, в жизнь вообще: разные случаи вспоминаются, разные смешные истории. А иногда и не смешные. Один был — сухонький, голубоглазый, все покашливал... А покашливал очень нехорошо: мелко, часто — вроде прокашливался, а в горле все посвистывает, все что-то там мешает ему, и никак он не может вздохнуть глубоко и вольно. Когда он так покашливал, на него с сочувствием поглядывали, но старались, чтобы он не заметил этого сочувствия — он не нуждался в нем. Один раз он отматерил какого-то в полосатой шелковой пижаме. Тот вылетел с сострадательным поучением:

— Вам бы не надо курить-то...

— А чего мне надо? — спросил тот, глядя серьезно на полосатого.

— Ну, как?.. Не знаю, чего надо, но курить...

— Не знаешь, тогда не вякай,— просто сказал больной человек с синими глазами.— А то много вас — с советами... — И он еще сказал полосатому несколько разных слов — выругался, но ругался беззлобно, не грязно — получилось больше, что он всю жизнь свою целиком отматерил — за все, и за то, что под конец пришлось еще сидеть и вот так "кафыркать" и терпеливо ждать. Но он же и понимал, что жизнь его, судьба, что ли,— это нечто отдельное от него, чем он управлять не может, поэтому злиться тут бессмысленно, и он не злился. Он рассказал, например:

— Пришел с войны, из госпиталя, тут — никого: мать померла в войну, так, брата убило, отец еще до войны помер. А домишко, какой был, сломали: какую-то площадку надо было оборудовать для обороны... под Москвой здесь... Так? А я на костылях — одна нога по земле волокется. Нанялся лед на реке рубить. Костыли так вот зажму под мышки, ногу эту неподвижную — назад, чтоб по ей топором не тяпнуть, упру костыли в ямки, наклонюсь — и долбаю, пока в глазах не потемнеет. А потом — сижа: костыли под зад, чтоб ко льду не примерзнуть — и тоже... А жил у сторожихи одной, у старушки. У ей у самой-то... с тамбур жилья, но уж... куда тут деваться. На полу спал, из двери — по полу — холод тянет. Маленько сосну с вечера, а часа в три просыпаюсь от холода, иду забор потихоньку тревожить: доски три оторву — и в камелек. А она, сторожиха-то — так: глянет, выйдет и снова к себе. Один раз проснулся — ее нету. Я оделся и покостылял к забору... Только оторвал одну доску, слышу — бах! Аж щепки полетели от забора у меня над головой — дробью саданула... — Рассказывая это, синеглазый все покашливал, и это делало рассказ его жутким. А тут он, как дошел до этого места, когда бабка шарахнула в него сослепу, тут он засмеялся — хотел, чтоб это выглядело забавно, и мы бы тоже посмеялись. Но — засмеялся и закашлялся, и так, покашливая и посмеиваясь, досказал:

— Я кричу: Глебовна, ить я это! Ну, услышала голос, узнала... Чуток бы пониже взяла, аккурат бы в голову угодила. Я, говорит, думала: лезет кто. А чего там брать! Эти... заводы демонтировали и свозили, и валили пока в кучу — железо...

— Ну да, у ней же инструкция!

— Конечно. Стрелять еще умела!..

— Она боевая была старуха, — продолжал синеглазый весело, довольный, что заинтересовал своим рассказом; он вовсе не жаловался.— Много мне порассказывала ночами, пока, бывало, у камелька-то сидим. А уж к весне мне общежитие дали — легче стало.

— Ну, и нога, наверно, стала подживать.

— Ногу я еще года полтора после этого... Главно, болеть не болит, а двигать ей не могу.

— Это многие тогда так, года по три с костылями ходили.

— Да...

Накануне он мне рассказал анекдот. Он любил слушать анекдоты, смеялся потихоньку, когда в курилке рассказывали, но сам я не слышал, чтоб рассказывал всем. А тут мы ждали очередь к телефону, он меня притиснул в уголок и торопливо, неумело рассказал:

— Ворона достала сыр, так, села на ветку — и хочет уже его... это... клевать. Тут лиса: спой. А ворона ей; а ху-ху не хо-хо? Зажала сыр под крыло и говорит: теперь давай потолкуем. Тогда лиса....

Тут подошла его очередь звонить.

Он скоренько сунул монетку в узкий ротик телефона-автомата и стал набирать номер. Он еще машинально улыбался, думая, наверно, о вороне, которая натянула нос хитрой лисе.

А потом я звонил... Я говорил, а краем глаза видел синеглазого: он ждал меня, чтобы досказать анекдот. Смотрел на меня и заранее опять улыбался своими невыразимо прекрасными, печальными глазами. Но тут его куда-то позвала сестра. Он ушел.

Этой же ночью он умер.

Я проснулся от торопливых шагов в коридоре, от тихих голосов многих людей... И почему-то сразу кольнуло в сердце: наверно, он. Выглянул из палаты в коридор — точно: стоит такой телевизор, возле него люди в белых халатах, смотрят в телевизор, некоторые входят в палату, выходят, опять смотрят в телевизор. А там в синем, как кусочек неба, квадрате прыгает светлая точка... Прыгает и оставляет за собой тусклый следок, который тут же и гаснет. А точечка-светлячок все прыгает, прыгает... То высоко прыгнет, а то чуть вздрагивает, а то опять подскочит и следок за собой

вытянет. Прыгала-прыгала эта точечка и остановилась. Люди вошли в палату, где лежал... теперь уже труп, телевизор выключили. Человека не стало. Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточиться на одной какой-то главной мысли, хотел — не понять, нет, понять я и раньше пытался, не мог — почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый,— чуть-чуть бы хоть высветлилась в разуме ли, в душе ли: что же это такое было — жил человек... Этот и вовсе трудно жил. Значит, нужно, что ли, чтобы мы жили? Или как? Допустим, нужно, чтобы мы жили, то тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар — вечно мучительно и бесплодно пытаться понять: "А зачем все?" Вон уж научились видеть, как сердце останавливается... А зачем все, зачем! И никуда с этим не докричишься, никто не услышит. Жить уж, не оглядываться, уходить и уходить вперед, сколько отмерено. Похоже, умирать-то — не страшно.

ПУБЛИЦИСТИКА

КАК Я ПОНИМАЮ РАССКАЗ

Начну с кино, как ни странно.

Всякое зрелище, созданное художником ради эстетического наслаждения, есть гармония красок, линий, света, тени, движения. Главное — движения. Мертвым искусство не бывает. А движение не бывает кособоким, кривым, ибо это уже не движение, а развал на ходу.

Кино. Зрелище несколько грубоватое, потому что тут налицо психоз в массовости восприятия. Совсем не одно и то же, когда в зрительном зале сидят десять человек или пятьсот. Но никого это не страшит. Человек идет в кино, и с удовольствием отдается захватывающей силе этого властного искусства, и чувствует себя соучастником какого-то массового "подсматривания", и ему нисколько не мешает сосед, который плачет рядом или смеется. Они даже как-то роднее становятся оттого, что вместе переживают одно и то же.

Но вот неумолимый закон. Как только в фильме начинает выбиваться какая-нибудь его составная часть, как только обнаруживается, что зрелище утратило движение, скособочилось и затопталось на месте, так кино сразу теряет свою магическую силу и начинает раздражать. Раздражает ложная значительность, отсутствие характеров у героев, их грустная беспомощность перед лицом всех сидящих в зале, ложь, выдуманная психология, сочиненные в кабинетах ситуации — все, что не жизнь в ее стремительном, необратимом движении. Такое ощущение возникает, будто при тебе избивают кого-то слабого, а ты связан ремнями. И горько, и больно, и стыдно.

В произведении искусства все на месте, все в меру, и даже всего как будто чуть-чуть мало. Всякий раз, когда я начинаю смотреть "Чапаева", я как будто начинаю бежать (прямо до галлюцинации). И удивительно, хорошо от этого упоительного чувства. И всякий раз, когда фильм подходит к концу, я обнаруживаю с грустью, что бежал слишком скоро, радость кончилась, мое движение прекратилось.

Теперь о рассказе.

Совсем разные явления — кино и рассказ. А законы, по которым сработаны хорошие фильмы и рассказ, одни.

Мне нравится в хорошем рассказе деловитость, собранность. Ведь что такое, по-моему, рассказ? Шел человек по улице, увидел знакомого и рассказал, например, о том, как

только что за углом брякнулась на мостовой старушка, а какой-то ломовой верзила захохотал. А потом тут же устыдился своего дурацкого смеха, подошел, поднял старушку. Да еще оглянулся по улице — не видел ли кто, как он смеялся. Вот и все. "Иду сейчас по улице,— начинает рассказывать человек,— вижу, идет старушка. Поскользнулась — бряк! А какой-то верзила кэ-эк захохочет..." Так, наверно, он будет рассказывать. А если бы он начал так: "Я проснулся сегодня в каком-то подавленном состоянии. Ночью кошмары какие-то снились — звери какие-то..." — "Выпил вчера?" — поинтересуется знакомый рассказчика. Что он должен ответить? "Я ему про старушку, а он мне — про "выпил"! При чем тут я? Старушка за углом упала". Так, что ли? Или как? Хуже всего, когда возникает такой вот вопрос: ты о чем? Почему-то когда иной писатель-рассказчик садится писать про "старушку", он — как пить дать! — расскажет, кем она была до семнадцатого года. А читателю и так ясно — девушкой или молодой женщиной. Или он на двух страницах будет рассказывать, какое в тот день, когда упала старушка, было утро хорошее. А если б он сказал: "Утро было хорошее, теплое. Стояла осень", читатель, наверно, вспомнил бы в своей жизни такое утро — теплое, осеннее. Ведь нельзя, наверно, писать, если не иметь в виду, что читатель сам "досочинит" многое.

В данном случае я говорю не о длиннотах, которые могут быть не длиннотами, а все о том же законе движения. Рассказ тоже должен увлекать читателя, рождать в душе его радостное чувство устремления вослед жизни или с жизнью вместе, как хотите. А ритм жизни нашей (XX века) довольно бодрый. Тут тебя так и спросят: "Ты о чем?" Я не знаю, что такое "телеграфный стиль", знаю, что такое скучный рассказ. А должно быть интересно, и все.

Если в зрительном зале сидят пятьсот человек, они сразу обнаружат, что скучно. С рассказом сложнее. Один человек всегда найдет минутку усомниться. "Может, я не понял?" Иногда действительно не понимает. Но часто не понимается, по-моему, что писатель (рассказчик) — это обыкновенный человек, тот самый, который встретил на улице знакомого и захотел рассказать тот или иной случай из жизни. (Это другое дело — какой случай его поразил.) Все просто. Но вот как дело доходит до письменного стола или до пишущей машинки, так все опрокидывается в яму, которая именуется "творческими муками". Ищутся начала, концы, завязки, раз-

вязки, подвязки... Можно сделать так, а можно совсем иначе. Но как же так? Ведь если старуха упала на мостовой, это не значит, что она может в рассказе немножко взлететь вверх. Не фотография, не натурализм, не бытописательство, не упрощенчество, но житейски правдивое явление: старушка падает вниз, а не вверх. Вверх — это оригинально, такого еще не было, но придумано. За столом. В "муках творчества". А придумывать рассказ трудно. И, главное, не надо.

Ну а вывод авторский? А отношение? А стиль автора? А никто и не покушается ни на вывод, ни на смысл, ни на стиль. Попробуйте без всякого отношения пересказать любую историю — не выйдет. А выйдет без отношения, так это тоже будет отношение, и этому тоже найдется какое-нибудь определение, какой-нибудь "равнодушный реализм". Ведь известно, что даже два фотографа не могут запечатлеть один и тот же предмет одинаково, не говоря уже о писателе, у которого в распоряжении все средства живой жизни. Другое дело, что нет и писателя без искренней тревожной думы о человеке, о добре, о зле, о красоте... Это так. Поэтому нельзя, наверно, чтобы писатель-рассказчик отвлекался от своего житейского опыта в сторону "чисто" профессиональную. В стороне "чисто" профессиональной легче запутать следы, скрыть, что тебе, собственно, нечего рассказать. Опять же старушка может взлететь вверх.

Мастерство есть мастерство, и дело это наживное. И если бы писатель-рассказчик не сразу делал (старался делать) это главным в своей работе, а если главным оставалась его жизнь, то, что он видел и запомнил, хорошее и плохое, а мастерство бы потом приложилось к этому, получился бы писатель неповторимый, ни на кого не похожий. Я иногда, читая рассказ, понимаю, что рассказ писался для того, чтобы написать рассказ. И радовался человек, и волновался, и "искал слово", и просил, чтоб в квартире было тихо, а зачем? Старуха упала, а ему наплевать, он уже забыл, что она упала, тут уж пошли — капель тенькающая, солнце в мареве, туманы в разводах. И все это само для себя. А все должно бы служить старухе, ее "делу", и вовсе не много этого надо. Она ж упала, бедная, а несла небось яйца в кошелке и расколола, а дома сын яичницу ждет — на работу торопится, скандал будет...

Человеческие дела должны быть в центре внимания рассказа. Это не роман — места мало, времени мало, читают на

ходу. Кроме того, дела человеческие за столом не выдумаешь. А уж когда они попадают наконец на стол в качестве материала, тут мало, наверно, укрепиться мужеством и изгонять все, что отвлекало бы внимание читателя от их сущности. Дела же человеческие, когда они не выдуманы, вечно в движении, в неуловимом вечном обновлении. И, стало быть, тот рассказ хорош, который чудом сохранил это движение, не умертвил жизни, а как бы "пересадил" ее, не повредив, в наше читательское сознание.

ВОПРОСЫ САМОМУ СЕБЕ

Сперва о том, что болит: фильм "Ваш сын и брат" вызвал споры. Мне в связи с этим задают вопросы. Разные. Не всегда, к сожалению, мы бываем настолько находчивы в ответах, чтобы потом не ныла душа: здесь не так сказал, там сморозил. Сейчас, "пользуясь случаем", я и хочу начать с этого — с ответов.

Мне вовсе не хотелось выходить к зрителю с фильмом, который весь в вопросах, как хорошенькая головка в бигуди. (С головки в конце концов эти железки снимут, и станут — кудри; фильм-кокетка, выпущенный со студии, так и пойдет гулять по экранам.) Не верю, чтоб художник сознательно задавался целью быть непонятным. Для кого-то да он работает.

Эти вопросы — это, вообще-то, не вопросы, а мысли, которые возникли при обсуждении фильма и определились то как упрек ему, то как недоумение.

Город и деревня. Нет ли тут противопоставления деревни городу?

Нет. Сколько ни ищу в себе "глухой злобы" к городу, не нахожу. Вызывает злость то, что вызывает ее у любого, самого потомственного горожанина. Никому не нравятся хамоватые продавцы, равнодушные аптекари, прекрасные зевающие создания в книжных магазинах, очереди, теснота в трамваях, хулиганье у кинотеатров и т.п. Если есть что-то похожее на неприязнь к городу — ревность: он сманивает из деревни молодежь. Здесь начинается боль и тревога. Больно, когда на деревню вечерами наваливается нехорошая тишина: ни гармонь "никого не ищет", ни песен не слышно... Петухи орут, но и то как-то не так, как-то "индивидуально". Не горят

за рекой костры рыбаков, не бухают на заре торопливые выстрелы в островах и на озерах. Разъехались стрелки и певуньи. Тревожно. Уехали... А куда? Если в городе появится еще одна хамоватая продавщица (научиться этому — раз плюнуть), то кто же тут приобрел? Город? — нет. Деревня потеряла. Потеряла работницу, невесту, мать, хранительницу национальных обрядов, вышивальщицу, хлопотунью на свадьбах. Если крестьянский парень, подучившись в городе, метит в какое-нибудь маломальское начальство, если очертил вокруг себя круг, сделался довольный и стыдится деревенских родичей,— это явная человеческая потеря.

Если экономист, знаток социальных явлений, с цифрами в руках докажет, что отток населения из деревни — процесс неизбежный, то он никогда не докажет, что он — безболезненный, лишенный драматизма. И разве все равно искусству, куда пошагал человек. Да еще таким массовым образом.

Только так и в этом смысле мы касались "проблемы" города и деревни в фильме. И конечно, показывая деревню, старались выявить все в ней прекрасное; если уж ушел, то хоть помни, что оставил!

А нет ли тут желания оставить (остановить) деревенскую жизнь в старых патриархальных формах?

Во-первых: не выйдет, не остановишь. Во-вторых: зачем? Что, плохо, когда есть электричество, телевизоры, мотоциклы, хороший кинотеатр, большая библиотека, школа, больница?.. Дурацкий вопрос. Это и не вопрос — я ищу, как подступиться к одному весьма рискованному рассуждению: грань между городом и деревней никогда не должна до конца стереться. Никакой это не агрогородок — деревня — даже в светлом будущем. Впрочем, если в это понятие — агрогородок — входит электричество, машины, водопровод, техникум и театр в райцентре, телефон, учреждения бытового обслуживания,— пусть будет агрогородок. Но если в это понятие отнести и легкость, положим, с какой горожанин может поменять место работы и жительства, не надо агрогородка. Крестьянство должно быть потомственным. Некая патриархальность, когда она предполагает свежесть духовную и физическую, должна сохраняться в деревне. Позволительно будет спросить: а куда девать известный идиотизм, оберегая "некую патриархальность"? А никуда. Его не будет. Его нет. Духовная потребность в деревне никогда не была меньше,

ниже, чем в городе. Там нет мещанства. Если молодежь тянется в город, то ведь не оттого, что в деревне есть нечего. Там меньше знают, меньше видели — да. Меньше всего объяснялась там истинная ценность искусства, литературы — да. Но это значит только, что это все надо делать — объяснять, рассказывать, учить. Причем учить, не разрушая в крестьянине его извечную любовь к земле. А кто разрушает? Разрушали... Парнишка из крестьянской семьи, кончая десятилетку, уже готов был быть ученым, конструктором, "большим" человеком и меньше всего готовился стать крестьянином. Да и теперь... И теперь, если он почему-либо остался в деревне, он чувствует себя обойденным. Тут старались в меру сил и кино, и литература, и школа.

Сейчас, наверно, возьмутся за деревню крепко. Но боюсь, что на колхозных и совхозных собраниях опять будут выбирать в президиум одних и тех же людей — передовиков, орденоносцев. Передовики есть передовики, но и им это дело порядком надоело, и они надоели: всегда везде одни и те же, одни и те же. И на доске Почета — они, и в президиуме, и на кустовых совещаниях, и по радио о них говорят, и по телевизору теперь их показывают. Зачем? Неужели есть опасность, что если в президиум выбрать не передовика, а его соседа, не орденоносца, то передовик обидится и станет хуже работать? Какой же он тогда передовик? Где передовик? В чем? Пустяковое вроде бы дело: ну, не меня, опять передовика послали на краевое совещание льноводов, не обо мне по радио рассказали — ерунда. Но если это так из года в год, все время, с меня постепенно снимут всякую ответственность за дела колхозные или совхозные. Есть я и есть — они. Я свое дело знаю, больше мне ничего не надо.

Сельских мальчиков в школе учат вышивать. Смехота. Девочку-школьницу учат доить корову. Что, думаете, она не научится доить, когда это будет ей нужно, когда она станет хозяйкой и у нее будет корова? Свекровь ее за десять минут научит, если она сама собой не научится гораздо раньше. Другое дело, когда ребятишки совершенно серьезно помогают летом на покосе, на прополке хлебов, в уборочную. Да, когда отец с матерью не думают: не его это дело, он у нас учится. Что же, учиться не надо, а давай с тринадцати лет все на пашню? Нет, так все равно не будет. На пашню — значит, на трактор, все равно надо учиться. Что же делать? Учиться. Но не надо, чтобы молодой человек чувствовал себя

обойденным, если судьба не сулит ему профессора, героя-летчика, знатного шахтера, знатного полевода — вообще знатного. Знатные всегда были и будут, только не они решали и решают судьбу страны.

Нам хотелось, чтобы фильм наш поняли так. Но фильм фильмом, вопросы вопросами... Вопросы поднимаются и опускаются, а деревня стоит.

Что же все-таки делать, чтобы жизнь в деревне стала живой и полнокровной? Тут, конечно, не фильмами пахнет. Не только фильмами.

Я заявил, что в деревне нет мещанства. Попробую развить эту мысль. Что есть мещанин? Обыкновенный мещанин средней руки... Мещанин — существо, лишенное беспокойства, способное слюнявить карандаш и раскрашивать, беспрерывно, судорожными движениями сокращающееся в сторону "сладкой жизни". Производитель культурного суррогата. Существо крайне напыщенное и самодовольное. Взрастает это существо в стороне от Труда, Человечности и Мысли. Кто придумал глиняную кошку с бантиком? Мещанин. Кто нарисовал лебедей на черном драпе и всучил мужику на базаре? Мещанин. Крестьянин не додумается до этого. Он купит лебедей, повесит на стенку и будет думать, что это красиво.

обману Попробуйте теперь отнять у него этот ковер с лебедями. Не отдаст. Он привык к нему. Надо ехать и объяснять, что это плохо. И надо так же искусно объяснять и доказывать, как искусно доказывали ему на базаре, что это хорошо. Я нарочно упрощаю, так удобнее выпятить мысль: сельская культура создается в городе. Вообще такой нет — сельской культуры. Ее придумал мещанин. Надо бить его по рукам, этого "изготовителя", всеми возможными средствами. Изготовителя "ковров-книг", "ковров-фильмов", "ковров-лекций", "ковров-концертов"... А кто бить будет? В городе есть такие люди, в деревне — некому. Мало таких людей в деревне. Книги-уродцы, фильмы-уродцы туда все равно приходят, иногда так же скоро, как и в город, а объяснить, что они уродцы,— некому, и их принимают за красавцев. Как быть? Должны быть в деревне люди, которые понимают искусство. И если в городе бьют тревогу, что родился урод — плохая книга, фильм,— то надо это делать очень громко, чтобы в деревне тоже услышали.

Откуда берутся в деревне люди, которые действительно понимают искусство? Одни вырастают там, другие приезжают из города.

О людях, которые приезжают. Это — горожане, выпускники вузов, специалисты. Хорошо, когда они приезжают, грустно, когда, отработав положенные 2—3 года, уезжают. Зачастую виновато в этом местное руководство, озабоченное только одним: выполнением производственных планов, глухое, нерасторопное, равнодушное ко всему остальному. Людей не обеспечивают элементарным — квартирами. Если уж решили ломать старинку, надо строить. Нельзя только ломать. Я знаю, не один председатель колхоза, сельсовета, директор совхоза подумает: "Хорошо тебе рассуждать там..." Я могу только ответить: если бы уход из деревни нужного человека — врача, фельдшера, учителя, аптекаря, клубного работника — расценивался как грубый срыв государственного плана, нашли бы возможность устроить человека. Убежден в этом.

Культурный человек в деревне... Господи, как он нужен там! Всегда был нужен, а теперь — особенно. А молодежь уходит. Больше тревоги не за тех, кто ушел, а за тех, кто остался. Кто ушел, тот ушел — не вернешь. Многие, кто хотел уйти, остались. И теперь самая пора громко, на всю страну, заговорить так: если счастье человека есть служение своему народу, если это действительно так, то место наше там, где мы ему нужны. Как говорить, чтобы это было высокой Правдой? Не знаю. Эти наши статьи — это "слону дробина". Есть в деревне три могучих авторитета: школа, литература, кино. С них, по-моему, и надо начинать. Школу оставляю в покое — мало смыслю в этом. Хотя не считаю, что какой-нибудь много думающий и понимающий специалист сумел бы убедить меня, что изучение в школе вопросов киноискусства, широкое обсуждение фильмов — дело бесполезное. Он не убедит меня точно так, как не убедит в том, что сельского мальчика необходимо учить в школе вышиванию, а девочку — доить корову.

Кино — это маленький праздник для юной души. Это не надо доказывать — вспомните свои семнадцать лет. А в моем селе, например, этот праздник устраивается... в церкви, которую почему-то называют клубом. Никакой это не клуб — это бывшая церковь, которую построил в начале века какой-то шальной купец. Это все знают. Купец, видно, крепко согрешил — хотел угодить богу. Но купец есть купец — надул и здесь: срубил церковь на скорую руку, тяп-ляп. Она давно пришла в негодность, там сыро, холодно, темно...

Ее латают и упорно называют клубом. Праздник сразу подпорчен. Не лежит душа к такому клубу. А село огромное, около трех тысяч человек населения. Киномеханик, Куксин Саша — славный человек, предан кино... Но его задушил план. Если ему объяснить, что вот этот фильм — это прекрасный фильм, он поймет. Он согласен. Но гоняется он за фильмами, которые делают сбор,— план! У него от плана заработок зависит. А ведь он мог бы сам объяснять, рассказывать односельчанам, в чем благородный смысл той или иной картины, но... План! Если он будет "возиться" с каждым "трудным" фильмом, он "прогорит". А у него семья. И т.д. и т.п... Интересно получается: с одной стороны, признаем огромное воспитательное значение кино, с другой — вроде как плевать нам, кого воспитывать и как воспитывать.

Сколько усилий надо приложить, чтобы хороший, серьезный фильм пришел в деревню и нашел там своего зрителя, предположим, Сидорова. Допустим, некий дядя-режиссер сделал в городе хороший фильм. Этого мало. Надо, чтоб другой дядя, умный, распорядился сделать максимальное количество копий. Дальше. Третий дядя посмотрел фильм и сказал: "Сделайте так, чтобы его посмотрели и в деревне тоже". Четвертый написал в газете, что фильм серьезный, хотя там есть кое-какие просчеты, но — серьезный.

Какие-то дяди привезли газету в деревню, чтобы ее прочитал учитель, агроном, врач и наш Сидоров. Учитель, может быть, выписывает газету, Сидоров не выписывает — как-то не принято. Те же дяди должны сказать: "А почему у вас в деревне нет книжного киоска? Ай-яй!" Поставили киоск на углу, у почты. Сидоров шел с работы, купил за две копейки газету. А кто-то из тех же дядей стоял тут же. "Сидоров,— сказал он,— почему бы тебе не подписываться на газету? Ведь удобно!" — "А черт его знает,— признался Сидоров,— как-то все так, знаете... так как-то все. Забываю". Пришел Сидоров домой, почитал на сон грядущий газетку... А ту статью — про кино — не прочитал. Не все в газете читается.

Прочитал газету учитель... "Эге,— сказал себе учитель,— завтра надо побеседовать с ребятами насчет статьи, обсудить". А через полгодика и фильм этот хороший привезли в деревню. Киномеханик идет в радиоузел и говорит по радио: "Внимание! Товарищи, сегодня в нашем клубе будет демонстрироваться фильм "Гамлет". Это хороший фильм,

хоть он про королей". Учитель послушал, усмехнулся... Пошел на радиоузел и сказал: "Давайте я немного расскажу о Шекспире, о его пьесах". Дядя — управляющий радиоузлом подумал и сказал: "Валяйте. Вообще-то не положено, но... надо ведь!" — "В том-то и дело, что надо! — сказал учитель.— Кстати, какой дурак распорядился запретить местное радиовещание?! Три тысячи человек населения, совхоз, школа, библиотека, клуб, больница, сельсовет — сотни вопросов каждодневно самых разнообразных, а радио наше молчит. Давайте напишем тому дяде в городе, что нам есть о чем сказать по радио односельчанам, разрешите!"

Послушал Сидоров про Шекспира, взял рубль у жены и пошел к сельмагу "сообразить" с кем-нибудь — опять до него не дошло, что надо посмотреть фильм. А сынишка его пошел и посмотрел. Посмотрел, ничего не понял, пришел домой и говорит: "Гениальный фильм! Ты вот чем пропивать этот рубль-то, сходил бы в кино лучше посмотрел". — "Пошел ты со своим кино,— рассердился Сидоров.— Навыдумывают там, а я смотри".

А жила у них в квартире тетя-аптекарша (дом для работников аптеки еще только строился, у нее не было своей квартиры). Молодая тетя по роду своей работы имела дело с ядами, поэтому очень интересовалась Шекспиром. "Напрасно,— заметила она,— вы не правы". И стала рассказывать про Шекспира. Да так хорошо, понятно! "Допекли вы меня со своим Шекспиром,— сказал Сидоров,— пойду посмотрю". Пошел. Посмотрел и говорит: "Не знаю, как там у королей, а у нас бывает... У нас Гриша Новоскольцев захотел, паразит, бригадиром стать — что он делал!.. А бригадиром молодой парнишка был — школу механизаторов кончил. Так этот преподобный Гриша орет на всех собраниях: "У него, дескать, опыту мало!" А мы шумим: "Вот и хорошо, что мало,— меньше воровать будет".

Трудно, как видите, идет фильм к моему Сидорову.

И все равно не надо смущаться. Капля камень точит. Но упаси бог подлаживаться сейчас под Сидорова. А мы подлаживаемся — в этом все горе. У Сидорова сынишка есть, у сынишки, глядь, свой сынишка, а тот — будущий Курчатов или Суриков. Вот для них и надо делать, писать, играть, петь.

Дальше. Мы хотим, чтобы культурный человек жил в деревне и вроде бы не чувствовал этого. А он чувствует

каждый день. Зарплата специалистов в деревне, рабочих совхоза теперь почти такая же, что и в городе. А что ему предлагают в раймаге? Вековой драп, патефон, "сработанный еще рабами Рима", диваны — а-ля гроб на ножках. Получше хочешь? — "ехай в город". Понаблюдайте за деревенской хозяйкой, когда к ней приехали гости и ей хочется угостить их. Как она крутится, бедная! Селедочку бы — селедки доброй нет в сельмаге, сметаны нет, молока нет — ничего нет. Зло берет. В селе — совхоз, значит, рабочие? Рабочие. А как же так — в магазине ничего нет? Приусадебный участок... Вот куда вольно и невольно обращены взоры тех, кто против него в принципе и кто — за него. А на кой бы он черт нужен, такой огромный, такой "натуральный", если бы в сельмаге было что купить! Сколько он сил, времени требует, этот огород! Парень на пашне наломается, приедет домой: капусту надо поливать, картошку окучивать, свиньям замес варить, сено косить коровенке...

Ворочает парень и тоскует: в городе отработал человек восемь часов — и вольный казак, а тут как проклятый — ни дня ни ночи. А в селе — молочный совхоз, рядом мясосовхоз, под боком сырзавод, "полеводка" — все есть. А в магазине шаром покати. Э-эх... А ведь парню книгу прочесть хочется, в кино посидеть, вечерняя школа, а то и заочный вуз ждут. Все надо. А время где? Где те дяди, которые бы освободили сельскому парню время для книги, кино, клуба, вечерней школы, заочной учебы? Где те дяди, которые по старинке "куют" для деревни патефоны? Хватит патефонов! Делайте электропроигрыватели. Где те дяди и тети, которые отбирают для села грампластинки? Не надо — все частушки да частушки! Тут и романсы любят, и Райкина, и "голоса писателей", и даже оперетту. Где те дяди и тети, которые комплектуют сельские библиотеки? Почему только "Белая береза", "Алитет уходит в горы","Записки охотника"и про шпионов? Сейчас, пожалуй, укажут на тиражи вообще. Знаю — большие. Но надо представить себе, какая это зияющая утроба — деревня. Кстати, тираж журнала "Сельская молодежь" смехотворно мал.

В заключение о кино "применительно" к сельскому зрителю: каким оно должно быть? Перефразируя известное выражение: таким же, как в городе, только лучше.

Какой должен быть современный положительный герой? Знают, что он должен быть честный, неглупый, добрый,

принципиальный и т.п. Знают больше: у положительного героя могут быть кое-какие и отрицательные стороны, слабости. Вообще о положительном герое знают все — какой он должен быть. И тут, по-моему, кроется ошибка: не надо знать, какой *должен* быть положительный герой, надо знать, какой он *есть* в жизни. Не надо никакого героя предлагать зрителю в качестве образца для подражания. Допустим, вышел молодой человек из кинотеатра и остановился в раздумье: не понял, с кого надо брать пример, на кого быть похожим... Ну и что? Что, если не убояться этого? На кого быть похожим? На себя. Ни на кого другого ты все равно не будешь похожим. Если ты посмотрел умный фильм, где радуются, горюют, любят, страдают, обманываются, обретают себя живые люди, значит, тебе предложили подумать о самом себе. Тебе показали, как живут такие-то и такие-то, а ты задумаешься о себе. Обязательно. В этом сила живого, искреннего реалистического искусства. Если авторы сами радуются хорошему, если ненавидят дурное в людях и если все это — правда, если ты сам знаешь, что в жизни так и бывает, как тебе только что показали, то не захочешь спрашивать: на кого быть похожим? На себя, только станешь умнее, крепче, отзывчивее. Не мог же ты не радоваться, когда все в зале радовались, что человек в трудную для себя минуту не соврал, не словчил за счет другого... А человек-то, казалось, незаметный, каких много. Радость, какую мы испытываем, глядя, как человек перемог себя и остался человеком, скоро не забудется. Мне кажется, смысл социалистического искусства не в том, чтобы силиться создавать неких идеальных положительных героев (даже в противоположность отрицательным), а находить, обнаруживать положительные — суть качества добрые, человечные — и подавать это как прекрасное в человеке.

И потом мы забываем, что, когда мы очень уж настойчиво начинаем предлагать зрителю образцы для подражания, мы возбуждаем в нем чувство протеста, раздражение. Попробуйте за ребенка сделать какое-нибудь мало-мальски сложное дело — он заплачет. Он хочет сам. Общение с искусством, когда тому, что мы видим, мы целиком *верим*, приводит нас в редкое и радостное состояние детскости. Ребенок знает, наверно, что отец сделает лучше, но он хочет сам. Зритель тоже хочет сам. И кто смолоду больше делает и думает *сам*, тот становится потом надежнее, крепче, умнее.

Надо только стараться, чтоб мы не врали, не открывали то, что зритель давным-давно знает без нас, не показывали ему — вот это хорошо. Что, он сам не видит, что хорошо, что плохо? Странное дело: зритель приходит к нам из самой гущи жизни, зная о ней гораздо больше нас (в смысле конкретном, реальном), а мы не стыдимся показывать ему иногда такое, во что сами не верим. Самое, может быть, дорогое завоевание социалистического реализма — это то, что художник и тот, к кому он приходит со своим произведением, говорят на родном языке, на равных. Не надо только учить. Надо помогать исследовать жизнь, открывать прекрасное в жизни и идти с этим к людям. Надо страдать, когда торжествует зло, и тоже идти к людям. Иначе к чему все? Было время, когда мужика устраивал лубок. Было — и прошло. Он вырос, стал умный, думающий. Бить надо нас по рукам, когда мы вместо правды придумываем для него разные характеры, ситуации, психологию. Да еще делаем вид, что это-то и есть правда. Никого мы не обманем и не научим таким образом быть лучше. Только испортим дело.

МОНОЛОГ НА ЛЕСТНИЦЕ

Однажды случился у меня неприятный разговор с молодыми учеными. Разговор был о деревне. А неприятный оттого, что я совсем не умею спорить. А надо было спорить, доказывать свою правоту. Я не сумел, и потом было тяжело.

Поступила записка. Спросили: "А сами Вы хотели бы сейчас пройтись за плугом?" Тут я сбился. Вякнул что-то насчет того, что и им тоже не хотелось бы сейчас от своих атомных котлов — в кузницу. А они и не ратуют за то. Напротив. А у меня получилось, что я для кого-то хотел бы сохранить в деревне "некую патриархальность", а сам со спокойной совестью пристроился жить в столице. На меня смотрели весело и понимающе. Я заявил: "Если бы там была киностудия, я бы опять ушел в деревню". Это было совсем глупо.

Между тем мне бы хотелось продолжить тот разговор. Вот каких вопросов касался он:

"Что есть интеллигентный человек?"

"Куда идет деревня?"

"Что погибает в деревне и что стоит жалеть из того, что погибает?"

"Что порождает город и что стоило бы погубить из того, что он порождает?"

"Что есть человек неинтеллигентный, но пребывающий в приятном и отвратительном самомнении, что он — интеллигент?"

Много было вопросов, но все примерно такого свойства...

Вот как я думаю про все это:

Интеллигентный человек. Это ответственное слово. Это так глубоко и серьезно, что стоило бы почаще думать именно об ответственности за это слово.

Начнем с того, явление это — интеллигентный человек — редкое. Это — неспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется — созвучия — "подпеть" могучему басу сильного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса "что правда?", гордость... И — сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если все это в одном человеке — он интеллигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность — не самоцель.

Конечно же, дело не в шляпе. Но если судить таким судом, очень многим надо "встать и снять шляпу". Оттого-то мне и дорог деревенский уклад жизни, что там редко-редко кто сдуру напялит на себя личину интеллигентного человека. Это ведь очень противный обман. При всем том уважается интеллигент, его слово, мнение. Искренне уважается. Но, как правило, это человек "залетный" — не свой. И тут тоже то и дело случается обман. Наверно, оттого и живет в народе известная настороженность к "шляпе". Как-то так повелось у нас, что надо еще иметь право надеть эту самую злополучную шляпу. Может быть, тут сказывается та большая совестливость нашего народа, его неподдельное чувство прекрасного, которые не позволили забыть древнюю простую красоту храма, душевную песню, икону, Есенина, милого Ваньку-дурачка из сказки... Впрочем, Ванька-то, пожалуй, забывается, и даже имя его — все реже и реже. Все больше Эдуарды, Владики, Рустики. Опять надежда на деревню: может, хоть там не забудут про Ивана. Иван на Руси славные делал дела! И землю пахал, и книжки писал, и песни складывал, и машины изобретал, и города строил. И неплохо.

Двадцатый век, он, конечно, бурный век, стремительный. Ритмы его должны были всколыхнуть спокойную деревню. И всколыхнули. Я видел в Сибири, в деревне, как в клубе наяривают твист. Черт с ним, с твистом,— на здоровье. Но почему возникает при этом сладостное ощущение, что ты таким образом приобщился к современному образу жизни? Не обман ли это? Я ведь не к тому, чтоб запретить. Действительно, охота понять: не обман ли? Не маловато ли? Жалко, когда смолоду обманываются. Жизнь коротка.

Что же такое современность? Машины. Скорости, скорости, скорости. Но даже чтоб рассчитать самую среднюю скорость, надо сидеть и думать. Двадцатый век — это все более сложные задачи, все более вдумчивый, сосредоточенный взгляд человека. Все больше привлекает лобастый человек, все яснее становится, что это самая прекрасная часть человека — лоб. (Не к тому опять же, чтоб все взяли и начали наголо бриться, но и прятать-то его зачем же.)

Ничто так не пугает, не удивляет в человеке, как его странная способность разучить несколько несложных житейских приемов (лучше — модных), приспособить разум и руки передвигать несколько рычажков в огромной машине Жизни — и все, баста. И доволен. И еще похлопывает по плечу того, кто пока не разучил этих приемов (или не захотел разучить), и говорит снисходительно: "Ну что, Ваня?"

Ничего, Ваня! Не робей. Думай.

Мы ломаем голову, какой он такой, интеллигентный человек? А образ его давно создал сам народ. Только он называет его — хороший человек. Умный человек. Уважительный. Не мот, не пропойца. Чистоплотный. Не трепач. Не охальник. Работник. Мастер.

Господин двадцатый век требует больших знаний. Но умный человек всегда много знал. И потому он и умный, что ему никогда не лень было узнавать все больше и больше.

Человечество ведет с природой вековую изнурительную борьбу, шаг за шагом отвоевывая у нее блага себе, тайны ее и богатства. В этот вечный бой вводятся все новые общества, поколения. Общество распределяет силы: тех, что впереди, на передовых рубежах, поддерживают те, что сзади. На равных. Неразумно бросать всех сразу вперед. Для наглядности грубо предположим, что город наш — впереди, деревня сзади — тыл. Современная жизнь с ее грохотом, ритмами, скоростями и нагрузками смалывает человеческие силы осо-

бенно заметно. Двадцатый век если и уступает много, то и мстит жестоко. Люди устают, нервничают, забывают покой, забывают радоваться жизни, красоте, годами не видят, как встает и заходит солнце, так привыкают к шуму, что иногда не поймешь, то ли крикнули "здравствуйте!", то ли "караул!". Особенно, конечно, достается городу. Разумно ли в таком случае не иметь надежного, крепкого резерва в лице деревни?

Я договорился, таким образом, до того, что в деревне надо бы сохранять ту злополучную "некую патриархальность", которая у нас вызывает то снисходительную улыбку, то гневную отповедь. Что я разумею под этой "патриархальностью"? Ничего нового, неожиданного, искусственного. Патриархальность как она есть (и пусть нас не пугает это слово): веками нажитые обычаи, обряды, уважение заветов старины. То есть нельзя, по-моему, насаждать в деревне те достижения города, которые совершенствуют его жизнь, но совершенно чужды деревне. Например:

Когда присылается в деревню типовой проект общественной бани, то это — зря. С таким же успехом можно прислать туда типовой проект... тюрьмы — так же будет неинтересно, нетворчески, я бы сказал. Кроме того, общественная баня там не нужна.

Если город способен принять и переварить (он огромный!) "достижение" вроде Дворцов бракосочетаний, то деревня не может вынести "показушную" свадьбу — стыдно, тяжело. Стыдно участникам, стыдно со стороны смотреть. Почему? Не знаю. Ведь и старый обряд свадьбы — это тоже спектакль. А вот поди ж ты!.. Там — ничего, смешно, трогательно, забавно и, наконец, волнующе. Законный вопрос мне: где это вы видели сегодня такие "старинные" свадьбы? Сегодня — нигде. К сожалению. А вот лет двадцать назад я выдавал замуж сестру (на правах старшего брата, за неимением отца. Это было далеко, в Сибири). По всем правилам (почти по всем) старинной русской свадьбы. Красиво было, честное слово! Мы с женихом — коммунисты, невеста — комсомолка... Немножко с нашей стороны — этакая снисходительность (я лично эту снисходительность напускал на себя, ибо опасался, что вызовут потом на бюро и всыплют; а так у меня отговорка: "Да я ведь так — нарочно"). Ничего не нарочно, мне все чрезвычайно нравилось. Итак, с нашей стороны этакое институтское, "из любопытства", со стороны матерей

наших, родни — полный серьез, увлеченность, азарт участников большого зрелища. Церкви и коней не было. О церкви почти никто не жалел, что коней не было — малость жаль. Утверждаю: чувство прекрасного, торжественный смысл происходящего, неизбежная ответственная мысль о судьбе двух, которым жить вместе, — ничто не было утрачено, оттого что жених "выкупал" у меня приданое невесты за чарку вина, а когда "сундук с добром" (чемодан с бельем и конспектами) "не пролез" в двери, я потребовал еще чарку. Мы вместе с удовольствием тут же и выпили. Мы — роднились. Вспоминаю все это сейчас с хорошим чувством. И всегда русские люди помнили этот единственный праздник в своей жизни — свадьбу. Не зря, когда хотели сказать: "Я не враг тебе", говорили: "Я ж у тебя на свадьбе гулял".

Клубы в селе... Они, конечно, нужны. Хорошие! Но почему в них, даже в больших и хороших, такая скучная жизнь? Вообще я заметил: где хотят организовать веселье, там его не получается. Не надо все валить на плохих массовиков-затейников. Как во всякой профессии, есть там старательные, есть талантливые. У талантливых тоже не получается. Приходит в голову грустная мысль: а нужна ли она, такая веселая профессия? В войну нам было по двенадцать-шестнадцать лет. Никакого клуба у нас не было. А многие уже работали. Как ни трудна жизнь, а через шестнадцать лет не переступишь. Собирались на вечеринку. С девушками. Была балалайка, реже — гармонь. Играли в фантики, крутили шестерку... Целовались. И у каждого (кто повзрослей) была среди всех, которая нравилась. Когда случалось поцеловаться с ней при всех — обжигало огнем сердце и готов был провалиться сквозь землю. Но — надо! И этого хватало потом на всю неделю. И ждешь опять субботу — не приведет ли случай опять поцеловаться с желанной. Неохота говорить тут о чистоте отношений — она была. Она всегда есть в шестнадцать лет. Было весело — вот что хочется сказать. А кто организовывал? Никто. Лежала на печке бабка и иногда советовала "палачу" с ремнем: "А ты огрей ее хорошенько, раз она капрызничает. Огрей по толстой-то!.. Ишь какая!" И еще подсказывала: "А ишо вот так раньше играли: садитесь-ка все рядком..." И работалось. И ждалось.

К концу войны из церкви выгребли семенной овес, подчистили, сказали: теперь — это клуб. Вечерки стали разгонять. Долго боролись, прятались, но... В общем, пошел —

клуб. Стали кино привозить. Редко, правда. Больше — лекции с танцами. Не ходили. Опять рассылали активистов по селу — собирать на лекции и на танцы. А один раз приехала молодежь из ближайшего города помочь в прополке хлебов. После работы организовали в клубе нечто вроде образцово-показательного вечера отдыха. Играл баянист, городские танцевали... Наши деревенские "черти" (так нас тогда называли городские. Еще — "рогалями") стояли вдоль стенки, улыбались и перешептывались. Кончился танец, и наш завклубом вышел на середину зала всех орденах и в военной форме и строго сказал:

— Было замечено: танцевали "линдой". Предупреждаю!

Что-то убили с вечерками. Не надо меня сейчас ловить на слове: я не за вечерки в 1968 году. Но как придумались когда-то всякого рода вечерки, посиделки, так к 1968 году придумалось бы что-то другое — вместе с лекциями и танцами. Зря покалечили народное творчество в этом деле. Обычай не придумаешь, это невозможно.

Хочется еще сказать: всякие пасхи, святки, масленицы — это никакого отношения к богу не имело. Это праздники весны, встречи зимы, прощания с зимой, это — форма выражения радости людской от ближайшего, несколько зависимого родства с Природой. Более ста лет назад Виссарион Белинский достаточно верно и убедительно сказал, как русский мужик относится к богу: годится так годится, а не годится — тоже не беда.

Так у меня вышло к сорока годам, что я — ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже — не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато. Долго в таком состоянии нельзя, я знаю — упадешь. Не страшусь (какое падение? откуда?) — очень уж, действительно, неудобно. Но и в этом моем положении есть свои "плюсы" (захотелось вдруг написать — флюсы). От сравнений, от всяческих "оттуда — сюда" и "отсюда — туда" невольно приходят мысли не только о "деревне" и о "городе" — о России.

Ну, ладно, уходят из деревни, наверно, и впредь будут уходить. Наверно, таков неумолимый закон жизни — двадцатый век! Но надо бы подумать, как встречает город деревенского парня. А идет он оттуда "косяком"— много

Необходимо опять вернуться к разговору об интеллигентном человеке (кстати, чтобы пресечь всякие догадки о моем намерении претенциозного характера, скажу: мне бы хотелось когда-нибудь стать вполне интеллигентным человеком).

Деревенский парень, он не простой человек, но очень доверчивый. Кроме того, у него "закваска" крестьянина: если он поверит, что главное в городе — удобное жилье, сравнительно легче прокормить семью (силы и сметки ему не занимать), есть где купить, есть что купить — если только так он поймет город, он в этом смысле обставит любого горожанина. Тогда, если он зажмет рубль в свой крестьянский кулак,— рубль этот невозможно будет отнять ни за какие "развлечения" города. Смолоду еще походит в кино, раза три побывает в театре, потом — ша! Купит телевизор и будет смотреть. И будет писать в деревню: "Живем хорошо. Купил недавно сервант. Скоро сломают тещу, она получает секцию. Наша секция да ее секция — мы их обменяем на одну секцию, и будет у нас три комнаты. Приезжайте!"

Это — худший вариант. Есть другой — еще более худший: "выдвинут" его куда-нибудь, честного, простого, а он подумает, что тут самое главное — научиться "выступать". Научится не научится, но попрет тоже по-крестьянски. По себе знаю, как любят иногда "городские" "побаловаться" в это дело. "Иди выступи. По-своему, как умеешь".

Как же надо встречать городу такого вот доверчивого, простого, здорового "выходца"? Не знаю. Только сразу приходит мысль о вековой городской культуре и об истинно интеллигентных людях. Что по мне, так, возвращаясь к временам, когда я говорил "как умел" — умной книжкой по башке: читай! Слушай умных людей, не болтунов, а — умных. Сумеешь понять, кто умный, "выйдешь в люди", не сумеешь — незачем было ехать семь верст киселя хлебать. Думай! Смотри, слушай — и думай. Тут больше свободного времени, тут библиотеки на каждом шагу, читальные залы, вечерние школы, курсы всякие... "Знай работай да не трусь!" Обрати свое вековое терпение и упорство на то, чтобы сделать из себя Человека. Интеллигента духа. Это вранье, если нахватался человек "разных слов", научился недовольно морщить лоб на выставках, целовать ручки женщинам, купил шляпу, галстук, пижаму, съездил пару раз за рубеж — и уже интеллигент. Про таких в деревне говорят: "С бору по сосенке". Не

смотри, где он работает и сколько у него дипломов, смотри, что он делает.

Город — это трагедия Гоголя, Некрасова, Достоевского, Гаршина и других страдальцев, которые до смертного часа своего искали в жизни силу, которая бы уничтожила зло на земле, и не нашли. Это — Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов... Не могу удержаться, поделюсь одной мыслью, которая поразила меня своей простой правдой: мысль Ю. Тыняиова (где-то в его записках). Вот она: только мещанин, обыватель требует, чтобы в художественном произведении

а) порок был обязательно наказан;

б) добродетель восторжествовала;

в) конец был счастливым.

Как верно! В самом деле, ведь это удобно. Это "симметрично" (выражение Тынянова), "красиво", "благородно" — идеал обывателя. Кроме обывателя, этого никто не хочет и не требует. (Дураку все равно.) Это не зло, это хуже. Это смерть от удушья. Как же мы должны быть благодарны им — всей силой души, по-сыновьи, как дороги они всякому живому сердцу, эти наши титаны-классики. Какой головокружительной, опасной кручей шли они. И вся жизнь их — путь в неведомое. И постоянная отчаянная борьба с могучим гадом — мещанином. Как нужны они, мощные, мудрые, добрые, озабоченные судьбой народа,— Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский, Чехов... Стоит только забыть их, обыватель тут как тут. О, тогда он наведет порядок! Это будет еще "то" искусство! Вы будете плакать в зале, сморкаться в платочек, но... в конце счастливо улыбнетесь, утрете слезки, легко вздохнете и пойдете искать автора — пожать руку. Где он, этот чародей? Где этот душка! Как хорошо-то было! Мы все переволновались, мы уж думали... Но тут встает классик — как тень отца Гамлета,— не дает обывателю пройти к автору. И они начинают бороться. И нелегкая это борьба. Обыватель жалуется. Автор тоже жалуется. Администрация жалуется. Все жалуются. Негодуют. Один классик стоит на своем: не пущу! Не дам. Будь человеком.

Город — это и тихий домик Циолковского, где Труд не искал славы. Город — это где огромные дома, и в домах книги, и там торжественно тихо. В городе додумались до простой гениальной мысли: "Все люди — братья". В город надо входить, как верующие входят в храм,— верить, а не просить

милостыню. Город — это заводы, и там своя странная чарующая прелесть машин.

Ладно, если ты пришел в город и понял все это. Но если ты остался в деревне и не думаешь тайком, что тебя обошла судьба,— это прекрасно. Она не обошла, она придет, ее зарабатывают. Гоняться за ней бессмысленно — она, как красивая птица: отлетит немного, сядет. Побежишь за ней, она опять отлетит и сядет. И близко так! — опять хочется побежать. Она опять отлетит и сядет в двух шагах. Поди сообрази, что она уводит тебя от гнезда.

Труд, труд и раздумья. И борьба, и надежда. Вот удел человеческий. Везде.

Предположим далее, что разговор у нас пошел так: вопросы — ответы. Вопросы отберу из тех, что мне действительно были заданы в разное время, ответы — тут же, на лестнице, задним числом. Я уже значительно спокойнее — выговорился. Чарующая картина: стою и не смущаюсь, не заикаюсь, смотрю прямо, несколько даже весело. Пожалуйста.

В. Что такое "интеллигент духа"? Как это надо понимать?

О. Сознаю, что выразился несколько красиво и не совсем самостоятельно ("аристократы духа" уже были), но как-то не нашлось другого. Вот что это такое: это очень хороший человек. Деревенские старик и мальчик остановились и поздоровались с незнакомым. Я их не знаю и не захлебываюсь сразу от восторга: "Вот они, настоящие хорошие люди!" Нет, я поздоровался и — по привычке думать — думаю: откуда это у них? Положим, мальчику сказал учитель: "Надо здороваться со всеми". А этот, седой-то?.. Ведь жизнь прожил, устал, наработался, навоевался, наголодался — всякое было. Но неистребимо живет в нем вот это бескорыстие — "дай вам бог здоровья!". Так просто, от доброты душевной. Я ему не барин, не председатель сельсовета — человек. Вот он и пожелал мне: будь здоров, живи, ибо жить все-таки — хорошо. Спасибо. И ты — здравствуй много лет, жить, правда, хорошо, хоть иногда нелегко.

В городе, конечно, не наздороваешься с каждым встречным и поперечным. Понимаю.

Не так давно наблюдал сцену.

Метро. Поздно уже, часов двенадцать. Два провинциальных парня (на беду их, слегка под хмельком) интересуются

в вагоне, как проехать до станции такой-то. Крупный молодой человек спортивного вида улыбнулся, объясняет:

— Вот остановка — видите? — вы здесь сойдете, сделаете переход, сядете вот тут (показывает по схеме) и поедете во-от так. Значит: раз, два, три, четыре, пять, шесть...

Громко объясняет, чтоб все слышали. Все слушают и улыбаются: парень направляет их по кольцу в обратную сторону (их остановка — следующая). Некоторые даже хихикают. Провинциалы полагают, что смеются над ними оттого, что они — немного выпивши. Оглядываются, тоже улыбаются.

— Далеко,— говорят они.

— За пять копеек-то! — изо всех сил наигрывает красавец парень.— Спасибо скажите! А вы — "далеко".

В вагоне откровенно смеются. Необидно смеются — весело. В конце концов доедут же ведь они до своей станции!

Остановка. Им сходить. Какой-то пожилой человек с седенькой бородкой клинышком (прямо как из банальной пьесы: сельские простаки-парни, городской спортсмен-красавец и старичок-профессор. Но что делать!) поднялся с места, тронул ребят и сказал просто:

— Вам сходить.

Ребята замешкались, не понимают. Им же сказали...

— Сходите! — велел "профессор".

Они сошли.

"Профессор" сел опять на свое место и продолжал читать газету.

Всем стало как-то неловко. И "спортсмену" тоже. Может быть, начни "профессор" упрекать: как вам не стыдно! зачем вы так? — тут бы и облегчение пришло. Заговорили бы: а нечего пить! Нечего вообще до сих пор шляться, если они первый раз в городе! Все учреждения давно закрыты.

Нет, старичок спокойно читал себе газетку. Красивый человек!

А! — противопоставление: в деревне — хорошие, в городе — плохие, за редким исключением. Нет же, нет! И в деревне есть всякие. Есть такие, что не приведи господи! Но и там и там есть такие вот душевные, красивые люди, как эти старики. Один, наверно, не прочитал за всю жизнь ни одной книжки, другой "одолел" Гегеля, Маркса... Пропасть! Но есть нечто, что делает их очень близкими,— Человечность. Уверен, они сразу бы нашли общий язык. Им было бы интересно

друг с другом. И зарю они, наверно, одинаково любят: мудро, спокойно, молча. И людей понимают одинаково: пустого человека, как он ни крутись, раскусят. И дурака-начальника встречают одинаково: немножко весело, немножко грустно, но, в общем, терпимо. Что делать?

В. Так куда же все-таки идет деревня?

О. В светлое будущее. Но... все равно она останется — деревня. И не надо бы насильственно подталкивать ее на путь "малой урбанизации". Понимаю, что характер труда крестьянина будет меняться со временем, совершенствоваться, небольшие промышленные предприятия будут "селиться"ближе к мужику (это хорошо! надо!), но дайте ему возможность и тогда самому срубить себе дом. Дайте ему отвести душу — вырезать узоры на карнизе, расписать ставни, посадить под окном березу, "присобачить" на крышу какую-нибудь такую штуку, что все ахнут. А он будет доволен.

В связи с этим позвольте не поверить в искренность таких вот слов: "Доходы колхозников позволяют им строить дома, которые по красоте и удобству не уступали бы хорошей городской квартире. *Но где взять такие проекты?*" (курсив мой.— В. Ш.). Это сказал председатель колхоза имени Кирова Слуцкого района С.Д. Лемещенко на совещании по сельскому строительству в Белоруссии.

Грешным делом, подозреваю, что это — модный "крик души". Не хочется верить вам, тов. Лемещенко. Это смахивает на прием "выступальщиков" — "так давайте же нам!", "помогите же нам!". А если у вас это искренне, тогда уж совсем плохо. Это уж черт знает что. Дайте проект: как нам жить? Как рожать детей? Как наладить добрые отношения с тещей? Как построить себе удобное жилье? Было бы из чего — построят без городского проекта. И будет удобно, красиво, будет лучше городской квартиры.

Молодой, полный выучки и энергии выпускник краевой культпросветшколы приезжает в "глубинку" и начинает "разворачиваться". Набрал энтузиастов — и пошли чесать. "Под Мордасову". С хором. Под баян. С приплясом. И голос подобрали "похожий" и приплясывать научились — довольны. Похоже! И в районе довольны. А то, глядишь, и в область попадут — на смотр. Но там уж из "похожих" выбирают самых "похожих". Какая досада! Село двести лет стоит, здесь хранят память о Пугачеве (предки, разбегаясь после разгро-

ма восстания, селились, основали село), здесь даже былины знают... Здесь на каждой улице — своя Мордасова. Тут есть такие бабки, что как запоют, так сердце сжимается. Старо? Несовременно? Ну, значит, Пушкин ничего не смыслил в этом деле, если, будучи молодым человеком, просил Арину Родионовну, старушку, спеть ему, "как синица тихо за морем жила". Значит, все, что нажил народ веками, сберег,— все побоку, даешь Мордасову! (Думаю, нет надобности заявлять тут, что я не имею ничего против этой славной исполнительницы веселых куплетов.)

Спохватились, губим архитектурные памятники старины. Так давайте пожалеем (взвоем, охота сказать), что мы забываем! Мне по фильму "Ваш сын и брат" понадобилось набрать в сибирском селе, где мы снимали, человек десять-пятнадцать, которые бы спели старинную сибирскую песню "Глухой, неведомой тайгою". Мы должны были записать ее на магнитофон и потом в Москве в павильоне дать актерам послушать, чтоб у них получилось "похоже". Ассистенты бегали по всему селу и едва-едва набрали двенадцать человек, которые согласились спеть. (Почему-то им было неудобно.) Спели с грехом пополам. Все оглядывались, улыбались смущенно и просили:

— Может, мы какую-нибудь другую? "Мой костер в тумане светит"?

Дали им выпить немного — раскачались. Но все равно, когда потом пошли домой, запели "Мой костер". Запевал местный счетовод, с дрожью в голосе, "красиво". Оглядывались. Ушли с убеждением, что я человек отсталый, не совсем понятно только, почему мне доверили такое ответственное дело — снимать кино.

Это — к вопросу, что мы забываем, и с какой легкостью! И даже вспоминать стыдимся. Кстати, никак не могу понять, что значит: русская народная песня в обработке... Кто кого "обрабатывает"? Зачем? Или вот еще: современная русская народная песня! Подчеркнуто — народная. Современная. И — "Полюшко колхозное, мил на тракторе, а я на мотоцикле за ним..." Бросьте вы! Обыкновенная плохая стилизация.

В. Что можно было бы пожелать молодым в деревне и в городе?

О. Сейчас идеалом жизни сельской молодежи, даже если судьба не сулит ей (значительной части) в ближайшее время город, все равно — городская жизнь. Тут начинается самое

сложное. Сразу легко напрашивается вывод: так давайте активнее насаждать там "городскую жизнь"! Давайте.

— Ну?

— Что? Давайте!

— Так что же вы в открытую дверь ломитесь!

— Почему же, давайте — только не с бухты-барахты, а подумав. Я помню, несколько лет назад к нам в село в парикмахерскую прислали женского парикмахера. Молодая такая, хорошенькая женщина...

— Ходили к ней?

— Ходили. Мужчины — посмотреть на нее. Парикмахерша поскучала недельку и уехала.

Конечно, молодому парню с десятилеткой пустовато в деревне. Он знает (приблизительно, конечно,— по кино, по книжкам, по рассказам) про городскую жизнь и стремится, сколько возможно, подражать городским (прическа, одежда, транзистор, словечки разные, попытки несколько упростить отношения с девушкой, вообще — стремление попархать малость). Он не догадывается, что он смешон. Он все принял за чистую монету. Но если бы от моей головы сейчас пошло сияние — такой бы я вдруг сделался умный,— я бы и тогда не сумел убедить его, что то, к чему он стремится, не есть городская жизнь. Он прочитает и подумает: "Это мы знаем, это — чтоб успокоить нас". Я мог бы долго говорить, что те мальчики и девочки, на которых он с тайной завистью смотрит из зрительного зала,— их таких в жизни нет. Это — плохое кино. Но я не буду. Он сам не дурак, он понимает, что не так уж все славно, легко, красиво у молодых в городе, как показывают, но... Но что-то ведь все-таки есть! Есть, но совсем, совсем другое. Есть труд, все тот же труд, раздумья, жажда много знать, постижение истинной красоты, радость, боль, наслаждение от общения с искусством.

В восемнадцать лет самая пора начать думать, ощущать в себе силу, разум, нежность — и отдать бы все это людям. Кому же еще? Вот — счастье, по-моему. Можно, конечно, принять восемнадцать лет как дар Жизни, с удовольствием разменять их на мелочишку чувств, небольших, легко исполнимых желаний — так тоже можно, тоже будет что вспомнить, даже интересно будет... Только жалко. Ведь это единственный раз! Жизнь, как известно, один раз дается и летит чудовищно скоро — не успеешь оглянуться, уже со-

рок... Вернуться бы! Но... Хорошо сказано: близок локоть, да не укусишь.

Вернуться нельзя. Можно — не пропустить. Можно, пока есть силы, здоровье, молодая душа и совесть, как-нибудь включиться в народную жизнь (помимо своих прямых обязанностей по долгу работы, службы). Приходит на память одно тоже старомодное слово — "подвижничество". Я знаю, "проходил" в институте, что "хождение в народ" — это не самый верный путь русской интеллигенции в борьбе за свободу, духовное раскрепощение великого народа. Но как красив, добр и великодушен был человек, который почувствовал в себе неодолимое желание пойти и самому помочь людям, братьям. И бросал все и шел. Невозможно думать о них иначе, чем с уважением. Это были истинные интеллигенты! Интеллигенты самой высокой организации.

У нас сложилась традиция: в страдную пору в хлеборобные районы страны выезжает огромная армия студенчества и молодых рабочих. Они делают хорошее дело — помогают убрать хлеб. Что, если бы это были не только "рабочие руки", а еще молодые, умные, образованные люди, с которыми страсть как интересно поговорить, послушать их — в клубе ли, у себя ли дома за чашкой чаю,— что они собираются делать в жизни? Как понимают то или иное явление общественной, политической, культурной жизни в стране? Да мало ли о чем захочется поговорить с умным человеком! Это были бы дорогие гости. Только надо бы поначалу похоронить, забыть и никогда не вспоминать ту казенную манеру — скучно, нудно, длинно читать лекции, которые до того учены, что уж и не трогают никого. Я легко могу представить себе очень горячий спор, где-нибудь в клубе или в избе-читальне людей сельских и городских на такую примерно тему: "Ну, хорошо: понастроим мы всяческих машин, создадим города-гиганты, все вокруг нас будет грохотать, гудеть, свистеть, трещать, сверкать,— а не станем мы беднее от этого? Не станет ли человек слугой им самим созданного чудовища из стали, проводников, полиэтилена, резины, стекла, гранита, бетона, железобетона... Или это смешной страх?"

Еще одно обстоятельство: едут в те районы будущие филологи, историки, литераторы, художники, журналисты, адвокаты, то есть те, кому по роду будущей работы надо знать народные обычаи, особенности говоров, психологию

сельского человека... Там, беседуя с мужиком, можно много узнать такого, чего не знает профессор в университете.

Образовалась бы вдруг такая своеобразная "целина": молодые люди, комсомольцы, вы всегда были там, где трудно, где вы очень нужны, где надо сделать благое великое дело! Сегодня нужны ваши светлые головы, ваши знания диковинных вещей, ваша культура, начитанность — "сейте разумное, доброе, вечное" в благодарные сердца и умы тех, кто нуждается в этом.

Сколько хороших, умных книг не прочитано! Сколько открытий человечества неизвестно! Сколько радости "недополучили" люди оттого, что не готовы понимать большое серьезное искусство! И сколько дряни, халтуры, пустозвонства обрушено было в разное время на их головы! Пора бы и разобраться! В деревне такая нужда особенно вопиет. Это понятно. Это отрадно. Грустно только, что в поисках этого "разумного, вечного" надо подниматься и уходить с земли отцов и дедов.

Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное и интересное (я преподавал русский язык и литературу). Я любил их в такие минуты. И в глубине души, не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье.

СРЕДСТВА ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВА КИНО

За экранизацию литературы чаще ругают, чем хвалят, или снисходительно молчат. И правильно делают. Мало того, иногда надо по рукам бить — за спекуляцию. Но если забыть, что есть в искусстве нечестные люди, а думать: все, кто обратился к классике, желая "переселить" живых строптивых героев прославленных книг на экран, раскрывают те книги с благоговением и знанием дела,— если даже так думать,— поуменьшится ли недоумение, боль, неподдельное раздражение тех, кто, предчувствуя скорую радость, торопился в кинотеатр на встречу со своими давними друзьями? Так,

самую малость. Тоска и недоумение всегда будут сопровождать даже самые добросовестные фильмы, как только они осмелятся назваться дорогим именем той или иной повести или романа, того или иного дорогого нам писателя. (Ну и что с того, что есть удачные примеры экранизации? Оттого, что они редки, они лишь подтверждают, что нет правил без исключения.) Дело в том, что *нельзя* сделать фильм во всех отношениях равный произведению литературы, которое остается жить во времени, в душах людей. (Странно, но так: чем хуже литература, тем лучше можно сделать фильм.)

Средства литературы и средства кино не равны. Различны. Средства литературы — неизмеримо богаче, разнообразнее, природа их иная, нежели природа средств кинематографа. Литература питается теми живительными соками, которые выделяет — вечно умирая и возрождаясь, содрогаясь в мучительных процессах обновления, больно сталкиваясь в противоречиях — живая Жизнь. Кинематограф перемалывает затвердевшие продукты жизни, готовит вкусную и тоже необходимую пищу... Но горячая кровь никогда не зарумянит его щеки.

Если я и хватил через край, то в том направлении, в каком лежит истина. Так в практике нашего кино и сложилось: сценарий никто всерьез не принимает за литературу. Крайне сомнительно, что какой-нибудь уважающий себя "толстый" или "тонкий" журнал станет печатать сценарий наравне с "обычной" прозой. Это делает "Искусство кино" — двенадцать раз в год. (На сто двадцать фильмов!)

Я написал сценарий о Степане Разине, у меня вышло триста страниц. Казалось бы, ну и что? Это же *литературный* сценарий. Судить его надо пока по литературным достоинствам, по тому, удались или не удались характеры, близок ли он к исторической истине... Наконец, можно ли по нему поставить фильм? Мое кинематографическое начальство твердо сказало: много. Надо примерно сто пятьдесят — двести страниц. (Для двух серий.) Сколько я ни упрашивал, сколько ни распинался, что и мне, и тем, кто будет со мной работать, чем больше знать о том далеком времени, тем лучше. Уж коли мне пришлось перечитать уйму книг, как-то использовать редкие документы, то почему же те сто страниц — "лишние" — будут лежать у меня в столе? Я готов понять требование того же "Искусство кино" — сократить: там журнальная площадь, которую не могу занимать я один. Но ведь

тут речь идет о, так сказать, рабочем варианте. Ничуть не бывало! Один из начальников заявил, что он даже читать не будет "такую махину". С кровью сердца выдрал сто страниц. Зачем, черт его знает. Если верят, что я вообще сделаю такую картину, то почему не верят, что я, режиссер, сделаю только две серии? Мне самому больше не надо. А с трибун взываем и жалуемся: почему писатели так неохотно идут работать в кино! А как же они — охотно! — если с ними будут так вот поступать. Это только я, "киношник", позволил так с собой разговаривать. А что делать? Мне очень хочется поставить фильм о Разине. Я угробил на сценарий два года, отступать некуда. И теперь болит душа: читают, а я там просто выкидывал, обрывал сцены, вычеркивал абзацы, которые вовсе не мешали. Разве так пишут! Ладно бы, читали и говорили: "Вам не кажется, что здесь затянуто?" Нет, говорят, хорошо, но это же на четыре серии! "Да ведь будет режиссерский сценарий!" — "А вы там будете метраж занижать". При чем тут литература? Литературный сценарий... Надо, видно, так писать: "Проход казаков к Астраханскому кремлю. Казаки оживлены. Народ приветствует их. Камера выхватывает радостные лица посадских казаков". Вот и получается, что более или менее смышленая домохозяйка втайне убеждена, что она сможет написать сценарий. И пишут! Пишут пенсионеры, домохозяйки, все, кому не лень. И удивляются и жалуются, когда им говорят, что это плохо.

Вернемся, однако, к начатому разговору: о природе литературы и кино. Хоть я и жалуюсь тут, что в киноинстанциях небрежно обращаются с литературой, а ведь и я не писал так, как пишут повесть, роман или рассказ. Надо мной все время — топором — висело законное требование: все должно быть "видно". Я просто позволил себе писать чуть более пространно, подробно, чем "казаки оживлены". Не больше. Истинная литература за такие штуки бьет кованым копытом по голове.

Нет, должна быть — кинолитература, пусть — сценарий, но без претензии на "тоже литературу". А уж это дело сценаристов — встать вровень с писателем, но по-своему. И дело, наверно, творческой общественности — писательской и кинематографической — помочь молодому кровному брату - сценарию — выйти на свою собственную дорогу и шагать твердо, а не поспешать вслед повести с оскорбленным видом.

Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель. Он задумал сценарий кинокомедии. Почти уж написал. Прочи-

тал мне. Он — писатель, он не мог, чтобы "камера выхватывала лица", но он достаточно опытен, чтобы почувствовать разницу между сценарием и повестью и не написать повесть, что он прекрасно умеет. Это — сценарий. И какой! У нас такой комедии еще не было, смело могу это заявить. И смешно, и грустно, и думать охота. Но представил я, как будет он мыкаться с ней, искать режиссера, а он не умеет, да у режиссера часто — "свое на уме", а и найдется какой — ие так поймет, скажет: вот тут изменить бы... И посоветовал я ему: пиши как повесть. Появится в журнале, прочитают — может, захотят поставить. Тогда напишешь сценарий. Или продашь право на экранизацию. А так — куда с ней? "Искусство кино"... Не беспределен и этот журнал; потом, как правило, там идут сценарии, которые как-то уже нащупали свою производственную судьбу. По-моему, он согласился — так вернее. Обидно! Я пытаюсь заинтересовать режиссеров, каких знаю, этой необычной комедией, но... каждый ходит уже с замыслом, или работает с писателем, или сам пишет. Иначе и быть не может.

Пора, однако, говорить более убедительно, почему истинная, большая литература не может служить основой для кино. А может служить основой для кино истинная, большая кинолитература.

Есть у Льва Толстого рассказ "Три смерти". Гениальный рассказ с огромной мыслью: все вечно живет и вечно умирает — по-разному только. Допустим, что у кого-то зачесались руки — поставить рассказ. С этой целью внимательно прочитаем хотя бы первую главу рассказа и прикинем, что приблизительно будет на экране. Мое построение весьма и весьма хрупко: пять разных режиссеров сделают пять разных фильмов. Возможно, среди них будет один очень неплохой. Вот на этот, неплохой,— сколько нас хватит,— и будем оглядываться.

В карете едет смертельно больная госпожа, с ней — горничная Матрена, "глянцевито-румяная и полная". Сзади в коляске, едут: муж больной и доктор. Лакей, ямщики.

Чахоточная больная, как все они, видно, убеждена, что за границей, поехай она туда раньше, она "была бы совсем здорова". И теперь она рвется туда душой, верит, что будет здорова там. Муж (а ему убедительно советует доктор) робко пытается отговорить жену от столь рискованной поездки теперь, в сырость и бездорожье, но тщетно. Больная раздра-

жается, злится, мысль о смерти приводит ее в холодный ужас, для нее сейчас не существуют ни дети, ни муж, ни жизнь других людей вокруг. Ее раздражает, что они все здоровы ("Дети здоровы, а я нет". "А сам ест" — о муже), что ямщики переговариваются "сильными, веселыми голосами". Сам Толстой так говорит о ней в письме к А.А.Толстой от 1 мая 1858 года: "Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью".

Толстой не боится посадить рядом с худой и бледной госпожой полнотелую, крепкую Матрену, чья "высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем". Мы бы теперь убоялись лобовой контрастности, а он эту контрастность, где можно, всячески подчеркивает. И у него это — так и надо.

Полная Матрена старается как можно меньше занимать места в карете, жмется в угол, подобрала ноги... Чутьем здорового, но забитого и темного существа она угадывает, что злит своим здоровьем больную барыню. Та действительно злится. "Опять,— сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец салопа горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся". Толстой исподволь, но откровенно восстанавливает нас против барыни. Мы на экране должны делать то же самое. Я говорил о резкой контрастности фигур, сидящих в карете, которая не мешает Толстому. Посмотрим, как они будут выглядеть у нас. Вот — появились. Минута-две, и зритель понял: одна больна, другая здорова, одна — госпожа, другая — ее служанка. Барыня нервничает — понятно: больна. Все. Надо, чтобы они что-то делали, а то скучно. Ну, еще раз покажем на общем плане карету. Тут опять странность: казалось бы, кинематографу и карты в руки, чтобы создать иллюзию движения. Столько возможностей, столько всяких способов! У писателя — слово, предложение: "Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги". Как ни изворачивайся — залезь под карету, снимай самые колеса, снимай сбоку, сверху, сзади, снимай убегающую назад дорогу, снимай крупно, средне, общо, снимай с рук, с крана, с черта рогатого — такого движения, какое всем нутром ощущается в рассказе, в кино не будет. Будет что-то привычно мелькать, вертеться, трястись. В рассказе — это плавное, сильное (четверка), *здоровое* движение — сытые, ямские кони, молодой ямщик, лакей, кото-

рому от избытка душевного спокойствия сладко дремлется на козлах. И здесь опять невольная мысль: все это мощное, скорое движение возникло от того, что в центре его — властное, умирающее, обозленное существо. Все, стало быть, можно подчинить себе, заставить сильные силы "шибко" нести себя, а... и т.д. Точное, горькое столкновение сил жизни.

Итак:

И в рассказе и в фильме мы пока что только внешне познакомились с действующими лицами. Они еще молчат — едут. Но в фильме мы так и остались с этим. Ну, бледно загримированная актриса еще раз поморщится, вздохнет. Ну, еще раз отодвинется в угол полная Матрена... (Кстати, полная молодая актриса на экране — это совсем не то, что полная, "глянцевито-румяная" Матрена в рассказе. Для Толстого она — здоровый, естественный человек, который не виноват в том, что он здоров. Полная актриса на экране — это опасно.) Будем считать, что полная Матрена на экране не вызовет у нас усмешки, не исказит глубокой, горькой, гневной философии Толстого.

Толстой рисует портреты обеих женщин (страница в книге!) и в то же самое время налаживает мощный подводный ток своей мысли. Когда барыней произносится первое слово "Опять!" — мы уже вовлечены в движение толстовской мысли, мы уже участники его могучего мыслительного процесса. На экране это "Опять!" будет маленьким дополнением к страдальческим гримасам актрисы.

Попробуем, однако, вырваться из этого тесного круга — снимем, например, деталь, которую предлагает Толстой: легкое прикосновение салопа Матреши к ноге больной, чем вызвала ее раздражение. В кино деталь — сильно действующее средство. Она обязательно обращает на себя внимание и требует разгадки: "Зачем?" Мы отвлекаемся на деталь и потом, возвращаясь к общему действию, лучше понимаем происходящее. Сняли деталь: салоп чуть-чуть прислонился к ноге барыни и вызвал у той новый всплеск раздражения — "Опять!". Деталь могла быть иной: чуть коснулась нога ноги, локоть Матрены мог слегка потревожить барыню и т.п. Толстой говорит — "конец салопа". Это неспроста. Запомним пока.

Что дала деталь в кино, что прибавила она к тому, что мы уже знаем, поняли? Мало, почти ничего: такая мелочь, пустяк, а раздражает больную. Ей плохо. Все.

Толстой нас привел к другому. Во-первых, почему не рука, не нога Матреши коснулась барыни? Потому, что ноги и руки свои она усиленно "сторожит" — не приведи господи как-нибудь потревожить больную, которую она, видно, жалеет. А край салопа просмотрела. Неглупая барыня могла бы это понять, только она не хочет это понимать, она словно ждала этого прикосновения, чтобы сказать с раздражением "Опять!" И мы не заметили, как, когда, каким образом писатель сместил к этому времени наше сочувствие с больной, смертельно больной, все еще, пожалуй, красивой женщины на здоровую, простодушную девку (что вроде бы даже и нехорошо)? Но это так; мы, в свою очередь, тоже уже накопили немножко раздражения: "При чем же тут горничная-то, если тебе плохо? Ты ведь умна, образованна, нежна, это твое первое страшное — горе, ты еще в смерть-то не веришь — и уж так тихо, с таким отчаянием ненавидеть все живое и здоровое!" Это то, что требуется Толстому.

А в кино пока что продолжают покачиваться в карете две женщины: одна больна, другая здорова: салоп здоровой нечаянно коснулся больной, она с раздражением сказала: "Опять!" Здоровая отодвинулась в угол. Больная посмотрела на нее долгим взглядом. Здоровая покраснела.

У Толстого в этом "опять" и в том, как "прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной", сквозит, пожалуй, искреннее недоумение: почему она, дворянка, красивая, которой открыты все радости и красоты мира, которую окружает блестящее общество,— почему она больна, а вот это примитивное существо полно сил и здоровья? Ей, барыне, более необходимо здоровье, чем ее горничной. Барыне это представляется чудовищной несправедливостью, и она свой упрек прямехонько возносит туда, кверху: "Боже мой! За что же?" "Лжет!" — гневно заявляет Толстой. Здесь вековая, освященная попами и законами привычка думать: я, крепостник, барин, — человек, ты, слуга мой и мой раб,— скотина. За что же — тебе здоровье, мне — чахотка! "Лжет",— говорит Толстой, лжет перед людьми и богом, "и лжет перед смертью".

Ну и так далее. Еще там короткий разговор барыни с горничной, разговор мужа больной, доктора и самой больной на станции, и там Толстой тонко, немилосердно, чуть не злорадно добивает барыньку, вконец парализует наше к ней

сострадание, совсем раздевает ее, притворную, злую, трусливую, с холодным камешком в больной груди.

Потом две другие смерти — старого ямщика Федора и дерева.

Ну и пора уж меня и спросить: а как же все-таки сделать так, чтобы рассказ этот, глыбистый, мудрый, обрел свою жизнь на экране? И я тоже, пользуясь правом спросить, спрашиваю: а зачем? (Кроме того, я не знаю, как рассказ этот можно перенести на экран, не умертвив его.) А главное, зачем? Ведь будет хуже, если не совсем пошло. Лучше или так же — не будет. Будет только вред: в наше суетливое время, которое мы совсем напрасно всегда называем бурным, да еще с нашим-то — погонять иногда лодыря, проторчать лучше у телевизора,— мы посмотрим картину и не прочитаем рассказ.

Вот другой рассказ, другого великого писателя, Достоевского: "Мужик Марей". Рассказ, где колыхнулось такое глубокое страдание, где вместилось столько русского горя, молчаливого, мучительного... Где как бы вскипела волна горького гнева и, прокатившись из края в край изболевшей души мученика, омыв ее, нежданно высветила душу эту такой неподдельной любовью к своему страдальцу-народу. Сколько ни погружайся в целительные родниковые струи, бьющие откуда-то со дна — этого, небольшого по объему, произведения, дна не достать — это история народа и его будущее. Вечен великий народ, и он вечно будет выводить вперед своих мыслителей, страдальцев, заступников, творцов. Нет, такое кинематографу пока не по плечу. И в этом нет беды.

Кино поистине восьмое чудо света, не надо только ему гоняться за литературой. Тем скорее оно обретет свою литературу, не будет на плоский экран проецировать объемные фигуры, созданные магией слова. Этот волшебник многому уже научился, фокусы его становятся все загадочнее, все умнее и порой перестают быть фокусами, становятся чудом. Он молод и силен, всегда на виду — он еще развернется, заставит уважать себя.

Теперь что касается моего небольшого опыта в кино и в литературе. Грешно мне было бы жаловаться на "киношную" судьбу, но — тут надо преодолеть большую неловкость — рассказы, по которым я поставил оба фильма,— лучше.

Никто, кроме меня, так не думает. (Разве только критик Генрих Митин.)

Отныне я перестану ставить фильмы по своим рассказам, буду пробовать писать литературу только для кино (когда — для кино). Может быть, когда-нибудь что-нибудь выйдет. Это должна быть чрезвычайно гибкая литература, которая не будет приспосабливать к себе индивидуальности режиссера и исполнителей, а будет сама к ним приспосабливаться. Но тогда она потребует: режиссер, исполнители должны быть — художники. И так и надо.

Что мы делаем, когда экранизируем произведение литературы? Мы мучаемся, добиваясь, чтоб было, как у писателя, потому что у писателя — хорошо. У писателя хорошо, потому что он *так* думает и чувствует. Даже если мы найдем средства и хоть в малой степени возместим неизбежную утрату, о которой говорилось выше, мы, чтобы у нас тоже было хорошо, должны *так же* думать и чувствовать, как автор литературного произведения. Так не бывает. Значит, настраиваем себя "под автора". Бывает — похоже. Но пропадет почти все, пропадет живое тепло первозданности, потому что для нас — это не наше, не свое. Я могу допустить возможность такого сценария, который позволит разрушить себя во имя создания единого сплава из индивидуальностей автора, режиссера, актера, оператора, художника, композитора, звукооператора, гримера и т.п. Писатели не позволяют разрушать свое произведение, известно, как они отстаивают каждое свое слово. Они правы. Для чего же убирать или менять то, что нашлось так нелегко и точно встало на свое место. Сценарист может приветствовать разрушение своего сочинения, может быть тут же, где сочинение разрушают, и помогать разрушению и созданию. Писатель пишет за столом, вычеркивает, переписывает, меняет... Фильм "пишется" на съемочной площадке, почему же там мастера не могут ничего "вычеркнуть", переделать? Они обязаны это делать. Никакой гений не работал одним махом.

Была у меня, к примеру, в фильме "Ваш сын и брат" сцена встречи старшего сына Игната с отцом и матерью. Весьма житейская сцена, всем знакомая... Актеры великолепные, знали, что им делать. Я полагался на них, но... между нами лежал сценарий. Где-то я допускал, чтобы они привносили в сцену свой собственный опыт, радовался удачно найденному слову, правдивой интонации, жесту, взгляду, "не запрограм-

мированным" в моей режиссерской голове, но не больше. Надо было перешагнуть через сценарий (сценарий мой) и "сотворить" со всеми вместе сцену встречи. (С Толстым или Достоевским этого нельзя делать. Со мной можно.) Пять человек перед камерой да за камерой пятнадцать... А кто-то помнит случай из своей жизни, когда он "тоже приехал...". Кому-то припомнилась шутка, вроде: "А то письмо, в котором вы просили денег, я не получил..." В конце концов, все мы когда-нибудь уезжали из дома и приезжали домой. Разогреть бы товарищей моих, попросить: "А как ты сам приезжал? Покажи". Но все положились на сценарий и на меня. А меня влекла губительная сила инерции — так все работают. Вышла "проходная" сцена. А могла быть живая и увлекательная, не свяжи нас сценарий по рукам и ногам. Никогда актер не сыграет так неожиданно и верно то, что ему рассказано, подсказано или что он прочитал, как сыграет то, что помнит, знает, сам прожил. А мы же не о марсианах делаем фильмы.

Сценарий должен быть руководством к действию, а сценарист — сорежиссером. Я, может быть, говорю о так называемом авторском фильме, но кинематограф, по-моему, туда именно и идет. Это совсем не значит, что режиссер должен всегда сам себе писать сценарий. Но люди, которые собрались вместе, чтобы сделать фильм, должны действовать как заговорщики: неважно, кто будет стрелять в принца, отвечают все одинаково, и всем одинаково необходимо убить принца.

То есть, таким образом, сценарист не тогда сценарист (хороший или плохой), когда написал в своем сочинении: "Конец", а когда будет написано: "Конец фильма". До этого он может написать сочинение, равное по объему роману, может, сочинение это будет в размер повести и меньше — не суть дела, все должно однажды послужить будущему фильму и умереть как самостоятельная художественная ценность.

Кинематограф требует действия, поступков людей, разговора. В известном смысле это облегчает задачу писателя-сценариста: авторские размышления, подсказка, оценка — очень и очень рискованное дело. Но это же делает его задачу и крайне нелегкой: поступки людей должны быть вызваны к жизни авторским размышлением, и размышления эти должны стать достоянием людей. Какие же мысли и чувства должны терзать сценариста, чтобы, оставаясь "безмолвным" (авторско-дикторский текст — это почти всегда плохо, кроме необходимого комментария к документу), заставить людей

мыслить и волноваться своими мыслями и чувствами! Авторская подсказка в теперешнем кино, вложенная в уста действующих лиц,— это тоже никуда не годится. Не проходит. Раздражает. Предполагает в зрителе дурака, на что он справедливо обижается.

Но кто должен сделать так, чтобы праздник состоялся? К кому идет автор-сценарист и выкладывает свои сокровенные думы? К режиссеру. Вот тот, кто двинет на зрителя всю громаду (если таковая имеется: а не имеется — не берись) мыслей и чувствований, кто "растолмачит" зрителю сценарный "бред". Без него нет сценариста, писателя, автора, без него нет произведения искусства. Он — художник. Вот во что надо, наконец, искренне поверить. Мы верим не до конца. Если режиссер говорит, что вот по такому-то сценарию я хочу сделать фильм, ему не верят, что он сделает хороший фильм. Сценарий читают еще 20 — 30 человек, потом не раз, не два — много раз собираются и решают: сделает режиссер по этому сценарию хороший фильм или не сделает? Одни говорят — сделает, другие говорят — не сделает. И он сидит слушает. То есть разговор-то вроде бы идет о сценарии — можно ли по нему сделать хороший фильм? Но ведь сидит живой человек, который сказал: "Я сделаю". А ему как бы говорят: "А вы помолчите пока, не ваше дело. Вот мы решим, тогда уж принимайтесь делать. Или ищите другой сценарий".

Если уж случилось так, что два человека решают судьбу фильма — сценарист и режиссер,— то и верить им надо. Не спрашивают же композитора, живописца, писателя, скульптора, когда они еще не начинали работать: а вы сможете сделать? Режиссера спрашивают. Да если бы спрашивали? Сомневаются и советуют, советуют и снова сомневаются. Так работать трудно. Самого крепкого человека можно пошатнуть.

Наверно, придет время, когда эти двое — сценарист и режиссер — станут действительно хозяевами своей судьбы и работы. Для этого один должен перестать "повторять" литературу, другого должны перестать бесконечно опекать и контролировать. Придет такое время. Туда идем.

НРАВСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ ПРАВДА

Человек трезвый, разумный, конечно же,— везде, всегда — до конца понимает свое время, знает правду, и если обстоятельства таковы, что лучше о ней, правде, пока помол-

чать, он молчит. Человек умный и талантливый как-нибудь, да найдет способ выявить правду. Хоть намеком, хоть полусловом — иначе она его замучает, иначе, как ему кажется, жизнь пройдет впустую. Гений обрушит всю правду с блеском и грохотом на головы и души людские. Обстоятельства, может быть, убьют его, но он сделает свое дело. Человек просто талантливый — этот совершенно точно отразит свое время (в песне, в поступке, в тоске, в романе), быть может, сам того не поймет, но откроет глаза мыслящим и умным.

Есть на Руси еще один тип человека, в котором время, правда времени вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном... Человек этот — дурачок. Это давно заметили (юродивые, кликуши, странники не от мира сего — много их было в русской литературе, в преданиях народных, в сказках), и не стоило бы, может быть, так многозначительно вступать в статью, если бы не желание поделиться собственными наблюдениями на этот счет.

Был у нас в селе (в тридцатые годы) Вася-дурачок... Не боялся ни буранов, ни морозов (зимой мог босиком ходить), не боялся строгого председателя сельсовета, не боялся даже нас, мальчишек, но... до поры.

Он был парень сильный, перекидывал большие камни на тот берег довольно широкой протоки Катуни. Это было и наше любимое занятие. Мы с Васей подолгу и мирно состязались — кто бросит дальше. Вася, редкой доброты человек, забывал обиды, какие мы ему причиняли, чувствовал себя славно, нисколько не гордился, что бросает камни дальше нас... Но в нас уже назревало злое желание — "завести" Васю. Кто-нибудь доставал из кармана лист бумаги, карандаш и вдруг кричал:

— Вася, в коммуну запишу!

Тут — все мы — дай бог ноги! Вася хватал что ни попадя и гнался за нами. Камни свистели над нашими головами. Могла быть беда. А когда Вася оставался один, он садился на дорогу и горько плакал.

Вот: лет уж семь-восемь, как была коллективизация (а попытки с коммунами еще раньше), крестьянство претерпело невиданные изменения в своей жизни: была вера, был фанатизм, был страх, были радость и горе, и все это на доверчивую душу мужика, и душа эта содрогнулась. И это болезненное движение народной души, этот крутой излом в

его судьбе печальным образом навсегда остался жить в одном человеке.

Позже была — война. Может быть, самая страшная в истории нашего народа. Новые дурачки. Больше — дурочки. Была Поля-дурочка. (Народ ласково называет их — Поля, Вася, Ваня...) Поля была раньше учительницей, проводила единственного сына на войну, и его вскоре у б и л о. (Я вот почему подчеркнул это слово: ведь правильно — убили, а говорят — убило. Войну народ воспринимает как напасть, бедствие. "Громом убило...") Поля свихнулась от горя, ходила в чем попало, ночевала в банях, питалась подаянием... Плохо ей было, куда уж хуже! А она брала откуда-то непонятную жизнерадостную силу, трижды в день маршировала по улицам села и с горящими глазами звонко пела: "Вставай, страна огромная!"

Теперь предстоит самое странное и рискованное: провести параллель. Герой нашего времени — это всегда "дурачок", в котором наиболее выразительным образом живет его время, правда этого времени. Давайте представим, что это не так. Идет война, народ напрягает все силы в борьбе с врагом, шлет и шлет лучших своих сынов на поля сражений, и они гибнут тысячами, поливая родную землю молодой кровью. Страшное время! И вот появляется повесть, роман, где героем выведен этакий философствующий нытик, эгоист с душой паралитика, которая вся мучительно — *только хочет жить!* Это будет — про дезертира, предателя. И пусть он будет вовсе не глуп, иногда и не трус, и любить может, и не обжирается, как свинья, когда кругом голод... Пусть — тем хуже: значит, он не только дезертир, а — еще сволочь. В другое время — что ж, что человек безнадежно смотрит на окружающую его действительность, что он любит и хочет жить — что? Ну, есть такие. Были. Будут. То есть в другое время он-то как раз и может быть героем, и вовсе не сволочью. Я не говорю о герое положительном, а о таком, который — состоянием души, характером, взглядами — выражает то, чем живет с ним вместе его народ, о типичном, что ли.

Когда герой не выдуман, он не может быть только безнравственным или только нравственным. А вот когда он выдуман в угоду кому-то, тут он, герой,— явление что ни на есть безнравственное. Здесь задумали кого-то обмануть, обокрасть чью-то душу... В делах материальных, так сказать,

за это судят. В духовной жизни ущерб народу такими вот лазутчиками из мира лжи, угодничества наносится страшный.

Как у всякого, что-то делающего в искусстве, у меня с читателями и зрителями есть еще отношения "интимные" — письма. Пишут. Требуют. Требуют красивого героя. Ругают за грубость героев, за их выпивки и т.п. Удивляет, конечно, известная категоричность, с какой требуют и ругают. Действительно, редкая уверенность в собственной правоте. Но больше удивляет искренность и злость, с какой это делается. Просто поразительно! Чуть не анонимки с угрозой убить из-за угла кирпичом. А ведь чего требуют? Чтобы я выдумывал. У него, дьявола, живет за стенкой сосед, который работает, выпивает по выходным (иногда — шумно), бывает, ссорится с женой... В него он не верит, отрицает, а поверит, если я навру с три короба; благодарен будет, всплакнет у телевизора, умиленный, и ляжет спать со спокойной душой. Есть "культурная" тетя у меня в деревне, та все возмущается: "Одна ругань! Писатель..." Мать моя не знает, куда глаза девать от стыда. Есть тети в штанах: "грубый мужик". А невдомек им: если бы мои "мужики" не были бы грубыми, они не были бы нежными.

В общем, требуют нравственного героя. В меру моих сил я и пекусь об этом. Но только для меня нравственность — не совсем герой. И герой, конечно, но — живой, из нравственного искусства, а не глянцевитый манекен, гладкий и мертвый, от которого хочется отдернуть руку. Чем больше такой манекен "похож" на живого человека (есть большие мастера этого дела), тем неприятнее. Попробуйте долго смотреть ему (манекену) в глаза, станет не по себе.

Философия, которая — вот уж скоро сорок лет — норма моей жизни, есть философия мужественная. Так почему я, читатель, зритель, должен отказывать себе в счастье — прямо смотреть в глаза правде? Разве не смогу я отличить, когда мне рассказывают про жизнь, какая она есть, а когда хотят зачем-то обмануть? Я не политик, легко могу запутаться в сложных вопросах, но как рядовой член партии коммунистов СССР я верю, что принадлежу к партии деятельной и справедливой; а как художник я не могу обманывать свой народ — показывать жизнь только счастливой, например. Правда бывает и горькой. Если я ее буду скрывать, буду твердить, что все хорошо, все прекрасно, то в конце концов

я и партию свою подведу. Там, где люди ее должны были бы задуматься, сосредоточить силы и устранить недостатки, они, поверив мне, останутся спокойными. Это не по-хозяйски. Я б хотел помогать партии. Хотел бы показывать правду. Я верю в силы своего народа, очень люблю Родину — я не отчаиваюсь. Напротив. Но когда мне возвращают рассказ — не из-за его низкого художественного качества (это дают понять), по другим причинам — неловко, стыдно.

Нравственность есть Правда. Не просто правда, а — Правда. Ибо это мужество, честность, это значит — жить народной радостью и болью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Правду.

Положим, общество живет в лихое безвременье. Так случилось, что умному, деятельному негде приложить свои силы и разум — сильные мира идиоты не нуждаются в нем, напротив, он мешает им. Нельзя рта открыть — грубая ладонь жандарма сразу закроет его. (Хорошо, если только закроет, а то и по зубам треснет.) И вот в такое тяжкое для народа его передовых людей время появляется в литературе герой яркий, неприкаянный, непутевый. На правду он махнул рукой — она противна ему, восстать сил нет. Что, он безнравственен? Печорин безнравственен? Обломов безнравственен? Нет, тут что-то другое. Они — правдивы. Они также правдивы и небезнравственны, как правдивы и небезнравственны мятежники-декабристы. "Плохая им досталась доля" — и тем и другим. Царизм убил их. Но не для того же сегодня не перестают читать "Героя нашего времени" и "Обломова", чтобы учиться нравственности у Печорина или у Ильи Обломова. Они отразили свое время, а мы, их соотечественники, хотим знать то время. Лермонтов и Гончаров сделали свое дело: они рассказали Правду. Теперь мы ее познаем. Познавали ее и тогда. И появлялись другие герои — способные действовать. Общество, познавая само себя, обретает силы. И только так оно движется вперед.

Теперь хочется порассуждать об "устоявшемся" положительном герое наших рассказов, повестей и романов. И особенно фильмов.

Сразу признаюсь: я не уважаю его, "устоявшегося". Такой он положительный, совершенный, нравственный, трезвый, целеустремленный, что тоска берет: никогда таким не стать! Он — этакий непоседа, ему бы все у костров, да по тропинкам, по тропинкам!.. (Кстати, на какие деньги он так много

путешествует?) И что делать тем, кто не может так много "бродить" с гитарой, кто не может "рвануть" в тайгу (а семью куда?), у кого только месяц в году — отпуск, а родных много в разных местах и хочется к ним поехать... Завидовать? И завидовали бы, если бы верили. Я подозреваю, никто в таких героев не верит. Зачем же они кочуют из книги в книгу, из фильма в фильм? Зачем они все совершенствуются и совершенствуются — чтобы служить примером? Да неужели мы так неразумны, что не видим, не чувствуем, как эта "агитация положительным героем" бьет нас другим концом! И как еще бьет!

Как-то я смотрел передачу по телевидению. Выступала женщина-адвокат. Она задалась целью проследить причину одного преступления. Преступление никакое нельзя назвать — "небольшое", но здесь оно было не такое уж большое: ребята-рабочие подрались в пьяном виде, и одному досталось основательно. (Повторяю, я не собираюсь их оправдывать, этих молодых рабочих.) Словом, их судили и приговорили к разным срокам заключения. Почему, спросила себя женщина-адвокат, это случилось? И стала исследовать. Пошла по людям, которые общались с этими ребятами (соседи, рабочие, мастера тех предприятий, где они работали). И всем задавала примерно такие вопросы:

1. Вы знали их. Чем они жили? О чем мечтали?

2. Вот вы играли с ними в домино. А какие у них были цели в жизни? Чего они хотели добиться в жизни?

3. Вы стояли рядом у станка. Вы знали, как они проводят свободное время? Ходят ли в театр, в кино? Сколько раз в месяц, если ходят?

И т.п.

Ребята не частили, как выяснилось, в театры и кино, мало читали — адвоката это не удивило: она ждала этого. Но вот что ее неприятно удивило: и соседи, и товарищи по работе, и друзья осужденных *тоже* не слишком увлекаются искусством, тоже зачастую предпочитают лучше "забить козла", чем сходить в театр или в кино. Не хотят также посидеть над интересной книгой. И она горько поведала об этом с экрана телевизора. Руку, товарищ! Грустно, когда драгоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и потому, что — вот пришел человек в этот мир... Чтобы, конечно, потрудиться, вырастить хлеб, сделать чудесную машину, построить дом, но еще — чтобы не пропустить

ПРЕКРАСНОГО в этом мире. Прекрасное несет людям ИСКУССТВО, И МЫСЛЬ тоже несет прекрасное. Мысль — это тоже нечто законченное. Вот вас и поразило: как люди так легко, сами отказывают себе в прекрасном!

Вы выступили хорошо.

Но что, если бы кто-нибудь из опрашиваемых вами ответил так:

"Мне скучно ходить в кино. Там много вранья, неправды. А мне отец с детства привил ремнем привычку: чтоб я сам никогда не врал и чтоб презирал людей, которые врут".

И ведь он доказал бы Вам (сославшись на какой-нибудь недавно виденный им фильм), что там — врут.

Стало быть, я так думаю, призывать людей к общению с *искусством* надо всегда, но всегда надо и художников призывать тоже к *искусству*. А то можно оказаться в смешном положении: будешь ратовать, прослывешь культурным человеком, а какой-нибудь "некультурный" возьмет и посадит тебя в калошу.

Мы часто употребляем выражения: "плохой фильм", "слабый роман", "середняк", "пошлость" и т.п. Почему мы не говорим: "лживый фильм", "лживый роман"? Ведь именно это качество — ложь — и составляет в них пошлость, слабость. Еще пишут иногда в рецензиях: "Авторы руководствовались добрыми намерениями, но..." Господи, да кто же, приступая к работе над книгой, фильмом, руководствуется дурными намерениями? Какими, например? Заработать деньги? Но всякий художник хочет заработать деньги — они нужны ему. Но, скажут, есть халтурщики, которым... Речь идет о художниках. Тогда еще один вопрос: способен ли художник врать? Способен. Итак, речь идет о художниках. И весь призыв к ним: смелее насчет правды! Единственно дурное намерение — сознательно не сказать правду.

А что, собственно, смелее-то? Смелее постигать глубину жизни, не бояться, например, ее мрачноватых подвалов. Тогда это будет — борьба за человека. А как же иначе? Иначе будет, как парадный подъезд главного здания Мосфильма: огромный, прекрасный и... И вечно закрыт. Люди проходят на работу через проходную и весь день потом снуют из здания в здание, пользуясь обычными дверьми. Жизнь студии — внутри ее, рабочая. Парадный подъезд не нужен. Даже из архитектурных соображений — он тяжелый, зимой

завален снегом и только на грусть наводит: запустение какое-то.

В своем фильме "Живет такой парень" я хотел рассказать о хорошем, добром парне, который как бы "развозит" на своем "газике" доброту людям. Он не знает, как она нужна им, он делает это потому, что добрый запас его души — большой и просит выхода. Не ахти какая мысль, но фильм делать стоило. Ну и делай — не кричи об этом, рассказывай... Нет, мне надо было подмахнуть парню "геройский поступок" — он отвел и бросил с обрыва горящую машину, тем самым предотвратил взрыв на бензохранилище, спас народное добро. Сработала проклятая, въедливая привычка: много видел подобных "поступков" у других авторов и сам "поступил" так же. Тут-то у меня и не вышло разговора с тем парнем, таким же шофером, может быть, как мой герой, с которым — ах как хотелось! — надо бы поговорить. Случилось, как случается с неумной мамой, когда она берет своего дитятку за руку и уводит со двора — чтобы "уличные" мальчишки не подействовали на него дурно: дитятко исключительное, на "фортепьянах" учится. Мое дитятко тоже оказалось исключительным: я сам себя высек. Почаще надо останавливать руку, а то она нарабатывает нехорошую инерцию.

Чувствую необходимость оговорить одно обстоятельство. А как быть со всякого рода шкурниками, бюрократами, если они изображены предельно правдиво? Они что, нравственные герои? Нет. Но они не безнравственны. Они есть та правда, которую заключает в себе всякое время (и время социализма тоже), которую *необходимо знать*. Правда труженика и правда паразита, правда добра и правда зла — это и есть, пожалуй, предмет истинного искусства. И это есть высшая Нравственность, которая есть Правда. Нравственным или безнравственным может быть искусство, а не герои. Только безнравственное искусство в состоянии создавать образы лживые — и "положительные", и "отрицательные" (если их можно назвать образами). Говорить в таком случае о нравственности или безнравственности нелепо. Честное, мужественное искусство не задается целью указывать пальцем: что нравственно, а что безнравственно, оно имеет дело с человеком "в целом" и хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему правду о нем. Учить можно, но если учить по принципу: это — "бяка", а это — "мня-мня" — лучше не учить. Ученики будут вырастать ленивыми, хитрыми, с на-

клонностью к паразитическому образу жизни. Потому что нет ничего легче: не самому решить трудную задачу, а списать с доски. Нравственность можно подделать. И подделывают. И очень удобно живут — в "соответствии"... В заключение хочу показать на примере, как создается фальшивое произведение, способное запутать и обмануть. Пример мой собственный. Буду, сколько меня хватит, правдивым. Пример, мне кажется, тем более поучительный, что я все-таки врать и придумывать не хотел.

Задумал такой сценарий:

Живет на свете (в далекой глухой деревне) обиженный судьбой паренек Минька Громов. Мал ростом, худ и вдобавок прихрамывает: парнишкой еще уснул на прицепе, свалился, и ему шаркнуло плугом по ноге. Чудом жить остался: тракторист случайно оглянулся, дал тормоз. А то бы перепахало всего.

Так вот, не повезло парню. Наверно, от этого он стал пронзительно-дерзкий, ругался со всеми, даже наскакивал драться. Таких — всерьез — не любят, но охотно потешаются и подзадоривают на всякие выходки.

Мне захотелось всеми возможными средствами кино оградить этого доброго человека от людских насмешек, выявить попутно свой собственный запас доброты (надо думать, немалый) — восстановить слабого и беззащитного в правах человека. Ходил радовался: задумал хорошее дело. Видел Миньку, знал актера, который сыграет его. Но еще держал себя, не начинал писать: рано. По некоторому опыту знаю: надо довести себя до почти мучительного нетерпения.

Надо знать также всех людей, которые будут окружать героя. И вот:

С Минькой живет безнадежно больной отец. (Фильм должен был с того начаться: отец умирает.)

Есть у Миньки старший брат Илья, который живет в большом городе, работает прорабом на стройке. Илье за тридцать, среднего роста, широк и надежен в плечах, красив, взгляд прямой, твердый, несколько угрюмый, тяжелый. Нравится женщинам. Знает это. Немногословен.

Есть по соседству с Минькой девушка Валя, красивая, крупная, очень неглупая. Минька болезненно любит ее, она — нет, конечно. Ей весело с Минькой, но ей тоже охота любить — пора. Некого. Парни разъехались из деревни, а те,

что остались, переженились или совсем не пара красавице Вале.

Есть еще сосед Миньки, огромный Мыкола, великий молчун и недалекий человек. Он тоже влюблен в Валю.

Эту незатейливую ситуацию (даже не треугольник) Минька объясняет брату так:

— Вот она — рядом живет, Валька-то... Помнишь? Ковалевых...

— Так она же маленькая!

— Маленькая! С Петра Первого. Пожалуйста: хоть завтра женился бы — не хочет! Что я сделаю?! Люблю ее, как это... как не знаю. Прямо задушил бы, гадину! — Минька выпил еще рюмку. Снялся с места, заходил по избе, горестно размахивая руками. Походил он на птицу, подбитую камнем.— Но я ее допеку, душа с меня вон. Нет таких крепостей...

— Красивая девка?

— На 37 сантиметров выше меня. Вот здесь — во! — полна пазуха. Глаза горят, как у ведьмы, вся гладкая... Как увижу ее, так полдня хвораю.

— Выбрал бы поменьше. Куда она тебе такая?

— Тут на принцип дело пошло. Вот тут оглобля одна поселилась, на 48 сантиметров выше меня. Мыкола, твою мать-то...

— Чей?

— Ты их не знаешь, приезжие. Он тоже втюрился в нее. Так тот хочет измором взять. Как увидит, что я к ней пошел, надевает, бендеровец, бостоновый костюм, приходит тоже и сидит. Веришь-нет, может три часа сидеть и ни слова не скажет. Сидит, и все — специально мешает мне. Мне уж давно надо от слов к делу переходить, а он сидит.

— Поговорил бы с ним.

— Говорил! Он только мычит. Говорю, если ты — бугай, жердь, оглобля, так в этом и все? Тут вот что требуется! — Минька постучал себя по лбу.— Говорю, я — талантливый человек, могу сутки подряд говорить, и то у меня не получается. Куда ты лезешь?

— А она что?

— Валька-то? Она не переваривает его. Но он упрямый, бугай. Я опасаюсь, что он сидит-сидит, да чего-нибудь все же высидит. Парней-то в деревне я да еще несколько.

— Трепешься много, Минька, поэтому к тебе серьезно не относятся. Надо хитрей быть.

— А что мне остается делать?! Что я — витязь в тигровой шкуре? Мне больше нечем брать. Было бы образование, я бы в артисты пошел, а так... ну чем больше?

И т.д.

Пришло время, сел писать. Писалось легко, податливо. Навалял 60 страниц и куда-то уехал. С сожалением оторвался от работы и все думал потом о написанном. И чем больше думал, тем тревожнее и тревожнее становилось на душе. Что-то, однако, не то! А что? — не пойму. И под конец так захотелось перечитать написанное, что перестало интересовать все окружающее. Чуял какой-то грех, вину, беду. Приехал, перечитал — так и есть: все написанное (а это почти весь сценарий) — ловкая выдумка. Теперь время прошло, я сумею спокойно понять свой промах.

Он в самом замысле. Все удобное мешает искусству. В данном случае очень уж удобная схема. Добрый, обойденный судьбой парень, его не любят, смеются над ним, стало быть, зрительская любовь ему обеспечена. По схеме ранних лет кинематографа авторы давали в конце такому герою орден — "за боль годов". Теперь схема иная: герой орден не получает, но всемогущий перст автора в конце устремлен на него: смотрите, какой это хороший, добрый, сердечный человек, и не стыдно ли всем нам, что ему плохо жить! Так я и сделал. Отец Миньки доживает последние дни. Минька дает брату телеграмму. Брат Илья приезжает, но не успевает к живому отцу. Уже начало непоправимо плохо. Как читатель и зритель сам не переваривaю, когда действие повести или фильма начинается с чьего-нибудь приезда. Сколько можно!.. Приезжает новый агроном, председатель колхоза, приезжают строители, приезжают дяди, тети, гости, секретари райкомов — столько приезжают, что скулы воротит. И еще: я тут же выдал свое сочувствие герою — зачем сразу заставать его в таком горе, от которого содрогнется всякое сердце? Я попросту сделал себе легкую жизнь: не утруждая себя особенно, заявил: "Смотрите, какой он непосредственный, милый и как изболела его душа!" Не меньше в лоб получилось и с Ильей. Я тоже сразу раскрыл все карты: и он тоже поверяется смертью отца, относится к ней много спокойнее — очерствел в городе, прихватил жестокой житейской "мудрости" современного городского мещанства ("надо хитрей быть", "не открывай всем свою душу — ткнут пальцем, сделают больно").

Все сразу ясно. Дальше схема продолжает гнуть меня в бараний рог. Силы расставлены, рука летит по бумаге, сталкивая героев, слегка путая сюжет (современно!). Что может ждать более или менее поднаторевший зритель? Что красивый, сильный, привлекательный Илья (поначалу, по крайней мере) понравился Вале, а ему — умная, гордая, красивая Валя. И он (с первых страниц сценария известно: у него в городе не сложилась семья), научившийся брать у жизни крепкой рукой сколько подвернется, отнимет у нищих суму, лишит их всякой надежды на будущее — увезет Валю в город. Точно. На большее меня не хватило. Я только малость пококетничал: Илья отнимает у Миньки и Мыколы Валю-надежду не без некоторой внутренней борьбы — ему все-таки жалко их. Но...

Название сценария было под стать содержанию: "Враг мой" — усеченное: "Брат мой — враг мой"!

Если бы меня кто-нибудь другой ругал за сценарий или за фильм (критик), а не я сам себя, я бы, наверно, ощетинился: "А что, так не бывает в жизни?" Впрочем, нет, едва ли. Стыдно было бы. Так, конечно, бывает, но так не должно быть в искусстве. Нельзя, чтобы авторская воля наводила фокус на те только явления жизни, которые она найдет наиболее удобными для самовыявления. Не всегда надо понимать до конца то, о чем пишешь — так легче оставаться непредвзятым. В случае со мной схема потому одолела меня, почему всякой девушке, например, трудно, почти невозможно пойти на свидание в заурядном платье, оставив дома нарядное. Мысль моя была нарядная, яркая, я почувствовал себя хорошо. Смотрите: родные братья, судьба растащила их, увела старшего далеко от дома, научила равнодушию, жестокости, скрытности — это то, чем он расплатился за городское благополучие. А вот младший... Ну, и так далее. Всем воздал. Может быть, фильм и смотрелся бы... Но, господи! Как он выдуман! Как все удобно там, как все хорошо и ясно. И вот: Минька — нравственный, Илья — безнравственный. Так пошел бы шагать по экранам еще один недоносок. (Это вовсе не ручательство, что фильм, который я теперь делаю, будет прекрасен во всех отношениях. Постараюсь, конечно, чтобы пошлость и недомыслие не отравили его еще в утробе.) Изо всех сил буду стараться рассказать правду о людях. Какую знаю, живя с ними в одно время.

Ну и, как говорится, дай мне бог здоровья!

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...

Вот моя деревня...

Вот мой дом родной...

А вот моя мать... Дважды была замужем, дважды оставалась вдовой. Первый раз овдовела в 22 года, второй раз в 31 год, в 1942 г. Много сил, собственно, всю жизнь отдала детям. Теперь думает, что сын ее вышел в люди, большой человек в городе. Пусть так думает. Я у нее учился писать рассказы.

Вот тетки мои:

Авдотья Сергеевна. Вдова. Вырастила двоих детей.

Анна Сергеевна. Вдова. Вырастила пятерых детей.

Вера Сергеевна. Вдова. Один сын.

Вдовы образца 1941—1945 гг.

Когда-то они хорошо пели. Теперь не могут. Просил — не могут.

Редкого терпения люди! Я не склонен ни к преувеличениям, ни к преуменьшениям национальных достоинств русского человека, но то, что я видел, что привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько может вынести русская женщина, сколько она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба никому на земле столько вынести. Не надо.

Они не сознают этого. Да и сам я начал понимать это много лет спустя. И вот захотелось рассказать о них... И о них, и о других людях моей деревни.

Сюжета в этой картине нет. Впрочем, если мысль авторская может быть сюжетом, а так бывает, то пусть будет сюжет. Мысль же такова: это прекрасные люди. Красивые люди. Добрые люди. Трудолюбивые. И я всей силой души, по-сыновьи, хочу им счастья. Это моя родина, как же мне не хотеть этого.

Можно спросить их самих: какой фильм они хотели бы увидеть о себе? Они расскажут.

И дед Николай Петрович расскажет... Как себя помню, так помню, что он уже был стариком. А мне уже — сорок. А он все старик. Сколько же он — все старик и старик! В семьдесят три года еще женился. Когда шел сговор, старуха-невеста сказала так: "Я так скажу, Маня (сватала их моя мать, Мария Сергеевна): если приставать по ночам не будет, пойду". Пошла — старик дал слово.

Вот — живут.

Интересно, какой бы он фильм попросил сделать... Он расскажет.

И вот она расскажет, сверстница моя...

И председатель сельсовета...

И вот он, тракторист... Помню его еще пацаном сопливым.

И вот он...

И он... Этих я уже не знаю.

Я же бы начал наш фильм так:

Каждый год, 9 мая, люди моего села собираются на кладбище... И кто-нибудь из сельсовета зачитывает по списку:

Буркин Илья...

Козлов Иван...

Куксины: Степан и Павел...

Пономарев Константин...

Пономаревы, Емельяновичи:

Иван, Степан, Михаил, Василий...

Поповы...

Длинный это список. Скорбный.

Слушают... Молча плачут.

Тут есть еще матери, отцы.

Но мало уже. Больше — жены, сестры, братья, дети. Тут — все село.

Тихо слушают... И тот, кто читает, невольно делает это тоже негромко. Иногда, когда он зачитывает какую-нибудь фамилию, а потом пойдут: Егор, Кузьма, Иван, Василий, Михаил — братья, то он приостанавливается на некоторое время, стискивает зубы, моргает... И слышно, как плачут, шепотом как-то плачут.

А с кладбища, с горы, далеко-далеко видно окрест. С юга — горы, а к северу пошла степь. Необозримая. Земля этих людей, имена которых зачитывают. Они родились здесь, пахали эту землю.

Зиновьев Михаил...

Куликов Борис...

Думновы: Николай и Федор...

Докучаев Егор...

Сибиряки. В основном из села полегли под Москвой и на Курской дуге.

Есть даже один из двадцати восьми панфиловцев — Трофимов. Он остался жив. Он стоит здесь же... Его можно потом попросить рассказать о великой битве за столицу.

Он расскажет...

Но вернулось мало. Эти, в списке...

Они теперь на фотографиях в домах. На видном месте.

И если слышать негромкий голос, зачитывающий имена погибших...

И разглядывать их фотографии — каждого названного в списке, то удивит и резанет по сердцу мысль: "Какие они были молодые".

Можно, когда потом разойдутся с кладбища, попросить двух-трех вдов рассказать, как они провожали своих мужей на войну. Какие сны вещие видели...

Мать моя рассказывает, что приснился ей такой сон:

— Приехали мы в Бийск-то, а их там — видимо-невидимо. И вот их всех выкликают. А мы, бабы-то, собрались все в садочке, у вокзала-то, да и ждем. Ждем-пождем, а их все выкликают. Я и задремала, на скамеечке-то сидя. До этого-то не спали две ночи, ну, меня и сморило. И только я задремала, вижу такой сон. Вот захотела же я пить. Да так захотела — душа горит. И вижу будто чайник какой-то. А где это я? — я что-то не соображу. Ну, взяла я тот чайник да как хлебну с жадностью-то — там кипяток. И проснулась. Проснулась, рассказываю этот сон бабам, а те говорят: "Э-е, матушка, худо: обожгесся". Вот и обожглась: в 42-м похоронную получила.

Еще другие сны видели — причудливые, вещие... И очень уж какие-то... точные, что ли, пророческие. То ли правда такие снились, то ли потом додумалось и поверилось.

Говорят, правда.

Но это они потом расскажут.

А сейчас звучит все тот же голос на кладбище, называет фамилии...

И учительница тоже называет фамилии — те же, только имена другие.

Это — в школе.

Это уже внуки тех...

Встают — мальчишки, девчонки. Какие-то все рослые! Седьмой или восьмой класс, а девчата уже невесты целые. А парням бриться впору.

Это — внуки. Как-то трудно совместить эти понятия... Только что поразила молодость тех, на фотографиях, а это уже — их внуки. Но это так.

Сидят, делают вид, что слушают учителя. А сами думают: "Скорей бы кончались эти бесконечные уроки! Скорей бы каникулы!" Знаем мы это... Крестики где-нибудь дома ставят — сколько дней осталось.

Вот сидит явная отличница.

Вот — так себе, но все же ничего, терпимо. Будет плановиком в *райфо.*

А этот балбес... смотрит в книгу, а видит, конечно... все, что угодно, только не формулу. Улица на уме! Хватишься потом! Близко локоть, да не укусишь. Куда она уйдет от тебя, эта улица?! Никуда не уйдет! Будешь потом лес ворочать... без образования-то...

Ах, легко ругать! Правда, ужасно легко. То есть горько, конечно, что сын или дочь плохо учатся, но все равно ругать не составляет никакого труда. Это я ни к чему не клоню и никаких выводов не делаю. Просто говорю, что — легко.

Что же тут поделаешь, когда на улице-то, правда, так хорошо!

А на реке что делается!

Нет, учиться, конечно, надо. Хорошо надо учиться. Но и реку вот эту, и острова, и околок, и согра — это ты только теперь и вберешь в сердце. И всю жизнь потом будешь помнить и любить... А если тебя судьба занесет куда-нибудь далеко от этих мест, то так будешь их любить, что и заплачешь один ночью, когда никто не видит. С этим тоже ничего не поделаешь. Так что учись, конечно, сынок, но покрепче и запомни вот все это...

Вот тут, у этого тополя, будешь впервые в жизни ждать девчонку... Натопчешься, накуришься... И тополь не тополь, и кусты эти ни к чему, и красота эта закатная — дьявол бы с ней. Не идет! Ничего, придет. Не она, так где-нибудь, когда-нибудь — другая. Придет. Ты этот тополь-то... того... запомни. Пройдет лет тридцать, приедешь откуда-нибудь — из далекого далека — и этот тополек поцелуешь. Оглянешься — никого — и поцелуешь. Вот тот проклятый вечер-то, когда заря-то полыхала, когда она не пришла-то — вот он и будет самый дорогой вечер. Это уж так. Не мы так решаем, кто-то за нас распоряжается, но... это так. Провсрено.

А еще, парень, погляди на эту дорогу...

Погляди, погляди... Внимательно погляди. Это — из села. Вон столбы туда пошагали. Послушай подойди, как гудят провода. Еще погляди на дорогу... А теперь погляди на меня. В глаза мне...

Не торопись. Может, и уйдешь, только не торопись. Везде хорошо, где нас нет — это не сегодня сказали. Здесь тоже неплохо.

Вот — покос.

В мое время это было так. (Тут уж дай мне повспоминать. Да и ты посмотри.)

Ни для чего я тебе это показываю, а просто — дорого мне все это, дороже потом ничего не было. Ну и — делюсь. У тебя будет другое дорогое, у меня — это. А земля-то у нас одна. Ты тоже потом расскажи детям твоим или внукам, что запомнишь хорошее, светлое. Не утерпишь, расскажешь.

Покос.

Самая прекрасная, самая трудная, самая певучая пора.

О ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев... Когда они разговаривают, слышу их интонации, знаю, почему молчат, если замолчали, порой — до иллюзии — вдруг пахнет на тебя банным духом... "По всей бане так ароматы и пойдут!" — не много сказал вологодский расторопный мужик, а — вкусно сказал! Дальше он же добавил: "Зато и жили по девяносто годов". И вот — что тут случается? — вдруг мужичок становится каким-то родным, понятным, и уж нет никакого изумления перед мастерством писателя, а есть — Федулович, и, хочешь, говори с ним: "Да будет хвастать-то! — "по девяносто годов". Так через одного по девяносто и жили?" Кинется, небось, доказывать, что жили! А хочешь, следи дальше, как он на полке́ разворачивается: "Кха! Едрена Олена!.. В такую бы баньку да потолстее Параньку. А ты, Митрей, полезай повыше, на полу какой скус?" Я невольно улыбаюсь... Я понимаю, автор не ставил себе такой задачи — чтоб я, читатель, улыбался. Но тут какая-то такая свобода, такая вольность, правда, точность, что уж и смешно. Может, я, по родству занятий с писателем, и подивлюсь его слуху, памяти, чуткости... Но и, по родству же занятий, совершенно отчетливо понимаю: одной памяти тут мало,

будь она еще совершенней. Слух, чувство меры, чувство правды, тактичность — все хорошо, все к делу, но всего этого мало. Без любви к тем мужикам, без сострадания, скрытого или явного, без уважения к ним неподдельного, так о них не написать. Нет. Так, чтоб встали они во плоти: крикливые, хвастливые, работящие, терпеливые, совестливые, теплые, родные... Свои. Нет, так не написать. Любовь и сострадание, только они наводят на такую пронзительную правду. И тут не притворишься — что они есть, если нет ни того, ни другого. Бывает, притворяются — получается порой правдиво, и так и пишут критики: "правдивый рассказ", "правдивый роман". Только... Как бы это сказать? Может, правда и правдивость суть понятия вовсе несхожие? Во всякое случае то, что я сейчас разумею под "правдивостью" — хитрая работа тренированного ума, способного более или менее точно воспроизвести схему жизни,— прямо враждебно живой правде. Непонятные, дикие, странные причины побуждают людей скрывать правду... И тем-то дороже они, люди, роднее, когда не притворяются, не выдумывают себя, не уползают от правды в сторону, не изворачиваются всю жизнь. Меня такие восхищают. Радуют. Работа их в литературе, в искусстве значит много; талантливая честная душа способна врачевать, способна помочь в пору отчаяния и полного безверия, способна вдохнуть силы для жизни и поступков.

А где же сама-то, душа эта, берет целебные силы?

Как-то гостил я у Белова в родной его деревне Тимонихе. И стал невольно свидетелем одной сцены. Пришла старушка с бумажкой, на которой записан адрес дочери... Пришла, чтоб писатель написал письмо ее дочери и выговорил бы ей вины ее перед родными — не пишет, совсем забыла... И столько было у старушки веры и надежды, что "Васенька, ангел наш" (она как-то произносила: "аньдели") сумеет так написать ее дочери, что та поймет, наконец, что... О, сколько веры она принесла с собой, та хлопотливая старушка! Да и горе ведь принесла — отбилась дочь-то от дома, совсем отбилась. Я сперва подумал, что это какая-нибудь двоюродная тетя Белова, а та самая дочь, которую поглотил город, стало быть, двоюродная его сестрица — отсюда такая свойская доверчивость. Оказалось, нет — чужая. А вот — принесла. Видно, тут и ответ на вопрос, откуда у писателя запас добрых слов? От людей же... И людям же и отдается.

ОН УЧИЛ РАБОТАТЬ

Есть несколько человек на земле, голоса которых я могу легко "услышать" — они каким-то непостижимым образом живут во мне. Стоит захотеть, и ясно — до иллюзии — их слышу. Они мне очень нужны и дороги.

Михаил Ильич Ромм. Голос его — глуховатый, несколько как бы удивленный, терпеливый, часто с легкой, необидной усмешкой, голос человека доброго, но который устал твердить людям простые истины. Устал, но не перестает твердить. Две из них — необходимость добра и знаний — имелось в виду усвоить как главную тему искусства.

Он был очень терпелив. Когда я пришел к нему учиться, то не стеснялся его, не стыдился отнимать его время. Он был очень добр ко мне, я думал, что это так и должно быть и всегда бывало в Москве в искусстве. Потом, когда пришли ясность и трезвость, я поразился его терпению. И совестно стало, например, давать ему читать свои плохие рассказы. Но тогда удивился он: "А где же рассказы-то? Бросил писать, что ли?" Писать я не бросил, стал даже соваться по редакциям. А он же и подсказал, как это лучше делать. Я решил, что буду теперь приходить к нему, когда удастся сделать что-нибудь хорошо — порадовать его, показать, что не зря возился со мной и терпел. Но так получилось, что сделать что-нибудь очень хорошо — бесспорно хорошо,— все как-то не удавалось. Я заходил попроведать, а все было неловко, все думалось: "Что расселся-то!"

Он учил работать. Много работать. Всю жизнь. Он и начал с того свою учебу — рассказал нам, как много и трудно работал Лев Толстой. И все пять лет потом повторял: "Надо работать, ребятки". И так это и засело во мне — что надо работать, работать и работать: до чего-нибудь все же можно доработаться. "Надо читать", "подумайте" — это все тоже приглашение работать. "Попробуйте еще" — это все работать и работать.

Он и сам работал до последнего дня. Так только и живут в искусстве — это я теперь до конца знаю. Знаю особенно отчетливо, особенно непреклонно, когда думаю о всей его жизни. И что главная тема искусства есть необходимость добра и знаний среди людей — это тоже как-то особенно понятно.

ЗАВИДУЮ ТЕБЕ...

У меня есть мечта: стать комбайнер[ом]. Смотрю, как комбайн идет по полю, сердце петухом поет! Я уже думаю, как сяду за штурвал...

Но у нас есть учительница, которая дразнится: "Колхозники вы, больше никто!" Однажды, когда была линейка и директор называл учителей, им ребята хлопали и даже "ура" кричали, а ей никто не хлопал.

Когда я рассказал про эту учительницу маме, она долго молчала, а потом сказала, что хлеб — самое главное, без него все бы умерли.

Не знаю, что мне делать со своей мечтой. Вчера услышал по радио: "Спасибо тебе, человек, имя которого хлебороб". А может, хлебороб и колхозник — разница? Может, колхозником стыдно быть? И как тогда моя мечта? Ответьте мне, пожалуйста, через газету, правильно ли я мечтаю, чтобы я больше не сомневался.

Называть мою фамилию не надо.

(Письмо в редакцию)

Мне дали прочитать твое письмо, и захотелось с тобой поговорить. Правда, трудно говорить с человеком, не называя его по имени, но раз ты так решил, пусть так будет.

Я начну с того, с чего начал и ты,— с мечты. Но тут мы сразу же и разойдемся: я не люблю мечтать. Я не верю мечте. Ты же несколько (чуть-чуть) хвалишься своей мечтой, и я даже уловил в твоих словах нотку угрозы: вот возьму и перестану мечтать! Словом, ты мечтаешь, я — отмечтался. У обоих у нас есть на то основание: ты начал жить, я отшагал уже изрядно. Можем мы понять друг друга? Можем, при желании. Я не хочу, чтобы ты разучился мечтать (я бы и не смог отучить тебя от мечты, если б даже и захотел для чего-то, это не в моей власти и ни в чьей власти), я только хочу, чтобы ты знал: к желанной цели тебя приведет не мечта, а разум и труд. Я боюсь, что ты уже слышал-переслышал это и скривишь недовольно лицо, не дослушаешь меня. Мне хочется быть очень убедительным, но я не могу найти слов более точных, чем эти два: разум и труд. Не вина этих слов, что употребляют их слишком часто, иногда попусту, всуе, притворно, "ради хорошей отметки" или чтобы породить в людях хорошее о себе мнение... Слова не виноваты, они говорят правду, они вечны. Если бы тебя хоть сколько-нибудь мог убедить мой, например, жизненный опыт (я тоже — деревенский, жить начинал трудно, голодно, рано пошел

работать), то он тоже в этом: главная сила на земле — разум и труд. Здесь не должно смущать, что это слишком уж просто: за этой простотой люди за тридевять земель ходят, ее добывают всей жизнью. Это не просто, просто как раз не понять этого. За тобой право подумать, что разумному и трудолюбивому не всегда хорошо в жизни, ты мог это заметить, но за мной право утверждать, что — все ценное, прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюбивый человек. Никогда еще в истории человеческой ни один паразит не сделал ничего стоящего, ты тут должен согласиться.

Что касается мечты... Я не отвергаю мечты, но верую я все же в труд. Мечта мечтой, а когда мастер берется за дело, когда руки его знают и умеют сделать точно, красиво, умно — это подороже всякой мечты. И еще: я не доверяю красивым словам. Мечта слишком красивое слово. Слов красивых люди наговорили много, надо дел тоже красивых наделать столько же, и хорошо бы побольше.

И еще совет: не обижайся на учительницу. Она тоже человек, она ошибается, не все еще до конца поняла. Почему она должна знать все?! Вообще, меньше обижайся на людей и не отчаивайся. Ты сам хозяин своей судьбы, никто больше (видишь, и у меня вышло красиво, к сожалению, красиво легче говорить). А кто больше? Ну, подумай, кто? Никто. Знай больше других, работай больше других — вот вся судьба. Это нелегко, это на всю жизнь, но ведь и помним-то мы, и благодарны — таким только. Кто бы ты ни был — комбайнер, академик, художник,— живи и выкладывайся весь без остатка, старайся знать много, не жалуйся и не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным — это будет завидная судьба. А когда будешь таким,— помоги другим. Я знаю, как это нелегко, я, может быть, тоже размечтался... Очень хочется, чтобы это так и было. Завидую тебе, твоим четырнадцати годам,— ты начинаешь, может быть, начинаешь хорошо, по крайней мере есть возможность начать хорошо — а дальше вся жизнь. Много можно сделать! Еще: читай больше. Гони — в будущем — мысль о выпивке. Не начинай курить. Не тянись за теми, кто это рано начал делать — худое дело. Помни, что тебе надо много успеть сделать для своего народа. И все, что будет мешать этому — вино, табак (надо быть здоровым человеком), лень, непомерное честолюбие,— гони все прочь от себя.

Всего доброго!

"КНИГИ ВЫСТРАИВАЮТ ЦЕЛЫЕ СУДЬБЫ"

Ответы на вопросы корреспондента
"Комсомольской правды"

Один из первых вопросов... о так называемой "проблеме второй книги". В последние годы мы становились свидетелями многих удачных литературных дебютов. Потом проходило время, появлялись вторые и третьи книги вчерашних дебютантов и нередко разочаровывали: повторение самих себя... Высказывалось мнение, что одна из причин этого — ранняя профессионализация писателя... Не мешает ли она?

— Не только не мешает, но — с грустью это осознаю — не хватает профессионализма. Всякая профессия предполагает прежде всего дисциплину труда, и писательского тоже. У меня этой дисциплины нет. За тринадцать лет профессиональной работы вышло 4 книги, общий листаж которых — 50 авторских листов. Это — в четыре рабочих дня одна страница машинописного текста. О профессионализме в строгом смысле тут говорить невозможно. Если уж нельзя "ни дня без строчки", то и в день по строчке тоже нельзя. Какая бы причина столь малой продуктивности ни была, в любом случае это не вполне профессионально. Далее, если говорить о профессии писателя,— она — природой своей — немедленно ставит вопрос о культуре писателя и сама же отвечает на этот вопрос: то есть имеем мы дело с профессиональным писателем или с человеком, который написал книгу, две книги... пусть пять книг, но не сообщил ничего нового о жизни. В наши дни писательская профессионализация — поздняя (прозаиков особенно). Это нормально. Если мы заговорим об интеллигентности писателя, то это и о культуре его. То есть если к тридцати годам, положим, человек, склонный к писанию, не обрел этой интеллигентности, общей необходимой культуры, не вкусил от хлеба писательского, который — вот это как-то с трудом доходит до сознания,— очень труден и черств, не преодолел (или не видно, что преодолеет) чужое влияние, не подчинил всю жизнь целиком одному делу, писательскому, не уверовал в могущество литературы в жизни — если все это еще не живет в человеке, говорить о нем как о писателе рано, он еще не писатель, или, скажем так, не настоящий писатель. Потому что писатель, кроме всего прочего, еще и найдет манеру, одному ему

свойственную. Ведь на самом деле подлинно нехоженых троп в литературе не бесконечно много, до нас накоплено огромное богатство, и если оно тебе в какой-то мере доступно, скорей осмелишься ступить на свою дорогу. Она тем не менее должна быть. Жизненный опыт, да, только... Кому же его не хватает? Просиди ты сиднем тридцать лет — и это жизненный опыт: как сидел тридцать лет. Это вон как интересно может быть, напиши-ка об этом талантливо, умело, справедливо! Ведь и такой "опыт" может сослужить службу.

Путь к культуре сегодня — со всеми нашими библиотеками, музеями, кино, радио, телевидением — бывает нелегок и непрост?

— Очень и очень непрост. Нужна помощь на первых порах. Формы такой помощи необозримы, но суть всегда одна: умная, добрая, бескорыстная. Так у меня случилось, что лет с двенадцати мне стали помогать выбирать, что читать. Сперва это была ленинградская учительница, которая в войну оказалась в нашей деревне, преподавала в школе. У меня обнаружилась какая-то ненормальная страсть к чтению, а учился я плохо, мать этого не могла понять. Пошла к учительнице. Та пришла, расспросила, что я читаю... И составила список книг, какие надо читать. Сказала, когда это прочтешь, я еще составлю. Еще помню библиотеку в Севастополе... Служил матросом и ходил в офицерскую библиотеку. И там пожилая библиотекарша опять чуть не со списком...

Наконец, список же был составлен и Михаилом Ильичем Роммом, к которому я пришел учиться во ВГИК. Это был последний список. Почти все книги из этих списков я помню, многие повторялись... Я бы теперь и сам составил кому-нибудь список — так я в них уверовал, так им благодарен, и книгам и людям. Не без того, что и я много палил впустую, возникали же они, эти списки! — но все же, наверно, меньше. Попробуйте мысленно окинуть нынешнее книжное море — тревожно за молодых пловцов. Ах, как нужна помощь старшего, умного! Не говоря уж об ответственности писателя, совести его перед молодой жизнью: трудно и слова найти, столь она велика, эта ответственность. Книги выстраивают целые судьбы... или не выстраивают.

В одном из последних Ваших рассказов, "Медик Володя", герой — студент медицинского института... едет на каникулы в родную деревню, он хочет казаться цивилизованным

горожанином и усвоил необходимый для этого нехитрый набор штампов поведения... Здесь ясно видна псевдоинтеллигентность. А как человек становится интеллигентом?

— Я сам еще помню, какой восторг охватывал, когда Чапаев в фильме говорил: "Я ведь академиев не кончал..." Не кончал, а генералов, которые академии кончали, лупит. Этому, как видно, есть объяснение: "академиев не кончал" — наш, генералов бьет — это, значит, мы в состоянии их бить, без "академиев". Попробуйте сегодня вообразить героя фильма или книги, который с такой же обезоруживающей гордостью скажет: "я академиев не кончал" — восторга не будет. Будет сожаление: зря не кончал. Эта "гордость низов" исторически свое отработала. Теперь надо кончать академии. Это, впрочем, ясно. На мой взгляд, народилась другая опасность: щеголяние эрудицией, показная осведомленность, особенно в вопросах искусства... Ну, может, не опасность: болтуны и трепачи во все времена были. Но если не опасность, то постыдная легкомысленность. Не нам бы этим заниматься, не нам бы. Это еще не интеллигентность — много и без толку говорить, так и сорока на колу умеет. Интеллигентность — это мудрость и совестливость, я так понимаю интеллигентность. Это, очевидно, и сдержанность и тактичность. Мне один человек посылает письма со сценариями и пишет: "Ну, Васька, ты даешь: на три письма не ответил!" Не буду отвечать: от такого "родного", "нашенского" меня тоже уже воротит. Хоть возраст-то надо уважать — мне 44 года. Даже в деревне никто не обращается к сорокалетнему человеку — "Васька". Это уж и себя тоже не уважать. Человеческое достоинство прямо относится к интеллигентности.

СЛОВО О "МАЛОЙ РОДИНЕ"

Как-то в связи с фильмом "Печки-лавочки" я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмецо короткое и убийственное: "Не бери пример с себя, не позорь свою землю и нас". Потом в газете "Алтайская правда" была напечатана рецензия на этот же фильм (я его снимал на Алтае), где, кроме прочих упреков фильму, был упрек мне — как причинная связь с неудачей фильма: автор оторвался от жизни, не знает даже преобразований, какие произошли в его род-

ном селе... И еще отзыв с родины: в газете "Бийский рабочий" фильм тоже разругали, в общем, за то же. И еще потом были выступления моих земляков (в центральной печати), где фильм тоже поминался недобрым словом... Сказать, что я все это принял спокойно, значит, зачем-то скрыть правду. Правда же тут в том, что все это, и письма и рецензии, неожиданно и грустно. В фильм я вложил много труда (это, впрочем, не главное, халтура тоже не без труда создается), главное, я вложил в него мою любовь к родине, к Алтаю, какая живет в сердце,— вот главное, и я думал, что это-то не останется незамеченным. Не стану кокетничать и говорить так: "Я задумался... Я спросил себя: может быть, они правы — я оторвался от родины?.." Нет, не стану. Но и доказывать, что я люблю родину и не оторвался от нее,— тоже не стану, это никому не нужно. Но о родине сказать готов, это, впрочем, будет и о любви к ней, но только пусть не будет никаким доказательством. Я давно чувствовал потребность в этом слове. И вот почему.

Те, кому пришлось уехать (по самым разным причинам) с родины (понятно, что я имею в виду так называемую "малую родину"),— а таких много,— невольно несут в душе некую обездоленность, чувство вины и грусть. С годами грусть слабеет, но совсем не проходит. Может, отсюда проистекает наше неловкое заискивание перед земляками, когда мы приезжаем к ним из больших "центров" в командировку или в отпуск. Не знаю, как другие, а я чего-то смущаюсь и заискиваю. Я вижу какое-то легкое раздражение и недовольство моих земляков чем-то, может, тем, что я — уехал, а теперь, видите ли,— приехал. Когда мне приходится читать очерки или рассказы других писателей о том, как они побывали на родине, я с удивлением не нахожу у них вот этого вот мотива: что им пришлось слегка суетиться и заискивать. Или у них этого нет? Или они опускают это потом, вспоминая поездку?.. Не пойму. Я не могу опустить это, потому что всякий раз спотыкаюсь о какую-то неловкость, даже мне бывает стыдно, что вот я — взял и уехал, когда-то, куда-то... И вот все вокруг вроде бы и не мое родное, и я потерял право называть это своим. Я хотел бы в этом разобраться. Мое ли это — моя родина, где я родился и вырос? Мое. Говорю это с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы, когда случается трудно и горько... Я не выговариваю себе это

чувство, не извиняюсь за него перед земляками — оно мое, оно — я. Не стану же я объяснять кому бы то ни было, что я — есть на этом свете пока, это, простите за неуклюжесть, факт.

Больше всего в родной своей избе я любил полати. Не печку даже (хотя печку тоже очень любил), а полати. Теперь, когда и видеть-то не видишь нигде полатей (даже в самых глухих и далеких деревнях), оглядываясь мысленно по стране (которую, по-моему, неплохо знаю), я вижу Алтай — как если бы это мои родные полати из детства, особый, в высшей степени дорогой мир. Может, это потому (возвышение-то чудится), что село мое — на возвышении, в предгорье, а может, потому это, что с полатями связана неповторимая пора жизни... Трудно понять, но как где скажут "Алтай", так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство, а в памяти — неизменно — полати. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет.

Редко кому завидую, а завидую моим далеким предкам — их упорству, силе огромной... Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь — с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. И если бы не наша теперь осторожность насчет красивостей, я бы позволил себе сказать, что склоняюсь перед их памятью, благодарю их самым дорогим словом, какое только удалось сберечь у сердца: они обрели — себе и нам, и после нас — прекрасную родину. Красота ее, ясность ее поднебесная — редкая на земле. Нет, это, пожалуй, легко сказалось: красивого на земле много, вся земля красивая... Дело не в красоте, дело, наверное, в том, что дает родина — каждому из нас — в дорогу, если, положим, предстоит путь, обратный тому, какой в давние времена проделали наши предки,— с Алтая, вообще что родина дает человеку на целую жизнь. Я сказал "ясность поднебесная", но и поднебесная, и земная, распахнутая,— ясность пашни и ясность людей, которых люблю и помню. Когда я хочу точно представить, что же особенно прочно запомнил я из той жизни, которую прожил на родине в те свои годы, в какие память наша, особенно цепкая, обладает способностью долго удерживать то, что ее поразило, то я должен выразиться громоздко и несколько неопределен-

но, хотя для меня это точность и конкретность полная: я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни, больше того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья.

Я думаю, что еще не время восторженно приветствовать двухэтажное длинное здание, которое стало приходить в сибирскую деревню. Надо подождать, когда это здание станет родным, дорогим, когда оно привыкнет к человеку, как привык деревенский дом. Я хочу сказать, что нужно еще время, пока длинное кирпичное здание в деревне, претерпев множество изменений — от первоначального замысла в городском кабинете,— обвыкнется с деревенским человеком, станет таким же сподручным, понятным, необходимым, как деревенский дом в прошлом. Я понимаю, на какой я напрашиваюсь упрек, и все же расскажу, каким я запомнил дом деда моего, крестьянина, это тоже живет со мной и тоже чрезвычайно дорого.

У меня было время и была возможность видеть красивые здания, нарядные гостиные, воспитанных, очень культурных людей, которые непринужденно, легко входят в эти гостиные, сидят, болтают, курят, пьют кофе... Я всегда смотрел и думал: "Ну вот это, что ли, и есть та самая жизнь — так надо жить?" Но что-то противилось во мне этой красоте и этой непринужденности: пожалуй, я чувствовал, что это не непринужденность, а демонстрация непринужденности, свободы — это уже тоже, по-своему, несвобода. В доме деда была непринужденность, была свобода полная. Я вдумываюсь, проверяю, конечно, свои мысли, сознаю их беззащитность перед "лицом" фигуры иронической... Но и я хочу быть правдивым перед собой до конца, поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда — крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там много, очень много работали... Собственно, вокруг работы и вращалась вся жизнь. Она начиналась рано утром и затихала поздно вечером, но она как-то не угнетала людей, не озлобляла — с ней засыпали, к ней просыпались. Никто не хвастался сделанным, не оскорбляли за промах, но — учили... Никак не могу внушить

себе, что это все — глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире,— очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилам нравственного роста человека: неужели в том только и беда, что слов этих "честь", "достоинство" там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он — нищий: ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суесловие... Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, которое бы там не знали, или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку, в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным. Ни в чем там не заблуждались, больше того, мало-мальски заметные недостатки в человеке, еще в маленьком, губились на корню. Если в человечке обнаруживалась склонность к лени, то она никак не выгораживалась, не объяснялась никакими редкими способностями ребенка — она была просто лень, потому высмеивалась, истреблялась. Зазнайство, хвастливость, завистливость — все было на виду в людях, никак нельзя было спрятаться ни за слова, ни за фокусы. Я не стремлюсь здесь кого-то обмануть или себя, например, обмануть — нарисовать зачем-то картину жизни идеальной, нет, она, конечно, была далеко не идеальная, но коренное русло жизни всегда оставалось — правда, справедливость. И даже очень и очень развитое чувство правды и справедливости, здесь нет сомнений. Только с этим чувством люди живут значительно. Этот кровный закон — соблюдение правды — вселяет в человеке уверенность и ценность его пребывания здесь, я так думаю, потому что все остальное прилагается к этому, труд в том числе, ибо правда и в том, что — надо есть.

Эту сумму унаследованных представлений о жизни, о способе жить я и хотел, кстати, обнаружить в Иване и Нюре, героях фильма "Печки-лавочки".

Когда я подъезжаю на поезде к Бийску (от Новосибирска до Бийска поезд идет ночь), когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже если еду в купе, волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь... Поезд останавливается у каждого столба, собирает в ночи моих шумных, напористых земляков, вагон то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы НТР, но тут опять обнаруживается глубокое, давнее чувство справедливости,

перед которым я немею. Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко), распахнула пошире двери и позвала еще свою товарку: "Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко!" На замечание, что здесь — купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тетя искренне удивилась: "Да вы гляньте, чо в коридоре-то делается!.. А у вас вон как просторно". Отметая в уме все "да" и "нет" в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это — справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но... но уж пусть лучше мы придем к мысли, что надо строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному: одни будут в коридоре, а другие — в загородочке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. А совесть у человека должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения "правила передвижения пассажиров" — правила можно написать другие, была бы жива совесть. Человек, начиненный всяческими "правилами", но лишенный совести,— пустой человек, если не хуже.

Родина... Я живу с чувством, что когда-нибудь я вернусь на родину навсегда. Может быть, мне это нужно, думаю я, чтобы постоянно ощущать в себе житейский "запас прочности": всегда есть куда вернуться, если станет невмоготу. Одно дело жить и бороться, когда есть куда вернуться, другое дело, когда отступать некуда. Я думаю, что русского человека во многом выручает сознание этого вот — есть еще куда отступать, есть где отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живет там с людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу.

Я долго стыдился, что я из деревни и что деревня моя черт знает где — далеко. Любил ее молчком, не говорил много. Служил действительную, как на грех, во флоте, где в то время, не знаю, как теперь, витал душок некоторого пижонства: ребятки в основном все из городов, из больших городов, я и помалкивал со своей деревней. Но потом — и дальше, в жизни — заметил: чем открытее человек, чем

меньше он чего-нибудь стыдится или боится, тем меньше желания вызывает у людей дотронуться в нем до того места, которое он бы хотел, чтоб не трогали. Смотрит какой-нибудь ясными-ясными глазами и просто говорит: "вяцкий". И с него взятки гладки. Я удивился — до чего это хорошо, не стал больше прятаться со своей деревней. Конечно, родина простит мне эту молодую дурь, но впредь я зарекся скрывать что-нибудь, что люблю и о чем думаю. То есть нельзя и надоедать со своей любовью, но как прижмут — говорю прямо.

Родина... И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь непохоже по жизни-то... Отчего же? Может, потому, что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно, так. Благослови тебя, моя родина, труд и разум человеческий! Будь счастлива! Будешь ты счастлива, и я буду счастлив.

КОММЕНТАРИИ

КОММЕНТАРИИ*

В настоящем собрании сочинений все произведения публикуются по рукописям с учетом последней прижизненной правки автора. В случае утери рукописей — по последним прижизненным публикациям, если они исправны.

РОМАНЫ

Любавины, кн. 1 (т. 1, стр. 13), кн. 2 (т. 1, стр. 305).

Замысел романа (первоначальное его название "Баклань") относится ко второй половине 50-х годов: в эту пору В.М.Шукшин, студент ВГИКа, приезжая на каникулы в родное алтайское село Сростки, подолгу беседует со старожилами о временах гражданской войны и коллективизации.

В основу романа положены семейные предания. Вопрос о прототипах ждет отдельного исследования: Байкаловы, Колокольниковы, Малюгины, Поповы — фамилии реальных, живущих в Сростках семейств. Очевидна связь образа Марии Поповой с матерью писателя Марией Сергеевной Шукшиной (урожденной Поповой). Менее очевидна, но не менее реальна связь романа с воспоминаниями В.М.Шукшина об отце. В рабочих тетрадях писателя сохранился набросок, озаглавленный "Отец" и посвященный Макару Леонтьевичу Шукшину. Вот он:

"Отец.

Отца плохо помню. Помню — точно это было во сне — бежал за жнейкой по пыльной улице и просил его:

— Тять, прокати! Тять!

Еще помню: он лежал на кровати — прилег, а я разбежался от лавки и прыгнул ему на грудь. А он сказал:

— О, как ты умеешь!

Рассказывают, это был огромный мужик, спокойный, красивый... Насчет красоты — трудно сказать. У нас красивыми называют здоровых, круглолицых — "ряшка — во!". Наверно, он был действительно очень здоровый: его почему-то называли двухсердечным. Фотографии его ни

---

* Общая подготовка комментариев осуществлена Л. Н. Федосеевой-Шукшиной.

одной не осталось — не фотографировали. Он был какой-то странный человек. Я пытаюсь по рассказам восстановить его характер и не могу — очень противоречивый характер. А может, не было еще никакого характера — он был совсем молодой, когда его "взяли" — двадцать два года.

Мать моя вышла за него "убегом". Собрала в узелок рубашонки, какие были, платьишки — и айда! Ночью увез, на санях. А потом — ничего: сыграли свадьбу, все честь по чести. Просто мамины родители хотели немного покуражиться — не отдавали девку.

А потом жили неважно.

Отец был на редкость неразговорчивый. Он мог молчать целыми днями. И неласковый был, не ласкал жену. Другие ласкали, а он нет. Мама плакала. Я, когда подрос и начитался книг, один раз хотел доказать ей, что не в этом же дело — не в ласках. Она рассердилась:

— Такой же, наверное, будешь... Не из породы, а в породушку.

Почему-то отец не любил попа.

Когда поженился, срубил себе избу. Избу надо крестить. Отец на дыбы — не хочет, мать в слезы. На отца напирает родня с обеих сторон: надо крестить. Отец махнул рукой: делайте что хотите, хоть целуйтесь со своим длинногривым мерином.

Воскресенье. Мать готовится к крестинам, отец во дворе. Скоро должен прийти поп. Мать радуется, что все будет, как у добрых людей. А отец в это время, пока она хлопотала и радовалась, потихоньку разворотил крыльцо, прясло, навалил у двери кучу досок и сидит тюкает топором какой-то кругляш. Он раздумал крестить избу.

Пришел поп со своей свитой: в избу не пройти.

— Чего тут крестить, я ее еще не доделал,— сказал отец.

Мать неделю не разговаривала с ним. Он не страдал от того.

А меня крестили втайне от отца. Он уехал на пашню, а меня быстренько собрали мать с бабкой и оттащили в церковь.

Работать отец умел и любил. По-моему, он только этим и жил — работой. Уезжал на пашню и жил там неделями безвыездно. А когда к нему приезжала мама, он был недоволен.

— Макар, вон баба твоя едет,— говорили ему.

— Ну и что теперь?

— Я ехала к нему, как к доброму,— рассказывала мама.— Все едут и я еду — жена ведь, не кто-нибудь. А он увидит меня, возьмет топор и пойдет в согру дрова рубить. Разве не обидно? Дура была молодая: надо было уйти от него.

И всегда она мне так рассказывала об отце. А я почему-то любил его.

А когда взяли отца (1933 год.— Л.А.), она сама же плакала. Все ждала: отпустят. Не отпустили. Перегнали в Барнаул. Тогда мать и еще одна молодая баба поехали в Барнаул. Ехали в каких-то товарных вагонах, двое суток ехали. (Сейчас за шесть часов доезжают.) Доехали. Пошли в тюрьму. Передачу приняли.

— Мне ее надо было сразу уж всю отдать, а я на два раза разделила, думаю: пусть знает, что я еще здесь, все, может, легче будет,— рассказывает мать.— А пришла на другой день — не берут. Нет, говорят, такого.

Потом они пошли к какому-то главному начальнику. Сидит, говорит, такой седой, усталый, вроде добрый. Посмотрел в книгу и спрашивает:

— Дети есть?

— Есть, двое.

— Не жди его, устраивай как-нибудь свою жизнь. У него высшая мера наказания.

Соврал зачем-то. Отца реабилитировали в 1956 году, посмертно, но в бумажке было сказано, что он умер в 1942 году.

В чем обвинили отца, я так и не знаю. Одни говорят: вредительство в колхозе, другие — что будто он подговаривал мужиков поднять восстание против Советской власти.

Как бы там ни было, не стало у нас отца".

(Архив В.М.Шукшина).

Этот набросок существенен для творческой истории "Любавиных". По свидетельству близко знавших Шукшина людей, характер отца сложным образом ассоциировался у него также и с характером Степана Разина. Что же до "Любавиных", то черты Макара Леонтьевича Шукшина можно распознать у некоторых главных героев романа. Написанный в 1959 году набросок "Отец" является, по-видимому, первым подступом В.М.Шукшина к тексту романа "Любавины".

Роман, вернее, первая книга его, написан в 1959—1961 годах преимущественно в общежитии ВГИКа ("четыре гав-

рика в одной клетке", М.И.Ромм — один из первых читателей). Думая, куда предложить текст, В.М.Шукшин колебался между двумя журналами, которые печатали в ту пору его рассказы: между "Октябрем" и "Новым миром". 16 ноября 1962 года главный редактор "Октября" Всеволод Кочетов в "Комсомольской правде" назвал Шукшина постоянным автором журнала и добавил: "Мы знаем, что он готовит и крупное произведение".

"Крупное произведение" (роман "Любавины") в это время (ноябрь 1962 г.) уже лежало в редакции "Нового мира", о чем свидетельствует сохранившееся в архиве В.М.Шукшина письмо, авторство которого указать затруднительно, но это письмо явно написано человеком, осведомленным в том, как проходит рассмотрение рукописи "Любавиных"в "Новом мире": "27 ноября 1962 года. Дорогой Вася! Я тоже очень рад, что ты "прошел"в "Новом мире". Ася (очевидно, А.А.Берзер) мне сказала, что ты написал серьезную и талантливую вещь. А она редко кому такое говорит. И Герасимов (член редколлегии журнала С.Н.Герасимов) вроде одобрил. Но есть, конечно, и "но". Первое — это размер. Для журнала 20 листов, да еще не на современную, а 40-летней давности тему — это тяжеловато... Посему, насколько я понял, тебе предложено сделать сокращенный, журнальный вариант. Кроме того, Герасимов и Ася сватают тебя в издательство "Советский писатель". У них есть там с кем разговаривать. И у меня тоже. Так что все в порядке..."

Однако судьба рукописи сложилась не так благополучно, как предполагалось в этом письме: "Новый мир" в конечном счете "Любавиных" отверг. Через работников журнала роман попал в издательство "Советский писатель". В течение 1963 года шло рецензирование. Рецензенты: Георгий Радов, Евгений Белянкин, Николай Задорнов и Ефим Пермитин — были достаточно жестки к автору; однако замечания Е.Н.Пермитина, вполне конкретные, М.В.Шукшин принял и по ним рукопись доработал. К весне 1964 года доработка была закончена, и текст издательством одобрен. 5 апреля отрывок из "Любавиных" появился в газете "Московский комсомолец".

К этому времени вновь возник вопрос о публикации романа в журнале — на этот раз в журнале "Сибирские огни": осенью 1964 года текст был запрошен журналом из издательства. К декабрю собрались внутренние рецензии членов редколлегии и работников редакции (Анатолий Иванов, Леонид Чикин, Анатолий Никульков, Алексей Высоцкий). За-

мечания рецензентов носили еще более жесткий характер, чем в издательстве: требования простирались от общих претензий к "атмосфере" до поправок бытового и хронологического характера. Сознавая серьезность претензий, редакция направила к В.М.Шукшину в Москву Н.Н.Яновского. Переговоры прошли успешно, однако через некоторое время В.М.Шукшин написал Н.Н.Яновскому письмо, в котором взял назад свое согласие на переделки,— письмо это ценно как пример авторского отношения В.М.Шукшина к тексту:

"Дорогой Николай Николаевич!

Я еще раз прочел рукопись (с замечаниями) и еще раз (честно, много-много раз) рецензии на рукопись и понял: мы каши не сварим. Надо быть мужественными (стараться, по крайней мере). Я признаю, что довольно легкомысленно и несерьезно кивал Вам головой в знак согласия. А когда подумал один — нет, не согласен. Кроме одного — времени. (Время — да! — как говорит Иванов.)

Меня особенно возмутил т.Высоцкий (я его тоже возмутил). Так прямо и махает красным карандашом — хошь не хошь — клони грешную голову <...> Он у меня хочет отнять то, что я прожил, то, что слышал, слушал, впитал и т.д. Я не в обиде, я просто хочу сказать, что так не размахивают красным карандашом. Да еще и безосновательно.

Я готов спорить с Вами, т. Высоцкий, по любому "пункту" Ваших замечаний, но это уже не будет касаться романа. Вы тоже — о времени? Согласен. Да. А еще о чем?.. О ком? Что, не важно, что ли? А то ведь пошли — "сапоги не дегтярят в избе", "обрезов не бывало из дробовых ружей"...— да все с таким несокрушимым обвалом, что уж тут — ну и бог с вами! А я знаю, что так было. Знаю, вот и все.

Озадачила меня рецензия Л.Чикина. "При большой работе..." Сколько? Лет пятнадцать? Простите меня, Леонид, это пугает смертных. Я хожу и думаю: сколько мне осталось? И неужели это действительно так важно, что в деревне (нам с Вами двоим известно) живут еще люди с фамилиями из романа? Ну? И что? Смею тебя уверить: они наши книжки не читают, ибо им часто и часто — неинтересно. Господи, когда же мы почувствуем, что ведь это нужно — чтоб нас читали.

Как будто трудно исправить некоторые неточности в смысле времени — раз плюнуть! Но ведь тут и одно, и

другое — и "стиль", и "фамилии" — да все: карандаш! Увольте. Простите.

Николай Николаевич! Прошу наш договор перечеркнуть,— я в тех размерах исправления, какие предлагает редакция, <делать> не согласен. Смалодушничал, простите,— согласился. Не надо всего этого. Я начну исправлять — угодничать: кому это надо?

Простите, ребята, что морочил вам голову. Простите, правда,— мне, поверьте, не очень уж легко.

P.S. "Чтобы сапоги мазали дегтем в избе — не видывал..." Эх-хе!.. А сапоги-то — не мажут! Кто же их мажет? Их можно измазать в грязи. А дегтем — дегтярят.

А обрез (дробовой) мой дядя хранил до 33 года, и хранил его на полатях, под подушкой без наволочки. Мне всегда было неловко спать — выпирал то ствол, то ложе, тоже угловатое, врезалось.

Не надо так, т.Высоцкий: Вы свыклись с своим представлением о том времени (из личного, наверно, опыта). Я — с другим. Убьем друг друга?

И еще, если б все это сделано было с доброй душой! Впрочем, когда убивают, то — наверно, не с доброй душой. Привет!"

(Архив В.М.Шукшина).

Однако разрыва не произошло: автор и журнал все же находят общий язык, и роман, доработанный Шукшиным, — был напечатан в "Сибирских огнях" летом 1965 года (№№6-9) — практически одновременно с выходом отдельного издания в "Советском писателе".

16 июля отрывок из "Любавиных"появился в еженедельнике "Литературная Россия". В.М.Шукшин предпосылает этой публикации вступление, интересное как с точки зрения его авторских чувств, так и в плане развиваемой им концепции русского крестьянства:

"Отдавая роман на суд читателя, испытываю страх. Оторопь берет. Я, наверно, не одинок в этом качестве — испугавшегося перед суровым и праведным судом, но чувство это, знакомое другим, мной овладело впервые, и у меня не хватило мужества в этом не признаться.

Это — первая большая работа: роман. Я подумал, что, может быть, я, крестьянин по роду, сумею рассказать о жизни советского крестьянства, начав свой рассказ где-то от начала двадцатых годов и — дальше...

22-й год. Нэп — рискованное, умное, смелое ленинское дело. Город — это более или менее известно. А 22-й год — глухая сибирская деревня. Еще живут и властвуют законы, сложившиеся веками. Еще законы, которые принесла и продиктовала новая власть, Советская, не обрели могущества, силы, жестокой справедливости.

Еще недавно был Колчак, еще совсем недавно слова "верховный правитель" звучали царским окриком, была отчаянная, довольно крепкая попытка оставить "все, как было". Но есть — Время, Революция...

Мне хотелось рассказать об одной крепкой сибирской семье, которая силой напластования частнособственнических инстинктов была вовлечена в прямую и открытую борьбу с Новым, с новым предложением организовать жизнь иначе. И она погибла. Семья Любавиных. Вся. Иначе не могло быть. За мальчиком, который победил их, пролетарским посланцем, стоял класс, более культурный, думающий, взваливший на свои плечи заботу о судьбе страны.

Об этом роман. У меня есть тайная мысль: экранизировать его. Но прежде хотелось бы узнать мнение читателя о нем. Можно сдуру ухлопать огромные средства, время, силы — а произведение искусства не случится, ибо не было к тому оснований. И вот такая просьба: посоветуйте, скажите как-нибудь, надо это делать или нет?.."

Относительно экранизации: В.М.Шукшин ее делать не стал. Шесть лет спустя, с согласия автора, "Любавины" были экранизированы режиссером Л.Головней по сценарию Л.Нехорошева; фильм вызвал сдержанно-отрицательные отзывы прессы; сам В.М.Шукшин в печати не высказывался.

О месте романа в дальнейших литературных планах автора можно судить по интервью, данному В.М.Шукшиным корреспонденту газеты "Молодежь Алтая" (1 января 1967 г.):

"...Думаю года через два приступить к написанию второй части романа "Любавины", в которой хочу рассказать о трагической судьбе главного героя — Егора Любавина, моего земляка-алтайца. Главная мысль романа — куда может завести судьба сильного и волевого мужика, изгнанного из общества, в которое ему нет возврата. Егор Любавин оказывается в стане врагов — остатков армии барона Унгерна, которая осела в пограничной области Алтая, где существовала почти до начала тридцатых годов. Он оказывается среди тех, кто душой предан своей русской земле и не может уйти за кордон, а вернуться нельзя — ждет суровая расплата народа. Вот эта-то

трагедия русского человека, оказавшегося на рубеже двух разных эпох, и ляжет в основу будущего романа".

"Рубеж эпох" оказался непростой задачей. Дело в том, что в замысле Шукшина (как и во всей первой книге романа) самоочевидна хронологическая "аберрация", а может быть, и сознательный сдвиг эпох. Обстановка смертельной схватки — ненависть, раздирающая русское село, не соответствует тому времени, к какому Шукшин ее отнес. Двадцатые годы, годы нэпа — это расцвет крестьянства; катастрофическая ситуация, которую Шукшин в этом времени усмотрел, явно перенесена туда из времени другого, причем не из раннего, как можно предположить по сюжетным "связкам", а из позднего. То есть не из эпохи гражданской войны, а из эпохи коллективизации, тяжесть которой Шукшин познал уже сиротством своим.

Анахронизм ли общей схемы затруднял Шукшина, или он не смог довести свой замысел до конца по каким-либо иным причинам,— но он эту работу не сделал. В том виде, в каком "Любавины" первоначально задумывались, они так и не были дописаны. План работы кардинально изменился. Настолько изменился, что в 1965 году Шукшин снял слова "первая книга" из журнальной публикации "Любавиных". Так эта книга и пошла в мир — в качестве завершенного произведения.

Она вызвала при своем появлении умеренно-хвалебные отзывы критики, носившие скорее дежурный, чем спонтанно-страстный характер. О романе писали "Литературная газета","Литературная Россия", журналы "Знамя", "Москва," "В мире книг","Семья и школа",— но писали вяло: роман Шукшина оказался вне главных споров момента; такие споры кипели в ту пору вокруг первых фильмов Шукшина; к фильмам охотно подключали его рассказы из книги "Сельские жители" и тем более из периодики; в тогдашнем злободневном контексте роман казался слишком углубленным в историю и вместе с тем слишком традиционным по фактуре. Впрочем, некоторую беглую дискуссию вызвал и роман, но по "косвенной проблеме": академик В.В.Виноградов, анализируя в "Литературной газете" язык современной прозы, упрекнул автора в излишествах "диалектно-натуралистического стиля"; В.Гура в той же газете и В.Хабин в "Литературной России" мягко оспорили это мнение; оба критика, тем не менее, согласились, что роман небезупречен, и заметили, что над ним надо еще серьезно работать.

Возможно, В.М.Шукшин последовал бы этому совету, если бы соединил в новом единстве написанную первую и задуманную вторую книги, но он этого так и не сделал: вторая книга, законченная к концу 60-х годов, оторвалась от первой и сюжетно, и даже технически: она осталась лежать в столе. И пролежала она в столе еще чертову дюжину лет после его смерти, пока появилась в апреле 1987 года в журнале "Дружба народов".

Вопрос, который сразу же встает в связи с этим,— вопрос именно технического свойства: каким же образом этот текст пролежал в архиве времени? Почему не был напечатан в середине семидесятых годов, когда после смерти Шукшина каждое слово его потрясенно перечитывали, каждую новую строчку искали?

Тут причиной отчасти оказалась цепочка случайностей. Архив В.М.Шукшина при переездах его не всегда сохранялся в идеальном порядке; вышло так, что титульный лист, на котором стояло "Любавины. Книга вторая", затерялся, а может быть, и нарочно был положен автором отдельно. Без титульного листа рукопись, где действовали герои со знакомыми фамилиями и попадались куски, знакомые по прежним публикациям, казалась — при беглом просмотре — одним из черновых вариантов этих старых вещей. Прошло время, титульный лист обнаружился, "нашел" свое место во главе рукописи, и тогда стало ясно, что в архиве лежит вчерне законченная рукопись романа.

Следующий вопрос — биографического и творческого свойства. Вторая книга "Любавиных", конечно же, была бы найдена в архиве В.М.Шукшина намного раньше, если бы... ее искали, если бы о ней было известно, если бы, скажем, Шукшин в свое время предлагал ее редакциям, вообще как-то говорил бы о ней. Но он редакциям ее не предлагал и вообще о ней помалкивал. Потому ее и не искали.

В этой связи встает второй вопрос, вернее группа вопросов. Почему В.М.Шукшин, закончив эту "вторую книгу", перевязал ее бечевкой и положил в архив? Хотел ли он публиковать эту рукопись? Считал ли законченной? Собирался ли продолжить работу над ней или решил вовсе от нее отказаться? Как-никак, а вторая часть романа оказалась совсем не такой, как он предполагал. Так и не решившись довести судьбу Любавиных до тридцатых годов, Шукшин "прыгнул через эпоху" и описал следующее поколение своих героев, найдя их в алтайском селе конца пятидесятых годов. Было ли такое решение результатом внутренних труд-

ностей в понимании событий тридцатых годов или следствием жгучего желания понять современного героя — вопрос весьма сложный. Писалась ли вторая книга как продолжение первой или писалась "в параллель" и автономно, а уж потом была окрещена и привязана к первой именами героев — тоже не вполне ясно.

Так или иначе, "вторая книга", связанная с первой преемством героев ("преемством" в прямом смысле слова, потому что действуют в ней дети героев первой книги), не стала ее непосредственным продолжением. Видимо, связь двух этих книг и для самого Шукшина была проблематичной, и он не случайно воздержался от публикации написанного им романа в качестве второй книги "Любавиных". Одну из сюжетных линий романа Шукшин выделил и, заменив некоторые имена, опубликовал в 1966 году как повесть "Там, вдали...".

Кроме этой сюжетной линии читатель находит во второй книге "Любавиных" несколько сюжетных ситуаций, использованных Шукшиным в фильме "Живет такой парень" и, возможно, введенных в роман уже после фильма. Однако эта перекличка не только не мешает восприятию текста, но создает неожиданный и очень интересный эффект: то, что в фильме окрашено легким чудачеством, в романе воспринимается тяжелее, глубже и говорит больше; возникает ощущение не просто живой характеристики, но исторической судьбы типа.

Вопрос об "исторической прописке" шукшинского героя вообще смутен. Круто действующие и смертельно обижающиеся герои первой книги "Любавиных", как я уже говорил, явно перенесены автором в двадцатые годы из психологической ситуации тридцатых; до некоторой степени эти крутые герои и во вторую книгу, в пятидесятые годы, перенесены из драмы "великого перелома", которая навсегда определила трагическое мироощущение В.М.Шукшина. Возможно, что некоторые проблемы пятидесятых годов, затронутые Шукшиным (например, идея преобразования колхозов в совхозы), покажутся читателю наших дней не столь уж актуальными, но проблема русского характера, мучившая Шукшина, путь русского крестьянина и судьба русской земли — драма, о которой Шукшин изболелся и которой он искал историческое оправдание,— боль эта, конечно, бьет и теперь из каждой строчки.

/ Л.Аннинский /

Я пришел дать вам волю, (т.2 стр. 5).

Известно, что по ходу работы над разинской темой у В.М.Шукшина крепло ощущение прямой, почти, так сказать, потомственной связи с участниками крестьянской войны: связи эти он прослеживает начиная даже не с Алтая, а именно — от разинских мест: *"...Завидую моим далеким предкам,*— пишет В.М.Шукшин в 1973 году,— *их упорству, силе огромной. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь — с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай..."*

Новейшие архивные разыскания показывают, что В.М. Шукшин имел для такой генеалогии реальные основания. По сообщению В.Гришаева ("Несколько слов в биографию Шукшина".— "Сибирские огни", 1983, № 4), прадед Василия Макаровича, Павел Павлович Шукшин (отец Леонтия Павловича, дед Макара Леонтьевича), переселился в Сростки в 1867 году из Самарской губернии, и из Самарской же губернии тридцать лет спустя, в 1897 году, переселился в Сростки дед — Сергей Федорович Попов, отец Марии Сергеевны.

Таким образом подтверждается поволжское происхождение автора, на которое есть намек в романе "Я пришел дать вам волю": "— Ты родом-то откуда?..— А вот почесть мои родные места, там вон в Волгу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша..."

Однако осознание прямого преемства с разинцами и причастности к разинской эпопее приходит к В.М. Шукшину не сразу и возникает лишь на определенном этапе.

Как предмет любви Степан Разин входит в жизнь В.М. Шукшина со школьных лет: с момента, когда он впервые слышит песню "Из-за острова на стрежень" и слова Д.Н. Садовникова воспринимает в качестве народных; существует рассказ матери В.М.Шукшина о том, как он переписывал себе эти слова (рассказ вошел в фильм А. Заболоцкого "Слово матери", снятый в 1978 году). Разин, народный заступник, становится для В.М.Шукшина самой притягательной фигурой мировой истории; как уже говорилось выше, он сложно совмещается при этом с детскими воспоминаниями об отце.

Как объект писательского осмысления Степан Разин входит в творчество В.М.Шукшина с начала 60-х годов; в 1962 году опубликован рассказ "Стенька Разин"; с тех пор имя Разина лейтмотивом проходит через творчество В.М.Шукшина: через прозу, драматургию и публицистику его — как символ выстраданной народной совести и мстящей силы.

Как герой специально посвященного ему обширного программного произведения Степан Разин появляется в замыслах и творческих планах В.М.Шукшина в середине 60-х годов — с завершением первой книги "Любавиных". История крестьянской семьи требует "предыстории"; роман о Крестьянской войне XVII века возникает в сознании В.М.Шукшина как необходимый этап исследования *современного* крестьянства. В бумагах В.М. Шукшина сохранилась рабочая запись, отражающая это отпочкование исторического сюжета от сюжета семейно-родословного:

"О романе. Хотелось бы (если хватит сил, времени и еще кое-чего) проследить историю крестьянства (сибирского) до наших дней. В традициях реализма.

Всякое явление начинает изучаться с истории. Предыстория — история. Три измерения: прошлое — настоящее — будущее — марксистский путь исследования общественной жизни".

(Архив В.М.Шукшина)

Задумав написать "предысторию" современного крестьянства, В.М.Шукшин углубляется в специальную литературу; он собирает целую библиотеку по Разину, начиная с известной статьи К.Маркса "Стенька Разин", с книги Н.И.Костомарова "Бунт Стеньки Разина", с фундаментального собрания документов "Крестьянская война под предводительством Степана Разина" и тома иностранных свидетельств об этой войне и кончая статьями и сообщениями исторических журналов по весьма специфическим и узким аспектам темы. В.М.Шукшин изучил, например, "Дело о патриархе Никоне", изданное в 1897 году археографической комиссией по документам синодальной библиотеки,— Никон был предметом его особого интереса, о нем В.М.Шукшин хотел написать роман.

Сохранившийся в архиве В.М.Шукшина список литературы насчитывает 60 названий; материалы он пополнял с помощью музейных работников Астрахани, Волгограда, Загорска, не говоря уже о московских хранилищах. Особенно прочные связи — с Новочеркасским музеем истории донского казачества. Характерный факт: вначале музей помогает В.М.Шукшину (его консультирует Лидия Андреевна Новак), а затем уже сам музей просит его о помощи — предоставить собранный В.М.Шукшиным материал для выставки.

Фундаментальная осведомленность В.М.Шукшина в предмете будет оценена историками, но сам он исходит в

своей концепции не только из эмпирического материала истории — он взаимодействует с образом, живущим в народной памяти. Этот образ не совпадает с историческим; попытка соединить эти две стороны имеет для шукшинской концепции крестьянского вождя решающее значение; ведет его в этом выборе собственная внутренняя тема — дума о крестьянстве.

Первоначально оформляется замысел фильма. В марте 1966 года В.М.Шукшин пишет заявку на литературный сценарий "Конец Разина". Это первый по времени документ, зафиксировавший работу писателя над образом Степана Разина:

"Написано о Разине много. Однако все, что мне удалось читать о нем в художественной литературе, по-моему, слабо. Слишком уже легко и привычно шагает он по страницам книг: удалец, душа вольницы, заступник и предводитель голытьбы, гроза бояр, воевод и дворянства. Все так. Только все, наверно, не так просто. (Сознаю всю ответственность свою после такого заявления. Но — хоть и немного документов о нем — они есть и позволяют увидеть Степана иначе.)

Он — национальный герой, и об этом, как ни странно, надо "забыть". Надо освободиться от "колдовского" щемящего взора его, который страшит и манит через века. Надо по возможности суметь "отнять" у него прекрасные легенды и оставить человека. Народ не утратит Героя, легенды будут жить, а Степан станет ближе. Натура он сложная, во многом противоречивая, необузданная, размашистая. Другого быть не могло. И вместе с тем — человек осторожный, хитрый, умный дипломат, крайне любознательный и предприимчивый. Стихийность стихийностью... В XVII веке она на Руси никого не удивляла. Удивляет "удачливость" Разина, столь долго сопутствующая ему. (Вплоть до Симбирска.) Непонятны многие его поступки: то хождения в Соловки на богомолье, то через год — меньше — он самолично ломает через колена руки монахам и хулит церковь. Как понять? Можно, думаю, если утверждать так: он умел владеть толпой (позаимствуем это слово у старинных писателей). Он, сжигаемый одной страстью "тряхнуть Москву", шел на все: таскал за собой в расписных стругах "царевича Алексея Алексеевича" и "патриарха Никона"... (один в это время покоился в земле, другой был далеко в изгнании). Ему нужна была сила, он собирал ее, поднимал и вел. Он был жесток, не щадил

врагов и предателей, но он и ласков был, когда надо было. Если он мстил (есть версия, что он мстил за брата Ивана), то мстил широко и страшно, и он был истый борец за Свободу и предводитель умный и дальновидный. Позволю себе некий вольный домысел: задумав главное (вверх, на Москву), ему и Персия понадобилась, чтобы быть к тому времени в глазах народа батюшкой Степаном Тимофеевичем. (На Персию и до него случались набеги. И удачные.) Цель его была: на Москву, но повести за собой казаков, мужиков, стрельцов должен был свой, батюшка, удачливый, которого "пуля не берет". Он стал таким.

Почему "Конец Разина"? Он весь тут, Степан: его нечеловеческая сила и трагичность, его отчаяние и непоколебимая убежденность, что "тряхнуть Москву" надо. Если бы им двигали только честолюбивые гордые помыслы и кровная месть, его не хватило <бы> до лобного места. Он знал, на что он шел. Он не обманывался. Иногда только обманывал во имя святого дела Свободы, которую он хотел утвердить на Руси.

Фильм предполагается двухсерийный, широкоэкранный, цветной".

Тогда же, в 1966 году, В.М.Шукшин замечает в "Автобиографии":

"Сейчас работаю над образом Степана Разина. Это будет фильм. Если будет. Трудно и страшно... Гениальное произведение о Стеньке Разине создал господин Народ — песни, предания, легенды. С таким автором не поспоришь. Но не делать тоже не могу. Буду делать".

Очевидное противоречие этой записи и выше цитированной заявки раскрывает внутреннюю драматичность шукшинского замысла: он одновременно и прикован к народным легендам, и хочет вопреки этим легендам восстановить трагедию Разина-человека, и от этого дерзкого замысла ему "трудно и страшно".

В ту же пору газета "Молодежь Алтая" публикует (1 января 1967 года) следующие размышления В.М.Шукшина, где он вновь возвращается к противоречивости своего героя:

"Меня давно привлекал образ русского национального героя Степана Разина, овеянный народными легендами и преданиями. Последнее время я отдал немало сил и труда знакомству с архивными документами, посвященными восстанию Разина, причинам его поражения, страницам сложной и во многом противоречивой жизни Степана. Я

поставил перед собой задачу: воссоздать образ Разина таким, каким он был на самом деле.

Сейчас я завершаю работу над сценарием двухсерийного цветного широкоформатного фильма о Степане Разине и готовлю материалы для романа, который думаю завершить к трехсотлетию разинского восстания. А несколько раньше на экраны выйдет фильм, к съемкам которого я думаю приступить летом 1967 года.

Каким я вижу Разина на экране? По сохранившимся документам и отзывам свидетелей, представляю его умным и одаренным — недаром он был послом Войска Донского. Вместе с тем поражают противоречия в его характере. Действительно, когда восстание было на самом подъеме, Разин внезапно оставил свое войско и уехал на Дон — поднимать казаков. Чем было вызвано такое решение? На мой взгляд, трагедия Разина заключалась в том, что у него не было твердой веры в силы восставших.

Мне хочется в новом фильме отразить минувшие события достоверно и реалистично, быть верным во всем — в большом и малом. Если позволит здоровье и сила, надеюсь сам сыграть в фильме Степана Разина".

Роман о Разине, который В.М.Шукшин решил написать после сценария, ему действительно удалось завершить к трехсотлетию разинского восстания. Фильм ему не удалось снять вообще. Сценарий фильма был напечатан в журнале "Искусство кино" в 1968 г. (№ 5—6). Параллельно писался роман.

Роман завершен в 1969 году. В нем две части. Для первой В.М.Шукшин долго ищет название ("Помутился ты, Дон, сверху донизу"; "Вольные донские казаки"; "Вольные казаки"); вторая часть называется неизменно: "Мститесь, братья!" Третья часть ("Казань") оформляется в окончательной редакции позднее, в 1970 году.

Судьба рукописи наиболее подробно описана биографом Шукшина В.И.Коробовым в его работе "Шукшин. Годы и творчество" (журнал "Волга", 1981, № 9).

В.И.Коробов пишет:

"Роман "Я пришел дать вам волю" был отдан... журналу "Новый мир"... "Новый мир" тянул с окончательным решением, и это очень беспокоило Шукшина, так как он связывал с публикацией романа его кинематографическую судьбу. В начале мая 1970 года по пути в Сростки Василий Макарович зашел в Новосибирске в редакцию ("Сибирских огней".— Л.А.) и передал рукопись "Разина" с условием прочитать и

решить вопрос о публикации как можно скорее, желательно к его возвращению в Москву..."

Как рассказывал В.И.Коробову Н.Н.Яновский (тогда заместитель главного редактора "Сибирских огней"), "Шукшин сразу спросил: не смутят ли редакцию такие обстоятельства — роман лежит в "Новом мире", тема его и материал не сибирские, какая-то часть книги уже была напечатана в виде сценария "Искусством кино"? Яновский заверил его, что не смутит. Роман сибиряками был прочитан быстро, решение было единогласным — публиковать".

Стало быть, на этот раз, сравнительно с прохождением "Любавиных", разногласия между автором и редакцией не возникли.

В 1970 году намечаются две публикации романа: одна — в журнале "Сибирские огни", другая — в издательстве "Советский писатель". В сибирском журнале роман быстро готовят к печати, в московском издательстве не спешат.

Задержка эта связана с тем, что внутренние рецензенты издательства обнаруживают кардинальные расхождения в оценке текста, причем литераторы сплошь оказываются оппонентами историков. Грубо говоря, литераторы роман отвергают, историки принимают. Второе обстоятельство чрезвычайно любопытно для нас: оценивая исторический роман В.М.Шукшина, именно специалисты—историки (А. Зимин, А.Сахаров, а еще раньше — В.Пашуто и С. Шмидт, рецензировавшие сценарий для "Искусства кино") становятся на сторону автора. Они отчетливо видят внутреннюю свободу, с которой В.М.Шукшин создает художественный образ Разина, однако единогласно признают, что концепция автора безусловно укладывается в рамки научно подтвержденной исторической истины. Эта поддержка со стороны ученых важна для В.М.Шукшина в его дальнейших усилиях.

Передав роман издателям, он делает новую попытку продвинуться вперед в работе над фильмом. В.М.Шукшин охотно беседует с корреспоидентами газет о планах, представляющихся ему вполне реальными. Некоторые аспекты этих разговоров с корреспондентами интересны с точки зрения того, как шлифуется в сознании В.М. Шукшина замысел разинской эпопеи.

Корреспондент "Литературной газеты" И.Гуммер:

— Как случилось, что Вы вдруг обратились к далекой исторической теме?

В.М.Шукшин:

— Не вдруг. В "Степане Разине" меня ведет та же тема, которая началась давно и сразу,— российское крестьянство, его судьбы. На одном из исторических изломов нелегкой судьбы русского крестьянства в центре был Степан Разин. Потому — Разин. К истории я уже обращался в романе "Любавины". То была первая попытка, не столь сложная по материалу и не столь далекая по времени: в "Любавиных" речь шла о начале 20-х годов нашего века. Но тема та же, и не случайно: я по происхождению крестьянин.

Как только захочешь всерьез понять процессы, происходящие в русском крестьянстве, так сразу появляется непреодолимое желание посмотреть на них оттуда, издалека. И тогда-то возникает глубинная, нерасторжимая, кровная связь — Степан Разин и российское крестьянство. Движение Разина — не "понизовая вольница", это крестьянское движение, крестьянским соком питавшееся, крестьянскими головами и крестьянской кровью оплаченное. И не случайно все движение названо "Второй крестьянской войной".

Не менее глубокой проблемой был для меня и сам Степан Разин. Кто он, что он, каков он — не внешне, а по сути своей, по глубине — на это надо отвечать.

С высоты 300 лет фигура Разина гораздо сложнее, объемнее, противоречивее. В своем неудержимом стремлении к свободе Разин абсолютно современен, созвучен нашим дням. При всем том он остается человеком своего века. И не хочется сглаживать, вытаскивать его оттуда в наше время.

— Как известно, о Разине писали Чапыгин и Злобин, до войны был фильм с Абрикосовым в главной роли...

В.М.Шукшин:

— ...Добавьте еще ленту 1908 года "Понизовая вольница" — первый художественный фильм на Руси. Но та, пожалуй, вовсе не в счет. Только обратите внимание: первый художественный фильм — о Разине.

В смысле фактологическом дать что-либо новое о Степане Разине почти невозможно. О нем меньше известно, чем о Болотникове или Пугачеве. Правда, недавно вышел в свет объемистый многолетний труд Академии наук, в котором собраны все документы о Разине. Но и тут, к сожалению, не так много нового. В художественных произведениях неизбежны домыслы. Мои домыслы направлены в сторону связи донцов и крестьянства. Я высоко ценю прежние произведения о Разине, особенно роман Чапыгина,

хорошо их знаю и не сразу отважился на собственный сценарий и роман — да, и роман — он будет печататься в журнале "Сибирские огни". Успокаивает и утверждает меня в моем праве вот что: пока народ будет помнить и любить Разина, художники снова и снова будут к нему обращаться, и каждый по-своему будет решать эту необъятную тему. Осмысление этого сложного человека, его дела давно началось и на нас не закончится. Но есть один художник, который создал свой образ вождя восстания и которого нам — никогда, никому — не перепрыгнуть,— это народ. Тем не менее каждое время в лице своих писателей, живописцев, кинематографистов, композиторов будет пытаться спорить или соглашаться, прибавлять или запутывать — кто как сможет — тот образ, который создал народ...

Это интервью напечатано 4 ноября 1970 года. С января 1971 года роман о Разине публикуется в "Сибирских огнях". С 1972 года в печати появляются отклики.

Отклики доброжелательные. Высказывается, впрочем, областная печать, центральные газеты и журналы молчат. В некоторых рецензиях подмечена связь противоречивой, мятущейся натуры Разина с духовными исканиями самого В.М.Шукшина, но этот аспект не углублен: критики воспринимают роман о Разине прежде всего как произведение исторического жанра, рассматривают его не столько в контексте творчества В.М.Шукшина, сколько в контексте других произведений о Разине — прежде всего романов А.Чапыгина и Ст.Злобина. С этим связан несколько "академичный" тон откликов (лучший из разборов — статья В.Петелина "Степан Разин — личность и образ. Три романа о Степане Разине" — журнал "Волга", 1972, № 3).

Журнальная публикация романа благожелательно встречена критикой, а отдельное издание застопорилось. В дальнейших планах и мыслях В.М.Шукшина в связи с разинской темой и о его психологическом состоянии в эту пору могут дать представление письма, сохранившиеся в его архиве. Одно из писем адресовано жителю поселка Трудфронт Икрянского района Астраханской области Г.И. Родыгину.

Г.И.Родыгин обратился в газету "Известия" с просьбой прислать ему описание разинского струга — мастер резьбы по дереву задумал изготовить по этому описанию макет струга в подарок Астраханскому краеведческому музею. Из "Известий" письмо переслали на консультацию В.М.Шукшину. Он набросал ответ, в котором дал волю чувствам:

"Что тут сказать. Был я в Астрахани — собирал материал, готовился к фильму о Разине. К сожалению, раззвонил я об этом — о будущем фильме — широко (помогли корреспонденты), а дела пока нет. Пользуюсь случаем, отвечу разом всем, кто пишет лично мне и тоже спрашивает о фильме: нет, пока фильм не делается. Причина? Одна из них такая: у моего кинематографического руководства есть сомнения в правильности решения мной образа Степана Разина в сценарии. А так как постановка такого фильма — это деньги, и немалые, то, значит, и вопрос стоит серьезно. Теперь к письму. (Поначалу, как взял письмо, у меня даже пальцы слегка задрожали — подумал: уж не известно ли кому о Разине что-то такое, чего никто не знает?) С удовольствием отвечаю вам.

Мне вспомнилась одна встреча на Дону. Увидел я на пристани в Старочеркасске белобородого старца, и захотелось мне узнать: как он думает про Степана? Спросил. "А чего ты про него вспомнил? Разбойник он... Лихой человек. И вспоминать-то его не надо". Так сказал старик. Я оторопел: чтобы на Дону и так... Но потом, когда спокойно подумал, понял. Работала на Руси и другая сила — и сколько лет работала! — церковь. Она, расторопная, прокляла Разина еще живого и проклинала еще 250 лет ежегодно, в великий пост. Это огромная работа. И она-то, эта действительно огромная работа, прямиком наводит на мысль: как же крепка благодарная память народа, что даже такие мощные удары не смогли пошатнуть ее, не внесли и смятения в душу народную — и образ Степана Тимофеевича живет в ней — родной и понятной. Что ж, что старичок не хочет вспоминать? Значит, уж очень усердно бился лбом в поклонах — память отшибло. У меня даже досады на него не нашлось. А как подумаешь, что — ничего ж не смогли сделать! — помним, так радостно. Конечно, Разин был не агнец с цветком в руке, рука его держала оружие и несла смерть. Но мы и с той поры крепко запомнили: заступник найдется! Предводитель сыщется. И пусть он будет крепким.

Вы, товарищ, спрашиваете: не имеют ли ученые люди рисунка или чертежа стружка, на котором плавал Степан Разин? Мы нашли такие рисунки... Тоже так же вот искали ученых людей и нашли. Я могу выслать чертеж и фотографии рисунков. Я вышлю. Только зудится на языке спросить: а зачем уж так точно-то? Ну, будет несколько не так, как надо в музее, ну и что? Тут дороже — как самому захоте-

лось, как бог на душу положит. Странный совет, понимаю, но — подумайте. Резон есть. Точно по рисунку да по чертежу — это как-то сухо, казенно. Не все же — музей да историки! Послушайте, как Шаляпин поет "Из-за острова..." — и делайте. Точно будет. А рисунки я Вам вышлю. Желаю удачи! Если потом пришлете фотографию Вашего стружка, буду благодарен. С уважением, Шукшин".

Это письмо, опубликованное одиннадцать лет спустя в книге В.М.Шукшина "Вопросы самому себе", к сожалению, не стало объектом интереса критиков, между тем оно — замечательное выражение мучительных метаний В.М. Шукшина между исторически достоверным Разиным и тем героем, которого жаждала его душа; грезившийся ему образ В.М.Шукшин по-прежнему то противопоставляет народной легенде, то старается опереть на нее,— хотя неоднозначность народного отношения к фигуре Разина вопиет уже из самой ситуации, когда один сельский житель не хочет "вспоминать" о Разине, а другой сельский житель хочет своими руками увековечить его память.

Между тем В.М.Шукшин продолжает работать над текстом романа. Один из этапов этой работы означен записью, сделанной женой писателя Л.Н.Федосеевой-Шукшиной 11 января 1974 года:

"Последняя ночь переписки седьмого раза романа о Разине.

— Кончил сегодня... и как будто ушел... Хороший мужик он. Жалко даже". (Архив В.М. Шукшина.)

К этому же времени относится свидетельство Л.Н. Федосеевой-Шукшиной, записанное и опубликованное В.М. Коробовым:

"Шукшин писал последние страницы... Попросил: "Ты сегодня не ложись, пока я не закончу казнь Стеньки... я чего-то боюсь, как бы со мной чего не случилось..." Лидия Николаевна, уставшая от домашних дел, часам к двум ночи сама не заметила, как заснула. Пробудилась же в половине пятого от громких рыданий, с Василием Макаровичем была нервная истерика, сквозь стенания едва можно было разобрать слова: "Тако-о-го... му-жи-ка... погу-у-били... сво-лочи..."

В такие моменты и становится ясно, сколь глубоко совпадает у В.М.Шукшина образ Разина с его собственным миром: и с образом отца, и с лирическим "я" писателя.

Весной 1974 года, закончив фильм "Калина красная", В.М.Шукшин возвращается к мысли о разинской киноэпопее.

Он подает на имя генерального директора киностудии "Мосфильм" Н.Т.Сизова следующую заявку:

"Предлагаю студии осуществить постановку фильма о Степане Разине.

Вот мои соображения.

Фильм должен быть двухсерийным; охват событий — с момента восстания и до конца, до казни в Москве. События эти сами подсказывают и определяют жанр фильма — трагедия. Но трагедия, где главный герой ее не опрокинут нравственно, не раздавлен, что есть и историческая правда. В народной памяти Разин — заступник обиженных и обездоленных, фигура яростная и прекрасная — с этим бессмысленно и безнадежно спорить. Хотелось бы только изгнать из фильма хрестоматийную слащавость и показать Разина в противоречии, в смятении, ему свойственных, не обойти, например, молчанием или уловкой его главной трагической ошибки — что он не поверил мужикам, не понял, что это сила, которую ему и следовало возглавить и повести. Разин — человек своего времени, казак, преданный идеалам казачества,— это обусловило и подготовило его поражение; кроме того, не следует, очевидно, в наше время "сочинять" ему политическую программу, которая в его время была чрезвычайно проста: казацкий уклад жизни на Руси. Но стремление к воле, ненависть к постылому боярству — этим всколыхнул он мужицкие тысячи, и этого у Разина не отнять: это вождь, таким следует его показать. Память народа разборчива и безошибочна. События фильма — от начала восстания до конца — много шире, чем это можно охватить в двух сериях, поэтому напрашивается избирательный способ изложения их. Главную заботу я бы проявил в раскрытии характера самого Разина — темперамент, свободолюбие, безудержная, почти болезненная ненависть к тем, кто способен обидеть беззащитного,— и его ближайшего окружения: казаков и мужицкого посланца Матвея Иванова. Есть смысл найти такое решение в киноромане, которое позволило бы (но не обеднило) делать пропуск в повествовании, избегать излишней постановочности и дороговизны фильма (неоднократные штурмы городов-крепостей, передвижения войска и т.д.), то есть обнаружить сущность крестьянской войны во главе с Разиным — во многом через образ самого Разина.

Фильм следует запустить в августе 1974 года..."

Решение о запуске фильма было принято дирекцией "Мосфильма" в сентябре 1974 года. В.М.Шукшин в эту пору

снимался на Дону в картине С.Ф.Бондарчука "Они сражались за Родину". В последних числах сентября В.М. Шукшин узнал о положительном решении студии.

В ночь на 2 октября 1974 года он умер от сердечного приступа.

Поздней осенью в издательстве "Советский писатель" роман "Я пришел дать вам волю" вышел отдельной книгой.

На этот раз реакция критики — всеобщая, бурная и яркая. Выход книги совпадает с потрясением, вызванным неожиданной смертью В.М.Шукшина. Образ Степана Разина, его внутренняя противоречивость, поиски правды и ощущение вины, трагическое чувство бессилия, драма, которая заключалась в отходе казачьей вольницы от векового крестьянского дела, само ощущение горькой неотвратимой беды, которую предвещает раскол народной души,— все это осмысляется теперь в критике не как страница художественной истории XVII века, а как прямая исповедь — свидетельство мучительных исканий самого В.М.Шукшина. Роман о Разине встает в творческую биографию автора как своеобразное завещание.

/ Л. Аннинский /

ПОВЕСТИ

1. Там, вдали. *Повесть*, (т. 2, стр. 361).

Впервые — "Молодая гвардия", 1966, № 11, 12. Впоследствии повесть вышла в сборнике "Там, вдали" (М.: Сов.писатель, 1968).

Повесть "Там, вдали" не получила большой прессы и не была причислена к удачам писателя. Но тем не менее в ней отчетливо сказалось социальное чутье Шукшина-художника, сумевшего показать драматизм такого явления, как миграция населения из деревни в город. В повести много шукшинского, характерного для творческих исканий этого периода, что нашло отражение, например, в статье "Монолог на лестнице" (1968).

Во внутренней рецензии на готовящийся сборник в издательстве "Советский писатель" критик А.Макаров отмечал: "Там, вдали" — повесть о большой неразделенной любви, чистой и верной любви рабочего парня к уже испорченной городской безалаберщиной женщине. Образ героини здесь, на мой взгляд, самый впечатляющий, психологически достовер-

ный, в жизни встречаешь такие натуры: вырвавшись из родного гнезда, они утрачивают волю, поддаются легким соблазнам, и в результате — страстная жажда все же найти что-то прочное, основательное, прикрепиться к чему-то, и вечная неудовлетворенность, и поиски избавления единственного доступным способом изменения привязанностей, не приносящие удовлетворения. Очень серьезные нравственные вопросы подняты в этой повести".

2. **Точка зрения.** *Повесть-сказка,* (т. 2, стр. 417). Варианты подзаголовков, сохранившиеся в бумагах В.М.Шукшина: "Сказка для детей старше школьного возраста"; "фарсовое представление в 4 сценах"; "опыт современной сказки"; "опыт современной сценической сказки"; "опыт современной кинематографической сказки".

Замысел повести относится к середине 60-х годов и связан с замыслом одноименного фильма, о котором В.М.Шукшин, отвечая на вопрос корреспондента "Московской кинонедели" о ближайших творческих планах, рассказывал следующее:

"Свой новый фильм мне хотелось бы посвятить нравственным и философским проблемам наших дней. Я надеюсь осуществить эту постановку по собственному сценарию, который условно называется "Точка зрения". Это будет современная сказка-притча.

Действие сценария происходит "в некотором царстве, в некотором государстве", где живут два молодых человека — Пессимист и Оптимист. Один утверждает, что в жизни все плохо и неинтересно, нет хороших людей — их выдумывают писатели. Другой привык воспринимать жизнь через розовые очки, считает, что трудности и невзгоды преодолевать также легко, как стометровку.

Не сумев разрешить спор, Пессимист и Оптимист обращаются за помощью к Мудрому человеку. Мудрец направляет молодых людей в дом девушки, которую вечером должны прийти сватать, и предлагает каждому по-своему описать все, что они там увидят.

О том, что увидели в чужом доме и как рассказали об этом Пессимист и Оптимист,— мой будущий фильм.

Воплощая свой замысел в сценарии, я поставил перед собой задачу показать вред и опасность двух крайностей — огульного очернительства жизни, беспросветного пессимизма и, с другой стороны, беспочвенного оптимизма, своеобразной "маниловщины".

("Московская кинонеделя", 24 января 1966 г.)

В феврале 1967 года В.М.Шукшин читал "Точку зрения" в Центральном Доме литераторов на творческом объединении прозаиков; состоялось обсуждение рукописи (информация — в еженедельнике "Литературная Россия", 1967, 17 февраля); все это свидетельствует о том, что сценарий уже был переработан в повесть.

Кинофильм "Точка зрения" так и не был поставлен В.М.Шукшиным. Повесть-сказка под этим названием впервые опубликована в журнале "Звезда" (1974, №7). Впоследствии неоднократно переиздавалась и инсценировалась.

3. **Энергичные люди.** *Сатирическая повесть для театра,* (т. 2, стр. 457). Закончена 1 января 1974 года в Москве, в больнице. Впервые опубликована с подзаголовком "сатирическая повесть" в еженедельнике "Литературная Россия", 1974 г., 7, 14 и 21 июня. Неоднократно переиздавалась. Летом 1974 года поставлена Г.А.Товстоноговым на сцене Ленинградского академического Большого драматического театра имени М.Горького; В.М.Шукшин участвовал в инсценировке (записал "Голос автора"). В том же сезоне "Энергичные люди" поставлены Омским драматическим театром. Это первые постановки произведений В.М.Шукшина на театральной сцене.

4. **До третьих петухов.** *Повесть-сказка,* (т. 2, стр. 499). Написана в первой половине 1974 года: в феврале В.Шукшин показал артисту М.Ульянову ее начало. Закончена повесть 26 июля 1974 года на Дону. Первоначальный заголовок "Ванька, смотри". Подзаголовок (сохранившийся в черновиках): "Сказка про Иванушку-дурачка, как ходил он за тридевять земель добывать справку, что он умный и современный". Окончательные заглавие и подзаголовок найдены совместно с редакцией журнала "Наш современник", для которой повесть предназначалась. Опубликована посмертно в "Нашем современнике", (1975, №1) (публикация Л.Н.Федосеевой-Шукшиной). Неоднократно переиздавалась.

5. **А поутру они проснулись...** *Повесть для театра,* (т. 2, стр. 549). Начата в декабре 1973 года в Москве, в больнице. Не закончена. В.М.Шукшин продолжал работать над текстом летом 1974 года на Дону во время съемок фильма "Они сражались за Родину", до самой смерти. Впервые опубликована Л.Н.Федосеевой-Шукшиной в журнале "Наш современник" (1975, №1) с предисловием С.Залыгина. Заглавие дано редакцией. Повесть предназначалась для Ленинградско-

го академического Большого драматического театра имени М.Горького.

М.Ульянов поведал некоторые моменты истории создания "А поутру они проснулись".

Весной 1974 года М.Ульянов затеял новую работу в театре, ему потребовалась пьеса и он обратился к Шукшину. Шукшин поделился с М.Ульяновым сюжетом "А поутру они проснулись". Шукшин обещал М.Ульянову пьесу как только закончит ее. Но работа над пьесой приостановилась — Шукшин не мог найти нужного финала. "Знаешь,— говорил он М.Ульянову по телефону,— не получается пьеса. Я ее, в общем-то написал, но не знаю, чем кончить. Я понимаю, что русскому мужику пить — горе. Я понимаю. Но чем кончить, не знаю. А просто-напросто сказать, что пить вредно, тоже не могу. Мне нужен финал, а придумать не могу".

Совсем незадолго до своей смерти Шукшин, по словам Г.Буркова, придумал финал повести "А поутру они проснулись": "Идет суд, женщина-судья стыдит пьяниц, и в этот момент в зал входит пожилая женщина-мать. Судья спрашивает: "Вы кто?"

— Я — совесть.

— Чья совесть? Их совесть? — Судья показывает на пьяниц.

— Почему их? И ваша тоже,— отвечает мать".

Впервые поставлена в 1978 году московским театром "Современник". Подготовленный "Современником" сценический вариант текста тогда же издан для театров (М., ВААП, 1978). Повесть неоднократно переиздавалась.

/ Л. Федосеева-Шукшина /

КИНОПОВЕСТИ

1. Живет такой парень, (т. 3, стр. 5).

Впервые — М.: Искусство, 1964. В основу киноповести легли рассказы В.Шукшина "Классный водитель" и "Гринька Малюгин".

В 1964 году вышел фильм В.М.Шукшина, поставленный по этому сценарию. Фильм получил широкую известность: в Ленинграде на Всесоюзном кинофестивале "Живет такой парень" получил приз как лучшая кинокомедия. После Ленинградского фестиваля фильм завоевал "Золотого льва св. Марка" на XVI Международном кинофестивале в Венеции.

Несмотря на высокое официальное признание фильма, В.Шукшину тем не менее казалось, что его не совсем верно поняли, приняв "Живет такой парень" за кинокомедию. В.Шукшин пишет статью "Послесловие к фильму"(Искусство кино, 1964, № 9) — своеобразный "ответ" зрителям и критикам, где, в частности, говорит: *"Я хотел сделать фильм о красоте чистого человеческого сердца, способного к добру. Мне думается, это самое дорогое наше богатство — людское. Если мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке. Образованность, воспитанность, начитанность — это дела наживные, как говорят. Я представляю себе общество, где все грамотны, все очень много знают и все изнурительно учтивы. Это хорошо. Но общество, где все добры друг к другу,— это прекрасно. Еще более прекрасно, наверно, когда все добры и образованны, но это — впереди.*

Так серьезно я думал, когда мы приступали к работе над фильмом. А теперь, когда работа над ним закончена, я в полном недоумении, ибо выяснилось, что мы сняли комедию.

О комедии я не думал ни тогда, когда писал сценарий, ни тогда, когда обсуждались сцены с оператором, художником, композитором. Во всех случаях мы хотели бы быть правдивыми и серьезными. Все — от актеров до реквизиторов и пиротехника. Работа ладилась, я был уверен, что получится серьезный фильм.

Нам хотелось насытить его правдой о жизни. И хотелось, чтоб она, правда, легко понималась. И чтоб навела на какие-то размышления.

Я очень серьезно понимаю комедию. Дай нам бог побольше получить их от мастеров этого дела. Но в комедии, как я ее понимаю, кто-то должен быть смешон. Герой прежде всего. Зло смешон или по-доброму, но смешон. Герой нашего фильма не смешон. Это добрый, отзывчивый парень, умный, думающий, но несколько стихийного образа жизни. Он не продумывает заранее, наперед свои поступки, но так складывается в его жизни, что все, что он имеет, знает и успел узнать, он готов отдать людям.

...Один упрек, который иногда предъявляется нашему фильму, беспокоит и, признаюсь, злит меня: говорят, что герой наш примитивен. Не знаю... Я заметил вот что: люди настоящие — самые "простые" (ненавижу это слово!) и высококультурные — во многом схожи. И те и другие не любят, например, болтать попусту, когда дело требует

мысли или решительного поступка. Схожи они и в обратном: когда надо, найдут точное хлесткое слово — вообще мастерски владеют родным языком. Схожи они в том, что природе их противно ханжество и демагогия, они просты, в сущности, как проста сама красота и правда. Ни тем, ни другим нет надобности выдумывать себе личину, они не притворяются, душа их открыта всем ветрам: когда больно, им больно, когда радостно, они тоже этого не скрывают. Я не отстаиваю тут право на бескультурье. Но есть культура и есть культурность. Такая культурность нуждается почему-то в том, чтобы ее поминутно демонстрировали, пялили ее в глаза встречным и поперечным. Тут надо быть осторожным. А то так скоро все тети в красивых пижамах, которые в поездах, в купе, в дело и не в дело суют вам "спасибо" и "пожалуйста" и без конца говорят о Большом театре, тоже станут культурными.

Пашка Колокольников не поражает, конечно, интеллектом. Но мы ведь и снимали фильм не о молодом докторе искусствоведческих наук. Мы снимали фильм о шофере второго класса с Чуйского тракта, что на Алтае. Я понимаю, что дело тут не в докторе и не в шофере — в человеке. Вот об этом мы и пеклись — о человеке. И изо всех сил старались, чтобы был он живой, не "киношный". Очень хочется, чтобы зритель наш, заплатив за билет пятьдесят копеек, уходил из кинотеатра не с определенным количеством решенных проблем, насильственно втиснутых ему в голову, а уносил радость от общения с живым человеком.

Что касается вопросов и тех самых "проблем", которые мы "ставили" перед собой, то в фильме, по-моему, все ясно".

2. **Ваш сын и брат**, (т.3, стр. 49).

Впервые — В. М. Шукшин "Киноповести", М.: "Искусство",1991.

Использованы мотивы рассказов "Игнаха приехал", "Степка", "Змеиный яд". Фильм поставлен в 1965 году на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького.

3. **Странные люди**, (т. 3, стр. 87).

Впервые — В. М. Шукшин "Киноповести", М.: "Искусство",1991.

Использованы мотивы рассказов "Чудик", "Микроскоп", "Миль пардон, мадам", "Думы". Фильм поставлен в 1969 году

на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького.

4. **Позови меня в даль светлую,** (т. 3, стр. 129).

Впервые — "Звезда", 1975, № 6.

В основу киноповести легли рассказы "Вянет, пропадает", "Владимир Семенович из мягкой секции", "Космос, нервная система и шмат сала", "Племянник главбуха" и характерологические штрихи из других произведений.

По воспоминаниям Л.Н.Федосеевой-Шукшиной, Василий Макарович намеревался снять по этой киноповести фильм и сыграть в нем "дядю Володю", что, по ее мнению, "свидетельствует о неоднозначности образа незадачливого жениха Груши Веселовой". В галерее кинообразов, созданных актером Шукшиным, этот оказался бы, наверно, несколько необычным. По-своему трагична судьба этого стареющего человека, не умеющего приносить счастье другим, а значит — и самому себе.

"Фильм будет грустный,— говорил Василий Макарович.— А где грустно, там искусство".

В.Шукшин не успел поставить фильм. Он был поставлен на киностудии "Мосфильм" (1977) режиссерами Г.Лавровым и С. Любшиным.

Был благожелательно принят зрителями и критикой, посчитавшими, что создателям фильма удалось сохранить художественный мир Шукшина, обнаружив при этом "душевное родство" с ним, передать на экране светлую печаль Груши Веселовой.

5. **Брат мой,** (т. 3, стр. 181).

Впервые — "Искусство кино", 1974, № 7. В киноповести были использованы сюжетные линии рассказов "Коленчатые валы", "Степкина любовь", фрагменты из некоторых других рассказов.

Киноповесть "Брат мой" имеет свою внутреннюю историю, во многом характеризующую меру художнической требовательности, так свойственной Шукшину. В 1969 году Шукшин опубликовал статью "Нравственность есть Правда", в которой, в частности, писал: *"Задумал такой сценарий.*

Живет на свете (в далекой глухой деревне) обиженный судьбой паренек Минька Громов. Мал ростом, худ и вдобавок прихрамывает: парнишкой еще уснул на прицепе, свалился, и ему шаркнуло плугом по ноге. Чудом жить остался: тракторист случайно оглянулся, дал тормоз. А то бы перепахало всего.

Так вот, не повезло парню. Наверное, от этого он стал пронзительно-дерзкий, ругался со всеми, даже наскакивал драться. Таких — всерьез — не любят, но охотно потешаются и подзадоривают на всякие выходки.

Мне захотелось всеми возможными средствами кино оградить этого доброго человека от людских насмешек, выявить попутно свой собственный запас доброты — восстановить слабого и беззащитного в правах человека. Ходил радовался: задумал хорошее дело. Видел Миньку, знал актера, который сыграет его. Но еще держал себя, не начинал писать: рано. По некоторому опыту знаю: надо довести себя до почти мучительного нетерпения.

Надо знать также всех людей, которые будут окружать героя.

...Пришло время, сел писать. Писалось легко, податливо. Навалял 60 страниц и куда-то уехал. С сожалением оторвался от работы и все думал потом о написанном. И чем больше думал, тем тревожнее и тревожнее становилось на душе. Что-то, однако, не то! А что? — не пойму. И под конец так захотелось перечитать написанное, что перестало интересовать все окружающее. Чуял какой-то грех, вину, беду. Приехал, перечитал — так и есть: все написанное (а это почти весь сценарий) — ловкая выдумка. Теперь время прошло, я сумею спокойно понять свой промах.

Он в самом замысле. Все удобное мешает искусству. В данном случае очень уж удобная схема. Добрый, обойденный судьбой парень, его не любят, смеются над ним, стало быть, зрительская любовь ему обеспечена. По схеме ранних лет кинематографа авторы давали в конце такому герою орден — "за боль годов". Теперь схема иная: герой орден не получает, но всемогущий перст автора в конце устремлен на него: смотрите, какой это хороший, добрый, сердечный человек, и не стыдно ли всем нам, что ему плохо жить! Так я и сделал. Отец Миньки доживает последние дни. Минька дает брату телеграмму. Брат Илья приезжает, но не успевает к живому отцу. Уже начало непоправимо плохо. Как читатель и зритель сам не переваривaю, когда действие повести или фильма начинается с чьего-нибудь приезда. Сколько можно!.. Приезжает новый агроном, председатель колхоза, приезжают строители, приезжают дяди, тети, гости, секретари райкомов — столько приезжают, что скулы воротит. И еще: я тут же выдал свое сочувствие герою — зачем сразу заставать его в таком горе, от

которого содрогнется всякое сердце? Я попросту сделал себе легкую жизнь: не утруждая себя особенно, заявил: "Смотрите, какой он непосредственный, милый и как изболела его душа!" Не меньше в лоб получилось и с Ильей. Я тоже сразу раскрыл все карты: и он тоже проверяется смертью отца, относится к ней много спокойнее — очерствел в городе, прихватил жестокой житейской "мудрости" современного городского мещанства ("надо хитрей быть", "не открывай всем свою душу — ткнут пальцем, сделают больно"). Все сразу ясно. Дальше схема продолжает гнуть меня в бараний рог. Силы расставлены, рука летит по бумаге, сталкивая героев, слегка путая сюжет (современно!). Что может ждать более или менее поднаторевший зритель? Что красивый, сильный, привлекательный Илья (поначалу, по крайней мере) понравился Вале, а ему — умная, гордая, красивая Валя. И он (с первых страниц сценария известно: у него в городе не сложилась семья), научившийся брать у жизни крепкой рукой сколько подвернется, отнимет у нищих суму, лишит их всякой надежды на будущее — увезет Валю в город. Точно. На большее меня не хватило. Я только малость пококетничал: Илья отнимает у Миньки и у Миколы Валю-надежду не без некоторой внутренней борьбы — ему все-таки жалко их. Но...

Название сценария было под стать содержанию: "Враг мой" — усеченное: "Брат мой — враг мой".

Если бы меня кто-нибудь другой ругал за сценарий или за фильм (критик), а не я сам себя, я бы, наверно, ощетинился. "А что, так не бывает в жизни?" Впрочем, нет, едва ли. Стыдно было бы. Так, конечно, бывает, но так не должно быть в искусстве. Нельзя, чтобы авторская воля наводила фокус на те только явления жизни, которые она найдет наиболее удобными для самовыявления. Не всегда надо понимать до конца то, о чем пишешь — так легче остаться непредвзятым. В случае со мной схема потому одолела меня, почему всякой девушке, например, трудно, почти невозможно пойти на свидание в заурядном платье, оставив дома нарядное. Мысль моя была нарядная, яркая, я почувствовал себя хорошо. Смотрите: родные братья, судьба растащила их, увела старшего далеко от дома, научила равнодушию, жесткости, скрытности — это то, чем он расплатился за городское благополучие. А вот младший... Ну и так далее. Всем воздал. Может быть, фильм и смотрелся бы. Но, господи! Как он выдуман! Как все удобно там, так все хорошо и ясно. И вот: Минька —

нравственный, Илья — безнравственный. Так пошел бы шагать по экранам еще один недоносок. (Это вовсе не ручательство, что фильм, который я теперь делаю, будет прекрасен во всех отношениях. Постараюсь, конечно, чтобы пошлость и недомыслие не отравили его еще в утробе). Изо всех сил буду стараться рассказать правду о людях. Какую знаю, живя с ними в одно время.

Ну и, как говорится, дай мне бог здоровья!"

По киноповести на "Мосфильме" был снят режиссером В.Виноградовым фильм "Земляки" (1975). Не собираясь сам делать фильм, В.Шукшин намеревался в нем сыграть роль Ивана Громова, но ему это не удалось из-за участия в фильме С.Бондарчука "Они сражались за Родину" (роль Лопахина стала последней в жизни В.Шукшина).

Большинство рецензий на фильм "Земляки" носило критический характер, зрители и критики убедительно доказывали, что "без Шукшина" пропал конфликт, появилась не свойственная его таланту слащавость, идилличность.

6. Печки-лавочки, (т. 3, стр. 227).

Впервые — Киноповести, М.: Искусство, 1975.

Если первые киноповести создавались на основе рассказов, то "Печки-лавочки" вполне оригинальное произведение. В середине 60-х годов В.Шукшин пришел к убеждению, что для кино должна создаваться специальная кинолитература. "Отныне я перестану,— писал Шукшин,— ставить фильмы по своим рассказам, буду пробовать писать литературу только для кино..."

Сценарий "Печек-лавочек" был представлен в 1969 году в студию "Мосфильм" и в Комитет. В 1971 году В.Шукшин написал заявку директору киностудии имени Горького, в которой следующим образом изложил содержание сценария: *"Это опять тема деревни с "вызовом", так сказать, в город. Иван Расторгуев, алтайский тракторист, собрался поехать отдохнуть к Черному морю. История этой поездки и есть сюжет фильма. Историю эту надо приспособить к разговору об:*

1. Истинной ценности человеческой.

2. О внутренней интеллигентности, о благородстве.

3. О достоинстве гражданском и человеческом.

Через страну едет полноправный гражданин ее, говоря сильнее — кормилец, работник, труженик. Но с каких-то странных пор повелось у нас, что деревенского, сельского надо беспрерывно учить, одергивать, слегка подсмеиваться

над ним. Учат и налаживают этакую снисходительность кому не лень: проводники вагонов, дежурные в гостиницах, продавцы... Но разговор об этом надо, очевидно, вести "от обратного": вдруг обнаружить, что истинный интеллигент высокой организации и герой наш, Иван Расторгуев, скорее и проще найдут взаимный интерес друг к другу, и тем отчетливее выявится постыдная, неправомочная, лакейская, по существу, роль всех этих хамоватых учителей, от которых трудно Ивану.

И всем нам.

Если попытаться найти в данном сюжете жанр, то это комедия. Но, повторяю, разговор должен быть очень серьезным.

Под комедией же здесь можно разуметь то, что является явным несоответствием между истинным значением и наносной сложностью и важностью, какую люди пустые с удовольствием усваивают. Все, что научилось жить не по праву своего ума, достоинства, не подлежащих сомнению,— все подлежит осмеянию, т.е. еще раз напомнить людям, что все-таки сложность, умность, значимость — в простоте и ясности нашей, в неподдельности.

Иван с женой благополучно прибыли к Черному морю (первый раз в жизни), но путь их (люди, встречи, столкновения, недоумения) должен нас заставить подумать. О том, по крайней мере, что если кто и имеет право удобно чувствовать себя в своей стране, то это — работник ее, будь то Иван Расторгуев или профессор-языковед, с которым он встречается. Право же, это их страна. И если такой вот Иван не имеет возможности устроиться в столичной гостинице, и, положим, с какой лихостью, легкостью и с каким-то шиком устраиваются там всякого рода сомнительные деятели в кавычках, то недоумение Ивана должно стать и нашим недоумением. Мало сказать — недоумением, не позор же это нам? Вот коротко о чем сценарий..."

В том 1971 году на Алтае проходили натуральные съемки "Печек-лавочек". В 1972 году фильм был окончен. Он стал важным этапом в кинематографической судьбе Шукшина. В.М.Шукшин не только написал сценарий, не только поставил фильм, но и впервые на большом экране сам сыграл в нем главную роль (отметим, что уже в своей дипломной работе "Из лебяжьего сообщают" ("Мосфильм", 1960) Шукшин был и сценаристом и режиссером, и исполнителем главной роли).

"Печки-лавочки" получили в общем благожелательную прессу. Но опять-таки неожиданно для Шукшина часть зрителей и критики попрекали автора в незнании современной колхозной жизни, в том, что Шукшин "не услышал подлинного голоса жизни сегодняшнего алтайского села".

Это больно задевало Шукшина и отчасти послужило причиной написания статьи "Признание в любви" ("Смена", 1974, № 2; полная публикация вышла после смерти Шукшина под названием "Милая моя Родина"), в которой Шукшин, в частности, писал: *"Как-то в связи с фильмом "Печки-лавочки" я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. Письмецо короткое и убийственное: "Не бери пример с себя, не позорь свою землю и нас". Потом в газете "Алтайская правда" была напечатана рецензия на этот же фильм (я его снимал на Алтае), где, кроме прочих упреков фильму, был упрек мне — как причинная связь с неудачей фильма: автор оторвался от жизни, не знает даже преобразований, какие произошли в его родном селе... И еще отзыв с родины: в газете "Бийский рабочий" фильм тоже разругали, в общем за то же. И еще потом были выступления моих земляков (в центральной печати), где фильм тоже поминался недобрым словом... сказать, что я все это принял спокойно, значит зачем-то скрыть правду. Правда же тут в том, что все это, и письма и рецензии, неожиданно и грустно. А в фильм я вложил много труда (это, впрочем, не главное, халтура тоже не без труда создается), главное, я вложил в него мою любовь к родине и Алтаю, какая живет в сердце — вот главное, и я подумал, что это-то не останется незамеченным.*

...Трудно понять, но как где скажут "Алтай", так вздрогнешь, сердце лизнет до боли мгновенное горячее чувство. Когда буду помирать, если буду в сознании, в последний момент успею подумать о матери, о детях и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня ничего нет.

...Родина... Но почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь не похоже по жизни-то... Отчего же? Может, потому, что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно, так. Благослови, тебя, моя родина, труд и разум человеческий! Будь счастлива! Будешь ты счастлива, и я буду счастлив".

Ответ на вопрос о происхождении присловья "Печки-лавочки" можно найти в книге С.В.Максимова "Крылатые слова."

"В крестьянской избе,— пишет Максимов,— печь занимает целую треть всего помещения, а лавки наглухо приделываются к трем стенам обычно четырехстенного рубленого бревенчатого жилого сруба".

Здесь и истоки выражения печки-лавочки, первоначальное значение — совместное дружное житье, дружба и лад. В словаре Даля можно найти: "У них и печки, и лавочки, все вместе (дружны)".

Со временем значение выражения менялось: оно стало более широким и менее определенным по значению, приобрело шутливую окраску и получило тот смысл, который сохранился до нашего времени: печки-лавочки — это домашние дела, заботы, а также вообще бытовые подробности, житейские истории и просто смешные пустяки. Выражение стало поговорочным присловьем, оно практически совсем потеряло буквальный смысл, связанный с русской печью и лавками в избе.

7. Калина красная, (т. 3, стр. 291).

Впервые — "Наш современник", 1973, №4.

Первоначально — литературный сценарий одноименного фильма. Сценарий написан осенью 1972 года в Москве, в больнице.

Из статьи Л.Сидоровского "Сердце Шукшина": "Как-то Лидия Николаевна (Федосеева-Шукшина.— *Ред.*) с дочками пришла к мужу в больницу, а у него в глазах, глубоко-глубоко,— слезы.

— Что случилось?

Подает "амбарную книгу":

— На вот, написал... Только не надо сейчас... Потом, дома...

Читала, плакала...

...Поверху написано: "Калина красная", а пониже: "Писал сценарий 27 октября — 15 ноября 1972 года. Москва (больница)". ("Смена", Ленинград, 1979, 24 июля).

...Кинофильм, завершенный к началу 1974 года, вышел на экраны весной того же года и вызвал поистине всенародный отклик. Ныне он признан самой важной кинокартиной В.М.Шукшина, его творческим завещанием. Главный приз VII Всесоюзного кинофестиваля в Баку в 1974 году, огромное количество рецензий (число их уже в 1974 году приблизилось к полутораста), поток зрительских писем, хлынувший сразу после премьеры,— это лишь самое начало того признания,

которое вывело фильм "Калина красная" на уровень советской киноклассики,— начало это В.М.Шукшин успел увидеть.

Киноповесть оказалась, таким образом, в тени кинофильма. Пытаясь проанализировать эту ситуацию и, в частности, понять тот факт, что публикация повести не вызвала откликов, тогда как фильм мгновенно оказался в центре внимания, журнал "Вопросы литературы" провел по обоим произведениям дискуссию, пригласив выступить в ней преимущественно писателей и литературных критиков. В дискуссии участвовали Б.Рунин, Г.Бакланов, С.Залыгин, В.Баранов, Л.Аннинский, К.Ваншенкин и В.Кисунько. У фильма, как и у повести, нашлись противники: К.Ваншенкин говорил о "просчетах", о "сентиментальности многих эпизодов", о "банальности персонажей", об "умозрительности концепции". В.Баранов упрекал автора за "театральные эффекты", за "мелодраматизм" мотивировок и за то, что "сентиментально-умилительные интонации Егора мало вяжутся с подлинно крестьянским мироощущением человека-труженника на земле".

С.Залыгин, отвечая критикам, сказал: "...нам пора уже отдать себе отчет в том, что в лице Шукшина мы встречаемся с уникальным явлением нашего искусства... Нужно об этом помнить при оценке и изучении его творчества... Без этого неизбежно возникает ошибка: произведение отнюдь не рядовое, выдающееся мы оцениваем по меркам, к которым привыкли, рассматривая вещи проходные, стандартные. Шукшин в отличие от всех нас дает нам образ, обладающий своею собственной, а не нашей логикой, своими, а не нашими понятиями,— в этом и заключается его большое художественное открытие... "

Материалы дискуссии были показаны В.М.Шукшину, и он напнсал по ним статью "Возражения по существу", которая была опубликована вместе с другими материалами дискуссии в июльском номере "Вопросов литературы" за 1974 год. Из тактических соображений В.М.Шукшин говорит в статье "только о фильме", а киноповесть желает "оставить в покое", однако речь идет, по существу, о жизненной концепции автора, очень важной для понимания его замысла в обоих случаях. Приводим этот автокомментарий:

"Думаю, мне стоит говорить только о фильме, а киноповесть оставить в покое, потому что от литературы в кино — путь необратимый. Неважно, случилась тут потеря или обнаружены новые ценности,— нельзя от фильма вернуться к литературе и получить то же самое, что было

сперва. Пусть попробует самый что ни на есть опытный и талантливый литератор записать фильмы Чаплина, и пусть это будет так же смешно и умно, как смешны и умны фильмы,— не будет так. Это разные вещи, как и разные средства. Литература богаче в средствах, но только как литература; кино — особый вид искусства и потому требует своего суда. Что касается моего случая, то, насколько мне известно, киноповесть в свое время не вызвала никаких споров, споры вызвал фильм — есть смысл на нем и остановиться.

Меня, конечно, встревожила оценка фильма К.Ваншенкиным и В.Барановым, но не убила. Я остановился, подумал — не нашел, что здесь следует приходить в отчаяние. Допустим, упрек в сентиментальности и мелодраматизме. Я не имею права сказать, что Ваншенкин здесь ошибается, но я могу думать, что особенности нашего с ним жизненного опыта таковы, что позволяют нам шагать весьма и весьма параллельно, нигде не соприкасаясь, не догадываясь ни о чем сокровенном у другого. Тут ничего обидного нет, можно жить вполне мирно, и я сейчас очень осторожно выбираю слова, чтобы не показать, что я обиделся или что хочу обидеть за "несправедливое" истолкование моей работы. Но все же мысленно я адресовался к другим людям. Я думал так, и думал, что это-то и составит другую сторону жизни характера героя, скрытую.

Если герой гладит березки и ласково говорит с ними, то он всегда делает это через думу, никогда бы он не подошел только приласкать березку. Как крестьянин, мужик, он — трезвого ума человек, просто и реально понимает мир вокруг, но его в эти дни очень влечет побыть одному, подумать. А думая, он поглаживает березку (он и правда их любит), ему при этом как-то спокойнее, он и поглаживает, и говорит всякие необязательные слова, но для того, чтобы — подумать. Есть особенность у людей, и по-разному мы думаем: лишь тогда хорошо и глубоко думают, когда что-то делают или говорят. Но говорят-то вовсе не про то, что можно объяснить какой-нибудь потребностью, потребность же тут — подумать. Но и к чему попало человек не подойдет, а подойдет, где ему привычно, понятно... Где как раз не надо ни на что другое отвлекаться мыслью, кроме как решить что-то главное, что теперь тревожит. Но оттого, что выбор этого "отвлекающего" дела есть шаг бессознательный, "врожденный", опять же ясен становится сам человек (это уж мне надо, автору) —

к чему подошел, что сделал невзначай, какие слова сказал, пока думал. Увидел березку: подошел, погладил, сказал, какая она красивая стоит — маленько один побыл, вдумался... Такая ж привычка, но привычка человека изначально доброго, чья душа не хочет войны с окружающим миром, а когда не так, то душа — скорбит. Но надо же и скорбь понять, и надо понять, как обрести покой.

Я и думал, что зритель поймет, что березки — это так, "к слову", увидит же он, зритель, как важно решить Егору, куда теперь ступить, где прислонить голову, ведь это не просто, это мучительно. Может, оттого и березки-то, что с ними не так страшно. А страшно это — и это-то и дико — уверовать, что отныне, до конца дней, одна стезя — пахать да сеять, для Егора, быть может, страшней тюрьмы, потому что — непривычно.

Ну, с березками — так.

Теперь истерика после сцены с матерью — мелодрама? Тут не знаю, что и говорить. Разве мелодрама? А как же, неужели не кричат и не плачут даже сильные, когда только криком и можно что-то сделать, иначе сердце лопнет.

Как только принимаюсь работать — писать рассказ, снимать фильм,— тотчас передо мной являются две трудности: жизнь человека внешняя (поступок, слова, жесты) и жизнь души человека (потаенная дума его, боль, надежда); то и другое вполне конкретно, реально, но трудно все собрать вместе, обнаружить тут логику да еще и "прийти к выводу". Я пока не сдаюсь, но изворачиваюсь. Меня больше интересует "история души", и ради ее выявления я сознательно и много опускаю из внешней жизни того человека, чья душа меня волнует. Иногда применительно к моим работам читаю: "бытописатель". Да что вы! У меня в рассказе порой непонятно: зимой это происходит или летом. Я не к тому, что я — кто-то другой, а не бытописатель (я, кстати, не знаю, кто я), но не бытописатель же, это же тоже надо, за ради правды дела, оставить в покое. И кстати, не думаю, что бытописатель — это ругательство. Где есть правда, там она и нужна. Но есть она и в душах наших, и там она порой недоступна.

Егор Прокудин, несомненно, человек сильный. Мне нравятся сильные люди, я в киноповести не без удовлетворения написал, что в минуту наивысшей боли он только стиснул зубы и проклинает себя, что не может — не умеет — заплакать: может, легче бы стало. Когда я стал день за днем разматывать жизнь этого человека, то понял, что в

литературной части рассказа о нем я сфальшивил, отбоярился общим представлением, но еще не показал всей правды его души. Я не думаю, что потом показал всю эту правду, но что ушел от штампа, которым обозначают сильного человека,— я думаю.

Как всякий одаренный человек, Егор самолюбив, все эти двадцать лет он не забывал матери, но явиться к ней вот так вот — стриженому, нищему — это выше его сил. Он все откладывал, что когда-нибудь, может быть, он явится, но только не так. Там, где он родился и рос, там тюрьма — последнее дело, позор и крайняя степень падения. Что угодно, только не тюрьма. И принести с собой, что он — из тюрьмы,— нет, только не это. А что же? Как же? Как-нибудь. "Завязать", замести следы — и тогда явиться. Лучше обмануть, чем принести такой позор и горе. Ну а деньги? Неужели не мог ни разу послать матери, сам их разбрасывал... Не мог. Как раз особенность такого характера: ходить по краю. Но это же дико! Дико. Вся жизнь пошла дико, вбок, вся жизнь — загул. Маленькие справедливые нормы В.Баранова тут ни при чем. Вся драма жизни Прокудина, я думаю, в том и состоит, что он не хочет маленьких норм. Он, наголодавшись, настрадавшись в детстве, думал, что деньги — это и есть праздник души, но он же и понял, что это не так. А как — он не знает и так и не узнал. Но он требовал в жизни много — праздника, мира, покоя, за это кладут целые жизни. И это еще не все, но очень дорого, потому что обнаружить согласие свое с миром — это редкость, это или нормальная глупость, или большая мудрость. Мудрости Егору недостало, а глупцом он не хотел быть. И думаю, что когда он увидел мать, то в эту-то минуту понял: не найти ему в жизни этого праздника — покоя, никак теперь не замолить свой грех перед матерью — вечно будет убивать совесть... Скажу еще более странное: полагаю, что он своей смерти искал сам. У меня просто не хватило смелости сделать это недвусмысленно, я оставлял за собой право на нелепый случай, на злую мстительность отпетых людей... Я предугадывал недовольство таким финалом и обставлял его всякими возможностями как-нибудь это потом "объяснить". Объяснять тут нечего: дальше — в силу собственных законов данной конкретной души — жизнь теряет смысл. Впредь надо быть смелее. Наша художественная догадка тоже чего-нибудь стоит.

Говорю тут, а понимаю: это ведь, в сущности, третье осмысление жизни и характера Егора Прокудина, два было — в повести и в фильме. Теперь, по третьему кругу, я свободнее и смелее, но позиция моя крайне уязвима: я должен защищаться и объяснять. Я допускаю, что этого могло не быть, будь я недвусмысленней, точнее и глубже в фильме, например. Остается выразить сожаление, что так вышло. Но мне хочется возыметь мужество и сказать: я с волнением и внимательно следил за ходом мыслей тех, кто нашел фильм произведением искусства. Я должен перешагнуть через стыд и неловкость и сказать, что мне это крайне дорого и важно. Тогда это другая мера отсчета и весь отсчет — в другую сторону. Под конец, вовсе обнажаясь, скажу, что сам я редко испытываю желание много и подробно говорить о чем-то прочитанном теперь или увиденном — нет желания, и все, и потому вправе был ждать — и ждал — и к себе такого же отношения. И то, что разговор этот случился, и случился он доброжелательный, участливый,— я за это благодарен".

22 мая 1974 года в "Правде" появилась подготовленная Г.П.Кожуховой беседа с В.М.Шукшиным — "Самое дорогое открытие" — где, в частности, о "Калине красной" говорилось следующее: *"Перед нами — человек умный, от природы добрый и даже, если хотите, талантливый. Когда в его юной жизни случилась первая серьезная трудность, он свернул с дороги, чтобы, пусть даже бессознательно, обойти эту трудность. Так начался путь компромисса с совестью, предательства — предательства матери, общества, самого себя. Жизнь искривилась, потекла по законам ложным, неестественным. Разве не самое интересное и не самое поучительное обнаружить, вскрыть законы, по которым строилась (и разрушалась) эта неудавшаяся жизнь? Вызывает недоумение, когда иные критики требуют показа в пьесе "благополучной" жизни: не противоречит ли это самому слову — драма?.. В постижении сложности — и внутреннего мира человека, и его взаимодействия с окружающей действительностью — обретается опыт и разум человечества. Не случайно искусство во все века пристально рассматривало смятение души и — обязательно — поиски выхода из этих смятений, этих сомнений. В избранном нами случае только развернутая картина драмы одной жизни — с ее началом и концом — может потрясти, убедить. Вся судьба Егора погибла — в этом все дело, и неважно, умирает ли он физически. Другой*

крах страшнее — нравственный, духовный. Необходимо было довести судьбу до конца. До самого конца.

И дело не в одном авторском намерении. К гибели вела вся логика и судьбы и характера. Если хотите, он сам неосознанно (а может, и осознанно) ищет смерти...

То же обстоятельство, что убивают его мстительные нелюди, а не что-нибудь другое, может быть, мой авторский просчет, ибо у смерти появляется и другой, поверхностный смысл. "Что же,— возмущенно спрашивают некоторые,— у таких людей нет другого выхода?!" Как нет? Мы же сами видели непоказную доброжелательность многих славных людей, протянувших ему бескорыстную руку помощи. Это ведь он не сумел воспользоваться, застраховать себя от трагической случайности".

/ Л. Федосеева-Шукшина, В. Панюта /

РАССКАЗЫ

В архиве В.М.Шукшина имеется более ста опубликованных рассказов.

Настоящее издание является наиболее полным. По нему читатель может составить представление как о целостном облике Шукшина-новеллиста (общепризнано, что именно рассказы обеспечили их автору видное место в русской прозе XX века), так и о движении его мастерства и миропонимания.

Все известные читателям рассказы В.М.Шукшина написаны в последние полтора десятилетия его жизни: с 1958 по 1974 год. Это не значит, что он не писал рассказов раньше. Но более ранние не стали фактом литературы. Среди шукшинских бумаг имеется так называемый "чемодан отказов": с середины 50-х годов, будучи студентом ВГИКа, Шукшин, по совету своего учителя М.И.Ромма, рассылал рассказы "веером" по всем московским редакциям, ответы он складывал в чемоданчик, что в условиях общежитского быта и беспрестанных переездов было достаточно рациональным решением. Сохранившиеся таким образом отказы (а подписаны они весьма авторитетными для того времени литературными именами), несомненно, еще сослужат службу будущим биографам В.М.Шукшина.

Перелом наступил летом 1958 года: в журнале "Смена" №15 появился рассказ Шукшина "Двое на телеге". С тех пор

имя Шукшина-рассказчика не сходит со страниц печатных изданий.

1. **Двое на телеге,** (т. 3, стр. 365). Впервые — "Смена", 1958, № 15. В сборниках В.Шукшина не публиковался.

2. **Светлые души,** (т. 3, стр. 370). Впервые — "Октябрь", 1961, № 3. В дальнейших прижизненных изданиях не публиковался.

3. **Степкина любовь,** (т. 3, стр. 375). Впервые — "Октябрь," 1961, № 3. В дискуссии о современном рассказе, организованной "Литературной Россией"в 1964 году, вокруг "Степкиной любви"разгорелся спор между критиками Г.Митиным и В.Кожиновым. Критик Г.Митин дал резко отрицательную оценку рассказу. В.Кожинов, напротив, убедительно доказал, что "в рассказе Шукшина... есть тот художественный смысл, который дает основание назвать "Степкину любовь"рассказом в подлинном смысле". Рассказ переиздавался в репертуарном сборнике "Знакомьтесь, Сибирь!"(М., 1965).

4. **Правда,** (т. 3, стр. 382). Впервые — "Октябрь", 1961, № 3 и параллельно в газете "Труд" за 26 марта 1961 года.

5. **Племянник главбуха,** (т. 3, стр. 388). Впервые — "Москва", 1962, № 4. В.Шукшиным не переиздавался. Мотивы рассказа вошли в киноповесть "Позови меня в даль светлую".

6. **Сельские жители,** (т. 3, стр. 395). Впервые — "Труд", 1962, 30 апреля под названием "Перед полетом". Затем в майском номере журнала "Октябрь" за 1962 год. Был включен В.Шукшиным в книгу "Беседы при ясной луне" (1974).

7. **Демагоги,** (т. 3, стр. 403). Впервые — "Молодая гвардия", 1962, № 3. При жизни писателя не переиздавался.

8. **Коленчатые валы,** (т. 3, стр. 409). Впервые — "Октябрь", 1962, № 5. Мотивы рассказа использованы В. Шукшиным в дипломной работе "Из Лебяжьего сообщают" (1960), а впоследствии в киноповести "Брат мой..." (1974).

9. **Воскресная тоска,** (т. 3, стр. 420). Впервые — "Комсомольская правда", 1962, 1 января под названием "Приглашение на два лица". В дальнейшие сборники не включался.

10. Артист Федор Грай, (т. 3, стр. 427). Впервые — "Москва", 1962, № 4 и параллельно в газете "Советская Россия", 30 апреля 1962 года. В дальнейшие сборники В. Шукшиным не включался.

11. Стенька Разин, (т. 3, стр. 432). Впервые — "Москва", 1962, № 4. В воспоминаниях О.Румянцевой есть такой эпизод: "Этот рассказ вызвал в редакции (журнала "Октябрь") наибольшие споры. Первая его половина была написана великолепно. Хорош был Васеха — главный герой рассказа, так верно и крепко он схвачен, будто взят прямо из жизни. А вторая половина рассказа показалась нам слабее. Особенно не получился момент, когда Васека, вырезав из дерева Стеньку Разина, показывает свое творение учителю Захарычу... Здесь чувствовалась неестественность, надуманность.

Шукшин внимательно выслушал наши замечания, помолчал. Потом сказал:

— Его ведь предали, Степана-то. Свои предали... Заманили и схватили... А он верил им...

Сказал с горечью, с какой-то внутренней болью. Чувствовалось, что самый факт этот для него гораздо важнее того, что получилось в рассказе..."

Шукшин взял рассказ, но переделывать не стал, а передал его в журнал "Москва", где он и вышел в 1962 году. Мотивы рассказа использованы в новелле "Думы" в фильме "Странные люди" (1969).

12. Экзамен, (т. 3, стр. 439). Впервые — "Октябрь", 1962, № 1.

13. Леля Селезнева с факультета журналистики, (т. 3, стр. 445). Впервые — "Октябрь", 1962, № 5. При жизни В. Шукшина не переиздавался.

14. Ленька, (т. 3, стр. 455). Впервые — "Молодая гвардия", 1962, № 3.

15. Классный водитель, (т. 3, стр. 462). Впервые — "Новый мир", 1963, № 2. При жизни В.Шукшина не переиздавался. Вместе с рассказом "Гринька Малюгин" лег в основу фильма "Живет такой парень" (1964).

16. Далекие зимние вечера, (т. 4, стр. 5). Впервые — "Сельские жители" (1963). В периодической печати не публиковался, при жизни В.Шукшина не переиздавался. Рассказ носит автобиографический характер. Позднее В. М.Шукшин

напишет целый цикл автобиографических рассказов "Из детских лет Ивана Попова".

17. **Гринька Малюгин**, (т. 4, стр. 14). Впервые — "Новый мир", 1963, № 2. В.Шукшиным не переиздавался.

18. **Одни**, (т. 4, стр. 25). Впервые — "Новый мир", 1963, № 2. При жизни В.Шукшина не переиздавался.

19. **Игнаха приехал**, (т. 4, стр. 32). Впервые — "Новый мир", 1963, № 2. Рассказ использован в фильме "Ваш сын и брат" (1965).

20. **Солнце, старик и девушка**, (т. 4, стр. 41). Впервые — "Сельские жители" (1963). В периодической печати не публиковался, при жизни В.Шукшина не переиздавался.

21. **Критики**, (т. 4, стр. 47). Впервые — "Искусство кино", 1964, № 2. Рассказ появился в журнале в то время, когда на его страницах обсуждалось качество телепередач. При жизни В.Шукшина не включался ни в один сборник.

22. **И разыгрались же кони в поле**, (т. 4, стр. 54). Впервые — "Литературная газета", 1964, 22 августа (с сокращениями), впоследствии в книгах "Библиотека современной молодежной прозы и поэзии" (М., 1967, т. 3), "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970). Стихотворный эпиграф к рассказу написан В.Шукшиным.

23. **Змеиный яд**, (т. 4, стр. 62). Впервые — "Новый мир", 1964, № 11. Опубликован в сборнике "Там, вдали..." (1968). Вошел в фильм "Ваш сын и брат" (1965), в составе которого послужил поводом для обвинений В.Шукшина в намеренном противопоставлении деревни городу.

24. **Степка**, (т. 4, стр. 71). Впервые — "Новый мир", 1964, № 11. Опубликован в сборнике "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970). Вместе с рассказами "Игнаха приехал", "Змеиный яд" составил фильм "Ваш сын и брат" (1965), который вызвал бурную полемику в печати. В.Шукшин остро реагировал на обвинения в адрес фильма, о чем, например, свидетельствуют его выступления и письма. Приведем отрывок из наброска статьи по этому поводу:

"Что я хотел?.. Вот сейчас начнется тягомотина: что я хотел сказать своим Степаном в рассказе и фильме. Ничего не хотел. Я люблю его. Он, конечно, дурак, что не досидел три месяца и сбежал. Не сбежал снова воровать и грабить. Пришел открыто в свою деревню, чтобы вдох-

нуть запах родной земли, повидать отца с матерью. Я такого дурака люблю. Могуч и властен зов Родины, откликнулась русская душа на этот зов — и он пошел. Не надо бояться, что он "пырнет ножом" и, "кривя рот, поет блатные песенки..." Вот сказал: не надо бояться. А как докажешь? Ведь сидел? Сидел. Но все равно бояться не надо. Я хотел показать это — что не надо бояться — в том, как он пришел, как встретился с отцом, как рад видеть родных, как хотел устроить им праздник, как сам пляшет, как уберег от того, чтоб тут не сломать этот праздник, и как больно ему, что все равно это не праздник вышел... Не сумел я, что ли? Это горько. И все-таки подмывает возразить. Да какой же он блатной, вы что?! Он с пятнадцати лет работает, и в колонии работал, и всю жизнь будет работать. А где это видно? А в том, как он... Нет, если не видно, то и не видно, черт с ней. Странно только, я думал, это видно..."

25. Лида приехала, (т. 4, стр. 82). Впервые — "Неделя", 1975, 30 дек. — 5 янв. Написан в начале 60-х годов. При жизни В.М.Шукшина не публиковался.

26. Космос, нервная система и шмат сала, (т. 4, стр. 86). Впервые — "Литературная Россия", 1966, 29 июля. Публиковался автором в сборниках "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970). Мотивы рассказа вошли в киноповесть "Позови меня в даль светлую" (1972).

27. Нечаянный выстрел, (т. 4, стр. 95). Впервые — "Московский комсомолец", 1966, 27 июля. Публиковался автором в книгах "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970).

28. Дождь на заре, (т. 4, стр. 103). Впервые — "Советская Киргизия", 1966, 23 октября, "Казахстанская правда", 1966, 25 декабря, "Сибирские огни", 1966, № 12. При жизни автора печатался в сборнике "Там, вдали..." (1968).

29. Ваня, ты как здесь?! (т. 4, стр. 108). Впервые — "Сибирские огни", 1966, № 12. Опубликован автором в книге "Там, вдали..." (1968).

30. Кукушкины слезки, (т. 4, стр. 115). Впервые — "Сибирские огни", 1966, № 12. Опубликован автором в книге "Там, вдали..." (1968).

31. Капроновая елочка, (т. 4, стр. 121). Впервые — "Сельская молодежь", 1966, № 12. При жизни В.Шукшина публиковался в сборнике "Там, вдали..." (1968).

32. Охота жить, (т. 4, стр. 133). Впервые — "Библиотека современной молодежной прозы и поэзии" (М., 1967, т. 3.) Позднее был опубликован в "Неделе" (1968, 3 — 9 июля) и включен в сборник "Там, вдали..." (1968).

33. Волки, (т. 4, стр. 152). Впервые — "Новый мир", 1967, № 1 и "Библиотека современной молодежной прозы и поэзии" (М., 1967, т. 3). При жизни В.Шукшина публиковался в сборниках "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970), "Беседы при ясной луне" (1974).

34. Начальник, (т. 4, стр. 158). Впервые — "Новый мир", 1967, № 1. Публиковался только в книге "Там, вдали..." (1968).

35. Вянет, пропадает, (т. 4, стр. 164). Впервые — "Новый мир", 1967, № 1. Печатался В.Шукшиным в сборниках "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970), "Беседы при ясной луне" (1974). Вошел в киноповесть "Позови меня в даль светлую" (1972).

36. Случай в ресторане, (т. 4, стр. 169). Впервые — "Москва", 1967, № 3. Публиковался автором в сборниках "Там, вдали..." (1968) и "Беседы при ясной луне" (1974).

37. Внутреннее содержание, (т. 4, стр. 177). Впервые — "Москва", 1967, № 3. Печатался автором в сборнике "Там, вдали...", (1968), "Беседы при ясной луне" (1974).

38. Два письма, (т. 4, стр. 185). Впервые — "Советская Россия", 1967, 17 мая. Публиковался в книге "Там, вдали..." (1968).

39. В профиль и анфас, (т. 4, стр. 190). Впервые — "Новый мир", 1967, № 9. При жизни В.Шукшина печатался в книгах "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970).

40. Как помирал старик, (т. 4, стр. 199). Впервые — "Новый мир", 1967, № 9. Выходил при жизни автора в книгах "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970), "Беседы при ясной луне" (1974).

Для творческой истории рассказов "В профиль и анфас" и "Как помирал старик" интересен факт "внезапной" переписки К.Федина и В.Шукшина. Приведем оба письма.

К.Федин — В.Шукшину:

"Уважаемый Василий Макарович... прочитал два ваших рассказа и после первого сразу схватил перо, чтобы написать вам — о чем? — только о том, как растроган, взволнован отличной вашей прозой художника! Думал — похвалою рассказа "В профиль и анфас" ограничусь, но, складывая листы, остановился на рассказе "Как помирал старик" и тоже прочитал, и тоже растрогался.

Знаю, вы поймете меня: в рассказах нет и тени сентиментальности, да и я никогда не страдал этой болезнью. А трогает, будит чувство разительная верность вашей речи, воспринятой от героев и словом писателя героям возвращенной...

Я и прежде не один раз дивился вашему острейшему уменью изображать лица средствами диалога. В мастерстве этом вы, кажется, совершенствуетесь все больше...

Будьте здоровы и — счастливо идти вам по нелегкой дороге сочинителя, да будет она для вас и долгой, и славной. Константин Федин. Сентябрь 25-го 1967 г.".

В.Шукшин — К.Федину:

"Дорогой Константин Александрович!

Знаю, вы за свою славную, наверно, не всегда легкую, жизнь ободрили не одного, не двух. Но вот это ваше бесконечно доброе — через Москву — прикосновение к чужой судьбе будет самым живительным (приму на себя смелость и обязательство — обещать).

Получив ваше письмо, глянул, по обыкновению, на обратный адрес и... вздрогнул "От К.Федина". Долго — с полчаса — ходил, боялся вскрыть конверт. Там лежал какой-то мне приговор. Вскрыл, стал читать... Захотелось скорей проскочить письмо, и потом помучиться, помычать и сесть и писать совсем иначе — хорошо и крепко. А потом перечитывал письмо, немножко болело, но крепло то же желание: писать лучше. "Бог с ним, думаю, но отныне нигде не совру, ни одно слово не выскочит просто так".

У вас добрая, теплая, наработавшаяся рука...

Спасибо.

30 сент. Вас. Шукшин".

41. Думы, (т. 4, стр. 203). Впервые — "Новый мир", 1967, № 9. Печатался В.Шукшиным в книгах "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970). Вошел в фильм "Странные люди" (1969).

42. Даешь сердце! (т. 4, стр. 208). Впервые — "Земляки" (1970). Рассказ был написан в 1967 году, но в периодической печати не публиковался. Позднее В. Шукшин с небольшими изменениями включил его в сборник "Характеры" (1973).

43. В воскресенье мать-старушка (т. 4, стр. 213) Впервые — "Земляки" (1970). Рассказ был написан в 1967 году, но в периодической печати не публиковался. Позднее В.Шукшин включил его в сборник "Беседы при ясной луне" (1974). В воспоминаниях писателя Ю.Скопа приводится эпизод из творческой истории рассказа:

"Мне вспомнилось, как однажды я тоже вот так вот приехал к нему в Свиблово и долго давил на кнопку звонка: не открывали... Потом я увидел на пороге Макарыча и — не узнал его. Обметанный ночной щетиной, он стоял в накинутом на плечи меховом кожушке и смотрел на меня отстраненными, как бы не видящими, глазами.

— Здорово,— сказал я.

Он чуть-чуть сощурился привычным своим презрительным сощуром.

— Ты чего, не узнаешь? Это я...

— А-а, заходи...

Мы прошли в комнатку его, рабочую, я сразу понял, что он только что от стола. Закурили. Макарыч собрал стопку исписанной бумаги, подровнял и заговорил слегка сердито и немного расстроенно:

— Понимаешь, сидел всю ночь... Рассказ делал. Про мужика одного нашего с Катуни... Он слепарь от рождения. А в войну ходил по деревне песни пел... Разные. Людям тогда такие песни тоже нужны были... про раненых, про любовь солдатскую. Ну, и кормился этим. И понял — дорог он землякам. Артист вроде... Да. После годы прошли, чуть-чуть постерлась война в памяти — двадцать лет прошло... Ну и прибыла в деревню экспедиция... диалектологическая... Так они, что ли, называются? Фольклор записывать, песенки... Мужики и направили на слепаря моего этих приезжих. Те послушали — неинтересно... Вежливость проявили — мол, да, эпоха... И слепец понял все. Что устарел он. Не нужен теперь. Понимаешь? Писал всю ночь, и плакал, и смеялся вместе с той деревней..."

44. "Раскас",(т. 4, стр. 218). Впервые — "Новый мир", 1967, № 9. При жизни автора печатался в сборниках "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970), "Беседы при ясной луне" (1974).

45. Чудик, (т. 4, стр. 223). Впервые — "Новый мир", 1967, № 9. По воспоминаниям и неоконченной статье "Только это не будет экономическая статья" известно, что эпизоды в магазине и в самолете произошли в действительности поначалу с самим В.Шукшиным. Публиковался автором в книгах "Там, вдали..." (1968), "Земляки" (1970), "Беседы при ясной луне" (1974). Вошел в фильм "Странные люди" (1969) в новелле "Братка".

46. Горе, (т. 4, стр. 231). Впервые — "Москва", 1967, № 3. Включен автором в сборники "Там, вдали..." (1968), "Беседы при ясной луне" (1974).

47. Миль пардон, мадам! (т. 4, стр. 235). Впервые — "Новый мир", 1968, № 11. Был напечатан автором в книгах "Земляки" (1970), "Беседы при ясной луне" (1974). В фильме "Странные люди" (1969) новелла называется "Роковой выстрел".

48. Земляки, (т. 4, стр. 242). Впервые — "Сельская молодежь", 1968, № 5 (под названием "Здешний"). Публиковался автором в книге "Земляки" (1970).

49. Из детских лет Ивана Попова, (т. 4, стр. 251). Впервые — "Новый мир", 1968, № 11 (под названием "Из детства Ивана Попова"). Был опубликован при жизни автора в сборнике "Земляки" (1970) с некоторыми сокращениями.

Существует набросок В.Шукшина к документальному фильму о Бийске, интересный для творческой истории данного цикла.

"Нелегко сразу сказать, какую роль сыграл он в моей жизни, этот городок.

Десятилетним мальчиком приехал я сюда с родителями... Он напугал меня. Очень уж много людей! И все куда-то спешат. И никто друг друга не знает. У нас в селе все друг друга знали. Это был большой новый мир.

С легким ужасом прошел я в первый раз по скрипучему, качающемуся наплавному мосту... Это было первое чудо, какое я видел. Понемногу я стал открывать еще другие чудеса. Например, пожарку. Каланча вконец заворожила меня. Я поклялся, что стану пожарным. Потом мне захотелось быть матросом на пароходе "Анатолий", еще — шофером — чтоб заехать на мост, а он бы так и осел под машиной...

А когда побывал на базаре, то окончательно решил стать жуликом — мне казалось, что в таком скопище

людей и при таком обилии всякого добра... гораздо легче своровать арбуз, чем у нас в селе, у тетки Семенихи из огорода. (Уголовного кодекса я тогда не знал.) Потом все-таки пожарный одолевал — очень нравилась каска.

Потом началась война, и мы уехали опять в село. Отец ушел на фронт.

Лет через пять я снова попал в этот город — как студент автомобильного техникума. Я был взрослее и немного смелее. Но и тогда он пугал меня. Слишком много надо было понимать заново. Слишком далеко раздвигался горизонт, и жизнь оказывалась — большая, сложная".

50. **Материнское сердце**, (т. 4, стр. 273). Впервые — "Новый мир", 1969, № 10. Опубликован В.Шукшиным в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

51. **Суд**, (т. 4, стр. 286), Впервые — "Новый мир", 1969, № 10. Опубликован автором в сборнике "Земляки" (1970).

52. **Хахаль**, (т. 4, стр. 292). Впервые — "Новый мир", 1969, № 10. Включен В.Шукшиным в книгу "Беседы при ясной луне" (1974). История похорон, рассказанная героем,— это воспоминание о смерти зятя А.Зиновьева, которого В.Шукшин очень любил.

53. **Непротивленец Макар Жеребцов**, (т. 4, стр. 301). Впервые — "Новый мир" , 1969, № 10, под названием "Макар Жеребцов". Включен В.Шукшиным в сборники "Земляки" (1970), "Характеры" (1973).

54. **Свояк Сергей Сергеевич**, (т. 4, стр. 307). Впервые — "Новый мир", 1969, № 10. Опубликован автором в книге "Характеры" (1973).

55. **Микроскоп**, (т. 4, стр. 314). Впервые — "Сельская молодежь", 1969, № 11. Включен автором в сборник "Земляки"(1970).

56. **Операция Ефима Пьяных**, (т. 4, стр. 322). Впервые — "Земляки" (1970). Рассказ в периодической печати не публиковался и в другие сборники не включался.

57. **Бессовестные**, (т. 4, стр. 327). Впервые — "Новый мир", 1970, № 7, под названием "Сватовство", затем был включен автором в книгу "Характеры" (1973). В документальном наброске "Вот моя деревня" есть сцена на кладбище, вошедшая в рассказ, и история о том, как поженились деревенские старик и старушка: "Когда шел сговор, старуха-

невеста сказала так: "Я так скажу, Маня (сватала их моя мать, Мария Сергеевна): если приставать по ночам не будет, пойду" . Пошла — старик дал слово" .

58. **Шире шаг, маэстро!** (т. 4, стр. 337). Впервые — "Новый мир", 1970, № 7, под названием "Шире шаг...", затем включен автором в сборники "Характеры" (1973), "Беседы при ясной луне" (1974).

59. **Срезал,** (т. 4, стр. 348). Впервые — "Новый мир", 1970, N 7. Автором включался в книги "Характеры" (1973), "Беседы при ясной луне" (1974).

60. **Митька Ермаков,** (т. 4, стр. 355). Впервые — "Новый мир", 1970, № 7. В сборники, подготовленные Шукшиным, не включался. Впоследствии публиковался под названием "Сильные идут дальше".

61. **Крепкий мужик,** (т. 4, стр. 361). Впервые — "Новый мир", 1970, № 7. Печатался Шукшиным в книгах "Характеры" (1973), "Беседы при ясной луне" (1974).

62. **Крыша над головой,** (т. 4, стр. 367). Впервые — "Новый мир", 1970, № 7. Опубликован автором в книге "Характеры" (1973).

63. **Сураз,** (т. 4, стр. 375). Впервые — "Земляки" (1970). В новой редакции опубликован в книге "Характеры"(1973).

64. **Залетный,** (т. 4, стр. 394). Впервые — "Земляки" (1970), затем был включен автором в книгу "Беседы при ясной луне" (1974).

65. **Чередниченко и цирк,** (т. 4, стр. 401). Впервые — "Литературная газета", 1970, 15 июля. В прижизненные издания В.Шукшина не включался.

66. **Петя,** (т. 4, стр. 410). Впервые — "Литературная Россия", 1970, 16 октября. Печатался В.Шукшиным в книге "Характеры" (1973).

67. **Сапожки,** (т. 4, стр. 415). Впервые — "Литературная Россия", 1970, 16 октября. Публиковался автором в книге "Характеры" (1973).

68. **Мастер,** (т. 4, стр. 422). Впервые — "Литературный Киргизстан",1971, № 4, затем в "Сибирских огнях"(1971, № 12). Включен автором в сборники "Характеры"(1973), "Беседы при ясной луне" (1974).

69. Верую! (т. 4, стр. 432). Впервые — "Звезда", 1971, № 9. Печатался автором в книгах "Характеры" (1973), "Беседы при ясной луне" (1974).

70. Лёся, (т. 4, стр. 441). Впервые — "Звезда," 1971, № 9. В прижизненные издания В.Шукшина не включался.

71. Дебил, (т. 4, стр. 444). Впервые — "Звезда", 1971, № 9. Автором публиковался в книге "Характеры"(1973).

72. Билетик на второй сеанс, (т. 4, стр. 449). Впервые — "Звезда", 1971, № 9. При жизни автора публиковался в книгах "Характеры" (1973), "Беседы при ясной луне" (1974).

73. Дядя Ермолай, (т. 4, стр. 456). Впервые — "Советская Молдавия", 1971, 14 августа, в том же году в газетах "Советская Литва" (21 августа), "Советская Киргизия", "Советская Эстония" (22 августа), "Туркменская искра" (9 сентября), "Алтайская правда" (26 августа) и в журнале "Наш современник" (1971, № 9). Включен автором в книгу "Характеры" (1973).

74. Хозяин бани и огорода, (т. 4, стр. 460). Впервые — "Наш современник", 1971, № 9. В прижизненные издания не включался.

75. Хмырь, (т. 4, стр. 465). Впервые — "Советская Россия", 1971, 16 июня, под названием "На курорте", а также в журнале "Наш современник", 1971, № 9. В прижизненных изданиях не печатался.

76. Ноль-ноль целых, (т. 4, стр. 469). Впервые — "Наш современник, 1971, № 9. Печатался В.Шукшиным в книгах "Характеры" (1973), "Беседы при ясной луне" (1974).

77. Письмо, (т. 4, стр. 473). Впервые — "Наш современник", 1971, № 9. Публиковался автором в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

78. Жена мужа в Париж провожала, (т. 5, стр. 5). Впервые — "Наш современник",1971, № 9. При жизни В. Шукшина в сборниках не издавался.

79. Ораторский прием, (т. 5, стр. 11). Впервые — "Наш современник", 1971, № 9. Автором включался в сборник "Беседы при ясной луне" (1974).

80. **Обида**, (т. 5, стр. 18). Впервые — "Литературная Россия", 1971, 12 февраля. Затем публиковался во всех прижизненных изданиях В.Шукшина.

81. **Мой зять украл машину дров!** (т. 5, стр. 25). Впервые — "Сибирские огни", 1971, № 12. Включен автором в книгу "Характеры" (1973).

82. **Пост скриптум**, (т. 5, стр. 37). Впервые — "Север", 1972, № 3. Печатался автором в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

83. **Генерал Малафейкин**, (т. 5, стр. 40). Впервые — "Север", 1972, № 3. В прижизненных изданиях не публиковался.

84. **Беседы при ясной луне**, (т. 5, стр. 48). Впервые — "Наш современник", 1972, № 10. Печатался автором в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

85. **Беспалый**, (т. 5, стр. 57). Впервые — "Наш современник", 1972, № 10. При жизни автора публиковался в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

86. **Танцующий Шива**, (т. 5, стр. 66). Впервые — "Север", 1972, № 3. Автором опубликован в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

87. **Мнение**, (т. 5, стр. 73). Впервые — "Наш современник", 1972, № 10. При жизни автора в сборниках не печатался.

88. **Страдания молодого Ваганова**, (т. 5, стр. 78). Впервые — "Наш современник", 1972, N 10. Публиковался В.Шукшиным в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

89. **Наказ**, (т. 5, стр. 91). Впервые — "Звезда," 1972, № 12. Печатался автором в сборнике "Беседы при ясной луне"(1974).

90. **Медик Володя**, (т. 5, стр. 100). Впервые — "Звезда", 1972, № 12. Издавался В. Шукшиным в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

91. **Как зайка летал на воздушных шариках**, (т. 5, стр. 106). Впервые — "Литературная Россия", 1972, 27 октября. Включен автором в книгу "Беседы при ясной луне" (1974). Сестра Шукшина, Наталья Макаровна, вспоминает: "...Если, не дай бог, какой из девочек приедут укол ставить

— на лестницу выскакивал. Видеть не мог, как ребенка колют.

Вы читали его рассказ "Как зайка летал на воздушных шариках"? Это он из своей жизни случай описал. Маша как-то заболела, попросила его рассказать сказку про зайку, а он эту сказку забыл. И побежал звонить другу, чтобы тот срочно садился в самолет и вылетал — сказку Машеньке рассказывать".

92. **Три грации,** (т. 5, стр. 119). Впервые — "Литературная Россия", 1973, 28 декабря. В подготовленных автором сборниках не публиковался.

93. **Забуксовал,** (т. 5, стр. 126). Впервые — "Характеры" (1973). Мотивы рассказа использованы в фильме "Позови меня в даль светлую".

94. **Ванька Тепляшин,** (т. 5, стр. 130). Впервые — "Звезда", 1973, № 2. При жизни В.Шукшина опубликован в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

95. **Гена Пройдисвет,** (т. 5, стр. 136). Впервые — "Звезда", 1973, № 2. При жизни автора в сборники не включался.

96. **Версия,** (т. 5, стр. 149). Впервые — "Звезда", 1973, № 2. Публиковался В. Шукщиным в сборнике "Беседы при ясной луне" (1974).

97. **Алеша Бесконвойный,** (т. 5, стр. 156). Впервые — "Литературная Россия", 1973, 19 января. Опубликован автором в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

98. **Упорный,** (т. 5, стр. 169). Впервые — "Литературная Россия", 1973, 2 марта. Опубликован автором в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

99. **Владимир Семеныч из мягкой секции,** (т. 5, стр. 183). Впервые — "Литературная Россия", 1973, 30 марта. В прижизненные издания не включался.

100. **Пьедестал,** (т. 5, стр. 199). Впервые — "Сельская молодежь", 1973, № 5. При жизни В.Шукшина в сборники не включался.

101. **Осенью,** (т. 5, стр. 208). Впервые — "Аврора", 1973, № 7. Включен В.Шукшиным в книгу "Беседы при ясной луне" (1974).

102. Выбираю деревню на жительство, (т. 5, стр. 216). Впервые — "Неделя", 1973, № 19. Публиковался автором в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

103. Штрихи к портрету, (т. 5, стр. 224). Впервые — "Наш современник",1973, № 9. При жизни автора в сборники не включался.

104. Мечты, (т. 5, стр. 250). Впервые — "Сибирские огни", 1973, № 11. В подготовленные В.Шукшиным сборники не входил.

105. Петька Краснов рассказывает... (т. 5, стр. 253). Впервые — "Сибирские огни", 1973, № 11. При жизни автора в сборники не включался.

106. Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту, (т. 5, стр. 258). Впервые — "Сибирские огни", 1973, № 11. В.Шукшиным в сборниках не публиковался.

107. Сны матери, (т. 5, стр. 262). Впервые — "Сибирские огни", 1973, № 11. При жизни автора в сборниках не печатался. В литературном сценарии "Вот моя деревня" В.Шукшин говорит о своей матери: "Я у нее учился писать рассказы".

108. Боря, (т. 5, стр. 266). Впервые — "Сибирские огни", 1973, № 11. Автором в сборниках не печатался.

109. На кладбище, (т. 5, стр. 270). Впервые — "Сибирские огни", 1973, № 11. Опубликован В.Шукшиным в книге "Беседы при ясной луне" (1974).

110. Психопат, (т. 5, стр. 274). Впервые — "Литературная Россия", 1973, 28 декабря. В прижизненных изданиях не публиковался.

111. Как Андрей Иванович Куринков, ювелир, получил 15 суток, (т. 5, стр. 282). Впервые — "Литературная Россия", 1974, 22 марта. В сборники, подготовленные В.Шукшиным, не включался.

112. Ночью в бойлерной, (т. 5, стр. 288). Впервые — "Литературная Россия", 1974, 22 марта. В сборники, подготовленные В.Шукшиным, не включался.

113. Вечно недовольный Яковлев, (т. 5, стр. 299). Впервые — "Неделя", 1974, № 12. При жизни автора в сборниках не публиковался.

114. **Рыжий,** (т. 5, стр. 305). Впервые — "Аврора", 1974, № 7. При жизни автора в сборниках не издавался.

115. **Кляуза,** (т. 5, стр. 308). Впервые — "Аврора", 1974, № 8, затем перепечатан "Литературной газетой" 1974, 4 сентября с подзаголовком "Опыт документального рассказа". При жизни автора в сборниках не публиковался.

116. **Други игрищ и забав,** (т. 5, стр. 315). Впервые — "Литературная Россия", 1974, 23 августа, затем "Наш современник", 1974, № 9. В.Шукшиным в сборники не включался.

117. **Мужик Дерябин,** (т. 5, стр. 329). Впервые — "Наш современник", 1974, № 9. В прижизненных изданиях не печатался.

118. **Привет Сивому!** (т. 5, стр. 332). Впервые — "Наш современник", 1974, № 9. В прижизненных изданиях не публиковался.

119. **Приезжий,** (т. 5, стр. 339). Впервые — "Аврора", 1975, № 6. В подготовленных В.Шукшиным сборниках не публиковался.

120. **Чужие,** (т. 5, стр. 351). Впервые — "Наш современник", 1974, № 9. При жизни автора в сборниках не издавался.

121. **Жил человек,** (т. 5, стр. 359). Впервые — "Наш современник", 1974, № 9. При жизни В.Шукшина в сборниках не публиковался. Цикл "внезапных" рассказов "Други игрищ и забав", "Мужик Дерябин", "Привет Сивому!", "Чужие", "Жил человек..." стал последней, предсмертной публикацией В.М.Шукшина.

/ Л.Аннинский,
Л.Федосеева-Шукшина,
В.Панюта. /

ПУБЛИЦИСТИКА

Публицистические выступления В.М.Шукшина сравнительно поздно стали объектом внимания исследователей. Впервые эти тексты были собраны авторами настоящего комментария и изданы через шесть лет после смерти Шукшина в книге "Нравственность есть Правда" (издательство "Советская Россия", М., 1980); дополненное издание этой

книги вышло год спустя (В. Шукшин. Вопросы самому себе. Издательство "Молодая гвардия", М., 1981). Читательские и критические отклики на два эти выпуска показали, что публицистика В.М.Шукшина — живая и важная часть его творческого наследия и что суждения его сохраняют жгучую актуальность. Сегодня общепризнано, что В.М.Шукшин — одно из ярчайших имен не только в истории русской прозы, но и в истории русской мысли 60—70-х годов, хотя под привычные мерки его публицистика не подходит.

Суждения В.Шукшина полны открытых и осознанных противоречий, и оттого может показаться, что в статьях его нет того главного, что мы привычно ждем от публицистики: системности. На самом деле это не так, но сам Шукшин, пожалуй, легко согласился бы с такой оценкой — и по его всегдашней склонности сосредоточиваться на собственных слабостях, и потому, что его публицистика в н е ш н и м и признаками действительно напоминает мозаику: это либо статьи, написанные по заказам редакций (а значит, и каждый раз по-новому, извне продиктованному поводу), либо беседы, когда вопросы интервьюеров тоже попадают к тебе извне. Высказывания Шукшина исходят не из системы внешнего изучения того или иного вопроса, а из живой ситуации: обсуждается фильм, попалась книжка, пришел корреспондент, прислали письмо или записку... Поэтому статьи Василия Шукшина не содержат легких ответов на вопросы, которые ставит современный человек самому себе. Рецептов тут нет. Юноше, обдумывающему житье, не найти в этих статьях ни назиданий, ни нравоучений, ни прописной морали. В публицистическом наследии Шукшина содержится куда более важный и ценный материал: опыт жизни, прожитой трудно и осмысленной с предельной искренностью. Шукшин — это прежде всего обнаженность боли. Он сказал: *"Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам больной"*. Он не "осмыслял" проблемы — он перебаливал ими.

1. Как я понимаю рассказ, (т. 5, стр. 365). Написано в 1964 году для еженедельника "Литературная Россия" и опубликовано там 20 ноября 1964 года.

2. Вопросы самому себе, (т. 5, стр. 368). Написано в 1966 году для журнала "Сельская молодежь", где и опубликовано в № 11 за 1966 год. Перепечатано в газете "Советская культура" 15 ноября 1966 года.

Там (в деревне.— Ред.) нет мещанства. Это утверждение, вызвавшее в свое время полемику и, безусловно, дискуссионное, характерно для темперамента В.М.Шукшина, втянутого в 1966—1967 годах в критические споры о деревенском и городском героях. Отдавая себе отчет в том, что от "мещанства" как бездуховности ни место жительства, ни профессия не страхуют, Шукшин тем не менее склонен в тот период к полемически крайним формулировкам, которые он постоянно смягчает оговорками ("Я нарочно упрощаю" и т.д.).

Зритель тоже хочет сам. В первоначальном варианте статьи это рассуждение о положительном герое было значительно обширнее: *"Герой. Герой — это, по-моему, сам художник, его произведение. Бывали в российской жизни самые разные условия для творчества: выгодные, не очень; а бывали на редкость плохие. Но даже при совсем уж "выгодных" обстоятельствах, когда кажется — героями хоть пруд пруди, хватай первого попавшегося и тащи в роман или фильм, только бы они не стеснялись и про свое геройство не молчали — и даже тогда почему-то появлялись плохие книги, фильмы, произведения живописи. И сколько! У одного автора самый расхороший герой, "наблюденный", "увиденный", "подсмотренный" в жизни, начинает вдруг так кривляться, такие шутки начинает выделывать, что хоть святых выноси — смешит, дьявол; у другого — тоже "выхваченный" из жизни — ходит в фильме, как кол проглотил, ходит и учит жить; у третьего — как андаксина наглотался: любит, поет, бегает в березовой роще. В общем — "солнцем полна голова". У четвертого — хоть и в ухо даст, но это ничего, он о-б-я-з-а-н дать в ухо.*

Есть герои отрицательные, но тех сразу по походке видно, не о них речь.

Критики сами требуют и подучивают зрителя требовать от художников кино положительного героя типа "Х"... Много образцов предлагается. И пишут и жалуются — не с кого брать пример.

Жалуемся, что иногда плохие фильмы, фильмы-уродцы находят себе массового зрителя. Что делать? Делать фильмы с глубокой мыслью, идейные..."

(Архив В.М. Шукшина.)

3. Монолог на лестнице, (т. 5, стр. 377). Написано в 1967 году для сборника статей "Культура чувств". (М., "Искусство". 1968).

"Однажды случился у меня неприятный разговор с молодыми учеными". Речь идет об обсуждении фильма В.Шукшина "Ваш сын и брат" среди научных работников в Обнинске весной 1966 года. Обостренная реакция В.М. Шукшина на крайние мнения, высказывавшиеся в связи с этим фильмом, видна также из выступления В.М.Шукшина на обсуждении фильма в Союзе кинематографистов СССР 8 апреля 1966 года (неправленая стенограмма): *"Тут умнее говорили, чем я могу сказать... О противопоставлении города деревне. И вопрос об интеллигенции. Начнем с того, что я всем обязан интеллигенции, да и нет оснований почему-то видеть в интеллигенции какое-то нехорошее начало нашей современной жизни, к которому надо внимательно присмотреться... Я люблю деревню, но считаю, что можно уйти из деревни. И Ломоносов ушел из деревни, и русский народ от этого не потерял, но вопрос: куда прийти? Человека тут же вбирает та подавляющая масса недоделанных "интеллигентов", которая имеется в городе. Это первое, что его хватает,— по себе знаю. Городские жители начинают по образу и подобию своему приготовлять человека, а потом начинают немножко глумиться, что такой фанфарон и дурак вырос... Статей Л.Крячко и В.Орлова я не понимаю* (авторы статей обвиняли авторов фильма "Ваш сын и брат"в апологии "дикой, злой "самобытности".— "Литературная газета", 1966, 10 марта.— *Ред.*) *Меня начинает мутить от злости, и ничего сделать я не могу. Выходит, что они более высокие, чем... те люди, которые работали над картиной, понимая до конца ее замысел. Ведь никто вслепую не работал. Все понимали, что речь идет о хороших людях... Критики говорят, что тут погоня за самобытностью. За какой самобытностью? Конечно, у деревенского человека есть какая-то робость, растерянность перед такой командой, какая наваливается на него. У этого парня ранено сердце (речь идет о герое фильма.— Ред.), когда он получил известие, что мать больна, а он встречает такое равнодушие. А кто они, эти продавцы?.. Они ведь тоже деревенские люди. Они тоже приехали сюда. Тут страшно то, что они научились выполнять самую примитивную работу и возгордились этим, начали презирать то, что оставили там... Если бы так начали думать деревенские — разве это к лицу? Важнее всего, наверное, тот конкретный человек, который нам на сегодняшний отрезок времени интересен. А городской он или сельский — нет этого вопроса. И никогда по-настоящему, наверное, в*

русском реалистическом искусстве не было такого... не отыскивали здесь знак вражды или признак недовольства другдругом".

(Архив В.М.Шукшина)

4. **Средства литературы и средства кино,** (т. 5, стр. 391). Написано в 1967 году. При жизни не печаталось. Опубликовано в журнале "Искусство кино", (1979, № 7) к 50-летию В.М.Шукшина. Печатается по рукописи.

"Есть у меня друг, писатель, великолепный писатель. Он задумал сценарий кинокомедии". Имеется в виду киноповесть Василия Белова "Целуются зори".

*"...Рассказы, по которым я поставил оба фильма,— лучше. Никто, кроме меня, так не думает. (Разве только критик Генрих Митин)".*Речь идет о фильмах "Живет такой парень" и "Странные люди". Г. Митин писал: "Шукшин, используя материал, хорошо ему знакомый, свободно и как бы играючи создает свою особенную, "шукшинскую жизнь". Особенно это удается ему в рассказах, хуже — в кинофильмах". (Г. Митин. С чем пришел Шукшин.— "Московский комсомолец", 1967, 13 сентября.)

5. **"Нравственность есть Правда",**(т. 5, стр. 401). Написано в 1968 году для сборника статей "Искусство нравственное и безнравственное" (М., "Искусство", 1969), где и опубликовано впервые.

"Название сценария было под стать содержанию: "Враг мой..." Так пошел бы шагать по экранам еще один недоносок". Сценарий "Брат мой..." опубликован в журнале "Искусство кино" (1974, № 7). По этому сценарию режиссер В. Виноградов в том же году поставил одноименный фильм.

6. **Вот моя деревня...** (т. 5, стр. 413). Написано в январе 1970 года. Озаглавлено составителем по первой строке текста. На титульном листе рукописи два подзаголовка: "Документальная поэма. Литературный сценарий". При жизни не публиковалось. Впервые напечатано в "Комсомольской правде" 17 июня 1979 года.

7. **О творчестве Василия Белова,** (т. 5, стр. 417). Написано в 1970 году в качестве предисловия к одной из книг Василия Белова. При жизни В.М.Шукшина не публиковалось. Впервые напечатано в книге: Василий Шукшин. Нравственность есть Правда. М., "Советская Россия", 1979.

8. Он учил работать, (т. 5, стр. 419). Написано в 1972 году как отклик на смерть Михаила Ромма. Впервые опубликовано в журнале "Искусство кино", (1972, № 2).

9. Завидую тебе, (т. 5, стр. 420). Написано в 1973 году для газеты "Пионерская правда", опубликовано в газете с незначительными сокращениями 6 марта 1973 года.

10. Книги выстраивают целые судьбы, (т. 5, стр. 422). Написано весной 1973 года. Впервые опубликовано в "Комсомольской правде" 27 апреля 1973 года под заголовком "Судьбу выстраивает книга..." в виде беседы В.М.Шукшина с корреспондентом газеты Ю.Смелковым. Предварительно Ю.Смелков прислал вопросы, на которые В.М.Шукшин подготовил ответы, частично использованные в беседе. Полностью впервые опубликовано в книге В.Шукшина "Нравственность есть Правда". Озаглавлено составителем по одной из строчек текста.

11. Слово о "малой родине" , (т. 5, стр. 424). Написано в 1973 году для "сибирского" номера журнала "Смена", где и опубликовано впервые с сокращениями (1974, № 2), полностью — в "Литературном обозрении" (1975, № 12).

/ Л. Аннинский,
Л. Федосеева-Шукшина /

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.М.ШУКШИНА

1929, 25 июля — родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края.

1943 — окончил сельскую семилетнюю школу в Сростках. Поступил в Бийский автомобильный техникум. Техникум не закончил.

1945 — принят в колхоз в селе Сростки.

1946 — покидает родное село.

"Мне шел семнадцатый год, когда я ранним утром, по весне, уходил из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко, ледку, а надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого. Было грустно и немножко страшно. Мать проводила меня за село... села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно и тоже страшно, но еще больней, видно, смотреть... на голодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И ушел". (Шукшин В. Вопросы самому себе. М., "Молодая гвардия", 1981, с. 28.)

1947—1948, май—январь — поступил на работу в трест Союзпроммеханизация (Москонтора) и был направлен в г. Калугу на турбинный завод. Здесь работал слесарем-такелажником.

1948, январь—апрель — от той же организации направлен в г. Владимир, где работал на тракторном заводе.

"В 1948 г. ... я... был направлен учиться в авиационное училище в Тамбовской области. Все мои документы... повез сам. И потерял их дорогой. В училище явиться не посмел и во Владимир тоже не вернулся — там, в военкомате, были добрые люди, и мне было больно огорчить их, что я такая "шляпа". Вообще за свою жизнь встречал ужасно много добрых людей.

И еще раз, из-под Москвы, посылали меня в военное училище, в автомобильное, в Рязань. Тут провалился на экзаменах. По математике". (Шукшин В. Вопросы.., с. 97.)

1948—1949, апрель—август — слесарь, разнорабочий Головного ремонтно-восстановительного поезда № 5. На станции Щербинка Московско-Курской железной дороги Шукшин участвует в строительстве электростанции, на станции Голицыно Белорусской железной дороги — в строительстве железнодорожного моста.

1949, 29 октября — Ленинским райвоенкоматом Московской области призван на срочную службу в Военно-Морской Флот СССР. Начал служить на Балтийском флоте.

1950—1952 — Шукшин переведен с Балтийского флота на Черноморский. Воинское звание — старший матрос, военная специальность — радист особого назначения. Во время службы посещал Севастопольскую морскую библиотеку.

1953, январь — решением медицинской комиссии Главного военно-морского госпиталя Черноморского флота (в Севастополе) досрочно демобилизован с язвенной болезнью желудка. Вернулся в село Сростки.

Весной — сдал экзамены на аттестат зрелости экстерном в сросткинской средней школе № 32.

"Во все времена много читал. Решил, что смогу, пожалуй, сдать экстерном экзамен на аттестат зрелости. Сдал... Считаю это своим маленьким подвигом — аттестат. Такого напряжения сил я больше никогда не испытывал". (Шукшин В. Вопросы.., с. 97.)

1953—1954, октябрь—июнь — преподает русский язык, литературу, историю в Сросткинской школе сельской молодежи, одновременно — директор школы.

"Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное и интересно... Я любил их в такие минуты. И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счатье". (Шукшин В. Вопросы.., с. 45.)

1954, июнь — уезжает в Москву, сдает вступительные экзамены во Всероссийский институт кинематографии.

25 августа — зачислен студентом режиссерского отделения.

1954—1960 — учеба во ВГИКе.

1958 — В.Шукшин снялся в первой своей главной роли в фильме М.Хуциева "Два Федора".

1958, август — в журнале "Смена", № 15 напечатан рассказ "Двое на телеге" — первая публикация В. Шукшина в центральной печати.

1963 — в издательстве "Молодая гвардия" вышла первая книга "Сельские жители".

С 1963 г. — В.Шукшин — режиссер киностудии имени М. Горького. Снимает по своему сценарию первый фильм "Живет такой парень".

1965 — вышел фильм В.Шукшина "Ваш сын и брат".

1967, ноябрь — Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Декабрь — В.Шукшин удостоен Государственной премии имени братьев Васильевых за фильм "Ваш сын и брат".

1968 — в издательстве "Советский писатель" вышел сборник "Там, вдали".

1968—1969 — В.Шукшин снимает по своему сценарию фильм "Странные люди".

1969 — за заслуги в области советской кинематографии удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.

1971 — за исполнение роли инженера Черных в фильме С. Герасимова "У озера" удостоен Государственной премии СССР.

1972 — вышел фильм В. Шукшина "Печки-лавочки".

1973 — в издательстве "Современник" вышел сборник рассказов "Характеры".

1974, январь — вышел фильм "Калина красная"; в издательстве "Советская Россия" вышла книга "Беседы при ясной луне".

Конец мая — на Дону начались съемки фильма С.Бондарчука "Они сражались за Родину", куда Шукшин приглашен на роль Петра Лопахина.

Июнь — в издательстве "Советский писатель" сдан в набор роман "Я пришел дать вам волю".

2 октября — Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался в период съемок фильма "Они сражались за Родину", на теплоходе "Дунай". (Похоронен в г. Москве на Новодевичьем кладбище.)

Всю жизнь свою, рассматриваю, как бой в три раунда: ~~молодость~~, ~~юность~~, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть Один я уже выиграл.

—

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.М.ШУКШИНА*

			комментарии	
	том	стр.	*том*	*стр.*
Алеша Бесконвойный	5	156	*5*	*485*
А поутру они проснулись...	2	549	*5*	*456*
Артист Федор Грай	3	427	*5*	*474*
Беседы при ясной луне	5	48	*5*	*484*
Беспалый	5	57	*5*	*484*
Бессовестные	4	327	*5*	*481*
Билетик на второй сеанс	4	449	*5*	*483*
Боря	5	266	*5*	*486*
Брат мой	3	181	*5*	*460*
Ванька Тепляшин	5	130	*5*	*485*
Ваня, ты как здесь?!	4	108	*5*	*476*
Ваш сын и брат	3	49	*5*	*459*
В воскресенье мать-старушка	4	213	*5*	*479*
Версия	5	149	*5*	*485*
Верую!	4	432	*5*	*483*
Вечно недовольный Яковлев	5	299	*5*	*486*
Владимир Семеныч из мягкой секции	5	183	*5*	*485*
Внутреннее содержание	4	177	*5*	*477*
Волки	4	152	*5*	*477*
Вопросы самому себе	5	368	*5*	*488*
Воскресная тоска	3	420	*5*	*473*
Вот моя деревня...	5	413	*5*	*491*
В профиль и анфас	4	190	*5*	*477*
Выбираю деревню на жительство	5	216	*5*	*486*

* Страницы текстов произведений В.М.Шукшина печатаются прямыми цифрами, страницы комментариев — курсивными.

Вянет, пропадает	4	164	5	477
Гена Пройдисвет	5	136	5	485
Генерал Малафейкин	5	40	5	484
Горе	4	231	5	480
Гринька Малюгин	4	14	5	475
Даешь сердце!	4	208	5	479
Далекие зимние вечера	4	5	5	474
Два письма	4	185	5	477
Двое на телеге	3	365	5	473
Дебил	4	444	5	483
Демагоги	3	403	5	473
Дождь на заре	4	103	5	476
До третьих петухов	2	499	5	456
Други игрищ и забав	5	315	5	487
Думы	4	203	5	478
Дядя Ермолай	4	456	5	483
Жена мужа в Париж провожала	5	5	5	483
Живет такой парень	3	5	5	457
Жил человек	5	359	5	487
Забуксовал	5	126	5	485
Завидую тебе	5	420	5	492
Залетный	4	394	5	482
Земляки	4	242	5	480
Змеиный яд	4	62	5	475
Игнаха приехал	4	32	5	475
Из детских лет Ивана Попова	4	251	5	480
И разыгрались же кони в поле	4	54	5	475
Как Андрей Иванович Куринков, ювелир, получил 15 суток	5	282	5	486

Как зайка летал на воздушных шариках	5	106	5	484
Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту	5	258	5	486
Как помирал старик	4	199	5	477
Как я понимаю рассказ	5	365	5	488
Калина красная	3	291	5	466
Капроновая елочка	4	121	5	477
Классный водитель	3	462	5	474
Кляуза	5	308	5	487
"Книги выстраивают целые судьбы"	5	422	5	492
Коленчатые валы	3	409	5	473
Космос, нервная система и шмат сала	4	86	5	476
Крепкий мужик	4	361	5	482
Критики	4	47	5	475
Крыша над головой	4	367	5	482
Кукушкины слезки	4	115	5	476
Лёля Селезнева с факультета журналистики	3	445	5	474
Ленька	3	455	5	474
Лёся	4	441	5	483
Лида приехала	4	82	5	476
Любавины				
книга 1	1	13	5	433
книга 2	1	305	5	433
Мастер	4	422	5	482
Материнское сердце	4	273	5	481
Медик Володя	5	100	5	484
Мечты	5	250	5	486
Микроскоп	4	314	5	481
Миль пардон, мадам!	4	235	5	480
Митька Ермаков	4	355	5	482

Мнение	5	73	5	484
Мой зять украл машину дров!	5	25	5	484
Монолог на лестнице	5	377	5	489
Мужик Дерябин	5	329	5	487
Наказ	5	91	5	484
На кладбище	5	270	5	486
Начальник	4	158	5	477
Непротивленец Макар Жеребцов	4	301	5	481
Нечаянный выстрел	4	95	5	476
Ноль-ноль целых	4	469	5	483
Ночью в бойлерной	5	288	5	486
Нравственность есть Правда	5	401	5	491
Обида	5	18	5	484
Одни	4	25	5	475
Он учил работать	5	419	5	492
Операция Ефима Пьяных	4	322	5	481
Ораторский прием	5	11	5	483
Осенью	5	208	5	485
О творчестве Василия Белова	5	417	5	491
Охота жить	4	133	5	477
Петька Краснов рассказывает	5	253	5	486
Петя	4	410	5	482
Печки-лавочки	3	227	5	463
Письмо	4	473	5	483
Племянник главбуха	3	388	5	473
Позови меня в даль светлую	3	129	5	460
Пост скриптум	5	37	5	484
Правда	3	382	5	473
Привет Сивому!	5	332	5	487
Приезжий	5	339	5	487
Психопат	5	274	5	486

Пьедестал	5	199	5	485
"Раскас"	4	218	5	479
Рыжий	5	305	5	487
Сапожки	4	415	5	482
Светлые души	3	370	5	473
Свояк Сергей Сергеевич	4	307	5	481
Сельские жители	3	395	5	473
Слово о "малой родине"	5	424	5	492
Случай в ресторане	4	169	5	477
Сны матери	5	262	5	486
Солнце, старик и девушка	4	41	5	475
Средства литературы и средства кино	5	391	5	491
Срезал	4	348	5	482
Стенька Разин	3	432	5	474
Степка	4	71	5	475
Степкина любовь	3	375	5	473
Страдания молодого Ваганова	5	78	5	484
Странные люди	3	87	5	459
Суд	4	286	5	481
Сураз	4	375	5	482
Там, вдали	2	361	5	454
Танцующий Шива	5	66	5	484
Точка зрения	2	417	5	455
Три грации	5	119	5	485
Упорный	5	169	5	485
Хахаль	4	292	5	481
Хмырь	4	465	5	483
Хозяин бани и огорода	4	460	5	483
Чередниченко и цирк	4	401	5	482

Чудик	4	223	*5*	*480*
Чужие	*5*	351	*5*	*487*
Шире шаг, маэстро!	4	337	*5*	*482*
Штрихи к портрету	*5*	224	*5*	*486*
Экзамен	3	439	*5*	*474*
Энергичные люди	2	457	*5*	*456*
Я пришел дать вам волю	2	5	*5*	*443*

СОСТАВ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ В.М.ШУКШИНА В 5 ТОМАХ

ТОМ 1

Сергей Залыгин. Герой в кирзовых сапогах

ЛЮБАВИНЫ. *Роман*

ТОМ 2

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ. *Роман*

ПОВЕСТИ

Там, вдали
Точка зрения
Энергичные люди
До третьих петухов
А поутру они проснулись...

ТОМ 3

КИНОПОВЕСТИ

Живет такой парень
Ваш сын и брат
Странные люди
Позови меня в даль светлую...
Брат мой...
Печки-лавочки
Калина красная

РАССКАЗЫ

Двое на телеге
Светлые души
Степкина любовь
Правда
Племянник главбуха
Сельские жители
Демагоги
Коленчатые валы
Воскресная тоска
Артист Федор Грай
Стенька Разин
Экзамен
Леля Селезнева с факультета журналистики
Ленька
Классный водитель

ТОМ 4

РАССКАЗЫ

Далекие зимние вечера
Гринька Малюгин
Одни
Игнаха приехал
Солнце, старик и девушка
Критики
И разыгрались же кони в поле
Змеиный яд
Степка
Лида приехала
Космос, нервная система и шмат сала
Нечаянный выстрел
Дождь на заре

Ваня, ты как здесь?!
Кукушкины слезки
Капроновая елочка
Охота жить
Волки
Начальник
Вянет, пропадает
Случай в ресторане
Внутреннее содержание
Два письма
В профиль и анфас
Как помирал старик
Думы
Даешь сердце!
В воскресенье мать-старушка...
"Раскас"
Чудик
Горе
Миль пардон, мадам!
Земляки
Из детских лет Ивана Попова
Материнское сердце
Суд
Хахаль
Непротивленец Макар Жеребцов
Свояк Сергей Сергеевич
Микроскоп
Операция Ефима Пьяных
Бессовестные
Шире шаг, маэстро!
Срезал
Митька Ермаков
Крепкий мужик
Крыша над головой
Сураз
Залетный

Чередниченко и цирк
Петя
Сапожки
Мастер
Верую!
Лёся
Дебил
Билетик на второй сеанс
Дядя Ермолай
Хозяин бани и огорода
Хмырь
Ноль-ноль целых
Письмо

ТОМ 5

РАССКАЗЫ

Жена мужа в Париж провожала
Ораторский прием
Обида
Мой зять украл машину дров!
Пост скриптум
Генерал Малафейкин
Беседы при ясной луне
Беспалый
Танцующий Шива
Мнение
Страдания молодого Ваганова
Наказ
Медик Володя
Как зайка летал на воздушных шариках
Три грации
Забуксовал

Ванька Тепляшин
Гена Пройдисвет
Версия
Алеша Бесконвойный
Упорный
Владимир Семеныч из мягкой секции
Пьедестал
Осенью
Выбираю деревню на жительство
Штрих к портрету
Мечты
Петька Краснов рассказывает
Как мужик переплавлял через реку
волка, козу и капусту
Сны матери
Боря
На кладбище
Психопат
Как Андрей Иванович Куринков,
ювелир, получил 15 суток
Ночью в бойлерной
Вечно недовольный Яковлев
Рыжий
Кляуза
Други игрищ и забав
Мужик Дерябин
Привет Сивому!
Приезжий
Чужие
Жил человек

ПУБЛИЦИСТИКА

Как я понимаю рассказ
Вопросы самому себе
Монолог на лестнице
Средства литературы и средства кино

Нравственность есть Правда
Вот моя деревня...
О творчестве Василия Белова
Он учил работать
Завидую тебе
"Книги выстраивают целые судьбы"
Слово о "малой родине"

КОММЕНТАРИИ

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.М.ШУКШИНА

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.М.ШУКШИНА

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Жена мужа в Париж провожала 5
Ораторский прием 11
Обида 18
Мой зять украл машину дров! 25
Пост скриптум 37
Генерал Малафейкин 40
Беседы при ясной луне 48
Беспалый 57
Танцующий Шива 66
Мнение 73
Страдания молодого Ваганова 78
Наказ 91
Медик Володя 100
Как зайка летал на воздушных шариках 106
Три грации 119
Забуксовал 126
Ванька Тепляшин 130
Гена Пройдисвет 136
Версия 149
Алеша Бесконвойный 156
Упорный 169
Владимир Семеныч из мягкой секции . . 183
Пьедестал 199
Осенью 208
Выбираю деревню на жительство 216
Штрихи к портрету 224

Мечты 250
Петька Краснов рассказывает 253
Как мужик переплавлял через реку
волка, козу и капусту 258
Сны матери 262
Боря 266
На кладбище 270
Психопат 274
Как Андрей Куринков, ювелир,
получил 15 суток 282
Ночью в бойлерной 288
Вечно недовольный Яковлев 299
Рыжий 305
Кляуза 308
Други игрищ и забав 315
Мужик Дерябин 329
Привет Сивому! 332
Приезжий 339
Чужие 351
Жил человек 359

ПУБЛИЦИСТИКА

Как я понимаю рассказ 365
Вопросы самому себе 368
Монолог на лестнице 377
Средства литературы и средства кино . . 391
Нравственность есть Правда 401
Вот моя деревня... 413
О творчестве Василия Белова 417
Он учил работать 419
Завидую тебе 420
"Книги выстраивают целые судьбы" . . . 422
Слово о "малой родине" 424

КОММЕНТАРИИ

Романы 433
Повести 454
Киноповести 457
Рассказы 472
Публицистика 487

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.М.ШУКШИНА 493

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.М.ШУКШИНА 497

СОСТАВ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ
В.М.ШУКШИНА В 5 ТОМАХ 503

Шукшин В. М.

Собрание сочинений в пяти томах (том 5); Худ. К. Сухаревский,— Б.: «Венда», 1992.— Переиздание — Е: изд-во «Уральский рабочий» — 512 с., фото.

ISBN 5-7025-0127-6

ISBN 5-7025-0132-2 (том 5)

В пятый том собрания сочинений Василия Макаровича Шукшина вошли рассказы, публицистика и комментарии к произведениям, опубликованным в настоящем собрании сочинений.

4702010200

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН

Собрание сочинений в пяти томах

том 5

Ответственные за выпуск Х. Муслимов и В. Панюта

Тех. редактор С. Владыкин

Худ. редактор С. Сухаревский

Корректоры Г. Бочкарева, О. Коршикова

В работе над собранием сочинений принимали участие: Л. Федосеева-Шукшина, В. Панюта, Х. Муслимов, Т. Вербкина, С. Сухаревский, С. Владыкин, К. Сухаревский, Г. Бочкарева, О. Коршикова, Н. Моисеева, Г. Чубарова, И. Оролбаева, О. Маковская, Т. Жданова, Н. Кириченко, Е. Меркер.

В собрании сочинений использованы фотографии В.М. Шукшина из архива Фотохроники ИТАР-ТАСС.

Сдано в набор 10.02.92. Подписано к печати 13.08.92. Формат 84×108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 28,55. С 45. Тираж 100 000 экз. Заказ № 292.

Издание подготовлено компанией "Венда" и издательством "Книголюб". 720000. г. Бишкек, Первомайская, 63.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии изд-ва "Уральский рабочий". 620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.